АЗБУКА ВЕРЫ

Виктор Ипатьевич Аскоченский

За Русь Святую!

Художественная литература · azbyka.ru

За Русь Святую! – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/za-rus-svyatuyu

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

За Русь Святую!

Виктор Ипатьевич Аскоченский

Оригинал

В настоящее издание сочинений выдающегося русского православного мыслителя, церковного историка, публициста, писателя, журналиста, поэта, переводчика, искусствоведа, церковного композитора и дирижера В. И. Аскоченского (1813–1879) вошли его самые известные церковно-исторические труды, знаменитая публицистика «Блестки и изгарь», литературные произведения в прозе и поэзии (первый антинигилистический роман «Асмодей нашего времени», повесть «Записки звонаря», статьи по церковному искусству, стихотворения, «отголоски», басни), воспоминания, дневниковые записи...

Чтобы бороться с врагами русской культуры, Аскоченский в 1858–1877 годах выпускал журнал «Домашняя беседа», который с православно-патриотических позиций раскрывал духовные ценности русской цивилизации и показывал русскому народу его противников-либералов, масонов, нигилистов. «Домашняя беседа» стала ответом лучших сынов русского народа на создание А. И. Герценом в 1857 году антирусской, антиправославной газеты «Колокол».

Стремясь показать в отвратительном виде «асмодеев нашего времени», Аскоченский стремится противопоставить им хороших, русских православных людей. Поисками положительного героя отмечены «Записки звонаря» (СПб., 1862), в которых традиционный «маленький человек», благодаря смирению и благочестию, не «унижен и оскорблен», а возвышен над окружающим суетным миром.

Все сочинения переиздаются впервые после 1846–1882 гг.

Предисловие

О Викторе Ипатьевиче Аскоченском (как «обскуранте и мракобесе») написано еще с 1850-х годов столько кривды, что есть насущная потребность хотя бы к 200-летию со дня рождения дать первый краткий очерк его нелегкой жизни и исповеднической деятельности.

Родился он 1-го октября[1] 1813 года в Воронеже в семье потомственного священника отца Ипатия Оскошного. Изменение его фамилии заслуживает внимания. И не удивительно, что Виктор Ипатьевич спустя многие годы, уже в Киеве, подробно написал об этом в своем дневнике: «Генеалогия моя вовсе не состоит из тех лиц, которые пузаты и знаменитостью, и богатством. Мой прадедушка был поп; <...> Господь благословил его обзавестись детками; один из сынов его, по имени Иван, родился в селе Аскошном, Землянского уезда, Воронежской губернии. Дедушки мои, которых числом, кажется, было до десятка, под скромным прозванием *Поповых* разошлись по разным селам в качестве небольших, весьма небольших сановников церковной иерархии, а родной мой дедушка Иван Иванович остался в том же Аскошном в должности стихарного дьячка. <...> Из благодарности к месту, видевшему рождение как самого о. Ивана, так и детей его, мой дедушка переменил фамилию Поповых на Аскошных и повелел вперед именоваться так всему своему потомству...

Первоначально наша фамилия была *Аскошный*; но батюшка мой, как человек грамотный, заметил тут слишком неизящную *народность*, — извините, он не знал настоящих теорий об этом предмете и, следуя правилам правописания, которое тогда иначе и не называли, как ореография, переменил Аскошный в Осконный. Не знаю, как это случилось, только с течением

времени батюшка стал подписываться: *Отскоченский*. С этим громким прозвищем я и брат вступили в школу. Прошло немного времени, и нас стали дразнить «отскочками»; я бранился, ссорился, плакал и дрался, разумеется, с кем мог сладить, а избежать насмешек не мог. С досады я решился еще раз изуродовать свое фамильное прозвание — и вследствие такого решения я стал подписываться: *Аскоченский*. Брат[2], ни в чем не отставáвший от меня, последовал моему примеру. Покойник сердился, бранил нас, пачкал наши тетради, нападал на репетиторов, позволяющих нам такую вольность в таком важном деле; но мы, и особенно я, оставались непреклонными. Учители, привыкнув видеть на тетрадях выдуманную мною подпись, отстали от несносного для меня: *Отскоченский*. Потом и батюшка мало-помалу приставал к моей стороне, и таким образом, я был последним преобразователем моего фамильного прозвания»[3].

Как видим, уже с ранних лет «преобразователь» собственной фамилии в важных делах проявлял твердость в отстаивании своих убеждений, рос толковым, любознательным ребенком с немалыми талантами, наблюдательностью и великолепными музыкальными способностями.

По обычаям того времени священно- и церковнослужители грамоте обучали первоначально своих детей сами. Но Виктор и его брат Аристарх учились не только грамоте, но и церковному пению, так как отец Ипатий был наставником в нотном пении всех церковнослужителей Воронежской епархии. Еще с раннего детства Виктор охотно бегал в церковь и громко распевал на клиросе стихиры и его звонкий голос нравился всем.

После домашней подготовки он поступил в Воронежское духовное училище, а затем и в местную духовную семинарию, где не только прилежно изучал обязательные предметы, пел в семинарском хоре, но и пытался писать стихи. Позднее, уже в Киеве, Виктор начнет заносить в дневник многие оттенки своих меняющихся представлений и по юношескому максимализму немало язвительных страниц посвятит своим наставникам, учебе, окружению… Этим, кстати, достаточно тенденциозно воспользовались издатели дневника Аскоченского (после его кончины). Сам же он никогда в своей публицистике, воспоминаниях не повторял юношеских критических высказываний о своих наставниках, товарищах, учении.

Как один из лучших выпускников семинарии, Виктор Аскоченский решил поступать в университет, написав просьбу об увольнении из духовного звания. Но по настоянию тогдашнего ректора Воронежской семинарии архимандрита Евтихиана (Лестева) был направлен в Киевскую духовную академию. Ректором ее в то время был известный богослов, проповедник епископ Чигиринский Иннокентий (Борисов)[4], а среди выдающихся преподавателей были протоиерей Иоанн Скворцов, Я. К. Амфитеатров, иеромонах Димитрий (Муретов)[5].

Вместе с Виктором Аскоченским во время девятого курса (1837–1839 гг.) учился Яков Амфитеатров (впоследствии архиепископ Казанский и Свияжский Антоний), другие будущие епископы (всего ими стало 8 человек), а двумя годами позже — Михаил Булгаков и Георгий Говоров[6].

В академии Виктор Аскоченский усердно занимался богословскими, церковно-историческими науками, и церковным пением. Во время обучения его узнали не только в академии, но и в Киеве как искусного регента академического хора, знатока церковного пения, славившегося и своим голосом[7]. Как церковный композитор В. И. Аскоченский написал кафизму в Великую субботу, канон архангелу Михаилу и значительное число других церковных сочинений и праздничных кантов[8].

Его выпускное сочинение «Об обряде погребения в Церкви христианской» рецензировал митрополит Московский Филарет (Дроздов). В его отзыве в частности говорилось: «Сочинение сие написано плавно и с добрыми чувствами; но исторические изложения не везде удовлетворительны, а описания растянуты более, нежели нужно для рассуждения»[9].

Как вспоминал В. И. Аскоченский: «Мы, претендовавшие на магистерство, трепетали, когда доходили до нас сведения, что курсовое сочинение попало в руки человека, пред ученостью и умом которого мы были пигмеями. Да не одни только студенты, но и руководители и наставники их, произносившие предварительный свой вердикт тому или другому произведению, не без боязни ожидали строгих рецензий московского первосвятителя <…> Но зато если произведение студенческого пера благополучно проходило через его руки, то студент на целый вершок вырастал и в своем собственном, и в общем мнении»[10].

По окончании академического курса (в 1839 г.) со степенью магистра богословия Аскоченский был назначен бакалавром академии (адъюнкт-профессором) и сначала преподавал польский и немецкий языки. В марте 1840 г. ему был поручен перевод с греческого языка части рукописного наследия иерусалимского патриарха Анфима. С этой работой он успешно справился к 28 сентября 1840 г.[11]

В течение 1841 г. бакалавр В. И. Аскоченский безвозмездно с «отличным успехом» (по отзыву ректора Академии епископа Чигиринского Иеремии — Соловьева) преподавал патрологию, по которой еще не было необходимых учебных пособий. Учитывая такие успехи, на курс патрологии были добавлены учебные часы, а преподавателю повышено жалованье, как и по другим предметам. 28 сентября 1844 г. В. И. Аскоченский представил подготовленную им «Пропедевтику патрологии», но рукопись не была пропущена к напечатанию «по ограниченности прав, предоставленных Киевскому цензурному комитету»[12].

Первые публикации В. И. Аскоченского появились в новом журнале религиозно-нравственного характера «Воскресное чтение», открывшемся по почину и при деятельном участии епископа Иннокентия (Борисова)[13]. В 1841 г. издание «Воскресного чтения» было приостановлено и В. И. Аскоченский (под псевдонимом «Виктор А-ий») начинает публиковаться в только что открытых журналах «Маяк» С. О. Бурачка[14], «Москвитянин» М. П. Погодина, а в 1845 г. в журнале Н. В. Кукольника «Иллюстрации, еженедельного издания всего полезного и изящного» (№ 31).

За такой напряженной учебной, преподавательской, литературной жизнью В. И. Аскоченский не забывал и о родных краях. В 1841 г. он на короткое время приезжал в Воронеж, где навестил А. В. Кольцова, о чем записал в дневнике, и впоследствии более пространно опубликовал на страницах периодики[15].

Освободившись от 15-летних ученических занятий, В. И. Аскоченский пытается устроить и личную жизнь — в первый раз почувствовал он «истинную, крепкую, как смерть, привязанность к милому, единственному в целом мире существу»[16]. Большая половина дневников за 1840–1841 гг., когда В. И. Аскоченский женился, переполнена мыслями, чувствами, тревогами по поводу устройства семейной жизни. Однако продолжалось семейное счастье недолго. 25 января 1844 г. у В. И. Аскоченского от чахотки умирает жена, а за несколько месяцев перед этим — сын-младенец[17]. Как потрясла его эта кончина, свидетельствует сделанное одним из студентов академии описание: что происходило тогда с их преподавателем, который бродил как тень, ища своего «ангела — Софью»[18].

В 1844 г. В. И. Аскоченский был приглашен генерал-губернатором Юго-Западного края Д. Г.

Бибиковым[19] в качестве преподавателя, «нравственного руководителя» и воспитателя племянника его жены — Сергея Николаевича Сипягина (1826–1856)[20], который после смерти родителей (в 1828 г.) был взят на воспитание в дом Бибиковых. В. И. Аскоченский оставляет преподавание в Киевской духовной академии, но любовь к ней, многим ее выпускникам и наставникам сохранил на всю жизнь.

В это время он много занимается, пишет, заводит знакомство с писателями, поэтами, художникам, в т. ч. с Т. Г. Шевченко[21]. Аскоченский продолжает публиковаться в печати (в «Маяке», «Иллюстрации»), преподает в одном из киевских женских пансионов. Плодом этих занятий стало издание «Краткого начертания истории русской литературы» (1846 г.[22]), состоявшего из отдельных характеристик творчества основных русских писателей, как церковных, так и светских[23]. Автор обращал внимание, прежде всего, на язык «как характеристическую собственность народа», затем переходил к отношению языка, просвещения и литературы. Как на особо благоприятное обстоятельство В. И. Аскоченский указывал на крещение Руси. Лишь в контексте просвещения его и интересовала литература. И опять же в первую очередь не светская, а церковная — духовные писатели. Первыми из них автор называет епископа Луку Жидяту, преп. Феодосия Печерского, митрополита Илариона и др.

Из современных духовных писателей В. И. Аскоченский выше всех ставит митрополита Филарета (Дроздова), утверждая: «Никогда русское духовное витийство не достигало такой силы и величия, как в поучениях сего Архипастыря»[24].

Сочинение своего бывшего студента и коллеги вызвало одобрительный отклик архиепископа Иннокентия (Борисова), в то время Харьковского Высокопреосвященного, который в скором отклике (в письме от 31 марта 1846 г.) назвал «Краткое начертание…» «прекрасным плодом» и благословил автора на «продолжение подобных занятий»[25].

С иных позиций оценивал сочинение В. И. Аскоченского критик «Отечественных записок» В. Н. Майков. Он был явно неправ, когда обращал внимание читателей на то, что автор не стремился излагать какую-либо историко-литературную концепцию. Более того — рецензент был неприкрыто тенденциозен, утверждая, что «внутреннюю жизнь» народа в большей степени выражают «сказки и песни», чем «литература духовная наша». А потому «богословские и исторические сочинения почти вовсе не могут служить памятниками развития… в первые века существования нашего государства»[26].

В том же году В. И. Аскоченский под своим именем издает отдельный том стихотворений, посвященный С. Н. Сипягину[27], также вызвавший отклики в светской печати[28]. В сборник вошли как произведения на религиозную тематику, так и на бытовую, среди которых можно встретить достаточно талантливые стихотворения. Но сам автор был чрезмерно самокритичен, назвав сборник «собранием рифмованных изделий»[29].

Пробует себя В. И. Аскоченский и в драматургии. «Пансионерка, трагедия нашего времени, в четырех отделениях с эпилогом» (1847 г.[30]) будет издана, когда автор уже покинет Киев.

В связи с поступлением С. Н. Сипягина в университет и завершением функции «воспитателя», причинами личного характера (женитьбой в ноябре 1846 г. на Н. Панферовой) В. И. Аскоченский оставляет Киев и с ноября 1846 г.[31] становится советником Волынского губернского правления в Житомире, который только с 1795 г. вошел в состав Российской империи.

Еще в академии, в серьезном товарищеском кружке, он не раз заявлял о своих мечтаниях — «верой и правдой послужить церкви и отечеству»[32]. Такая возможность теперь, казалось, могла осуществиться.

Не оставляя службы, В. И. Аскоченский принимается за редактирование неофициальной части «Волынских губернских ведомостей», где публиковались сведения о промышленности, торговле, статистические обзоры, неофициальная хроника, некрологи, частные объявления, «местные древности». Авторами выступали преподаватели, врачи, краеведы. Новый советник убедил вице-губернатора в необходимости исследования Волыни в историческом, географическом, природоведческом отношении. Вследствие этого на протяжении 1847 г. на страницах «Волынских губернских ведомостей» появился цикл его историко-краеведческих очерков. Позднее они вышли отдельным сборником, где содержались исследования о ряде сел и городов Волыни[33].

Находясь в Житомире, В. И. Аскоченский в свободное от службы время записывает то, что наблюдает вокруг себя. К концу 1848 г. у него накопилось 8 толстых томов записей. Два из них, как литературное произведение под названием «Панорама», были представлены в цензуру. Но по требованию из столицы публикация не была разрешена. Тогда В. И. Аскоченский уничтожил все тома и «дал себе слово не писать более в этом роде»[34]. Но черновая рукопись (в обрывках) у него осталась. Она и послужила впоследствии основой для романов «Асмодей нашего времени» и «Панорама, или Очерки из современной жизни».

Однако и на новом месте семейное счастье не сложилось. В Житомире скончалась его вторая супруга, оставив младенца-сына. К тому же обострились отношения с местными чиновниками.

В 1849 г. В. И. Аскоченского переводят в Каменец-Подольск совестным судьею[35] с исправлением должности председателя гражданской палаты. Этот городок со знаменитой крепостью после третьего раздела Польши (в 1793 г.) отошел к Российской империи, став сначала (в 1795–1797 гг.) центром Подольского наместничества, а затем — Подольской губернии. И насчитывал он к середине XIX столетия около 15 тыс. жителей.

Но и на новом месте В. И. Аскоченский прослужил недолго — всего два года и вынужден был выйти в отставку в чине коллежского советника.

Тяжело вспоминал он об этой поре его служебной деятельности: «Не сумев сделать себе никакого состояния ни в звании советника губернского правления, ни в звании совестного судьи и исправляющего должность председателя гражданской палаты, я влачил бедственную жизнь и, к довершению моего бедствия, впутался в дело, кончившееся для меня весьма неблагоприятно. Я должен был оставить службу и — что всего было тяжелее для меня — лишиться доверия и покровительства незабвенного благодетеля моего, Димитрия Гавриловича Бибикова.

Но дело было уже испорчено. Я не мог воспользоваться ни советом благожелательного мне архипастыря, ни переменою ко мне отношений Димитрия Гавриловича Бибикова, увидевшего, наконец, что я сделался жертвою интриги, сплетней и безсовестной клеветы»[36].

Вышедши в отставку, В. И. Аскоченский переехал в Киев и (по воспоминаниям Н. С. Лескова) поселился у одного из знакомых киевских священников. Однако никаких назначений не последовало, так как Д. Г. Бибиков вскоре был назначен министром и уехал из Киева. В это время В. И. Аскоченский находит поддержку у своего однокурсника, а с 1851 г. — ректора Киевской духовной академии архимандрита Антония (Амфитеатрова)[37], который предложил ему заняться составлением истории Киевской духовной академии[38].

В. И. Аскоченский горячо принялся за дело, неутомимо занимался разбором многочисленных архивов академии и за один год написал два фундаментальных тома с огромным количеством ссылок на источники (в т. ч. на различных языках). Собранные и упорядоченные им архивные материалы составили собрание рукописных «Актов Киевской академии» в 4-х томах, которые были оставлены в музее церковно-археологического общества при академии. После ознакомления с материалом заинтересованных лиц и прохождения цензуры двухтомник вышел под названием: *«Киев с древнейшим его училищем Академией»*[39], ставший на тот момент самым фундаментальным исследованием по истории высшей русской православной духовной школы[40]. Монография начиналась кратким очерком истории Киева, за которым следовало повествование об истории академии, охватывавшее период с начала XVII до начала XIX века. Второй том был составлен также, главным образом, по архивным материалам[41].

Сочинение В. И. Аскоченского тепло было встречено преподавателями, выпускниками академии, среди которых немало состояло в епископском сане. Так, архиепископ Варшавский Арсений (Москвин) в письме автору от 11-го января 1857 года писал:

«Возлюбленный о Господе В. И! <…>

Вы желаете узнать о литературных трудах своих мой отзыв? Охотно и откровенно я готов сказать вам о том мое мнение, не выдавая, впрочем, оного за авторитет безошибочный. Я признаю в вас редкую способность и терпение собирать и подбирать к избранному вами предмету все, что прямо или косвенно к нему относится, — из малых и часто недоконченных данных выводить заключения казистые, хотя отчасти и преувеличенные, исторические пробелы восполнять своими соображениями и догадками, если не всегда, может быть, верными, то всегда правдоподобными, — места опасные и камни подводные удачно обходить искусным молчанием или полунамеком безукоризненным, — рассказу своему, несмотря иногда на скудость содержания, придавать живость и занимательность, языку, по местам, сообщать саркастическую терпкость и едкость, словом, я нахожу, что вы больше можете оказать пользы себе и другим на этом поприще, нежели за столом юридическим, хотя бы даже и в звании судии совестного при бессовестных или малосовестных сотрудниках.

Итак, с Богом за новый какой-либо труд в том же роде, и особенно полемическом, к чему я признаю вас наиболее способным. Вот бы хорошо, если бы вы принялись за соседнее нам католичество!»[42]

Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов) не только высказал «искреннюю и полную благодарность», но и посоветовал переехать в столицу для издания журнала, а для переезда прислал еще и 100 рублей[43].

Кроме основного своего труда В. И. Аскоченский опубликовал массу статей на самые различные темы, главным образом в еженедельных «Киевских губернских ведомостях», под псевдонимами «В. А.» «В. А-ий»[44], а также отдельных оттисков статей, брошюр, книг[45]. Не оставляет В. И. Аскоченский и собственно литературные занятия. В своих стихотворных «отголосках» он откликается на события Крымской войны, кончину Государя Императора Николая Павловича и др., мужественно выступает против врагов России[46].

Еще в конце 1857 г. киевская цензура разрешает печатание его первого романа «Асмодей нашего времени», который будет издан уже в столице под псевдонимом В. Кочка-Сохран (по имени прадеда-казака) и войдет в историю русской литературы и общественной жизни как предшественник антинигилистических романов. Роман имел немалый успех (разошлось все издание), ибо его автор впервые открыто выступил в роли обличителя безнравственности

нигилизма и атеизма в части «прогрессивного» образованного на европейский манер общества. Главный герой романа — «искуситель» с «говорящей» фамилией Пустовцев, сын воспитанного на правилах французских энциклопедистов-богоборцев, сводит в могилу и свою жертву и убивает самого себя. Автор романа прозорливо предупреждает русского читателя об опасности, грозящей традиционной русской жизни и ее христианским ценностям, исходящих от современных нигилистов — «асмодеев-пустовцевых».

В 1858 г. В. И. Аскоченский переехал в С.-Петербург. Не имея средств, «единственно уповая на милосердие Божие и поддержку наших архипастырей», он основывает журнал «Домашняя беседа для народного чтения», первый номер которого появился в июле 1858 г.[47] Автором большинства материалов был сам редактор-издатель, который в первом выпуске журнала (в виде «народного листка») так представлял себя читателю: «Я человек православный и со всех сторон русский, учился… на медные деньги, грамоту всякую и церковную и гражданскую смекаю, а главное, искренно желаю добра всем своим соотчичам, пребывающим верными Церкви Божией»[48].

Редактор-издатель нового еженедельного (выходил по субботам) журнала для народа (один номер стоил 5 коп.), который ставил цель «крепко стоять на твердой почве святого Православия и народности русской», противостоять «духу века сего», обличал проявления атеизма, маловерия, либерализма, безнравственности в науке, литературе, общественной и государственной жизни.

Издание отличалось открытой защитой Православия, острой полемичностью и прямотой, о чем свидетельствовал и эпиграф, который стоял на заглавном листе «Домашней беседы»: «Служить, так не картавить; картавить, так не служить».

Во вводном слове редактор обещал читателям, что будет «вычитывать из книг то, что пригодно» для них, и рассказывать им как умеет. Именно поэтому стали появляться многие назидательные рассказы и поучения («Ангелы-хранители»; «Заповеди Божии»; «Как во славу Божию работать и трудиться»; «Краткое правило для благочестивой жизни»; «Опасно шутить грехом» и мн. др.). Они были столь популярны, что вскоре потребовались и отдельные издания: «Чтение для православного русского народа» (1-е изд. — в 1860 г., второе — в 1862 г.).

До конца 1858 г. вышло 18 выпусков журнала (в 1860 г. они были переизданы в одном томе с указателем статей). С 1859 г. формат «Домашней беседы…» был увеличен, программа расширена, появился библиографический раздел, еще более резко стали критиковаться отступники от Православия[49].

На журнал сразу обратили особенное внимание те православные читатели, которые были явно неравнодушны к ухудшению духовной атмосферы в российском обществе. Архиепископ Арсений (Москвин) приветствовал с успехом В. И. Аскоченского 9 апреля 1859 г. следующим письмом:

«Возлюбленный о Господе В. И. От души радуюсь, что вы, наконец, попали в свою сферу и к своему столь сродному вам делу и, поздравляя вас, призываю на вас и работу вашу благословение Божие, споспешествующее и богатящее.

О выписке «Беседы» вашей, как журнала, действительно, весьма полезного, во все монастыри и церкви Варшавской и Волынской епархий я сделал надлежащее распоряжение, только в виде приглашения, а не в виде повеления, которого я, как не член синода, не имел права давать. Ваш покорнейший слуга Арсений А. Варшавский»[50].

С 1859 по 1876 г. издавалось неизменно по 52 выпуска журнала в год. А в 20-м номере за 1860 г. впервые появился отдел «Блестки и изгарь», который в продолжение 18-ти лет из-за остроумия и сарказма читался не только сторонниками редактора-издателя, но и его самыми ожесточенными врагами.

В. И. Аскоченский публиковал многочисленные материалы о Православии у народов России[51], отрывки из автобиографии ненавидимого либералами знаменитого архимандрита Фотия (Спасского)[52], пригласил к сотрудничеству испытанного бойца за православное русское дело С. Бурачка[53], в то же время, подвергая острой критике так называемые прогрессивные явления и деятелей либерального толка[54].

Это вызвало глумливую травлю в «Искре»[55], «Современнике»[56], «Свистке»[57]. Один из идейных вождей тогдашних богоборцев А. И. Герцен, издатель теряющего популярность «Колокола» уничижительно называл «Домашнюю беседу» «духовным журналом иезуитского православного направления»[58].

Но даже и относительно умеренные деятели российской культуры во многом отрицательно отнеслись к бескомпромиссной деятельности В. И. Аскоченского, хотя и отмечали незаурядный талант его.

«Перебиваясь кое-как» со своим изданием, В. И. Аскоченский подвергся притеснениям со стороны двух цензур, духовной и светской, из коих последняя, по его признанию, «строго преследовала каждую мою мысль, каждое слово»[59].

Были моменты, когда он хотел уже бросить дело и поступить на службу, убеждаемый к тому обер-прокурором Св. Синода (в 1856–1862 гг.) графом А. П. Толстым. Нужно было искать себе надежных защитников, и поиски оказались не напрасными. На помощь пришли русские православные люди: миряне, священники, монахи, епископы… Во всем разделял позицию брата и доктор медицины А. И. Аскоченский, ставший верным сотрудником редактора и активнейшим публицистом.

Вот что писал В. И. Аскоченскому архиепископ Варшавский Арсений (Москвин), в письме от 3 января 1860 г.: «Возлюбленный о Господе В. И! На поздравление ваше меня с праздником Рождества Христова и Новым годом отвечаю моим поздравлением, столь же искренним и столь же благожелательным, призывая вместе на вас и на дело рук и головы вашей благословение воплотившегося нас ради Христа Бога нашего, ободряющее, укрепляющее и утешающее.

Сожалею я о вашем горе; но, живя в мире, можно ли без горя обойтись? Значит, это в порядке вещей. И потому излишне не скорбите и не унывайте, но вместо того вооружитесь, с одной стороны, христианским великодушием и терпением, а с другой — мудрым правилом, указанным Самою Ипостасною Премудростию: *будите мудри, яко змия, и цели яко голубие*. Впрочем, если высокопреосвященный митрополит Киевский[60] принял уже вас под свое покровительство, то я не вижу для вас истинной опасности».

Критике в «Домашней беседе» подвергались не только светские, но и церковно-общественные издания, такие, например, как «Православное обозрение» и нек. др.[61] В самом начале 1860-х гг. широкий общественный резонанс получила полемика В. И. Аскоченского с архимандритом Феодором (Бухаревым), который с января 1858 г. был членом столичного комитета цензуры духовных книг и заслужил там, по словам Н. П. Гилярова-Платонова, репутацию «либеральнейшего из духовных цензоров».

В 1860 г. были изданы несколько сочинений архим. Феодора, в том числе «О Православии в отношении к современности», в которых автор пытался искать «мерцания Божия света» и в нехристианских явлениях современности, вплоть до сочинений радикально настроенных писателей и критиков. Против таких воззрений решительно и выступил В. И. Аскоченский, который обвинял архимандрита в защите «изгари современности».

Помимо публицистики В. И. Аскоченский продолжает публиковать церковно-краеведческие исследования, сатирические очерки, религиозно-нравственные рассказы, повесть «Записки звонаря»[62], многочисленные стихи, басни (которые были подписаны криптонимами или псевдонимом В. Незамай).

Среди такой напряженной деятельности неожиданно произошли и изменения в личной жизни. После пятнадцатилетнего периода вдовства, по благословению архиепископа (тогда) Арсения (Москвина), в 1863 г. В. И. Аскоченский вступает в брак с сиротой, бывшей воспитанницей, а затем и помощницей начальницы Ивановской школы С.-Петербурга[63]. Через несколько лет у В. И. Аскоченского было уже трое детей[64].

С 1862 г. в «Домашней беседе» активно печатался бывший епископ Кавказский и Черноморский Игнатий (Брянчанинов)[65]. Большая часть его трудов публиковалась анонимно, в т. ч. и полемический отклик, отрывок из «Слова о смерти»[66].

Всего до кончины Святителя (в 1867 г.) в «Домашней беседе» было опубликовано четырнадцать его произведений различных жанров и еще тринадцать вышли в издательстве В. И. Аскоченского (и типографии И. И. Глазунова) отдельными изданиями. Все они позже будут включены в собрание сочинений святителя Игнатия.

В. И. Аскоченский выступал и как рецензент трудов бывшего епископа Кавказского и Черноморского[67] (а после его кончины напечатал первый биографический очерк о нем[68]). Неудивительно, что в своем письме от 1 февраля 1864 г. к брату Петру Александровичу святитель Игнатий писал: «Потрудись передать от меня В. И., что он подвижник, как единственный современный голос, противящийся реформационному в деле веры и Церкви началу и за это подвергающийся скорбям и поношениям, которые поставляют его на почетное и высокое место в глазах Православных. Это не мой отзыв исключительно: это общий отзыв» [69].

В «Домашней беседе» публиковались вероучительные тексты общецерковного значения[70], документы и материалы по истории Русской Церкви, русской богословской мысли и подвижничества[71], статьи о церковных памятниках и святынях[72], о монастырях и монашествующих[73], воспоминания об оптинских старцах и др. подвижниках. Немало места уделялось латинству, особенно его отношению к России и славянству[74].

Когда большая часть российской интеллигенции сочувствовала преступникам-нигилистам, революционерам, В. И. Аскоченский мужественно обличает их, в стихотворной форме, как врагов России («Нигилисту», 1863; «По прочтении высочайшего рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 1865; «Ужасное открытие», 1866 — в связи с выстрелом Каракозова).

Множество статей помещали в «Домашней беседе» издатели подлинно православного журнала «Душеполезное чтение»[75] прот. Алексий Ключарев (впоследствии знаменитый епископ Дмитровский, а затем архиепископ Харьковский Амвросий), прот. В. Нечаев (впоследствии епископ Костромской Виссарион), прот. В. В. Лебедев, а также архимандрит Августин (Гуляницкий, впоследствии епископ Екатеринославский), архим. Иосиф (Баженов),

впоследствии епископ Балтский, архим. Леонид (Кавелин), свящ. Т. Твердынский, свящ. М. И. Херасков, К. Д. Думитрашко и мн. др.

За десятилетнее существование журнал приобрел репутацию строго-религиозного борца за православное дело. В 1869 г. Св. Синодом и Главным управлением по делам печати была утверждена новая обширная программа «Домашней беседы» с 11 разделами, освещающими «всю сферу человеческих познаний, начиная от нравственно-догматического учения Церкви православной до последних явлений жизни обыденной»[76].

Однако в этом же году редактор подвергся обвинению и судебному преследованию за перепечатывание в «Домашней беседе» без согласия автора из «Пермских епархиальных ведомостей» статьи магистра Кокшарова «Несколько слов по поводу нищенства».

В это время особенная поддержка была оказана епископом Феофаном (Говоровым), бывшим епископом Владимирским, тогда уже находившемся на покое, в затворе. Особенно активно святитель Феофан начал публиковаться в журнале с 1868 г. и был после редактора-издателя самым часто публикующимся автором до самого прекращения его издания. Помимо крупных сочинений, таких как «Порядок богоугодной жизни», «Душа и ангел не есть нечто телесное, а чистый дух» и др.[77], ему принадлежали многочисленные передовые статьи.

В 1870-е годы журнал вступал нисколько не растеряв своей основательности и не изменив «православно-патриотическому направлению». Редактору-издателю вслед за отдельным томом басен и отголосков[78] удалось преодолеть цензуру и опубликовать свою драму «Марфа Посадница»[79], а затем и другие отдельные издания[80].

В «Домашней беседе» постоянно публиковались миссионерские материалы, которые были выделены в специальный «Миссионерский отдел». Рассматривалась деятельность Православного миссионерского общества и его комитетов на местах, внутренней миссии[81], многочисленные заметки об Алтайской миссии (с 1860 г.) и др., внешней миссии, особенно в Японии (1867–1877).

Значительное число публикаций было посвящено православным праздникам[82], старообрядчеству, церковной и культурной жизни Киева, малороссийских губерний. Многочисленные материалы были посвящены евреям[83].

Среди авторов журнала были Ф. Н. Глинка, А. Н. Майков, гр. М. В. Толстой, Ф. И. Тютчев и др.

Редактору-издателю «Домашней беседы» приходила огромная почта со всех уголков православного мира, от лиц всех сословий и состояний. Так, будущий знаменитый архиепископ Никон (Рождественский) в бытность еще студентом писал В. И. Аскоченскому:

«Достоуважаемый Виктор Ипатьевич!

Извините, что так долго задержал деньги, следуемые с меня за «Домашнюю беседу» сего года <…> Посылаю при сем также начало рассказа с покорнейшей просьбой: прочтите ради Бога и скажите свое мнение: стоит ли продолжить его? <…>

Изменяйте, переделывайте, сокращайте что угодно и как угодно — отдаю в полное ваше распоряжение <…> Если угодно, помещайте в виде отдельных очерков; или не лучше ли переменить форму рассказа на форму дневника? Ради Бога: скажите свое мнение и дайте совет. Гонорара мне никакого не нужно: не желаю делать добро за деньги. <…> Впрочем, есть и маленькое корыстное желание: уверен, что в удовлетворении его отказа не получу, я

страстно желаю иметь у себя вашу драгоценную «Беседу» за все годы, чтобы и самому все прочитать, и другим доставить в том же возможность. <…>

Прилагая при сем почтовую марку, смею надеяться, что вы удостоите меня чести получить от вас ответ, хотя бы и не скоро.

Искренне уважающий вас немножко

известный вам ваш новый подписчик,

ученик Моск. Дух. семинарии

Николай Рождественский

Москва, 8 марта 1874 г.»[84]

Несмотря на невзгоды, постоянную полемику, неприятности, безденежье, твердость характера издателя, оптимизм и поддержка православных позволяли до времени В. И. Аскоченскому переносить все жизненные невзгоды. Но беды сыпались одна за другой: развивается болезнь (ревматизм в обеих ногах), а 30 марта 1876 г. умирает полуторагодовалый сын Владимир[85].

Тем не менее, В. И. Аскоченский неизменно твердо выступает на защиту Православия против усиливающегося в обществе неверия, едко высмеивая все либерально-нигилистическо-западноевропейское в науке, литературе, общественной и государственной жизни.

В журнале продолжали подвергаться критике церковные деятели в сане и со степенями и защита монашества и монастырей[86], публикуются записки о международной политике и жизни зарубежного славянства (особенно на Балканах и в Галиции), собственный перевод с польского — трагедия И. Коржениовского «Карпатские горцы»[87]. В 1876–1877 гг. постоянно помещались подробные репортажи об освободительном движении балканских славян и о русско-турецкой войне.

И, тем не менее, имевшая немалый успех «Домашняя беседа», значительно увеличившая свой объем, все же вскоре была вынуждена прекратить свое существование.

В № 45 от 5 ноября 1877 г. неожиданно появилось «Грустное, но необходимое объявление подписчикам, читателям и почитателям «Домашней беседы», где говорилось: «Редактор-издатель журнала «Домашняя беседа» Виктор Ипатьевич Аскоченский, 19 лет послуживший верой и правдой общественно-литературному делу в издании «Беседы», которая всегда была врагом духа века сего и стояла крепко на твердой почве св. Православия и народности русской, вследствие усиленных занятий, 23 октября поражен нервным ударом (воспалением в мозгу) и на днях отправлен в больницу. Надежда на скорое его выздоровление довольно сомнительна. И потому как выпуск дальнейших номеров «Домашней беседы» за текущий год, так и подписка на «Домашнюю беседу» в будущем 1878 году, впредь до поправления здоровья редактора, прекращаются. Жена редактора, Татьяна Владимировна Аскоченская, в глубокой горести о серьезной болезни ее мужа, который жил единственно трудами издания журнала и теперь, кроме значительных долгов, не оставил ей с четверыми детьми никаких средств даже и к дневному пропитанию, покорнейше просит господ подписчиков извинить ее больного мужа за недоимку номеров «Домашней беседы» в текущем году и по христианскому братолюбию помолиться о его выздоровлении, для поддержки его бедного семейства и убитой горестью жены его»[88].

Из Петропавловской больницы В. И. Аскоченский уже не вышел. Пострадав более полутора лет, он скончался 18 мая 1879 г. и был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом, неподалеку от Стрельны, где много лет настоятельствовал свт. Игнатий (Брянчанинов).

Писательская братия предпочла не обращать особенного внимания на кончину того, кто много лет открыто и бесстрашно отстаивал православные ценности. Некрологи появились в «Церковном вестнике»[89], в «Церковно-общественном вестнике»[90], «Волынских епархиальных ведомостях»[91], в журнале «Древняя и новая Россия»[92]. Но даже и те, кто обратил внимание на многострадальную жизнь В. И. Аскоченского, делали порой оговорки, явно не красящие их.

В «Историческом вестнике» (1882 г., № 1–9) были изданы фрагменты дневника В. И. Аскоченского (веденного с 1835 по 1857 г.) с тенденциозными предисловием и комментариями секретаря комитета иностранной цензуры и Общества любителей древней письменности Ф. И. Булгакова.

Хотя, по его словам, «Дневник» и «представляет целую энциклопедию, какая только доступна силам одного человека», но выбирал издатель для публикации фрагменты критического характера из поры молодости и личной жизни, практически не включив самые важные страницы, упоминание о которых мы можем встретить в опубликованном наследии В. И. Аскоченского.

Н. С. Лесков, живший в Киеве с 1849 по 1857 г. и принимавший участие в редакционной работе «Исторического вестника» над изданием дневниковых записей В. И. Аскоченского, в письме от 20 августа 1882 г. к своему корреспонденту Ф. А. Терновскому говорил о дневнике В. И. Аскоченского как «о глупейшем и даже в некотором отношении подлом».

И тогда же в своем повествовании «Печерские антики»[93] он поместил двусмысленные строки: «Вообще надо жалеть, что никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной заметки о треволненной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, какое только мог бы ему выбрать его злейший враг. Праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны»[94].

А на помощь к оставшимся без кормильца и средств к существованию вдове и малолетним детям В. И. Аскоченского пришли его верные единомышленники, молитвенники, благотворители, такие как свт. Феофан Затворник.

Вначале XX в. споры о В. И. Аскоченском оживились. И связано это было отчасти с публикацией брошюры профессора Казанской духовной академии П. В. Знаменского «Богословская полемика 1860-х годов об отношении Православия к современной жизни» (Казань, 1902). Отметился в данном обсуждении (во многом как осуждении В. И. Аскоченского) и В. В. Розанов, явно не знакомый с содержанием «Домашней беседы».

Иным был взгляд твердо стоявших за Православие исповедников, сказавших (как С. Нилус в 1909 г.) «Доброе слово памяти В. И. Аскоченского»: «Сейчас у меня в руках был двадцать первый выпуск журнала «Домашняя беседа» того же двадцать четвертого мая, что и сегодня, когда записываются эти строки, но только сорок лет тому назад, 1869 года. Ровно сорок лет исполнилось сегодня пожелтевшим страницам этим, издававшимся в конце пятидесятых, в шестидесятых и семидесятых годах знаменитым в то время борцом за коренные устои русской

жизни, Виктором Ипатьевичем Аскоченским, крепким и бестрепетным стоятелем за веру Православную, за царя самодержавного, за великий верою своею и смирением народ русский. <…>.

Царство Небесное подвижнику русского духа!»[95]

Ни клевета, ни хула, ни замалчивание дела и наследия Виктора Ипатьевича Аскоченского не смогли ничего убедительного противопоставить этому заключению.

А потому есть все основания присоединиться к словам-завещанию святителя Игнатия (Брянчанинова) из письма к брату Петру Александровичу от 12 января 1866 г.: «Должно благодарить В. И. Аскоченского и много благодарить!»[96]

А. Д. Каплин

Раздел I. Церковно-исторические сочинения

Киев с древнейшим его училищем академиею

Часть 1

Глава шестая

Основание киевского училища относится к той эпохе, когда конституцией сейма Люблинского, в 1569 году, окончательно утверждено начавшееся еще с 1501 года соединение Литвы с Польшей и когда Киев с прочими своими городами причислен к польскому королевству. Король Сигизмунд Август, обрадованный счастливо совершившимся событием, которое бесплодно, а между тем так много занимало его предшественников и стоило больших, но напрасных жертв, обещал всем новым своим подданным равные с прочими права, вольности и преимущества, несмотря на разность вероисповеданий. В это время (1568 г.) киевскою митрополией управлял *Иона IV Протасевич*, посвященный, по благословению константинопольского патриарха Митрофана III, в сан митрополита из епископов Туровских и Пинских. Это был один из тех ревнителей Православия, которые за свою твердость в благочестии и правоверии и за распространение оных заслужили от католиков, а потом и униатов достославное порицание[97]. Вследствие упомянутой королевской привилегии, существовавшие при церквах приходские школы, состоя под непосредственным ведомством митрополитов, день ото дня становились обширнее и цветущее. Обрадованные успехами воспитанников приходских училищ, киевляне стали думать об образовании братства и обратили особенное внимание на приходскую школу, уже существовавшую при Богоявленской церкви на Подоле. Летописи не передали нам памятников заботливой ревности первосвятителей киевских о благосостоянии таких училищ; но известно только то, что со времени митрополита Ионы I до Илии Кучи (1482–1577 гг.) власть и влияние римскокатолического духовенства во всей Литве, Волыни и Белоруссии значительно были ослаблены, а восточное Православие заметно приходило от силы в силу[98]. С полной вероятностью можно предполагать, что такой перевес Православия над католицизмом не мог произойти без распространения просвещения в народе, чему неизбежно должны были содействовать училища.

<…>

Хмельницкий Богдан, знаменитый защитник Православия и славный гетман войска

запорожского, первоначальным образованием своим обязан также киевской школе[99]. Здесь-то получил он то крепкое убеждение в истинах Православия, которое делало его непобедимым и против иезуитов, имевших его потом в своих училищах, и в пору неудач на поле бранном, когда ему оставалось одно лишь утешение, что он стоит за правое дело. Знаменитый воспитанник училища явился потом благодетелем и охранителем его в годину кровавых смут и страшных нестроений всего юго-западного края России.

Здесь же получили воспитание и знаменитые потом сподвижники Хмельницкого *Тетеря* и *Яким Самко*. Первый из них отличался между современниками отличным знанием латинского и польского языков; а последний, притворяясь безграмотным, удивлял всех своей письменностью и образованием[100].

Еще скупее древние хроники в передаче достоуважаемых имен первобытных учителей и наставников киевской школы. Мы знаем только двух: *Смотрицкого Мелетия* и *Борецкого Иова*.

Смотрицкий Мелетий происходил от благородных родителей греческого вероисповедания. Получив первоначальное образование в виленской иезуитской коллегии и докончив оное в краковской академии, *Смотрицкий* с детьми одного литовского вельможи, в качестве наставника, ездил за границу для посещения тамошних университетов и по возвращении своем, около 1610 года, поступил учителем в киевскую школу[101]. Здесь-то составил он свою грамматику, которая имела сильное влияние на развитие в Ломоносове такой любви к учению; здесь-то образовалась в нем мысль о введении в русские стихи тонического размера, вопреки общепринятому тогда обычаю писать силлабами. Со всей вероятностью можно заключить, что Смотрицкий был преподавателем собственно русской словесности, удержав за собой эту кафедру до поступления своего в архимандриты виленского и дерманского монастырей. К сожалению, непомерное честолюбие и оскорбленная гордость повели его к отступничеству, соделавшему его гонителем Веры православной и навсегда запятнавшему доброе имя одного из первейших и образованнейших наставников киевской школы[102].

Борецкий Иов, сам бывший воспитанником львовского училища, до поступления своего в игумены Михайловского монастыря проходил при киевском училище должность наставника: princeps scholarum, сказано в одной заметке рукописной книги, относящейся к древнейшей эпохе[103], qui causa necessitatis illustrissimus ipse professor fuerat haurientibus sacra studia, — и «бе, — говорит св. Димитрий Ростовский, — в божественном писании искусен, греческий и латинский язык добре умевый, и тех языков иные в школах учивый»[104]. Нет сомнения, что кафедра *Борецкого* была особенно по предмету богословскому и что преподавание языков, о котором упоминает святитель Ростовский, было лишь предуготовительным средством к уразумению наук высших, для изложения которых русский язык того времени был мало способен. Как бы то ни было, но киевское училище со всегдашней признательностью произносило и будет произносить имя этого ревностнейшего подвижника Православия и душеполезного просвещения.

Глава седьмая

В 1615 году Киево-Печерская Лавра, по ходатайству архимандрита своего Елисея Плетенецкого, получила от короля прежние свои привилегии и возвратила поместья, отнятые у нее Рагозою и Поцеем[105]. С этим вместе и братское богоявленское училище начало возрождаться из пепла, еще дымившегося вокруг него. Состоя в непосредственном попечении Лавры и за отсутствием православных митрополитов нашедши в бывшем воспитаннике своем архимандрите Елисее сильного себе покровителя, киевская школа в тот же самый год увидела

плоды просвещенной, отеческой его заботливости. Жена мозырского маршалка Степана Лозки, урожденная Гулевичева, записью, явленною в актах киевского земского суда 1615 года октября 15, с согласия своего супруга, подарила и отказала в вечное владение «наследственные свои имения, пользующиеся правами и вольностями дворянскими, под монастырь ставропигии патриаршеской, под школу детей, как дворянских, так и мещанских, и сверх того под гостиницу для странников духовных веры восточной кафолической Церкви». Благородная благодетельница киевского училища в записи же своей показала причину, побудившую ее к такому пожертвованию: «…живя, — говорит она, — постоянно в древней святой, Православной вере восточной Церкви и пылая к ней побожною ревностью к распространению славы Бога в Троице Единого, из любви и приверженности к братиям моим — народу русскому, для спасения души своей, я с давних времен умыслила сделать добро для Церкви Божией».

<…>

Не успела киевская школа еще окрепнуть в своих силах, как исконные враги Православия — иезуиты — поднялись против нее со своими хитростями и вредными замыслами. В то самое время как воздвигало православное братство из пепла разрушенные здания Богоявленской церкви и заводило, под руководством Исаии Купинского, училище, — иезуиты неподалеку от него, на том же Подоле, строили свой костел и основывали училище[106], несмотря на то, что учеников в ту пору у них налицо не было. Хитрые последователи Лойолы знали однако ж, что делали: они надеялись со временен привлечь к себе детей православных, и клевеща пред родителями их на основателей Богоявленского училища, имели в виду впоследствии совсем подорвать его и остаться единственными руководителями и наставниками киевского юношества[107].

Как бы в укрепление, утешение и ободрение юного училища, в самую опасную годину его существования прибыл в Киев муж силы, ума и ревности по истинной вере. Это был Феофан, патриарх Иерусалимский, в 1620 году возвращавшейся восвояси из Москвы, куда он ездил для сбора подаяний и где между прочим, посвятил Филарета Никитича в сан патриарший. Пока православные колебались сомнением о том, входить ли с ним в сношения или нет, пока рассматривали верющую его грамоту[108], — киево-богоявленское братство предложило ему все удобства в своем монастыре. С радостью принял такое обязательное приглашение знаменитый архипастырь, и все время пребывания своего в Киеве, около года, безотлучно жил в братстве. Здесь-то он присмотрелся ко всему тому, о чем с таким искренним утешением говорил потом в своих грамотах: «…случися нам благочестия цветы украшенную, паче же союзом любви еже о Господе спряженную братию, иже о непорочней еже в Господа нашего Иисуса Христа подвизающуюся вере зрети»[109]; видел он и «церковь новозаложенную святых Богоявлений и Благовещения Пресвятыя Богородицы», и странно-приимный двор братства церковного; видел он при нем и школу наук еллино-словенского и латинского письма; радовался он учителям, которые, научая благочестивой жизни и преподавая потребные науки, усердно объясняли и внушали желающим учиться, а особливо юным умам твердое исповедание веры и неизменное учение о догматах, установленных семью святыми Вселенскими соборами[110]. Благодаря о сем всех благ «Дателя Содетеля Бога» и патриарх Феофан первою своею грамотою благословляет киевское старейшее братство, укрепляя его на вечные времена и соглашаясь на основание при нем меньшего братства «младенческого»[111], с подчинением его братству старейшему. Вторая грамота Феофана объемлет собою весь состав Богоявленского училищного монастыря, за которым, утвердив право ставропигии с водружением креста, хранящегося до ныне и составляющего драгоценность Киевской Академии[112], он благословляет и утверждает школу наук еллино-славянского и латинского письма, с таким между прочим завещанием, чтобы дети христианские упражнялись во всяком благочестии и

чистоте. Кроме этого, он под опасением анафемы запретил всякому, как светскому, так и духовному, каким бы то ни было образом посягать на неприкосновенность ставропигии и благосостояние братства, школы и странноприимницы. Третья грамота Феофана, данная тому же училищу, есть свидетельство его пастырской ревности и отеческой заботливости о нравственной чистоте любезных чад своих. Верно, и до него дошли слухи о тех неприязненных действиях и хитрых кознях, какими постепенно окружаемо было православное училище. «Еще, — пишет он, — злохитрый и коварный древний враг, всякому добру ненавистник, рассеятель же злобы своея, да всяко дело благо разрушит, всяцеми образы наветовати тщится, и якоже избирая из начала собе сосуды лукавые человеки, иже образ благочестия имуще, силы же его отвергшеся, иже неутвержденных и простых человек от веры возвращают и во свою всепагубную ересь отводят». Вследствие такого усмотрения грозящей опасности, Феофан, благословляя и укрепляя братство как надежнейший оплот против «отступных ухищрения», повелевает «не расслабевати душею и не унывати телом, но быти благодушными и готовыми, вземши вся оружия Божия на прогнание враг»[113]. Обрадованные таким отеческим вниманием патриарха, жители Киева ревностно стали вписываться в упис, так что новых членов набралось в это время бесчисленное множество[114].

В это время к празднику Успения Пресв. Богородицы съехалось, по обыкновению, множество знатнейшего духовенства, дворян и запорожских казаков со своими начальными и гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным. Скорбя о бедственном положении сиротствующей киевской иерархии, все, и особенно казаки, стали неотступно просить патриарха Феофана поставить им православного митрополита и епархиальных епископов. Долго не соглашался осторожный святитель; но когда ему представили сеймовые польские конституции, определявшие свободу восточного вероисповедания и указали на пример прежних константинопольских патриархов, которые присылали в Киев ими самими избранных митрополитов: тогда Феофан склонился на общую просьбу и посвятил Иова Борецкого, игумена Михайловского монастыря, в сан митрополита. Возрадовались православные, увидев жезл архипастырский в руках такого просвещеннейшего мужа, но ненадолго...

Восстановление православной киевской иерархии в лице митрополита Иова встревожило униатских епископов. Тотчас по отъезде Феофана из Киева, они подали донос королю Сигизмунду III, что приезжавший патриарх был не кто иной, как султанский шпион и возмутитель малороссиян, что Иов Борецкий и другие посвященные Феофаном епископы суть его соумышленники, что самое посвящение их без королевского разрешения есть нарушение и презрение высшей правительственной власти. Окруженный иезуитами, король забыл на этот раз, что сам он в том же году предписывал киевским гражданам принимать священного гостя с почтением, что сам он в ту же пору повелевал всем украинским и подольским жителям провожать его честно, безопасно и со всяким удобством, забыл, что сам прислал ему открытую подорожную через своего коморника, назначенного в проводники к патриарху, и еще раз, подтверждав принимать его, «яко мужа почтенного и никаких неприятностей ему не делать»; сам даже писал к нему благосклонное письмо, называя его иерусалимским патриархом, снисходя ко всем его просьбам и даже приглашая к своему двору, — все это забыл Сигизмунд III, подстрекаемый злобою униатов и опутанный сетями иезуитской политики. Без всякого исследования доноса, он немедленно велел разослать универсалы, где все новопосвященные епископы объявлены изменниками, которых следует ловить и представлять королевскому суду. Такой несчастный оборот дела произвел страшное смятение в народе, среди которого униаты усердно сеяли разные клеветы и хулы на православных епископов. Напрасно новопосвященный полоцкий архиепископ Мелетий Смотрицкий писал в оправдание невинности патриарха Феофана, ссылаясь на права русского народа избирать себе пастырей; напрасно жаловался он на притеснение униатов[115]; голос его не был услышан. Напрасно митрополит Иов посылал для оправдания себя Иосифа, епископа Владимирского; — король требовал, чтобы к нему

явились и *все прочие*. Исполнить волю королевскую значило бы подвергнуть себя крайней опасности, и потому Иов написал только свое *Оправдание невинности*, посланное им к Сигизмунду III.

Тогда-то ожесточенные изверги поднялись с огнем и мечом на верных чад Церкви православной. Иезуиты и униаты, как бы соревнуя друг другу, употребляли все, что только могут внушить фанатизм и изуверство. Описание этих ужасов до глубины волнует душу самого спокойного испытателя и судии дел человеческих...

В это-то бурное время наравне с прочими и киевское училище подверглось опустошению. Братство было рассеяно; ученики и учители умирали в истязаниях; церковь разграблена, гостиница разорена, и не остаться бы камню на камне, если бы гетман Петр Конашевич-Сагайдачный со своими казаками не остановил буйства грабителей и убийц. Огорченный вероломством поляков, он отказался помогать им против турок и, поднявшись со своим станом, перешел через Днестр и вступил в Малороссию. С прибытием Сагайдачного в Киев гонение на православных значительно стало утихать. Он начал отнимать вооруженною рукою церкви, занятые католиками и униатами, и, овладев остатками киево-братского монастыря, занялся возобновлением как его, так и находившегося при нем училища. Не жалея никаких издержек, Сагайдачный поручил постройки сведущему в архитектуре гетману Жицкому, дал монастырю села и восстановил школу, пожертвовав ей все свое достояние[116]. Устроив все, как должно, Сагайдачный окончательно сложил с себя гетманство и принял иноческий сан. Меченосный защитник угнетаемого Православия явился здесь мирным оборонителем его, написав сочинение о св. вере, которое даже сами враги называли *предрагоценным*[117]. Там же, в восстановленном им братстве, покоится и прах Конашевича-Сагайдачного[118]. Памятником усердия его к братству остается доныне большой серебряный крест, хранящийся в монастырской ризнице с следующей надписью: «Року 1622 подал сей крест раб Божий Петр Конашевич-Сагайдачный, гетман войска его королевской милости запорожского до церкви святого Богоявления Господня в дом братский на отпущение грехов своих».

Между тем жалобы православных на угнетение, терпимое ими особенно от униатов, не давали Сигизмунду III покоя. Чтобы избавиться от них, он посылал в Грецию удостовериться, точно ли Феофан был патриарх Иерусалимский. Утвердительное показание посла заставило короля признать гонение, воздвигнутое им на новопосвященных епископов, напрасным: но тем дело и кончилось. Хитрые иезуиты не допустили своего питомца прекратить преследование православных, и грабежи продолжались по всей Украйне. Только страх от казаков, не щадивших в самом Киеве врагов Церкви восточной[119], укрощал несколько фанатизм униатов, и им только обязан утверждением своим престол православной киевской иерархии, восстановленной патриархом Феофаном[120].

Глава восьмая

Иов Борецкий[121]

Смотрицкий и его отступление от Православия. Волнение по сему случаю. Собор в Киево-Печерской Лавре 1628 года. Катехизис Иова. Состояние киевской школы. Вмешательство шведского короля Густава Адольфа в дела Малороссии. Обещание Сигизмунда III и его магнатов. Иов отправляет послов к царю Михаилу Федоровичу. Неуспешность сего посольства. Новые жалобы митрополита королю. Королевская грамота братству. Дозволение королевское о киевском поместном соборе. Действия униатского митрополита Велямина Рутского. Вмешательство папы. Униатский собор во Львове. Постановление коронного сейма 1631 года. Приобретения братства в эту эпоху. Типография в

Михайловском монастыре. Ректоры киевского училища: Сакович Кассиан, Земка Тарасий. Префект школы Сильвестр Коссов. Воспитанники. Училищные должности. Содержание школы.

1620–1631

Принятие архипастырского жезла Иовом Борецким случилось, как мы уже видели, в самую неблагоприятную эпоху, продолжавшуюся почти до конца его управления митрополией Киевской. К величайшему своему огорчению, он увидел одного из ученейших и ревностнейших защитников правого дела отступником и врагом Православия, помрачившим несколько и славу того училища, которого некогда он был достойным ректором. Это Мелетий Смотрицкий. Посвященный вместе с Иовом от патриарха Феофана в сан епископа Полоцкого, он приступил к исправлению своих обязанностей, не дожидаясь королевского утверждения. Оскорбленный этим Сигизмунд III отказал Мелетию в своем утверждении на том основании, что в Полоцке был уже униатский архиепископ, а православный епископский престол предположено было упразднить там. Такое унижение глубоко тронуло Смотрицкого; во что бы то ни стало он хотел удержать при себе сан епископский. Ему предстояла борьба с ученым униатским духовенством; Смотрицкий не отказался от нее и действовал сначала в духе Православия, думая разгромить своими сочинениями противников[122]. Но безуспешность такой брани наконец опротивела ему. Он стал склоняться на сторону унии и тайно сноситься с униатскими священниками еще при жизни униатско-полоцкого митрополита Иосафата Кунцевича[123]. По смерти его, около 1623 года, Смотрицкий решился отстать от своих единоверцев и перейти на сторону противников, чем надеялся, и не ошибся, достигнуть верховной власти над униатским духовенством в белорусских провинциях. Об этом соединении его с римскою церковью велено было ему самому сообщить папе и для этого отправиться в Рим, так однако ж чтоб не возбудить подозрения в своих единоверцах. Скоро представился к тому удобный случай: православные соотчичи дали Мелетию поручение к константинопольскому патриарху по каким-то делам церковным. Смотрицкий отправился сначала в Царьград, а потом в Рим, откуда воротился уже униатом. Скрывая свою тайну несколько времени, потом гласно объявил всем о своем присоединении к униатству.

Тяжело было благочестивому и мудрому старцу митрополиту Иову перенести такое отступничество одного из лучших и надежнейших своих сподвижников[124]. Приобретением такого члена общество униатов значительно усиливалось, а православное братство невольно должно было поколебаться в своих мнениях, увидев такого человека, как Смотрицкий, перешедшим на сторону злейших своих противников. Потому-то просвещенному архипастырю Киевской иерархии предстоял великий труд успокаивать взволнованные убеждения своего духовного стада; сама киевская школа могла представлять тогда предмет справедливых опасений, ибо ректором ее был известный Каллист Кассиан Сакович, человек отлично образованный, но напитанный духом вольномыслия и нетвердый в своих убеждениях[125].

Чтобы остановить такой соблазн, митрополит Иов 1621 года 15 декабря писал к львовскому братству, остерегая от отступников-униатов и убеждая к твердости в вере[126]; а чтоб успокоить ближайшую к себе паству, составил 1628 года в Киево-Печерской Лавре собор, на котором, по его предложению, рассмотрена книга Мелетия *Апология,* или *Оправдание путешествия по землям восточным*. Общим приговором сочинение это признано противным истинной Церкви, а сам автор принужден был торжественно отказаться от своих мнений, хотя Смотрицким было сделано это неискренно и лживо.

Но соборное обличение Мелетия в неправославии было только половиною дела, имевшего целью положить преграду распространению мнений, противных Церкви восточной. Собору

предлежало рассмотреть замечания, сделанные Смотрицким на катехизис, составленный, по приказанию Иова, греко-российским духовенством. Отринутые всеми, они в скором времени появились в печати из монастыря Дерманского, куда удалился раздраженный Мелетий, и тогда как самый катехизис оставался неизвестным народу, критика на него уже ходила по рукам ученой братии, предупредив таким образом всех не в пользу предполагаемого руководства для поучения и просвещения верных.

Между тем иезуиты и униаты, оспаривая законность существования киевской школы, воздвигнутой Сагайдачным без королевского разрешения, делали ей разные притеснения и обиды. Многочисленные вкладчики и покровители училища не смели продолжать своих благотворений: ибо в то время, если бы кто, даже по духовному завещанию, отказал что-нибудь в пользу церкви и училища, принимать не позволялось[127].

Налоги, утеснения, гонения на Малороссию до того усилились, что наконец воевода киевский нашел себя вынужденным принесть королю и сенату жалобу о горестном состоянии народа русского, доведенного до крайности. Королевич Владислав, уважавший отличные заслуги казаков в их походах на ливонцев, где он сам командовал малороссийскими войсками, заговорил в пользу их; король шведский Густав Адольф тоже принял сторону Малороссии. Опасаясь потерять в сем последнем надежного себе союзника, Сигизмунд обнадежил его облегчением участи малороссиян. Но не так легко было выполнить это королю, окруженному иезуитами, а магнаты его держали свое обещание до первого только сейма, обыкновенно составлявшегося, как говорит летописец, «из пьянства и чванства»[128].

Тогда митрополит Иов отправил из Киева в Москву Исаакия, епископа Луцкого, с просьбою к царю и патриарху принять Малороссию под свое покровительство. Уважая права народные и не желая поступить против чести, царь Михаил Федорович не захотел воспользоваться этим и нарушить мир с Польшей. Обнадежив однако ж малороссиян желанием быть им полезным в свое время, он щедро одарил митрополита и посланников его, и Малороссия опять осталась бороться своими собственными силами с врагами мира и спокойствия.

Была кровавая *Тарасова ночь*. Разбитые поляки старались помириться с казаками и предложили им в гетманы коневского уроженца Тимофея Арандаренка. Митрополит Иов и новый вождь храбрых запорожцев, съехавшись в Черкассах, положили отправить к королю двух представителей с жалобою на разорения, причиняемые Украйне войною. Вместе с этим Иов поручил им ходатайствовать у короля привилегию на заведенную в Киеве братскую школу.

Оружие казаков, опасность со стороны Великой России, начинавшей с неудовольствием смотреть на бедствия своих собратий, дипломатические переговоры Густава Адольфа с сильными запорожцами, наконец, преклонные лета — все это сделало короля Сигизмунда III уступчивей прежнего. 1629 года последовала королевская грамота, которою утверждалось устроение на усадьбе, подаренной Анною Гулевичевою, братства милосердия и богадельни с тем, дабы что «они своим иждивением ни построили бы, то на вечные времена должно оставаться во власти и ведомстве как их самих, так и их потомков»[129]. О школе, впрочем, тут не было упомянуто ни слова; очевидно, что грамота эта писалась под редакцией ближайших советников короля — иезуитов, для которых борьба с училищами была во сто раз трудней, чем разграбление церквей, монастырей и богаделен. Но на этот раз довольно было и такой привилегии; все-таки она могла служить хоть какою-нибудь защитой от беспрестанных нападений заклятых противников православного училища.

Вместе с этой грамотою митрополит Иов исходатайствовал у короля дозволение съехаться всем православным в Киев на поместный собор к 29 июня 1629 года для совещаний об успокоении Церкви православной от смятений, терпимых ею чрез отступничество некоторых значительных

(щекгульных) особ. В чем состояли деяния этого собора, вполне неизвестно; но из сочинения Евсевия Пимина[130] (псевдоним) видно, что тут решено было издать катехизис, бывший предметом нападений Смотрицкого.

Между тем униатский митрополит Велямин Рутский употреблял все средства, чтобы воспрепятствовать успехам православных. Видя, что от короля Сигизмунда мало помощи, он обратился к папе, излагая перед ним опасности для церкви римско-униатской от утверждаемой иерархии восточной и жалуясь на королевские привилегии, ослабляющие действия усердных слуг папского престола. Встревоженный папа тотчас же отправил грамоты к королю, своим епископам и магнатам, повелевая ловить и истреблять всех противящихся униатскому вероисповеданию. Но занятый внешними государственными делами, Сигизмунд III хладнокровно принимал папские воззвания, а магнаты сами боялись казаков, не щадивших их ни на поле бранном, ни в их собственных владениях. Одною властью епископскою в этом случае ничего нельзя было сделать; оставалось употребить более мирное средство. В 1629 году Рутский упросил короля созвать во Львов униатских и православных епископов для переговоров. Предвидя безуспешность этого собора и однако ж не желая ослушаться воли королевской, православные послали от себя своих наместников, и сделали очень хорошо. Там был Смотрицкий, предъявившей собору свой ожесточенный протест — Exenthesis s. expostulatie; естественно, рассмотрение этого сочинения могло бы повлечь к спорам и неприятностям, которые могли бы кончиться не так мирно. В настоящем же случае наместники, действовавшие не от своего лица, не пускаясь ни в какие состязания, не согласились отступить от послушания церкви константинопольской, и таким образом каждая сторона осталась при своем. Наконец, в 1631 году на коронном сейме, после самого шумного заседания, повелено духовным и мирянам обеих вероисповеданий сохранять мир и спокойствие, а за насильства и наезды на владения, принадлежащие православным, положен штраф в три тысячи гривен.

Таким образом, при конце жизни своей (1631 г.) митрополиту Иову привелось увидеть хоть малые плоды своих многолетних стараний о спокойствии угнетенного края. Мудрый и благоразумный, он, впрочем, не унывал и в годину бедствий и ревностно заботился о любимом своем детище — Богоявленской школе. Благодаря его попечительности, киевское братство в 1621 году успело приобрести покупкой у инокини Параскевы Кучинской в Сокольниках, против церкви Рождества Христова, место со строением и с семнадцатью оброчными дворами[131]; в 1624 году у киевской жительки, пирятинской старостины Лукии Миткевичевой, купило два места лавочные на Подоле против соборной Успенской церкви; в 1628 у казака Петра Динкова — дворовое место в улице Борисо-Глебской за восемь коп литовских[132]. Кроме этого сам митрополит Иов при дворе своем в монастыре Михайловском завел особую типографию под начальством некоего Спиридона Соболя[133].

После кратковременного управления Киево-братским училищем Исаии Купинского[134] (13), место старшего иеромонаха, а с тем вместе и начальника тамошней школы получил (1616 г.) *Кассиан Сакович*. Одаренный богатыми способностями, отличный богослов и известный в свое время поэт, он, без всякого сомнения, был полезнейшим наставником юношества, пока сам потом не уклонился от пути истинного. После него в 1631 году ректуру киевского училища принял *Тарасий Земка*, который однако ж в этой должности пробыл всего только один год по причине постигшей его смерти (1632 г.). Вместе с сими старейшими лицами школы проходил наставническую должность, в звании префекта, знаменитый *Сильвестр Коссов*, сам получивший первоначальное воспитание в сем училище и потом путешествовавший, по распоряжению Петра Могилы, за границей для усовершенствования себя в высших науках. В бытность свою наставником, Коссов сократил и издал на польском языке *Патерик Печерский*, присовокупив к тому некоторые исторические примечания, выбранные из писателей

греческих, латинских и польских, и при конце хронологический список митрополитов Киевских от времени крещения России до Петра Могилы: но, по замечанию преосвящ. Евгения, список этот не совсем верен. Католики и униаты всеми силами старались истреблять эту книгу, и потому-то она, как говорит Залусский в своем каталоге, удивительно редка (opusculum stupendae raritatis)[135].

Из числа воспитанников киевского училища эпохи митрополита Иова Борецкого пользуются известностью следующие:

Гизель Иннокентий, уроженец польской Пруссии, принадлежавший прежде к реформатскому закону. В юношеских летах прибывши в Киев и жаждая просвещения, он пожелал поступить в киевское училище; но, встретив препятствие к тому в своем вероисповедании, он обратился к греко-российской Церкви и поступил в число воспитанников православной школы. По окончании курса наук Гизель принял монашество в Киево-Печерской Лавре, откуда и послан был заграницу с Коссовым, Земкою, Трофимовичем и другими, избранными Петром Могилой.

Земка Тарасий, бывший, как сказано, ректором воспитавшей его школы. По возвращении из-за границы, Земка, как лучший из сотоварищей, был определен проповедником в Киево-Печерскую Лавру, потом корректором и директором тамошней типографии. Кальнофойский, современник Земки, называет его в надгробной надписи «мужем ученым в языках грецком, латинском, словенском и русском»[136]. Из сочинений Земки известен большой *трактат о литургии*, исполненный обширных канонических и патрологических сведений[137]. Тарасий Земка скончался 13 сентября 1632 года в должности ректора училища и погребен в Киево-Печерской Лавре.

<…>

Глава девятая

Исаия Купинский

Льгота Православию. Исаия Купинский проживает в разных местах. Первые годы Петра Могилы. Поступление его в Лавру. Дума о преобразовании учебной части. Пишет в защиту Православия. Посвящение Могилы в архимандриты. Прибытие из-за границы воспитанников его. Заведение школы при лаврском больничном монастыре. Невыгоды сего для Богоявленского училища. Жалобы киевлян. Петр Могила присовокупляет лаврское училище к братскому. Акт дворянства и мещанства киевского. Акт митрополита Исаии и всего освященного собора. Акт гетмана Петрижицкого и войска запорожского. Действия Петра Могилы по училищу. Петр Могила на варшавском сейме. Ему предлагают жезл киевской митрополии. Могила принимает предложение. Оправдание поступка Петра Могилы. Посвящение его в митрополиты. Последнее ходатайство Могилы в пользу училища. Возвращение его в Киев. Кончина Исаии.

1631–1693

Кратковременное управление митрополиею Исаии Купинского, бывшего дотоле архиепископом Смоленским и Черниговским, ознаменовалось по отношению к юго-западной России некоторою льготою для Православия, а по отношению к Киево-братскому училищу полным развитием многополезной деятельности Петра Могилы.

При самом вступлении своем на престол 1632 года король Владислав IV предпринял примирить православных и униатов. С этою целью сделано было им несколько благодетельных распоряжений, которые потом он подтвердил 1633 года на сейме коронациальном, присягнув в сохранении всех прав и вольностей диссидентов и в ненарушимости привилегий, данных церквам греческим[138].

Несмотря на такую привилегию, в самом Киеве сила и влияние укоренившегося там неправославного духовенства не так поспешно уступали власти королевской. Софийский собор еще находился в ведомстве униатов, и потому резиденция православного митрополита по-прежнему была в монастыре Михайловском. Управляя этою обителью, Исаия Купинский, по данной ему привилегии от православных князей Вишневецких, ездил по разным местам и проживал то в Переяславском Густинском монастыре, то в Ладинском скиту, то в Лубенском монастыре. Истинный аскет душою, он устраивал все эти обители по тому образцу, который изложил еще прежде в своей *Лествице*[139], а попечение о киевском училище предоставил знаменитому уже в то время своей ревностию по просвещению Петру Могиле.

Сей величайший благодетель киевской школы происходил от князей молдавских, был внуком волошского князя Иоанна и сыном молдавского князя Симеона[140]. Он принадлежал к тому семейству, которое всегда славилось своею ревностью по Православию и любовью к благолепию храмов Божиих[141]. В киевском каталоге митрополитов сказано, что Петр Могила получил воспитание в парижском университете, где выслушал полный курс словесных наук и богословия; другие же пишут, что он обучался в львовской школе[142]. Не утверждая ни того, ни другого мнения, видим только, что Могила совершенно был знаком с европейским образованием, ибо лучше всех усмотрел то, чего тогда не доставало нашему отечественному просвещению. В молодости, по сказанию Несецкого, он находился в военной службе и отличился в рядах польских войск под Хотином. Неизвестно, что заставило Петра Могилу променять блестящую карьеру, ожидавшую его в свете, на скромную долю инока: пути Промысла неисповедимы, и часто вопреки всем человеческим предположениям ведут они смертного к мете высокой, которой с другого, противоположного пути и не видно. Нельзя также указать с достоверностью, когда Могила принял на себя обет иноческого послушания, но известно, что в 1625 году он был уже пострижен в монахи в Киево-Печерской Лавре. Это была самая горячая пора, когда католики и униаты друг перед другом осыпали ругательными сочинениями Церковь восточную и когда Смотрицкий уже навлек на себя подозрение в измене Православию. Потомок княжеского рода, имевший, конечно, значительные связи, отлично образованный, Могила и в сане простого иеромонаха пользовался особенным влиянием на иерархические дела. Не мудрено также, что такой значительный человек находился в близких отношениях и к бывшему тогда митрополиту Иову и к архимандриту Печерской лавры Захарию Копыстенскому. С ними-то он думал думу крепкую о бедственном положении Церкви православной; с их-то благословения он исполнил замысел, дотоле небывалый. Не столько боясь огня и меча врагов веры истинной, сколько зловредного и хитро-обольстительного их учения, Петр Могила решился образовать достойнейших им соперников. Для этой цели, выбрав несколько молодых людей из иноческого и светского звания, он отправил их на своем собственном иждивении за границу, для усовершенствования в высших науках[143].

Между тем и сам Петр Могила не оставался бездейственным зрителем ожесточенной борьбы униатов с православными. Под именем *Филалета* выходили в свет сочинения, в которых с необыкновенною силою обличаемы были корыстные и противные чистоте веры побуждения католиков к распространению униатства. Этим псевдонимом пользовался между прочими и Могила, как это доказывается позднейшими изысканиями[144]. На одно из таких сочинений

сильно нападал впоследствии времени Смотрицкий, утверждая, что «единство это (уния) не последует до тех пор, пока здесь будут все портить такие писатели, как Стефан Зизаний[145], Христофор Филалет и Феофил Ортолог»[146].

По смерти Захарии Копыстенского Петр Могила, по общему согласию всей братии, возведен был в сан архимандрита Киево-Печерской Лавры, на что через три года последовало и благословение Кирилла Лукаря, патриарха Константинопольского, с пожалованием его в звание экзарха патриаршего престола. Достигнув такой высокой степени и полного влияния на училище — любимый предмет просвещенной его заботливости, — Петр Могила с нетерпением ожидал возвращения из-за границы своих питомцев. Наконец они явились в 1631 году, обогащенные всякого рода сведениями. Замыслив с такими сотрудниками совершенное преобразование существовавшего уже училища, Могила писал к Кириллу Лукарю, прося на то его святительского благословения, а чтобы действовать в этом деле независимо, он, с согласия всей братии, вознамерился открыть новую школу при лаврском больничном монастыре, снабдив ее особою, сообразною с открывшимися средствами инструкцией. В том же году получено было разрешительное благословение патриарха Кирилла и Могила немедленно приступил к исполнению задуманного им плана. В новоучрежденную школу определены были заграничные ученые, и школа открыла свои действия.

Богоявленскому училищу угрожала явная опасность. С устроением новой школы оно теряло одного из первейших своих протекторов, какими всегда бывали для него архимандриты Киево-Печерской Лавры; братство лишалось важнейших и необходимейших членов, к которым оно привыкло прибегать и за советом, и за пособием. Скромные достоинства домашних наставников никак не могли идти в сравнение с талантами и ученостью тех, которые с заграничным образованием заняли одинаковый с ними пост; число учеников в Богоявленском училище неизбежно должно было уменьшиться, ибо новый фундатор обещал «для некоторых лиц назначить из своей собственности как пищу, так и одежду на вечные времена по фундушевой записи»; обещал, доколе благодать Божия поддержит его на сем свете и сколько дозволят его силы и занятия архимандритские, быть непосредственным опекуном и покровителем училища и, нимало не медля, начал действовать с необыкновенной решительностью и горячностью в пользу задуманного дела[147]. Таким образом, школа феофановская видимо падала пред кирилловскою.

Сильно встревожилось этим Богоявленское братство. Положим, что новоучреждаемая школа также могла быть доступна всем без исключения; положим, что она будет даже выше и лучше Богоявленской: но она не на таком удобном месте[148]; к ней нужно будет пробираться бедным детям тропинками между гор и лесов[149], а между тем все уже облюбили то место, где старая школа; да и больно покинуть его, ибо там водрузил крест первосвятитель иерусалимского престола[150].

Немедленно «шляхта, обыватели воеводства киевского и все сполне (совокупно) уписние братия церковнии киевского братства православнии» вошли с словесным представлением[151] к Петру Могиле, умоляя его отменить свое решение и не основывать новой школы в Киево-Печерском монастыре. В то же время они вступили к митрополиту Исаии, к гетману Ивану Петрижицкому и ко всему войску запорожскому, испрашивая их ходатайства в сем деле. Умаливаемый всеми, Петр Могила «латво и невзборонене» — легко и беспрекословно — согласился исполнить желание усердных киевлян и, оставив мысль об учреждении училища при Киево-Печерской Лавре, соединил его с Богоявленским. В благодарность за это все члены братства актом, состоявшимся 30 декабря 1631 года, признали его старшим братом, пожизненным блюстителем как школ, при киевской братской церкви «от себе уфундованных», так и самой церкви и всего при ней монастыря, с тем, чтобы все доходы и пожертвования, уже

сделанные и имеющие быть, ни на что другое не были обращаемы и употребляемы, как только на ту ж Киево-братскую церковь, на монастырь, школы и трудящихся в них учителей. Впрочем, составлявшие акт выговорили себе право избирать из среды дворян, вписавшихся в братство, известное число старост, с тем, однако ж чтобы они ни в чем не прекословили советам и воле главного лица, но во всем бы слушались его как старшего брата, без нарушения, впрочем, их собственного фундуша, пожалованного братству иерусалимским патриархом[152]. В числе дальнейших условий сего акта поставлялось, чтобы братство подчинено было только константинопольскому патриаршему престолу и чтобы не было установляемо ничего противного Церкви Божией. Актодатели предваряли также, что Петр Могила только лично, а не по сану архимандритскому имеет быть пожизненным блюстителем как вписной и православный брат и что все, избираемые им лица, должны состоять под непосредственным благословением патриарха Константинопольского и в подчинении уставам Церкви восточной; противника же сему терпеть не должны. В случае выбытия Петра Могилы из братства, актодатели предоставляли ему право избрать, с общего их согласия, на место себя кого-либо способного, усердного и преданного тому святому месту и наукам из духовного или светского сословия. Под этим актом, кроме других рукоприкладств всего братства, подписались: Исаия Борискович, епископ Луцкий и Острожский, и Авраамий Стагонский, епископ Туровский[153]. Почти в то же самое время, именно 5 генваря 1632 года, последовала на имя Петра Могилы другая грамота от лица митрополита[154], православных епископов, архимандритов, игуменов, иеромонахов, протопопов, иереев и иноков, которые, как видно из этого акта, предварительно уговорив его не заводить новой школы при Лавре, предоставляли все те же права, какие изложены в акте киево-подолян. Здесь, впрочем, избрание преемника Петру Могиле ограничено несколько испрошением на то митрополитского благословения и сверх того требовалось, чтобы на возглашениях и ектениях было поминаемо имя митрополита по тому уважению, что «яко с початку, — говорит Исаия Купинский, — за стараньем нашим, так и теперь за благословением тое местце святое фундоватися мает»[155].

Те же самые права утверждены были за Петром Могилой и грамотою гетмана Ивана Петрижицкого, эсаулов, полковников и всего войска запорожского, последовавшею 12 марта 1632 года. Утверждая за фундатором известные привилегии, актодатели обещались церковь монастырскую, школы, богадельню и все к ним относящееся иметь под своей защитою от всяких «неприятелей, противностей и перешкод моцно боронити, заступати и за них до смерти своей заставлятися»[156]. Под этой грамотой от имени двух гетманов — Ивана Петрижицкого и Андрея Гавриловича — подписался писарь войска запорожского Савва Гробневский[157]. Впоследствии времени акт этот был утвержден Богданом и Юрием Хмельницкими, которые подписались «власною рукою, не уймуючи ничого тых прав и наданья войскового»[158].

Еще до получения сих двух последних грамот Петр Могила согласился исполнить общее желание и 11 марта 1631 года внес имя свое в братский упис как «старший брат, опекун и фундатор того святого братства»[159]. Таким образом опасность, угрожавшая Богоявленскому училищу, была отвращена усердием киево-подолян, ходатайством христолюбивых защитников Малороссии и архипастырским благословением маститого первостоятеля Киевской иерархии.

В том же году (1631 декабря 10) Петр Могила начал постройку каменного здания, назначаемого собственно для аудиторий[160], и в то же время перевез несколько деревянных срубов из больничного лаврского монастыря, при котором он прежде думал основать свое училище. Из них воздвигнуты были здания для помещения учащих и учащихся, а в странноприемном братском доме заведена для приходящих бедных учеников особая бурса[161]. Все это — как постройку зданий, так и содержание наставников и школьников — Петр Могила принял на свое собственное иждивение. Состоя между тем архимандритом

Киево-Печерской Лавры, он отдал в трехлетнюю посессию Богоявленскому училищу из лаврских вотчин волость Винницкую, село Гнедин и две деревни — Процев и Ревное.

В это время, по случаю кончины польского короля Сигизмунда III (30 апреля 1632 г.), составился в Кракове сейм для избрания ему преемника, куда приглашены были и все чины духовные и светские. Митрополит Исаия Купинский, обремененный немощами и старостью, не мог сам туда отправиться и по совету всего киевского духовенства отпустил на сейм Петра Могилу в качестве своего представителя. Лучше этого выбора на этот случай нельзя было сделать, и сам митрополит Исаия никогда бы не достиг того, что сделал Могила. Немедленно по прибытии своем в Краков он от лица сопровождавшего его духовенства и дворян отозвался, что все они до тех пор ни к чему не приступят, пока по силе инструкции, данной им от всего народа, не истребуют у сейма, чтобы все епископства и прочие церковные достоинства, вместе с имениями, отобраны были от униатов и возвращены православным. Такое настоятельное требование сильно изумило членов сейма; но не желая останавливать чрез это открытия заседаний и терять время в споре о постороннем вопросе, королевич Владислав с сенатом принял предложение Петра Могилы. Видя это, митрополит униатский Велямин-Рутский начал было защищать права своих единоверцев: но заметив неуспех, старался всеми силами, по крайней мере, отложить на дальнейшее время исполнение этого проекта. Петр Могила между тем действовал неусыпно; несогласия возрастали и грозили подавить собою единодушие, так необходимое при решении важнейшего государственного дела — избрания на престол преемника Сигизмунду III. Кончилось тем, что сам Рутский должен был подписать акт соглашения, по которому, между прочим, седьмым пунктом дозволялось братствам свободное распоряжение школами, семинариями и богадельнями. Акт этот утвержден был печатями королевича и митрополита Велямина-Рутского, и для большего уважения упомянуто об нем в конвокационных актах, а для всеобщего сведения списки с него разосланы были по всем сеймикам, несмотря на несогласие папского нунция и даже самого папы.

При всем том договор этот далеко был не таков, какого хотели русские. Первоначальная уступка придала им смелости, а тревожная пора позволяла им ожидать непременного успеха от своей настойчивости. Взоры всех обращены были на Петра Могилу, который больше прочих противился принятию этого акта и тайно рассылал по всем воеводствам письма, советуя не принимать уже написанных условий, а дожидаться окончания начатого дела. Между тем в намерении усилить свою партию он приглашал как можно более обывателей из всех воеводств и приезжавших уговаривал твердо стоять на своем и ни на шаг не уступать католикам и униатам[162]. Начались споры, самые шумные; некоторые члены сената и рыцарства горячо отстаивали униатов: но против всех их стоял Петр Могила, которого не так легко было побороть. Назначили особую комиссию для решения этого вопроса: но и комиссия ничего не сделала. Тогда дело предоставили решению королевича Владислава и его совета. По рассмотрении всех прав, какими издревле пользовались православные и какие предвосхищены потом униатами, наконец состоялся приговор со взаимными уступками с той и другой из тяжущихся сторон. Но ни православные, ни униаты не остались этим довольны. Первые, полагаясь на свою многочисленность и значительность влияния на избирательный сейм, надеялись непременно поправить дело, а последние, чувствуя себя оскорбленными, пустились в жалобы и немедленно отнеслись с этим к папскому нунцию и самому папе. Само собою, что подобный поступок униатов при настоящих обстоятельствах был крайне не дипломатичен. Противники Петра Могилы, умного, твердого и дальновидного защитника правого дела, должны были проиграть — и проиграли. Несмотря на все протесты католического и униатского духовенства, православные получили от Владислава диплом, которым подтверждалось, между прочим, свободное исповедание веры, совершение таинств, позволение починять церкви и строить новые, заводить при церквах и монастырях братства, богадельни, школы, семинарии и типографии; повелено все споры и распри о вере прекратить, все приговоры, прежними

сеймами против диссидентов сделанные, уничтожить и впредь жить всем в покое без притеснения друг друга. По силе этой привилегии подтверждено было право русскому православному духовенству, дворянству и всему православному народу в Литве и Польше набирать себе православного митрополита и посвящаться ему от константинопольского патриарха по привилегиям, данным от прежних королей; кафедральный Софийский монастырь со своим собором снова поступил в ведомство православного митрополита, исключая вотчин оного, имеющих оставаться в дожизненном владении униатского митрополита Велямина Рутского, с предоставлением в управление его и Выдубицкого монастыря. Все киевские монастыри переданы в ведение православного киевского митрополита и проч.[163] Постановления сии, несмотря на протесты униатов, утверждены королем и сеймом 1 ноября 1632 года.

Вот что сделал один человек, обладавший несокрушимою силою воли, гибким умом и знанием дипломатического дела! Княжич по происхождению, мало имевший себе соперников по воспитанию, образец по ревности к вере и Православию, — один только Могила мог в то время так неутомимо бороться и так победоносно выйти из такой неравной борьбы.

Но ему предстояла другая забота. Мало — приобрести; нужно было подумать о том, как сохранить приобретенное. Петру Могиле очень хорошо было известно, что иезуиты и униаты не отдадут беспрекословно того, что они уже привыкли считать своею собственностью, что с ними надо будет действовать энергически, не давая им опомниться от такого удара, что медленность и нерешительность в этих обстоятельствах могут быть причиною еще тягчайших бедствий и гонений на Православие. С другой стороны, он видел, что жезл киевской иерархии в дряхлых уже руках, что митрополит Исаия не выдержит ожидаемого напора со стороны на время только обессиленных врагов Церкви восточной. Поставляя все это на вид православным, собравшимся на сейм, Могила просил серьезно заняться обеспечением того, что приобретено его собственными трудами. Само собой разумеется, что все лучшие надежды православных сосредоточивались на самом Могиле; собравшиеся на сейм единодушно предложили ему жезл Киевской митрополии, несмотря на то, что Исаия Купинский находился еще в живых. Странно было бы в таком важном случае прибегать к лицемерным отказам и, встащивши тяжесть до половины крутой горы, оставить, чтобы она потом скатилась вниз. Могила не мог не видеть, что, соглашаясь на предлагаемый ему престол, он оказывается некоторым образом неблагодарным к своему ближайшему благодетелю, что дело это может лечь пятном на его достославную память: но в деле великом умиротворения напаствуемой Церкви и обороны ее интересов он решился пожертвовать своею личною безукоризненностью и принял жезл архипастырский.

А с другой стороны, не благословил ли его на это и сам Купинский? Быстрое возвышение Петра Могилы по ступеням иерархическим, предоставление ему исключительного права быть опекуном братского училища, избрание и посольство вместо себя на конвокационный сейм, решительные и настойчивые действия Могилы в пользу Киевской митрополии и епархий, зависевших от нее, — все это такие обстоятельства, которые решительно заставляют думать, что Исаия собственными руками отдавал ему жезл архипастырства. И в пору крепости и силы он не мог долго нести бремя общественного служения, пробыв только один год блюстителем школы и потом снова обратившись в свои любимые пещеры препод. Антония: мудрено ли же, что теперь — дряхлый и немощный, постоянно обуреваемый напастями, против которых стоять с твердостью, приличною столь высокому посту, ему уж было не по силам, — мудрено ли, что перед отправлением Могилы на сейм благочестивый старец сам благословил его искать себе первосвятительского места? Не сказывая никому об этом, Могила действовал в пользу Церкви, дабы заслужить право быть архипастырем ее; потом уже, когда действия его увенчались желаемым успехом, он заговорил и об обеспечении плодов своей ревности на будущее время.

Тайны тут не было никакой; предложение сана митрополитского сделано было ему гласно, и быть не может, чтобы кто-либо из знавших об этом не потрудился донести обо всем здесь происходившем Купинскому. Будь же это избрание Могилы не по мысли Исаии, он успел бы предупредить исполнение затеянного дела, продолжавшегося почти год, и не преминул бы писать об этом и к православным, бывшим на сейме, и к подведомственным ему епископам и даже к самому королю; наконец, хоть кто-нибудь отозвался бы словом несогласия, когда Могила объявлял себя киевским митрополитом; а мы не видим ни протеста, ни жалобы. По прибытии нового митрополита Исаия спокойно и благодушно сходит с утомившего его поприща, конечно благословляя в душе сильного умом и волею мужа, подъявшего тяжкое бремя на рамена свои.

Наконец, что могло заставить Петра Могилу прибегать к такому неблаговидному поступку? Желание почестей? Но он и без того был осыпан ими. Жезл первосвятительства киевского? Но кому ж не было видно, что он непременно и скоро перейдет в руки сего достойнейшего мужа? Да и мог ли такой глубокий дипломат и политик, каким является Петр Могила, решиться на дело, ближайшим исходом которого была оппозиция, смятение в целой иерархии и наконец, неудача? Если даже предположить в таком человеке ненасытимую жажду честолюбия, то и тут не было никакой надобности прибегать к поступку, который в политическом отношении мог быть более чем преступлением, — ошибкой. Подождать год — другой, и желаемая цель была бы достигнута.

Купинский был дряхл, немощен и видимо клонился к могиле, в которую и сошел менее чем через год по оставлении первосвятительского поста. Но кто же осмелится в Петре Могиле, в высшей степени бескорыстном, честном и благородном, против которого даже самые враги не находили что сказать, предполагать такие жалкие, близорукие и нечистые побуждения? Если иезуиты, так всегда склонные к клевете, во время своего нападения на коллегию не поставили фундатору ее — Могиле — в вину предвосхищение митрополитского престола и только обвиняли его в мнимом неправославии: то не явный ли это знак того, что дело Могилы было чисто и право? Слишком много данных предоставил нам Могила всею своею жизнью, чтобы поступок его с Купинским можно было считать пятном, лежащим на его достоуважаемом имени.

Характер митрополита Исаии является в этом случае во всем блеске христианских добродетелей. Сознав себя немощным в деле многосложного управления тогдашней иерархией, он поставил себя выше всякого самолюбия, так, к несчастию, сродного человеку; а избрав в лице Петра Могилы преемника себе, он показал тем мудрость и уменье найти и отличить достойного человека.

Согласившись на желание православных, Петр Могила обратился с представлением об этом к королю. С этой стороны остановки не было; Могила немедленно получил грамоту. Но чтобы поступком своим не произвести какого-либо смятения между православными, остававшимися в Киеве, он отправил в Константинополь ректора киевских школ Исаию Трофимовича для получения от патриарха благословения на посвящение свое в митрополиты. Бывший тогда на патриаршем престоле Кирилл Контарино, без всякого с своей стороны прекословия, изъявил согласие. Чтобы придать более силы и важности сему делу, новонареченный митрополит, уже имевший на своей стороне избранных людей от киевского братства, отправился в г. Львов и там при братском ставропигиальном монастыре Успения Пресв. Богородицы, среди ученых братий, стал ожидать прибытия депутатов от луцкого братства[164]. Оградив, таким образом, избрание свое всеми законными формальностями и приобретши в лице всех современных ученых наличных свидетелей, Петр Могила вызвал во Львов валашского митрополита с епископами и принял от него посвящение 1633 года на Фоминой неделе[165].

После этого Петр Могила снова воротился в Краков и присутствовал при коронации короля Владислава IV, последовавшей 6 февраля того же года. И в эту торжественную пору Могила не терял из виду своего возлюбленного училища. Испросив себе позволение и в сане митрополита оставаться архимандритом Киево-Печерской Лавры, а также и Никольского монастыря блюстителем, Могила начал ходатайствовать о дозволении преобразовать Киево-братские Богоявленские школы в православную академию. Но сколь легко достиг он утверждения первой своей просьбы, столь же трудно было ему отстоять последнее требование. Особенно неприятно это было католическому духовенству и униатскому: ибо оно ясно видело, что заведением первоклассного училища готовится неизбежный подрыв всему тому, что воздвигали они столько лет и с такими неприятностями и трудами. Некоторые из значительнейших чинов сейма решительно отвергли просьбу Петра Могилы: но когда Владислав IV, по неотступному его ходатайству, изъявил твердую свою волю о преобразовании Киево-братского училища; тогда заспорили о переименовании его в академию. Могила уже не счел нужным гнаться за именем, когда самое дело было сделано, и 14 марта 1633 года получил желаемую привилегию на образование *коллегии*[166]. Несмотря, однако ж на то, что грамота эта написана была в самом ограниченном смысле, коронный великий канцлер Жалзик епископ Хелмский и подканцлер коронный Фома Замойский не захотели приложить к ней своих печатей[167].

В 1633 году Петр Могила возвратился в Киев и объявил себя митрополитом. Престарелый Исаия Купинский немедленно переехал из Михайловского монастыря в Киево0Печерскую Лавру, где 1634 года скончался[168].

Глава десятая

Петр Могила

Война между Польшей и Великой Россией. Униаты снова поднимаются против православных. Могила возвращает и возобновляет Софийский собор. Занятия его по училищу. Преобразования школы. Пожертвования Могилы и прочего братства. Интриги иезуитов. Восстание киевлян на братскую школу. Апология Коссова. Киевляне успокоены. Костел доминиканский. Униатский митрополит Рафаил Корсак. Грамота Владислава IV Богоявленскому училищу. Угнетение Малороссии. Казацкие войны. Новые происки иезуитов. Безмятежность Киево-братского училища. Обеспечение его в содержании. Распределение классов. Классы низшие. Классы средние. Пиитика и риторика. Диалектика. Любовь воспитанников к словесным наукам. Классы высшие. Философия. Холодность воспитанников к этой науке. Другие науки, входившие в класс философский. Богословие. Причины цветущего его состояния. Руководства по богословию. Гомилетика. Великая и малая инструкция. Преподавание языка латинского. Авдиторы. Нотаты. Субботки. Экзерциции и оккупации. Соревнование учеников. Calculum. Язык славянский. Бедность преподавания его в коллегии. Теоретическое изучение и филологическая разработка русского слова. Грамматика львовская. Грамматика Зизания. Грамматика Смотрицкого. Словарь Зизания. Памва Берында и словарь его. Преподавание греческого языка. Польский язык. Начальствующие лица в коллегии. Ректор и обязанности его. Префект. Супер-интендент. Визитаторы. Сениоры. Директор. Цензоры. Magistri sodalium. Инспекторы. Калефакторы. Студенты и ученики. Наименование киевского училища коллегией. Патриотическое слово Петра Могилы и следствие того для коллегии. Завещание Петра Могилы. Его пожертвования в пользу коллегии. 31 декабря. Последнее слово о Могиле. Состояние коллегии после Петра Могилы. Ректоры коллегии: Трофимович Исаия, Початский Софроний, Оксенович Игнатий, Кононович Иосиф, Гизель Иннокентий. Наставники: Галятовский Иоанникий, Славеницкий Епифаний, Сатановский Арсений. Замечательные воспитанники: Баранович Лазарь, Домецкий Гавриил,

Иовлевич Игнатий, Радивиловский Антоний, Савелов Иоаким, Софонович Феодосий.

1633–1647

В первый год вступления Петра Могилы на Киевскую митрополию возгорелась война между Польшей и Великой Россией. Оскорбляемый явною неприязнью поляков, царь Михаил Федорович выслал против них огромное войско, снабдив его всякими боевыми снарядами и назначив главным полководцем воеводу, боярина Шеина. Но поход этот кончился весьма неудачно: при заключении мира русские должны были уступить полякам Чернигов, Новгород-Северск и Смоленск[169].

Пользуясь таким неблагоприятным для нашего Отечества оборотом дел и выставляя на вид сочувствие малороссиян к общему делу всей России, митрополит униатский Велямин Рутский сильно начал настаивать на то, чтобы отнять у Петра Могилы киевскую митрополию: но благодаря твердости короля Владислава IV и зоркой блюстительности Могилы, опасность эта была отвращена. Мало того, конституцией 1635 года подтверждены вновь привилегии православных.

Не медля нимало, митрополит Петр Могила отобрал от униатов и собор, и монастырь Софийский. Враги Православия, зная наперед, что они недолговечные тут хозяева, спешили сколько можно воспользоваться вотчинами и сокровищами софийскими и самый храм до того ободрали, повредили и опустошали, что пастырю-возобновителю стоило больших трудов и издержек очистить только его от развалин и кучи сору и щебня. Опасаясь за прочность вековечных стен, подточенных невежественною злобою изуверов, Петр Могила велел наложить с боков над нижними боковыми присенками вровень с Ярославовою церковью по две верхние галереи, а западный присенок остался крыльцом. Кроме этого, до самого верха приделанных галерей подведены контрфорсы или быки. Таким образом, древняя Ярославова церковь скрылась в этих прибавлениях; по крайней мере она хранится в них в целости, как драгоценный перл в ковчеге.

Но Могиле предлежал важнейший труд возобновить древний порядок церковных чиноположений и обрядов по всей православной иерархии. Униаты коснулись нечистой своей рукой и этой святыни; они даже постарались истребить из памяти тот устав церковный, какого держался Киев[170]. Для возобновления православной обрядности во всей ее чистоте, Могила издал, прежде всего церковный служебник и наконец полный требник — плод неусыпной своей заботливости о благосостоянии Церкви православной.

Исправив, таким образом, собственно по Киевской иерархии самое необходимое, Могила обратился к Киево-братскому училищу. Он подарил ему с первого раза хутор Позняковщину и потом занялся внутренним его преобразованием. Подчинив своей власти заведенный им в эту пору братский коллегиатский монастырь[171], Могила, следуя примеру академии краковской, открыл в своей школе полный курс наук словесных, начиная с нижних классов до философии и богословия, завел библиотеку и типографию, которая, впрочем, недолго там существовала, а была соединена с лаврскою. Вместе с этим Киево-братская школа была переименована в *коллегию* и возведена на степень первоклассных училищ, а для приготовления учеников в новообразованную коллегию Петр Могила основал особую школу в Виннице, местечке, принадлежавшему прежде Лавре.

Воспитанники училищ были разделены на два разряда: высший и низший. К первому принадлежали студенты богословия и философии, называвшиеся sodales Majoris Congregationis, ко второму — ученики риторики и низших классов, носившие наименование

sodales Minoris Congregationis. С этим вместе построена и конгрегационная училищная церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба[172]. В настоятели этой церкви назначен был иеромонах, обыкновенно бывший учителем риторики, который потому назывался Pater Congregationis. Впрочем, для служения, происходившего здесь только по воскресным и праздничным дням, определен был особый из учителей же священник белого духовенства, который бывал и духовником воспитанников, напутствовал больных таинствами и погребал умерших.

Обновляемая внутри, киевская коллегия видела умножение своего благосостояния и с внешней стороны. Гетман Петрижицкий и все киевское дворянство в самый год прибытия Петра Могилы на митрополию дали училищу в вечное владение сельцо Борщаговку. В 1632 году оно получало от некоего Криштофа Сулимовского дворовое место[173] да по духовной записи мещанина Семена Татарина — двор со строением на криницкой земле. Привилегиею Владислава, короля польского, пожалованною 1636 года, позволено братству провести трубами воду в монастырь, а по данной Федора Семенова 1643 года коллегия приобрела дворовое место на Подоле[174].

Такое возвышение киевской коллегии не могло быть приятно иезуитам и монахам других орденов, основавшим еще прежде того свои училища. Отчаявшись победить коллегию открытою силою, они решились прибегнуть к злобной хитрости. Из-под руки стали они распускать слухи, что вновь сформированная коллегия отнюдь не есть православное училище, что сам Петр Могила есть не русский, а какой-то злонамеренный выходец, что он нарочно, для развращения простого народа, посылал за границу молодых людей, которые, воротившись оттуда арианами, кальвинистами и лютеранами, ныне в качестве наставников юношества распространяют учение, совершенно противное Православию. Такие толки расходились в народе с необыкновенною быстротою. Преподавание наук на языке латинском служило как бы подтверждением клеветы, распускаемой иезуитами и их клевретами. Простодушные киевляне начали уже неблагосклонно смотреть на коллегию и воспитанников ее величали бранчивым названием латинников и униатов. Поджигаемые католическим духовенством, они требовали, что если уж нельзя обойтись без иностранного языка, то чтобы вместо латинского введен был греческий, и наконец стали приступать с угрозами к стенам самой коллегии. Около 1634 года волнение это достигло высшей степени; толпами стекались казаки, подущаемые некоторыми неучеными священниками из православных, и требовали немедленного прекращения учения, угрожая в противном случае убить и Петра Могилу, и всех коллегиальных учителей. Коссов на первой странице своей апологии пишет, что наставники однажды уже приготовились исповедью к смерти. «Это было такое время, — говорит он, — когда мы, исповедавшись, ежеминутно ожидали, что шляхта вздумает начинять нами днепровских осетров, или когда одного огнем, а другого мечем отправят на тот свет». Едва кое-как могли образумить бунтовщиков. Сильвестр Коссов, бывший на ту пору префектом коллегии и лично защищавший ее словом убеждения от нападений неблагоразумных ревнителей чистоты веры, написал впоследствии апологию[175], в которой, изъясняв различие догматов ариянских, кальвинских и лютеранских от православных греко-российских, уверяет, что преподаватели коллегии совершенно далеки от всего, что противно вере истинной, и хотя они сами и обучались в иностранных академиях, но все истинно православные и всегда твердо стоят в том. Что касается до преподавания наук на языке латинском и вообще до латыни: то «самая главная необходимость, — говорит Коссов, — в латинских школах та, чтобы бедной Руси нашей не называли глупой Русью. А то поедет бедняга русин на трибунал, на сейм или на сеймик в уездный городской суд или земский, смотришь — bez laciny placi winy (без латыни без вины виноват): ни судьи, ни стряпчего, ни ума, ни посла; глядит только то на того, то на другого, вытаращив глаза, как ворона». Притом, доказывает Коссов, по привилегии короля Сигизмунда III по латине обучали и в львовском, и в виленском православных училищах, и однако ж никто

не ставил им этого в упрек и поношение. А что теперь в киевских школах преподавание наук обширнее, то за это надо благодарить Бога, ибо теперешнее русское юношество уже не имеет надобности ездить за образованием в какой-нибудь Ингольштадт или Ольмюц; все то можно приобрести ныне дома. «Ты же, — заключает свою апологию Коссов, — исполненный святыни народ Русский, при иных, издавна принадлежащих тебе правах, прежде помазанниками Божиими преемственно тебе дарованных, и ныне умиленнейше проси, как милости, чтобы тебе не возбраняли сей манны свободных наук, а чтобы удовлетворяя твоей настоятельной потребности, позволяли источнику общеполезных муз разливаться у тебя океаном, при содействии твоих же братий, утвержденных в древней твоей вере. Ибо тогда только церкви твои наполнятся священниками просвещенными и богобоязненными; кафедры твои процветут проповедниками красноречивыми; потомки твои, утвержденные в отеческой вере и украшенные витийством, философией, законоведением, прославятся мнениями, суждениями, доводами на вольных сеймах, на трибуналах и земских судах; твои ходатаи по делам не преминут искать справедливости у судов, какие бы они ни были, и неусыпно станут оберегать права твои. Мы же, ради их и ради тебя и ради клеветника, завистливо расточающего клеветы на нас, почитаем себя обязанными молить Всевышнего, да благословит Он даровать нашей Сусанне своих Даниилов».

К счастью, невольное ослепление киевлян продолжалось недолго. Они увидели, кому служили орудием, и не только не мешали детям своим поступать в эти Horrea Apollinea, но еще усилили и свою собственную ревность различными приношениями. «По благословению Всеведущего, — говорит Коссов, — их милости господа обыватели города Киева и других уделов стали не только наполнять наши Horrea Apollinea детьми своими, как муравьями, гораздо в большем числе чем прежде, при наших предшественниках: но и титуловать оные Геликоном, Парнассом и хвалиться ими».

Несмотря, однако же, на всю энергию, с какою Петр Могила приступил к очищению своей паствы от католицизма и униатства, он никак не мог совладать с орденами монахов, везде, где только можно, утверждавших свои приходы и капитулы. В самом Киеве доминикане в 1640 году построили на Подоле новый великолепный Никольский монастырь[176], в котором генерал-викарий русской доминиканской провинции Иероним Грабов-Гроховский открыл тогда же и капитул свой[177]. Наместник Велямина Рутского новый униатский митрополит Рафаил Корсак, несмотря на бесспорный смысл королевской грамоты, вздумал отстаивать и укреплять за собою дожизненные права своего предместника: но Петр Могила не допустил его до этого, и в ту же пору назначил Выдубицкий монастырь своему коадьютору, которого впрочем, не имел. Неусыпно радея о пользах Богоявленского монастыря, Могила внушил бывшему тогда игумену оного и ректору коллегии Игнатию Оксеновичу-Старушичу ходатайствовать у короля о предоставлении братству во владение двух киевских церквей, Трехсвятительской в Крестовоздвиженской[178], остававшихся долгое время в запустении и потом перешедших в собственность частных лиц. Просьба эта имела успех, и королевскою грамотою 1640 года богоявленский игумен и братия его введены во владение упомянутыми церквами со всеми дворами, оброчными людьми, строениями, грунтами, полями, сенокосами, пастбищами, озерами, прудами, садками и всяким иным имуществом и доходами, издревле принадлежавшими тем церквам[179]. Все это подтверждено было в последствии времени (1650 г.) и грамотою короля Яна Казимира.

Но что значили все королевские привилегии, все акты и договоры для народа, которым управляли несколько своевольных магнатов, которого совесть убаюкивала иезуитская логика, в основе своей имевшая *честную ложь* (pia fraus)! Ставя собственный произвол себе законом, королевские чиновники притесняли всякого, не принадлежавшего к Церкви католической, в полном убеждении, что они, если нужно, всегда найдут защиту в высших сановниках,

постоянно окруженных последователями Лойолы. Малороссияне взялись за оружие. Несчастная для них битва под Кумейками была началом бедствий, едва прекращенных грамотой Владислава IV. Сейм 1637 года уничтожил все прежние преимущества и привилегии, отнял право свободного избирания и сравнял регистрового казака с холопом. Иезуиты и униаты ободрились, и стали настоятельнее действовать под защитой польского оружия и под предлогом искоренения мнимых мятежников королевской власти. Напрасно честный и великодушный Владислав IV старался оградить конституционными грамотами гонимых сынов Церкви восточной[180]; напрасно выставлял он на вид членов сейма страшный вред для самого государства, происходящий от таких кровопролитий: ожесточенные магнаты ничего не слушали и вносили огнь и меч в бедствующую Украйну. Самый Киев подвергался более или менее жестоким опустошениям, и только крепкая рука Петра Могилы могла удержать иезуитов и униатов от неоднократных покушений на Софийский и Михайловский храмы; только имя его одного еще держало в границах некоторой умеренности врагов киевской коллегии. Все прочее подвергалось грабежу и разорению. Толпы вооруженных поляков беспрепятственно расхаживали по узким улицам первобытной столицы Руси святой и считали себе все позволенным, не уважая ни святыни, ни пола, ни возраста. Подол, обнесенный деревянным забором с такими же башнями и окопанный ничтожным рвом, представлял самую жалкую защиту для жителей, которых в обеих частях Киева было всего от пяти до шести тысяч. Боплан пишет, что в его время (около 1646 года) во всем Киеве насчитывалось не более десяти православных церквей, да и то полуразрушенных и ограбленных[181].

Поистине удивительно, как в такое бурное время Петр Могила мог удержать свою коллегию в возможно цветущем состоянии! Все вокруг волновалось и кипело, а в стенах богоявленского братства была тишина и спокойствие, да слышался голос педагога, внушавшего юному поколению «належные науки к цвеченю побожного живота».

Обеспеченная в содержании капиталами, щедро отпускаемыми привилегированным опекуном своим, и доходами от сел, деревень и дворовых мест, коллегия киевская при Петре Могиле не имела большой надобности в тех пособиях, к которым впоследствии принуждена она была прибегать. Хотя Петр Могила и учредил так называемые *конгрегации*, имевшие целью сбор доброхотных подаяний: но они существовала только как более торжественный обход всех вписанных членов училищного братства. Могущественное влияние Петра Могилы отстраняло от коллегии всех посягателей на какую бы то ни было ее собственность, и воспитанники, равно как и наставники сего училища, во сто раз меньше чувствовали те нужды, какие обременяли обывателей напаствуемого города.

Естественно, что при таком благосостоянии училища и науки, введенные в него Могилою, должны были находиться в цветущем состоянии. С приумножением учебных предметов последовало и отличное от прежнего распределение классов. Так как первою статьей училищной инструкций поставлялось изучение языков: латинского, славянского и греческого, то для этого открыты были четыре низшие класса. В первом из них обучали читать и писать, но непременно на трех языках, а не на одном славянском, как это было в приходских школах; этот класс назывался *Аналогиею* или *Фарою*. Во втором классе, именуемом *Инфимой*, приучали учеников уже к грамматическому разбору, не заходя, впрочем, далее первоначальных понятий. В классе *Грамматики* прочитывались уже сполна грамматики означенных языков с подробным филологическим разбором; затем ученики переходили в класс *Синтаксимы*, где они практиковались в переводах с означенных языков на русский и славянский и обратно. Кроме сего, здесь преподавали катехизис, арифметику, нотное пение и отчасти инструментальную музыку. Окончивший учение в низших классах переходил в средние, которых было два: класс поэзии, или *Пиитики*, и класс *Риторики*.

Замечательно такое распределение уроков словесности. Теперешние наши понятия о поэзии представляют ее как венец и высшее проявление обработанного ученым образом слова человеческого: но не так было в то время. Коллегия разумела поэзию только как artem pangendi versus — как искусство сплетать вирши — и, конечно, потому поставила ее прежде риторики, что по опыту знала, что это ремесло не требует большого труда и строгой последовательности мыслей, особенно под защитой нарочно придуманной для этого вольности пиитической (licentia poetica), что механическая работа стихосложения сама собою вызывает слово за словом, особенно если стихи еще не чуждаются рифмы: тогда уже и мысли самые, говоря словами Пушкина, *две придут сами, третью приведут*. А всякий порядочный ученик переходил из синтаксимы в поэзию с огромным запасом равнозначащих выражений, эпитетов и сближения понятий. Надобно было придумать средство к установке всего этого в каком-нибудь порядке, и для сего тогдашние ученые признали лучшим известное количество слогов, метр, цезуру и проч. Невольно этими условными берегами стеснялось разливное море слов и понятий, накопленных от неизбежных справок с лексиконами при синтаксических переводах, и от критического выбора того или другого более годного выражения. Стесняемый правилами пиитики, ученик свободнее потом писал в классе риторики, которая уже не предписывала ему ни метра, ни цезуры, а между тем он тут являлся уже приученным к обдумыванию каждого ставимого на бумагу слова. Но, приучая механическим слаганием виршей к правильному сочетанию понятий и предложений, наставники поэзии в то же время сообщали своим питомцам современные сведения о всех родах и видах поэзии, начиная от эпопеи до простой надписи на каком-либо памятнике. Таким образом, в учебнике, дошедшем до нас от времени Петра Могилы (1637 г.), усматриваем, что тогда трактовали о происхождении, достоинстве и значении поэтов, о том, что может быть предметом поэтических произведений и как разделяется поэма, что такое эпопея, комедия, трагикомедия, трагедия, буколическая, элегическая, идиллическая, дидактическая и сатирическая поэзии, и, наконец, истолковывали все виды эпиграммы или надписей[182].

Мифология, считавшаяся необходимой принадлежностью поэзии, была преподаваема в коллегии с нарочитой обширностью и с малейшими подробностями. Знание этой науки было до того развито в воспитанниках, что кроме стихотворных изделий, наполняемых всеми богами языческого Олимпа, не свободны были от мифологических применений даже и такие сочинения, которые легко могли бы обойтись без этого. Самые проповедники и богословы решались иногда облекать христианские истины в одежду языческую, не подозревая нимало в простоте сердца неприличия таких сочетаний[183].

Преподавание риторики ничем не отличалось от того, каким оно было в знатнейших того времени высших европейских училищах. В руководствах, относящихся к XVII веку, риторику разделяли то на две, то на три части: но каждая из них имела предметом своим одно и то же. Сначала говорили об изобретении мыслей, потом о расположении и, наконец, о выражении. К этому иногда были присовокупляемы правила, как сочинять речи и письма поздравительные, приветственные, благодарственные, просительные, прощальные и надгробные. Этим по большей части и ограничивался курс риторики[184].

Впрочем, в состав ее входили иногда и исследования о церковном красноречии: но эта наука, как и следовало, отнесена была к классу богословия и преподавалась уже тем, которые имели в непродолжительном времени поступить в проповедники слова Божия.

С риторикою была иногда соединяема и диалектика, составлявшая как бы переход от наук собственно словесных к науке свободного мышления. Это был непрерывный ряд схоластических диспутаций, из которых каждая подразделялась на несколько вопросов и потом на несколько более частных пунктов, дробилась далее на частнейшие положения,

которые со своей стороны вызывали по нескольку возражений и наконец, опровержений. Посредством такой почти механической работы молодые умы заранее приготовлялись к ловкости и оборотливости мышления и к критическому принятию того, что готовила им кафедра философии[185].

Классы риторики и поэзии никогда не были скудны слушателями, ибо тут именно преподавалось то, что было самым необходимым по тогдашним обстоятельствам училища. С готовой приветственною речью или праздничными виршами школьник всегда был нелишним на домашней пирушке какого-нибудь зажиточного обывателя и, возвеличив, таким образом, своего милостивца, имел полную надежду уйти от него не с пустыми руками. Замечательно, что на изучение сих двух видов словесности полагалось всего только один год, а между тем и этого короткого срока достаточно было для того, чтоб воспитанники переходили в высший класс уже довольно приготовленными; значит, в синтаксеме они развивались уже в совершенстве и являлись в словесной аудитории с немалым запасом сведений в языках, как существенном условии их успехов в деле сочинительском.

Высших классов было два: философский и богословский. Киевская коллегия, поставленная Могилою наряду с знаменитейшими училищами Европы, с самого преобразования своего повела науку той стезей, какою она шла у прочих просвещенных наций. Но вместе с этим коллегия устранила философию от всякого влияния на учение Евангелия, и потому-то, оставаясь верною данному ей направлению, она никогда не имела в нашем отечестве того опасного и мятежного характера, какой раскрывался в ней время от времени на западе Европы и разразился потом в возмутительных учениях, ниспровергнувших благосостояние целых народов. Осторожные преподаватели в древней коллегии оставляли метафизику, как соприкасавшуюся слишком часто с богословием, самою меньшею и почти незаметною частью философии. Корифеем этой науки в то время был Аристотель. Несокрушимое владычество его процветало и тогда, когда Англия уже имела Бэкона (Bacon) и Локка, а Франция — Декарта. Подражая в этом отношении старейшим училищам в Европе, киевская коллегия тоже вела у себя философскою науку по указанию Аристотеля. Дошедшие до нашего времени руководства, относящиеся к XVII веку, все составлены по одному образцу и обыкновенно разделены на три главные части: философию умственную или логику, естественную или физику и божественную или метафизику. Первой части почти всегда предшествовала диалектика, в которой, прежде всего рассуждаемо было о законах, руководствующих рассудок в его действиях. Сообщив сведения о самом законе и его природе, диалектика приступала к раскрытию первого рассудочного дела, именно: составления понятий, затем предложений и, наконец, доказательств, или силлогистических умозаключений. Таким образом, это была как бы теоретическая часть философии умственной; нарицаемая же логика становилась в этом случае наукою прикладною, ибо те же самые законы мышления она прилагала только к разным случайностям умственного делания. Вторая часть науки философской — физика — была обширнее всех: общее начало всех вещей, материя, форма и их видоизменения; природа и свойство предметов видимых и жизнь их, как самих в себе, так и вне себя; бесконечное в его качествах; пространство, время и физическая пустота; законы общего движения; наконец, душа вообще и душа разумная со всеми ее силами и способностями — вот предметы, которыми занималась естественная философия времен давноминувших. Остальная часть, именовавшаяся философией божественной или метафизикой, была ограничиваема лишь рассуждениями о существе возможном как произведении ума философствующего и, наконец, о существах бестелесных.

Из этого краткого обзора видно, что на философской кафедре были предлагаемы и разбираемы все те вопросы, какими оглашались в то время обширнейшие аудитории европейских университетов. Но, несмотря на то, что коллегиальное начальство старалось поддерживать

любовь к этой науке, включив адептов ее в разряд Majoris Congregationis; несмотря на то, что для слушания философии положено было ровно два года, — суровая строгость и головоломная сухость этой науки как будто пугала пылких сынов Украйны. Они уважали ее, даже поставляли за честь себе отличаться диалектической тонкостью: но тем дело и кончалось. Искренно, всей душой привязаться к этой науке, погрузиться, так сказать, в глубину ее ни у кого не доставало охоты. Как будто в дух и душу воспитанников православной коллегии вросло то правило *советования о благочестии*, которым повелевалось «всею душею в смиренномудрии утверждаться на догматах и писаниях святых отцев вселенских, а не основываться на латинских силлогизмах и хитро ими извращенных писаниях и не обучаться им»[186]. Их не прельщало и то, что в этом классе преподаваемы были геометрия и астрономия[187]; хотя и обучались они этим наукам, но мысли их были устремлены на другой важнейший предмет.

Выше всех наук в киевской коллегии стояло богословие, как предмет, характеризующий специальность этого училища. «Если бы изшедшие от нас, — говорил один депутат на сейме 1620 года, — не восстали на нас: то такие науки, такие училища, такое число достойных ученых людей не явились бы в русском народе; учение в храмах наших по прежнему было бы покрыто пылью нерадения»[188]. Мы уже видели, что было причиною возникновения училищ на юго-западе России; знаем, с кем приходилось вступать в религиозное состязание защитникам Православия, и потому не сочтем удивительным, что богословие в то время было преимущественнейшею наукой. Оно читалось с величайшей обширностью и отчетливостью, и потому полный курс богословия оканчивался не иначе, как в четыре года. Всякий вопрос поневоле сталкивался с убеждениями и верованиями, противными духу Православия, и от того преподавание этой науки неизбежно принимало характер несколько полемический, и следовательно, в высшей степени интересный, по соприкосновению и частному обращению слушавших уроки с лицами неправоверующими. Если присовокупить к сему и то еще, что преподавателями богословия избираемы были люди самые ученейшие и читали его с искренним увлечением: то нимало не покажется удивительным, что наука эта была в самом цветущем состоянии в древней киевской коллегии.

Вся Европа состояла тогда под игом так называемого схоластицизма, которому подчинены были даже и такие науки, как богословие. И здесь господствовал Аристотель с своей стеснительной систематичностью, с узкими формулами своей методики. Все заведения руководствовались, по части богословия, системою Фомы Аквината, носившего пышное название Doctoris Angelici et Divini, и только лучший из тогдашних университетов — парижский — решился отступить от этого авторитета, издав в 1658 году свою особую систему богословия: Summa Theologiae Scholasticae, но и она, как видно из самого заглавка, закована была все в те же оковы схоластицизма, какие лежали на всех прочих руководствах по сему предмету.

Первые наставники могилинской коллегии, сами воспитавшиеся за границей, не смели с первого же раза изменить авторитету, руководившему их в изучении важнейшей из наук. Тот же Фома Аквинат явился и в России с своей системою[189]. Его придерживались как школьного руководителя: но живые интересы, затрагиваемые современными событиями, неизбежно должны были вызывать наставников на решение таких вопросов, о которых Аквинат, вероятно, и не думал. Нельзя было миновать тех мнений, которые ревностно были распускаемы между народом и служили в подрыв Православию, ибо в Киеве было все: и католицизм, и лютеранство, и униаты, и армяне, и кальвинисты, и социниане, и наконец, евреи. Спорный вопрос невольно заставлял преподавателя отрываться от Аквината и вести речь не «латинскими силлогизмами», а от догматов и писаний святых отцов восточных. Системы богословские, в непродолжительном после сего времени появившиеся в киевской коллегии, отличающиеся своеродностию взгляда и особенностью плана, служат очевидным доказательством того, что в деле богословствования наши ученые не довольствовались

европейскими образцами и пошли дальше, оставив позади своих руководителей.

В классе богословия, как выше упомянуто, была преподаваема и гомилетика: но подчиненная общим риторическим приемам, она мало была приспособлена к высокому делу проповедания слова Божия. Тогда не считалось неприличным святые предания Церкви мешать с баснями мифологическими, нападать на противника со всем жаром полемики без большой разборчивости в выражениях. Самое расположение бесед и поучений неизбежно подчинялось классическим образцам, и превосходное на римском форуме ошибочно почиталось хорошим и на кафедре церковной. Но, несмотря на недостаточность школьного преподавания гомилетики, все наставники коллегии, согласно воле и распоряжению мудрого основателя ее, обязаны были говорить поучения в храме Божием. На всякий воскресный и праздничный день назначаем был очередной коллегиат, который проповедовал в большой братской церкви. Кроме этого, установлены были так называемые *инструкции*, из коих одна называлась *великою*, а другая — *малою*. Первую составляли поучения, которые были произносимы чрез весь год перед позднею литургией учителем риторики или префектом в классе риторическом. Предметом этой инструкции было систематически-последовательное истолкование какой-либо целой книги из Ветхого, а чаще из Нового Завета. Кроме воспитанников, обязанных непременно бывать на этой инструкции, к слушанию ее беспрепятственно были допускаемы и лица посторонние, и особенно богомольцы, приходившие из дальних стран на поклонение святыне Киева. *Малая* инструкция состояла в изъяснении народу православного катехизиса. Это делалось на ранней обедне, для чего избираем был один из младших учителей, который в течение целого года являлся на кафедре церковной с своими поучениями.

Главнейшим из языков, преподаваемых в древней коллегии, был язык латинский. На него было обращено особенное внимание как потому, что он был, по выражению патриарха Паисия, «благопотребен тогда киевлянам, яко между латинами живущим»[190], так и по той причине, что это был классический язык, на котором во всех европейских училищах преподаваемы были все вообще науки. Без этого языка нельзя было приобрести название образованного человека. Зато ж в киевской коллегии приняты были все меры, чтобы усовершить воспитанников в знании латыни. Едва ребенок поступал в школу, ему тотчас давали в руки латинский букварь и отчета в заданном уроке требовали гораздо строже, чем по другим языкам. Прийти в училище с невыученным уроком и скрыть свое незнание не было никакой возможности: ибо пока доберется учитель до ученика, он обязан был проговорить свой урок перед одним из прилежнейших своих товарищей, которому поручаемо было наблюдение и надзор за успехами нескольких человек. Этот строгий блюститель, называвшийся *авдитором* (auditor), выслушав одного из подведомственных себе, под личной ответственностью отмечал степень его знания или незнания на листе[191], называвшемся *нотатою* или *эрратою* (notata s. errata), и представлял ее учителю, который поэтому без труда мог знать успехи и прилежание каждого из своих учеников. Потачка или послабление со стороны авдитора строго была взыскиваема; виновный лишался авдиторского звания и иногда подвергаем был и телесному наказанию. От обязанности сдавать уроки избавлялись только двое или трое самых отличных учеников и выслушивали самих авдиторов, называясь поэтому auditores auditorum. Они уже непосредственно состояли под ведомством учителя и только ему отдавали отчет в своем знании. В каждую субботу происходила главная репетиция за целую неделю и сличались отметки в нотатах; оказавшиеся ленивыми тут же получали приличное вразумление. Это называлось тогда субботками (sabbativa).

Сверх этого, ученики занимаемы были переводом латинских авторов на язык русский. Это происходило двояким образом: устно и письменно. Последним делом ученики занимались и в школе, и дома; школьные их задачки назывались *экзерциями* (exercitiae), а домашние — *оккупациями* (occupationes). Для последних ученики имели особые разрисованные тетради,

связанные в порядке, с надписью: Liber diligentiarum — тетрадь занятий, или Codex laborum — книга трудов, или просто Labor — труд и Occupationes — упражнения. Школьные задачки всегда были оканчиваемы в самом классе и подавались учителю, который, прочитав их у себя дома и подчеркнув, а иногда и поправив ошибки, наутро возвращал ученикам с приличною рецензией, соответственно уже данным правилам[192]. Домашние упражнения были предварительно показываемы авдитору, который, по мере сил своих, исправлял их и представлял потом учителю с надписью: correcta; лучшие же из учеников подавали свои тетради прямо учителю, означая на них: non correcta.

Такие задачки делались иногда средством к соревнованию учеников между собою; в таком случае на тетради надписывалось: de calligraphia (в чистописании), de diligentia (в прилежании), de loco (о месте), de erratis (на счет большего или меньшего числа ошибок). Соревнователь указывал и имя одного из своих товарищей, с которым вступал в такой спор. И если в претензии своей он оказывался достойным требуемого преимущества, в таком случае получал должное; буде же затронутый ученик не только не уступал ему, но даже превосходил своего противника в затеянном им споре: тогда ему предоставлялось право искать удовлетворения и тетрадь обиженного таким совместничеством требовала несостоятельному претенденту розог (de plagis). Иногда эти упражнения бывали средством получить то, в чем нуждался бедный школьник. На уцелевших тетрадях мы читаем надписи: de pane (о хлебе), de candella (о свечке), de indutio (об одеже), de calceis (об обуви), — и грустно становится, когда подумаешь, каким лишениям обрекали себя эти люди, которых удерживала при школе одна лишь жажда к просвещению, — грустно, но вместе с тем и отрадно, ибо знаешь, что из этих горемык выходили потом знаменитые пастыри Церкви, ученые и государственные мужи.

Воспитанники низших классов и особенно синтаксимы непременно обязаны были объясняться между собою на языке латинском, хотя бы то было вне школы. Провинившийся в этом или сказавший что-либо грамматически неправильно, тотчас получал от товарища calculum — узенький, столпцеватый бумажный сверток, вложенный в небольшой футляр. Имеющий эту явную улику своего преступления всеми силами старался сбыть calculum кому-либо менее его осторожному и опытному в языке латинском, — и горе, если этот сверток оставался у кого-нибудь через ночь! Авдитор отмечал тогда: pernoctavit apud dominum N (переночевал у господина такого-то), и бедный dominus подвергался стыду и поношению от своих товарищей, да сверх того и телесному наказанию от учителя.

За латинским языком следовало изучение языка славянского и местного русского[193]: но что это были за языки! Странная и нескладная смесь польских и малороссийских выражений — вот та речь, которая иногда встречалась между лучшими сословиями, говорим: иногда, потому что в высшем классе более любили говорить по-польски, чем древним, прекрасным языком, уцелевшим в народных думах и песнях и нескольких договорных и актовых сделках. В самом низшем слое общества оставалось, правда, то сильное и неиспорченное наречие, которое так прельщает нас в воззваниях Хмельницкого и его сподвижников: но то был язык *хлопский*, и подавленная польщизною русская народность не замечала, что враги ее посягали на одно из лучших достояний народа, рабски подделывавшаяся под говор своих притеснителей. Представители киевской учености, кажется, меньше всех хотели это видеть; оно и то сказать, в полемико-ожесточенных спорах за первейшее достояние Руси православной некогда было выбирать слова и наблюдать чистоту слога; нужно было говорить с противной партией тем языком, который она лучше понимала, и русские говорили: но в речах их, кроме русской души, не было ни одного чисто русского оборота. Не могло этому горю пособить и изучение языка славянского, сохранявшегося в книгах церковных; известно, что всякий язык совершенствуется не столько теоретическим изучением, сколько практическим его употреблением; посему то школьное изучение языка церковно-славянского приносило только

ту пользу изучавшим его, что позволяло понимать все, что пишется в наших священных книгах: но как скоро доходило дело до передачи или до объяснения тех же самых вещей народу, надобно было прибегать к наречию, ходившему среди его, и заменять прекрасное, но не совсем понятное слово дурным, исковерканным, но знакомым всем и каждому.

Тем не менее, теоретическое изучение русского языка и филологическое его исследование началось собственно на юго-западе России, и Киев в этом отношении имеет едва ли не первую долю. В 1591 году студенты львовского училища составили полную еллино-славянскую грамматику: но это был лишь перевод грамматики греческой, и поелику в ней нимало не взяты в расчет законы русской речи, то она и не могла привиться к слогу книжному. Через пять лет после этого (1596 г.) явилась славянская грамматика львовского протоиерея Лаврентия Зизания. Это уж был огромный шаг вперед. Для русской речи указаны надлежащие формы; видно углубление в характер и дух самого языка: но написанная наречием церковнославянским, белорусским и польским, она в самой себе носила живое противоречие тем правилам о чистоте и правильности русской речи, которые проповедовала, и сама, «партаючи в писме и словах», отнюдь не могла «отворить всем ум к познанию в преправый разум»[194]. Наконец, в 1619 году вышла в свет грамматика, которая, по определению автора, долженствовала быть «известным художеством благо и глаголати и писати учащим». Это, без всякого сомнения, было то руководство, которым пользовались воспитанники киевской школы в бытность Мелетия Смотрицкого преподавателем наук. Более века прожила она, заслужив честь быть известною всей России; сам великий творец русского слога Ломоносов из нее почерпнул первые понятия о механизме той молви, которую он потом гением своим возвел «в перл создания». Киевская академия по праву может считать грамматику Смотрицкого законным своим достоянием: ибо правила, изложенные в ней, слышала она из уст самого автора, здесь же изучавшего ту речь, которую уложил он потом в умно-придуманные формы[195]. Положим, что дальнейшее развитие и усовершенствование языка далеко оставило за собой правила грамматики Смотрицкого: но и в ней осталось многое, что доселе может считаться незаменимым, несмотря, на хитрости и мудрости новейших грамматиков[196].

Рано юго-запад России начал разрабатывать родное свое слово, как будто страшась за свое драгоценное достояние, с каждым днем более и более заглушаемое чужеядными растениями, щедро посеваемыми от врагов русской народности. Работа была механическая, не просветленная наукою: но все же в ней виднелась мысль искренняя — сберечь и сохранить по возможности какое есть добро. Так поступил Лаврентий Зизаний при составлении своего словаря[197]. Не пускаясь в корнесловие, не делая никаких других филологических исследований, он только собирал известные ему русские и славянские слова и объяснял их иногда речениями польскими и белорусскими, как более употребительными в том краю. Очевидно, что ближайшею целью такого собирания было желание уяснить те выражения, которые сделались уже не так доступными понятию слушавших Зизаниевы уроки: но наука находит ныне в этом высшую пользу. Киеву предоставлена была честь видеть у себя ученейшего филолога того времени если не в школе, то в недрах его изучившего тот язык, которому он был чужд по своему происхождению. Это был *Памва Берында*, молдаванский уроженец, прибывший в Киев в начале XVII века. Его познания и страсть к ученым занятиям скоро нашли себе должное упражнение. Когда Киево-Печерская Лавра приобрела себе стрятинскую типографию Балобана[198], Берында определен был к ней начальником. Тут-то раскрылась в нем та страсть к филологическим исследованиям, которой мы обязаны первым, правильно составленным славяно-русским лексиконом[199]. Его поразило богатство славянской молви, имевшей «оквитое залецене (важное значение) не толко от писм богословских и гимнов церковных з еллинского ним претлумачоных (переведенных) але (но) из божественной литургии и иных таемниц (таинств), которые ся тым языком в великой и малой

России, в Сербии, Болгарии и по иным сторонам отправуют». Ему прискорбно стало, что по причине трудности к уразумению некоторых слов славянских и самая Церковь российская многим «власным (собственным) сыном своим в огиду (недобрую славу) приходит», и для того он предпринял дело, которого до него только едва коснулся Зизаний. Все было для Берынды средством к уяснению того или другого слова: и польскорусское наречие тогдашнего временя, и филологические заметки древних писателей, и ссылки на свящ. книги, и языки еврейский, греческий, латинский и молдавский.

Но все эти многополезные труды были только частным деланием мужей просвещенных. Из них даже видно, что киевская коллегия была крайне бедна познаниями в языке чисто русском и что сами руководители ее в этом деле не могли оторваться от того говора, который был общеупотребительным в Киеве и во всей юго-западной России. Тем не менее, школа, по мере сил и возможности, старалась очищать родную речь от наносных выражений и значительно успевала в этом, как увидим впоследствии.

Иезуиты, возмутившие киевлян против коллегии, между прочим, и тем, что в ней находится в большом пренебрежении язык греческий к явному предпочтению перед ним латинского, некоторым образом имели основание. Хотя Коссов в своей апологии и обещался поставить грецизм на такую степень, что он будет ad chorum, а латынь ad forum: но тем дело и кончилось; язык греческий и после этого никак не мог крепко привиться к школьному образованию киевских коллегиатов. Патриарх Паисий в грамоте своей училищному братству упоминает, что языку греческому обучали там только *отчасти*[200]. Главнейшую причину сего должно искать в том, что язык сей в тогдашнее время был мертвым даже в учебном отношении: ибо все относящееся к школьному кругу в целой Европе выходило и печаталось на языке латинском, и следовательно, если изучение последнего было неизбежной надобностью, то знание первого могло быть только ученою роскошью, а в то время не до нее было киевским коллегиатам. Впрочем, нельзя сказать, чтоб язык греческий был вовсе в пренебрежении; иначе коллегия не произвела бы таких еллинистов, как Словеницкий, Сатановский и подобные им.

До Петра Могилы в школах киевских существовало преподавание и польского языка: но с переименованием оных в коллегию и с введением новой программы наречие польское исключено как совершенно ненужное, главнее всего потому, что им говорило почти все народонаселение Киева, а грамматическое изучение оного не представляло никакого дельного результата. Такому исключению, может быть, содействовало еще и то обстоятельство, что наречие это принадлежало отъявленным гонителям Православия и притеснителям Украйны, которые презрительно смотрели на угнетенный народ и самый говор его прозвали *хлопским*.

Главноначальствующими лицами в коллегии, как и прежде, были ректор и префект. К ним в настоящую пору был присоединен супер-интендент и несколько учителей, в ведомстве которых состояли *товарищи братства младшего (sodales minoris congregationis)*.

Обязанности ректора как главного лица в коллегии были многоразличны. Как игумен братского монастыря, он председательствовал во всех заседаниях монастырских и предстоятельствовал во время богослужения, имея ближайший надзор и наблюдение за нравственностью иноков и всей братии. По должности наставника, он занимал обыкновенно кафедру богословия, исправляя в то же время обязанность надзирателя и ревизора включительно по всем частям училища. В силу этого наставники представляли ему свои учебные отчеты, составляемые ими руководства, а воспитанники ему как главному лицу обязаны бывали дальнейшей своей *промоцией* (promotion) в высшие классы. Для удостоверения в успехах учеников, принадлежавших к младшему братству (minoris congregationia), кроме учительских аттестаций, ректору были представляемы из низших

классов оккупации и экзерциции, а из средних — латинские, славянские и польские стихи, а также речи и письма разного рода. По рассмотрении их, ректор утверждал или отменял распоряжения наставников о переводе того или другого ученика в высший класс. Заведывая, таким образом, и монастырем, и училищем, ректор имел в непосредственном своем распоряжении общие монастырские и училищные доходы и назначал, с ведома значительнейших лиц братства, то или другое количество суммы на разные потребности собственно коллегии. В его же руках находились суд и расправа за всякий поступок наставника или ученика, противный правилам чести и общественного долга; на его ответственности лежало, чтобы «в собрание ученическое неспокойных не принимать, а наипаче остерегая того накрепко, чтоб учение было благочестивое, христианское восточного исповедания, а отступников и еретиков и противников вере греко-российской в те школы не допускать и прелесть противного исповедания и еретическая обучения весьма отсекать и искоренять, а студентов, которые явятца кому в чем винны, унимать и смирять, и по винам их управу чинить, ни в чем им не наровя, и ни до какова своевольства их отнюдь не допущая»[201]. Только уголовные дела выходили из круга суда и расправы, чинимых ректором: но и в этом случае не обходилось без училищного начальства, которое посылало от себя, в качестве депутата, кого-либо из младших учителей.

Префект, до назначения супер-интендентов, совмещал в себе и инспектора, и эконома, и профессора. В настоящую эпоху он был оставлен при двух только последних обязанностях. Предметом его в учебном отношении были собственно науки философские, а по части экономии он имел в непосредственном своем заведывании продовольствие и содержание студентов и учеников.

Супер-интендент был избираем обыкновенно из учителей minoris congregationis. Через год его переменяли, если уменьем вести свое дело не заслуживал от всего коллегиального начальства лестного приглашения еще продолжать свою службу. Обязанности супер-интендента были чрезвычайно обширны: он должен был наблюдать за благочинием питомцев и тех, которые жили в бурсе, и тех, что на квартирах, и, наконец, за приходскими школами. Для облегчения этой многотрудной обязанности в помощь супер-интенденту были назначаемы *визитаторы* (visitatores) по нескольку из каждого класса. Из них одни были явные, а другие — тайные. Все они в свое время доносили супер-интенденту о состоянии подведомственных ему совоспитанников, и сообразно их донесениям супер-интендент делал студентам выговоры и замечания, а в случаях важных докладывал ректору; с учениками же он поступал решительней и по мере проступков их сам наказывал виновных, не доводя до сведения высшего начальства. Кроме этого, в пособие себе, супер-интендент для присмотра за учениками, проживавшими в бурсе, назначал в каждую комнату *сениоров* (seniores) и одного *директора* из благонравнейших студентов, которому предоставлялось право, в случае провинности, делать замечания самим сениорам, а учеников наказывать телесно. Для наблюдения за порядком в церкви избираемы были *цензоры*, строго смотревшие, чтобы всякий ученик вел себя в храме Божием прилично и сообразно священному месту.

Обязанности ординарных учителей ничем не разнились от нынешних: но в пособие каждому наставнику назначаемы были лучшие студенты, из которых одни, называвшиеся *tagistri sodalium*, должны были объяснять уроки в самых классах перед приходом учителей, а другие, под именем *инспекторов*, наблюдали за изучением уроков в жилых комнатах бурсы. В каждом классе, кроме этого, был свой *цензор*, наблюдавший за порядком. У него был ключ от класса; он же смотрел за чистотой и опрятностью, содержал алфавитный список всех учеников, в котором отмечал, кто не был в классе или в церкви или кто замечен был в шалости. Обо всем этом он докладывал учителю перед приходом его в класс, где и чинима была после этого надлежащая расправа. Для исполнения экзекуции избираемо было несколько самых худших

учеников, носивших название *калефакторов*[202]. Они должны были иметь на всякий случай розги, пали (линейки) и прочие принадлежности своего звания, а также исправлять должность бурсацких истопников.

Воспитанники коллегии носили двоякое название: те, которые принадлежали к братству младшему (sodales minoris congregationis), назывались *учениками*; товарищи же старшего братства (sodales majoris congregationis) носили почетное имя *студентов*, как назвал их сам Петр Могила в своей завещательной грамоте[203].

Поддерживаемое и управляемое таким образом киевское богоявленское училище в честь знаменитого и незабвенного фундатора и преобразователя своего при самом еще начале назвалось *Киево-Могилянскою* коллегией и носило это имя до тех пор, пока Высочайшею волею величайшего из царей земных не получило другого, более высшего наименования.

Неутомимый и непобедимый защитник Православия[204], Петр Могила был одним из ревностнейших охранителей спокойствия усыновившего его отечества. Зорким оком следил он за современными событиями и в самые опасные минуты являлся или примирителем волнующихся стран угнетаемой Малороссии, или советчиком, ободрявшим бедствующих. Так, когда в Запорожье, по случаю сомнительного поведения Барабаша, началась междоусобная война, Могила вместе со славным Хмельницким старался прекратить ее ужасы[205]. Ответ короля Владислава IV, всегда любившего казаков и обессиленного буйными и непокорными магнатами, поднял с мечом и огнем всю Малороссию. «Поневаж, — сказал он, — вы воины есте: то что вам бронит стати за себе?» — и казаки стали. Петр Могила, сведав от Хмельницкого о таком королевском дозволении, не только одобрил его предприятие освободить землю русскую от враждебных племен, но наложил анафему на всякого, кто откажется стать под его знамена[206]. Молитва за угнетенное отечество была одною из последних молитв великого первосвятителя Киевского: но думал ли он, что своим патриотическим воззванием к народу ослабит впоследствии любимую свою коллегию и подведет ее под огонь и меч ожесточенных разорителей священного Киева?..

Быв строителем и благодетелем коллегии при жизни своей, Петр Могила стал думать и о том, как-то останется по смерти его этот *единственный залог* его просвещенной деятельности и неутомимых забот. Посещенный болезнью и в ожидании часа смертного, Могила, наконец, решился привести все дела свои в порядок и 22 декабря 1646 года составил завещание, в котором самую большую долю приняла любимая им коллегия.

В силу этого завещания коллегия получала от незабвенного своего благодетеля:

Дарственную запись на хутор Позняковщину, с обеспечением от наследников прочих частей недвижимого имения завещателя суммою четырех тысяч злотых.

Все дома, приобретенные Могилою, с их правами.

Пляц (дворовое место) Солениковский на Подоле.

Всю библиотеку на разных языках, которую собирал он в течение всей своей жизни.

Половину всего рогатого скота, овец, табунов и всего хозяйственного заведения, какое только находилось в устроенном самим Могилою собственном хуторе его Напологах.

Пятьдесят пять тысяч злотых, находившихся по закладной записи у Адама Киселя, кастеляна киевского.

Двадцать тысяч злотых, обеспеченных на имениях Могилы — Мухоедах и Спачинцах, с тем, чтоб эта сумма была сплачена наследником, который пожелает вступить во владение означенными имениями; а до того времени они должны были оставаться в заведывании коллегиатов.

Шесть тысяч злотых польских наличными деньгами.

Четвертую часть из всего домашнего серебра.

Серебряную, позолоченную митру, сделанную на собственное иждивение Петра Могилы и украшенную драгоценными камнями, доставшимися ему от его родителей.

Серебряный митрополичий крест.

Саккос белого глазета, унизанный жемчугом.

Золоченый крестик с частью Животворящего древа.

Обои из разноцветной камки, отданные собственно на конгрегацию.

Кроме этого, Петр Могила приносит в завещании «слезные моления», прося преемника своего архимандрита Киево-Печерской Лавры, чтобы находящиеся за Днепром имения монастыря Печерского Вишеньки и Гнедин не были отбираемы от коллегии, по крайней мере до истечения трех лет, дабы, как говорит он, «братия киевского братского монастыря в течение того времени могли осмотреться и обзавестись хозяйством». Во-вторых, он просил того же архимандрита со всем Печерским собором, чтобы они не устранили ректора коллегии от игуменства в монастыре Дятловицком, «ради, — прибавляет Могила, — преспеяния моего торжественного обета об основании школ для образования православных детей». Затем, назначив душеприказчиков, Могила возлагает на облагодетельствованных им киево-богоявленских братий, чтобы они берегли его коллегию как *единственный* его *залог* — иако unicum pignus meum — и, наконец, чтобы все молились о упокоении души его[207].

И Киевская академия доныне свято исполняет священную волю одного из величайших своих благотворителей. Ежегодно в день кончины его, 31 декабря, в братском храме совершается соборне божественная литургия и вслед затем панихида, на которую сходится все ученое духовенство города Киева. Отрадно слышать вслед за священным именем митрополита Петра и другие имена благодетелей сего училища, но еще отраднее видеть истинную благодарность древнейшего из училищ к тем, которые подвизались в нем подвигом добрым и течение свое скончали. Невольно завидуешь тем наставникам, которым судил Бог in cathedra mori, заслужив себе вечную память христиански-благодарного училища[208].

Четырнадцать лет управлял Киевскою митрополией незабвенный Петр Могила; четырнадцать лет отдыхала она от ожесточенного преследования католиков и униатов. «Он правительствовал добре, — говорит современник Могилы Иоаким Иерлич, — жил воздержно и при благочестивых своих делах всегда пекся о целости Церкви Божией и охранял овец своих»[209]. «Притязания и притеснения, — пишется в летописи львовского братства, — со стороны латинников и униатов хоть и продолжались, но не с прежнею жестокостью, по крайней мере, до тех пор, пока живы были король Владислав и митрополит Петр Могила»[210]. Четырнадцать лет блаженствовала преобразованная и облагодетельствованная им Киево-Братская коллегия, которую он так любил, так лелеял; наконец, в ночь с 31 декабря на 1 января 1647 года предал он праведную душу свою в руце Божии, совершив ровно полстолетия своей жизни. Марта 19 бренные останки митрополита Петра Могилы были преданы земле на

указанном им самим месте в большой печерской церкви у левого клироса, между двумя столпами. Над прахом его нет ни монумента, ни надгробия: но Академия служит живым памятником сему великому иерарху...

Щедро и благодарно отплатила Киево-Могилянская коллегия своему преобразователю; порадовала она сердце его своим цветущим состоянием, и сходя в могилу, с искренним утешением говорил он: «Видел я еще при жизни моей от тех наук великую пользу для Церкви Божией, ибо значительно умножились люди ученые и благочестивые на служение ей»[211]. Не было уже надобности, для приготовления коллегии наставников, посылать воспитанников в иностранные университеты и академии. Стремясь к высокой цели, указанной великим преобразователем своим, коллегия киево-могилянская, еще при жизни его, превзошла все другие, подобные ей учебные заведения в Польше, сделалась известною и заграницей, так что в нее, как в лучшую, начали являться молодые люди из всех окрестных стран для окончательного образования[212].

Глава одиннадцатая

Сильвестр Коссов

Избрание Сильвестра в митрополиты. Подвиги Хмельницкого. Зборовский договор. Хмельницкий в Киеве. Запись киево-печерского архимандрита Иосифа Тризны. Посещение коллегии патриархом Паисием. Отзыв его об училище. Заметка его о бедствиях Церкви. Сильвестр на варшавском сейме. Утверждение Зборовского договора. Универсал Хмельницкого. Вероломство поляков. Битва под Берестечком. Белоцерковский трактат. Бедствия коллегии. Пожертвования в пользу ее. Две грамоты царя Алексия Михайловича Киево-Богоявленскому братству. Упадок киевской коллегии. Нобилитация. Малороссия поступает в подданство царю Всероссийскому. Присяга киевлян. Завоевания русских. Кончина митрополита Сильвестра и гетмана Хмельницкого. Сочинения Коссова. Ректоры коллегии: Иннокентий Гизель, Иосиф Кононович, Лазарь Баранович. Замечательнейшие воспитанники: Ясинский Варлаам, Максимович Иоанн, Моравский Павел, Самойлович Иван.

1647–1657

Снова начинаются кровавые испытания для киевской коллегии, как будто великий благодетель ее унес с собою в могилу все ее благосостояние. Не стало уже сильной руки, охранявшей коллегию от буйных врагов Веры православной, собиравшей под хоругвь ее жаждущих просвещения. Развилась другая хоругвь, призывающая на поле битвы, под громы пушек и воинственные клики. И много пройдет времени, пока коллегия, словно феникс из пепла, воспрянет обновленная и созовет рассеянных птенцов своих под криле свои...

Новый протектор коллегии был уже знаком ей. Она сама воспитала его, сама слышала потом мудрое, наставническое его слово и, как мать от сына, приняла оборону во время бедственного погрома от восставшего на нее невежества.

Сильвестр Коссов родился в воеводстве Витебском от благородной православной фамилии и по окончании воспитания и ученой службы при киевской коллегии, в 1635 году был посвящен в сан епископа Мстиславского, Могилевского и Оршанского. По кончине митрополита Петра Могилы, он единодушно был провозглашен первосвятителем иерархии киевской. Все духовенство и запорожские казаки, не относясь за привилегиею к польскому королю, испросили только благословение константинопольского патриарха Парфения II, и 1647 года Сильвестр был посвящен в Киеве русскими епископами.

Бурно и неспокойно было правление сего первосвятителя. Богдан Хмельницкий, провозглашенный 15 октября 1647 года малороссийским гетманом, решился совершенно очистить всю Украйну от притеснителей — поляков — и энергически начал действовать, памятуя слово королевское и благословение усопшего первосвятителя. Битвы Желтоводская и под Каменец-Подольском были первым воинственным призывом, на который откликнулась вся Малороссия. Пред ожесточенными казаками один за другим падали города; Бар, Новгород-Северск были уже свободны; битва под Пилявцами скрепила эти быстрые завоевания. Но гордые магнаты не думали образумиться и предписали малороссиянам условия как будто побежденным; ответом на это была битва под Зборажем. Тогда-то уже король и сейм стали уступчивей и 7 сентября 1649 года скрепили знаменитый Зборовский договор, по которому народ русский со всеми его областями, городами, селениями и всякою к ним народною и национальною принадлежностью увольнялся и освобождался от всех притязаний польских и литовских чинов на вечные времена, прекращалась обоюдная вражда, подтверждена независимость русского народа, утверждены границы русские, митрополиту предоставлялось место в сенате наравне с другими сенаторами; воеводе Киевскому и другим чиновникам в Киеве установлено быть из русских дворян и закона православного; иезуитские училища, как в Киеве, так и по всем городам и селениям малороссийским, положено упразднить и перевести в другие места, «так как воевода Киевский Бржовский ввел их на зло киевским русским школам»[213]. Октября 1 того же года виновник этого великого дела, гетман Хмельницкий, с триумфом, при пушечной пальбе и колокольном звоне вступил в Киев и в святой Печерской Лавре принес благодарственное моление за помощь, посланную ему свыше.

В течение этого времени киевская коллегия, оставаясь верною началам, предписанным ей незабвенным Могилою, была все та же славная и знаменитая своей ученостью коллегия. Согласно завещанию его, она получила от киево-печерского архимандрита Иосифа Тризны со всею братией запись на трехлетнее владение хутором и селом Вишеньками и Гнедином, принадлежавшими Лавре, для преспеяния, как сказано в записи, славы Божией и наук и в уважение постоянных заслуг и усердных трудов ко благу всей Церкви Божией всечестных отцов киевского братства[214].

В 1649 году Киево-Могилянская коллегия удостоилась посещения Паисия, патриарха Иерусалимского, который и останавливался там во время краткого пребывания своего в Киеве. Осмотрев «виноград училищный кур Петра Могилы тщанием возращен и насажден, такожде и делатели винограда того во учении, разуме и премудрости зело искусных, благочестивых и благоговейных тоя святые обители видевше, юнош благородных правообучающих, утверждающих и от ересей к вере православной кафолической своим премудрым учением, святых отец последующе преданиям, обращающих уразумевше», патриарх Паисий, прощаясь с гостеприимной коллегией, утвердил и «вечне» запечатлел своим патриаршеским благословением «благочестивых инок святые обители Богоявления крестоносного братства, во еже и во предняя лета таковых учителей благотрудных и училищ в поучение христианских детей им умножати»[215].

Кратковременное пребывание патриарха Паисия в Киеве позволило однако ж ему заметить состояние бедствующей извне Церкви, ибо он прибавил в своей грамоте, что обучение юношества вообще полезно, но «всей России Малой стране зело нужно, идеже иноверцы и отступницы хитростною своею мудростию не точию простых, но и разумных множицею уловляют от истинные веры, своим душегубным прельщают прельщением и отводити тщатся»[216].

Еще больше бы этого сказал первосвятитель Иерусалимский, если бы знал, какими врагами окружена «Малая Россия». Для них не было ничего священного; они дышали только буйством

и разрушением…

Для утверждения сеймом Зборовского договора, Хмельницкий отправил в Варшаву вместе со своими послами митрополита Сильвестра с епископом Львовским Арсением Желиборским, киево-печерским архимандритом Иосифом Тризною и с некоторыми другими духовными лицами. По одной из договорных статей, как сказано, православному митрополиту следовало занимать в сенате первое место после польского примаса. Этому воспротивились ксензы, бывшие членами сейма; они осыпали Сильвестра оскорблениями и объявили наотрез, что оставят места свои и выдут из собрания, коль скоро вступит туда враг папы. Напрасно опытные в политике вельможи старались уговорить католическое духовенство необходимостью подчиниться уже скрепленному договору, — изуверы ничего не слушали и стали вопиять на самого короля за то, что он вносит в мирные соглашения статьи, противоречащие уставам римской церкви. Оскорбленный Сильвестр возвратился в Киев вместе с Адамом Киселем и поветовым судьею Проскурою[217].

Однако ж после долгих споров польский сейм принял Зборовский договор, а король 12 января 1650 года утвердил его. В силу этого от униатов долженствовали быть возвращены захваченные ими епархии, а также многие церкви и монастыри, находившиеся в польских городах. Сильвестр получил в это время королевское утверждение в митрополитском сане; ему и епископам его уступлено право цензуры книг, а киевской коллегии и типографиям — прежние их привилегии[218]. Трактат этот внесен в киевские городовые книги.

Обрадованный счастливым окончанием такого важного дела, Богдан Хмельницкий занялся исправлением и восстановлением церквей и монастырей. Для этого он отдавал им разные «лядские маетности и млины»; для этого же отдал во владение и беспрепятственное заведывание киево-богоявленского братства доминиканские имения и особенно села: Мостищи со всеми его грунтами, полями, сенокосами, борами, лесами, мельницами и прочими угодьями, Плисецкое, Черногородку и пустопорожнее место Рыльского в Киеве[219], а грамотою 1655 года дозволил на праздники сытить мед и продавать его в пользу коллегии[220].

Но все обещания и клятвы варшавского сейма были только на бумаге; ни одна статья из Зборовского договора не была исполнена. Униаты и иезуиты увеличили дерзость свою. Последние не только не думали переводить из Киева своих училищ, но даже завладели тою школою, которую Петр Могила завел в Виннице[221]. Коронный гетман Николай Потоцкий свирепствовал над малороссиянами и расположил свои войска около Каменец-Подольска. Напрасно Хмельницкий старался отклонить новое кровопролитие, заклиная поляков Богом живым; сейм определил немедленно начать военные действия, и битва под Берестечком увенчала злобные усилия притеснителей Малороссии. Казаки потерпели страшное поражение, и Киев увидел в стенах своих кровожадные полчища врагов. Пожары, буйства и разорение ознаменовали пребывание князя Радзивила во святом граде.

Обессиленный трудностью и неравенством борьбы, Хмельницкий начал домогаться мира, который и заключен был в Белой Церкви: но этим новым договором уничтожены все выгодные для Церкви православной статьи зборовские и обещана только вообще прежняя свобода епископам, монастырям, училищам и церквам, с возвращением имений, если какие во время последней войны у них отняты.

Не минула эта гроза и Киево-Могилянской коллегии. Угодья и вотчины ее доставались в руки неприятеля, а плацов или дворовых мест, состоявших в ее владении, некому было нанимать[222]; члены, составлявшие училищное братство, сами бедствовали, обременяемые непомерными налогами и воинскими требованиями, наконец, и Лавра отобрала, по условию,

свои вотчины.

В сию тяжкую годину митрополит Сильвестр обратился с ходатайством своим о пособии разоренной коллегии к разным благотворительным лицам. Внимая священному призванию первосвятителя, в одно и то же время четыре епископа изъявили желание вносить ежегодно известную сумму, в чем и дали, каждый от себя, добровольные записи. Таким образом, Антоний Винницкий, епископ Перемышльский и Самборский, обязался жертвовать *сто* злотых ежегодно, обещая впредь увеличить свое приношение, как скоро вступит в действительное и спокойное во всем заведывание своею епархией[223]. То же самое написали: Иосиф Горбацкий, епископ Витебский, Оршанский, Мстиславский и Могилевский, обязавшийся ежегодною дачею коллегии *пятисот* злотых; Иосиф Чаплиц, епископ Луцкий и Острожский, подписавшийся на столько же, и Дионисий Балобан, епископ Хелмский и Белжский — на *двести* злотых[224]. Тогда же коллегия получила от некоей Петронелли Вороничовны Данилевой-Голубовой пляц вороничовский на Подоле[225].

Сострадая бедственному положению училища, прежние воспитанники его Епифаний Славеницкий и Арсений Сатановский били челом царю Алексею Михайловичу о позволении приезжать в великую Россию старцам киево-богоявленского училищного братства для сбора подаяний через каждые три года. Великодушный государь, несмотря на то, что за год пред сим (1649) снабдил жалованною грамотою в этом же смысле ректора коллегии Иннокентия Гизеля, благосклонно принял ходатайство ученых мужей и 1650 года разрешил членам киевского братства, вместо прежнего срока шести лет, приезжать через три года. В этой грамоте между прочим определен и беспрепятственный проезд всюду на пути следования просителей от Киева до Москвы и обратно; назначено давать подводы, а при подводах приставов, «и с ними до Москвы посылати детей боярских». На путевые издержки положено давать игумену по осьми денег, «а попом и старцом большим по пяти денег» на каждого, остальным по четыре деньги, а слугам по три деньги на день. На ремонт лошадей повелено отпускать зимою в день по три деньги на лошадь: «А как, — сказано наконец, — того монастыря игумен или старцы пойдут к нам к Москве или с Москвы, и по городам таможенным головам и целовальником, и по мытом мытчиком и по рекам перевозчиком и мостовщиком и губным старостам и целовальником и всяким пошлинником, с тех старцов и с их слуг и с рухляди их мыту и перевозу и мостовщины и тамги и иных некоторых пошлин неимати, а пропущати их безо всякие зацепки. А кто на них и на их слугах что возьмет или чем изобидет, и тем от нас быти в опале, а взятое велим отдати вдвое»[226].

Но, несмотря на такое милостивое внимание могущественного монарха к нуждам училища, несмотря на все архипастырские попечения митрополита Сильвестра, несмотря, наконец, на то, что в коллегии еще оставались знаменитые наставники могилинского времени, она день ото дня ослабевала и клонилась к упадку. К последнему слову усопшего архипастыря, погрозившего проклятием всякому, кто не станет под знамена защитников отечества, присоединилась вымышленная Хмельницким *нобилитация* или производство в козаки. Этого почетного титла добивался в то время всякий молодой человек, не принадлежавший собственно к козачеству, ибо оно всегда почиталось некоторого рода шляхетством, и мещанин в понятиях этого воинственного племени стоял гораздо ниже регистрового козака. Производство это разбиралось строго; только природное происхождение или доказательство на заслуги давали право на титло козака. С этою целью в самом Киеве были нобилированы свободные жители, войсковые и городовые, которые в прежние времена служили волонтерами, запорожцами и в полках охочекомонных. Получившие это звание или, по тогдашнему выражению, *нобилитацию*, приводимы были к присяге, вписывались в козацкие *компуты* и считались уже наряду с другими козаками и в одном с ними достоинстве шляхетском.

Можно вообразить, какое волнение произвела эта нобилитация между молодыми людьми, наполнявшими Киево-Могилянскую коллегию. Жажда славы и воинских подвигов, так свойственная юношескому возрасту, кипение свежих, непотраченных сил, просвещенное сознание своих обязанностей к отечеству, невыразимые бедствия его, предсмертное слово Могилы, полные энергии ума и воли универсалы Хмельницкого, наконец, возможность приобрести почетное название бравого казака — все это вместе влекло молодежь из мирной обители просвещения на поле брани, где решался великий вопрос: быть или не быть Малороссии. День ото дня пустели коллегиальные аудитории, и высшие классы едва влачили свое существование, постепенно утрачивая слушателей. Почти то же было и в средних; одни только низшие оставались в полном своем составе, да и то до времени. Достигая полного развития юношеских сил, ученики бросали школьные занятия и уходили в ряды защитников родины.

К несчастью, эти новобранцы дорого поплатились за оставление лелеявшей их коллегии. Битва берестечская для многих из них была последним подвигом: но вместе с тем она решила окончательное присоединение Малороссии к великой России. Видя, что поляки, соединясь с крымским ханом и султаном, грозят погромом всей Украйне, Хмельницкий обратился к царю Алексею Михайловичу и 8 января 1654 года присягнул с приближенными своими на вечное подданство всероссийскому престолу. За ним присягнули и все малороссийские города и местечки, числом до ста шестидесяти шести.

Дошла очередь и до Киева. Хмельницкий был уже там с двумя полками — переяславским и киевским и тысячью русской конницы. Бояре, составлявшие посольство, в сопровождении киевского наказного полковника прибыли к городу 16 января. Девять знамен и тысяча козаков встретили их в десяти верстах за городом; за полторы версты от златых врат выехали митрополит, епископ Черниговский Зосима Прокопович, печерский архимандрит Иосиф Тризна, игумены, наместники и все знатнейшее духовенство. Первосвятитель приветствовал послов речью; шествие возобновилось. В Златых Вратах стояло все остальное духовенство с крестами, образами, хоругвями и святой водой. После молебствия в Киево-Печерской Лавре провозглашено было многолетие всему царскому дому, а на другой день вместе с митрополитом присягнул и весь Киев.

Так совершилось событие, слившее воедино два родственные племени и соделавшее Россию страшною врагам и непобедимой! В короткое время после сего Польша лишилась Смоленска, Дорогобужа, Невеля, Могилева, Полоцка, Шклова, Гомеля, Новгород-Северска, Чернигова и многих других городов, падших пред царскими войсками. Оружие их досягнуло до самого Вильна; а между тем Хмельницкий в свою очередь разорял и истреблял все неприятельское от Каменец-Подольска до самого Львова и Люблина.

В одном и том же году окончили земное свое поприще два знаменитых защитника Православия и Отечества: 1657 года 13 апреля скончался митрополит Сильвестр, а 15 августа Зиновий Богдан Хмельницкий. Прискорбна была душа знаменитого иерарха, сходившего в могилу и болезненно зревшего гибельное нестроение возлюбленной им страны. Сам «от ляхов всячески обнажен и нищетен зело», он был свидетелем упадка и того вертограда, который был передан ему в красоте и плодоносии великим предместником Могилою и в котором когда-то и сам он был ревностным делателем…

История Киевской духовной академии, о преобразовании ее в 1819 году

Курс четырнадцатый

1847–1849

<…>

Амфитеатров Яков Косьмич родился 1802 года в Орловской губернии, Кромского уезда, в селе Высоком, где отец его был сначала причетником и через 25 лет церковнослужительской службы священником. На седьмом году от рождения *Яков Косьмич* начал учиться русской грамоте под руководством своего дедушки. Жалея внучка, почтенный старец не слишком заботился о том, чтобы поскорее окончить домашнее учение, и старался длить его, сколько возможно, чтобы дитя, по его понятию, укрепилось и возмужало для перенесения многотрудной семинарской жизни. Счастливому баловню свободной жизни предстояла бурса. «Больно вспомнить, — говорит товарищ и родственник нашего ученого, — о прежней Севской семинарии! В ней воспитывалось около двух тысяч детей. Семинария эта была на расстоянии от города около 300 саженей, окруженная со всех сторон болотами, в то время непроходимыми, свирепствовавшими лихорадками и сильными горячками. Сколько детей здесь померло! Сколько вышло их с хроническими болезнями!» Не мудрено, что дедушке тяжело было отпустить любимого своего внучка почти на верную смерть; оттого-то более четырех лет держал он его при себе, занимая Часословом и Псалтырем. Но время уходило, и ребенку пора было поступить в училище. Сентября 5 1814 года *Яков Косьмич* принят был в семинарию, в низшую *Элементорию*, где преподавались латинская и русская грамматики, но более всего обращаемо было внимание на чистописание, почему и наставники особенно отличались искусством в последнем деле. Обратив на себя благосклонный взор педагогов, *Яков Косьмич* в следующем же году, не в пример прочим, переведен был прямо в третий класс, именовавшийся *Грамматикою*. Такой лестный переход потребовал от питомца больших усилий; ему показалось мало сравняться со своими новыми товарищами; он захотел опередить их, — и «резвое дитя», любившее игры, принялось за работу и через полгода сидело уже на *втором* месте, в звании *цензора*. В 1816 году *Амфитеатров* переведен был в *Синтаксис*, и хотя научные предметы здесь были те же, что и в прежнем классе: но воспитанники, по запискам наставников, уже знакомились с правилами словосочинения и чрез постоянные *оккупации* получали навык излагать чужие мысли приличными фразами и выражениями. *Амфитеатров* был из тех, которые лучше прочих поняли эту умную методу учения. Он ревностно занимался переводами с латинского на русский язык и, почувствовав в себе более сил и способностей, чем сколько требовалось для грамматического класса, стал посвящать свободное от уроков время чтению задачек учеников Поэзии и Риторики, даже сам решался писать кое-что из подражания высшим себя воспитанникам. Наставники отличали его перед всеми: но чем более *Амфитеатров* чувствовал себя усовершавшимся, тем скромнее и строже становился к самому себе, стараясь быть незамеченным. В 1817 году он переведен был в Орловское училище и, по окончании двухгодичного курса, поступил в семинарию. Судьба послала ему разумного и опытного руководителя в одном из старших воспитанников семинарии, который, сразу постигнув своего подначального, старался ознакомить его с лучшими классиками, перечитывал его задачки и, не исправляя ни одного слова, замечал встречавшиеся погрешности и строго требовал отчета во всем прочитанном. Не мудрено, что при таком надзоре, при данных Богом и развитых собственными трудами способностях *Амфитеатров* стал *первым* учеником в классе Словесности. Но с поступлением своего педагога в Киевскую академию *Амфитеатров* вдруг переменил образ своих занятий. Он перестал ходить на лекции, извиняясь болезнью, писал задачи только для порядка и чтобы избежать взыскания — и кончил тем, что начальство, переменив о нем свое мнение, низвело его во второй разряд воспитанников. *Амфитеатров* не заботился об этом. Пристрастившись к чтению, он занимался выписками из прочитываемых им книг и, между прочим, переводил буколики Виргилия, пробуя силы свои в стихотворстве. Всей душой, полюбив науки, *Амфитеатров* решался было еще остаться в среднем отделении семинарии: но архипастырский совет ближайшего родственника его, преосвящ. Филарета, епископа Калужского (впоследствии митрополита Киевского), [1] удержал его от такого намерения. «Мне очень приятно, — писал 30 июня 1823

года нежно-заботливый пастырь, — что вы имеете ревность к наукам. Просвещение истинное есть величайший дар Божий человеку. Но мне не очень нравится желание ваше остаться на другой курс в философском отделении и особенно заняться математикою. Лучше займитесь учением богословия как нужнейшим для всякого христианина, и особенно для тех, которые призываются на служение алтаря Господня. Я бы желал, чтобы вы более успели в греческом и еврейском языках. Вот вам мой совет: постарайтесь с отличным успехом окончить курс наук в семинарии, и, может быть, Богу угодно будет, что вы назначены будете в академию; там и философию выслушаете еще, и математикою займетесь в свободное от важнейших и нужнейших для вас предметов время». Послушный пастырски родственному слову, *Амфитеатров* перешел в класс богословия, но мало встретил там того, что советовал ему изучать просвещенный архипастырь. Преподавание главных предметов еще шло кое-как: но языки греческий и еврейский оставались и без наставников, и без слушателей. Значит, досужного времени оставалось много, и юный питомец науки принялся за самостоятельную работу. Перечитав все школьные учебники, он обратился к Св. Писанию и к природе — этим двум никогда невычитываемым книгам, где в каждой букве более смысла, чем в пышных системах блуждающего ума человеческого. Но мысль о поступлении в академию ему и в голову не приходила; единственною целью его занятий было — приготовить себя к достойному служению алтарю Господню и занять со временем место своего родителя. С этим скромным желанием окончил он курс семинарии и удалился на спокойное житье в дом своих родителей. Помогая им в трудах, *Амфитеатров* теперь разумно-сознательным взором смотрел на природу и во всяком явлении ее искал внутреннего значения, так глубоко осмыслившего потом как всю жизнь его, так и каждую строку художнического его пера. Естественные перемены года, метеорологические явления, сельские работы — все говорило душе его тем языком, который понятен только человеку неиспорченному, умеющему видеть в мире Божием силу, премудрость и благость вся Создавшего.

Но посреди сельских занятий и спокойного самоуглубления вдруг приходит к *Амфитеатрову* предписание семинарского правления собираться и ехать в академию. Горько плакал он, видя любимые планы свои неосуществившимися и, может быть, с переменою обстоятельств долженствовавшие совсем измениться. Неохотно и со скорбью прибыл он в Киев и опять услышал здесь утешительное слово пастыря-отца. «Напрасно ты так скорбел, — писал *Амфитеатрову* преосвящ. Филарет 25 ноября 1825 года, — когда Промысл Божий назначил тебя к высшему образованию и служению Церкви Его святой. Поучись безропотно и беспрекословно, в кротости духа, повиноваться велениям Господа, Который так милосердо об нас печется. И сие повиновение положи в твердое основание твоего просвещения. Только старайся приобресть евангельское просвещение». Руководя таким образом питомца своего, высокий покровитель в продолжение всего академического курса снабжал его то денежными вспоможениями, то драгоценными советами, то отеческими приветствиями и благожеланиями, даже будущность его составляла предмет заботливости архипастыря. Преосвященный Филарет желал иметь *Амфитеатрова* при себе и с этою целью намеревался открыть в Казанской семинарии другой класс философии, но спокойно отказался потом от своего желания, когда *Яков Косьмич*, по окончании в 1829 году курса и по возведении на степень магистра богословия и словесных наук, оставлен был бакалавром академии. «От всей души, — писал архипастырь, — поблагодарил я Господа Бога, давшего тебе помощь так счастливо окончить курс академического учения. Не скорби о том, что ты не в Казани, а в Киеве. Мне, действительно, хотелось видеть тебя в здешней семинарии, но я всегда соблюдаю правило: следовать Промыслу о нас Божию, а не предварять оный нашими распоряжениями, ибо то для нас самое лучшее, что Господь Бог устраивает. Теперь ясно вижу, что служение тебе назначено в академии, а не в семинарии, и доволен собою, что нигде не настоял о назначении тебя в Казань, а ожидал, как Господь Бог устроит судьбу твою. Продолжай порученное тебе служение пред очами Господа в полном спокойствии духа. Мне очень приятно, что ты

займешься церковным красноречием. Для верного в сем успеха советую тебе читать более всего творения св. Отцев Церкви, а наипаче св. Златоуста. Из сих только святых источников можно почерпать изобильно воду чистую для напоения душ, искупленных кровию Христовою».

Всей душой, всей силой своего ума и воли принял *Амфитеатров* внушения мудрого архипастыря, и кафедра Церковной Словесности вдруг ожила небывалой жизнию. Предшественники его трудились, можно сказать, только над приготовлением материалов для образования науки: но самая наука все еще робко и несмело уклонялась от проторенной дороги, по которой шли иноземные проповедники. Самое строение гомилетических произведений подчинялось мертвым формулам старинной реторики, парализовавшим проявления мыслящего ума и животрепещущего чувства. Все это надо было пересотворить, переделать, — и *Амфитеатров* не убоялся такой трудной и громадной работы. Со свежими, еще не потраченными силами принялся он за дело, и — надо было слышать это живое, энергическое слово, исходившее из уст молодого наставника! Не мудрствуя лукаво, не прибегая к ложной экзальтации, не убирая речи своей пустыми, а потому и звонкими фразами, *Амфитеатров* заговорил просто: но какая бывала бездна мысли и чувства в этой простоте! Нечего и говорить о том, когда он увлекался чем-либо из своей науки. Перед слушателями являлся тогда оратор, у которого всякое слово — молния, всякая заметка вынута из души и идет прямо в душу.

Таким образом, первый шаг к преобразованию науки был сделан; в аудитории слышался уже голос не раболепного подражателя иностранным образцам, а строгого судии красноречия, оглашавшего церковные кафедры. Но на пути к задуманному *Амфитеатровым* преобразованию гомилетического дела стояли *Правила церковного красноречия*, составленные неискусно, неприменительно к делу, наполненные примерами и образцами несродного нам западного красноречия. *Амфитеатров* сразу отбросил их и пошел новою, им самим проложенною дорогой. Он открыл глаза своих слушателей на прославленных Фенелонов [2], Массильонов [3], Бурдалу [4], Флешье [5] и прочие знаменитости западного красноречия; он указал их недостатки, их хвастливую плодовитость, их ложную аффектацию; он первый откровенно сказал слово правды, что русскому проповеднику не к лицу французское многоглаголание, немецкий сухой анализ и английский эмпиризм. Он положил перед понятливыми своими слушателями бессмертные творения Златоуста, Василия Великого, Афанасия, Григория и научил живо и действенно, благотворно и спасительно вещать слово Божие. Забыть нельзя того искреннего одушевления, с каким *Амфитеатров* объяснял, бывало слезоточивые беседы св. Ефрема Сирина или простую, бесхитростную, но полную вышнего помазания речь св. Димитрия Ростовского! «Вот где, — восклицал он, — родное наше красноречие! Вот у кого учитесь писать! А французы и немцы нам не годятся!»

Но не одною кафедрою занят был *Амфитеатров* в первые годы своего профессорства. Это была пора какого-то брожения мыслей, еще неустановившегося стремления к одной, свыше определенной цели. *Амфитеатрову* хотелось вписаться в число литераторов, и он пробовал себя во всех родах словесности; начинал повести, писал драмы, набрасывал нравоописательные этюды: но все это было только пробою пера. Повести его выходили без содержания и без характеров; драмы без движения и жизни; в нравоописаниях заметна была только горечь человека, который судил об обществе по понятиям, высиженным в кабинете и не поверенным житейской практикой. С детства чуждый свету и его призрачным явлениям, никогда не попадавший в водоворот страстей и дел человеческих, не видевший жизни, по выражению Гоголя, «со всей ее беззвучной трескотней», не изостривший своего взгляда в науке выпытывания, *Амфитеатров* был не в силах выставить перед собою все тонкие, неуловимые, почти невидимые черты сновавших пред очами его оригиналов. Проводя по черной ткани деятельности человеческой золотую нить чистой, евангельской нравственности,

он не мог заткать ее так, чтоб она вошла в основу ткани и не выдавалась углом или кривой линией. Как видно, он и сам это чувствовал: ибо тотчас же покидал работу, как скоро создание его воплощалось в слово и явления, не соответствовавшие носимому в душе идеалу. Целые кипы таких начатых и недоконченных изделий остались после *Амфитеатрова*, несмотря на то, что, конечно, большая часть их предана была самим автором огню. Нет, не на том поприще суждено было ему приобрести справедливую известность!

В 1835 году *Амфитеатров* возведен был в звание экстраорд. профессора и продолжал неослабно действовать в пользу своей, им самим созданной науки. «Ты, — писал он в эту пору к одному из двоюродных своих братьев, — ты когда-то писал мне, что имеешь охоту читать мои лекции; они не готовы и, вероятно, не скоро будут готовы; если есть в них что-нибудь дельное, в чем я, однако ж, сомневаюсь, то это дельное существует пока в отрывках и для тебя нелюбопытно. Между тем я спешу и крайне сам желаю к сентябрю первую часть моей Гомилетики кончить как-нибудь. Вторую отлагаю на другой год настоящего учебного курса. Когда есть у тебя охота и любовь ко мне, молись, чтобы Господь милосердый укреплял нас с тобою».

В эту же пору, по случаю кончины ордин. профессора Всеобщей словесности Я. И. Крышинского, поручено было академическим правлением *Амфитеатрову* занять кафедру покойного. Все увидели тогда, как многообъемлющи его сведения, как свеж и своеродeн взгляд его на предметы, для которых на всех почти кафедрах установлены и опробованы известные понятия, ставшие от долгого употребления истертыми и лишившимися своей силы и жизни. Всегда верный принятому умом и усвоенному сердцем истинному началу разумной деятельности человекакак существа, созданного по образу и по подобию Божию, *Амфитеатров*, при всей глубине своих выводов и заключений, всеми силами старался быть всегда ясным и точным; он нигде не гонялся за красотою выражения, отнюдь не прибегал к натянутым воззваниям и весьма подозрительным экстазам; если где и когда воодушевлялась речь его, то это у него выходило так просто, так естественно, что иначе как будто и быть не могло; среди своих слушателей он бывал точно друг и отец среди семейства: он говорил все, что знал, говорил как можно сокращеннее, чтоб студент не выходил из аудитории с головой, набитой балластом громких выражений, пышных фраз и плохо применимых к делу сентенций. Доверие и любовь к понятливым своим слушателям были источником той искренности, которою печатлеются все его уроки; не стыдился он признаться в том, чего не знает; «не бодрился, — по замечанию Гоголя, — разговаривая с древними писателями запросто»; не навязывал себе вещей, которые не были усвоены им сознательно: но за то уж что положил он в своем уме, то доказывал крепко и шагу не уступал ни перед каким возражением. Когда, по принятому в академии обычаю, студент поднимался и выражал несогласие свое с каким-нибудь положением профессора, *Амфитеатров*, наклонив несколько голову, спокойно выслушивал его до конца, и тогда уж начинал по пунктам разбирать предложенное ему возражение, — но все это снисходительно, скромно, даже весело, точь-в-точь, как бывает в дружеской, откровенной беседе.

Амфитеатров знал и любил нашу отечественную литературу, как знают и любят ее очень и очень многие. Его суждения о современных представителях нашей словесности всегда отличались своеродностию взгляда, твердостию и часто резкостию приговора. Не безызвестно ему было, что молодые слушатели его, увлекаемые общим потоком литературных убеждений, не всегда соглашаются с ним, — несмотря на это, он умел доводить их до того, что они поневоле заподозревали в непрочности и неискренности пристрастие свое к какому-либо из знаменитых наших писателей. Всякая заметка его по сему предмету была следствием долговременного и глубокого размышления, и оттого под сокрушительным приговором его не раз падали кумиры прославленных корифеев нашей литературы. Время довольно уже и теперь

оправдало верность предсказательных заметок *Амфитеатрова* и продолжает еще оправдывать, к изумлению тех, которые тогда не хотели ему верить. Многие литературные знаменитости уже развенчаны, иные едва держатся на своих подмостках и того гляди — рухнут.

Решившись остаться навсегда в духовном звании и исключительно посвятив себя науке в обширном смысле сего слова, он отказался от получения светских чинов и отличий, и потому сам иногда становился на месте тех молодых проповедников слова, которых воспитывал он в духе премудрости и страха Божия. Это бывал праздник для всех знавших и почитавших талант *Якова Косьмича*. Киевляне по справедливости могут сказать с самодовольством, что они счастливее других, ибо имели у себя Леванду [6], Иннокентия и *Амфитеатрова*. Действительно, всякое поучение его до того бывало живо, свежо и как бы вынуто из среды людей, волнуемых молвою житейских попечений, что в иную пору заподозришь проповедника: не подслушал ли он твоих заветных мыслей, не был ли тайным свидетелем такого дела, за которое сам теперь стыдишься, томясь поздним, но уже бесплодным раскаянием? Самые даже отвлеченные истины христианского догматословия *Амфитеатров* умел так приближать к понятию каждого, что нельзя было их не чувствовать, не видеть, не осязать. Какой бы предмет ни подпал под его животворящую кисть, хоть бы то самый обыкновенный, часто встречаемый, *Амфитеатров* придавал ему такой колорит, извлекал из него такие нравственные уроки, что невольно останавливался слушатель, пораженный простотою и естественностью выводов, и тайно спрашивал себя: отчего же ему самому ни разу не пришла в голову такая прямая и сама собою из предмета вытекающая мысль? В самом даже произношении бесед и поучений *Амфитеатров* имел свои особенности. Просто, даже как бы неловко выходит он бывало на кафедру церковную, начинает, по-видимому, без одушевления: но чем дальше, тем прикованней к проповеднику становится внимание слушателя, тем обильнее пошло в душу его животворное слово. Вы слушаете его не с той горделивой осанкой, которую невольно придает вам красноречивый оратор, не с выражением критицизма, даже не с готовою на устах похвалою, — нет, при сказывании *Амфитеатровым* поучения никто бывало духу не переведет, с похвалою некогда собраться. Он сполна завладел вами и уж не выпустит вас из рук до последних, заключительных слов своих: «Ему же слава во веки веков, аминь». Но вот уже нет властителя ваших дум благочестивых; он сошел с кафедры так же просто, так же, если хотите, неловко; вы проводили его благодарными очами и уже забыли личность проповедника: с вами осталось только живое, поражающее слово его, и вы осязательно чувствуете, как глубоко и благотворно пошло оно в душу вашу.

Заметим здесь, что гомилетические произведения *Амфитеатрова*, относящиеся к эпохе его молодости, значительно разнятся от тех, которые писал он уж в пору зрелого мужества. Обладая счастливым даром обнимать предмет поучения разом, всеми способностями души своей, он в первые годы своего проповедничества позволял себе иногда уноситься в область фантазии и некоторого мистицизма. Чуден, невыразимо — обаятелен был мир видений, открываемый вдохновенным служителем евангельской истины! Теперь уже нет этих поучений и бесед: ибо *Амфитеатров*, по мере того как возрастал и укреплялся в священном деле проповедания слова Божия, сам истреблял большую часть своих творений, а выпросить их для переписки почти не было никакой возможности. «Читай Димитрия Ростовского, читай св. Златоуста, — что тебе мои проповеди!» — так, бывало, отвечал он иному неотступному почитателю его проповеднического таланта. В другом периоде своего проповедничества он является уже более серьезным испытателем таин науки христианской и уже нисколько не дает воли ни фантазии, ни даже особенно сильному и тревожному чувству. Ровнее и спокойнее идет речь его, переводимая то из сердца в ум, то из ума в сердце. Для мира явлений, видимых долу, более нуждающихся в просветлении их светом истины, он покинул ту область, в которой так привольно и усладительно носилась душа его, в первые годы разумно-сознательной своей

деятельности.

В 1837 году начал выходить духовный журнал при киевской академии: *Воскресное чтение*. В первый раз *Амфитеатров* увидел здесь в печати произведения пера своего. Но не вдруг выступил он с самобытными творениями. Как бы не доверяя себе, он обратился к св. Димитрию Ростовскому и поместил в двух первых номерах означенного журнала два поучения сего святителя в сокращенном виде. Можно подумать, что *Амфитеатров* положил его перед собою как образец для своих оригинальных произведений, как указатель, в каком духе и настроении станет писать и он для журнала как один из главнейших и деятельнейших его сотрудников. Первою оригинальною статьею *Якова Косьмича* в «Воскресном чтении» была *Лилия* — это восхитительнейшее произведение яснозрящего ума, во всем созерцающего благость и премудрость Создателя. Вслед за тем беспрестанно начали появляться статьи *Амфитеатрова*, и хотя в означенном журнале не принято обыкновение выставлять имя автора: но всякий, кто сколько-нибудь ознакомился с манерою и слогом *Амфитеатрова*, — с первой же строки мог угадать его сочинение. Необыкновенная живость картин, сила, потрясающая сердце, редкая умилительность и естественность, не чуждая некоторого юмора, — вот отличительные черты статей *Амфитеатрова*. Все подавало ему тему для назидательных размышлений: характер книг богослужных, Свящ. История и благочестивые предания, перемены года, естественные явления в природе, даже самые обыкновенные действия человеческие озаряемы были небывалым светом и возводились христиански-художественным пером его в перл создания. Особенно увлекательны и в высшей степени утешительны были мудрые беседы его, подобные, например, *Беседе священника с прихожанином, у которого сын распутный; Беседе о сиротстве* или *Беседе священника с бедною вдовою, оставшеюся с сыном*. Кажется, слышишь голос отца, соболезнующего о твоей невознаградимой потере; чуешь сердцем утешение друга, для которого твоя скорбь стала его скорбью, твоя беда — его бедою, горькая слеза ощутительно растворяется успокоительной сладостью. «Хроника и жизнь» — статья, напечатанная в № 46 за XI год журнала, — была последнею статьею *Амфитеатрова*, появившеюся при жизни автора.

Появление «Маяка» вызвало нашего ученого на новую литературную деятельность. Умное, строго-христианское и честно-русское направление этого журнала возбудило во всех благонамеренных людях живое участие; по просьбе издателя, *Амфитеатров* согласился поступить в число его сотрудников. Не считая, впрочем, себя ни беллетристом, ни присяжным литератором, он начал помещать в смеси «Маяка» небольшие статейки, заимствуемые из простонародного быта, под названием *Простоволосые*. Наконец, в 1844 году появилась в этом журнале большая повесть: *Лева Долина*, подписанная так: писал *Афанасий Иванов, самовидец*. Кто такой этот Афанасий Иванов? — спрашивали литературные аристократы, изумленные высоким талантом неизвестного киевлянина, глубокой и многосторонней наблюдательностью, добротою, живостью и какою-то наивностью чувства, силою воображения и необыкновенною меткостью и картинностью рассказа. Тогда еще преследовали эту речь, которая в таком совершенстве явилась после в рассказах Григоровича и Тургенева; тогда этот язык некоторые журналы, без милосердия наводнявшие нашу литературу иноземными фразами и дикими оборотами речи, называли «мужицким»: но публика не всегда слушается журнальных говорунов, не всегда подчиняется литературному их деспотизму. Неизвестный *Афанасий Иванов* заинтересовал собою всех; в литературных кружках образовались партии и, как водится, одни до небес превозносили, другие отзывались с пренебрежением об этом оригинальном произведении *Амфитеатрова*.

Канва повести *Лева Долина* очень проста, и узоры, вышитые по этой канве, вовсе не вычурны. Простой, русский мужичок полюбил девушку, а девушка полюбила его. Как водится в романах и в жизни действительной, встречаются препятствия, которые доводят бедного Леву до петли

или, по крайней мере, до решительного намерения повеситься. Впрочем, все кончается благополучно. Лева женится на своей Наташе, становится отцом, и — повести конец.

Что может быть проще и даже, если угодно, пошлее этого предмета? Любовь уже так устарела; чувства влюбленных, сто тысяч раз описанные во всевозможных романах, повестях и поэмах на всевозможных языках и наречиях, до того износились, что написать что-нибудь занимательное по этой части без обстановки другими, более эффектными происшествиями, почти невозможно: но тут-то и виден художнический талант автора *Левы Долины*. У него русское сердце сказалось всей широтой любви, чистой, неиспорченной; у него сказалась воля со всей своей борьбой и колебанием между добром и злом, между законностью священных обязанностей и мятежностью общего всем эгоизма; у него русский ум явился со всей своей сметливостью и досужеством, со всеми, наконец, заблуждениями и предрассудками, словом: «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

Но, не увлекаясь пристрастием, скажем, что *Амфитеатров* в своих светски-литературных рассказах, отличаясь неподражаемым искусством чисто русского, искреннего слова, — в очертании характеров далеко неточен и нетверд. В этом разе с автором *Левы Долины* случилось то же, что и с народным нашим поэтом Кольцовым. Пока они не выступают из знакомой и понятной им сферы, до тех пор изображения их живы и увлекательны, а только шаг из этого круга — все становится бледным, неестественным, неправдоподобным.

Кроме прямых своих обязанностей по профессорской кафедре, *Амфитеатров* был одним из главных сотрудников по составлению Сборника поучений для простого народа. Но окончательная отделка уроков по классу церковного красноречия была в это время предметом серьезных его дум и занятий. Первая часть Гомилетики давно уже была представлена им в духовно-учебное управление, и наконец в 1846 году вышли в свет в двух томах *Чтения* его о *Церковной словесности* или *Гомилетика*. Весь учено-литературный мир встретил похвалами и радостными приветствиями это превосходное произведение глубоко наблюдательного ума, многосторонней учености и долголетнего опыта. Все наши отечественные журналы, редко согласные между собою в оценке известного сочинения, в настоящем случае единодушно отдали должную справедливость автору Гомилетики. Лестные отзывы просвещеннейших мужей и опытнейших в деле проповедания слова Божия пастырей Церкви сыпались на *Амфитеатрова* со всех сторон. Действительно, ни прежде, ни после в нашей литературе не являлось ничего подобного. Как классическая книга, Гомилетика *Амфитеатрова* заслуживает полнейшее уважение: но и кроме того она должна занять почетнейшее место у всякого любителя истинно русского, православного просвещения. Как мелки и жалки подле этого высокого руководства кажутся все прославленные творения западных ораторов! Поверяемые строгим критериумом великих светил Церкви Вселенской, самые пышные слова и речи Бурдалу и Массильона вдруг разоблачились от той роскоши, которою убирались они перед лицом света, приученного глядеть только на лицевую сторону церковно-ораторских произведений. Драгоценный подарок из кабинета Его Императорского Величества был Всемилостивейшею наградою благородному и добросовестному труженику науки. 26 марта 1848 года Государь Император, по представлению обер-прокурора Св. Синода, соизволил пожаловать *Амфитеатрову* осыпанный бриллиантами перстень в четыреста рублей серебром. Таким образом, последняя заря многотрудных дней незабвенного профессора академии осветилась Всемилостивейшим вниманием Августейшего Покровителя всего доброго и полезного в нашем любезном отечестве. А между тем не без искренней, конечно, душевной радости видел *Амфитеатров* что семя, сеянное им в продолжении всей жизни, пало не на бесплодную землю. Целые сотни его воспитанников, из коих многие уже занимают высокие места в иерархии церковной, с благодарностью произносят имя своего наставника, и во всех концах обширного нашего Отечества есть делатели, возросшие и питавшиеся вдохновенным

словом профессора *Амфитеатрова*.

Зная по опыту всю важность и благотворность единственно верного и спасительного руководства св. Церкви в жизни верующих, *Амфитеатров* положил изобразить ее как любвеобильную Матерь, с нежностью и любовью пекущуюся о чадах своих, и научить христиан, как в святых ее уставах и учреждениях обретать наставление и утешение, отраду и благопотребную помощь. Плодом этой благочестивой решимости были *Беседы об отношении Церкви к христианам*, помещаемые сначала в «Воскресном чтении» и потом напечатанные отдельно 1847 года. Требования на эту полезнейшую книгу были так велики, что в самое непродолжительное время понадобилось второе, потом третье и, наконец, четвертое издание, — и все это не более, как в восемь лет. Отрадное явление для всякого истинно русского человека, не доверяющего гибельной цивилизации! Вся православная Русь с восторгом встретила это новое произведение высокого, творчески-христианского ума. Знаменитые иерархи нашей Церкви приветствовали автора благодарностью, испрашивая на него благословение Бога Вышнего.

Искренно привязавшись к вдохновенному слову св. Златоуста, *Амфитеатров*, отлично владевший греческим и латинским языками, переводил в часы отдохновения и помещал в «Воскресном чтении» *Письма* великого Отца Церкви к *диакониссе Олимпиаде*. Собрание этих переводных писем составило книгу, вышедшую в свет 1853 года, уже по смерти переводчика.

Глубоко и основательно изучив все философские системы древних и новейших школ, постигнув всю призрачную высокость философии, *Амфитеатров* терпеть не мог вмешательства ее в дело веры. Энергически восставал он против всякого, кто осмелился бы при нем какую-либо неисследываемую тайну Веры подвергать философскому анализу; против таких, по выражению его, абсолютов действовал он всеми доказательствами, почерпнутыми прямо из живоносного источника истинной премудрости, и, как молотом, разбивал все их софистические убеждения. Вообще *Амфитеатров* не любил германщины и даже к немецкому языку всегда питал непреодолимое отвращение, хотя и знал его сам. Враг всякой выспренности туманной, он не терпел ее нигде; вычурные выражения и хитро придуманные фразы он преследовал неотразимым сарказмом. Беда, бывало, студенту, который осмелился бы щегольнуть каким-нибудь модным, журнальным выражением или иностранным словцом, скроенным на русскую стать! Отлично знакомый со всеми корифеями нашей литературы, *Амфитеатров* метко указывал хорошую и дурную их сторону и нещадно поражал своим резким приговором вычурность и манерность Марлинского [7] и его последователей. Как бы ни был хорош оборот, как бы ни роскошно риторическое словоизвитие, *Амфитеатров* прямо обличал их неестественность, где бы и в чем бы они ни встретились — в поучении ли, в беседе, в студенческой диссертации или в беллетрическом сочинении прославляемого литератора. Вторая часть его Гомилетики содержит в себе великое множество таких заметок, полных глубокого убеждения и самого легкого и приятного юмора.

Чуждый ложного этикета, проповедуемого заморским образованием, *Амфитеатров* обходился с воспитанниками академии, как с младшими своими братьями, — и студенты понимали своего доброго и умного наставника. Как чести, добивались они от своего «Кузьмича» искреннего *ты* вместо церемонного, на французский лад построенного *вы* и простительно завидовали тому, кого он удостаивал своего откровенно-дружеского обращения. Такие счастливцы бывали у *Амфитеатрова* в каждом академическом курсе; любвеобильному сердцу его как будто тесно и грустно было оставаться всегда одному; он искал с кем поделиться добрым искренним словом и всегда находил такого в кругу скромных и благонравных воспитанников академии. Сам, познав нужду во всей ее тяжелой наготе, *Амфитеатров* любил благодетельствовать беднякам, лишенным всякого вспоможения. Но благодетельствуя, он крепко не жаловал излияний благодарности и с досадой отворачивался от того, кто решался приступать к нему с

изъявлением признательности. Зато как он радовался, если видел, что благодеяние его не пропадает даром, что поднятый им из бедности и нищеты оправдывает его надежды и желания! «Спасибо тебе, голубенок, — говаривал он такому бедняку, — я знал, что из тебя будет прок!» Вот и вся для него награда!

Но эта любящая, эта прекрасная душа с грустью отказывалась от счастья супружеской жизни. Обремененный немощами и неисцелимой болезнью, *Амфитеатров* умер, как и был, одиноким. Напрасно в дружеских откровенных беседах советовали ему приискать себе достойную спутницу жизни, — он упорно и с грустною иронией отказывался от этого. — «Эх! — говаривал он в таких случаях, — что я за сумасшедший, чтоб заставить какую-нибудь бедняжку терпеть мои немощи, мои болезненные капризы! Мне одному дал их Бог; один и понесу я их до могилы». Черта высокая, полная истинного самоотвержения! Он не изменил единственной спутнице своей многотрудной жизни, вместе с ним терпеливо переносившей его немощи, — спутницей этой была наука. С нею-то прожил он неразлучно более четверти века, и проводила она его в могилу, оставшись живою свидетельницей полезнейших трудов своего неизменного друга.

Амфитеатров редко являлся в обществе. Он всегда чувствовал себя неловко там, где люди говорят для того только, чтоб не молчать, и где задушевная мысль является странною и эксцентрическою. Оставаясь из приличия на какие-нибудь полчаса, он незаметно уходил к своим пенатам и заводил с ними умный и оживленный разговор. Чувство изящного, широко развитое богатою душой *Амфитеатрова*, заставляло его любить музыку, но только не италианскую, не ту, которая является в наших светских романсах, а музыку простую, народную, где поет сама душа под аккомпаниман животрепещущего слова. Но больше всего утешали скорбную душу его песнопения нашей Православной Церкви. Самые простые напевы погружали его в умиление, и оставался он неподвижным, прислушиваясь внутренним слухом к высокой мелодии, неуловимой никаким контрапунктом.

Почти двадцатилетняя, ревностная, неутомимая ученая служба и частые недуги предрасположили *Амфитеатрова* сначала к преждевременной старости и, наконец, к болезни, единственною исходом которой большею частью бывает могила. В первую неделю Великого Поста *Яков Косьмич*, движимый святым, христианским чувством, посетил пещеры, для поклонения нетленным мощам угодников Божиих. Возвращаясь оттуда, он получил простуду, которая скоро обратилась в смертельный недуг. По убеждению близких к нему, *Амфитеатров* принял пособие медицины; но и та скоро отказалась восстановить здоровье, быстро разрушаемое тяжкой болезнью. Летом 1848 года, месяца за полтора до своей кончины, *Яков Косьмич* переехал за город в хутор, принадлежащий митрополитанскому дому, чтобы пользоваться лечением на свежем сельском воздухе, но уже и природа не могла поддержать сил, потрясенных в самом основании своем. Чувствуя приближение кончины, *Амфитеатров* переехал в митрополитанский дом, находящийся при Софийском соборе, а потом, за несколько дней до смерти, в академию. Здесь с полным присутствием духа занялся он составлением духовного завещания, и, устроившись, таким образом, отложил за тем всякое попечение житейское, и стал уже думать исключительно о приготовлении себя к дальнему и невозвратимому путешествию. Два раза сподобился он причаститься святых и животворящих таин, достойно благодаря Господа за вся благая в животе своем, и с особенным чувством умиления принял таинство елеосвящения. 8 июля, в полдень, высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Киевский, посетив страдальца на болезненном его одре, осенил последним благословением того, кого некогда сам руководил в деле православного просвещения; а вечером, в тот же день, как бы по некоему предчувствию, собрались к умирающему некоторые лица, родные и близкие ему. С ясным и веселым лицом простился он со всеми, дружелюбно выговаривая за то, что они беспокоились для него. Еще минута — и

Якова Косьмича не стало… Безболезненно разрешился дух его от тела, уже истомленного страданиями; мирно и тихо сомкнулись усталые вежды доброго христианина. Он скончался в десятом часу пополудни в камере, находящейся в новом академическом корпусе, насупротив библиотеки.

Тело усопшего, сопутствуемое знатнейшим киевским духовенством, из которого многие были воспитанниками *Амфитеатрова*, прибывшими единственно по усердию и уважению к памяти покойного, сопровождаемо было от Братского до Выдубицкого монастыря, где, по собственному желанию усопшего, почили бренные останки его. На скромном памятнике, воздвигнутом на могиле *Якова Косьмича Амфитеатрова*, нет хитрых выражений земного тщеславия, а стоят слова Писания, которое обнимал он умом и сердцем своим: *аще живем, аще умираем, Господни есьмы* (Рим 14, ст. 8).

Курс пятнадцатый

1849–1851

<…>

Авсенев Петр Семенович (архимандрит ***Феофан***) родился 1812 года Воронежской губернии в селе, именуемом Московский Поселок, и был одним из шести сыновей тамошнего священника. Первоначальное образование он получил в Воронеже в низших духовных училищах. Быстрые, не по летам, успехи скоро довели его до семинарии, откуда, по окончании в 1829 году курса, он поступил в Киевскую академию. Семнадцатилетний юноша был редким явлением в высшем училище, как по своей молодости, так и по необыкновенной жажде к учению. Его беспримерное добродушие, его простосердечие и общительность могли привязать к себе всякого, тем более таких молодых людей, какие бывают в академиях, которые в течение четырехгодичного периода срастаются друг с другом чувством и мыслью, у которых не бывало никогда и ничего заветного. Отлично владея немецким языком, *Авсенев* для своих товарищей-студентов был истинною находкой; безотказно служил он всякому, кому открывалась надобность прибегать к чтению немецких источников. Он был истинно добр, скромен, в высшей степени послушен, прилежен, чист душой и телом, благочестив и чужд всех праздных занятий, даже дозволенного отдыха студентской жизни.

Окончив академический курс наук в 1833 году, *Авсенев*, по зоркому выбору ректора Иннокентия, оставлен был при академии бакалавром немецкого языка. Должность эту нес он около трех лет. Преподавание немецкого языка, не стоившее ему ни малейшего труда, раскрыло для любознательности его обширное поприще: читая историю немецкой литературы, он в то же время знакомился с немецкой философией и, к удовольствию своему, получил кафедру философии. На долю *Авсенева* досталась Психология. Занятие этой частью науки как нельзя более пришлось ему по сердцу. Углубляясь все более и более в предмет свой, он увлекся им совершенно. Глубокое понимание всех философских отвлеченностей, живое и искреннее сочувствие ко всему, что входило в состав его науки, сглаживали в устах *Авсенева* всю угловатость ученой терминологии и давали понятливым слушателям его всегда живую, ясную и определенную мысль. Добрая и чистая душа его, всегда дружеский и ласковый тон, искренность и выражение любви держали его в некоей особенной связи со слушателями, которые особенно дорожили психологическими лекциями. В самых глубоких изысканиях *Авсенев* шел твердо и неуклонно, держась слова Божия и учения Церкви Православной, всегда руководивших его в самом напряженном мышлении. Такая гармония знания и веры, встречаемая у него там, где иной не мог бы, и думать о ней, была истинно поразительна и делала сущей драгоценностью слово мудрого наставника.

Такое самостоятельное мышление нашего философа не могло не сделаться известным ученому миру. Благодарное начальство возвело *Авсенева* в 1839 году в звание экстраординарного профессора академии, и в то же время Киевский университет св. Владимира пригласил его на существовавшую тогда при нем кафедру философии. Не оставляя службы при академии, *Авсенев*, по собственному его выражению, приложил труды к трудам и в скором времени приобрел всеобщую расположенность и привязанность как наставников, так и воспитанников университета. В эту эпоху ученой деятельности *Авсенева* труды его, действительно, увеличились вдвое: ибо, преподавая академистам науку во всей ее глубине и обширности, он должен был для университета сокращать и упрощать свои лекции, приближаясь, сколько возможно, к понятиям своих новых слушателей, не приготовляемых заранее специально к такому предмету. Между тем почти в ту же пору, по распоряжению академической конференции, *Авсеневу* поручено было чтение Истории новейшей философии. Головоломная отвлеченность и хитро-придуманная запутанность таких систем, каковы системы Фихте, Шеллинга, Окена, Гегеля и восторженных последователей сего последнего, не испугали нашего глубокомысленного философа. С твердостью мыслителя-христианина он разоблачил призрачность философствования, заносившегося в туманную сферу непостоянных идей и странных понятий, и скромно указывал на утрированную восторженность Гансов и Рейнгольдов — русских и немецких, видевших в последнем представителе германской философии чуть не пророка.

Испросив себе увольнение из духовного звания, *Авсенев* в скором времени достиг чина коллежского советника и думал было вступить в брак. Но Промыслу угодно было назначить ему другую спутницу жизни. Будучи самым строгим и послушным сыном Церкви, *Авсенев* всегда ходил к ранней обедне и, возвратившись домой, обыкновенно размышлял о дневном Апостоле и Евангелии, что иногда оставалось для него задачей на целый день. Не думая особенно о настоящем, не строя шатких планов в будущем, он был, наконец приведен к необходимости подумать о монашестве. Много содействовало этому еще и то обстоятельство, что один из сослуживцев по академии, ближайший друг его, поступил в монашество. Мысль о том же с этой поры не оставляла его уже ни на минуту. Решиться на это окончательно ему не стоило большого труда, потому что образ жизни его давно уже был истинно монашеский. Наконец, крепко задуманное *Авсеневым* намерение было освящено Церковию и приведено в исполнение: 11 октября 1841 года *Петр Семенович* был пострижен в монахи и наречен *Феофаном*. Обряд пострижения совершал над ним сам высокопреосвященнейший митрополит Филарет в пещерах препод. Антония. Всей душой принял он высокие обеты монашества и еще более усилил строгость и внимание к самому себе. 16 июля 1846 года *Феофан* возведен был в сан архимандрита, а в октябре того же года занял должность инспектора академии.

Желая остаться строго верным новому своему призванию, *Феофан* начал отдаляться от философских занятий, сознав в душе своей, что все это более мудрость по стихиям мира сего, а не по Христе. Оттого, будучи уже ординарным профессором философских наук, он старался переместиться на какую-либо из богословских кафедр и, не успев в том, принял на себя, сверх своего главного предмета, преподавание библиологии. Таким образом, неутомимому трудолюбию его открылось еще новое поприще: отовсюду окруженный толковниками Св. Писания, он день и ночь углублялся в них без отдыха. Но расстройство здоровья было ответом на это новое его увлечение. Терзаемый болезнью, он начал мало-помалу хладеть ко всему; не хладел только к своим монашеским обязанностям и начал уже ежедневно ходить в церковь на службы. Он не отказывался и от врачебных пособий, хоть и знал, что все это напрасно. Неисцелимая болезнь уже пустила свой корень в истощенный организм труженика науки, которую не имел он духу совсем покинуть и в болезненном своем положении. Напрасно врачи советовали ему хоть несколько дать себе отдых от ученых занятий и духовных упражнений, — он спрашивал их: что значит отдых? — и продолжал многообразные труды свои.

Действительно, с детства ревнивая и проникнутая энергией ума и воли деятельность, наконец, истребила в нем самое понятие о том, что такое отдых.

Нужно было избрать другой род служения. Получив настоятельство при посольской нашей церкви в Риме, Феофан в августе 1850 года выехал из Киева в Петербург, где и остался на зиму по болезни, а летом 1851 года прибыл в Рим. Выехав, по случаю жарких летних месяцев, на дачу в окрестностях Альбано, *Феофан* стал чувствовать себя несколько лучше. Высокое местоположение и тонкий воздух, видимо, начали укреплять его. Желая усугубить пользу пребывания своего на даче, он стал употреблять холодные ванны и усиленное движение. Сверх ожидания, оказались действия противные. Возвратившись в Рим, он уже начал редко, и то с большим трудом, выходить из дому. Последнею службою его была всенощная на 6 января 1852 года, в день Богоявления Господня. С Великого поста он уже не оставлял своего болезненного одра; в Великий Четверток исповедовался, в Великий Пяток имел последнее свидание с нашим посланником, сказав ему при сем, что он уже готов к смерти. Как он обрадовался, дождавшись Св. Пасхи! С каким горячим чувством целовал он красное яйцо! В ночь на понедельник (31 марта) он стал чувствовать себя очень трудно и в 6 часу утра, выслав от себя прислугу, скончался, не видимый никем, кроме Бога, Которому служил втайне столько лет…

Так кончилась жизнь весьма замечательного в духовном и ученом мире человека! Его беспримерная совестливость и недоверчивость к самому себе были причиною того, что он не был известен в свете как писатель. Семнадцать лет он постоянно выдавал записки для своих слушателей по немецкой литературе и по разным частям философии и с каждым курсом всегда переделывал последние, никогда не находя их доведенными до желаемого совершенства. На все просьбы друзей об издании в свет своих записок он обыкновенно отвечал: «Не пришло время». Немногое число статей его помещено в «Воскресном чтении» — вот и все, что осталось от него в печати! А между тем богословские, философские, исторические и естественные науки составляли всегдашний, обыкновенный круг его занятий, из которого не выходил он никогда. Языки еврейский, греческий, латинский, итальянский, французский и немецкий знал он в совершенстве, а на двух последних говорил, как на русском.

Ни в светском быту, ни в монашестве *Авсенев* не любил ни славы, ни денег, ни роскоши, ни забав, ни даже каких-либо удобств в домашней жизни. В обществе он отличался необыкновенною скромностью и смирением; никогда не принимал участия в светских развлечениях и при всем том почти всегда находил посреди кружка собеседников, любивших умное его слово. Мысль всегда глубокая, свежая, светлая, отрадная, хоть и не без некоторой идеальности, уходила из уст его, веявших чистотой и христианскою святыней. В домашней жизни он был прост, открыт, ласков, общителен, тих и невзыскателен, щедр и благотворителен до самоотвержения; не прилагая сердца своего ни к чему, что имел, кроме только книг, да и те не держал, как мертвый капитал, а давал их читать всякому и даже сам назывался на то. Привязанный к Киеву долголетним в нем пребыванием, *Феофан* оставил его с большим сожалением и в самом Риме все утешал себя мыслью, что, может, еще возвратится к святым угодникам Печерским. Легко свыкаясь с другими по своему мягкому и голубиному характеру, он непременно подчинялся тому, с кем свыкался. Музыка доставляла ему высокое наслаждение; иногда, как ученый, он старался вникать в ее математическое и психологическое значение, а иногда предавался ей, как невзыскательный любитель, всегда, однако же, отдавая предпочтение музыке церковной; он сам иногда разыгрывал на гуслях некоторые духовные концерты. Владея вполне развитым эстетическим чувством и проводя всюду параллель между духовным и чувственным бытием, *Авсенев* на все изящные искусства смотрел только с точки высшего, философского их значения. Такой же взгляд имел он и на все события истории и своей собственной жизни; это, между прочим, сообщило характеру его некоторого рода идеальность. Следы глубокого размышления остались на лице его и тогда,

когда смерть положила на него разрушительную печать свою. Только за два дня до кончины он выпустил из рук всегда любезные свои книги, составлявшие почти все его достояние. Другую книгу, более вразумительную и менее утомительную, читал он в последние часы свои, — это была икона Спасителя. И можно было подумать, что ряд мыслей и дум, начатый им здесь, неизменно продолжался и там, доколе блаженное ведение того, что уловлял он *здесь* только зерцалом и в гадании, не осенило боголюбивого философа успокоительным, вечным созерцанием…

Феофан погребен в Риме на кладбище, недалеко от ворот св. Павла, имеющем назначение быть местом успокоения для всех христиан, не принадлежащих к римской церкви. Это место есть одно из очаровательнейших в Риме. Густо оттененное кипарисами и расцвеченное благовонным кустарником, с правильными рядами могил и чистыми дорожками, оно не веет на посетителя тем тяжелым чувством, какое обыкновенно испытывает живой посреди мертвых. Изящные мраморные памятники большею частью над людьми, увлеченными любовью к изящному и положившими здесь кости свои во свидетельство своего стремления к нему, мирят на этом поприще состязания временного с вечным, радость бытия с печалью смерти. Недалеко от входа в эту мирную обитель разноплеменного, разноверного и разноязычного братства, соединенного местом последнего успокоения, виден пышный мавзолей с надписью: Carlo Brulow, а близь него курган, ничем особенным не отмеченный, с надписью на черной дощечке № 165. На вопрос, кто похоронен здесь? — сторож кладбища спокойно читает в своем каталоге: № 165 archimandrita Russo Theophane; № 166 Carlo Brulow, — два имени, из коих одно сопровождается указанием на принадлежность его России; другое оставлено, как есть, с одним его знаменитым и славным в мире искусства именем и прозванием. И действительно, — кому неизвестно, кто такой Брюлов? Кто не знает его хоть по слуху, если не по близкому знакомству с его бессмертными произведениями? Кто же знает *Феофана*, архимандрита русского, так странно и неожиданно встречаемого в Риме, на этом кладбище?.. Знают многие и очень многие, что это тот самый философ, которого звали в мире *Петром Семеновичем Авсеневым* и памятью которого дорожит Киевская академия, воспитавшая его и пожавшая лучшие плоды его просвещенной деятельности…

Раздел II. Литературные произведения (Проза)

Асмодей нашего времени

Глава первая

— «Вот развалины те!» Черт побери, не поется как-то. Ермолай! Подай-ка, братец, там что-нибудь, скатерть что ли… Вот так! Давай! Это что? Никак халат? Отлично, мон-шер! В этом я буду истый Петров. Полу на плечо, физиономию поотчаянней, да и того… Жаль только, что сегодня я как будто не в голосе; ну, да ничего, попробуем…

И молодой человек, драпируясь шелковым халатом, запел во все горло распрескверным басом: «Вот развалины те», фальшивя отчаянно и поминутно переходя из мажора в минор.

Этот повеса был одним из тех счастливых натур, у которых *завтра* вовсе не существует, исключая тех случаев, когда несносный кредитор являлся с униженным напоминанием о давно просроченном долге, объясняясь при этом, что он никак не осмелился бы беспокоить его благородие такими пустяками, если б его самого не заставляла крайность. Еще один только шаг сделан был им в жизнь действительную: но этот шаг был прост и незатейлив, как фигуры французской кадрили. Правительство указало молодому человеку дорогу, снабдив его на предлежащее путешествие запасом необходимых сведений, разогрев сердце его ко всему

прекрасному и возвышенному и покрыв пылкую душу его эгидою чести и долга; насчет всего прочего предоставлено было распорядиться ему самому, по усмотрению. Молодец, получив от своей матери родительское благословение, несколько неизбежных наставлений и небольшой бумажник с довольно осязательным содержанием, в проезд через Москву спустил большую часть полученного им груза, не коснувшись только белья да предметов невесомых, и к месту своего назначения прибыл, по пословице, яко благ, яко наг, яко нет ничего.

Эх, молодость, молодость! Широко ты, словно полая вода, разливаешься по необнимаемым очами долинам открывающейся пред тобой жизни; вольно шумят шаловливые волны твои, убегая от берега, где стоит приют, взлелеявший тебя, развернувший лихие твои силы, пустивший тебя ширять по поднебесью сизым орлом. И что за крепость в твоих гибких членах! Что за раздолье в твоих замысловатых затеях! Бойко несешься ты диким конем в далекую степь, пока не обожжет тебя палящее солнце, не заслепит тебе очи горячий песок и пока — усталая — не обратишь, как жар, раскаленных взоров твоих направо и налево, ища прохладной струи, чтоб утолить кипящую в тебе жажду желаний и надежд!..

Молодой человек, который, пока мы говорили, окончательно сбился с тона, поднявшись, по его выражению, выше облака ходячего, выше лесу стоячего, — этот молодой человек не герой моего романа. Перед читателем встанут во всем мелочном своем величии и величавой мелочности, во всей, может быть, грустной, но, тем не менее, справедливой действительности и другие образы, другие характеры, резко бросающиеся в глаза наблюдателю и оттененные самородной особенностью: но опять не на них опирается все здание этого рассказа, не они движут пером, едва поспевающим за тревожным бегом развивающейся мысли.

Во всяком случае, не мешает, однако ж, знать, что молодой человек, открывший эту повесть раздирательной арией Бертрана, называется Федором, по отчеству Степановичем, а по прозвищу Племянничковым. Собой он был вовсе не красавец; природа как-то уж чересчур завострила его физиономию, придав ей слишком резкое выражение. На моду больших претензий Племянничков не имел, и кроме уродливой прически à la mougik, которая, как нарочно, не шла к улиткообразной голове его, вы не встретили бы на нем ничего такого, что поторопился бы перенять любитель модных фраков, жилетов и прочих клочков, которыми, по замечанию поэта, «наперекор стихиям», опутывает себя цивилизованная половина смертных мужеского рода. Весь корпус Племянничкова, свыкшись сначала со школьной курткой, а потом должностным мундиром, как-то не совсем уклюже укладывался во фрак, как бы он ловко сшит ни был. Не смотря на тщательность, с какою обыкновенно Племянничков пробирался на званый вечер, всегда у него, после первой же кадрили, или сворачивался набок непозволительно-толстый узел галстука, или высовывалась манишка, открывая таким образом не всегда безукоризненно чистое белье, или оказывалась одна перчатка незастегнутою, по неимению крючка или пуговицы. На все это, впрочем, Племянничков не обращал большого внимания; его даже мало беспокоило и то, если в бешеном вальсе портилась его наскоро и незатейливо придуманная прическа и волосы опускались космами, делая его похожим на человека, который только что вылез из ванны. Вести разговор Племянничков умел как-то особенно; смотря потому, где и с кем приходилось ему говорить, он бывал или чудо как остер и оборотлив, или нестерпимо тягуч и тяжел, точно как будто всякое слово вязло у него в зубах. Но всего опаснее для него было вести речь с дамами, Бог его знает, только так бывало, что начнет он как быть должно — и сладко, и мягко, и комплиментец ввернет кстати, а чрез минуту, смотришь, дама и отвернулась от него со вздернутою губою. «Что, — спрашивает его обыкновенно в таких случаях приятель: видно, уж болтнул что-нибудь?» — «Да нет, братец, а то и то», — ну, и расскажет все как было. — «Ну, уж ты и в самом деле», — скажет приятель и также в свою очередь отойдет прочь. А впрочем, Племянничков состоял на счету добрых малых. Об уме его говорить нечего; ибо кто ж нынче не умен?

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.

Не скажу, в какой мере были верны и основательны сведения Племянничкова, по крайней мере, не было науки, о которой бы он не судил и вкривь и вкось, озадачивая профанов техническими терминами и Бог его знает, где вычитываемыми открытиями.

У письменного стола, прислоненного к окну, выходившему в палисадник, сидел, склоня голову и положив ноги на близ стоявший стул, Николай Михайлович Беляков, приятель Племяннячкова. Он в задумчивости чертил перочинным ножичком по столу какие-то буквы, не замечая того, что режет зеленое сукно. Светло-русые волосы его опустились густою прядью, и грусть тихая и глубокая виднелась на этом светлом лице, на котором широкой кистью было написано добродушие и впечатлительная приимчивость. Трудно было угадать в эту минуту в Беликове того милого повесу, который всегда веселил метко сказанным словом беззаботную молодежь; не видать было в нем его привычной рассеянности, его безустанного вранья, от которого, впрочем, он сам никогда не краснел: но не удивило бы это никого из тех, кто был близок к Беликову. Его мнимая рассеянность не мешала ему вникать в жизнь и ее прихотливые явления. Вас невольно остановила бы и изумила иная заметка, мимоходом брошенная этим повесой, и вы потом невольно спросили бы самих себя: тот ли это человек, который врет, не озираясь, не устремляя, по-видимому, испытующего взора вглубь сцены, по которой вертится и бегает вечно суетливое человечество? Редко кому удастся подметить так верно, схватить так быстро мелькнувшую мгновенно характеристику ставшего пред очи оригинала и осветить ее нарочно придуманным для того словом, как это делал Беликов. Не подумайте однако ж чтоб Николай Михайлович был уж чисто-начисто Малек-Адель XIX века; совсем нет. Весьма многие благовоспитанные и очень хорошо танцующие польк-мазурку девицы находят, что Беликов ровно ничего не значит против Тонина, отличнейшего, как всем известно, танцора; — и такое заключение благовоспитанного пола совершенно справедливо. Вообразите, — Беликов всегда волочит ноги, точно как будто у него на каждой по пудовой гире, а иногда меряет залу такими огромными шагами, что ужас! — согласитесь после этого, что такие поступки ни на что не похожи. Да при том Беликов как-то немножко угловат в движениях и приемах, и потому его с некоторой осторожностью следует подпускать к этажерке, уставленной модными безделушками: непременно что-нибудь уронит или разломает. Он тоже скор на бойкое, размашистое слово, от которого подчас покраснеет целомудренная мамзель и покачает головой опытная мадам: но это, кто его знает, как-то все идет к нему. Попробуй-ка другой кто-нибудь так сказать, — да Боже сохрани! выйдет такая история, что после и носа нельзя будет никуда показать.

— Да перестань, ради Бога, орать! — сказал Беляков с досадой, бросив ножичек, который он уж успел сломать.

— И что, не нравится? — отвечал Племянничков, сбрасывая с себя импровизированный плащ. — Извольте, дяденька (у него все были дяденьки, хоть иному дяденьке он сам годился бы в дедушки), я замолчу, но только ей-богу скучно; я от того и распелся, что скучно. Тоска, да и полно.

Беликов вздохнул почти со стоном.

— Дяденька, а, дяденька! — приставал Племянничков, засматривая в глаза своему приятелю.

— Ну, что? — отрывисто сказал Беликов.

— У, что! нельзя было понежней да поласковей?

— Что ж тебе нужно?

— Ты был нынче у Софьина!

— Был, — протяжно отвечал Беликов.

— Ну, коли пошло на скуку да вздохи, то пойдем опять к нему.

— Пожалуй, пойдем.

И вот уже знакомцы наши сбираются брать приступом высокое крыльцо квартиры Софьина. Племянничков, сейчас окончивший какой-то рассказ, толкнул ногой, без всякой, впрочем, надобности, лежавшую близ крыльца старую дворняжку, которая, флегматически взглянув на повесу и поворчав немного, спокойно расположилась на том же месте.

— Барин дома? — спросил Беликов дворника, который, распялив на вешалке какое-то пальто, преусердно колотил его обшарпанным веником.

— Кто — барин? Дома-с, пожалуйте. Они, надо быть, в кабинете.

— А что он делает? — спросил Племянничков, всходя на лестницу.

— Ничего-с; мыслями занимаются, — отвечал находчивый слуга, поплевывая на ладонь, чтоб вытереть воротник страдавшего пальто.

Квартира, занимаемая Софьиным, была из лучших в городе. Не богато, но со вкусом меблированная, она, по расположению комнат, представляла все удобства, какие нужны человеку семейному; но болезненно сжалось бы сердце у всякого, кто заглянул бы сюда. Снятые портьеры и занавеси валялись на полу в одной куче, и шелковыми кистями их забавлялась, прыгая, маленькая собачка, фаворитка дома; между мебелью, расставленной как попало, и покрытой густым слоем пыли, лежали скомканные ковры; в углу прислонилось богатое кресло с переломленной ногой; на бархатном табурете лежали куски матового стекла разбитой лампы, и сиротеющий рояль сдвинут был почти на средину комнаты, к паркету которой, как видно, несколько дней не прикасалась щетка полотера. На козетке, прислоненной к стене, навалены были груды белья; окна уставлены банками, пузырьками с заплесневшей микстурой и щегольскими коробочками для порошков — и все это в той гостиной, где незадолго перед тем все являлось так стройным, так светлым, так изящным… Обширная зала была совершенно пуста; богатая в тяжелых рамах картина, свесившись боком, моталась на одном крюке, вырвав другой из стены вместе с штукатуркой; большие зеркала, еще закрытые белыми, но уже запыленными скатертями, показывали, что тут весьма недавно разыгран был последний акт той драмы, которую зовут жизнью человеческой… Несколько стульев, небольшой столик с графином воды, пробка от которого валялась на полу, закапанном воском, два-три вазона с какими-то поблекшими растениями — вот все убранство той залы, где за несколько дней пред сим витало счастье и довольство, раздавались обворожительные звуки рояля, одушевляемого чьими-то перстами и останавливавшие под окнами целые толпы прохожих. А в другие комнаты еще тяжелее, еще грустней было заглянуть: там во всем видно было расстройство и горькое разрушение счастья и довольства.

Нет, видно, нет кого-то в этом доме; ангел-хранитель его, видно, улетел отсюда!..

— Здравствуй, Владимир, — сказал Беликов, подавая руку Софьину, сидевшему на кровати,

ничем не покрытой.

Софьин молча пожал руку тому и другому и повалился на подушку, положив на близь стоявшее кресло какую-то большую книгу в простом кожаном переплете.

Беликов прислонился к письменному столу, не упустив при сем случае изломать легкую его решетку.

— Ах, дяденька! — сказал Племянничков. — Что за ловкость у вас, ей-богу!

Но Софьин не обратил внимания ни на изломаннную решетку, ни на замечание Племянничкова. Он лежал неподвижно, подложив себе под голову обе руки, и мутные глаза его смотрели в потолок.

Владимир Петрович Софьин был не стар. Многие, судя по свежести его лица, по веселости характера и особенной крепости, никак не давали ему более 25 лет. Но две глубокие морщины на открытом челе его, рано поседевшие волоса заставляли не без основания заключать, что Софьин если не долго, то много прожил. Вместо живого, подвижного выражения лицо его было подернуто тяжкой думой, наложившей странную неподвижность на все черты одушевленной его физиономии; светлые, горевшие силою воли и крепостью духа, очи его как будто забыли привычный блеск свой и тускло устремлялись на один какой-либо предмет, вспыхивая мгновенно и неожиданно несвойственным им огнем; густо поросшая борода неприятно оттеняла синеватую бледность опустившегося лица, и мрачная тишина, заключенная в глубине души его, заразительно и властно действовала на все, что его окружало.

Кабинет Софьина представлял такое же расстройство, как прочие комнаты. На письменном столе, заваленном бумагами, разбросаны были дорогие безделки, испачканные перья, недокуренные сигары, медные и серебряные деньги, просыпанный песок, две тонких восковых свечки, какие-то порошки, раскрытый бумажник, бутылочка духов, куски черного сургуча, клочки богатой парчи, запачканный воском креп и еще много кой-чего. Голубые занавеси у окон были спущены и набрасывали синий, мертвенный цвет на окружающие предметы; в углу в таком же беспорядке свалены были книги, кучи бумаг и свернутые в трубку географические карты. По всему было видно, что рука хозяина ни до чего не хотела дотронуться.

И долго бы еще продолжалась начавшаяся после первых слов свидания молчальническая сцена, если б Беликов не наступил на ногу собачке, отнюдь не подозревавшей неловкости господина, сапог которого обнюхивала она так дружелюбно. Болезненный визг собачки заставил Софьина вздрогнуть, а Племянничкову подал случай еще раз повторить замечание своему приятелю.

— А что это, дяденька, за книга такая? — сказал он, подходя к креслу.

— Библия, мой друг, — отвечал Софьин, тяжело вздохнув и приподнимаясь на кровати.

— Ну-ка, ну; я, право, никогда не видал ее. Попробовать бы, умею ли я читать на этом иностранном диалекте.

— И я не умел, а вот, видите, теперь умею.

— Куда ж нам, дяденька, за вами!

— Да, Федор Степанович, вы правду сказали: куда вам за мной! Перед вами разогнулась только первая страница той книги, которую озаглавливают жизнью, а я уж прочитал ее несколько

томов и потому-то, устав от этого чтения, взялся теперь для отдыха за эту святую книгу.

— А что ж такое в этой книге?

— Все, друг мой. Тут реквием земному счастью; тут реквием и убитой скорбями душе.

— Переплет, должно быть, старинный, — сказал Племянничков, — медленно кладя книгу на стол.

— Вы знаете, — продолжал Софьин, — что я потерял; вы знаете, как страшна и глубока рана, нанесенная мне той рукой, против которой не устоит ничья другая рука. Являлись ко мне утешители: но пошлы, из рук вон как пошлы были их утешения!.. Я сказал им: кого Бог огорчил, того люди не утешат, — и люди замолчали, я поблагодарил я их за то в сердце своем. Вот тут, друзья мои, в этой книге нашел я себе животворящую мысль, укрепившую меня в вере, поддержавшую во мне надежду и чуть-чуть теплившуюся искру любви.

— Все так, Владимир Петрович, — сказал Племянничков, все это так, но время все залечит.

— Голубчик! Вылечивают и тех, у кого оторвана рука или нога: но человек все-таки остается калекою. Залечит время и мою рану, но скажете ли вы, что цела моя душа так же, как цела теперь ваша?

— Эх, дяденька! — сказал Племянничков с обычной ему беззаботностью, — переменимте, пожалуйста, разговор! Ей-богу, такая тоска.

— Пожалуй.

И Софьин начал ходить медленными шагами по комнате.

— Что ж, Николай, ты не утешаешь меня? — сказал он потом Беликову тоном какой-то горькой насмешки, остановившись перед ним.

— Не нужно, — отвечал Беликов грубо, и на глазах его навернули слезы.

Софьин упал лицом в подушку и глухо зарыдал.

Есть несчастия, сила которых уменьшается уже тем, что человеку остается возможность бороться с ними; есть другие несчастия, которые, всей тяжестью налегая на человека, одним разом убивают в нем всю энергию духа и оставляют одно и единственное успокоение в покорной преданности воле Провидения.

Глава вторая

Владимир Петрович Софьин был один из тех немногих, которые, быв, отмечены перстом судьбы, рано обрекаются на борьбу с жизнью и всеми прихотливыми явлениями ее. Равно приимчивый как для горя, так и для радостей, он без всякого расчета расходовал запас сил душевных, щедро вложенных в него благодетельной природой. Не включая себя насильно в число аристократов, Софьин трудами и прочным, невольно уважаемым от света образованием достиг того, что радушно был принят теми, которые давали законы другим маленьким общественным кружкам, сами не принимая ни от кого. Но блеск, издали слепивший очи, скоро показал Софьину мишурность свою, и недовольный светом и его обычаями, он решился укрыться в самого себя от шумных и пустых его развлечений. Наука, строгая, как трапист, открыла ему свое святилище; Софьин с жаром принялся изучать ее элевзинские таинства, чтоб

стать жрецом ее достойным: но и тут недолго держал его одуряющий некоторые головы обман. Чем более открывался перед ним длинный и необозримый свиток никогда не разрешимых задач несколько тысяч лет умствующего человечества, тем понятнее становилось изречение Сократа, что, наконец, он знает то, что ничего не знает, чем ближе присматривался к механической работе прославленных тружеников науки, тем поразительней представлялось ему сходство их с оракулами, скрывавшими под одним изречением два противоположные смысла и, смотря по надобности, употреблявшими тот или другой. Плененный потом вдохновенными творениями Россини и Доницетти, чудными мелодиями Шуберта и гремучими фантазиями Листа и Тальберга, Софьин на целый месяц уселся у фортепьяно и без устали от утра до вечера колотил непослушные клавиши, вызывая из них знакомую душе его гармонию: но такое занятие привело нетерпеливого артиста к тому лишь убеждению, что Бюффон решительно не прав, утверждая, что гений есть терпение. Наконец Софьин схватил кисть и карандаш, запасся ватманской бумагой, уставил свой кабинет станками, бюстами и рамами, обтянутыми полотном, накупил целую кучу красок, отпустил длинные волосы, принял артистическую небрежность и с портфелем под мышкой пустился гулять по окрестностям в намерении создать что-нибудь в роде Теньера или Корреджио: но, схватив простуду и с трудом ускользнув от бешеной собаки, сильно его напугавшей, приказал убрать из кабинета весь артистический хлам, остригся попорядочней, повязал галстук, как должно, застегнул все, чему не следует быть расстегнутым, и сел, сложа руки, с сигарою во рту. Софьин, как видите, успокоился — но надолго ли? Есть пора в нашей жизни, когда мы вольны, как птичка Божия, когда сердце наше, словно мотылек, порхает с цветка на цветок, когда ум, не опасаясь строгого взыскания, строит воздушные замки и потом хладнокровно разрушает их сам с тем, чтоб снова начать эту Сизифову работу. Расчеты и соображения тут не имеют места; мы бежим опрометью, без оглядки, по незнакомой, устилаемой цветами нашего ж воображения дороге жизни; мы в хлопотах, но только об удовольствиях да наслаждениях, — чудо как хорошо! Все вокруг нас так весело, так роскошно! Но чем долее бежим мы, тем ощутительнее усталость, тем пустыннее становятся окружающие нас виды, тем одиноче мы себя чувствуем. Глядь — на поверстном столбе жизненной дороги белеет цифра: 25; призадумались молодцы, но ненадолго. Бежим опять; что будет, то будет, а до 40 еще далеко, — катай! И катаем; а между тем при малейшем углублении в самих себя, в нас незаметно развивается потребность другой, лучшей, истинно человеческой жизни; а между тем мы иногда задумываемся не на шутку; а между тем усталой душе нашей хочется отдохнуть и сердце просит любви. Вдруг видим на столбе: 30. Впереди все так сине, не определено, бесцельно, однообразно, такая страшная пустота, — стой! Мы оглядываемся назад, ищем чего-то кругом себя; мы чувствуем, глубоко уже чувствуем свое одиночество и, если не совсем израсходовали прекрасное чувство любви, — грустим, крепко грустим, сами не зная отчего.

Впрочем, Софьин был не таков. Он уже бывал несколько раз влюбленным. Как водится, он страдал и сильно страдал; клялся при встречающихся препятствиях пропасть совсем и с головой, и с грешным телом; громко уверял приятелей, что наконец нашел давно искомый идеал, что идеал этот поднес ему «чашу страстной неги, шире неба, глубже моря, которую он якобы выпил до дна», и, наконец (простите! кто на своем веку не делал глупостей!), писал в новейшем вкусе стихи «к ней», где вовсе не сантиментальничал, как это было в скромные, карамзинские годы, а грозил, как следует, отчаянием, ревностью á la Отелло, громами и молниями небес и еще чем-то чрезвычайно страшным. Потом, когда дела, в которые вовсе некстати вмешивалась такая раздирательная любовь, устраивались законным порядком и страстному обожателю уже неловко становилось являться к «божественной, но коварной деве», Софьин, продекламировав с чувством и с должною расстановкой:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты,

и прочее до конца, влюблялся снова в какую-нибудь Адель, и снова начиналась та же история.

Пришла, наконец, и ему пора войти в самого себя, и без сожаления, даже с упреком взглянул он назад на свое минувшее и весь отдался настоящему, робко устремляя прозорливый взор в синевшую перед ним даль будущности.

Но будущность, как мы видели, страшно обманула его. Девять месяцев только прожил он с избранницей своей, с своей несравненной Надиной и остался тем, чем мы встретили его в начале нашего рассказа, — остался с сиротой, который не видал ласк матери, не слышал голоса ее и даже смутно не представит себе со временем желанного образа ее.

Владимир Петрович уберег, однако ж, сердце свое от конечного сокрушения, не позволил уму возмутительного ропота и склонил его к смиренной покорности неисповедимым путям Промысла. Вдали от шума городского он начал жить двойной жизнью: но, отторгаясь одной половиной существа своего от неизбежных треволнений настоящего, другой лучшей половиной он жил в прошедшем, читая в памяти своей прекрасные страницы минувшего счастья. Сначала город говорил, толковал и пересуживал поведение Софьина, потом занялся более свежими новостями, наконец, и совсем забыл его. Софьин не замечал даже того, что многие из его прежних знакомых, встречаясь с ним, важно подавали два пальца или едва приподнимали шляпу, не прерывая со спутником своим далеко зашедшего разговора. Он являлся к должности, исполнял все, чего требовала от него служба, и молчаливый, многодумный возвращался домой жить особою, созданною им самим жизнью.

Хороша и эта жизнь, если человек не потерял способности углубляться в себя, если еще остается в нем сила мысли и чувства; в ней даже ярче светится высокое достоинство человека. Жалок и печален вид того несчастливца, который мечется по треволненному морю жизни с потерянным якорем веры и надежды или который заглушает горе свое в оскорбляющих достоинство существа разумного оргиях!

Софьин поневоле должен был расстаться со своим сиротой — Митей. Держать его при себе значило бы угождать собственному эгоизму, и первые минуты сознательной жизни младенца отравить мыслью о сиротстве и одиночестве. Не растет дерево на камне, хоть и камень разогревается до жара-пыла огненного; ему нужна мягкая, теплая, прохлаждающая земля… Спокойно, хоть и не без грусти, отпустил Софьин своего Митю к родному деду под теплое и нежное крылышко родной тетки, заменившей ему с этой минуты родную мать. Долго еще нужно было ждать, пока он услышит из уст младенца своего сладкое имя отца. Пусть же до того времени светлые глазки нового пришельца опальной земли встретятся с очами женщины, всегда магнетически смягчающими душу; пусть сразу не пугает его сиротство, и да видит он в близком к нему девственном создании мать свою, к которой он придет со временем лишь на могилу…

Софьин любил посещать часовню, построенную им над гробом незабвеннной своей подруги. Там просиживал он вечера, беседуя с отшедшею от него душой словами вдохновенного псалмопевца, и чудилось ему порой, что кто-то реял вокруг его и навевал на сердце его прохладу утешения. Там-то понял он, что молитва действительно есть связь, соединяющая мир видимый с невидимым, есть беседа духа, заключенного в плоти, с духом, уже отрешившимся от нее. Как светлого праздника, ждал он субботы, когда в храм Божий являлся служитель алтаря приносить бескровную жертву за души усопших, когда в живых песнях Церкви слышался как бы ответный голос на плач и воздыхание сиротствующих; когда религия в ощутительных образах являлась слабому смертному благовестницей веры и надежды. Весь обливался слезами Софьин: но отрадны бывали эти слезы; они как будто размывали тоску души, и легко вздыхалось после них, и спокойнее становилось думное чело несчастливца.

Проходили месяцы, прошел и год, и два года. Предсказания некоторых господ и госпож о неминуемой женитьбе Софьина плохо оправдывались. Одни из невест, на которых они указывали, повыходили замуж, другие оставались в девстве, приобретая с каждым днем привычку сплетничать и злобясь на подростков, оставлявших их на заднем плане картины, а Софьин все оставался грустным и одиноким, все еще любил память незабвенной своей подруги.

Но всемогущее время начинало уже понемногу закрывать тяжелую рану горячего сердца.

В один из летних дней некоторые из обывателей города В., быв обмануты ярким сиянием утреннего солнца, пожаловали ради прогулки в кладбищенскую церковь. Часам к двенадцати набежавшая туча заговорила громом, залилась проливным дождем и, оставив на улицах пенившиеся лужи, прошла себе, как ни в чем не бывала. Софьин после обедни пошел в часовню и через четверть часа, выглянув из дверей, увидел на церковной паперти какую-то даму, очень плотную, и с ней молодую, миловидненькую девицу. Дама с довольно крупными жестами обращалась к своей компаньонке и, по-видимому, делала ей какие-то выговоры. Девица безответно и тревожно поглядывала через решетчатую ограду кладбища, как бы выжидая кого-то, и потом приподнимала умоляющие взоры на барыню, больше и больше выражавшую нетерпение и досаду.

— Нечего выглядывать-то! — послышался сердитый голос барыни. — Не припасла еще колясок да карет для вашей милости! Ведь говорила же, чтоб постоял извощик; так нет, отпусти да отпусти, maman; пешком захотелось, променад сделать захотелось. Вот тебе и променад!

— Да вы ж сами, маменька, не захотели удерживать лошадей! Я вам и слова не говорила.

— Ну, так! я у вас во всем виновата! Да что ж, сударыня вы моя, я у вас алтынщица какая-нибудь что ли?

Девица не отвечала на это ни слова, но, отвернувшись, поднесла к глазам платок.

Софьин вышел из часовни.

— Позвольте, — сказал он, вежливо поклонившись обеим дамам, — предложить вам экипаж мой.

— Ах, помилуйте, да как же это…

Жеманный тон, каким произнесены были эти слова, совершенно не гармонировал с теми довольно крупными выражениями, какими эта барыня потчивала сейчас свою компаньонку. Открытые и гневные глаза ее теперь были как-то прищурены и сладки до приторности; самая голова ее, значительно отделявшаяся от плотного бюста, теперь как будто ушла в плечи, словно у индюка, когда он, распустив хвост, сбирается окликнуть пробегающего мимо его мальчишку.

— Пройти теперь пешком решительно невозможно, — продолжал Софьин, — а я побуду еще здесь, и лошади мои успеют воротиться.

— Ах, мусье, — жеманно проговорила барыня, — да мы же с вами незнакомы.

— Моя услуга не так велика и не так обязательна, чтоб требовала предварительного знакомства. А впрочем…

— Поедемте, maman, — сказала девушка, — и покраснела.

— Ах, какие вы странные, мадам! — заметила барыня.

— Парфен! — крикнул Софьин, — давай!

И он подал руку барыне, которая жеманно приняла ее и стала сходить с ступенек. Девица пошла за ними.

— Мы, — говорила барыня, — недавно из Петербурга, и признаться, не успели обзавестись экипажем. Все это осталось у нас там — у генерала Топорова — это лучший друг нашего дома. Вы с ним знакомы?

— С кем-с?

— С генералом Топоровым.

— С генералом Топоровым не знаком.

— Так вы не были никогда в Петербурге?

— Был.

— Как же вы не знаете генерала Топорова?

— Я знаю там Топорова, но только помощника директора, и опять не генерала.

— Андрея Демьяныча?

— Кажется, так. Он, помнится, только статский советник.

— Так это ж он и есть. Он уж теперь директором?

— И генералом?

— М-да, скоро получит да, я думаю, и получил уж.

— Гм.

Софьин помог барыне сесть в коляску.

— Мы, голубчик, — сказала барыня, обращаясь к Парфену, — живем на Абакумовской улице, в доме Чепыховской.

— Против колодезя?

— Против колодезя.

— Знаю-с.

— Ты, голубчик, поезжай другой улицей, а не той, что мимо губернатора. Неловко как-то.

Софьин улыбнулся, усаживая в это время и молоденькую девушку и получив от нее институтское mercі. Чему он улыбнулся — откровенному ли разговору жеманной барыни с бородатым Парфеном, или этому неизбежно официальному mercі — неизвестно; только, проводив глазами экипаж, он уже не пошел в часовню, а сел у паперти на одну из ступенек.

— Хорошие господа, — говорил сторож, замыкая церковные двери, — недавно приехамши, а хорошие.

Софьин молчал.

— Барыня разговорчивая такая и о вас расспрашивала.

Софьин поднял голову и снова опустил ее, молча.

— Ходили часовню смотреть и двугривенный пожаловали.

Софьин начал выводить по песку палкой какие-то каракули.

— И барышня-то нечто себе. Не во гнев вашей милости, точно сестра родная вашей покойн…

Софьин взглянул на него сердито.

— То есть, — продолжал словоохотливый сторож, — примерно сказать, оно не то чтобы бровь в бровь, а того-с…

Софьин встал и пошел бродить по кладбищу. Он был пасмурен и недоволен чем-то. К счастию, эпитафии, украшавшие пышные памятники, помогли ему несколько рассеяться. На одном из них Софьин прочитал, что сердобольная мать оставила в плачевном сиротстве сына, родившегося 1792 года, которому, по верному счету, оказывалось далеко за полсотню лет; на другом дщерь купца первой гильдии просит всех и каждого помолиться об усопшем и об оставшейся его сироте; на третьем выбито было золотыми буквами, что здесь почиет сном смертным секретарь губернского правления, титулярный советник, Тарас Гвоздило; четвертая надпись гласила, что под сим камнем погребено тело супруги кавалера третьей степени Анны Гонораты Викентьевны Сплетницкой. Суета суетствий, подумал Софьин: и кавалерши третьей степени и титулярные советники умирают! Он решительно повеселел. Вообще всем страдающим припадками меланхолии рекомендуется гулять по городскому кладбищу и перечитывать надгробные надписи. Прелесть что такое!

Дня через три после события, описанного нами, Софьин поехал с визитом к случайным своим знакомым. Он узнал, что барыня, которой удалось ему прислужиться экипажем, была супруга недавно прибывшего Председателя Онисима Сергеевича Небеды, а девица, бывшая с ней, дочь ее, не досидевшая только двух месяцев определенного курса в каком-то учебном заведении и взятая оттуда родителями, не пожелавшими расстаться с дочерью и на такой короткий срок. Говорили, что будто Соломонида Егоровна — барыню звали Соломонидой Егоровной, — отъезжая в провинцию, имела и другие кое-какие виды: но Софьин не счел нужным поверять эти толки и ограничился поверхностными сведениями о тех лишь особах, которых увидел он случайно, а что вперед Бог даст, то предоставил он времени.

Но пожалуйте, — как же это Софьин, сам состоящий на службе в том же городе, до сих пор не познакомился с таким важным в бюрократическом мире лицом, как Председатель? Ведь уж более месяца, как Онисим Сергеевич отрекомендовался всем знаменитостям города В. А вот в том-то и сила, что он отрекомендовался одним лишь знаменитостям. Соломонида Егоровна, сама пересмотрев губернский адрес-календарь, растолковала своему супругу, к кому он должен ехать немедля, кому можно и отложить визит, а к кому и вовсе не ездить. Надо знать, что Соломонида Егоровна в делах такого рода была весьма сведуща, и осмотрительна и крайне гневалась, если Онисим Сергеевич забывался как-нибудь и позволял себе фамилиарность с человеком, почему-либо не обратившим на себя благосклонного внимания Соломониды Егоровны. Насколько это действовало на Онисима Сергеевича, мы увидим впоследствии;

нельзя однако ж сказать, чтоб он вовсе не слушался в этом дражайшей своей половины. «Да ну тебя совсем! — говаривал он обыкновенно в таких случаях: не поеду, не поеду! Не рассыпайся, пожалуйста, только в красноречиях-то!»

К несчастию, Софьин, по усмотрению Соломониды Егоровны, попал во второй разряд будущих знакомых его высокородия, и визит к нему отложен был на неопределенное время. Он, впрочем, знал, что прибыл новый Председатель, что он человек семейный, — и только. Дальнейшие сведения о его особе не слишком интересовали Софьина, и не случись известного нам происшествия на кладбище, все семейство Небеды надолго бы осталось для него покрытым, как говорится, мраком неизвестности.

Глава третья

Небеды занимали бельэтаж в одном из лучших домов в городе: но, как водится в провинциях, домохозяин очень мало обратил внимания на удобство входа. Несмотря на то, что Софьин приехал в самый полдень, он должен был пробираться почти ощупью по крутой и извилистой лестнице и, обсчитавшись одной ступенькой, крепко стукнул ногой, поднятой без всякой надобности, что заставило его остановиться на минуту и пожелать домохозяину что-то очень нехорошее. Отворив дверь прихожей, он чуть было не столкнулся с какой-то салопницей и услышал тоненький голосок, произнесший довольно явственно следующее:

— Хорошо, хорошо; доложу генералу, как только он воротится.

В дверях залы мелькнуло что-то и исчезло за захлопнутой дверью.

— Генерал? — сказал вполголоса Софьин. — Кто здесь квартирует? — спросил он салопницу, не видя никого из прислуги.

— Генерал, батюшка.

— А не Председатель? — сказал он тише, поворачивая к дверям.

— Может, и заседатель, только чин-то на нем, видишь, генеральский.

Софьин остановился в недоумении, держась за ручку двери.

Вошел лакей.

— Кто здесь квартирует? — спросил Софьин.

— Штатский советник Небеда-с.

— Можно его видеть?

— Барина дома нет-с, а барыня принимают. Как прикажите доложить?

Сказав, что нужно, Софьин остался с салопницей.

— Взгляньте оком сострадания, — начала она, — на Творца всемогущего и воздвигните сердце.

— Что вам от меня угодно?

— Единственно милосердием высоко именитых благотворителей.

Салопница замолчала, приметив, что Софьин доставал портмоне.

— Вдова, — опять заговорила она: капитанша, — трое детей, брат слепой, сестра хромая, без крова и пристаница.

Она заморгала глазами, стараясь выжать из них привычную слезу.

Софьин протянул к ней руку с какой-то мелкой монетой.

— Ах, батюшка! — заговорила салопница, приняв, однако ж, деньги. — Что это вы? Разве я нищая? Ошибаетесь, молодец! Я благородная, вдова, капитанша, у генералов бываю; меня и губернатор знает.

— Что ж вам угодно от меня?

— Пожалуйте-с! — сказал лакей, отворяя обе половинки дверей в залу.

Софьин сбросил с себя шинель и сделал шаг к дверям.

— Позвольте, позвольте, батюшка, — сказала салопница, заступая дорогу, — взгляньте оком сострадания на Творца…

Софьин взглянул на лакея, который, к счастью, был не глуп и понял его взгляд.

— Ну, поди ж, поди! — сказал он, оттесняя салопницу.

Софьин прошел в залу.

— Эх, ты пани на все сани! — говорил лакей, оставшись с салопницей. — А ложку зачем стянула у Ивановых?

— Ах, ты мерзавец, невежа этакий! как ты осмеливаешься

— Ну, не пыли ж, не пыли. Ведь вытрусили! Будто я не знаю!

— Мужик необразованный! постой же, нечто я не скажу генералу…

— Тут тебе никакого нет генерала. А ты проваливай, вот что!

— На зло ж вот тебе не пойду, да и знай!

И, однако ж, сделала шаг к дверям.

— У меня пойдешь! — сказал лакей каким-то решительным тоном, отворяя дверь прихожей.

— Ну, и пойду, конечно, пойду! Не с тобой же, хамом, мне заниматься.

— Благородная! Всякая шваль туда ж лезет в благородные! — говорил лакей, затворяя дверь за салопницей, которая еще что-то бормотала, спускаясь в лестницы.

В зале, которою проходил Софьин, заметна была немалая претензия на роскошь. Занавеси и портьеры были из тяжелого штофа, но довольно подержанные и, как видно, совершившие, кроме официального путешествия из столицы в провинцию, несколько других переходов по нисходящей линии. В одном углу прислонена была этажерка, уставленная фарфоровыми и

бронзовыми безделушками, в другом стояло фортепьяно, покрытое чехлом; в простенках между окон висели большие зеркала и массивная люстра обременена была несколькими десятками свечей, что, однако ж, мало гармонировало с величиной залы; старые кресла и стулья недружелюбно поглядывали на своих собратий, недавно прибывших из мебельного магазина и еще сохранявших запах свежего дерева. На стенах висело несколько эстампов превосходной работы и рядом с ними прескверно вышитая гарусом какая-то картина.

В зале никого не было.

Софьин прошел в гостиную. Там на диване, приняв заранее обдуманную позу, сидела знакомая нам барыня, Соломонида Егоровна Небеда. Рука ее была небрежно брошена на бархатную подушку; богатое шелковое платье охватывало ее плотный бюст, рельефно обрисовывая все его округлости; легенький чепчик едва касался волос, взбитых à la помпадур; массивный браслет втиснулся в ее мясистую руку и заставлял подозревать, что это украшение, перенятое нашими львицами у диких, не без значительной боли обходилось дебелой щеголихе.

На вежливый поклон Софьина Соломонида Егоровна грациозно покачнулась всем корпусом и, показав рукой на кресло, проговорила самым мягким и как бы болезненным голосом:

— Prénez place, мусье Софьин.

— Извините, что я так замедлил засвидетельствовать…

— Mieux tard, que jamais, — сказала Соломонида Егоровна, очень кстати перебив глупо-официальное начало этикетного визита, — признаться, мы еще не устроились, как следует. Только какой ужасный ваш город! Нигде нельзя достать порядочной мебели.

— У Голли, кажется, недурна; дорога только.

— Ах, как это можно говорить? Не в том, что дорога; мы готовы заплатить, что угодно, но дурна, ужасно дурна. Можете вообразить, каково привыкать к мебели какого-то там вашего Молли, Голли, право, не знаю, после Гамбсовской. У нас в Петербурге вся мебель была от Гамбса.

Действительно, сказать что-нибудь против этого было очень трудно, и Софьин молчал в благоговейном уважении к мебели Гамбса, покоившей тучную особу барыни.

— И все это нами продано решительно за бесценок, — продолжала Соломонида Егоровна.

— Да, переезды никогда не обходятся без потерь.

Сказав такой глубокомысленный афоризм, Софьин опять замолчал. Бог его знает, или уж в течение этих двух лет он разучился говорить, или Соломонида Егоровна имела в себе что-нибудь расклеивающее всякую складную речь, только разговор как-то не вязался. К вопросам о здоровье, к толкам о погоде Софьину не хотелось прибегать, и потому он положил лучше слушать и, смотря уже по обстоятельствам, подкинуть и свою какую-нибудь сентенцию.

— Скажите, мусье Софьин, есть тут у вас какое-нибудь общество?

Опять вопрос, весьма трудный к разрешению, но однако ж отвечать все-таки надо.

— По крайней мере, — сказал Софьин, — нельзя отказать в этом ни одному губернскому городу.

— Да, это конечно, — с достоинством подтвердила Соломонида Егоровна. — Только ж такое, я думаю, и общество! Какие-нибудь советники, секретари…

— Есть и советники, и секретари, которые не уронили бы никакого общества.

— Да все ж это не то, что называется sociètè. Вот в Петербурге, например… поверите ли, мусье Софьин, от одних карет не было проезду мимо нашего дома. Все первостепенные сановники да всякие знаменитости — вот это так общество! А здесь кто ж такой?

Софьину, видимо, становилось досадно.

— По Сеньке шапка, — сказал он с провинциальной откровенностью.

— Ах, мусье, — заметила барыня, жеманясь, как недавно выпущенная институтка, — как вы странно выражаетесь!

«Вот тебе раз, — подумал Софьин, — а ты небось лучше выражалась на кладбище-то!» — Извините, — сказал он, улыбаясь, — но пригодней этой поговорки мне на этот раз ничего не пришло в голову.

— Я ужасно была зла на моего Онисима, — сказала Соломонида Егоровна, уладив серьезную физиономию и как бы желая удержать этим гостя в пределах галантерейной вежливости, — как-таки ехать на службу в такое захолустье? Разве ты не можешь, говорила я ему, взять себе приличное место в Петербурге? Тебе стоит сказать лишь слово… его там просто на руках носили. Я вам говорю, — продолжала Соломонида Егоровна, приходя в воодушевление, — такого человека, как мой Онисим, нет другого в целом мире. Этакой честности, этакого благородства вы ни в ком не встретите! Сам министр всегда ставил его в образец другим…

— Смею вас уверить, что для достоинств вашего супруга и провинция слепа не будет, — сказал Софьин, рассматривая кончик своего сапога.

— Достоинства моего мужа не для провинции! — гордо отвечала Соломонида Егоровна. — Мы, *одначе*, останемся тут ненадолго. Онисим Сергеевич ожидает лишь производства в генералы, а потом тотчас же возьмет перевод в столицу; там уж и место для него приготовлено, директорское место. Он будет директором в одном департаменте.

Владимир Петрович решительно не мог найтись, что сказать на это.

— А вы, — продолжала Соломонида Егоровна после некоторого молчания, — большой имеете тут круг знакомства?

Нелегко было отвечать и на этот вопрос, особенно после того, что говорила до сих пор барыня.

— Сколько это возможно в провинции, — сказал Софьин.

— А я так еще не успела никому сделать визита. Такое мученье без собственного экипажа! С отчаянья поедешь и на извощике.

И Соломонида Егоровна начала нежно и гармонически хохотать над своей такой отчаянной решимостью, придерживая рукою мясистую грудь.

Софьин сидел как на иголках.

— Maman! — послышалось из боковых дверей.

Qu’est que voulez-vous? Tout-suit! Вы, мусье Софьин, конечно, позволите мне познакомить вас с моим семейством, — сказала Соломонида Егоровна, поднимаясь с дивана и направляясь к боковым дверям.

Софьин поклонился.

Соломонида Егоровна вошла было и потом вернулась, проговорив с грациозной улыбкой: pardon, мусье! — взяла позабытый на канапе платок и вышла.

— Что это такое? — сказал Софьин, оставшись один, — мистификация или отчаянное бесстыдство? Ей-богу, не понимаю.

Он задумался на минуту, потом поправил волосы, взглянул в зеркало и стал зевать по сторонам. Наскучив этим занятием, Софьин принялся пересматривать модные картинки, лежавший на столе.

— Pardon, мусье, — сказала Соломонида Егоровна, выходя через несколько минут, — я так долго заставила вас ждать себя.

«Дай-ка, — подумал Софьин, — заговорю я с ней по-французски. Может, она на этом диалекте умнее, чем на своем природном». — Вы, — сказал он по-французски, — оставили меня при самом интересном занятии. Пересматривая эти картинки, я удивлялся своенравию моды, которая так любит повторять себя.

— Вуй, мусье, — отвечала Соломонида Егоровна и в то же время устремила беспокойный и нетерпеливый взор на боковые двери.

— Не помню, кто-то заметил, — продолжал Софьин все на том же языке, — что мода сваливает свои изделия в одну кадушку; наполнив ее до верха, она переворачивает кадушку верх дном и снова начинает брать старое с маленькими лишь прибавлениями да переменами.

— Да-с, — сказала Соломонида Егоровна по-русски и как-то напряженно и взволнованно, — мы получаем это прямо из Парижа.

— Что такое? — спросил Софьин тоже по-русски.

— Вы говорите о журнале мод? — отвечала Соломонида Егоровна, покраснев страшно.

— Да, точно так-с, о журнале-с, — сказал Софьин, опустив глаза.

— Я, признаться, хорошо не расслушала вас. Мои мысли были заняты не такими пустяками… это все дети… — говорила Соломонида Егоровна, стараясь, сколько можно, поправиться.

«Вот тебе и нафранцузил! — подумал Софьин. — И что за охота болтать, как попугай, несколько затверженных слов, обманывая лишь добрых людей? Ну, барыня!..»

Дверь отворилась и вошла… но это была не та девица, которую Софьин видел на кладбище. Вместо юного, миловидного личика предстало ему одутлое, калмыковатое лицо девы, при которой уж не говорят о летах; вместо застенчивости и наивности, просвечивавших в каждом движении, в каждом взгляде юной знакомки Софьина, в этой с первого же раза бросалась в глаза какая-то бойкость и самоуверенность. Она вошла смелой и даже несколько гордой поступью и, бросив невнимательный взгляд на гостя, подошла к Соломониде Егоровне и поцеловала ее руку.

— Рекомендую, ma chére, мусье Софьин. Мусье Софьин, дочь моя Елена.

Софьин поклонился; мадмуазель кивнула ему головой и уселась рядом с матерью.

— А Marie? — спросила Соломонида Егоровна.

— Одевается еще, мамаша душечка.

— Вот уж возится-то! Не привыкла еще, знаете, — продолжала Соломонида Егоровна, обращаясь к Софьину, — не привыкла к порядочному туалету. В этих заведениях все хорошо, только ужас как мизерно детей содержат. Никакого нет внимания ни к званию, ни к состоянию девицы.

— Мне кажется, — сказал Софьин, — что такое уравнение всех званий и состояний есть одно из лучших средств образовать характер девушки.

— Девушки, может быть, но не девицы, — заметила, вздернув верхнюю губу, m-elle Елена.

— А разве между этими словами есть какая-нибудь разница?

— Я думаю, — подхватила Соломонида Егоровна. — Девица — это значит благородная девица; а девушка — это просто девушка, сенная, горничная.

— Извините, — сказал, улыбаясь, Софьин, — я доселе не знал такого тонкого различия…

— Оттого-то, — едко заметила Елена, — вы и полагаете, что уравнение званий и состояний образует характер девицы.

— Не только полагаю, но даже утверждаю.

— А я, — сказала Соломонида Егоровна, — утверждаю и докажу вам, что это скорей портит, чем облагораживает характер девицы. Какая-нибудь там дочь выслужившегося чиновника привыкает к несвойственной ей фамилиарности с такими из своих подруг, которые выше ее и по званию, и по состоянию. А девица со значением становится наряду с твореньями, которые потом у себя дома ничего не увидят богаче ситцевого платья. Ну, довольно того, что я едва могла отучить мою Мари от этих упрашиваний да умаливаний. Сами посудите, нет, чтобы приказать там какой-нибудь горничной просто: принеси, мол, или подай проворней; нет, надо, видите, прибавить: сделай милость или пожалуйста. Да чего, наша Аленка всегда была Аленкой, а теперь по милости моей дочки стала Еленой; говорит, что нельзя переиначивать имени, что при крещении дано; туда ж философствует. Сами посудите, мусье Софьин, на что это похоже? Какая ж будет разница между Еленой-девкой и Еленой-барышней? Я хоть и мать, но должна признаться, что у моей институтки дурной тон. Да-с, дурной-с, — прибавила Соломонида Егоровна, подметив на устах гостя неосторожно мелькнувшую улыбку, — дурной, уверяю вас. А где они его набираются? В заведениях этих, — где ж больше? Елена моя воспитывалась дома, а могу сказать, что понимает себя во сто раз лучше какой-нибудь там вашей институтки.

Елена поцеловала руку доброй матери; а Софьин, наклонив голову, переминал края своей шляпы.

— Вы были в Петербурге? — ни с того ни с сего отозвалась Елена.

— Был, — отвечал Софьин, подняв голову.

— Давно?

— Давно.

— Значит, ваши сведения о Петербурге absolument отстали от современности?

— Может быть.

— Comment?

— Я говорю: может быть.

— Вы любите музыку?

— К несчастию.

— Почему же, к несчастию?

— Потому что у нас в городе играют много, а слушать нечего.

Софьин, как легко можно заметить, был в прескверном расположении духа.

— Вы злы, как я вижу, — сказала Елена.

— Поневоле будешь зол, когда озлобят! — сказал Софьин как-то отрывисто, но потом, как бы спохватившись, он прибавил, — я говорю о здешних артистках. Всякая старается, словно оглушить вас беспардонной колотней; все копируют Листа, как будто этот фортепьянный волтижер может быть для кого-нибудь образцом. Ни одна не посоветуется с изящным вкусом; ни одна не поговорит со своим сердцем. Трудности выполнения, хаотическая беготня звуков — вот все, что вы увидите у лучших наших пианисток!.. Извините, однако ж, я слишком вдался в меломанию. Это одна из моих слабостей, — прибавил Софьин улыбнувшись.

— И очень приятная слабость, — подхватила Елена.

— А вот, — заговорила Соломонида Егоровна, — станете бывать у нас почаще, так услышите мою Елену. Она брала уроки у лучших петербургских артистов, и могу похвалиться, что играет так, как здесь и не слышали никогда.

— Ах, maman, vous me flattez, — сказала Елена, целуя руку нежной матери. — Но при таком строгом критике, как мусье Софьин, я играть ни за что не стану.

— Что вы это говорите, ma chére. Вы играли при значительных артистах, а те от вас были в восторге, — как же после этого…

— А слышали вы, — перебила Елена, — monsieur Софьин, как поет Марио?

— Нет, не слышал.

— Это божественно! это очаровательно! После него никого нельзя слушать.

— Я слышал Рубини.

— Что Рубини!..

— Вы изволили его слышать?

— Хоть и не слышала, но куда ж ему против Марио? Ах, это божественно! Да какой к тому ж он милашка! Не правда ли, мамаша душечка?

— Елена моя восторженная артистка, — с улыбкой сказала Соломонида Егоровна.

— Ах, мамаша душечка, да как же не быть в восторге от таких людей, как Марио?

— Все ж он не более как певец, — с достоинством сказала Соломонида Егоровна.

— Но, знаете ли, мамаша душечка, я еще в Петербурге слышала, что в него влюбилась какая-то княгиня и женится с ним.

— Женится с ним, — как это вы говорите? — заметила Соломонида Егоровна.

— Ах, pardon! я ужасно дурно говорю по-русски, — сказала Елена, обращаясь к Софьину.

— Это немножко странно! Вы русская и дурно говорите по-русски.

— Не хочу! — резко отвечала Елена.

— А, это другое дело.

— В Петербурге, — сказала Соломонида Егоровна, — во всех лучших обществах, где мы ни бывали, не говорят по-русски.

— Позвольте усомниться.

— Я вас уверяю. Связи наши позволяли нам бывать запросто в самых аристократических домах; только шаг через порог, — bonjour, bonjour и потом пошли уж все по-французски да по-французски. Je vous assure, мусье Софьин.

— На каком же языке вы говорили? — бухнул Софьин вовсе некстати. — Если такие особы, как вы, уважали язык русский, то не понимаю, кто ж бы осмелился пренебрегать им.

Этот глупейший комплимент поправил грубую выходку Софьина. Соломонида Егоровна, вспыхнувшая было от гнева, совершенно успокоилась и торжественно проговорила: уважать язык народный должно более всего.

Дверь снова отворилась и вошла знакомка Софьина. Она дурно была причесана, хоть платье, сидевшее на ней как-то неловко, не уступало в богатстве платью сестры.

— А вот и знакомая ваша! — проговорила Соломонида Егоровна, благосклонно улыбаясь Софьину. — Ах, ma chére, где ж у вас браслет-то?

Девушка покраснела, как маков цвет, и робко поглядывала то на мать, то на сестру. Соломонида Егоровна с неудовольствием покрутила головой и указала сконфуженной дочери на кресло подле себя.

— Как вы неловки, Марья Онисимовна! — сказала она, обдергивая на ней платье.

Софьин глядел на свою знакомку, и с лица его изчезало недовольство. Так с зеленеющего поля сбегает тень, отраженная мимоходящим облачком.

— Скучен, конечно, показался вам наш город, — сказал Софьин, обращаясь к Marie.

Marie взглянула на мать и не отвечала ни слова.

— Что ж вы молчите, сударыня? Отвечайте же! — сказала Соломонида Егоровна.

— Одно уж посещение вами кладбища, — продолжал Софьин, — где я имел счастие в первый раз вас встретить, могло привести меня к такому заключению.

— Чем же тут город виноват? — проговорила Marie. — Он, конечно, не столица; но где есть люди, как там скучать? А посещение нами кладбища было совершенно случайно. Накануне того дня был у нас Пустовцев…

— Желалось бы, — сказал Софьин, намеренно отклоняя речь от Пустовцева, — чтоб ваше доброе мнение о городе осталось при вас и после ближайшего с ним знакомства. Впрочем, от такого снисходительного судьи, как вы, нетрудно ожидать этого.

— Мы все хороши, — сказала, кобенясь Соломонида Егоровна, — пока нас свет не испортил.

— Тем приятнее встретить неиспорченное, что испорченного этим светом очень много, — сказал Софьин непростительно дерзко.

Но Соломонида Егоровна не нашла в этом особенной дерзости; она даже на всякий случай затвердила про себя эту сентенцию. Вообще Соломонида Егоровна страх как любила афоризмы и высокопарные аксиомы, и чем запутанней и красноречивей была сказанная при ней сентенция, тем больше она работала головой, стараясь запомнить ее. При первом же случае она пускала ее в ход, не заботясь о том, кстати ли ее выходка или некстати. Все дело в том лишь бы сказать, а там как себе знаете. Останавливался при такой странной выходке вошедший в азарт рассказчик, желая знать, с какого конца и какой нитью пришита к нему сентенция Соломониды Егоровны, но, не добившись толку, продолжал рассказ свой обыкновенным порядком. А между тем Соломонида Егоровна оставалась совершенно довольною, разрешившись от бремени, долго тяготившего ее память, и вполне была убеждена, что между слышавшими ее сентенцию есть же какой-нибудь не вертопрах, который поймет всю оной силу и премудрость.

— Чего ж стал, дуралей? — послышался в прихожей какой-то звонкий, детский голос. — Шинель снимай!

— Это Жорж, — сказала Соломонида Егоровна, нежно улыбаясь. — Как это хорошо, что он приехал! Теперь вы познакомитесь со всем моим семейством, мусье Софьин.

Софьин взглянул в отворенную дверь залы. Там проходил мальчик, лет пятнадцати с папироской во рту. Одет он был совершенно как взрослый; длинный жилет на целый вершок виднелся из-под фрака, застегнутого на одну верхнюю пуговицу; толстая золотая цепочка с массивным замком вдета была в последнюю петлю жилета; белые перчатки, уже порванные, были неукоризненно чисты, и только цветной, ярко-оранжевый галстук несколько гармонировал с возрастом мальчишки-франта.

— Черт побери, maman, — сказал он, вбегая в гостиную, и вместо того чтоб стянуть изорванную уже перчатку, он обрывал ее по кускам. — Нечего сказать, нашла время, когда делать визиты! Никого не застал дома. Все в какой-то должности, что ли.

— Рекомендую вам моего Жоржа, — сказала Соломонида Егоровна.

Мальчишка дерзко взглянул на Софьина, вымерял его глазами с головы до ног и, не выпуская изо рта папироски, медленно подошел и подал ему руку. После этой проделки он взбросил на голове рыжеватые волосы, развалился в кресле, положив ногу на ногу, и продолжал курить папироску, пуская кольцами дым к верху.

— Я его готовлю в артиллерийское училище, — заговорила Соломонида Егоровна. — При его способностях, при наших связях он далеко может пойти. Знакомые наши: сенатор Чернушкин, князь Балобан, князь Чевериdзев, граф Верховитский, — да мало ли? Все они с удовольствием помогут мне в этом случае.

— А вы где учились? — спросил мальчик, пуская дым прямо в лицо Софьину.

— Я учился там, где вам еще следует учиться, — серьезно отвечал Софьин.

— Нет, извините; где вы учились, там я уж наверно не стану учиться. Вы учились для штатской, а я буду учиться для военной.

— Наука, мой друг, везде одна.

— Нет, не одна. С иными науками я и знаться не хочу. Филька! — крикнул он. —Папироску!

— Жорж мой, — сказала Соломонида Егоровна, — имеет удивительные способности. Его приготовлял в Петербурге полковник Паделер. Он говорил мне, что ему никогда не случалось встречать такую быстроту соображения, такую находчивость. Можете вообразить, мусье Софьин, как это приятно особенно материнскому сердцу!

— Вы какие курите папироски? — спросил Жорж, не поднимая головы и выбирая папироски из ящика, который держал перед ним лакей.

— Никаких.

— А я курю Спиглазовские; других и в рот не беру. Советую и вам курить Спиглазовские.

— Верно, я не дождусь Онисима Сергеевича, — сказал Софьин, поднимаясь с кресла.

— Да, не скажу, чтоб он мог быть скоро, — отвечала Соломонида Егоровна. — Поверите-ли, — отдыха, бедный, не знает. Такой, я вам скажу, ревнительный до службы; всюду сам. Там эти советники да секретари так только, для счету, а то все он, все он. Сам министр ставил его всегда в образец...

— Позвольте же засвидетельствовать...

— Очень вам благодарна. Вы однако ж позволите видеть вас у себя когда-нибудь вечером?

Софьин поклонился.

— Вы знакомы с Пустовцевым? — спросила Елена.

— Знаком несколько.

— Вот он у нас часто бывает: приходите хоть с ним.

— Прекрасный человек! — прибавила Соломонида Егоровна.

— А верхом вы ездите? — сказал Жорж, вставая с кресла и протягивая руку Софьину.

— Нет, душенька.

— Что-с? — вскрикнул Жорж обиженным тоном, отставив руку.

— Не езжу, — говорю.

— Это скверно!

— Жорж! — сказала Соломонида Егоровна, качая головой.

— Ведь вы еще не так стары, — продолжал Жорж, не обращая никакого внимания на предостерегательное качание маменькиной головы.

— Зато, душенька, и не такой ребенок, как вы.

Софьин откланялся дамам. Жорж провожал его к дверям.

— А как вас зовут?

Софьин остановился и, с заметной досадой достав из кармана визитную карточку, отдал ее мальчишке.

— Вла… дислав, нет, Владимир Перт… Петрович Саф… Соф… Софьинов… какая страшная фамилия! — читал Жорж, остановившись у дверей.

Софьин между тем вышел и почти бегом пустился с лестницы.

— Теперь куда-с? — спросил Парфен.

— Хоть к черту, только со двора проворней.

— Видно, угощение-то было не так чтобы… — думал Парфен ухмыляясь.

— Вот зверинец-то! — говорил Софьин, расхаживая в своем кабинете. — Ну, знакомство же послал мне Господь! Должно быть, и домовладыка-то сам препорядочный селезень!

— Жаль, истинно жаль! — продолжал он уже с другого тону. — Испортят, искалечат они ее!

О ком это говорил Софьин, кого так жалел, автор решительно не может догадаться и предоставляет это более опытной сметливости читателей и особенно читательниц.

На другой день, часу в десятом утра, когда Софьин, благодаря халатному расположению русской натуры, еще не выходил из своей спальни и, покоясь в просторных креслах, допивал кофе, заглядывая в промежутках в какую-то газету, вошел впопыхах Племянничков.

— А я к вам передовым, дяденька.

— Что это значит?

— И шумé и гудé, Небеда к вам идé.

— Что такое?

— Его высокородие, господин статский советник, председатель… какой бишь палаты? Онисим Сергеевич Небеда сейчас соблаговолит осчастливить вас своим посещением.

— Так рано?

— Рано? А кредиторы бестии встают еще раньше и выгоняют из дому добрых людей чуть не до света.

— Да вы шутите! — сказал, поднимаясь с кресла, Софьин.

— Ей-богу, не шучу! Я входил в ворота, а он поворачивал в эту улицу, и я видел вот этими глазами, как будочник показывал ему вашу квартиру.

— Никита! — крякнул Софьин, — проворней одеваться! Послушайте, Федор Степаныч, вы пойдете в залу и покамест займете там гостя.

— Могим-с, могим.

— Вы знакомы?

— Где нам с суконным рылом в калачный ряд?

— Так как же быть?

— Да ничего, дяденька, одевайтесь. О прочем не извольте беспокоиться; останетесь довольны.

У подъезда послышался звонок. Никита вышел в коридор.

— Послушайте, Федор Степаныч, пожалуйста, будьте при нем поскромнее.

— С тем, что извольте-с.

— Идите ж, идите.

Племянничков вышел в залу, схватил какую-то книгу и уселся на диване.

Вошел Онисим Сергеевич Небеда. Это был приземистый, сгорбившийся, но при всем том крепкой, матерой натуры старичок с Анной на шее. Он не имел привычки смотреть в глаза тому, с кем случалось разговаривать ему в первый раз; голову держал он как-то налево и всегда почти глядел исподлобья: но за всем тем на лице его нельзя было не подсмотреть добродушия и честной прямоты.

— Здравствуйте! — сказал он, подавая руку Племянничкову.

— Мое почтение.

— Рекомендуюсь.

— И я рекомендуюсь.

— Вы Софьин?

— Нет-с, Племянничков.

Небеда поднял голову и взглянул на него. Племянничков стоял ровно и спокойно.

— А Софьин где ж?

— В спальне.

— Одевается?

— Одевается.

И Небеда, поставив шляпу на стол, начал ходить из одного угла в другой, потирая руки и шипя, как будто пришел с морозу.

— Вы давно здесь? — сказал он через несколько минут, не глядя на Племяничкова.

— Где-с?

— Тут.

— Сейчас только пришел.

— Гм.

Опять молчание.

— Вы нездешний? — заговорил Небеда.

— Нездешний.

— Из Петербурга?

— Из Петербурга.

— Что ж, коронация?

— Была.

— И… того… посланники?

— Были.

— А иллюминация?

— Была.

— В Москве?

— Была и в Петербурге.

— А которая лучше?

— Московская.

— А железная дорога?

— Есть и железная дорога.

— Из Петербурга в Москву?

— Туда и обратно.

— Рабочие прозвали ее чугункой?

— Чугункой.

— А ведь смышлен русский народ?

— Смышлен.

— Вы давно из Петербурга?

— Четыре года.

— Что?! — сказал Небеда, остановившись.

— Четвере года, — говорю.

— Да как же вы все это знаете?

— В газетах вычитал, — отвечал Племянничков, не моргнув даже глазом.

— Вы шутник, должно быть.

— Вот тебе раз! — подумал Племянничков. — Почему ж вы так думаете? — спросил он.

— Да по вашим ответам.

— Не мог же я отвечать вам: не знаю, когда вы спрашиваете о таких вещах, которые всем уже известны и которые, как я вижу, вы знаете лучше меня.

— Вы угадали. А служите где-нибудь?

— Служил.

— А теперь?

— Не служу.

— Что так?

— В отставке.

— По семейным делам?

— По семейным делам.

— А после?

— Что Бог даст.

— С чином?

— С чином.

— Каким?

— Коллежского.

— Ассесора?

— Нет.

— Советника?

— Нет.

— Кого же?

— Секретаря.

— Мало.

— Будет с меня.

— А зовут вас как?

— Федор.

— А по отчеству?

— Степанович.

— А прозвание?

— Племянничков.

— Да, бишь, вы говорили. Ну, будьте знакомы; вы мне понравились.

— Вот тебе раз! — хотел сказать Племянничков. — Очень вам благодарен, — проговорил он, чуть не расхохотавшись.

Оба замолчали.

Небеда отошел к окну.

— Вишь ты подлец какой! — говорил он, глядя на улицу. — Чем бы курицу-то взять за ноги, а он ее за крыло тащит. Экие протоканальи!

— Вот штука-то, — рассуждал в свою очередь Племянничков. — В первый раз в жизни приходится мне так оригинально завязывать знакомство! Да это чудеснейший человек, ей-богу! Что ж это мне толковали, что он бука? Немножко краток, зато ясен.

— Извините, Онисим Сергеевич, — сказал Софьин, поспешно подходя к Небеде.

— Ничего-с. Мне тут не скучно было. Ваш приятель — преприятный человек; лишнего не болтает.

Племянничков чуть не лопнул со смеху. Он поклонился Небеде ниже надлежащего и почти отворотился от Софьина.

— А вы, — продолжал Небеда, — только что от сна восстав?

— Да, заспался немного.

— Счастливец! А тут вот, черт его знает, нет времени ни выспаться, ни к добрым людям заглянуть.

— Точно-с, ваша должность…

— Что мне должность! тут другая должность: по опекунскому управлению.

— По опекунскому?

— Ну да, по опекунскому. Вы, может, слышали про Струмынских? В Минской губернии, — как не слыхать? Еще такие богачи, что черту страшно. После старика-то остался наследником слабоумный; вот меня и втюрили к нему в опекуны. Там, видите, есть у меня именьишко, так — паршивое. Ну, пока я был так себе, значит, вольный козак, не при должности, значит, — еще полбеды. А вот теперь как навалили мне на шею председательство, и танцуй себе, как бес перед заутреней.

— Да, хлопотно.

— Хлопотно, — это б еще туда-сюда, да поехать-то туда не сподручно. Уж истинно сказать, не было печали, черти накачали.

— А где ж наследник-то сам?

— Где, за границей деньги мытарит.

— Вот на это у него, видно, хватает толку, — отозвался Племянничков.

— Кой там черт хватает! Мытарят те, что при нем, а его — моего голубчика — небось кормят немецкими бирсупами да бламанжеями разными. Туда ж вылечить думают; черта там вылечат! Дурака хоть всего пластырями облепи, все останется дураком.

— Вот бы хорошо приписаться в роденьку к такому благоприятелю! — смеясь, заметил Племянничков.

— Много бы взяли! У слабоумного-то сын есть.

— Сын?

— То-то и есть-то!

— Откуда ж он взялся?

— Оттуда ж! Понес старина на душе грех в могилу! Вздумал, видите ли, женить дурня-то еще при жизни своей для ради, знаете, потомства. Ну, видимое дело, кто не пойдет за такого богача? Он же еще и недурен собой. С руками оторвут. Женили. Старик и положил, что буде ежели родится от невестки наследник, то он отсыплет ей полмиллиона серебром, ей-богу, так и в завещании написал. Баба-то была не промах. К году и произвела сынишку, да такого

славного, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца.

— Где ж она теперь?

— Где, она тотчас же, как получила следуемое-то, так и марш за границу. Сказывают, что уж давно вышла там замуж за какого-то сочинителя.

— И верно, этот сочинитель последним своим романом довольней, чем всеми прежними, — сказал Племянничков.

— Еще бы!

— Так вот еще, какие у вас занятия!

— А, чтоб их все черти побрали! Ответственность, батюшка, ответственность, вот что главное! Управляющие подлец на подлеце! Нужен глаз да глаз. А тут с места никак нельзя тронуться. Жена вон ездит, да что ж толку-то? Побарится там, похохлится, да и воротится с чем поехала. А я вам скажу, какой там дворец, какие сады, какие… ну, однако ж, до свидания! Ведь вы у нас станете бывать?

— Почту за особенное счастье… — начал было Софьин.

— Ну, счастья-то особенного нету, а так-таки просто бывайте, и квит. В картишки подчас… да вы играете?

— Не отказываюсь, когда нужно.

— Ну, и хорошо; музыку… а Елены моей не слышали? Утешает, право слово, утешает. Бывайте ж! Да вот и их приводите с собой.

— От всего сердца благодарю вас, Онисим Сергеевич, — с чувством сказал Племянничков. — Ваше доброе внимание ко мне, ваша искренность…

— Куда вы, куда? Прежде вы складней говорили. Тем-то вы мне и понравились. Я, батюшка, не привык к вашим красноречиям и этикетиться не люблю. Вон, коли угодно, с бабой моей — пожалуй. Та любит. Прощайте ж, господа! Да без визита, — сказал он, обратясь к Племянничкову, — а так, просто вечером жалуйте. Прощайте!

Пожав тому и другому руку, Онисим Сергеевич так же проворно и вышел, как вошел.

— Не беспокойтесь, — сказал он, не оборачиваясь и махнув рукою назад, — не беспокойтесь, — я и сам найду дорогу.

Софьин и Племянничков с минуту смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Племянничков первый разразился самым громким хохотом; Софьин тоже засмеялся и стал ходить по комнате.

— Да где вы, дяденька, откопали такое сокровище?

— Признаюсь, я сам имел совершенно другое понятие об этом человеке.

— Да это золото!

— Самородок, если хотите!

— Вот если б вы, дяденька, послушали, как мы объяснялись!

— Уж, верно, напроказили вы тут, Федор Степаныч!

— Я-то? Мы…

И он залился громким смехом.

— Да что у вас тут было? — спрашивал Софьин тоже сквозь смех.

— У кого — у нас? Разговор.

— О чем же?

— Э, о чем же? Да на воловьей шкуре не перепишешь всего, о чем мы говорили.

— Вы, однако ж, понравились ему.

— Ей-богу, не виноват в этом! Уж, стало быть, такое мое счастье! Но только, знаете ли что, дяденька: будьте вы при нашем разговоре, чуть ли бы этот добряк не послал меня к черту, который у него то и дело на языке.

— Почему ж так?

— А уж так.

И он снова расхохотался.

— Пойду, непременно пойду! — говорил Племянничков. — Сегодня же делаю визит и дело в шляпе.

— Глядите, Федор Степаныч, предупреждаю вас. Супруга Онисима Сергеевича совсем другая статья. Это женщина с страшными претензиями на светскость, лучший тон и образованность.

— Потрафим.

— То-то глядите! Я потерпеливей вас, да и то чуть не лопнул с досады от этого хвастовства, умничанья и кривлянья.

— Да вы, дяденька, не умеете. Посмотрите-ка, как мы выедем! Кривляться, конечно, не стану, а похвастать, поумничать — ого! на это нас взять!

— Не пересолите только.

— С тем, что извольте-с.

— Но уж этот мне мальчишка!..

— Какой это, дяденька?

— Там вы увидите живую нравственную аномалию, пятнадцатилетнего франта с папироской во рту.

— И хорошие у него папироски?

— Спиглазовские.

— Превосходно! Поздравьте меня; я у них заранее свой в доме. Ну, а барышни каковы-с?

— Старшая как будто смахивает на маменьку.

— А меньшая-с?

— Меньшая… милое, доброе дитя.

— Как-как, повторите.

— Я говорю: доброе дитя.

— А милое-то куда ж девалось? Так вот оно что! Хорошо она играла, выговаривала! Ну, слава Богу, слава Богу, насилу-то сказали вы по-человечески!

— Что ж вы тут находите такого? — спросил Софьин, покраснев слегка.

Вместо ответа Племянничков, заложив руки, начал ходить и запел самым страстным голосом:

На толь, чтобы печали

В любви нам находить,

Нам боги сердце дали,

Способное любить.

— Какие пустяки поете вы! — с неудовольствием сказал Софьин.

— Пустяки, так пустяки, а я все-таки поздравляю вас. — С чем?

— Скажу после, теперь не время. Побегу переоденусь, да и того… ах, дяденька, хорошо, что вспомнил, — пожалуйте на извощика. Подлец Павлушка в кредит уж не желает возить, а пешком с визитом к таким аристократам, как Небедовы, согласитесь, не совсем презентабельно.

Чмокнув Софьина в лоб, Племянничков выбежал, громко и весело напевая: «я минуты той жду».

Долго сидел Софьин, обдумывая что-то, потом подошел к столу, взял сигару, медленно срезал ее гильотинкой и опять положил на прежнее место. Глубокий вздох вырвался из груди его; он сел и задумался. Намеки Племянничкова как будто пробудили в нем чувство, похожее на угрызение совести. Заглянув в свою душу, он увидел, что почти уж зажили глубокие раны, точившие недавно горячую кровь, и крепко захотелось ему растравить их. Он взял дневник незабвенной своей подруги, раскрыл его, прочел одну, прочел две страницы и гневный вскочил с кресла. «Гадок и ничтожен человек!»– сказал он глухо.

И, полноте! Чем же человек гадок, чем ничтожен? Тем разве, что он не перестает быть человеком, что в сердце его есть неиссякаемый источник любви и неистребимая потребность жизни? Благодарение Промыслу за все, за все, что даже иногда человек осуждает и клянет сам в себе, в своем безумном ослеплении! Вырывает насильно нечастливец из души своей малый отросток надежды от посеченного в нем древа жизни; умышленно старается потушить чуть

тлеющую искру святого упования, как бы находя в этом отраду: но это крамола, это восстание против Того Всемогущего и Премудрого Распорядителя, который ведет нас Ему Одному известными путями к цели, Им Самим предназначенной… Не клевещите ж, несчастливцы, насильно закрывающие глаза свои от яркого сияния жизни, — не клевещите на природу человеческую! В самом вашем томлении и недовольстве настоящим есть желание лучшего будущего, искание другой жизни взамен той, которая обманула вас… Далеко в первые минуты скорби уносится от мира огорченная им душа. Забывая материальную точку опоры для своей внешней деятельности и вся охваченная духовною болью, она мчится в более сродные ей сферы и там создает себе место упокоения: но по мере ослабления этой боли, по мере сознания кровной привязанности своей к телу, душа тихо спускается долу и, как голубица Ноева, ищет места на земле, чтоб отдохнуть купно с утомленным своим телом… Нет, несчастливец, не то ты сказал! Ничтожен человек, если он идет против распоряжений Промысла, безумно *вземлясь на разум Божий*; ничтожны стремления его духа, если в них выражается намерение стать выше природы человеческой! Гадок человек, если он, забывая свое достоинство, падает до низкой ступени скотоподобия и измельчает требования своего духа на одни животные потребности!.. Не возвышается человек до ангела, ибо в бесконечном порядке творения пробела быть не может. Он только становится на сродной ему ступени, которою кончается лестница его восхождения; выше этой ступени уже более нет для него, и дальнейшее стремление человека в высоту есть уже его падение…

Совершен был первенец творения: но змей-искуситель сказал ему: вкуси от древа недозволенного познания и будешь, *яко Бог*. Послушался первенец земли змея-искусителя, занес ногу на высшую ступень совершенства, потерял равновесие — и пал.

Софьин клеветал на природу человеческую под диктовку ума; сердце же его говорило ему совсем другое. По мере тишины и спокойствия, водворявшихся внутри его, ум начал читать ему уроки гордости, которая у крепких натур почти столько же находит для себя пищи в несчастии, сколько слабые натуры находят ее в счастии. Он ухватился за произнесенное когда-то им неосторожное слово отвержения всего, что есть прекрасного в жизни и потому слышал внутри себя голос, который громко возопил бы против мнимо-постыдной измены внезапно брошенному слову.

Глава четвертая

А между тем мы напрасно так скоро расстались с Онисимом Сергеевичем, не познакомившись с ним поближе. Таких людей со свечей поискать: ибо они уж последние представители отжившего поколения. Наши потомки не найдут уж этих топорно обделанных характеров и, быть может, заподозрят рассказчика в беззаконном преувеличении. А между тем они еще живут и движутся меж нами с своей грубоватой честностью, с своим крепким словом, которое в иную нору пришибет, словно обухом, модного краснобая, с своими ухватками и приемами, от которых не мешает иногда и посторониться, — короче, со всеми особенностями, характеризовавшими наших отцов и дедов.

Онисим Сергеевич Небеда происходил из древнего благородного, русского дома, и если б он, подобно Соломониде Егоровне, занимался поболее своей генеалогией, то без труда мог бы рассказать, как прадеды его заседали в Боярской Думе, как иные из них водили дружины на поле ратное, как пировали за сытными боярскими столами, гнувшимися от тяжести братин, полных русским медом и заморской романеей, и от необъятного груза разнородных яств. Когда порой задевали апатическое его равнодушие к таким воспоминаниям и кто-нибудь, опустясь на дно генеалогического моря, вытаскивал оттуда поросшие мхом осколки родословного своего дерева, Онисим Сергеевич, махнув рукой, обыкновенно говаривал: «А, черт знает что там такое! Вон, пожалуй, и мои предки по истории значатся еще при Василии Темном, да мне-то

что от этого? Ни тепло, ни холодно! Русский дворянин, да и баста!» Соломонида Егоровна однако ж не жаловала таких рассуждений Онисима Сергеевича, и если ему случалось проповедовать при ней подобную ересь, то она старалась всеми силами перебить речь своего супруга и показать слушателям аристократическую древность фамилии Небеды, непременно употребляя в таких случаях личные и притяжательные местоимения в числе множественном: *мы, наши* и проч. Онисим Сергеевич вставал при этом с своего мягкого кресла и, склонив более обыкновенного голову на сторону и потупив глаза, уходил в кабинет. Зачем он уходил, затем ли, что не любил похвал себе слушать, или оттого, что боялся проговориться как-нибудь во вред аристократическому важничанью своей дражайшей половины, — Бог его знает. Надо заметить, что Соломонида Егоровна, к крайнему своему прискорбию, была вовсе не аристократического происхождения, и говорят, предок ее, не далее как во втором колене, был вольноотпущенным и служил экономом или приказчиком у какого-то мелкого барина. А страсть похвастать если не своим, то мужниным достоянием не давала ей покою. Вообще, мы всегда любим громко проповедовать и навязывать себе те похвальные качества, которых в нас или вовсе нет, или есть только в чуть заметных зародышах. Онисим Сергеевич чувствовал это очень хорошо и потому-то крепко не жаловал длинноречивых рассуждений своей супруги.

— Ну, распустилась со своими красноречиями! — бормотал он с таких случаях. — Ты, матушка, вот что лучше скажи: сколько великие предки-то мои благоприобретенного мне оставили, вот что!

— А уваженье, Онисим, а почтение? — возражала Соломонида Егоровна.

— Оно мое, а не предковское!

— Все ж не сравняют тебя с каким-нибудь выскочкой.

— Как же! В почетный угол так тебя и посадит! Нет, матушка, теперь уж люди поумнели, и зато, что отцы да деды были умны, дураков сынов не уважают.

— Из чего ж бы после этого и состояла аристократия?

— В Русском царстве, благодаря батюшке Петру, вывелась старинная, пузатая аристократия; а если есть она у нас, то слагается из людей умных, полезных, отличенных Царем-Батюшкой, кто б они такие ни были. Вот те и вся недолга!

Онисим Сергеевич, действительно, не мог в той же мере похвалиться наследственным богатством, в какой досужая генеалогия могла бы насчитать знаменитых его предков. Все состояние его ограничивалось двумя сотнями ревизских душ, которые давали очень мало подспорья своему барину. Благородные раны — памятка двенадцатого года, честная, долговременная служба обратили на него внимание Правительства, и Онисим Сергеевич, не купаясь, как говорится, в золоте, мог, однако ж, похвалиться достатком, следствием его скромности и прадедовской бережливости. «Копейка рубль бережет, — говаривал он, — а кому рубль нипочем, тот сам гроша не стоит». Соломонида Егоровна, однако ж, и в этом не сходилась со своим супругом. Обязанная поневоле держать строгую экономию, она, в утешенье себе, на словах бросала тысячами и успевала разными уловками и пожертвованиями достигать того, что в доме их была видна даже претензия на роскошь, а сама она с детьми одевалась, словно от тысячи душ. Онисим Сергеевич видел все это и в душе благодарил свою сожительницу за такое уменье сводить концы с концами. За то он позволял ей хвастать, сколько душе угодно, и разве уж когда Соломонида Егоровна провrется самым немилосердым образом, он приговаривал: «Хвастливого с богатым не распознаешь».

Онисим Сергеевич знал в свое время и школьную лавку, и «перст указательный» учителя, и скучный карцер, и сиденье на хлебе на воде, и разные другие подстреканья, бывшие в стары-годы неизбежной принадлежностью образования юношества. Школьные воспоминания шевелили иногда заснувшее его воображение, и Онисим Сергеевич с увлечением говаривал подчас о прежней методе воспитания, разумеется, отдавая ей преимущество перед теперешней. Он вспоминал наставников своих с их недосягаемой для него ученостью, с их оригинальными привычками и странностями и, будто сбросив с плеч лет сорок, выступал молодцом, декламируя на распеве: «О, ты, что в горести напрасно».

— Черта с два, — заключал декламацию свою Онисим Сергеевич, — напишет теперь кто-нибудь этакую оду! Это не куры-муры, разные амуры какие-нибудь, а самая суть, — да!

В этом отношении Онисим Сергеевич был непреклонный старовер, и собственно изящная словесность, во мнении его, ни на волос не подвинулась вперед со времени Державина и Карамзина. Впрочем, он не вовсе был глух к стиху Пушкина и Жуковского; последнего даже уважал за его баллады, а в Пушкине находил талант и говорил, что он «хорошо описал Онегина». За то все прочие поэты и прозаики решительно не существовали для Онисима Сергеевича. Гоголя он не полюбил, — не приличен, говорит. Впрочем, увидав как-то на сцене «Ревизора», он несколько дней после этого рассказывал своим гостям содержание комедии. Сама Соломонида Егоровна, дама в высшей степени щекотливая на такие вещи, с заметным удовольствием вмешивалась в разговор, наводя своего супруга на некоторые обстоятельства и частности, ускользавшие из памяти его. Онисим Сергеевич никогда однако ж не отделял автора от действующих лиц повести или драмы и с живым участием следил за всяким словом того или другого лица, побранивая подчас довольно крупно, неизвестно, впрочем, кого — автора или выводимого им героя.

— Вишь он как! Говорит, шуба-то на вас в пятьсот рублей, а жалованья-то, говорит, получаете не Бог знает сколько, да так его и срезал. Хе, хе, хе, хе! А этот городничий-то, когда говорит кварташке: ты, говорит, скажи всем, говорит, что церковь, мол, была построена, да сгорела. Ну, не бестия ли? А Осип-то, Осип! Прерассудительный человек, но только плут большой… Гм, департаментом, говорят, управлять приглашали, — дал бы я тебе, каналье, департамент! Обобрал, мошенник, всех да и уехал, и суда нет на нем. Да и Марья-то Андреевна хороша! Черт знает, что за пакостная баба, тьфу!

Во всем верный правилам чести и долга, всегда равный своему характеру, Онисим Сергеевич однако ж был в высшей степени слабым отцом семейства. Чувство инстинктивной любви к детям, расширяясь более и более, охватило все существо его во вред разумному началу правильных к ним отношений. Дело очень естественное! Чем более человек действует под влиянием чувства, тем более ошибок ждет его впереди. Строго надобно разбирать те случаи, где ум может и должен быть советчиком и руководителем и где, без его указания, можно попасть в такую кабалу, что после и не выпутаешься. Поверка в таком разе одна: когда из-за убеждений ума выглядывает гордость и эгоизм, тогда прочь этого советчика; когда же он говорит в пользу известных правил, в духе самоотвержения, тогда его голос не должен быть гласом вопиющего в пустыне.

Онисим Сергеевич, может быть, и сам хорошо это знал, но на деле выходило у него как-то не так. Горячо любимый своими детьми, он готов был служить всем их прихотям и в простительном отцу заблуждении находил, что лучше его дочерей в свете нет. Соломонида Егоровна совершенно соглашалась с этим, прибавляя к тому, что иначе и быть не могло, потому что им хорошо известно, какой он фамилии, и потому что матерью их она — Соломонида Егоровна. Вот насчет сыновей своих Онисим Сергеевич был немножко противного мнения и окончательно расходился в этом пункте со своей дражайшей половиной. Истрачивая

пропасть денег на их воспитание, он видел, что ребята его выходят как-то... не того и копейку рублем не считают. «Впрочем, что ж такое? — думал он в иную пору. — Век навек не приходит. В наше время то было хорошо, а теперь это. Притом молодому человеку непременно надо перебеситься. Подрастет, поумнеет и сам остепенится. Ведь вон посмотрите, какие побеги с первого-то раза дает дерево, — и туда и сюда, а укоренится и пойдет расти, как надо».

Но это софистическое убеждение Онисима Сергеевича сильно поколебалось, когда старший сын его Виталий, не успев еще забыть кадетских привычек и тетрадок, на пути к месту службы изволил влюбиться в какую-то Лизаньку Кацавейкину и по первой же почте послал к отцу горячее, как только могут писать прапорщики да поэты, письмо с настойчивым требованием его благословения, грозя в противном случае застрелиться чуть ли не десять раз сряду. Испугался бедный Онисим Сергеевич: рассудок говорил ему, что девятнадцатилетний прапорщик окончательно пропал, свильнув со служебной дороги на проселочную тропу женитьбы. Сгоряча он назвал его дураком, молокососом и разбранил так, как только у Шекспира ругаются короли да принцессы, и тотчас же бросился к перу писать ответное послание: но за первой же строкой приставил палец ко лбу и задумался.

— А чего доброго, — пробормотал он про себя. — Ведь черт его знает! Ну, как, в самом деле, застрелится! Ведь он у меня такой решительный. Раз как-то не захотел выучить урока из географии, — уж как я ни бился, и просил, и грозил, и на колени ставил, и обеда лишил, — ничто не помогло. Так-таки германские владения и остались невыученными. Уж, стало быть, выдастся такой характер! По дедушке, значит, пошел.

Сильно заговорило в Онисиме Сергеиче привычное чувство безотчетной любви к детям. Встрепенувшийся было рассудок, как сокол, с которого сняли колпачок в неизвестной ему комнате, слетел с своего места, забился в уголок и притих под шумный говор взбунтовавшегося чувства. Весь, растерявшись, Онисим Сергеевич обратился за советом к Соломониде Егоровне; а этого только и не доставало, чтоб напугать бедного Онисима Сергеевича. У Соломониды Егоровны на этот счет никогда не бывало нерешительности. Она всякий поступок своего детища привыкла считать «благородным», хотя бы ее детище ухватило только пуделя за хвост. Соломонида Егоровна, как дважды два, доказала своему супругу, что Виталий уж офицер, следовательно не мальчик, что он благородной фамилии, следовательно, не позволит себе никакого неблагородного пассажа, что он развивался очень быстро, следовательно, нечему удивляться, если он теперь решился «избрать себе подругу жизни», что она — Соломонида Егоровна — и в Москве, и в Петербурге слышала про фамилию Кацавейкиных, следовательно он никак не мог ошибиться в выборе, и что, вероятно, он познакомился «с владычицей своего сердца» где-нибудь на аристократическом бале, а, пожалуй, даже и при Дворе, где, как известно, бывают и кадеты. На возражение Онисима Сергеевича, что Виталий нашел Кацавейкину не в Петербурге и не в Москве, а в Орле, — Соломонида Егоровна сказала, что это ничего не значит, что он непременно знал петербургских Кацавейкиных и что только поэтому познакомился он и с орловскими Кацавейкиными. Против сомнения Онисима Сергеевича насчет состояния невесты Соломонида Егоровна сказала, что она непременно должна быть богата, иначе родители не посмели бы и думать входить в родство с таким домом, как «ихний», сильно покрутил головой Онисим Сергеевич на такое убеждение своей супруги: но всячески он уже был сбит с крепкой позиции решительной атакой Соломониды Егоровны; оставалась слабейшая. В красноречивых выражениях изложила она Онисиму Сергеевичу несчастие потерять сына, подающего блестящие надежды, и еще в цвете юных лет, и еще по случаю, от которого, может быть, зависит его счастье, и еще так нежно обнимающего колени своих родителей. Она завершила речь свою обильными слезами, к которым Елена Онисимовна присоединила и свои собственные, — и дело Виталия было выиграно. Онисим Сергеич со следующей же почтой послал жениху богатую икону, наказав ему тотчас же после брака

отслужить молебен Гурию, Самону и Авиву.

— А все-таки глупо! — твердил он, отправив посылку на почту и расхаживая большими шагами в своем кабинете. — И сто и тысячу раз скажу, что глупо, глупо, глупо! Вот посмотрите, чем это кончится; уж я знаю!.. Застрелюсь, говорит, — и врет, не застрелился бы. А впрочем, кто его знает? Ведь он у меня такой решительный. Раз из географии… Эх, ты Господи Боже мой! Сглуповал, совсем-таки сглуповал! Теперь уж не поправишь.

И точно, не поправишь. Жена не сапог, говорит пословица, наденешь — не скинешь. А кончилось, действительно, скверно. Уж не говоря о том, что Кацавейкины были, что называется, голь перекатная и сами рассчитывали на то, чего так положительно ожидала Соломонида Егоровна, — молодой человек, нагрузив страннический экипаж свой женою, горничной и другим тряпьем, необходимым для семейного счастья, встретил на службе разные неприятности. Уж первое появление его к полковнику дало ему порядочный щелчок.

— Так это вы женились на дороге? — спросил старый холостяк, флегматически осматривая щедушненькую фигурку юного супруга.

— Так точно, полковник, — отвечал он, слегка покраснев.

— Вы?

Юный супруг ничего уж не отвечал на это.

— А родители у вас есть?

— Есть, полковник.

— Должно быть, только матушка.

— Есть и отец, полковник.

— И отец есть? Это удивительно! И благословили вас?

— Благословили, — сказал юный супруг, сердито тряхнув кудрявою головкой.

— А что это у вас за прическа такая, господин новый супруг? Вы в ней походите на девочку.

— Полковник…

— Сколько вам лет, господин прапорщик?

— Двадцать третий.

— Что?

— Двадцать третий, полковник.

— А, вы еще лгать приучаетесь! Нехорошо, юный супруг! По формуляру вам значится… сколько там? — спросил старый холостяк полкового адъютанта, стоявшего в стороне и улыбавшегося как-то предательски.

— Девятнадцать.

— А, видите? Ну, извольте ж идти, юный супруг, остригитесь, как должно, да приучайтесь к службе, господин юный супруг.

И пошел Виталий по всему полку слыть под курсивным прозвищем юного супруга. И сердился, и ссорился, и бранился он за это с товарищами, но выходило еще хуже. Известно, кто, чем больше сердится на остроты и насмешки, тем больше они сыплются на него. Ухаживанье за молоденькою прапорщицей, которая тоже скоро оценила юность своего супруга и поэтому не оставалась невнимательною к искательствам усатых капитанов и щеголеймайоров; она даже позволяла себе в супружеской беседе смеяться над ребяческой ревностью своего Вити. Скудость прапорщичьего жалованья и уютность квартиры, отводимой, по положению, одинокой звездочке безусого Марса, все это требовало беспрестанных хлопот, и юный супруг, опустив крылья «желаний и надежд», смиренно стал обращаться к своим родителям с покорнейшими просьбами то о каком-нибудь совете, то об утешении, причем более надлежащего распространялся о своих критических обстоятельствах и о гонении рока. Служба пошла как-то дурно: ссора с полковым адъютантом, чуть не кончившаяся дуэлью, сделала и полковника неблагосклонным к юному супругу; а тут еще Бог послал дочку, к которой понадобились мамки да няньки, — все это заставило Виталия взять отставку. Невступно двадцати двух лет от роду, он уже кончил военную карьеру и, не поймав ни Кошута, ни Бема, занял, по ходатайству отца, где-то место помощника станового пристава и стал преследовать маленьких воришек, почтительно кланяясь большим ворам.

Больно и обидно было Онисиму Сергеевичу такое оскорбление его нежной, хоть и не совсем разумной любви к детям. Сама Соломонида Егоровна на первых порах не осмеливалась соваться с своими убеждениями и утешениями, когда Онисим Сергеевич жаловался на неблагодарность и бесчувственность детей. Лишь изредка позволяла она себе сказать какую-нибудь великолепную сентенцию о жестокости судьбы, всегда преследующей людей достойных, или о твердом перенесении несчастий. Через несколько, однако ж, времени, когда первое неприятное впечатление ослабело, Соломонида Егоровна заговорила уже смелее и даже сказала однажды, что должность станового отнюдь не унижает Виталия и всей их фамилии, потому что вон, дескать, и король французский Филипп был както деревенским учителем.

Но ни Онисим Сергеевич, ни Соломонида Егоровна не взяли в толк того, что в этом деле они виноваты больше, чем кто-либо другой. Уж так устроена природа человеческая. Себя обвинить — Боже сохрани! Уж если не на кого, то мы на судьбу свалим.

Пример старшего сына плохо, однако ж, вразумил Онисима Сергеевича. Жорж готовил ему еще большие неприятности. Назойливость и нахальство развивались в нем не по летам; а добрая маменька уверяла слабого папеньку, что Жорж их понимает себя очень хорошо, что он чрезвычайно почтителен и слушается каждого ее слова. Последнее, действительно, было справедливо, потому что Жорж превосходно понимал, что маменька его после нравоучительной тирадки всегда становится необыкновенно добра и безотказно наполняет щегольской его портмоне. Сам Онисим Сергеевич, по какому-то странному ослеплению, верил, что Жорж — малый с добрым сердцем, хоть и шалопай немножко. «Ну, да это, — говорил он, — только под крылом матушки, а вот как поступишь, брат, в училище, да потянешь лямку на службе, так узнаешь Кузькину мать, в чем она ходит».

Глава пятая

В город В. приехал какой-то заграничный артист удивлять своим талантом непросвещенную и добрую Русь. Известно, что эти господа считают наше любезное Отечество чем-то вроде Калифорнии и, с благодарностью принимая за границей скромные франки и горемычные

цванцигеры, от нас непременно требуют полновесных рублей. А мы сдуру-то и платим им, да еще принуждены бываем выслушивать их громкие жалобы на то, что их тут ценить не умеют, что за границей хоть и мало им платят, зато, вишь, они добывают там славу и известность.

— Славу и известность, — говорил однажды при мне старый полковник, — взявший для падчерицы своей, да, кстати, уж и для себя, билет в какой-то концерт, что стоило ему пяти серебрянных рублей: — славу и известность, вишь, оно как! Ну и жили бы там с своей славой и известностью! Так нет же, лезут к нам за бесславными рублями и безызвестными червонцами. То-то и есть-то; видно, и соловьи от своих песен сыты не бывают!

Онисим Сергеевич, встретив у губернатора заезжего гостя, долгом почел познакомиться с ним и, почитая свою Елену тоже не последней артисткой, запросил его к себе. Отказа не было, потому что голодный артист рассчитал между прочим на сбыт нескольких билетов через руки гостей и хозяина. Следствием этого было то, что Онисим Сергеевич открыл у себя музыкальный вечер, на который, между многими другими, приглашен и Софьин, уже успевший приобресть ближайшее знакомство с Небедой и даже благоволение самой Соломониды Егоровны.

В назначенный день совсем неожиданно приехал к Владимиру Петровичу перед самым вечером Племянничков, расфранченный напропалую.

— Нет ли у вас, дяденька, воротничков получше? — сказал он, вынимая из кармана свежие, еще ненадеванные перчатки.

— Я не ношу их, а что такое?

— Стало быть, с моими помятыми я не произведу желаемого эффекта.

— Где ж это?

— У Небедов-с.

— А вы там будете?

— Как же-с.

— Приглашены?

— Нет-с, мы действуем по-аглецки; явимся и без приглашения. А что такое, разве у них бал какой?

— Бал не бал, но что-то вроде вечера.

— Тем лучше! значит, я недаром израсходовался на белые перчатки.

— Какой-то проезжий артист будет играть там.

— И превосходно! Значит, не будем затрудняться в выборе предмета для приятного conversation. Фу, канальство! Вот разойдусь! — говорил Племянничков, потирая от удовольствия руки. — То есть вы ахнете, дяденька, от удивления моим музыкальным сведениям! А то, в самом деле, с этой барыней трудно попасть в линию.

— Ах, да; я давно хотел спросить, ведь вы были у них с визитом?

— Был-с, как же.

— Что ж вы мне не расскажете, как вас там приняли?

— Да нечего рассказывать. А не вспоминали там ни разу обо мне?

— Нет, что-то не помнится.

— Дурно! Стало быть, не произвел должного впечатления.

— Напротив, это хорошо; а то я знаю ваши впечатления-то.

— Знаете? Ну, так знайте ж; я нагородил там ужаснейших глупостей.

— Так и есть!

— Нельзя же-с, дяденька. Можете вообразить, прихожу это, раскланиваюсь, как следует, рекомендуюсь, что, мол, так и так, «проливал в некотором отношении кровь на пользу отечества», прошу удостоить… словом, отрекомендовался, как долг велит, и сел. Только что хотел я затянуть песню о погоде, — мадам Небеда, не дав мне промолвить слова, понесла такую аристократическую дичь…

— Эх, — крякнул Софьин, нетерпеливо повернувшись в кресле.

— Пожалуйте ж, дяденька, чем это кончилось. Не желая ударить лицом в грязь, я и себе пустился в аристократические рассказы. Мы с ней объездили весь Петербург, всех вельмож и бюрократов и чуть-чуть не застряли во Дворце.

— Эх, какой же вы, право! — сказал Софьин, качая головой.

— Позвольте же, позвольте. Барыня, чувствуя, что от меня так и пышет аристократизмом, сделала умильную рожицу и пожелала узнать, что я за птица. — Так себе, чиновник, сказал я. — Не родня ли вы почт-директору Платону Александровичу Племянничкову? — Никак нет-с. — Каких же вы? — Очень незначительных: мой дедушка был приходским дьячком, а батюшка — штатным смотрителем.

— Охота же вам плести такие глупости!

— А что ж мне было делать? Надобно ж поддерживать разговор.

— Славно вы его поддерживаете!

— По всем правилам искусства. От маленьких противоречий, дяденька, зависит интерес разговора.

— А если она узнает, что вы солгали?

— Скажу, пошутил.

— С дамой-то?

— Нет, с барыней.

— Дурно, Федор Степаныч, нехорошо!

— Зато ж, как опешила моя барыня! Вдруг опустила голос несколькими нотами ниже. Она принялась убеждать меня в самых красноречивых выражениях, что незнатность происхождения совершенно ничего не значит, что это не должно меня беспокоить, что у них есть в Петербурге знакомый генерал, который тоже из поповичей, и что порядочные люди бывают во всяком сословии. Я, разумеется, совершенно согласился с этим и усерднейше стал просить, тоже в красноречивых оборотах, призреть мое ничтожество и бросить взгляд благосклонного внимания...

— Что вы мне толкуете? Как же таки можно, чтоб она не догадалась из слов, из тона вашего, что вы так дерзко шутите?

— Куда ей, дуре! Напротив, моя всеуниженнейшая просьба произвела самое лучшее впечатление! С важностью театральной герцогини госпожа Соломонида представила меня своей дочери старшей, не преминув однако ж тонко заметить, что я не из тех Племянничковых, которых, видите ли, они знали в Петербурге, а из других каких-то.

— Каких-то?

— Да, каких-то; так и сказала.

— Видите? Кто ж вас виноват? Не болтайте пустого!

— Мамзель, однако ж, ничего. Мы с ней сошлись во взглядах. Она, изволите видеть, дилетантка, — ну, это и мой конек. Мы перебрали с нею всех артистов и всякому из них дали надлежащую оценку. Кстати, дяденька, что это за штука такая — генерал-бас?

— А что такое?

— Да она заметила мне, что я должно быть хорошо разумею генерал-бас. Натурально, я сказал, что очень хорошо. А между тем позвольте узнать, дяденька, что это птица какая, опера или книга что ль?

— Зачем же вы берете на себя знание того, о чем и понятия не имеете?

— Действительно, черт знает зачем. Так вот с языка сорвалось. Да спасибо Жоржу, подоспел на выручку.

— Ну, что же, как вы его нашли?

— Прекрасный молодой человек! После двух-трех слов мы сошлись с ним на короткую ногу.

— Стоило!

— И очень стоило. Таких папиросок и у вас, дяденька, никогда не приводилось мне курить. А главное, не стань я с Жоржем в дружеские отношения, то вряд ли бы госпожа Соломонида пригласила меня бывать у них запросто.

— Поделом вам! не болтайте пустяков!

— Рассказывайте! Пустяками-то, дяденька, и свет держится.

— А меньшой вы не видали? — как-то отрывисто спросил Софьин, закуривая сигару.

— Кого, это меньшой, дяденька? — сказал Племянничков, плутовски прищурясь.

— Кого меньшой! Marie.

— Marie… — протяжно произнес Племянничков. — Нет-с, не видал-с.

— Почему ж?

— Нездорова.

— Нездорова? — сказал Софьин с значительным повышением голоса.

— Ух!

— Федор Степанович! — серьезно сказал Софьин, вставая с кресла и начиная ходить по комнате, — я не люблю таких шуток.

— Виноват, дяденька, ей-богу, не буду. Видел, видел!

— Говорите о чем-нибудь другом.

— Нет-с, надо это кончить.

— Оставьте, пожалуйста!

— Не могу, дяденька, порядок требует.

Владимир Петрович быстро пошел и, хлопнув дверью, заперся в кабинете.

— Вот оно и вышло-дышло! — сказал Племянничков, оставшись один. — Однако ж как это странно! Ведь вот и умный человек дяденька-то, а не сумел схитрить, попался. Мудреного, впрочем, в этом я ничего не вижу. Marie, нечего сказать, милая добрая и прехорошенькая девушка, не чета этой… хоть и та ничего себе если б не этот проклятый генерал-бас, который совсем сбил меня с толку, мы успели бы очаровать друг друга. Marie, кажется, заметила, как я сконфузился; зато как ловко лавировала она между аристократическим хвастовством своей мамаши и дилетантизмом сестрицы! Главное, то хорошо, что не хитрила и подчас проговаривалась, как настоящая институтка. Я это люблю. Сколько я мог заметить, дяденька-то у нее на счету. Жаль, что я не успел сказать ему этого. Дяденька! дяденька! — заговорил он вслух, приложив ухо к дверям кабинета.

Не дождавшись ответа, Племянничков запел жалобно: «Отворите мне темницу».

Как уж они там поладили, Бог их знает, только на вечер к Онисиму Сергеевичу оба явились вместе. Зала, в которую они вошли, была освещена в собственном смысле блистательно, если принять в соображение огромную люстру, горевшую, словно большой костер, и несколько свечей на столе, заваленном нотами. В зале кочевало несколько фрачников и губернаторский адъютант с подержанным и вечно улыбающимся лицом. В гостиной сидело несколько дам и мужчин солидного свойства. Откланявшись Соломониде Егоровне, разряженной в пух и в прах, Софьин сел в незанятое кресло; Племянничков поместился близ него, и на минуту прерванный разговор продолжался.

— Только что ж бы вы думали? — говорила Соломонида Егоровна. — Подъезжаю я к театру, гляжу: Тютюев генерал. Я была совершенно изумлена, полагая его в Тифлисе. Он провел нас в ложу и рассказал нам об этом происшествии.

— А мне говорили, — сказал господин с Владимиром в петлице, — что, напротив, Лермонтов

вызвал.

— Совсем нет! Кому ж лучше знать, как не генералу? Тютюев говорил, что Лермонтов, бывало, у него по целым часам дожидается приема.

— Ах, maman! — подхватила Елена, — такой великий поэт — и в приемной! Это ужасно!

— Да, это действительно, — подтвердила Соломонида Егоровна, — Селифан Никифорович — престранный человек; никакого не обращает внимания на высшее вдохновение.

— Он смотрит только на пуговицы да на пригонку мундиров; я знаю его! — заметил какой-то отставной военный с преогромными усами.

— Это решительно проза! — подтвердила Елена. — Imaginezvous, maman, он даже не знает «Демона».

— Демона? — сказал господин с Владимиром в петлице, — какого это демона?

— Как, Порфирий Карпович, и вы не знаете «Демона» Лермонтова? — с изумлением спросила Елена.

— И не дай Бог знать его.

— Что вы говорите!

— Говорю то, что если б и Лермонтов-то поменьше знакомился с демонами, так его бы не уколотили. А то все эти поэты да стихотворцы с демонами запанибрата, а Господа Бога знать не знают. Оттого и бьют их, как собак.

Софьин, к сожалению, мало обращал внимания на такой разговор, предметом которого была такая занимательная страница нашей литературы, и притом объясняемая так метко господином с Владимиром в петлице. Он поглядывал в угол, где на канапе сидела Marie, атакованная, как видно, любезностями господина с лохматой головой и с угловатыми чертами лица. Господин тот, положив ногу на ногу, почти лежал на канапе и рассказывал что-то вполголоса, бросая насмешливые взгляды то на того, то на другого гостя. При входе Софьина он нахально вымерял его глазами и сказал Marie какое-то слово; вероятно, это слово не понравилось ей, потому что она с заметным неудовольствием отодвинулась от своего собеседника и стала глядеть в противную от него сторону.

— Извините, — громко сказал Онисим Сергеевич, входя в гостиную. — Здравствуйте, Владимир Петрович! А, и вы здесь? Хорошо сделали, что приехали сами.

Взоры всех обратились на Племянничкова, который, нисколько не растерявшись, первый подал руку Небеде.

— Что же? — спросила Соломонида Егоровна.

— А что ж, ничего, — сказал Небеда, — не будет.

— Кто не будет, папаша? — спросила Marie, оставляя свое место, с явным намерением отделаться от господина с лохматой головой.

— Кто не будет, — губернатор не будет.

— А Капачени?

— Капачини будет. Я сам заезжал к нему.

— А Жорж где? — спросила Соломонида Егоровна.

— Остался у губернатора.

— Как это так?

— Да также, заартачился, останусь, говорит, вот и все. Ну и оставайся; там, видишь, дети приехали к губернатору-то, сыновья, оба уланы, да лихие такие… А не угодно ли, господа, в залу?

Гости потянулись за Онисимом Сергеевичем.

— Bon soir, monsieur Софьин, — сказал господин с лохматой головой.

— Bon soir, monsieur Пустовцев.

— Что это за господин с вами?

— Мой давний приятель.

— Оригинал, как видно.

— Почему ж мои приятели должны быть оригиналами?

— Так мне показалось.

— Если так, то вы, верно, не захотите быть в числе моих приятелей.

— Га, да вы остряк! — сказал Пустовцев насмешливо, отступив на полшага и вымеривая его глазами.

— Словцом перекидываетесь! — сказал Онисим Сергеевич, подходя к ним. — Нет, батюшка Валериан Ильич, тут вам взятки гладки. Не на того напали.

И взяв под руку Софьина, Небеда пошел в залу. Владимир Петрович искренно благодарил про себя Небеду, что он так, кстати, перебил разговор, который легко мог кончиться какою-нибудь неприятностью.

Из франтов, остававшихся в зале, некоторые оказались артистами. За пюльпитрами хлопотала виолончель с физиономией, будто бы сшитой из одних складок, точь-в-точь старинные фрески; две скрипки и флейта с красно-багровым носом. По всему заметно было, что они затевали положить начало этому вечеру каким-нибудь квартетом.

Владимир Петрович, пущенный Небедою, подошел к Marie, которая с детским любопытством рассматривала щегольскую флейту, повертывая ее в руках и толкуя что-то господину флейтисту, улыбавшемуся весьма нежно и обязательно.

— А вы умеете? — сказала она Софьину.

— Не мастер.

— И хорошо делаете.

— Как хорошо? — спросил несколько задетый этим флейтист.

— Инструмент этот, — отвечала Marie, — страх как уродует человека. Наш учитель истории…

— Которого, — перебил Софьин, усмехаясь, — вы, конечно, «обожали»…

— Fi, он был такой гадкий, горбатый и с преогромной головой.

— Извините, я перебил вас.

— Наш учитель, — продолжала Marie, — говорил, что Алкивиад потому именно и бросил играть на флейте…

— Кто такой-с? — спросил флейтист.

— Алкивиад, — простодушно отвечала Marie.

— Лицо, малоизвестное в музыкальном мире, — заметил флейтист.

— Кто ж говорит вам, что он был музыкант? Это был… полководец такой, это… словом, это был «прелесть, очарование». Афиняне все волочились за ним.

— Афиняне, — подхватил флейтист, — а не афинянки? Ну, так он был артист на другом каком-нибудь инструменте?

— Вовсе нет.

— Что это с вами, Марья Онисимовна? — смеясь, сказал Софьин. — Уж не хотите ли вы профессорствовать?

— И в самом деле! — отвечала Marie, слегка покраснев. — Какая же я школьница!

— Извольте-с! — провозгласил виолончелист, раскладывая на пюльпитре какие-то ноты.

Виолончелист этот, как видно, заправлял целым квартетом.

Софьин и Marie отошли и сели на одном из диванов. Минут через пять квартет был в полном разгаре. Все присутствовавшие оказывали приличное внимание, исключая Пустовцева, который, приняв обычную свою позу, подпевал вполголоса, отчаянно фальшивя на каждой ноте.

Квартет кончился. Онисим Сергеевич один за всех поблагодарил артистов, подвизавшихся «из чести лишь одной».

— И что это там черти задавили этого немца проклятого! Яков! нету немца?

— Никак нету-с, — отвечал лакей, проходивший с подносом.

— Коли нету, так и не надо.

Софьин и Marie ходили по зале. Он рассказывал что-то серьезное хорошенькой собеседнице своей, которая, поворотив головку, смотрела на него глазами, полными участия и

любопытства.

— Как же вам понравился квартет? — сказал Пустовцев, подходя к Marie с другой стороны; на сжатых губах его бродила злая усмешка.

— Квинтет разве, — отвечала Marie с улыбкой.

— Как квинтет?

— Вы же держали пятую партию.

— Не уж-то?

— Да, если только слух меня не обманывает.

— Так как же вы находите, пожалуй, хоть квинтет наш?

— Кроме пятой партии, шел хорошо.

— А пятая?

— Очень плохо. Верно, не приготовлена, как надо.

— Вы злы сегодня.

— Немножко.

— Отчего это?

— Верно, оттого, что с вами долго сидела; научилась от вас.

Софьин, проходя мимо столика с нотами, остановился и взял в руки первопопавшуюся тетрадь.

— Нельзя ли узнать другой причины? — сказал Пустовцев.

— Можно, только я не советовала бы вам.

— Вы этим больше возбуждаете мое любопытство.

— И вы не рассердитесь?

— Могу ли подумать?

— Вы не воздержаны на язык, — сказала Marie и, быстро повернувшись, пошла в гостиную.

— Как дурно она воспитана! — проговорил Пустовцев, презрительно пожав плечами и заложив руки в карманы.

— Что, батенька Валериан Ильич, видно, щелкнула да и полетела! — сказал Онисим Сергеевич, который вечно уж следил глазами за какой-нибудь из своих дочерей; это не был ревнивый, подозрительный надзор, а простодушное любованье тем, что утешало и радовало преклоняющийся век его, что еще ни разу не обмануло его надежд и ожиданий. — Ведь вот что значит на людях-то! Развернулась себе, как ласточка, и вьется, и щебечет. А кротость, ангельская кротость! Вон поглядите, она опять уж с Владимиром Петровичем.

В залу вошел Капачини. Онисим Сергеевич отправился к нему навстречу. Все присутствовавшие, и особенно музыканты, обратили на заезжего гостя любопытствующие взоры. Это был человек с огромными претензиями на оригинальность; длинные волосы его, как видно, никогда не знали ножниц и мотались космами до самых плечей; маленький галстучек едва охватывал длинную его шею; последней моды фрак застегнут был на среднюю пуговицу, которая не без умысла вдета была не в соответствующую ей петлю, и оттого одна половина фрака казалась короче другой. Сам Пустовцев, не обративший сначала на Капачини никакого внимания и небрежно игравший часовой цепочкой, посмотрел на него пристально и, потом отвернувшись с насмешливой улыбкой, запел что-то под нос себе.

— А мы без вас уж и на квартетик осмелились, — сказал Онисим Сергеевич, представив гостя Соломониде Егоровне, которая на глубокий поклон его ответила едва заметным движением головы.

— Ja, quartetto.

— Ну да, свои, батюшка! Не взыщите, как умеем.

— Умеим-ja. Das ist ouverture?

— За границей не бывали.

— Са граница? Nein, ich hab ihm nichgt gehört са граница.

— Вы уж нам одни сыграете что-нибудь.

— Нибуть-ja.

Онисим Сергеевич чувствовал себя в крайне затруднительном положении. Он оглядывался по сторонам, как бы выбирая место, куда бы улепетнуть. Пустовцев видел это и хохотал без церемоний. Владимир Петрович подошел к артисту и заговорил по-немецки. Бедный чужеземец обрадовался такой находке и крепко пожимал руку Софьина.

— Фу, черт побери! — говорил Онисим Сергеевич, — ажно пот прошиб. Да где это Маша? Нет, чтоб отца выручить!

— Что ж тебе все Маша да Маша? — сказала Соломонида Егоровна. — Елена же тут.

— Елена — ей говорить по-немецки только с тобой да со мной, — резко отвечал Онисим Сергеич. — Где ты пропадала? — продолжал он, останавливая Marie, которая несла какие-то ноты.

— Я, папа, ходила к себе в комнату.

— Ходила, зачем?

— Взять ноты.

— Какие?

— Для пенья.

— Что ж ты петь, что ль, хочешь?

— Нет; Владимир Петрович хочет посмотреть…

— То-то посмотреть! А тут отцу-то по-немецкому пришлось было ломаться.

Капачини сделал громкий ритурнель. Все уселись по местам.

Заезжий артист, окинув торжествующим взором всю честную компанию, приударил всей десятерней по несчастной клавиатуре, и шумный концерт Тальберга разлился бурным, стремительным потоком. Исполнитель не жалел себя нисколько; он почти дрался с клавишами, которые кричали не своим голосом, точно стадо поросят, в которое ворвался сердитый волк. Капачини приподнимался, перегибался то направо, то налево, взбрасывал длинные космы свои, переходил в самое несоответственное прежнему шуму и гаму piano и опять вырывался с раздирательными тушами, словно укушенный тарантулом. Все общество было очаровано, потому что эти господа иностранные артисты удивительно как ловко умеют декорировать свое искусство и, как говорится, товар лицом показать. Можно держать сто против одного, что лучший из наших доморощенных виртуозов спасует перед дюжинным даже джентльменом, явившимся к нам из-за моря. Русский человек робок, недоверчив к самому себе и шарлатанить не мастер; все, что он умеет, показывает натурой и тревожно ждет суда труду и искусству своему, усовершенствование которого уже выше сил его. Иностранец смел и самонадеян до дерзости; он не боится строгого приговора судей взыскательных, ибо гордо считает их всегда ниже себя, ибо приговор этот скользит лишь по налощенной поверхности его искусства, не задевая души, которой иногда там и вовсе не бывает. Усовершая то, что неизбежно требует усовершения, он снова убирает свое изделие в нарядную мишуру, «на инший только ма́нер», и опять пускает его в ход, не боясь строгого приговора взыскательных судей.

— Браво, мусью, браво! Их-данке, их-данке! — восклицал Онисим Сергеевич, пожимая руку Капачини. — Славно отвалял, разбойник, чудесно, — говорил он, обращаясь ко всем вообще.

— А действительно, артистически, — подтвердил какой-то лысый и беззубый господин с заискивающею расположенность усмешкою.

— На том уж стоят эти немцы! А как это у него там выходит… — и Онисим Сергеевич не объяснил уж, что там такое у него выходит, а из повертыванья пальцами нельзя было ничего угадать. — Славно, ей-богу, славно! Как раз видно, что немецкая штука, про́клятый!

— Да, точно-с, — сказал тот же господин, — фурор производит-с.

— А вот, мусью, послушайте-ка, — продолжал Онисим Сергеевич, взяв за руку артиста, который собрался было утереть вспотевший лоб, — и Елена моя сыграет вам.

— Елена? Nein, ich spiel nicht.

— Чего там нихт? Я вам говорю, что сыграет Елена моя.

— Моя, ja.

— Моя, батюшка, моя! Дочь, дочь моя!

— Тошь, тошь, ja, ja.

— Толкуй тут больной с подлекарем! — сказал Онисим Сергеевич с досадой.

— Ах, папа, как же я стану играть? — отозвалась Елена.

— Так, просто, садись да и играй. Чем богаты, тем и рады. Ты только в контраст ему, понимаешь, в контраст. Он барабанил напропалую, а ты что-нибудь эдак мелодическое, потихонечку. Пойдем-ка, мусью.

Онисим Сергеевич взял за руку Елену и Капачини и подвел их к фортепьяну.

— Сыграю сонату, — сказала Елена, обращаясь к отцу.

— Какую?

— Cis-mol.

— А черт их знает эти ваши цисмоли да цедуры! Ты мне скажи: чья она?

— Бетховена.

— Cis-mol, Beethoven? — отозвался Капачини. — O, das ist gut, das ist sehr gut!

— Именно гут! Это музыка, батюшка, такая, что пальчики оближешь, ноготочки обгрызешь. Вуй, мусью?

— Ja, ja!

Елена уселась. В зале опять все притихло. Дивное создание Бетховена мало однако ж выиграло от игры доморощеной артистки. У нас, к несчастию, не достает немецкого терпения, чтоб заняться чем-нибудь серьезно. Мы любим так, чтоб тяп да ляп и вышел корабль. Елена играла недурно: но Моцарт и Бетховен торопливо схватили бы с пюльпитра бессмертные творения свои и крепко поссорились бы с артисткой. Сам Капачини поминутно стукал ногой, выбивая такт, который, вероятно, теряла Елена. Почтительное безмолвие благосклонной публики нарушалось иногда нетерпеливыми возгласами Капачини: forte, piano! Пиэса однако ж дошла до конца благополучно. Капачини вежливо поклонился раскрасневшейся артистке, а вся честная компания осыпала ее приветствиями и благодарностями, в которых, разумеется, искренности не было ни на волос. Племянничков особенно отличился при сем случае: диктаторский тон и технические термины, с намерением пущенные им в дело, обратили на него внимание самого Капачини, который минуты с две не спускал глаз с Племянничкова, но потом, улыбнувшись, отошел к незанятому креслу. А Племянничков обратился с панегириком к Соломониде Егоровне и, как видно, попал здесь в такт, потому что Соломонида Егоровна улыбалась ему весьма обязательно и чаще обыкновенного щурила узенькие свои глазки, что, к слову сказать, было у ней выражением особенного удовольствия.

В продолжении игры Елены Софьин и Marie сидели отдельно от прочих, в менее людном углу залы. В каждом движении молодой девушки просвечивало нетерпеливое любопытство. Она как будто торопила взорами игравшую сестру и тотчас же, по окончании пиэсы, обратилась к Софьину.

— Какая досада! Вот уже в другой раз перебивают рассказ ваш. То этот Пустовцев, то этот Капачини, то этот противный Бетховен!

— Так рассказ мой занимает вас? — сказал Софьин.

— Еще бы! Да если б можно было, я увела бы вас в кабинет маменькин, чтоб никто не мешал нам.

— Благодарю, искренно благодарю вас, Марья Онисимовна! Я верю вашему непритворному участию, верю душой моей; иначе она не раскрывалась бы пред вами так беззаветно.

— Продолжайте ж, на чем, бишь, вы остановились?

— Я дошел до той минуты, когда, наслаждаясь всей полнотой счастья, не чаял я конца ему. Ах, Марья Онисимовна, если приведет вас Бог когда-нибудь найти себе друга по сердцу, — большего счастья я вам не желаю. Боюсь даже желать и столько, потому что его слишком много. Переполненный сосуд всегда в опасности пролиться, — а у нас с моей незабвенной подругой всего было так полно, так много, что израсходовать этот запас мало было двух человеческих жизней. А между тем одна из этих двух жизней — та или другая — непременно должна была остаться грустной свидетельницей прожитого счастья... и осталась.

Владимир Петрович замолчал. Marie на минуту отвернулась в сторону и украдкой, как будто поправляя волосы, отерла глаза.

— Все-таки, — тихо сказала она, — вы видели на земле счастье.

— Право, не знаю, что вам сказать на это. Я противоречу себе в этом случае; вырывается у меня слово о минувшем счастье: но в ту же минуту холодное размышление говорит мне, что, может быть, и я видел бы счастье, если б оно было на земле.

— А разве его нет вовсе?

— Нет и быть не может! Вас удивит это, но оно так есть. Не стану говорить вам о претендентах на счастье, условливающих его теми или другими благами; возьмите вы самого счастливейшего в мире человека, который видит осуществление всех прекраснейших надежд и желаний благородной души своей. Снаружи вы назовете его счастливым: но я не соглашусь с вами и скажу, что он несчастлив более других, если пользуется счастьем своим небезсознательно. Всякую минуту неизбежно тревожит его опасение потерять свое счастье; будущность, оставляя ему внешние блага, пугает отнятием тех благ, без которых мертва душа его. Марья Онисимовна, счастье ли это?.. И вот на каких счастливцев я был похож в то время, когда жил с моей незабвенной подругой! Я был точь-в-точь узник, который, имея всего по горло, с минуты на минуту ждет секиры палача.

— Вы, однако ж, забыли рассказ ваш.

— Продолжаю. Но только позвольте мне, Марья Онисимовна, пропустить грустные страницы постигшего меня несчастия. Я не в состоянии описать вам мою потерю; иначе она была бы слишком мелка и ограниченна, если б могла поддаться моему или чьему бы-то ни было описанию. Довольно того, что я чувствовал ее всем существом своим, — а это много, слишком много для земного горя; я чувствовал все это один, — а это опять много, слишком много для одного человека!.. Малютка-сирота требовал моих попечений: но где ж мне было управиться с нуждами создания, которого я еще не научился понимать, если я плохо управлялся с горем и тоской того, кого изучал с самого рождения, если я потерял уменье ходить сам за собой?..

— Где ж теперь сын ваш?

— У дедушки своего.

— Бедняжечка! Как бы мне хотелось видеть его!

В этих простых словах была такая нежность, какою природа одарила только женщину.

Софьин тревожно взглянул на нее. Marie невольно покраснела.

— И вам нескучно без него? — сказала она, отвернувшись немного.

— Спросите тело, разлучаемое с душою, — тебе не скучно без нее? Спросите дикаря, насильно отторгнутого от его вечно-зеленеющейся родины, — тебе не скучно без нее? Спросите рыбу, вынутую из реки и брошенную на пылающий от зноя берег, — тебе не скучно без нее?.. Ах, Марья Онисимовна! Лучшая часть моего существа отлетела от меня навсегда; радость и утешение скорбной души моей не при мне! С чем же остался я теперь, как не с тоской, не с грустью — давнишней спутницей моей жизни?.. Вы задумались, Марья Онисимовна?

— Да, задумалась, а знаете ли о чем? О том, как должно быть любила вас ваша Надина!

— Никто так не любил меня, и любить уже не будет! — грустно сказал Софьин.

— Почему вы это знаете? — болтнула Marie и потом уставила на него глаза, как бы сама, испугавшись своей наивности.

— Да, Марья Онисимовна, — продолжал Софьин, как бы не пробуждаясь от своей грустной задумчивости, — она любила меня, потому...

— Перестаньте, однако ж — перебила Marie, — для вас тяжел этот разговор.

— Да, это правда. Но так тяжело бывает поденщику выбрасывать груду камней из своей тачки, с которою потом легко уже бредет он за новым грузом.

— Не набирайте ж себе, Владимир Петрович, другого груза.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Софьин каким-то странным голосом.

— Верите ли вы моему участию? — сказала Marie, устремив на него пылающие глаза.

— Неужто я стал бы наскучать вам рассказом моим, если б во мне было хоть малейшее в том сомнение?

— О, верьте, верьте! Я еще не умею притворяться.

— И дай Бог, чтоб никогда не приходило к вам это уменье!

— Marie! Вас зовет maman, — сказала Елена, подошедши к ним.

Софьин как будто сконфузился при таком неожиданном позыве, а бедная Marie совсем-таки растерялась. Она хотела сказать что-то сестре, потом отдумала, потом тревожно поглядела вокруг себя, наконец, встала и, не взглянув на Софьина, пошла за сестрой робкими шагами.

— Нет, иродова баба, — сказал вполголоса Племянничков, садясь на место, покинутое Marie, — ничем ее не урезонишь! Уж я так и сяк, и о музыке, и об аристократии и сентенции отпускал не хуже семи греческих мудрецов, — ничто не помогло! Глаз-таки с вас не спускала.

— О ком это вы говорите? — сказал Владимир Петрович с маленькой досадой.

— Да о ком же другом, как не о Соломониде? Я, видите ли, к удовольствию моему, заметил, что вы, дяденька, забыв мир и прочее, ведете сладостную этакую беседу с Marie. Слава Богу, подумал я, начинаем оживать. Ну, так надобно ж отвесть кое-кому глаза. Пустовцева Онисим

Сергеевич увел в кабинет и усадил за карты; опаснейшие барыни убрались в гостиную, — стало быть, эти две статьи были очищены. Оставалось похлопотать около самой Соломониды, и вот я…

— Что вы плетете! — с неудовольствием сказал Софьин, оставляя Племянничкова.

— Вот оно как! Вот какова благодарность — то у людей! Служи ж после этого верой и правдой! «О род людской, достойный слез и смеха!» А я даже и рассказца одного не кончил с мамзель Еленой. Беда только мне с этим генерал-басом! Просто колом в горле. А эта Елена так и сыплет какими-то дикими фразами. Сего дня же допытаюсь у дяденьки, что за бестия этот генерал-бас? Кто ведь знает, может, она из подражания своей мамаше называет его генерал-басом, а он просто поручик-бас. Кто их разберет, в самом деле!

А между тем артисты делали-таки свое дело. Они отваляли еще один квартет, за которым крепко сердилась виолончель, обвиняя собратов своих в несоблюдении такта. Виолончель поминутно кивала головой, стучала обеими ногами и нарезывала смычком с каким-то особенным ожесточением. Затем господин в очках пропел весьма громогласно сцену из «Жизнь за Царя» и разохотил этим другого господина без очков прокричать арию из Монтекки и Капулетти, где бедный италианский язык тоже кричал от нестерпимой пытки. Племянничков несколько раз подходил к фортепьяно, пробовал клавиши, взял даже голосом несколько нот в ожидании, авось либо кто-нибудь попросит и его отличиться в свою очередь: но охотников не явилось, и Племянничков не пел. Капачини… да ну их совсем! тут дело не об них. Послушаем-ка лучше, о чем это разговаривает Софьин с Соломонидой Егоровной.

— Очень, очень вам благодарна, мусье Софьин, — говорила Соломонида Егоровна голосом упрека.

— Как прикажете понимать ваши слова? — спрашивал изумленный Софьин.

— Кажется, я говорю по-русски.

— Но и по-русски говоря, можно давать двоякий смысл своим словам.

— У меня один смысл, как и у всякого! — резко отвечала Соломонида Егоровна и стала смотреть в противную сторону.

— Что это такое? — думал Софьин. — Надеюсь, Соломомонида Егоровна, что вы не оставите меня в таком неприятном недоумении, — сказал он.

— Почему ж неприятном?

— Вы, кажется, сбираетесь делать мне какие-то выговоры, тогда как я вовсе не понимаю, чем заслужил их.

— Чем, еще спрашиваете, чем!

— Будьте ж так добры, укажите, чем я виноват?

— Как же вы не замечаете, мусье Софьин, — тихо сказала Соломонида Егоровна, дружелюбно наклонясь к нему, — что на вас все обращают внимание?

— На меня?

— На вас, когда вы изволите разговаривать с Marie.

— Так что ж такое?

— Вы не ребенок и должны это понимать.

— Потому-то я и не нахожу тут ничего странного и удивительного, что я не ребенок и даже не осмнадцатилетний юноша, а человек, имеющий и по летам моим, и по званию и, наконец, по моим обстоятельствам некоторое право на большую против других короткость с такой молоденькой девицей, как дочь ваша. По крайней мере, я так понимаю.

— Вы, может быть; но другие могут подумать другое.

— Что ж они могут подумать? — «С ума сошла баба!» — сказал про себя Софьин.

— Оставимте это. Только, пожалуйста, не разговаривайте так часто и так много с Marie.

— Соломонида Егоровна! — сказал Софьин обиженным тоном. — Я нахожу себя вынужденным предупредить вас…

— Владимир Петрович! — громко сказал Племянничков, подходя к нему с Еленой. — Вы знаете генерал-бас?

— Очень мало, — отрывисто отвечал Софьин.

— А что, не говорил я, Елена Онисимовна?

— Как же это вы сочинять можете? — спросила Елена.

— Кто это вам сказал? я не сочиняю.

— Рассказывайте! Не сочиняет! — подхватил Племянничков. — А вот это… как оно… вроде «Гром победы раздавайся»…

Соломонида Егоровна встала и вышла из залы.

— Какие вы, Федор Степаныч! — с неудовольствием сказал Софьин. — Не верьте ему, Елена Онисимовна, — прибавил он, принужденно улыбаясь.

— Вот еще, не верьте! А «Прощание с землею», что любила покойница, а «Не весна тогда», а «Кукушка», а…

— Ах, сделайте для меня одолжение, — сказала Елена, — пропойте «Прощание с землею»! Должно быть, прехорошенький романс.

— Премиленький! — подтвердил Племянничков.

— Да кто ж вам сказал, что он мой? — сказал Софьин, обращаясь к Племянничкову.

— А чей же?

— Шуберта, — с досадой отвечал Софьин.

— Да, точно Шуберта, точно, точно; там только слова ваши.

— Однако ж споете?

— Споет, непременно споет! за это уж я берусь! — подхватил Племянничков.

Владимир Петрович поморщился от досады.

— Извините, Елена Онисимовна, не теперь, а когданибудь в другое время.

— Даете слово?

— Даю.

Племянничков и Елена отошли. Софьин стал отыскивать по окнам свою шляпу.

— Куда-куда? — завопил Онисим Сергеевич, показавшись из кабинета.

— Что-то нездоровится, Онисим Сергеевич.

— Пустяки! что там у вас? Выпейте березовки. Вот я сейчас… Только с аптеками не связывайтесь; будь оне про́кляты! Начинивают нас всякими гадостями да порошками, будто мы мелко-костная немецкая натура. Полноте ж! Поставьте шляпу-то! Маша, не пускай Владимира Петровича!

— Онисим Сергеевич! — громко крикнула Соломонида Егоровна.

— Ну, что тебе?

Соломонида Егоровна, сидевшая в кресле, притянула его к себе за петлю фрака и стала говорить что-то шепотом. Онисим Сергеевич, согнувшись в дугу, слушал, поглядывая исподлобья в сторону.

— Глупости! — сказал он потом, отводя руку жены. — Черт знает что такое лезет тебе в голову! Пусти-ка, мне некогда. Там ждать будут.

И Онисим Сергеевич проворно пошел в кабинет к оставленному им карточному столику.

— Маша! — сказал он, проходя мимо ее, — говорю, не пускай Владимира Петровича.

Marie взглянула на мать: но Соломонида Егоровна сидела, отворотясь. Делать нечего: приказание папеньки должно было исполнить без согласия маменьки. Marie подошла к Софьину.

— Куда вы, Владимир Петрович?

— Что мне сказать вам?

— Ничего, — проговорила она быстро — я все знаю; будемте ходить.

Софьин, наклонив голову и заложив руки за спину, пошел рядом с Marie. За ними неутомимо следил подозрительный глаз Соломониды Егоровны, а в гостиной две барыни — обе страшные сплетницы, — перекинувшись знаменательным взглядом, подвинулись одна к другой поближе и вступили, как заметно, в горячий спор, взглядывая по временам в залу через растворенные двери.

— Не глядите таким Байроном, — сказала Marie, не поворотив головы.

Владимир засмеялся.

— Вот этак лучше, — сказала Marie. — Однако позвольте узнать, что вы нашли смешного в моих словах?

— В ваших словах ничего нет смешного: но мое теперешнее положение крайне смешно.

— Почему так?

— Долго объяснять.

— До ужина кончим.

— Не стоит.

— Вы невежливы.

— Согласен.

— Я вас прошу.

— А если я откажу?

— Мне?

— А почему ж не вам? Почему ж другому кому-нибудь я могу отказать, а вам нет?

— Потому, что другому кому-нибудь ничего за вас не досталось, а мне досталось.

— Марья Онисимовна! Вы самое милое, невинное дитя! — смеясь, сказал Софьин.

— Ого! да вы, милостивый государь, еще и дерзки!

— Если только чистая, святая правда в глазах ваших может быть дерзостью…

— И ваших комплиментов и названия дитятей я не принимаю на свой счет.

— Как вам угодно.

Они продолжали ходить молча. Через минуту Софьин опять засмеялся.

— Послушайте, Владимир Петрович, это уж досадно! Что вы тут находите смешного?

— Не обижайтесь, Марья Онисимовна. Я смеюсь про себя и над собой.

— При даме-то, господин кавалер?

— При даме.

— Хорошо это?

— Очень хорошо. Без этой дамы я не припомнил бы давно забытого.

— Значит, забытое вами так смешно?

— Оно не было смешно в свою пору.

— А теперь?

— А теперь, когда голова моя поседела, когда я давно уж начал считать себе четвертый десяток лет, оно действительно смешно.

Marie села. Софьин остановился против нее.

— А вы, отчего ж не садитесь?

— Марья Онисимовна! Мне жаль вас.

— Э, семь бед — один ответ! Садитесь.

Софьин сел. С минуту они молчали. Соломонида Егоровна, наблюдавшая за ними, нетерпеливо встала и поспешно пошла в кабинет.

— Скажите, что вам за охота прикидываться стариком? — сказала Marie.

— Стариком я не прикидываюсь, но и молодым себя не называю.

— Есть старше вас.

— Что ж из этого?

— Из этого… то, что вы сегодня несносны!

Владимир Петрович засмеялся. Marie вскочила с кресла и отошла прочь.

— Ну, где ж они вместе? — сказал Онисим Сергеевич, выходя из кабинета с Соломонидой Егоровной. — Эка, бабе-то не сидится! Да что они дрались, что ль, аль обнимались?

— Фу, Онисим, ты ужас какой mauvais genre! — сказала Соломонида Егоровна, опередив его и направляясь к оставленному ею креслу.

— Ну, что, Владимир Петрович, — говорил Небеда, подходя к нему, — уговорила вас Маша?

— Об этом, кажется, у нас и речи не было.

— О чем же вы толковали с ней?

«Да что они меня сегодня пытают!» — подумал Софьин. — Признаться, Онисим Сергеевич, — сказал он, — я не могу отдать вам отчета в этом. Впрочем, можете сами вообразить, о чем может говорить пожилой, почти седоголовый мужчина с молоденькой девочкой.

— Эге! Вот уж этого не говорите! Неравно подслушает Маша, даст она вам девочку! Ну, а боль ваша прошла?

— Да, как будто полегче, — проговорил Софьин сквозь зубы.

— А на ночь, говорю вами, выпейте березовки — как рукой снимет.

— Онисим Сергеевич! — послышался из кабинета голос Пустовцева.

— Сейчас, сейчас! — крикнул Небеда. — Смотрите ж, не уходите; сиракузского выпьем.

Выпили и сиракузского, поужинали артистически и обременили карманы свои билетами на будущий концерт длинноволосого артиста.

Конец музыкальному вечеру Онисима Сергеевича.

Долго еще светился огонек в одинокой квартире Софьина. Наклонив голову, сидел он у письменного стола, выводя пером какие-то каракули; по лицу его пробегала то досада, то какая-то насмешливая улыбка, то, наконец, хмурилось оно от серьезной думы…

Глава шестая

— Что это, Федор Степаныч, не видать ни одного из ваших приятелей? — говорил господин с Владимиром в петлице, покупая апельсины у смазливой торговки.

— А кого угодно вам видеть? — спросил Племянничков, вежливо кланяясь их милости.

— Беликов, например?

— Давно в деревне. Он получил известие о смерти отца и уехал устроиться по хозяйству.

— Так, а Софьин? Вот уж никак полгода, как он сгинул да пропал.

— Полгода не полгода, а месяцев пять будет.

— Что ж это он?

— Так, ничего; сидит себе да посиживает.

— Да уж ни пустился ли он в сочинительство?

— Нет, такого греха я за ним не приметил.

— То-то, глядите! С тоски ведь, пожалуй, отважишься, и Бог знает на какие глупости. Поклонитесь, однако ж, ему от меня, когда прилучится увидеть.

Софьин действительно опять заперся дома, как сурок в своей норе. Он упорно отказывался от всех приглашений и кончил тем, что его никуда не стали приглашать. Все свободное от службы время он проводил за чтением разных разностей. Только Племянничков, имевший невозбранный доступ к Софьину, нарушал его уединение, являясь в иную пору гостем хуже лихого татарина.

В одно утро, когда Софьин сидел, погруженный в расчеты по акциям на железную дорогу, в прихожей послышался громкий хохот Племянничкова. Владимир Петрович с неудовольствием приподнял голову и увидел повесу, торжественно входившего с исписанным клочком бумаги.

— Ах, дяденька, — вскричал Племянничков, помирая со смеху. — Что это за сокровище ваш Никита!

— Что там такое?

— Литератор, бестия! Руссо со своей Элоизой может спрятаться под лавку; ей-богу, правда!

— Да что такое?

— Изволите видеть: вхожу я в прихожую, — ни души; гляжу, на столе вот это рукописание. Mon Dieu! Воззвание с вопросительным знаком обратило мое внимание, я пробежал строчку… но позвольте, я прочитаю вам все.

— Верно, уж вздор какой-нибудь.

— А вот увидите! — говорил Племянничков, пробегая глазами исписанный клочок для того, чтоб уж после не останавливаться при чтении.

— И охота вам таскаться по передним за такою дрянью!

— Помилуйте, дяденька, да без этого, что ж бы такое была теперь наша литература и особенно беллетристика? Где же и натура-то, если не в передних и не на задних дворах?

— Ого!

— А так-с. Но — внимание! — провозгласил Племянничков, подняв руку.

Он начал читать.

«Милай друк мой Киця?»

— Кто?

— Киця. Ну, Кики, Катишь, Катерина; да не перебивайте, пожалуйста!

«Милай друк мой Киця? В сих графах предоставляю вам свое искренее серце и чуствительный взор на ваши прелести и милае лице, за сими словами засвидетельствую вам мое нижающее почтение и с уважительным поклоном и с неизвестнами поцылуями. Ваши черты милаго вашего лица и приятные ваши слова вникли в глубину моего сердца и придоставили мне горячую любовь, которая миня тривожит и кажную минуту заставляет думать об вас потому, что я уж не вижу свидания с вашей милай улыбкой, никак не имея случаев с вами видится или же к вам пойти, то мне ужасно совесно, чрез упреки ваших людей, я был бы весма обрадыван естлиб вы уведомили миня несколко строков об вашим здорове и тобы существовало мне великую радость. Прощай, Ангел мой Киця? Остаюс по-гроб жизни моей друк ваш Никита Голупчиков. Барин мой сидит все дни дома и занимается вображениями»… Это уж, дяденька, на ваш счет.

— Изорвите эту гадость!

— Нет, уж позвольте положить сие рукописание на свое место; оно непременно должно дойти по адресу. Я на эти вещи смотрю с философской точки; лакей, который пишет такие чувствительные вещи, должен быть похвального поведения, то есть чисто одеваться, не пьянствовать, не вор… впрочем, если и случится ему что-нибудь подтибрить, то от чистого сердца и единственно из желания подарить предмет своей страсти. Вот я так никак не устрою на этот лад моего Пимку; вечно с разорванным локтем и подбитым скулом, по неосторожности.

Племяннячков вышел в прихожую и тотчас опять воротился к Софьину, но уже без письма.

— Ну-с, теперь пожалуйте сигарочку за труды.

Взяв сигару, Племянничков повалился в кресло и вздохнул, как будто после усиленных занятий.

— Откуда ж вы теперь, Федор Степанович?

— Кто — я? Кто, бишь, это говорит где-то: «обыдох вселенную и се аз!»

— Да что вы, все рыскаете по городу без всякого дела?

— Господи, Боже мой! Не грех ли вам говорить это, дяденька? Я рыскаю без дела — да помилуйте, вздохнуть некогда! Не успеешь побриться, надо ехать… или, то бишь, идти, потому что я с некоторого времени, для вящего моциона, пешествую по милости подлеца Павлушки: не верит, каналья… да-с, так надобно идти посмотреть, все ли в порядке на улицах, заглянуть в модные магазины, потом завернуть на часок к кому-нибудь из смертных, близких ко мне, как вы, например, дяденька…

— Так, да нуждаются ли они в вас?

— Что мне за дело? Я в них нуждаюсь. Продолжаю, впрочем. Далее наступает пора визитов, ну, и пошел с двора на двор; глядишь, не там, так в другом месте просят остаться на обед; после обеда благоразумное занятие или в преферанс, или в ералаш, или в ломбер, а там — глядь — и вечер. Опять новые хлопоты: надо быть и там, и там, словом, везде; ну, вот вам и день весь! Устанешь, как почтовая лошадь, «и в постелю жосткую, как в могилу кинешься».

Последнее он даже пропел.

— Действительно.

— На другой день опять та же история.

— И на третий та же?

— Само собою.

— А конец-то где же?

— В вечности! — трагически произнес Племянничков, подняв руку.

— Славно вы готовитесь к ней!

— А разумеется. Чего ж вам еще? Служу верой и правдой общественным пользам.

— Чем это?

— Как вы туги, дяденька, в понятиях-то! Чем, — а кто же разносит новости, таким воловьим шагом разгуливающие по городу? Кто сообщает прекрасной и даже непрекрасной половине рода человеческого вести о вновь прибывшем транспорте парижских цветов и варшавских шляпок? Кто является необходимым третьим для законной партии в подкаретный преферанс? Кто…

— Ну, довольно, довольно!

— То-то ж и есть-то! Сами вот теперь убедились, дяденька, что мы не даром землю бременим.

— Да, я убедился только в том, что вы как-то умеете жить, ничего не делая.

— А вы что делаете, позвольте вас спросить! Воображениями занимаетесь? Разве лучше засесть дома и… того… Что это у вас за книга? — сказал Племянничков, схватив дневник Софьина.

— Оставьте, Федор Степаныч.

— Позвольте, глазком лишь взгляну.

— Оставьте же, говорю вам, — сказал Софьин, потянувшись взять из рук Племянничкова дневник свой, но неугомонный повеса, подняв книгу над головой, зачитал вслух: «Сердце человеческое — глубокий колодезь. Не иссякает в колодезе вода, сколько б вы ни брали ее; не исчезает и в сердце потребность любви, хотя бы…»

Софьин в неудовольствии опустился в кресло.

— Дальше и читать нечего, — сказал Племянничков, кладя книгу на стол. — Понятно, к чему оно клонится.

Софьин молчал.

— Ну, не сердитесь же, дяденька; ведь вы меня знаете — на все про все секрет. Только вот что: для ради какой причины вы забыли Небедов?

— Так.

— Хорош ответ!

— Где ж взять лучше?

— Ну, да хоть в этой мелко исписанной книге: сердце — глубокий колодезь, чем больше из него черпают, тем… сердцу легче… или нет, как-то не так…

Софьин с досадой стал барабанить пальцами по ручке кресла.

— Послушайте, дяденька, я вижу с вами надо говорить, как отцу с сыном. Ну что вы, в самом деле? Ну как это можно? Ну, на что это похоже?

— Да что вы пристали ко мне? — сказал Софьин, невольно рассмеявшись.

— Как что! Помилуйте! Сердце-то человеческое не котлетка из картофелю, сказал какой-то немецкий философ.

— Что вы плетете!

— Ей-богу так! Оно, точно, по-русски выходит глупо, а по-немецки очень хорошо. Это уж всегда так у немцев.

— К чему все это?

— Позвольте-с. У нас дело шло о сердце, — да-с. Оно у вас расшевелилось было, а вы опять положили его под пресс ваших вечных дум и думок.

— Что ж делать Федор Степанович, уж, видно, такова моя натура.

— И, полноте, не гневите Бога!

— А вы давно были у Небедов? — спросил Софьин, потянувшись за сигаркой в противную от Племянничкова сторону.

— Да как бы это сказать — вчера в полдень да вчера вечером.

— Что ж они, как?

— Да все также, по-прежнему: с Еленой о музыке, с Соломонидой об аристократии, с Marie… ах, да ведь я и забыл сообщить вам новость.

Владимир Петрович поднял голову.

— Вы теперь не угадаете ее, — сказал Племянничков.

— Кого?

— Marie.

— А что такое?

— Такие залетные понятия, просто… как бишь это по иностранному-то… femme émancipèe, что ли.

— Что с ней сделалось? — сказал Софьин с хладнокровием, плохо прикрывавшим возбужденное любопытство.

— Там теперь всякий день Пустовцев.

— Ну, так что ж из этого?

— Вы хорошо, дяденька, познакомились с ним?

— Да, человек порядочный.

— Сядет он вам на шею.

— Мне?

— Да, вам-с.

— А мне что до него?

— Да уж не секретничайте. Впрочем, некого винить; сами виноваты, дяденька! Нужно ж было засесть сиднем и глаз не показывать. Вот теперь и возитесь!

— С кем?

— С Marie.

— А что мне до нее?

— Как что? Да разве я не заметил?

— Что вы там заметили! — с досадой сказал Софьин.

— А уж что бы ни заметил, да заметил. Право, дяденька, худо вы сделали. Куй железо, пока горячо; остынет, опять придется разваривать. А после такой закалки, какую делает Пустовцев, гляди, что вашему-то молоту и не поддастся этот материал.

— Я не хочу и браться за это.

— Не хотите?

— Не хочу.

— Ну, так я возьмусь. Воля ваша, а мне этот Пустовцев как-то не нравится. Такая противная рожа! А эта самонадеянность, эти дерзкие выходки, прикрываемые знанием света, который, кажется, видел он в подворотне своей школы, эти правила, которых бы сам черт испугался, — страх как мутят мою душу. Право, дяденька, очень недурно было бы, если б вы стали поперек этому лохматому чародею и показали бы всем, кто он, и что, и как. Я, признаться, боюсь браться за это дело; пороху-то у меня чересчур пересыпано; того, гляди, вспыхну, и тогда прощай благоразумие!

— Да что ж там такое?

— А вот что: Пустовцев по-наполеоновски, знаете, миновав все крепости, прямо ударил на главный пункт операционной линии.

— Говорите, пожалуйста, без иносказания!

— Можно-с, почему же. Он, изволите видеть, обратился к самой Marie и, заметив, что она головкой-то слабенька, давай надувать ей в уши свои эксцентрические правила.

— Ну!

— Ну, ее благоразумие-то и простудилось.

— Опять иносказания!

— Да что с вами, дяденька? Вы с некоторого времени решительно отказываетесь понимать мой фигурный язык.

— А скоро вы поедете или пойдете?

— Вот это мне нравится! Да разве можно так выпроваживать гостей?

— Можно; мне нужно кой-чем заняться.

— А если я разгневаюсь?

— Не надеюсь.

— То-то и есть-то! Ну, хорошо, до свиданья, дяденька! А парочку сигарочек уж позвольте ради запасу… Ах, чуть было не забыл! Не оставил ли я у вас как-нибудь моего бумажника? Там было рублей с десяток. Пожалуй, дяденька, бумажник-то оставьте у себя, а деньжонки-то уж

пожалуйте.

Софьин не мог воздержаться от улыбки при такой манере выпрашивать в долг без отдачи.

— Да куда вы деваете деньги? — сказал он, доставая бумажник. — Давно ли вы показывали мне с полдюжины радужных?

— Увы, labitur omne, суета суетствий! Нема, дяденька. Кредиторы, анафемы, все выточили. А что оставалось — ну, туда-сюда, и ничего не осталось.

— Эх, какой же вы! Ну, вот вам ваши деньги. Только, пожалуйста, не забывайте вперед у меня ни вашего кошелька, ни бумажника.

— Не могу дать верного слова. Ах, — произнес Племянничков трагически, — до чего доводит человека рассеянность! Вместо двух захватил четыре сигары!.. До свиданья же, дяденька! Покорнейше благодарим-с.

И напевая какой-то водевильный куплет, Племянничков вышел.

Оставшись один, Софьин долго ходил большими шагами, оттолкнув с досады кресло, выдвинувшееся на средину, без всякого дурного умысла. Потом он остановился у окна, заложив руки за спину. Громкий стук проезжавших дрожек обратил его внимание. Укутанный с изысканной небрежностью в щегольскую альмавиву и положив ноги на крылья дрожек, сидел или, вернее, лежал Пустовцев и насмешливо глядел на окна квартиры Софьина. Лицо его зарделось ярким румянцем; он с решительным видом кликнул Никиту и велел закладывать лошадей.

— Bon jour, мусье Софьям, — проговорила мадам Небеда, грациозно протягивая руку. — Вы совсем забыли нас. Можно ли это? В ваши лета жить таким отшельником непростительно.

— Склоняю перед вами мою повинную голову, — отвечал Софьин, официально улыбаясь.

— Вы, говорят, имеете престранную привычку вдруг ни с того ни с сего покидать ваших знакомых и иногда по полугоду не заглядывать к ним.

— Точно, в характере моем есть такая странность.

— Надобно «сокращать свой характер», — важно заметила Соломонида Егоровна.

— Впрочем, мои добрые знакомые не в претензии на меня за то. Они снисходительны к подобного рода капризам больной, расстроенной моей души.

— Ах, мусье Софьин, неужто вы так мало владеете собой?

Софьин устремил на нее вопрошающий взгляд, решительно не понимая, к чему сделан ею такой вопрос. Соломонида Егоровна расхохоталась. Владимир Петрович, неизвестно почему, осмотрелся кругом.

— Я вижу, — продолжала Соломонида Егоровна, — что вы меня не поняли. Вот что значит, позвольте вам заметить, удаляться от общества! Вы уже отвыкли от языка нас, бедных смертных.

— Что вы хотите сказать этим, Соломонида Егоровна?

Вместо ответа мадам Небеда снова расхохоталась. Положение Софьина становилось час от часу хуже и нестерпимее.

— Переменимте разговор, — сказала Соломонида Егоровна, задыхаясь от смеха.

Софьин поправил на голове волосы и неприметно потер себе лоб.

— Что ж новенького? — сказала мадам Небеда, прищурив глаза.

— Вы сами же изволили назвать меня отшельником, так какие же могут быть новости у отшельника?

— Значит, вы на меня рассчитываете? Напрасно.

— И не думал. Я бываю у моих добрых знакомых не из любопытства и совсем не для того, чтоб выспрашивать городские новости.

В тоне, каким произнесены были эти слова, слышалась худо скрываемая досада. Нельзя было не заметить, что все сказанное мадам Небедой было результатом каких-то сплетней и наговоров и что, как видно, кто-то сильно постарался насчет Софьина.

— Maman, maman! — прозвучал крикливый голос Жоржа, — не удается, хоть тресни! — продолжал он, прыгая на одной ноге с какой-то бумагой в руке.

— Ou’est que vous faitez? — жеманно спросила маменька.

— Кесь-кеву, кесь-кеву! Наш попка в Петербурге выговаривал гораздо лучше… а, bon jour! — сказал он, увидав Софьина и небрежно протягивая ему руку, — где это вы пропадали?

— Жорж! вы забываетесь! — сказала мамаша с нежной строгостью.

— Вообразите, monsieur Софьин, — продолжал Жорж, не обратив никакого внимания на замечание своей мамаши, — как ни билась Marie, не выходит!

Он поднес бумагу к самому носу Софьина.

— Угадайте, кто это?

Софьин взглянул на подставленный ему листок. Там была набросана карандашом какая-то рожа, и видно было по всему, что художник не имел ни малейшего понятия о живописи, а натужил свое воображение, схватывая некоторые, рельефно выдававшиеся черты чьей-то физиономии.

— Ну, угадываете что ль?

— Нет, не угадываю, — холодно отвечал Софьин, отстраняя рисунок.

— Как же не угадать? Ну, смотрите!

Он перекинул через руку Софьина, которою отстранял он от себя неугомонного Жорженьку, рисунок и приблизил его на этот раз уж так близко к носу Софьина, что тот подался назад и покраснел с досады.

— Онисима Сергеевича нету-с? — сказал он, уклоняясь от Жоржа и обращая речь к

Соломониде Егоровне.

— Да что у тебя там такое, моншер?

— Да ты-то, кесь-кеву, угадаешь; мне хочется, чтоб вот они.

— Ну-ка, ну, покажи, — сказала маменька, нежно улыбаясь.

— Дай грош! — сказал Жорженька, прижав бумагу к груди и подбегая к мамаше на одной ножке.

— Дам, дам, шалунишка.

— Дам, дам — где ж ты его возьмешь? Гроша ведь нету, а есть две копейки.

— Проказник! — нежно сказала маменька, обращаясь к гостю. — Вот таков он всегда у меня! Пребыстрое дитя!

Жорж подал ей рисунок.

— Уж не Пустовцев ли это? — спросила Соломонида Егоровна.

— А есть сходство?

— Есть, особенно в прическе.

— Ну, нашла в чем! Да Пустовцев отроду не носил никакой прически. Он даже и расчесывается собственной пятерней. А угадайте, мусье Софьин, кто рисовал?

— Жорж! — подхватила Соломонида Егоровна, желая остановить его.

— Ну, что? Разве нельзя сказать? А вот скажу же: Marie. Да нечего крутить головой-то, нечего!

Софьин улыбнулся; но что было в этой улыбки, определить трудно. Может, он улыбнулся настойчивости дерзкого мальчишки, может, нежной слабости матери, а может быть… впрочем, трудно сказать, чему он улыбнулся. Но горько-насмешлива была эта улыбка…

— Вот, батенька, — продолжал Жорж, — как у нас занимаются-то! Не одеваемся до полудня и целые утра просиживаем да сочиняем портреты, — ей-богу! Пожалуй, срисуем и вас, только с преогромным носом. Да, батенька! Marie написала Пустовцева и в мундире, нарисовала и во фраке, и в пальто, и в дрожках, и верхом, и в профиль и en face, — да-с; она говорит, что занимается этим con amore, как настоящая художница. Вот у нас как!

Соломонида Егоровна сидела, как на иголках, находя себя в полной невозможности остановить беспощадную болтовню неугомонного негодяя. Софьин тоже выискивал случай, как бы откланяться такой честной компании, и в душе проклинал себя и свой неудачный выезд. В гостиную вошла Елена, — и странно! — в движениях ее Софьин не заметил ни прежнего фанфаронства, ни оскорбительной небрежности. Напротив, Елена показалось ему как будто скромнее и тише.

— Bonjour, monsieur Софьин, — сказала она чересчур вежливо, подавая руку. — Как долго мы лишены были удовольствия вас видеть! Не спрашиваю о причинах. Ваши потери так велики, ваш пост так важен, ваши занятия так многосложны и разнообразны, что нет мудреного, если вы чуждаетесь света.

Софьин не мог не заметить, что и эта тирада хорошо подготовлена. — Благодарю вас, Елена Онисимовна, — отвечал он, — за такое высокое понятие обо мне и о моих занятиях; но дело объясняется проще, я иногда хандрю и потому прячусь от людей с моей кислой физиономией.

— Наверно, пишете что-нибудь?

— Нет-с, не пишу, а только поправляю да подписываю доклады, которые подает мне секретарь.

— Ах, какая проза!

— Могу вас уверить, что в жизни она нужнее всякой поэзии.

— Вы ли это говорите, monsieur Софьин?

— А почему ж бы именно мне не говорить этого?

— Вы поэт в душе.

— Э, Боже мой, кто из нас не поэт в душе, и еще в молодости?

— Но я имела удовольствие читать произведения вашего пера.

— Прибавьте, дурно очиненного. Это, Елена Онисимовна, грех юности и неведения моего, о котором мне и вспомнить неприятно.

— Какая скромность! Извините, однако ж, если я вам не поверю… Впрочем, скромность прилична гению.

— Извините и меня, Елена Онисимовна, если я ваши слова приму за насмешку.

— Елена моя, — подхватила Соломонида Егоровна, — умеет держать себя в каком хотите обществе и насмешек себе не позволяет.

Такая неуместная, грубая и мещанская выходка барыни привела в смущение даже Елену; а о Софьине и говорить нечего. Он едва удержался от резкого ответа и, потупив голову, скрыл таким образом побледневшее от гнева лицо.

— Так вы отказываетесь от гениальности? — сказала Елена.

Софьин взглянул на свою собеседницу, думая прочесть в глазах ее действительно злую насмешку: но вместо того встретил умоляющий взгляд, которым дочь понятно вымаливала прощение своей тупоголовой матери.

— Я был бы, — отвечал он, — слишком глуп, чтоб почитать себя за какой-нибудь даже талант, не только что за гения.

— Позвольте ж вам сказать, что вы несправедливы к себе; ваши стихи…

— Хи, хи, хи, — прокричал Жорженька, который во все это время выводил что-то на рисунке, употребив вместо карандаша стеариновую свечу, которую оборотил он вверх ногами, и работал нагоревшей светильней. — И вот тут, maman, — продолжал он, — тоже выходит хи, хи. Смотри, это усы, а это бакены. Теперь и сама Маша не узнает своего Пустовцева.

Жорж повернулся на одной ноге и, вырвав из рук матери листок, побежал к боковым дверям и

чуть было не сбил с ног входившую Marie.

— Сумасшедший! — сказала она.

— Сама ты такая! Зато ж на — вот, гляди, — хорош теперь твой Пустовцев?

Он показал сестре рисунок, но Marie с гневом оттолкнула его и вошла в гостиную.

Боже!.. Кто бы узнал теперь это юное создание, недавно так светившееся искренностью мысли и благоухавшее свежестью чувства?.. Вот они — эти ясные очи, но нет уже в них той мягкости и елейности, которые вливали тишину и сладость в самую бурную душу, глядевшуюся в них. Вот они — эти коралловые уста: но будто пухлей стали они, выражая какую-то спесь и готовность раскрыться не для ангельской улыбки, а для возмутительной речи, полной насмешки и презрения. Вот оно — это прозрачное лицо, но нет уже в нем румянца стыдливости, а насквозь проникло оно какой-то изнурительной истомой и бледностью. Вот и стан… но нет, это не тот стан — тонкий и гибкий, как стебель, еще с неразвернувшимися лепестками, еще не сложившийся, но много позволяющий гадать о себе в будущем: этот бюст почти совсем уже окончен; рука неизвестного скульптора уже обозначила его обольстительные и свежие округлости. Нет, это не та робкая Marie, которую видел Софьин на кладбище, которая, наконец, не так давно с полными слез глазами слушала скорбную повесть его…

Быстро взглянул на нее Софьин и потом медленно опустил голову в каком-то, по-видимому, раздумьи.

— Maman! — резко сказала Marie. — Выгоните вон этого невежу?

Озадаченный этим Жорж хотел было сказать что-то, но вместо того погрозил сестре кулаком и быстро скрылся в отворенные двери.

— Вот и знакомая незнакомка ваша, — улыбаясь, проговорила Соломонида Егоровна.

Софьин поклонился.

— Угадываете ли ее?

— Сегодня я очень плохой угадчик и, обманувшись раз, не хочу повторять этого в другой.

— В чем же это вы обманулись? — сказала Marie, небрежно подходя к зеркалу и поправляя волосы, взбитые a la Помпадур.

— Не угадал портрета, который показывал мне Жорж, — отвечал Софьин, глядя на нее пристально.

— Немудрено, — сказала она, и ни одна черта лица ее не шевельнулась, — он очень дурно набросан. Это Жорж пачкал. Впрочем, разве я теперь в глазах ваших портрет, а не подлинник?

За стеной послышались судорожные всхлипыванья. Соломонида Егоровна ахнула и, несмотря на свою тучность, быстро выбежала в соседнюю комнату.

— Ах, это Жорж! Охота ж тебе, Marie, так обижать его! — сказала Елена и тоже поспешно ушла вслед за матерью.

Marie, не переменив положения, громко засмеялась.

— Нуте, отвечайте же! — сказала она, садясь в кресло и ловя кисть висевшей близ портьеры.

— Будьте так добры, повторите ваш вопрос.

— Как это вежливо!

— Извините, я думал совсем не о том.

— Еще вежливей! О чем же вы думали?

— Старался узнать вас.

— Разве я так успела перемениться с того недавнего времени, как вы перестали бывать у нас?

— На мои глаза, — да.

— Что ж, похорошела?

— Сказал бы, да боюсь.

— Не стесняйтесь.

— Вы похорошели — да: но ваша красота стала возмутительна; вы развились, но в этом развитии я вижу насилие вашей прекрасной натуре, вы… но довольно, боюсь впасть в поучительный тон.

— Нет, продолжайте, мне очень приятно. Пустовцев говорил, что у вас прекрасный дар сказывать проповеди.

— А, он так хорошо меня знает?

— Умный человек может хорошо знать всякого.

— А мне кажется, умный человек должен, прежде всего, знать хорошо самого себя.

— Ну, вот вы уж и рассердились!

— Виноват, — сказал Софьин, горько улыбнувшись. — Я точно впадаю в ребячество.

— Это ничего; я сама иногда тоже люблю поребячиться, особенно когда разболтаюсь с Пустовцевым.

— Позвольте узнать, всем ли так часто твердите вы о Пустовцеве, как мне?

— Нет, не всем.

— Почему ж именно я удостоился такой чести?

— Потому что если б я сама не заговорила о Пустовцеве, то вы и без меня начали б о нем речь.

— Вы так думаете? — сказал, зардевшись, Софьин.

— Не только думаю, а уверена.

— Уверены? Почему же?

— Это мой секрет.

— Только, верно, известный не вам одним.

— Почему знать? Может быть, и действительно не мне одной.

Такой отчаянный вызов на перестрелку колкостями окончательно сбил с толку Софьина. Он ясно видел, что появление его в доме Небеды было заранее предсказано, что речи его предугаданы и все рассчитано и предусмотрено. Кто-то постарался покрыть юное сердце корой бесстыдства…

Грустное явление! Но оно бывает сплошь да рядом. Слабо сердце человеческое: но всего слабей оно у юной пришелицы света. Это воск, из которого опытная рука может делать все, что угодно; ум ее — это легкая бабочка, носимая ветром, несмотря на видимую произвольность ее движений. Горе, горе тому, кто совратит с пути правого «единую от малых сих!».

Софьин молчал, опустив голову. Marie небрежно играла кистью портьеры и улыбалась насмешливо.

— Какие вы странные, Marie, — сказала Соломонида Егоровна, выходя из боковых дверей. — Можно ли так оскорблять невинность?

— И красоту, — прибавила Marie, засмеявшись.

— Вам это смешно, сударыня?

— Как видите.

— Вы забываете, с кем говорите!

— Очень хорошо помню — с вами.

— А я вам кто?

— Вам это лучше знать.

— Кажется, я ваша мать?

— Зачем же кажется? Разве вы сомневаетесь?

— Я советовала бы вам выйти вон.

— Когда заблагорассудится, выйду.

Не желая быть свидетелем такой оригинальной семейной сцены, Софьин поднялся.

— Позвольте, мусье Софьин, — сказала Соломонида Егоровна, — я вас прошу присутствовать при опытах нынешнего образования.

— А я просил бы вас избавить меня от этого, — сказал Софьин, не поднимая головы.

— Напрасно, — подхватила Marie, — напрасно; таких сцен нигде не удастся вам видеть!

Софьин взглянул на Marie и не мог не подивиться этому в высшей степени противному

выражению, какое приняло все еще прекрасное лицо ее. Marie улыбнулась, — но от такой улыбки становится холодно и мрачно на душе.

— Жалуюсь вам, мусье Софьин, — заговорила Соломонида Егоровна, — уже не скрывая гнева; такие сцены она повторяет со мной почти каждый день.

— Почему ж и не повторять, если они вам нравятся? — отвечала Marie.

— Бессовестная! — вспыхнув, произнесла Соломонида Егоровна и вышла.

— Quelle bourgeoise! — сказала вслед ее Marie. — Ну, — продолжала она после некоторого молчания, насмешливо глядя на Софьина, — начинайте ж вашу проповедь. Тема превосходная: о повиновении детей родителям.

— Я вижу, Марья Онисимовна, что вы и без меня уж наслушались проповедей, а мои опоздали.

— Кто ж вам виноват!

— А-а, Владимир Петрович! — завопил Онисим Сергеевич, проходя залой и держа в руках большой сверток каких-то бумаг. — Слыхом слыхать, видом видать! Забыли, батюшка, совсем забыли! Ведь чай уж полгода, как вы были у нас.

— Виноват, Онисим Сергеевич…

— Ну, это ваше там дело! А теперь что? С Машей, с Машей? Поговорите, поговорите; молодец стала; хоть кого закрутит, забьет, завертит. А все Пустовцеву спасибо — хороший человек! А уж как ловок, как ловок, фу ты пропасть! Как начнет, знаете, этак резать про разные ученые материи, так рот разинешь! Иное место и сам видишь, что оно как-то не так, не с той, значит, стороны к делу подходит, и этак хочешь ввернуть ему закорючку — куда тебе! Как поднимется, так только пыль столбом. Да все философия ведь, канальство! Читали и мы Во́лтера с стары годы, но таких вещей, как у Пустовцева, не начитывали. Страшно, знаете, с первого-то раза, ну, а после, как порассудив этак, так и ничего, как будто оно так и следует. Да и Маша, я вам доложу, препонятливая головка. Эти женщины не в пример быстрее нас.

Во время этого монолога Онисим Сергеевич стаскивал перчатки, приговаривая в промежутках: «Вишь ты, собаки б тебя съели, не слазит. Рука, значит, напотела».

Кончив эту операцию, Небеда вытерся платком.

— Уф, пропадай оно! Умаялся. У итальянцев это был; купил вот это. Что за картины! Сейчас покажу. А мать где? Смотрите-ка сюда, Владимир Петрович!

И взяв за руку Софьина, Небеда подвел его к столу и стал развертывать покупку. Согнутая в трубку бумага плохо укладывалась на столе, и Софьин, держа в одной руке шляпу, другою принужден был придерживать поминутно свертывавшиеся эстампы.

— Гляди-ка, ась! — говорил Небеда, от всего сердца услаждаясь своей покупкой. — Ватерлоская битва. Да-с, двадцать пять целковеньких. Вот она штука-то какая! Ну, да и есть за что! Наполеон-то, вишь ты! Задумался, разбойник. Так тебе — вору, и надо! и это Сульт должно быть; умаливает. Умаливай, умаливай, а видно, придется «выкинуть фигуру на цыганский лад». Вы знаете эту песню? Чудесная, таких нынче уж не пишут. У меня есть она; я, пожалуй, дам вам ее списать. А пушки-то? Подбиты. Уж, стало быть, когда подбиты, то в дело не годятся. Это уж так, я сам по артиллерии служил. А вот это, — продолжал Онисим Сергеевич, развертывая

другой эстамп, — прощание в Фонтенебло… Да подержите-ка. Уж коли на то пошло, я покажу вам все мои картины. Коллекция, батюшка, коллекция. Поставьте-ка шляпу-то и держите вот так.

Онисим Сергеевич шибко пошел в кабинет, оставив Софьина у стола с растопыренными руками. Marie прыснула и залилась со смеху. Сам Софьин не мог удержаться от улыбки. Вырвавшийся в это время из-под одной руки эстамп быстро свернулся в трубку; Софьин хотел было удержать упрямца, потерялся, и эстампы полетели на пол.

— Эх вы, ловкий! — кричал Небеда, выходя из кабинета. — Не покажу ж вам за то ни одной.

Софьин поднял с полу картины и отер пот, проступивший у него на лбу.

— А у Клюкенгутов сегодня будете?

— Да, он приглашал меня.

— Будьте, и мы будем.

— Значит, до свиданья! — сказала, вставая, Marie и, кивнув головой Софьину, пошла на другую половину чрез кабинет отца.

— А давно вы у нас? — сказал Небеда, остановив Софьина на пороге.

— С час будет.

— Ну, вот и хорошо. И сами развлеклись, и моих…

Софьин не слышал конца этой речи. Он быстро сбежал с лестницы, опрометью бросился в коляску, надвинул шляпу почти до самого носа и крикнул «домой!» таким странным голосом, что ходившие по двору индюшки разом встрепенулись и прокричали ему что-то вслед на своем индюшачьем языке.

Глава седьмая

Есть люди на свете, которых любит свет и ставит их на степень образца и подражания. Он любит их как аттестованных поклонников своих, как строгих блюстителей законов духа времени, духа льстивого, обманчивого и мятежного. За поклонение себе он предписывает другим неофитам своим кланяться и подражать этим любимцам и жрецам своим, уже посвященным в его элевзинские таинства.

Люби себя и все употребляй средством для своих целей — вот закон света, крамольно идущего против законов истинного света!

Перед читателем мелькал кое-где легко и без особенного намерения набросанный эскиз Пустовцева. Лохматая голова, густые брови, светскость или, по его собственному выражению, эксцентричность — вот черты, которыми доселе обрисован был этот человек, коему суждено играть существенную роль в нашем рассказе. Приметы эти остались и теперь при нем: но яснее и отчетливей определилась его внутренняя физиономия. Не скоро сказывается смертный своим внутренним содержанием. Пуд соли съешь с человеком, пока его узнаешь, говорит справедливая русская пословица.

Пустовцев принадлежал именно к тому поколению, которое так верно очертил и так грустно

оплакал покойный Лермонтов в своей «Думе». Отец Пустовцева, сам воспитанный в правилах XVIII века, ревностный поклонник Дидро, д'Аламберта, Вольтера, Бэля и других энциклопедистов прошлого столетия, незаметно и даже, может быть, мимовольно передал и сыну своему неуважение ко всему, что издревле деды и прадеды наши почитали неприкосновенной святыней. Труня и издеваясь над кротким благочестием и простосердечной молитвой своей жены, он перелил и в сына то же кощунственное направление, уронив во мнении ребенка достоинство его матери и пустив во всю ширину юной души корень зла и растления. Быстрые способности малютки были отличным проводником уроков, которые и словом, и делом давались ему на всякий час и на всяком месте. Вот пришла мальчику пора поступить и в школу. Мать, прижимая к груди последыша своего, со слезами благословила его святой иконой, завещавая ему помнить Бога и заповеди Господни и в горе жизни прибегать к Небесной Заступнице всех скорбящих. Слушал отец эту давно забытую и отверженную им молвь искренней веры, и что-то сокрушительное шевельнулось в груди его, и показалась было на глаза его благодатная слеза раскаяния и умиления: но гордо отряхнул он эту слезу, когда малютка, вырвавшись из объятий матери, с улыбкой подошел к отцу и, показывая икону, сказал: «Папа, куда мне девать это?» — Отдай Ефремке! — отвечал отец: пусть положит в чемодан. — И поехал юный питомец в путь свой с отцовскими правилами в сердце и с материнским благословением в чемодане.

Прошел, наконец, ребенок и узаконенный курс воспитания; стал юношей и вышел с отличнейшим аттестатом и лохматой головой. И каких-каких наук не было прописано в его аттестате! Все семь греческих мудрецов в сложности не знали и половины того, что показан знающим двадцатилетний юноша… И вышел наш мудрец в люди, и поставили его прямо лицом к лицу с жизнью, которую, конечно, не мог же он изучить на школьной лавке и в ученической куртке. Ему открыли знатную служебную карьеру, маня все вперед да вперед наградами и отличиями. Корабль, значит, пришел в порт, началась разгрузка. Посмотрим, что там такое.

Вот Пустовцев в храме Божием. Значит-таки доброе семя, брошенное в его сердце матерью, не пропало даром? Не знаю. По крайней мере, небрежность, с какою он вошел в святое место, его раскланиванье со знакомыми, его разговоры и усмешки, его поза, полная дерзости и неблагоговения, не показывают этого. Он взбивает свои волосы, опирается, почти ложится на перилы, обратясь боком к алтарю, берет лорнетку, висящую на груди его, и рассматривает публику на противоположной стороне. Он вертится, приподнимается, ищет кого-то: но, верно, нет того, кого он ищет, потому что с видом небрежного неудовольствия обращается он к близ стоящему своему подражателю и заводит с ним разговор, как заметно, веселый. Еще пять, десять минут — и Пустовцев, взглянув на часы, медленно поворачивается и выходит из храма Божия, горделиво откланиваясь толпе, подобострастно расступающейся перед ним. «Бой-голова!» — говорит вслед ему молодой чиновник, обращаясь к своему собрату, уже поседевшему на службе в чине титулярного. «Да», — отвечает этот протяжно, не нам чета, и кладет земной поклон в простоте ума и сердца.

Беда затронуть религиозные убеждения этой бойкой головы! Было когда-то в моде самое жалкое, самое глупое, безотчетное неверие; человек отвергал все, не трудясь даже над анализом того, что отвергал; смеялся над всем священным потому только, что оно недоступно было его узкому и тупому уму. Пустовцев не этой школы: от великой тайны мироздания до последних явлений силы Божией, бывающих и в наше скудное верою время, он все подвергал критическому обзору, требуя одного лишь знания и знания; что же превышало ум его, что не укладывалось в узенькие клеточки человеческой логики, он все отвергал, как пустяки, как сущий вздор. Непобедимым убеждениям противопоставлял он насмешку; колющей правде — ловкий софизм, — и близорукий слушатель его терял точку опоры своих давних, религиозных убеждений, а свет решил, что это человек прекрасно образованный и свободный от

предрассудков.

Пустовцев на государственной службе. Перед ним люди со своими несчастиями и ошибками, с своими слабостями и пороками; в его руках перо, которым в иную пору легче меча можно рассечь гордиев узел злонамеренных хитросплетений. Но отчего ж такою грустною вышла из комнат его вот эта вдова с двумя малютками? Отчего так весело подпрыгивает вот этот горбатый адвокат, известный всякому мошенничеством и ябедою? Отчего так встревожен вот тот господин, которого, за полчаса тому, мы заметили в окна квартиры Пустовцева сидевшим близ стола, заваленного бумагами?.. Гм, мало ли отчего? Эти господа недовольные пришли искать защиты и правосудия; они принесли ему свою правоту, свои страдания и свои убеждения в деле, грозящем им неминуемою бедой: но ведь и забыли то, что господа, подобные Пустовцеву, служат не людям, а закону; что, по убеждению этих умников, не закон создан для человека, а человек для закона, то есть не суббота ради человека, а человек ради субботы. Вас ограбили, обесчестили; вы начинаете дело, прося защиты: но вы начали не по форме, вы пошли прямою дорогой, а не окольным путем, — и вас поворотят назад, поведут по мытарствам и будут водить до скончания века. Пропадет и охота искать удовлетворения за грабеж и обиду! Между тем ваш обидчик или ходатай его знает надлежащую форму и вставит в нее дело, в котором вы страдательное лицо; где нужно, обрежет его, где понадобится, вытянет, и дело как тут быть, как раз по форме. Глядит блюститель закона, подобный Пустовцеву, на все это и важно объявляет, что ваши претензии ничем не доказываются, то есть если вас и точно ограбили и обесчестили, то ограбили и обесчестили по форме, и потому сделает вам же замечание по форме, чтоб вы не смели формально беспокоить начальство, если и впредь вас ограбят и обесчестят без всякой формы… Не один Пустовцев в наше велеученое время смотрит с этой точки на свои служебные обязанности; не один из таких, зная Свод Законов, не знает Русской Правды… Конечно, не марал Пустовцев рук своих бесчестным взяточничеством; не явились к нему просители с докладными записками, содержащими в себе радужные доказательства правоты их дела; не нажить ему никогда «благоприобретеннаго»: но недалеко уйдут дела под такой невздоимной рукой, ибо в виду таких господ не люди с их несчастьем или подлостью, а школьная задача о чем-то метафизическом, чуждом действительности. «Fiat justitia, pereat mundus!»[227] — повторял Пустовцев, гордо поднимая лохматую голову, и сам, бедненький, не подозревал всей глупости этой школьной, стародавней поговорки, высиженной в кабинете каким-нибудь немцем-педагогом.

Пустовцев в обществе. Как он ловок! Как толпятся вокруг него эти барыни, из всех сил старающиеся испортить свою репутацию, — эти юные создания, недавно увидавшие свет и не вкусившие еще смертоносного яда его! Слышите ли вы этот гомерический хохот окружающей его толпы? Верно, корабль ее бросил в кого-нибудь из присутствующих бойкое, язвительное слово. И не пощадит он для такого словца ни связи супружеской, ни отношений дружеских, ни привязанности родственной, ни нежности детской, ни любви родительской… Как удав, он обливает все ядом неотразимой насмешки и возмутительного презрения. Градом сыплются увлекательные софизмы его на все святое ума и сердца; тяжким молотом сарказма и иронии разбивает он кумир, которому поклонялись вы доселе, и измельченными черепками он бросает в вас все самих, любуясь вашей душевной болью и тайными страданиями…

Как он честен! — говорит свет. Да, честен, — но честен, как язычник. Дайте такому человеку деньги — он возвратит их; сообщите ему ходячий секрет — он сохранит его; но не вверяйте ему ни вашей тайны задушевной, ни чувства любви и привязанности, ни имени вашего друга, ни чести вашей супруги, сестры и дочери. Он затопчет их в грязь, если только это нужно для его удовольствия и ненасытного эгоизма.

Заподозрят читатели автора в преувеличении набросанного образа; но заподозрят напрасно.

Он уже встречался им и в Онегине — Пушкина, и в Печорине — Лермонтова, и в Петре Ивановиче — Гончарова; только там они выглажены, убраны и причесаны, словно на бал. Любуется ими человек, не зря страшного растления являемых ему типов и не нисходя до сокровеннейших изгибов их души…

И вот такой-то человек явился руководителем еще неопытной Marie. Юное сердце ее прильнуло к этому искусителю, очарованное его змеиным, неотразимым взором. Он видел привязанность к себе Marie и небрежной невнимательностью развивал в ней эту привязанность до страсти. Робкая Marie грустила, когда он не являлся к ним по нескольку дней; ей нравились бойкие и остроумные выходки Пустовцева, которых не удавалось ей слышать ни в институте, ни в своей, слишком обыкновенной семье. Maman мучила ее своими аристократическими претензиями: но Пустовцев уже успел показать Marie смешную сторону важничанья ее мамаши, а с этим вместе убил в ней и должное уважение к виновнице дней своих. В саркастических насмешках над правами родителей он простер софизмы свои до того, что первое, естественное основание прав родительских обратил им же в упрек и поношение, — и все это пред девицей, внимавшей ему от простоты ума и непорочности сердца!.. Он показал в настоящем виде моральное значение самого Онисима Сергеевича и, низведши его в сословие оригиналов, заставлял Marie от души смеяться над речами отца, ловко и удачно копируемыми Пустовцевым. Он сбил с пьедестала мнимой учености mademoiselle Елену и артистически убедил ее, что она не артистка и что ее рассуждения о музыке и вообще об искусствах оченьочень немузыкальны и неискусны. Marie увидела, что сестра, которую она прежде ставила выше себя несколькими градусами, так себе, ничего; вследствие такого убеждения она поприбавила спеси, и после нескольких домашних стычек благоразумная Елена уступила сестре поле битвы и, подметив в Marie небывалую прежде бойкость и резкость в приговорах, пошла противоположным тому путем. А между тем Пустовцев удачно успел подделаться под прямой и откровенный тон Онисима Сергеевича; Соломонида же Егоровна, запуганная его эксцентрическими правилами, половину которых, правду сказать, она и не понимала хорошенько, спасовала окончательно и предоставила Marie действовать, как она знает, в том, однако ж, убеждении, что дочь ее уронить себя никак не может, ибо хорошо помнит, чьих она и какой фамилии. Софьин, о котором Marie имела неосторожность на первых порах отзываться слишком выгодно, подвергся сильнейшим нападкам и самому злому остроумию Пустовцева, который ошибочно думал преследовать в нем соперника себе, но весьма верно предугадал в нем противника преступным своим замыслам.

Месяца за четыре пред сим на вице-губернаторском кресле города В. посадили какого-то русского немца Ивана Ивановича Клюкенгута. Жители города В., следуя давней, коренной своей привычке, основательно обревизовали нового своего сочлена. Оказалось, по самовернейшим справкам, что Клюкенгут, впрочем умный человек, женат и имеет штук шесть детей, что он прибыл со всем своим семейством, что собственное состояние у супруга весьма сомнительно, но что взамен того он получил за своей законной половиной самые осязательные наличности в капиталах, возвышаемых или уменьшаемых разными записными вестовщицами, «смотря по расположению в воздухе»; что он женат уже лет двенадцать и что несмотря на огромную лысину супруга дражайшая его половина не находит в нем других недостатков и вследствие того почти всякий год дарит его то Петрушенькой, то Оленькой, то Андрюшенькой, а иногда Павлушенькой и Таничкой вместе. Морщился нежный супруг от такого благословения небес: но что ж делать? Надо было принимать благим сердцем такую благодать, тем более что тестюшка его, откупщик какой-то плодородной губернии, всякий раз присылал своей дочке по пяти тысяч «на зубок», что в некотором роде составляло значительное подспорье умножавшемуся семейству и позволяло супругу не пугаться ниспосылаемой ему небом благодати. Боже! Как хорошо было бы для рода человеческого, если б у всякого зятюшки были такие тестюшки! Теория Мальтуса должна бы тогда остаться чистейшей глупостью.

Супруга многочадного отца семейства Софья Кузминишна Клюкенгут, урожденная Лоскутникова, с первого же раза обратила на себя исключительное внимание города. Все оказалось в порядке: наружностью Софья Кузминишна была ничего себе; круглое лицо ее в надлежащих местах имело молочную белизну, а где долг велит и румянец; руки у нее были весьма и весьма недурны, а ножками она брала решительный верх над всеми, на кого работала модная башмачница «пани Куявска с Варшавы». Зато мадам Клюкенгут при всяком удобном и даже неудобном случае старалась выставлять натурою то, что у ней было хорошо. Она носила башмаки собственного изобретения с кривой подошвой, показывавшие ногу с лицевой стороны весьма в малом виде. Она искусно драпировала ручку и, сидя, всегда старалась держать ее в вертикальном положения, ни за что, не позволяя свободно обращаться крови, что, как известно, много портит изящную руку, придавая ей излишнюю полноту, а иногда и красноту. Проделки подобного рода не могли ускользнуть от внимательных наблюдателей и особенно наблюдательных, которые единогласно решили, что мадам Клюкенгут кокетка. В какой мере это справедливо и даже справедливо ли, судить не наше дело, хоть и действительно, некоторые доискались более прочного основания такому мнению в том именно, что мадам Клюкенгут не терпела своих дочерей, — признак, как замечают многие, обличающий закоренелую кокетку. Но опять и этого мы не принимаем за верное, считая такое явление психологической тайной, известною лишь прекрасному полу.

Ясно теперь, что ревизующие не остановились на одной внешности, а естественным порядком пошли дальше. Таким образом, по сведениям, из-под руки собранным, оказалось, что мадам Клюкенгут, урожденная Лоскутникова, получила домашнее воспитание, то есть что ее питали в детстве всякими сластями, исподволь учили грамоте, и когда Софинька начала округляться, договорили учителя, который с небольшим в два года успел преподать ей все науки от грамматики да астрономии включительно. Французский язык, как первая и самая важная статья в русском воспитании, был предметом наибольшей заботливости родителей Софиньки с самого ее детства. Для этого, кроме учителя-француза Трепе, при ней находилась неотлучно какая-то полупомешанная пани Рублевска, тоже «с Варшавы», отличавшаяся необыкновенной охотой болтать и в безустанной речи своей храбро мешавшая все известные ей языки. Вышла наконец Софи и из детей; ее стали наряжать как куколку, и кокетство — чувство врожденное всякой мало-мальски хорошенькой женщине — явилось и у новой прозелитки света. Нянька, называя ее беспридданницей, в то же время напевала своей питомице, что за нею денег куры не клюют. Что ни говорите, а толки такого рода вскружат хоть какую голову; Софинька стала уже женихов смышлять и в многолюдной толпе молодежи отыскивать «предмет» свой. Но как на беду ни один из предметов, бывших налицо, не приходился ей по мерке, какую состроила она в своем воображении. Вот Софиньку и в корсет облачили; а известно, что это такая пора в возрасте девицы, когда грудь ее начинает волноваться иногда мерно и плавно, как перед бурей, иногда беспокойно и шумно, как дыхание испуганного во сне. Софиньке стукнуло осьмнадцать, но по какому-то странному капризу сердца Софи громко стала осмеивать романическую страсть и начала находить больше смысла в браках по расчету. Явление, действительно иногда бывающее в жизни и юной красавицы (о заматоревших в днях своих и не говорю — там это легко объясняется), но только оно почти всегда разрешается очень невыгодно для супруга, указанного расчетом.

Было ли то предчувствие или особого рода призвание, но только mademoiselle Софи нашла партию именно по мыслям своим. В город, где обитал родитель ее, прибыл некто Клюкенгут, командированный свыше по каким-то служебным делам. У председателя Казенной палаты, задушевного друга откупщику, Клюкенгут познакомился сначала с самою Софи, а потом и с ее папенькой. Дело было за преферансом, за который внимательный хозяин усадил приезжего гостя визави с дочерью своего задушевного друга. Надо заметить, что Sophie, сначала из угождения своему папеньке, отчаянному любителю всех коммерческих игр, а потом и

собственному влечению, сделалась одною из страстных почитательниц приятного и полезного препровождения времени за картами. Она даже сделала себе этим огромную репутацию, и записные знатоки преферанса говорили, что с mademoiselle Loskutnikoff нельзя рисковать на семь, не имея в руках почти осьми. Приезжий гость испытал это на себе, проиграв несколько игр, по его словам, вернейших: но когда Sophie глубокомысленно доказала ему, что, мол, так и так, что следовало бы выходить вот с этой, а не козырять, то Клюкенгут согласился, что игры его были не вернейшие и тут же получил справедливые понятия об основательности и дельности своей партнерки. После двух пулек они долго еще разговаривали о случайностях игры в преферанс и расстались совершенно довольные друг другом. С этой минуты завязалось между ними нечто вроде «сердечного согласия», и когда Клюкенгут, дня через три после первых достопамятных проигрышей, явился с визитом к Лоскутниковым, Софи уже смотрела на него как на постоянного своего партнера и потом, сходясь с ним где-нибудь, вместо пошлого осведомления: «Как ваше здоровье?» — обыкновенно спрашивала: «Что вы вчера или сегодня сделали?» — на что Клюкенгут ответствовал длинным рассказом о том, как, например, третьего дня он проиграл в бубнах, имея на руках вот то и то. Эти невинные разговоры до того сблизили наших партнеров, что они стали подумывать о партии другого рода, где тоже не обходится без ремизов, и иногда очень печальных. Говорите ж после этого, что карты выдуманы для того лишь, чтоб убивать попусту время!

Как бы то ни было, но в пятимесячное пребывании Клюкенгута в месте жительства Лоскутниковых дело уладилось как нельзя лучше. За три дня до отъезда Клюкенгута молодые партнеры были помолвлены законным порядком, и Sophie, оставшись невестой, еще более привязалась к картам, оказавшим ей такую услугу.

Нужно знать, что Sophie и тут помог привычный расчет. Мимо других личных достоинств своего нареченного, она приняла в соображение и сообщенное ей сведение, что Клюкенгут, по окончании поручения, непременно получит место председателя или вице-губернатора. И действительно, месяца через четыре старик Лоскутников показал ей газету, в которой значилось, что коллежский советник Клюкенгут назначается исправляющим должность председателя Уголовной палаты в город такой-то. По той же почте они получили от жениха письмо, которым он официально и вежливо испрашивал позволения явиться для окончания дела, «о коем, — сказано в письме, — всякую секунду на поминовение делает кольцо, блистающее на одной из моих палец». Ответ на это письмо писала сама Sophie. Прочитав его несколько раз с расстановкой, свойственной откупщикам, старик Лоскутников вычеркнул некоторые, по его мнению, горячие выражения и, взвесив потом каждое слово в послании невесты, отправил его страховым уже по другой почте. Через месяц Лоскутниковы шумно отпировали свадьбу своей единородной и проводили молодых в путь-дорогу к месту службы Клюкенгута.

Более десяти лет прошло после этого события, пока в город В. явился Клюкенгут со своей супругой. Мы уже видели, как приняты были они всем народонаселением города, пропускаем и происшествия, случившиеся в семействе Клюкенгута в первые месяцы их прибытия, они не относятся к нашему рассказу. Посмотрим, что было дальше.

И пост, занимаемый Клюкенгутом, и состояние его требовали, чтоб он жил открыто. Ради такой причины у Клюкенгутов образовались известного рода пятницы. День этот выбран был потому, что, как говорил Иван Иванович Клюкенгут, «больше удобности для увеселения представляет, и служба ничего не претерпевает, поелику на субботе присутствия не бывает». Между постоянными посетителями и пятниц, и других непривилегированных дней недели заметней всех был Пустовцев. Мадам Клюкенгут с некоторого времени начала оказывать особенное внимание к этому губернскому льву; она даже отказывалась от преферанса, как скоро проведывала, что на вечер к ним пожалует Пустовцев. Вестовщицы радехоньки были

такому казусу и плели сплетни, словно кружево. Они по секрету передавали друг другу разные заметки; и догадки их, по-видимому, имели вид некоторого правдоподобия. Мадам Клюкенгут, в самом деле, была уж слишком неосторожна и дружеские отношения свои к Пустовцеву простерла до излишней конфиденциальности. Конечно, никто против того не станет спорить, что даме дозволяется больше, чем не даме: но есть пункты, которые равно не годятся для той и для другой, а особенно, если дама имеет честь быть матерью… Сильно почесывался лоб у доброго Клюкенгута; он ясно видел, что жена его «пошаливает немножко»: но сообразив, что ведь особенного влечения другу к другу они никогда не имели и что в выборе удовольствий они совершенно вольны, снисходительный супруг стал хлопотать лишь о том, чтоб шалость его супруги не слишком выходила из границ светского приличия, и сообразно такому, флегматически немецкому взгляду на вещи, сам же мимовольно помогал врагам своей супружеской чести. И Пустовцев пользовался этим очень хорошо: но легко удавшаяся интрига скоро ему наскучила. Он чаще обыкновенного начал говорить перед самою Клюкенгут о младшей Небеде; более прежнего стал оказывать при всяком случае внимание к Marie. Надо быть не женщиной, чтоб не видеть в этом кой-чего отличного от обыкновенных отношений между молодыми людьми разных полов. Софья Кузьминишна ясно видела, что теряет своего поклонника, что она уже наскучила ему, что ей приходится отбивать игру, рискуя поставить огромный ремиз; рассчитав хорошенько, она убедилась, что всякого рода трагические сцены, бывающие в таких случаях, не поведут ни к чему доброму, а, пожалуй, еще усилят в Пустовцеве отвращение к ней, и — чего доброго, ославят ее не слишком с выгодной стороны. В силу такого убеждения Софья Кузьминишна сама даже стала содействовать возникающей страсти Пустовцева и с особенным участием выслушивала одобрительные речи его о Marie, искусно выведывая тайные мысли самой девушки о своем лохматом Фобласе. Она из-под руки подсмеивалась над супругом, который, весь отдаваясь ломберу и ералашу, знать не хотел о проделках своей половины; злые языки говорили, что мадам Клюкенгут только замаскировывает свою интригу с Пустовцевым и непременно обремизит девушку; но такое мнение вряд ли основательно, а впрочем, не знаю. Софья Кузьминишна простерла наконец заботливость свою до того, что начала уже намекать Пустовцеву об «Исаие ликуй»; но Пустовцев обыкновенно отражал такие нападения эксцентрическими выходками против брака, чем заметно радовал дальновидную посредницу.

— Но какая же цель твоего ухаживания? — спрашивала Софья Кузьминишна, сжимая руку Пустовцева.

— Очень простая: собственное мое удовольствие, — отвечал обыкновенно Пустовцев, пуская кверху дым папироски.

Глава восьмая

— Как угодно, дяденька, а белый галстук будет приличней, — говорил Племянничков с видом знатока.

— Хорошо и в черном, — отвечал Софьин, одеваясь перед большим зеркалом.

— Вот и перчатки у вас какого-то стального цвета.

— Так что ж?

— Следует в белых.

— Явимся и в этих.

— Позволяется; а танцевать будете?

— Нет.

— Отчего же-с?

— Пора уж нашему брату остепениться; довольно потанцевал я в свою пору.

— Танцуют и вдвое старше вас…

— Таким закон не писан.

— Эх, дяденька! Вы цены себе не знаете.

— Будто? — рассеянно сказал Софьин.

— Мне говорила Marie… — сказал Племянничков и остановился, выжидая, какое действие произведет это на Софьина.

— Что ж там такое? — сурово спросил он.

— Покамест ничего; а вот, надеюсь, на сегодняшнем вечере будет говорить.

— Ну, поедемте же; я готов.

И они поехали.

А поехали они к Клюкенгуту, который по случаю тезоименитства своей супруги давал пир на весь мир, не щадя ни приглашений, ни расходов, на которые он всегда бывал скуп, по кровной привычке своей немецкой натуры.

Не будем останавливаться над описанием бала. С немногими исключениями, он во всем походил на балы, даваемые частными лицами в губернских городах.

Завидно счастливы такие натуры, как Племянничков. Посмотрите, как хохочет его дама! Как полно искренней веселости, раскрасневшееся от танцев лицо его! Прическа у него уже испорчена, перчатки изорваны, галстук принял злостное намерение свернуться узлом на сторону, — а Племянинчкову какое до этого дело? Его поминутно выбирают для составления фигур в мазурке, и тут-то оказывается неистощимая его изобретательность. Нет, господа столичные жители! Если хотите видеть мазурку во всем ее разнообразии, прошу пожаловать в губернию; тут вам представятся дива дивные и чуда чудные; тут иной проказник выдумает такую фигуру, что и жителям Сандвичевых островов не пришла бы она в голову. Но, право, я люблю эти веселости, как скоро они не слишком громко вопиют против благопристойности. По мне, уж коли веселиться, так веселиться, а то что тут веселого, когда танцор выступает журавлем, а его dame de coeur глядит кукушкой? Не правда ли, Федор Степанович? — спросил бы я Племянничкова. А так, ей-богу, так, дяденька, — отвечал бы он мне.

Однако ж замечаете ли вы какое-то особенное движение между не танцующими? Шепчутся, пересмеиваются, поглядывая на гостиную. Что там такое? Пойдемте туда, господа читатели. Нам, как Лесажеву герою, все позволено. На всякий случай однако ж прикройтесь шапкой-невидимкой.

На канапе, облокотясь на подушку, сидит Софьин. На лице его попеременно является то усмешка, то грозное выражение, то насильно скрываемая грусть. На другом конце канапе рисуется Marie. Как хороша она в этом роскошном балетном уборе! Как кстати брошена на

полную грудь ее эта пышная роза! Навалясь на подушку и небрежно разбрасывая косматые волосы, сидит Пустовцев. Они ведут между собою разговор, начала которому мы не были свидетелями.

— Недалеко же вы ушли с вашей опытностью! — говорит Пустовцев, отворачиваясь от Софьина и улыбаясь Marie.

— Дальше, чем вы в состоянии заметить, — не без гнева отвечает Софьин.

— Мудреного ничего нет, — с язвительной усмешкой подхватывает Marie. — Ваши лета дают вам на то полное право.

— Не всегда, Марья Онисимовна, лета оказывают человеку такую услугу. Рассудок у одних развивается раньше, у других позже, а у иных и вовсе никогда. Но ужаснее того состояния быть не может, когда с развитием рассудка с глаз человека спадает та благодетельная завеса, сквозь которую он видел все в утешительном свете.

— Зачем же вы доводили себя до такого состояния? — сказала Marie.

— Затем, что я привык быть внимательным к самому себе и ко всему, что меня окружает.

— Довольно, кажется, было бы с вас остановиться на внимании только к самому себе.

— От первого ко второму, Марья Онисимовна, неизбежный шаг. Разобрав сначала хладнокровно все изгибы собственного сердца, и находясь в постоянной борьбе с собственными недостатками, человек приобретает особенный дар быстро прозревать в недостатки своих ближних, вы не поверите, как потом ярко бросаются в глаза эти недостатки!

— А добрые качества? — спросила Marie.

— Им сочувствует сердце настолько, насколько то позволяет рассудок.

— Итак, благочестивые слушатели… — сказал Пустовцев, засмеявшись.

— Заключение, — отвечал Софьин, — предоставляю вывести вам.

— Куда нам пускаться в такую премудрость!

— Разве никогда и не пробовали?

— Не случалось.

— Напрасно.

— Я не охотник всматриваться в чужие недостатки.

— Не потому ли, что право это приобретается сначала анализом своих собственных?

— Нет, не потому; а боюсь, чтоб у меня не зашел ум за разум…

— А вот же Владимир Петрович, — смеясь, заметила Marie, — видно, не боится этого.

— Этому господину и нечего бояться, — сказал Пустовцев.

Marie не могла не заметить всей грубости такой выходки своего поклонника. Она медленно встала и, отошедши к цветочной пирамидке, начала рассматривать что-то.

Софьин, весь изменившись в лице, спокойно пододвинулся к Пустовцеву и сказал тихо:

— Надеюсь, что вы не оставите без объяснения ваших дерзких слов.

— Не надейтесь; они и без того ясны.

— Для вас, может быть, — но не для меня; сознаюсь, я в таких вещах невежда.

— Как и во всех других, — громко сказал Пустовцев, небрежно поднимаясь с канапе. Он подошел к Marie и, подав ей руку, вышел в залу.

Ошеломленный такою дерзостью, Софьин вздрогнул и потом остался неподвижен. Голова его кружилась, кровь приливала к сердцу. В гостиную вошел Племянничков, обмахиваясь платком.

— Федор Степаныч! — глухо проговорил Софьин. — Потрудитесь, пожалуйста, зайти ко мне завтра утром.

— В какое время, дяденька, я весь к вашим услугам, — отвечал Племянничков, комически расшаркиваясь.

— Владимир Петрович! — вопил Онисим Сергеевич, остановясь у дверей между залой и гостиной. — Поditека сюда, пожалуйста, подите! Ну не злодей ли, ну не разбойник ли этот Пустовцев? Ведь, вишь, какую фигуру выдумал! Отродясь не видывал! А уж в наше ли время не откалывали мазурки?

Скрывая в себе волнение, Софьин подошел к Небеде и бездельно стал смотреть в залу. Замысловатая фигура кончилась. Софьин однако ж заметил, как Marie говорила что-то с жаром, как Пустовцев отвечал ей, — и эта небрежность, это дерзкое молодечество, с каким он принимал, повидимому, горячие речи своей дамы, чуть-чуть не взорвали на воздух все благоразумие Софьина. Незаметно оставил он Небеду и, потупив голову, уселся на прежнем месте.

Через несколько минут быстро подошел к нему Племянничков. Он был бледен, и дрожал, как в лихорадке.

— Успокойтесь, — сказал он: я все знаю.

Софьин поднял голову.

— Я уж кончил, — продолжал он.

— Что такое?

— Mademoiselle Marie просила меня уладить между вами и Пустовцевым… я уж кончил… она мне все рассказала…

— Что ж она могла вам рассказать?

— Уж что бы ни рассказала, только я сделал свое дело.

— Что ж вы сделали? — с нетерпеливой досадой спросил Софьин.

— Что следует.

— Да что же, спрашиваю вас?

— Вот что: от своего и от вашего имени сказал Пустовцеву, что он… скот.

— Ах, Боже мой! — вскрикнул Софьин, вскочив с канапе. — Кто вас просил?.. Цс, молчите! — сказал он шепотом, сжав руку Племянничкова и завидев издали Marie, которая шла по направлению к нему, — никому ни слова! Уйдите!

Племянничков, пожав плечами, отошел, а Софьин сел, стараясь принять вид беспечный и веселый.

— Владимир Петрович! — сказала Marie, подавая руку, — вы одни?

— Нет, теперь нас двое, — отвечал Софьин, пробуя улыбнуться.

— Простите меня!

— Вас? Это что значит?

— Вы за меня обижены.

— Кто ж мог меня обидеть?

— Не скрывайтесь; я все вижу.

— На этот раз, — грустно сказал Софьин, — вы точно видите дальше, чем нужно.

— Отчего ж только на этот раз?

— Оттого, что во все другие разы вы не хотите видеть и того, что делается у вас перед глазами, — сурово отвечал он.

— Ах, говорите, говорите! Я заслужила ваши упреки, — сказала Marie, опустив голову, и глаза ее увлажнились слезами.

Софьин не мог не заметить этой простосердечной, детской покорности и почувствовал сожаление к невинному созданию, обольщаемому змеем-искусителем.

— Марья Онисимовна, — с чувством сказал он, — ищите в моих словах не упрека, а искреннего сожаления. Вы не видите той бездны, какая шире и шире раскрывается всякую минуту под вашими ногами. Умоляю вас, для вас же самих, поберегите себя! Всякое оскорбление, относящееся лично ко мне, от такого человека, как Пустовцев, я перенесу спокойно: но стану поперек дороги обольстителю, рассчитывающему на вас, как на свою жертву. Я знаю, он ненавидит меня, ибо чувствует, что я прозреваю тайные его замыслы; а для людей, заглушивших в себе голос совести, присутствие такого наблюдателя, как я, тяжело и неприятно. Не скрываю, он оскорбил меня, страшно оскорбил. Такое оскорбление требует крови…

Вся бледная и трепещущая, Marie схватила руку Софьина и пугливо оглядывалась вокруг, как бы боясь, чтоб кто-нибудь не подслушал последних его слов.

— Успокойтесь, Марья Онисимовна; дослушайте меня…

Но не дослушала бедная девушка. Голова ее упала на грудь, руки опустились, и бесчувственная, она стала холодна, как мрамор.

Софьин, сам не зная, что начать, схватил колокольчик, стоявший на столе, и зазвонил во всю силу. Тревога сделалась общею. Подбежавшие дамы схватили Marie и утащили в уборную. Мадам Небеда сочла нужным тоже «сомлеть» и тоже заставила хлопотать около себя досужих благодетельниц. Танцы расстроились. Сам Клюкенгут вышел из своей немецкой апатии и пропустил игру с падильей и манильей. Софья Кузминишна успокаивала всех и каждого увериениями, что это не больше, как обыкновенный обморок, а между тем улыбалась как-то предательски. Один Онисим Сергеевич не растерялся; увидав, из-за чего произошла суматоха, он спокойно воротился к столу с картами в руках. «Затанцевалась, — сказал он, усаживаясь в кресло, — затанцевалась, вот и все! А все шнуровка дьявольская виновата. Чей ход?»

Софьина уже не было в зале. Он ретировался, не желая быть свидетелем развязки этого происшествия.

На другой день рано, только что Софьин пробудился с беспокойного сна, ему подали пакет, запечатанный, как заметно, с торопливой поспешностью.

— От Небедов-с, — сказал Никита.

Софьин открыл посылку. Это был третий том какого-то французского романа; ясно, что его прислали не для чтения. Софьин проворно пересмотрел книгу, даже встряхнул ее, держа за крышки, но ничего не выпало. Он начал переворачивать поодиночке каждый лист, и на одном из них увидел слова, два раза подчеркнутые карандашом: ayez pitié de moi et ne me perdez pas! Он остановился над этим воплем юной испуганной души и задумался.

Тяжело было его положение! Он понес оскорбление, смываемое только кровью; он видел себя жертвою страшного предрассудка, отступить от которого значило бы пойти против света, а свет никогда не прощает нарушения своенравных своих законов; он хорошо знал, что, во всяком случае, должен стать притчей толпы и подвергнуть доброе и честное имя свое толкам и пересудам, что, как ни поступил бы он в настоящем случае, все найдутся люди, которые заговорят и завопят против него. Не мог не видеть он и того, что, последовав общему предрассудку, он рискует сделаться преступником закона, который в этом пункте, виляя направо и налево, является бессильным и жалким противником общественного мнения и бьет уже лежачего. Но при всем том он чувствовал, что требуемый светом исход этого происшествия страшно убьет еще незапятнанное имя юного создания, бросит его в омут сплетней, клеветы и злословия, что рады будут люди забросать грязью прекрасный цветок, только что поднявшийся от земли, что, произвольно избрав себя хранителем душевного эдема неопытной девушки, он тем же самым пламенным оружием, которым поклялся охранять, поразит ее смертельным ударом, что бессовестный противник его готов будет во всяком случае воскурить фимиам своему тщеславию, не щадя никого и ничего. Все это путалось и мешалось в голове Софьина; наморщив лоб, он долго сидел и думал, наконец, решился…

— Здравствуйте, батюшка Владимир Петрович! — раздались над самым его ухом.

Софьин вздрогнул. Перед ним стоял Небеда с протянутой рукой; видно было, что старик сильно расстроен.

Софьин медленно поднялся и пожал руку гостя, извиняясь, что он застал его таким неряхой.

— Что тут толковать? Дело утреннее. Я бы и сам теперь… того… да вот видите… энтого… как ваше здоровье?..

Видно опять было, что старик никак не мог приступить к делу, по которому приехал так рано. Не дожидаясь ответа, он начал ходить по зале, потирая себе лоб и кряхтя как-то особенно. По привычке держать себя немного набок, Небеда теперь почти совсем перегнулся на левую сторону и по временам взглядывал исподлобья на Софьина, который под влиянием недавно передуманного им еще не собрался с мыслями и стоял у стола, опустив голову.

— Славная нынче погода, — сказал Небеда — и соврал: погода была вовсе не славная, а так, ни то ни се; известно, как бывает осенью.

Софьин машинально поглядел в окно и не сказал ни слова.

— Вы, видно, никуда не располагаете сегодня? — опять заговорил Небеда.

Софьин поглядел на него и опять не сказал ни слова.

— Правда, — продолжал Небеда, — оно и рано еще… может быть… И не докончив речи, Небеда прибавил шагу и стал почти бегом ходить из угла в угол.

— Жена моя велела вам кланяться, — сказал он скороговоркой, не глядя на Софьина.

Софьин улыбнулся.

— И дети то ж.

— Онисим Сергеич! — сказал наконец Софьин. — Вы, как вижу, в затруднительном положении.

— Да в таком, батюшка, затруднительном, что лихому татарину не пожелал бы.

— Вы пожаловали ко мне не за тем так рано, чтоб узнать о моем здоровье, чтоб сказать, какова на дворе погода, или чтоб передать мне поклон от Соломониды Егоровны.

— Я и сам знаю, что не за тем, да черт его знает, как приступить к делу-то.

— Просто, Онисим Сергевич, говорите мне все, что у вас на душе.

— Эх, — сказал старик, брякнувшись в кресло всем корпусом, — на душе! Мало ли что у меня на душе! Да язык-то проклятый не ворочается.

— Ну, так я пособлю вам, — сказал Софьин, усаживаясь против него.

— Пособите, батюшка, пожалуйста, пособите.

— Вам угодно узнать от меня причину вчерашнего обморока Марьи Онисимовны.

— Не то!..

— Может быть, потребовать объяснений, почему я вслед затем убрался так скоро от Клюкенгутов?

— Опять не то!

— Так что ж такое?

— А вот что: Maria больна.

— Больна?!..

— Да, больна, и чем это кончится, не знаю. Я оставил дома доктора; говорит, что у ней какая-то там нервная что ль горячка. И березовка не помогает.

— Боже мой!

— Чего тут — Боже мой! Она все бредит какою-то дуэлью; твердит о вас да о Пустовцеве, вот я приехал к вам!

— Что же вам угодно от меня?

— Эх, какие вы, право, Владимир Петрович! Я ж говорю с вами как с человеком умным и рассудительным. Вы ведь не чета, тому ветрогону.

— Кому это?

— Известно кому — Пустовцеву.

— Давно ли вы такого о нем мнения?..

— Всегда так о нем думал.

— После этого я вас не понимаю!

— Диковина, коли я сам себя не понимаю.

— Скажите ж, пожалуйста, Онисим Сергеич... или нет, уж лучше помолчу.

— Чего тут молчать, коли дело само за себя говорит? Я дурак — вот и все! Ну, да вот как женитесь, батюшка, так узнаете, что значит жена-баба.

— Все-таки я не понимаю вас, Онисим Сергеевич.

— А я так понимаю вас. Вы поссорилась с Пустовцевым, наговорили ему дерзостей, впутали сюда Машу, да еще того... и на дуэль его вызываете.

— Кто, я? Бог с вами! Чтоб я стал ронять себя, говоря Пустовцеву дерзости! Чтоб я осмелился шутить репутацией девушки! Нет, Онисим Сергеич, вы, значит, худо меня знаете.

— Да помилуйте, батюшка! Вчера сам же он рассказывал всем у Клюкенгутов, что Маша, вить, не выдержала грубостей и колкостей, какие вы отпускали там на его счет, да и ее мимоходом, вишь, задевали...

— Га, коль скоро так...

— То, что же?

— Позвольте умолчать об этом. Вы увидите...

— Нет, не увижу! — сказал Небеда, быстро поднявшись с кресла; он был бледен, глаза его горели, губы дрожали. — Не увижу, батюшка Владимир Петрович! Первый неприязненный шаг ваш к Пустовцеву убьет меня, старика. Я видел и вижу только мою Машу... Я пришел к вам не как примиритель, а как отец!.. Чего вы хотите? Драться? Но взяли ли вы в толк то, что между

вами двумя будет стоять глупая, несчастная девушка? Пули ваши, может быть, не коснутся ни одного из вас, а может только оцарапают правого или виноватого: но обе они вопьются в честное имя девушки, и пропала она на веки вечные! Владимир Петрович! Я ведь… я…

Он еще хотел что-то сказать, но волнение было так сильно, что он должен был ухватиться за горло. Оправившись несколько, Небеда вскрикнул: «Эй, кто там? Воды дай, болван!»

— Успокойтесь, Онисим Сергеевич! — сказал Софьин, усадив его в кресло, — успокойтесь и будем говорить хладнокровней.

— Будем, пожалуй, почему ж, — отвечал Небеда, проглотив стакан воды.

— Вам худо передали дело.

— Да кой черт разобрал бы в этой кутерьме что-нибудь похожее на правду! После бегства вашего от Клюкенгутов поднялась такая, батюшка, катавасия, что святых вон выноси. Мошенник Пустовцев только ухмылялся да подсмеивался; ну, да постой, доберусь я до него! Барыни, как трещотки, ударили тревогу, а вас чуть не произвели в атаманы разбойников, ей-богу, правда!

— Теперь видите, Онисим Сергеич, каково мое положение?

— Плохо, нечего сказать.

— Не стану передавать вам тех оскорблений, какими наделил меня Пустовцев, пусть умрут они в душе моей. Богом свидетельствуюсь, что я получил их незаслуженно! Вина моя лишь в том, что с некоторого времени я зорко слежу за всеми поступками этого негодяя, что я мешаю ему запутывать вашу дочь в сети, которых вы не видите или видеть не хотите.

— Э, да когда мне!

— Ах, Онисим Сергеич! Не вам бы это говорить, не мне бы слышать! Может ли отец извиняться в таких важных случаях недосугом?

— А не может, ей-богу, не может! Да вы, Владимир Петрович, хорошенько, хорошенько меня — старого дурака!

— Отношения Пустовцева к вашей дочери слишком… наглядны: они шепчутся вдали от вас и от всех; они на публичных гуляньях ходят рука об руку.

— Ну, да, да! В столицах это нипочем, а провинции нельзя — это точно.

— Они пересылают друг другу заметки в книгах.

— Фу, ты пропасть! В книгах — прошу покорно! Как нынче молодежь-то ухитрилась! Ну, догадайся ж тут!

Почти оскорбленный простодушным и холодным тоном, каким произнесены были эти слова, Софьин замолчал и в душе его на одну минуту родилась мысль: уж жалеть ли ему этого старика, который так легко принимает резкие его заметки? Уж щадить ли ему девушку, которая сознательно шутит и играет стыдом и мнением света?

— Продолжайте, продолжайте, Владимир Петрович, что ж вы остановились? Пожалуйста, продолжайте, — говорил Небеда, не поднимая головы.

— Мне кажется, что вы шутите, Онисим Сергеевич.

— Ах, батюшка! Да как у вас язык повернулся сказать это? Шутите, — хороша шутка! Дело тут идет о моей дочери; пылкость-то ваша убьет и Машу, и меня — старика! Нет; тут не до шутки! Тут, батюшка, кровь говорит!

— Холодно, однако ж, она говорит у вас.

— Да что ж мне на стену что ль лезть? Ведь я знаю, с кем имею дело! Не с вертопрахом, не с болтуном каким-нибудь, а с человеком умным и солидным...

— Который, однако ж, — продолжил Софьин, — и при качествах, вами ему приписываемых, все-таки может быть рабом предрассудков и обычаев света.

— Дурацкого! — крякнул Небеда. — А умные люди никогда не бывают рабами дураков — вот что!

Софьин улыбнулся.

— Вот так бы я давно! — сказал Небеда, подметив эту улыбку. — Полноте ж! Дайте мне, старику, руку: вы не будете щетиниться, как зверь, а поступите в этом скверном деле как человек благородный и рассудительный. Владимир Петрович! В ваших руках честь и имя девушки; от вас зависит мое спокойствие, жизнь моя! Пощадите ж хоть меня-то на старости лет!

И опять засветилось задушевное чувство в глазах этого оригинала.

— Вот же вам рука моя, Онисим Сергеич! Я не огорчу вас ничем, хоть это дорого, ой, дорого мне будет стоить!

— Пустяки! я все улажу; будьте благонадежны. Прощайте ж, пора мне. Жена еще велела заехать в кондитерскую... там какой-то рецепт взять... для пирожного, что ли. Приезжайте ж к нам!

Долго стоял на одном месте и глядел вслед уже пропавшего гостя Софьин. Чтó было на душе его — известно Богу одному.

В прихожей послышался голос Племянничкова. Софьин сел в кресло.

— Являюсь по приказу вашему, дяденька, — сказал Племянничков, устанавливая в угол толстую палку.

— Благодарю за аккуратность, — с улыбкой отвечал Софьин.

— Ну-с, так как же-с? — спрашивал Племянничков, уседшись в кресло и складывая руки на груди.

— Все обстоит благополучно.

— Ой, ли? Ну и хорошо. Где же?

— Что такое?

— Да полно нам в загадки-то играть! Теперь, как видите, еще рано; а уж весь город трубит о

вчерашнем происшествии.

— Весь город? А позвольте узнать, кто ж известил его об этом?

— Странный вопрос! Вы ударили в колокол и хотите, чтоб никто того не слышал.

— Мой колокол, Федор Степаныч, был без языка, и звонить было нечем. Желалось бы знать, кто взял на себя обязанность быть языком?

— Да хоть бы я!

— Вы не были к этому уполномочены, точно так же, как и вчера не были уполномочены к тому, чтоб от моего имени говорить грубости Пустовцеву.

— Что это значит, Владимир Петрович?

— Ничего особенного; только вы разыграли роль того услужливого дурака, который согнал муху со лба друга увесистым булыжником.

— То есть «услужливый дурак опаснее врага»?

— Я не говорю этого.

— А подразумеваю?

— Да полноте! Поговорим хладнокровней. Известное дело, против моего ожидания, приняло совсем другой оборот. Хоть по вашим словам, и весь город трубит о вчерашнем происшествии, и конечно, ждет от нас интересного спектакля; но на этот раз я не намерен потешать его праздного любопытства, я решительно объявляю вам, что презираю Пустовцева и отказываюсь дать ему почувствовать все неприличие выходки…

— Чинно и учтиво! — с едкой иронией сказал Племянничков. — Это значит в переводе: мы струсили.

— Федор Степаныч!.. — вскрикнул Софьин, вскочив с кресла.

— Что прикажете? — спокойно отвечал Племянничков, не переменив положения и смотря прямо в глаза Софьину.

— Прошу меня избавить от подобных выводов!

— Извольте. А как прикажете избавиться от насмешек, которыми осыплют и вас, и меня, имеющего честь пользоваться титлом ближайшего вашего приятеля?

— Очень легко. Смейтесь надо мной вместе с другими, только, пожалуйста, за глаза.

— Нет-с, Владимир Петрович, — серьезно сказал Племянничков, медленно поднимаясь с кресла, — не ожидал я от вас этого! Столько времени я знал вас как человека… ну, да что толковать!..

И взяв палку, не подав даже руки Софьину, Племянничков затянул вполголоса: «Вот развалины те» — и вышел.

Так началась казнь света за презрение к его предрассудкам и обычаям! Конечно, у Софьина

стало бы духу пропустить мимо ушей дерзкую речь ветреника, но ведь и все-то о́соби, из которых слагается общественное целое, малым чем основательней и разумней этого болтуна...

Быстро пошел Софьин к себе в спальню, твердой рукой отпер щегольской ящик, вынул оттуда богатые пистолеты, осмотрел курки, зарядил один из них и с воспламененным от гнева лицом бросился на широкий диван. Закинув голову, он закрыл глаза, держа в руке заряженный пистолет.

— Сотворите милостинку, Христа ради! — послышалось у окна, выходившего на двор.

Софьин бешено вскочил с дивана, схватил медные деньги, валявшиеся на столе, и, отворив окно, швырнул их нищему.

— Эх, батюшка барин! Зачем так бросать добро Божие? Иное место бросишь так, что и не подберешь опосля, да и Господь спросит: зачем ты, мол, разбрасывал, что Я тебе дал по милости Моей?

Подобрав деньги, нищий удалился медленно, крестясь и приговаривая: «Продли Царица Небесная жизнь твою; пошли тебе Господи душеньки твоей спасенья...».

Софьин стоял, как оглушенный. Это случайное... да полно, случайное ли оно? Не виден ли тут перст Божий? Мы привыкли все приписывать случаю, детски удовлетворяясь бессмысленными объяснениями многих, непостижимых уму нашему встреч в нашей жизни, и замечательно, что чем выше становится человек в так называемом образовании, тем охотнее хватается он за это бестолковое объяснение. А попробуйте-ка убедить в случайности какого-нибудь явления ребенка или человека простого, оба они вытаращат на вас глаза и ровно ничего не поймут из ваших слов. Скажите же им, что на все, дескать, воля Божия, что то или это сталось так потому, что Бог так устроил, они поймут вас тотчас и останутся покойны. Да, что утаено от премудрых и разумных, то открыто младенцам...

Но не будешь спорить с современными умниками; положим даже, что случай привел этого нищего под окно, довольно того, что мятежная душа Софьина потряслась как бы от электрического удара и почувствовала сначала какое-то непостижимое умиление, а потом твердость и решимость на борьбу с тем, что страшнее меча и пистолета. Он взглянул на икону — давнее благословение своего отца, и благословляющая рука Спасителя показалась ему грозящею десницей. В каком-то непонятном страхе он выпустил из рук пистолет и, не смея поднять долу опущенный взор, тихо опустился на диван и закрыл лицо руками.

— Барин! — сказал Никита, осторожно заглядывая в дверь.

— Что тебе?

— Там какой-то господин вас спрашивает.

— Проси и дай мне одеться.

— Bonjour, monsieur Чикарский! — сказал Софьин, выходя через несколько минут в залу. — Прошу садиться.

Чикарский петушком подскочил к Софьину, схватил его руку, сильно потряс ее и повалился в кресло с развязностью отчаянного джентльмена.

Это было творение, к которому как нельзя лучше шли слова Шекспира, что он в лучшие свои

минуты немного хуже человека, а в худшие немного лучше скота. Всегда разодетый шиком, всегда завитой, он на всевозможных вечерах и собраниях являлся именно тем, что называет Пушкин «везде встречаемым лицом, необходимейшим глупцом»; впрочем, он смело мог повторить о себе слова поэта:

Мы все учились понемногу и проч.

И действительно, это ничтожное во всем прочем создание блистало и даже «дивило свой муравейник». Он был недурен собой, болтал немного по-французски, умел «кстати, прислужиться», «подставить стул, поднять платок и моську вовремя погладить», мог в добрый час склеить bon mot, явиться третьим для преферанса с каким-нибудь лысым сиятельством и толстым превосходительством. Зато его и принимали всюду, и даже выговаривали, если он не являлся на условленные четверги и пятницы. Но дорого платил бедняк за такое внимание к нему общества. В холостых пирушках его заставляли пить разносортную смесь, щелкали по носу, всклочивали его прическу, обливали шампанским и выбирали мишенью для тупых и часто площадных острот. Никто не мог понять, откуда этот голяк доставал средства к жизни, даже довольно комфортабельной. Некоторые уверяли, что его снабжала всем одна почтенная вдова, старательно подкрашивавшая свои седые волосы и остановившая счет летам своим на тридцать шестом году. Впрочем, никто не выдавал этого за верное: но все знали, что отец Чикарского был управляющим у какого-то мелкопоместного польского пана, что, потеряв это место, он пустился в адвокатство — самое прибыльное ремесло в том краю, что импровизированный юрист, обманывая верителей своих, брал с них и правой и левой рукой во имя блюстителей правосудия и что потом, начав венгерским, кончил русским напитком, спился в кругу и пропал без вести. Такая родословная Чикарского не много давала ему во мнении света: но ведь свет не всегда бывает взыскателен и разборчив. Кади лишь его кумиру, а какая у тебя кадильница, с гербом ли графским или просто глиняная, — до этого ему дела нет. К этой характеристике гостя Софьина нужно еще прибавить то, что Чикарский был поляк и предурно говорил по-русски, тщеславясь, однако ж, этим перед членами своего муравейника.

— Чему я обязан удовольствием видеть вас у себя? — холодно и строго спросил Софьин.

— Ależ iaki pan ostry!

— Нельзя ли вам говорить со мной по-русски? Я плохо понимаю по-польски.

— Mówie prosto, przyezedłem do pana, żeby skonczyć interes mędzy panem a panem Pustowcewym.

— Ха, ха, ха, ха, ха! Так он вас выбрал в посредники?!

— No, i coż takiego? — сказал Чикарский, обидясь.

— А вот что: никак не думал я, чтоб Пустовцев, позволяющий себе быть дерзким, решился теперь пускаться в такие шутки.

— Coż tutay za żarty? Ja mówie, żeby pan przysłał swego sekundanta, — грозно произнес Чикарский.

— Послушайте, милостивый государь, дело между нами так серьезно; пост, занимаемый и мной и Пустовцевым, так немалозначителен, что вашему пленипотенту не мешало бы позаботиться приисканием другого, более стоящего посредника.

— Ого! — сказал Чикарский, вставая и выпрямляясь. — То пан мени обижает?

— Может быть.

— То пан не мыслит, że za to możesz sie przypłacic?

— Не мыслю.

— A gdy ia zapotrzebuie tego?

Do usług pańskich, aie napotém.

Jak mamę kocham, to strach, iaki pan ostry, — говорил Чикарский, расхаживая большими шагами. — Ale coż ia powiem panu Pustowcowi?

— Перескажите, что я сейчас говорил вам, да кстати прибавьте, что по некоторым весьма уважительным, но не зависящим от меня причинам драться с ним не стану. Понимаете?

— Гм, добрже. No, i iakże pan myslisz ze mna? — сказал Чикарский, подбоченясь, в полном убеждении, что Софьин уже струсил.

— С паном? Bardzo chętnie!

— Ale na czèm?

— Na kartofliach.

— Prosze nie żartować! — грозно воскликнул Чикарский, приняв воинственную позу и откинув назад голову.

— А я вам вот что скажу: если вы не уберетесь отсюда подобру-поздорову, то я выкину вас в окошко.

— Со?

— В другой раз я не люблю повторять подобных вещей.

A iakże pan to możesz zrobić?

— А вот как, — и Софьин потянулся к колокольчику.

To niech że pan się nie fatyguie… Ależ iaki pan ostry! Do widzenia!

— Do miłego.

Чикарский вышел, оставив Софьина в положении человека, нечаянно ступившего обеими ногами в лужу у самого подъезда к дому, где он располагал щегольнуть изрядным костюмом и отлично вылакированными сапогами.

Но шутки в сторону, а дело Софьина плохо, очень плохо. Взгляните, вон неподалеку от его квартиры Чикарский с сильными жестами рассказывает что-то двум попавшимся господам, которых сам Грибоедов не нашелся, как лучше определять, назвав их только надстрочными буквами. Чикарский говорит, что Софьин «барзо перетрусился», что он — Чикарский — «настрашил его добрже», когда за Пустовцева вызвал его даже «сам-на-сам», что он чуть не валялся у него в ногах, «найнизше» прося защиты и ходатайства перед «паном Пустовцевым», и что он почитает себя обязанным уладить этот «инте́рес як найдокладней», для того что

Софьин «пршизвоитый чло́век».

Надстрочные господа выслушали болтовню Чикарского с какою-то неполной доверчивостью и усмешками. Расставшись с ним, они пошли разными дорогами, и вот один из них в конце, а другой на самой средине избранных ими улиц пустились в рассказы, видимо изумлявшие их слушателей.

И пошло имя бедного Софьина гулять по городу, обставленное чудовищными сплетнями…

Глава девятая

Да и поднялась же суматоха между жителями богоспасаемого града! Образовались партии: но все они согласны были в том, что Софьин более или менее виноват. Самые миролюбивые и от роду не застрелившие воробья поднялись на дыбы, обвиняя Софьина в нарушения законов, так называемой чести. Хотя и все считали Чикарского ничтожным болтуном: но на этот раз выслушивали его охотно, досадуя лишь на то, что пан Чикарский крепко противоречил в своих показаниях и одному говорил то, другому иное. Племянничков тоже много вредил репутации давнишнего своего приятеля, принимая, где случалось, его сторону и защищая весьма слабо, — обстоятельство, вряд ли не опаснейшее всякой лжи и открытой клеветы. Дамы, почти все без исключения, приняли сторону Пустовцева, особенно те, которые любили в стихах воззвания к луне и мечте, а в прозе пылали запретною страстью к Правдиным и Печориным. Сам его превосходительство изволил найти, что Софьину, следует просить извинения у благородного своего противника и при свидании с Софьиным, изложив красноречиво превосходительные свои обязанности и напомнив ему в серьезном тоне о требованиях чести, изъявил свое неудовольствие; ее превосходительство, страстная поклонница *Героя нашего времени*, решительно объявила, что Софьин — человек, не стоящий внимания, и что дело его не может обойтись без крови, вследствие чего тогда же отдала приказ не принимать Софьина.

Пустовцев торжествовал.

Состоя из одного лишь приличия членом Клуба, учрежденного в Дворянском Собрании стараниями Клюкенгута, который всеми силами и мерами хотел оживить мертвенный остов губернского народонаселения, Софьин почти никогда не бывал в оном. Напрасно неизменные клубисты резонировали перед ним, доказывая, что Клуб создан не для карточной лишь игры, а что там легко найти пищу для ума и сердца, перечитывая, например, газеты и журналы, Софьин не желал являться в Клуб за такою пищей, и только аккуратный платеж, положенный с каждого Члена, не позволял Старшинам вычеркнуть его из списков.

Но в один ближайший вечер, после известного происшествия, Старшины, Члены и Гости Клуба с удивлением увидели Софьина в Клубской зале. Сидевшие за картами привычные посетители подняли головы и переглянулись между собой как-то значительно. У некоторых столов минуты уж через три послышались вопросы: чей ход? или кому сдавать? — доказательство, что появление Софьина не было что-либо обыкновенное, а развлекло внимание даже записных поклонников ломбера, ералаши и преферанса — этой «однообразной семьи скуки и безделья». Зато минут через пять все уже сидело в прежнем положении, и ничто не могло пробудить замкнутую в себе пассию людей положительных.

Софьин подошел к одному из столов, вокруг которого сидело известное число особ, более ему знакомых. Он протянул руку тому из них, который, раскинув карты, сидел лишь в созерцательном положении; этот с своей стороны сделал то же и, несмотря на известную всем привычку жать чужую руку до синих пятен и трясти ее без милосердия, прикоснулся к руке Софьина, точно к раскаленному железу. Другие же господа, сидевшие за тем же столом, даже

не подняли глаз, как бы, не замечая того, к кому не так давно наперерыв бежали чуть не с распростертыми объятиями. Софьин, постояв немного около играющих, улыбнулся и медленно отошел от стола.

— Бессовестный! — сказал, ставя ремиз, господин, чрезвычайно похожий на майора Ковалева до отыскания потерянного им носа. — Как это он смел, явиться в общество людей благородных?

— Дерзость неслыханная! — подтвердил другой господин, собиравший карты.

— Надо сделать распоряжение об исключении его из Клуба, — заключил господин, похожий на майора Ковалева.

— Надо, непременно надо! — повторили все хором.

Софьин, разумеется, не слышал такого остракизма. Он в эту пору вел разговор с Трухтубаровым, тем самым, что рассуждал о поэтах-то и носил Владимира в петлице. Разговор происходил близ другого карточного стола. Сдача следующей игры отложена до окончания разговора; играющие сидят в разных положениях — кто облокотясь на стол, кто повалясь на покойном канапе.

— Да расскажите, пожалуйста, — спрашивал Трухтубаров, — как это было?

— К чему такое любопытство? — отвечал Софьин с легкой улыбкой.

— Помилуйте, как к чему? Толков такая пропасть, что, право, не знаешь, чему и верить.

— Чем больше, тем лучше. Каждый может выбрать себе любой по своему вкусу.

— Но нам бы хотелось от вас слышать, от вас самих, — сказал господин язвительного свойства.

— Напрасно.

— Почему же?

— Хоть бы потому, что слушатели мои весьма естественно должны предположить, что в этом деле я не могу быть беспристрастным рассказчиком.

— А очень любопытно было бы послушать, как бы повернули вы в свою пользу дело, которое, по убеждению всех, от начала до конца говорит против вас.

— Для этого у меня есть один способ.

— Какой же это-с?

— Молчание.

— Знак согласия?

— Пожалуй, хоть и так.

— Но понимаете ли вы, с чем?

— С тем, что вы, господа, оставив важное дело, занимаетесь пустяками, — с улыбкой сказал

Софьин. — Не желаю мешать вам, — прибавил он, медленно отхода от столика.

— Какой дерзкий! — заметил Трухтубаров, глядя вслед Софьину.

— А знаете ли что, — сказал господин язвительного свойства, приподнимаясь на канапе, на котором он лежал почти врастяжку, — не проучить ли мне этого наглеца?

— И, полноте! — отвечал господин, смахивающий на Ноздревского зятя.

— Нет, в самом деле, что ж это такое? Какой-нибудь там… смеет говорить нам в глаза такие дерзости, — продолжал господин язвительного свойства, более и более приходя в азарт.

— Да что ж дерзкого в его словах? — возразил господин, смахивающий на Ноздревского зятя.

— Вам хоть плюй в глаза, все Божья роса!

— Ну, не знаю, Александр Абрамыч; до сих пор мне не плевали в глаза, и потому я не могу судить, точно ли плевки имеют сходство с Божьей росой, а вот вас так можно спросить: какого вкуса тумаки, которыми недавно накормили вас у Дерабальского в ресторации армейские офицеры.

— Полноте, полноте, господа! — перебил Трухтубаров. — Благородным людям стыдно считаться тумаками и плевками. Что кому за дело, что кума с кумом сидела? Предлагаю вам средства к примирению; первое — не обращать никакого внимания на эту сволочь — Софьина, второе — продолжать пульку и третье… эй, послушай! — крикнул он проходившему официанту, — бутылку шампанского! Расходы, однако ж, пополам, господа!

Такие действительные меры примирения очень понравились входившим уже в азарт игрокам, и они стали продолжать полезное занятие в мире, ладу и согласии. Благородные люди!..

— А, мусье Софьин! — кричал Ермил Тихоныч Ерихонский, привилегированный весельчак и остряк города В., — вас ли я вижу?

— Меня-с.

— А я ведь полагал, что вы убиты.

Гости Клуба, до которых долетели эти слова привилегированного остряка, одни отошли подальше, а другие, сидевшие у ближайших столиков, уткнули носы в карты и подсмеивались исподлобья. Софьин все это видел; лицо его покрылось багровыми пятнами справедливого негодования; он чуть было не пустил подсвечником в голову остряка: но эта вспышка продолжалась лишь несколько секунд. Он снова принял заранее рассчитанный тон равнодушия и сказал с спокойной улыбкой:

— Вы, конечно, плакали б тогда по мне!

— Плакал бы? Мало того, что плакал бы; стихи написал бы на смерть вашу.

— Видите, сколько хлопот наделала бы вам смерть моя! Безбожно же было бы с моей стороны доводить вас до того, к чему вы так мало привыкли.

Но довольный своим остроумием, Ерихонский не счел нужным продолжать разговор с Софьиным и, сделав ногою какое-то мудреное па, отошел прочь.

— Мое глубочайшее почтение-с! — сказал Созонт Евстафьевич Тошный, который между прочими отличительными качествами имел еще одно: непобедимую охоту давать советы и принимать, по его словам, во всяком смертном искреннее участие.

— Здравствуйте, Созонт Евстафьевич, — отвечал Софьин, подавая руку, которую Тошный пожал обеими крепко-накрепко.

— Как ваше здоровье?

— Как видите, здоров.

— Ну, не говорите! Вы страх как переменились.

— Будто?

— Могу вас уверить.

— Однако ж я не чувствую этого.

— Ну, не говорите! Вы, извините, точно из гроба подняты.

— Дурно ночь спал, да и после обеда не успел отдохнуть.

— Ну, не говорите. Вас мучит душевное беспокойство, этакая… понимаете, болезнь моральная. Уж я знаю-с.

— Если знаете, спорить не стану и почитаю себя обязанным благодарить вас за такое глубокое внимание ко мне.

— Надо быть твердым, Владимир Петрович, надо быть твердым; в жизни человеческой мало ли что случается, — да-с.

— Очень хорошо это знаю.

— Ну, не говорите! Иное даже трудно и предвидеть. Пример недалеко. Предвидели ли вы такую неприятность, какая произошла между вами и Пустовцевым? А вот же произошла. Но против распоряжения судеб нельзя спорить — да-с. Надобно вооружиться великодушием и перенесением ударов несчастия.

— Да с чего же вы взяли, что я унываю?

— Оно и то сказать, есть от чего и унынию предаться, есть от чего. Это дело… дело… не такого сорта.

— Однако ж позвольте вам сказать, что вы на этот раз ошиблись.

— Ну, не говорите. Я ошибиться не могу, уверяю вас в этом. Нет-с, батенька, поживите-ка с мое, так и будете читать людей, как по писаному.

— Поздравляю вас с такой опытностью.

— Да-с, это уж так! Однако знаете ли что? Отойдем-ка к сторонке: я хочу поговорить с вами по-дружески.

И подхватив Софьина под руку, Тошный потащил его в газетную комнату, где также встретили Софьина неприязненные взгляды и двусмысленные улыбки.

— Вот, видите ли, Владимир Петрович, — заговорил Тошный, расставив ноги и держа его за пуговицу сюртука, — дело ваше с Пустовцевым бросило на вас, так сказать, тень. Тут надо теперь умом поработать, да-с, крючок поддеть, на удочку, то есть, поймать, чтоб он, знаете, ни туда, ни сюда, дуэль ему этакую задать… по-нашенски, понимаете?.. В делах-то он, я вам скажу, простоват и крайне неосторожен, так вы… того… подстерегите какой-нибудь промах этакой, да и в пику ему, в пику через высшее начальство, чтоб он, понимаете, знал да ведал, чувствовал да разумел. Ей-ей, правда-с!

— К чему вы говорите мне это, Созонт Евстафьевич? — сказал Софьин с маленькой досадой.

— Да ведь нельзя ж этого дела так оставить!

— Послушайте, если я отказался стать с Пустовцевым на барьер при рукоплесканиях света, то не уж-то соглашусь даже подумать когда-нибудь, затеять против него борьбу постыдную, низкую, которая в тысячу раз хуже, чем из-за угла ножом пырнуть?

— Ну, не говорите! Я знал весьма многих почтенных мужей, которые этим средством лучше и чувствительнее всякой там дуэли давали себя знать своим противникам.

— И на здоровье им!

— По мне, вот это и есть настоящая дуэль! И опасности никакой, и имя честное не страдает.

Софьину становилось даже дурно от таких благоразумных советов. Чуть-чуть не послал он к черту своего собеседника и думал, как бы избавиться от него поприличней.

— Вы долго тут останетесь? — сказал он так, чтоб сказать что-нибудь.

— Нет-с, сейчас домой. Я думал встретить тут Авксентия Павловича; нужно посоветовать ему там кое-что; некстати осторожен, да и щекотлив немножко, вот не хуже вас. С правдою, батенька, теперь далеко не уедешь.

— А супруга ваша здорова?

— Покорнейше благодарю-с. Саша у меня все дома; скучает, бедненькая. Ведь без меня ни-ни, никого не примет; такая застенчивая и робкая. Да, кстати вот напомнили! Зачем же нас-то, нас-то вы забываете? Побойтесь Бога! Мы с женой люди простые, обычаев светских не знаем, амбицией не занимаемся; стало быть, какая нам нужда до того, что говорят там о вас разные другие? Мы всегда вам будем рады. — А, мое почтение, Авксентий Павлович! — вскричал Тошный, завидев господина в двойных очках и куцем парике, худо прикрывавшем остаток курчавившихся на затылке волос. — До свиданья, любезнейший Владимир Петрович! Извините!

Софьин готов был расцеловать этого господина, который так впору подоспел к нему на выручку и избавил от такого милого собеседника. Он остался на том же месте. Болезненно ныла растерзанная душа его; такие минуты уносят у человека десять лет жизни!..

В швейцарской раздался дружный хохот. С шумом ввалились в залу несколько молодых людей; впереди их выступал Племянничков с смеющимся лицом и с самыми гулливыми манерами. Вся эта ватага направилась к комнате, где был Софьин. Шаг через порог — и веселая физиономия

Племянничкова сделалась серьезною и важною; он слегка поклонился и круто поворотил назад. Софьин вздохнул глубоко-глубоко… Медленно присел он к столу, заваленному газетами, еще медленней протянул руку и машинально захватил вместе Constitutionel и «Русский инвалид». Пробежав глазами первый, он продолжал читать последний и, казалось, остановил особенное внимание на известии об отъезжающих.

Так прошло более часа, и никто не подошел к Софьину, никто не сказал ему даже официального привета. Всякий, заглянув в газетную, повертывался и уходил прочь. В самой зале как будто пролетел тихий ангел…

Вдруг в той же зале послышался громкий голос Небеды: «Где? не может быть!», и в ту же минуту Онисим Сергеевич стал лицом к лицу с Софьиным.

— Что вы тут делаете? — сказал Небеда.

— Читаю.

— Читаю, — в Клуб ходят не за тем, чтоб читать, а время проводить приятно.

— Я и провожу его приятно.

— Хороша приятность! За книгами-то? Я только и читаю их, что на сон грядущий. Удивительное действие производит; что твой порошок сонный. Пойдемте-ка в залу!

— Я уж там был.

— Да что ж букою-то сидеть?

— У всякого своя манера, Онисим Сергеевич.

— Это не ваша манера, позвольте, наконец, сказать вам. Вы хандрите, вот и все! Да полно! Плюньте на всех и на вся. Я вам сказал, что все переверну, ну и переверну. Дайте лишь срок.

— Много хлопот будет, Онисим Сергеевич. Общественное мнение — не кукла, которую ребенок то одевает, то раздевает по произволу. Не в досаду вам, Онисим Сергеевич, скажу; тяжела жертва, которую я принес вашему спокойствию!..

— Что ж это? Вы раскаиваетесь?

— Это чувство мне недоступно. Раскаяние есть следствие необдуманности; а на что я решился раз, тому и быть так, что бы ни вышло из того. Если промахнусь, выбраню себя, приму это за урок на будущее время и дело с концом.

— Да что вас обидели тут, что ли?

— Нисколько. Все держали себя, как должно.

— Нет, видно, не как должно! Да вот я сейчас разузнаю.

И проворно повернувшись, Небеда исчез из газетной. Софьин вскочил, чтоб удержать его, даже крикнул ему вслед: но Небеда, не оборачиваясь, махнул головой с видом решительным и оставил Софьина посреди комнаты с протянутыми вперед руками.

Первым, на кого обрушился Небеда, был тот господин язвительного свойства, который

вызывался проучить Софьина. К несчастию своему, этот храбрец не поудержался и повторил несколько слов в духе прежней своей реплики. Небеда ринулся на него, как коршун на цыпленка, и в пух расщипал его, не стесняясь ни в выражениях, ни в громогласии. Досталось и Трухтубарову, и Ерихонскому, и Тошнину, досталось всем, кто имел неосторожность подойти в эту пору к кружку, образовавшемуся около Небеды. Голос его раздавался во всех соседних комнатах, и даже официанты высунули из буфетной свои осклабленные физиономии.

Софьин слышал все до единого слова. Бледный, встревоженный, он твердыми шагами вошел в залу и, взяв за руку Небеду, сказал окружавшей его толпе:

— Я очень сожалею, господа, что появление мое здесь сделалось поводом к раздору между вами. Уступаю всем безвозмездное право переценивать и бранить меня, сколько угодно: но об одном прошу — не обижайтесь горячим словом Онисима Сергеича, и еще — если станете судить меня, то забудьте одно имя, уважение к которому вы должны иметь все как люди благородные. Прощайте, господа; говорю, прощайте, а не до свидания!

И, пожав руку Небеды, Софьин шибко пошел вон из Клуба. Но в дверях чуть не столкнулся он с Пустовцевым: отступив друг от друга, они остановились на одно мгновение. Софьин посторонился, и Пустовцев, взбивая лохматые волосы, вошел в залу, небрежно переваливаясь с ноги на ногу.

И долго потом досужие языки теребили честь, имя и каждое слово Софьина, и долго еще служил он предметом насмешек и язвительных порицаний. Пульки окончательно расстроились, что также подало повод записным игрокам побранить Софьина за его неуместное появление.

А что же Софьин?.. О, не приведи Бог никого быть на его месте!.. Свет-инквизитор жесточе и изобретательней изверга Торквемады истерзал, измучил свою жертву!..

Вот уж более недели, как опущены шторы у окон квартиры Софьина; более недели, как никто не потревожил подъездного колокольчика, да и самого жильца не видать что-то нигде. Особы, которые имеют страшную охоту все выпытывать да выведывать, начали уже беспокоиться, и некоторые даже рисковали подсылать горничных и лакеев поразведать немножко, хоть бы и окольным путем, как, дескать, что и почему? Спрашивали, наконец, и Небеду, но и от него ничего не узнали: одних Онисим Сергеевич вовсе не удостоивал ответом, другие услышали от него только какое-то бормотанье под нос, а иным он просто говорил: «Убирайтесь, пожалуста!» — и только. Сам автор не знает, как доложить читателям о том, что намерен предпринять Софьин. Одно только удалось нам подметить, что на другой день после клубской истории он посылал Никиту в Казначейство и потом через час на почту с каким-то пакетом. Встретившийся с Никитою повар Трухтубаровых, состоявший с ним в дружеских связях и родной брат Кици — предмета нежной страсти его, полюбопытствовал было узнать адрес на пакете, но Никита отвечал только: «Не утруждайтесь, Михайла Кирилыч, нельзя-с. Посылаем в американские земли, чтоб клубники оттуда прислали-с. Катерине Кириловне наше глубочайшее-с». Вот и все сведения о Софьине; больше не имеется. По уважению таковых обстоятельств, мы поневоле должны оставить на время Софьина и заняться другими действующими лицами нашего рассказа.

Онисим Сергеевич напрасно так много беспокоился о здоровье своей Marie. Доктор из своих лишь видов и для того, чтоб придать более ценности своему искусству, навязал пациентке своей опасную болезнь, а в сущности, это было не более как нервическое раздражение. Дня три Marie пролежала в постели, да и то лишь потому, что так предписал доктор и что ей не неприятно было видеть себя предметом особенной заботливости и предупредительного

ухаживанья всего семейства. К тому ж она смекнула, что болезнь эта очень кстати избавляла ее от разных домашних сцен, которые иначе неизбежно последовали бы по горячим следам известного происшествия. Под теплым одеялом, никем не беспокоимая, Marie могла свободно давать волю разным думам, соображениям и девическим мечтаниям. Самолюбие начинало напевать ей, что в сцене, происшедшей между Пустовцевым и Софьиным, она была лицо немаловажное, что ей даже позавидовать можно, потому что происшествия такого рода бывают лишь из-за таких, которые стоят далеко выше прочих смертных, что в Петербурге, как проговорилась однажды Соломонида Егоровна, почти всякий день случаются такие истории, нисколько, впрочем, не роняющие репутаций прекрасного пола, а напротив, дающие счастливицам громкое название львиц. Мало-помалу Marie начала считать себя героиней какого-то романа. Рассуждения и тайные внушения Пустовцева и тут делали свое дело: стоило только прибегнуть к памяти, чтоб найти ловкие софизмы, которыми Пустовцев умел убаюкивать крикливый голос совести и оправдывать всякую неосторожность своей жертвы, увлекая ее к чему-то более страшному. Дерзкие выходки его против человека, ничем его не оскорбившего, уступали в воображении Marie бойкой решимости и отваге его, которые всегда имеют особенную прелесть в глазах молодежи. Зоркая наблюдательность Софьина час от часу становилась противною самолюбию Marie, и под конец своей импровизированной болезни она сама уже готова была мстить докучливому аргусу злой насмешкой и кровавым упреком. Она находила в отваге своего поклонника решительное доказательство глубокой привязанности к себе и с нетерпением ожидала позволения выйти из своего лазарета, чтобы приступить к развязке происшествия, так взволновавшего ее ум юный и заставившего сильнее биться неопытное сердце. Одно беспокоило Marie — это гнев отца и недовольство его Пустовцевым на первых порах. Она не могла не слышать нареканий и угроз, которыми Онисим Сергеич щедро осыпал этого губернского льва; она не без трепета взглядывала на отца, когда он, суровый и задумчивый, входил в ее комнату, и ежеминутно ожидала рассказа о какой-либо более или менее неприятной встрече с Пустовцевым. Хоть ей и хорошо была известна нерешительность отца и любовь его к ней: но все-таки она опасалась его мгновенных вспышек, от которых значительно могла пострадать желаемая развязка героически начатого ею романа.

Что касается до Соломониды Егоровны, то она была слишком… как бы это сказать… тупа, что ли, чтоб понять толком что-нибудь в этом деле. Сначала оно ошеломило ее, но потом она попробовала пригнать это происшествие к своей любимой аристократической мерке, и вышло хорошо. Соломонида Егоровна даже рада была тому, что теперь будет говорить о ней весь город и что ее Marie может сделаться предметом зависти таких-то. Вообще, эта барыня готова была шлепнуться в грязь всем корпусом, лишь бы заставить говорить о себе публику. Она даже удвоила внимание к Marie и стала питать к ней что-то вроде уважения; крепко хотелось ей на первых порах упрекнуть дочь свою в какой-то неосторожности; но, поразмыслив на досуге, она никак не могла дать себе отчета, в чем состояла эта неосторожность, и поступила ли бы она сама иначе, если б паче чаяния в стары годы приключилась и с ней такая же притча. Так дело и осталось. Соломонида Егоровна благоразумно решила ждать развязки, предоставив себе удовольствие отпустить на этот случай несколько подготовленных и давно уже мучивших ее высокопарных сентенций.

Сказать по правде, так и Онисим-то Сергеевич порядочный колпак. Мы слышали разговор его с Софьиным — это странное сочетание истинного родительского чувства с непостижимой и непростительной беспечностью; были свидетелями горячего, но не совсем благоразумного заступничества его за Софьина пред посетителями Клуба: но на том ведь все и кончилось. Онисим Сергеич, пойманный врасплох таким неожиданным событием, напал на одну мысль — помешать дуэли, которая могла повредить репутации Marie, не подумав о том нисколько, что «злые языки страшнее пистолета» и что имя его дочери все-таки будет гулять в толпе, изорванное сплетнями, клеветой и насмешкой. Он безошибочно рассчитал на благородство и

твердость нравственных правил Софьина: но и тут опять не поразмыслил о той великой жертве, какую заставляет приносить человека, живущего в обществе и неизбежно подчиненного его драконовым законам. Достигнув желаемого, хоть и с ущербом чести и спокойствия неосторожно-снисходительного человека, Онисим Сергеич успокоился, а перебранка с клубскими почти убедила его в том, что главное с его стороны уже сделано, что осталось уж пустое — разбить враждебные Софьину мнения, засевшие по углам гостиных и в тиши кабинетов. Но одному только Небеде не могла быть понятною ошибка такого взгляда… Растратив весь запас энергии, Небеда пустился кстати и некстати декламировать апологии Софьину и, не видя возражений и горячих реплик, сам начал помаленьку ослаблять сильные места своих апологий, думая этим окончательно преклонить противников на сторону своего protegée, и кончил тем, что и сам сделался смешным, и Софьина с ног до головы облепил грязью. В первые дни, встречаясь с Пустовцевым, Небеда отворачивался от него и даже не хотел приподнимать шляпы на его вежливый поклон, — и опять попал в смешную ошибку, показав себя разобиженным ребенком. Не далее однако ж как через неделю, на четверге у Трухтубаровых, Небеда, по нарочитому старанию хозяина, уселся с Пустовцевым в страстно любимый им ералаш и к концу игры весело уже разговаривал с своим недругом; ибо Пустовцев, всегда ловкий и находчивый, умел и в этот раз подделаться к Небеде, то открывая ход с той карты, которая решительно наклоняла игру в пользу Онисима Сергеевича, то делая намеренные ошибки, от которых Небеда приходил в восторг и уверял всех и каждого, что он не узнает Валериана Ильича и что теперь он — Небеда — просто непобедим. После ужина, когда Онисим Сергеевич, под влиянием любимого им лафита, начал говорить о Софьине, расчетливый Пустовцев изъявил сожаление о происшедшем между ними так, кстати, обвинил себя, по-видимому, так искренно, что Небеда крепко пожал ему руку и просил забыть все и даже, если можно, помириться с Софьиным. Все видевшие и слышавшие это в один голос назвали Небеду простофилей, а Пустовцева — умным и ловким человеком.

В семействе своем Онисим Сергеич тоже сбился, как говорит Созонт Евстафьевич Тошный, «с пантелыку». Первый день он бродил по комнатам, будто потерянный, сердито поглядывал на всех, отбивая тем у всякого охоту заводить с ним разговор, и угрюмо принимал предупредительные услуги Соломониды Егоровны, которая, и без умысла, рассыпалась перед ним мелким бесом. Несколько раз подходил он к постели, на которой лежала Marie; физиономия его выражала при этом что-то решительное, но больная боязненно взглядывала на отца, и мгновенно исчезало с лица его грозное выражение; взяв руку любимой дочери, он наклонялся к ней и спрашивал тихим и мягким голосом: «Ну что, лучше ли тебе, Маша?» От радости не знал старик, что и делать, когда Marie вышла в первый раз после болезни в гостиную. Сказать по правде, и хороша же она была! Спальный чепчик так мило шел к этому немножко побледневшему личику; белый подроман, стянутый пунцовым кушаком, так обольстительно драпировал свободными складками ее чудесную фигурку; уютненькая ножка, шаловливо высвободившись из просторной туфли, так живописно рисовалась на голубом фоне мягкого ковра, что и не отцовское сердце растаяло бы, как лед среди лета. Зато ж и Онисим Сергеич был сам не свой: он садился возле дочери, обнимал ее и целовал так нежно, что Marie не могла удержаться от слез. Сам старик однажды чуть не расплакался и в каком-то опьянении задушевного восторга почти прокричал: «Выздоравливай, Маша, право, выздоравливай! Пир задам! Всех приглашу, кого только пожелаешь! Знать не хочу никого и ничего!»

Одна лишь Елена верней всех понимала сущность этого дела: видела и ошибки отца, и заблуждение матери, и опасное увлечение сестры. Попробовала было она как-то раз заикнуться об этом, но ее уняли, заметив, что это не ее дело; а маменька прибавила еще, что в ней действует зависть и что сердце у нее каменное… Нет ничего хуже положения старшей сестры, считающей себе пять или шесть единиц свыше двух десятков лет, когда она видит, что младшая сестра, которую не так давно она ставила в угол, уже поднялась на ноги и сделалась

предметом ухаживанья отборной молодежи и особенного внимания самих родителей! Ой, mesdames, не будьте слишком взыскательны! Не то и с вами то же станется, что с *Разборчивой Невестой* дедушки Крылова!..

Но угадайте, кто в семействе Небеды явился открытым и опасным противником Софьина?.. Жорженька. Вы улыбаетесь, читатель, что я ставлю порядочного и солидного человека на одну доску с мальчишкой, не заслуживающим вашего внимания: но позвольте, и крепкое дерево точит презренный червь, и камень-самород долбит ничтожная капля. Так и тут. Припомните только отношения Жорженьки к папеньке и маменьке, и обратно, — тогда вы непременно согласитесь, что он не совсем такой ничтожный противник, каким представляется с первого раза. Marie он терпеть не мог, равно как и она не любила Жоржа, насмешливо прозвав его «надеждою семейства»: но слово «дуэль» было ему знакомо со всеми подробностями. Не ребяческой голове было обсудить поступок Софьина, когда и седые головы преклонялись пред кумиром обще-векового предрассудка. Жорженька понял только, что дуэль не состоялась, а не состоялась потому, что Софьин струсил. В этом убеждении Жорженька, искусно подстрекаемый Пустовцевым, открыто и с ожесточением пошел против Софьина, действуя сначала на маменьку, а потом и на папеньку.

— Ах, Онисим, — говорила иногда Соломонида Егоровна, — что это за благородные побуждения у нашего Жоржа!

— Ото ж, бестия! — подтверждал Онисим Сергеевич, — в военную его, в военную! Там таких любят.

Надо знать, что Жорженька был на самой короткой ноге с Пустовцевым и с наслаждением вдыхал в себя зараженную атмосферу его житья-бытья. Пустовцеву надобен был поверенный, курьер между ним и Marie, и Жорженька как нельзя лучше исполнял обе эти должности. Крайне недовольна была этим Marie, потому что, поверив тайну свою мальчишке, она отдавала себя в его руки, — и Жорженька пользовался этим превосходно. Услуживая Пустовцеву из привязанности, он никогда не отказывался и оттого, чтоб угодить Marie, но зато же, при первой вспышке ее за какую-нибудь дерзость, он давал ей понять, что может повредить ей много, пересказав только отцу и матери о том, что ему известно, — и Marie поневоле должна была пасовать перед своим милым братцем. Впрочем, в этом отношении она действовала гораздо осмотрительней своего поклонника и ни разу не сделала ему никакого поручения по части романической; зато Пустовцев нисколько не стеснял себя перед Жоржем и, снабжая его разными безделками, а иногда и деньгами для секретных расходов, требовал от него всякий день подробного отчета в том, что делала Marie дома, кто у них был и что там говорилось. Жорженька переносил от Пустовцева к сестре своей книги с потаенными заметками, вести о том, где она будет и где надеется его встретить и разного рода сюрпризы, состоявшие по большой части в таких вещах, которые имели вид обыкновенного внимания и которые она весьма свободно показывала своим родителям, не находящим в этом ничего особенного. При всем том целей Пустовцева Жорженька не знал и не понимал; раз потому, что об этом и речи никогда не было, а с другой стороны он уже не один урок выслушал от Пустовцева о брачных связях, всегда бесстыдно им осмеиваемых. Ознакомленный приятелем своим с презренным волокитством и с презреннейшим Чикарским и сделавшись Казановой в миниатюре, Жорж и в настоящем поведении Пустовцева видел не более как несколько облагороженное и более трудное волокитство и усердно помогал ему в этом, тайно радуясь унижению и посрамлению гордой и ненавистной ему сестры.

Бедный, бедный Софьин! Кому ты принес великую жертву благородного, но тяжкого самоотвержения!..

Прошел и месяц, и два месяца, а Софьина все не было видно. Он даже бросил и служебные занятия, извиняясь какой-то болезнью, за пятьдесят целковых удачно выдуманною знакомым ему врачом. Только некоторые видели его гуляющим в ясные ночи: но никому не удалось сказать ему ни полслова, потому что Софьин всегда выбирал для своих прогулок менее людные улицы и всячески остерегался встречи с знакомыми. Такая игра в жмурки наскучила, наконец, достойным обывателям города В., и они единогласно решили, что Софьиным заниматься не стоит и потом положили обратиться к другим, более животрепещущим новостям и сплетням.

Раз только удалось как-то Небеде почти силой ворваться к Софьину, но на первом же шагу через порог, поперхнувшись от сигарочного дыма, который тучею ходил по комнатам, Онисим Сергеевич едва мог откашляться и тем совершенно испортил подготовленную речь, в которой, по его мнению, заключался убедительный нагоняй Софьину за его отшельничество. Вследствие сего Небеда ограничился лишь тем, что стал жаловаться на колотье в боку и бранить Никиту, что он форточек не отворяет; а холодный и чересчур серьезный вид Софьина отбил у Онисима Сергеича и последнюю охоту пускаться в откровенную речь. Попеняв Софьину сквозь зубы за то, что он забыл их, Небеда проворно ушел от него и дорогою долго бормотал что-то себе под нос, сильно размахивая на ходу руками.

Между тем вдруг, к общему изумлению всех обывателей города В., пронеслась весть, что Софьин оставляет службу, а чрез несколько времени последовало и подтверждение тому в Высочайших приказах. В одну, как говорится, прекрасную ночь затем соседи Софьина видели, как тронулись со двора два тяжело нагруженных экипажа, а на другой день в квартире Софьина толпились барышники, покупавшие разные вещи с вольного аукциона, состоявшего под непосредственным заведыванием грамотея Никиты.

Благочестивые и усердные посетители кладбищенской церкви в первую же затем субботу увидели в храме Божием множество новой утвари и подле каплицы Надежды Софьиной мертвецки пьяного сторожа, который с горькими слезами рассказывал всем, как его высокоблагородие барин изволили прощаться с супружницей и как они изволили наказывать ему беречь каплицу и не напиваться допьяна. «То-ись, другого такого барина не осталось — ей-богу! Бывало и палкой побьет из своих ручек, и больно побьет, коли что в неисправности, али там зашибешь крючок лишний, да уж за то и ублаготворит тебя во всем, ей-богу».

И еще несколько дней поговорил город о Софьине, потом замолк, и имя его изредка вспоминалось лишь в том семействе, которое, благосклонные мои читатели, одно вам осталось для описания и рассказа.

При сем честь имею доложить в историческом слоге, что Софьин выехал туда, где проживал его сирота-малютка. Пожелаем же, чтоб чувство родительское и ангельские ласки ребенка успокоили и излечили растерзанное сердце и озлобленную душу Софьина…

Глава десятая

Еще задолго до отъезда Софьина Небеды стали жить, что называется, открытым домом. Это случилось по настоянию Соломониды Егоровны, и больше по желанию Marie, которой с некоторого времени Онисим Сергеич не отказывал ни в чем. Превосходное помещение, отличный повар, хорошие (по губернскому) вина, проворная и предупредительная прислуга, всегда открытые столы с заманчивыми надеждами благородным образом залезть в карман ближнего — все это было сильной приманкой для людей положительных, которые понимают настоящее значение жизни. Молодежь ко всему этому имела еще и другие привычки. Взрослые дочери — всегда украшение, какого хотите дома. Пусть будет папенька барабан, а маменька бубен; пусть дочки будут и не красавицы, но лишь бы были молоды, свежи и мало-

мальски образованы, — охотники до ухаживанья за ними непременно найдутся. Пчела ж не всегда вьется вокруг роз и лилий; она садится и на бурьян, и на крапиву.

Онисим Сергеич своими дочерями мог угодить вкусу каждого. Правда, Елена не отличалась красотой, но она была не глупа, а после реформы, произведенной в семействе Небеды Пустовцевым, сделалась скромней и реже твердила о столице, чем много выигрывала в губернии перед теми, кто разделял с нею скучные антракты между чаепитием и улаживанием карточных партий. Не один из положительных посетителей Небеды отходил потом от Елены в полном очаровании от сведений, которыми она умела-таки порядком оглушать профанов, и, пощелкивая карточкой, поданной партнером, положительный посетитель повторял, усаживаясь за столик: «Да-с, это не того-с... не какая-нибудь... того-с... а мое почтение, ухо!» Предоставив сестре отличаться в делах, не подлежащих третейскому суду, Елена большую часть времени посвящала музыке и, быв достаточно приготовлена еще прежде, продолжала брать уроки у одного из лучших фортепьянистов. Постигнув колоссальное значение творений Бетховена и привязавшись к ним, она открыла неиссякаемый источник наслаждения, которым по капельке лишь дарят нас новейшие композиторы, обыкновенно переворачивающие тощенькую тему на тысячу ладов. Впрочем, жаждущие полек и мазурок оставались не совсем довольны ее игрой, ибо, точно, она не могла удовлетворять этих господ, у которых музыкальное чувство не в душе, а в ногах. Из вежливости однако ж и такие господа старались быть внимательными к игре Елены, да, впрочем, Онисим Сергеич остановил бы хоть кого, кто осмелился бы пикнуть во время исполнения какой-нибудь мудреной сонаты или длинного Бетховенского концерта. «Это ведь, милостивый государь мой, — говорил он подчас иному франту, — это ведь не полька-хлопушка, где вы прыгаете ногами по паркету да плетете языком турусы на колесах: тут дело душевное, — да-с!» И устанавливался франт смирно, сделав презрительную улыбку, которой, впрочем, никогда не замечал Небеда, державший в таких случаях голову ниже обыкновенного и походивший в эту пору на быка, который сбирается боднуть мимо проходящего своего однофамильца.

Но царицею всех этих вечеров, разумеется, была Marie. Полновластная владычица желаний своего отца, из милости лишь снисходившая к распоряжениям матери, она являлась гостям тогда, когда уже все бывали в полном собрании, и с сознанием своего достоинства выслушивала привычные удивления совершенствам, щедро ей приписываемым. Не находя ни в ком подобия с тем, чьи эксцентричные правила сделались нормою ее деятельности, она гордо принимала услуги молодых людей и самонадеянно отражала всякое заискиванье исключительного ее внимания. Не раз обиженный ее холодностью, а иногда и злой насмешкой, безбородый Адонис отходил от нее гневный и раздраженный: но стоило Marie бросить на него один приветливый взгляд, сказать полу-ласковое слово, и Адонис снова увивался вокруг очаровательницы, словно мотылек вокруг горящей свечки, поминутно рискуя потерять свои прозрачные крылышки. Marie это страх как забавляло: но не безопасна такая забава! Мимо другого прочего, она быстро развивает и до пресыщения упитывает кокетство — этот жалкий порок женщины, невинный в начале и отвратительный впоследствии. Когда, однако ж, наскучивали Marie приторные любезности вздыхателей, она подхватывала под руку Племянничкова, и громкий хохот этого повесы отбивал охоту у всякого продолжать свои любезности. Не принадлежа к числу страстных поклонников Marie и высказав ей это со всей откровенностью, Племянничков тем самым дал ей право смотреть на него как на безопаснейшего посетителя их дома, с которым можно говорить о чем угодно и от которого услышишь много интересного. Но с появлением Пустовцева кончалось и искательство обожателей Marie, и минутное торжество Племянничкова. Первые расходились по углам и, избрав наблюдательную позицию, шпыняли втихомолку ненавистного им соперника, а Племянничков, затянув что-нибудь вроде: «Я в пустыню удаляюсь», спокойно раскланивался с Пустовцевым и подходил к Елене разрешать вопрос, что такое генерал-бас.

Отношения Пустовцева к Marie день ото дня становились теснее и час от часу неразгаданнее. Городские вестовщики и вестовщицы терялись в догадках; одни говорили, что Пустовцев ждет только благословения от своих родителей, чтоб покончить все законным порядком; другие уверяли, что при его убеждениях и правилах это дело вовсе несбыточное. Одни толковали, что он страстно влюблен в Marie, другие спорили против этого и утверждали, чуть ли не основательно, что такие эгоисты, как Пустовцев, ничего не могут любить, кроме себя, но все согласны были в том, что отношения этих молодых людей были в высшей степени скандалезны и что ослепление Онисима Сергеича и Соломониды Егоровны насчет этого было более чем странно, и втихомолку пророчили беспечным родителям нежданные огорчения и какой-то очень неприятный сюрприз.

За всем тем Пустовцев в семействе Небеды был как свой. Жорженька не иначе называл его как братом; сначала титул этот как-то странно бросался всем в глаза, а потом к нему попривыкли и стали придавать такому названию не столько родственное, сколько приятельское значение, тем более что Жорженька давно уже был с Пустовцевым на *ты*. Пустовцев являлся к Небедам во всякое время — утром, в полдень, вечером, даже ночью, если только замечал в окнах залы и гостиной приличное освещение, и всегда был, принимаем попросту, без церемоний, как друг дома. Он сам рассказывал о толках, ходивших по городу о нем и о Marie, ловко осмеивая всякую догадку вестовщиков; в иное время он полунамеками обнаруживал как будто серьезные отношения свои к Marie и благородную их цель; в другое безжалостно разбивал робко высказываемые Соломонидой Егоровной надежды и виды на него как на будущего члена их семейства, а между тем искусно возбуждал в матери охоту удвоить и утроить старания привязать его теснее к дочери. Такими средствами он совершенно ослабил бдительность родителей и действовал, как ему было угодно.

Но не то внушал он самой Marie. Конечно, она не слышала от него даже одного слова о законной развязке далеко зашедшей интриги; не рассыпался он перед нею и в страстных уверениях любви и привязанности. Пустовцев очень хорошо знал, что эти сказки нравятся только сначала, но что всякая благоразумная и порядочная девушка потом с презрительной усмешкой будет смотреть на своего обожателя, как скоро он не переменит мольного тона своей страсти на серьезный дур и вместо мужского баса или тенора будет продолжать пищать серенады бабьим дискантом. Женщина любит только мужчину, то есть силу, твердость и самостоятельность, в чем бы они ни выражались, хоть бы даже в злодействе, и потому-то нет ничего мудреного, если иногда седоголовый муж больше нравится женщине, чем чернокудрявый, гладколицый и женоподобный юноша. Да, библейское выражение *смири ю* имеет глубокое психологическое значение...

Не подумайте, чтоб от взора Marie могла укрыться эксцентричность правил и поведения Пустовцева. Ее свежее, еще неиспорченное чувство на первый раз глубоко было им взволновано, и если читатели помнят ответы ее Пустовцеву на музыкальном вечере Онисима Сергеевича, то легко поймут причину того. Но мало-помалу обольстительные софизмы Пустовцева разрушили святые, но нетвердые убеждения юной души, а нравственная сила и верность однажды принятому направлению довершили победу его над слабой и неопытной девушкой. Она неожиданно увидела его полным властелином своей души, и дальнейшие действия ее стали похожи на те непроизвольные движения, какие мы видим в магнетизируемом под неотразимо-властной рукой опытного магнетизера... Да, она любила его, но любила как лицо страдательное, а не действующее без уничтожения своей особенности, следовательно, и вся будущая участь ее и ожидаемое счастье зависели исключительно от того человека, владычеству которого подпала она всем существом своим. Есть ли тут возможность, спрашиваю вас, читатели, того взаимного блаженства, где личность одного не поглощается личностью другого, но где нераздельно, но и неслиянно пользуются супруги эдемским

благословением Отца Небесного?.. Угадываю ответ ваш и, к сожалению, вижу, что вы, догадливые мои читатели, прежде автора разрешаете тот вопрос, который должен объясниться пред вами последующими событиями.

— Давно ли ты видела, ma chère, Валериана? — спрашивала однажды Софья Кузьминишна Marie, уводя ее в безлюдный угол залы.

— Валериана?! — с улыбкой заметила Marie. — Кто это такой — Валериан?

Софья Кузьминишна поздно увидела, что проболтнулась: но привычка, как хотите, великое дело! Она, бедненькая, еще не могла так скоро отвыкнуть от фамилиарно-дружеского названия, которое не так давно давала она «другу дома».

— Ах, ma chère, ты меня ужасно конфузишь, — отвечала она, опуская глаза по-институтски.

— Не конфузьтесь; мы свои, — сказала Marie с едкой усмешкой, сквозь которую проглядывала маленькая ревность. — Так что же вам угодно знать, пожалуй, хоть и о Валериане?

— Мне только хотелось узнать, ma chère, давно ли ты его видела?

— Видела сегодня, видела вчера и еще надеюсь увидеть нынешний день, — смеясь, отвечала Marie.

— Да удобно ли вам тут видеться-то?

— Очень удобно.

— Ну, да все ж таки.

— Нас никто не стесняет.

— Видеть могут, ma chère.

— Сколько кому угодно.

— Ну, а maman?

— О, она очень добра.

— А папа?

— Он тоже очень хорошо понимает, что в обращении моем с Пустовцевым или, по-вашему, с Валерианом, нет ничего неприличного.

— Однако ж, Marie, — и Софья Кузьминишна крепко поцеловала ее в самые губы, — будешь ли ты откровенна со мной?

— Почему же, — что вам угодно?

— Ты влюблена в Пустовцева?

— А вы как думаете?

— Не без того, как вижу.

— Вот и прекрасно! К чему ж вам после этого мой ответ?

— Положим; ну, а он?

— А как, по вашему мнению?

— Кажется, и он к тебе неравнодушен.

— И превосходно! Значит, обе эти статьи вам очень хорошо известны, и вы остаетесь покойны.

— Ах, Marie, я вижу, что ты не хочешь быть откровенной со мною.

— Вот уж я не хочу! Скажите, что вам угодно знать?

— Да ты не станешь отвечать мне.

— Разве я это доказала?

— Ну, если так, то скажи, какие ваши планы?

— Самые мудреные: он ничего, и я ничего, а время у нас проходит, как нельзя лучше.

— Однако ж всему бывает конец.

— Будет и этому конец; подождите и увидите.

— Ах, ma chère, дождусь ли я?

— Имейте терпение.

— Как бы хотелось мне увидеть тебя под венцом! — воскликнула Софья Кузминишна и потянулась поцеловать Marie.

— Ха, ха, ха, ха! Какие вы странные, Софья Кузьминишна! Будто только и счастья, что под венцом?

— Вот видишь, ma chère, как ты неоткровенна!

— Соглашаюсь; а вы будете откровенны?

— От всей моей души.

— Скажите ж мне: когда вы были счастливей — тогда ли, как ожидали венца; тогда ли, как стояли под венцом, или тогда, как вышли из-под венца?

— Ах, ma chère, во все три раза я была счастлива!

— Однако какой номер больше вам нравился?

— Разумеется, когда желания мои совершились.

— Стало быть, номер третий. Но, кажется, для полноты этого номера вы не так давно искали кого-то и чего-то другого.

Такой бесстыдный намек на соблазнительную интригу в устах девушки показывал уже крайнее

растление ее сердца: но чего нельзя ожидать от девиц, побывавшим в школе господ Пустовцевых!..

Софья Кузьминишна вспыхнула. Она, так великодушно и самоотверженно пожертвовавшая своим «другом дома», она увидела, что доблестей и подвига ее не ценят, как должно, а прямо в лицо бросают с грязью насмешки и презрения. Задыхаясь от злобы, Софья Кузьминишна никак не могла собраться с ответом.

— А я могу вас уверить, Софья Кузьминишна, — спокойно продолжала Marie, играя снятым с руки браслетом, — что вы несравненно были счастливей, ожидая венца.

— Что ж из этого? — злобно сказала мадам Клюкенгут.

— А вот что: я теперь, как вы сами же не раз мне говорили, счастлива, хоть не думаю о венце, — зачем же счастье верное менять на неверное? Зачем искать того, что уменьшает счастье? Ну, Софья Кузьминишна, скажите ж теперь, кто из нас откровенней?

Таковы почти всегда бывали разговоры Marie со всяким, кто затрагивал ее и кого, впрочем, удостаивала она своей доверенности. Другие барыни и подступить к ней не смели с подобными расспросами. Холодным и гордым обхождением с ними она умела держать их в приличном отдалении, и извещаемая Пустовцевым о сплетнях той или другой из обычных посетительниц их дома, она на всякий случай приготовляла для каждой из них неотразимое словцо, которое они инстинктивно предугадывали, по пословице, знает кошка чье сало съела, и потому сами избегали короткости с бесславимой ими Marie.

— Нуте-с, Валериан Ильич, — говорил, например, Трухтубаров, вставая от карточного столика и предоставляя партнерам рассчитывать в его пользу свои проигрыши, — как же ваши сердечные?

— А ваши карточные? — спрашивал его в свою очередь Пустовцев.

— Благодаря Бога, хороши.

— И мои недурны.

— Мы играем с осторожностью.

— А я так бью наверняка.

— О, да вы опасный человек!

— Не советую вам связываться со мной.

— Глядите, не обремизьтесь.

— Не хлопочите; я играю без приглашения.

— А скоро кончится ваша пулька?

— Как только сыграем то, что поставили.

— А потом?

— Если кому придется давать сдачи мелочью, то сыграемся направо, налево.

— Так-с. Но ведь игра может затянуться.

— Что ж такое, если это доставляет удовольствие играющим?

— А если кому из них наскучит?

— Может сказать прямо, тогда сквитаемся.

— А если вы останетесь в проигрыше?

— Не пойду к вам занимать капиталов благоразумия, — говорил Пустовцев, небрежно отходя от собеседника.

— Бритва! — говорил потом Трухтубаров, возвращаясь к столику для получения наличностей.

— А что-с Ловелас наш? — спрашивал один из игравших.

— Опасный человек! — отвечал Трухтубаров, укладывая выигрыш в бумажник.

— Удивляюсь ослеплению Онисима Сергеича!

— А вы думаете, он действует спроста? — прибавлял другой партнер.

— Да, конечно… — протяжно говорил Трухтубаров, — это действительно… есть признаки… но, однако ж…

— Да я вам скажу-с, это препродувная бестия! Он очень хорошо рассчитал, что Пустовцев партия хоть куда, и состояньишко есть, и на ходу человек.

— Представлен уж в надворные.

— Посмотрите, как ловко спровадил он Софьина-то! Как мастерски оплел он его! Отговорил от дуэли, чтоб не испортить дела. Уверяю вас, что этот старый хрыч — плут большой руки. В одно ухо влезет, в другое вылезет!

— Ну, уж вы слишком!..

— Нет, не слишком. Уж как хотите, а на правду черт!

— Да уж не спорьте, Семен Семеныч, — поддакивал черту на правду первый партнер. — Но, однако ж, какая подлость уронить честного человека из-за каких-нибудь там своих видов!

— На том свет стоит, Иван Игнатьевич, — говорил Трухтубаров.

— Уж как себе хотите, а я никогда не решился бы на такой пассаж.

— Это потому, что у вас нет дочки.

— И, слава Богу, — подхватил партнер, тот, что на правду-то черт. — А то, знаете, чудо, как приятно было бы видеть такие авантюры, какие проделывает меньшая-то с этим… тьфу!

— Что, правда, то правда, — подтверждал Трухтубаров. — Уму непостижимо, до чего дошла теперь молодежь, уму непостижимо!

— Да чего еще! — говорил все тот же черт на правду, — просто, обнимаются!

— Да не без того, я думаю, наедине-то, — прибавил с усмешкою первый партнер.

— Но, однако ж, какова беспечность-то родителей, какова беспечность-то! — говорил Трухтубаров, качая головой.

— Да все они в заговоре, все! — заключал господин тот, что черт на правду-то. — Я хоть сей час, сию минуту готов сказать самому…

— О чем это, господа, философствуете? — громко спрашивал подошедший в эту пору Небеда.

— Да вот-с, Онисим Сергевич, — отвечал черт-то на правду, — Семен Семеныч рассказывали о происшествии… того-с… происшествии, помните-с? с Голиковским?

— Насчет миллионов-то? А, будь оно проклято! Душа дрожит, — говорил Небеда, ниже наклоняя голову. — Я с тех пор никому не верю: сам всякий месяц поверяю все суммы, даже билеты пересматриваю…

— И прекрасно делаете-с! Осторожность, во всяком случае, не мешает.

— Да уж меня не учите этому! Не надуют, небось! Тертый калач!

Собеседники взглядывали друг на друга, улыбаясь весьма значительно, и расходились поразмяться маленько от долгого сиденья.

С некоторого времени Пустовцев реже стал появляться в доме Онисима Сергеича и когда-то когда зайдет туда, да и то на минутку. Отношения его к Marie становились день ото дня мудренее; не то, чтоб видна была холодность, не то, чтоб равнодушие: но будто какая-то тайна черной кошкой проскочила между молодыми людьми. Marie стала грустнее и чаще и долее оставалась в уединенной комнате, все думая о чем-то. Это опять не был припадок мечтательности, не была тоска, червем заползающая в душу и подгрызающая там все, чем живет юное сердце, — нет, это была какая-то дума, полная тревоги, сомнения и нерешительности. В иную пору Marie становилась весела до ребячества и пренаивно сердила сестру, фальшивым голосом подпевая ее игре и прыгая под какое-нибудь концертное allegro; в другое время от нее слова нельзя было добиться. Она как бы пугалась чего-то и, завидев на улице Пустовцева, торопливо уходила к себе, сказываясь больною. Соломонида Егоровна терялась в догадках; зато Онисим Сергеич разрешал коротко и ясно все эти капризы любимой им дочери.

— Ну, и что ж такое? — отвечал он однажды на беспокойные заметки жены. — Девка замуж хочет, вот и вся недолга!

— Да замечаешь ли ты, Онисим, как она худеет?..

— Эк тебе мерещится! Худеет — вовсе не худеет. На мои глаза, так еще полнеет, а уж против того и говорить нечего, что цвет лица у нее превосходный.

— То-то и пугает меня. В иную пору она вся горит как в огне; а иногда точно будто истомилась, устала, чуть на ногах держится.

— Так что ж из того?

— А то, Онисим, что это плохой признак.

Ой ли?

Je vous assure. Сестра Катишь тоже испытывала перед чахоткой.

— Типун бы тебе на язык! Катишь твоя умерла с досады, что женихов упустила.

— Да ведь и Пустовцев-то…

— А, ну тебя! Толкуй там по субботам!

И Онисим Сергеич уходил к себе в кабинет, досадуя, что крепколобая его барыня так плохо понимает его резоны.

Наступила весна, чудная, обворожительная весна.

В садах и лесах, одетых свежей, благоуханной зеленью, весело защебетали разноцветные пернатые певцы, воспевая любовь и свободу; в воздухе было что-то разнеживающее, теплое, упоительное. Мир Божий праздновал обновление свое, — и все живущее от человека до былинки сладко упивалось жизнью…

Ермил Тихоныч Ерихонский, неистощимый на выдумки, устроил пикник, амфитрионом которого вызвался быть сам своею персоною. С обязательной любезностью он объездил всех знакомых, разнообразя до высшей степени свои пригласительные фразы и заставляя иных помирать со смеху, а других, не столько понятливых, требовать у него объяснения вычурному приглашению. Командир квартировавшего в городе полка обещал прислать свою музыку, с уговором, однако ж, чтоб не поить музыкантов допьяна и особенно не подносить флейте, у которой в противном случае всегда портился амбушюр. Ермил Тихоныч дал слово во всем строго следовать предписаниям его высокоблагородия и в заключение просил его пригласить от себя лучших офицеров, которые, по выражению Ерихонского, «могли бы с честью шмыгнуть по паркетному полу, в удовольствие прекрасному полу». Такой восхитительный каламбур не совсем, однако ж, понравился его высокоблагородию; его высокоблагородие было до крайности раздражительно и чрезвычайно дорожило честью своего полка; потому-то его высокоблагородие с некоторою язвительностью изволило заметить, что выбор такого рода офицеров для него очень затруднителен, что сортировать таким образом можно только «штафирок», а что в полку его высокоблагородия все офицеры отличные танцоры и бонмотисты, но что, впрочем, он постарается привезти в собой самых лучших, «с тем что останетесь довольны», прибавил шутливо его высокоблагородие, потряхивая эполетами и пожимая на прощанье руку Ермила Тихоныча.

Пикник назначен был в нескольких верстах от города в одном благоприобретенном участке леса, принадлежавшем наследникам умершего советника губернского правления и носившем название Райские Двери. И точно, что за рай было это место! Широка наша родная Русь-матушка, но немного есть в ней таких чудных удолий. Узкой, но длинной дорогой, пролегающей между огородами, вы выезжаете во двор, примыкающий к опушке леса; до колен прячутся ноги коней ваших в густой, шелковистой мураве, и жаль давить эту ярко-зеленую мураву грубыми колесами вашего легкого экипажа. Вас не манит к себе красивый домик, главный фасад которого украшен фантастически уродливыми, собственно русского ордена, колоннами, выкрашенными голубоватой краской; вы бросаетесь с экипажа и бегом уходите в прохладную тень густого орешника и раскидистой липы. Вы с наслаждением бросаетесь на зеленый ковер, постланный перед вами во всю ширину леса доброй матерью-природой, которая тут обнимает, гладит, ласкает и заглядывает вам в очи изумрудной зеленью своих лесов. Но шаловливое и непосестное дитя, вы срываетесь с вашего мягкого ложа, мчитесь в глубину

прохладного леса и с бьющимся от наслаждения сердцем останавливаетесь при этом виде чуд чудных, див дивных. Вот перед вами прихотливо брошенная дорожка, которая узкой тесьмой своенравно вьется далее и далее и уходит Бог знает куда; она манит вас вперед, и в медленном ходе вы осматриваетесь вокруг, отводя рукою нависшие ветви, как бы загораживающие дорогу к заповедному сокровищу. Вот утлый мостик, перекинутый через овраг, прорытый весенними ручьями; он колеблется под вашими ногами; вы ступаете боязливо: но и боязнь эта — наслаждение! За мостиком вы вздыхаете полной грудью, бросаете невнимательный взгляд в пропасть, которую вы так храбро переступили, и идете далее. Вот полуразрушенная башня, остаток времен владычества турок; она, как ласточье гнездо, прильнула к гордой скале, и вы спускаетесь к ней осторожно, цепляясь за деревья, дружелюбно протягивающие к вам свои ветви. Вот вы уже среди развалин, покрывающих обувь вашу известковой пылью, — Боже, что за картина! Прямо под ногами у вас вьется и сердито воет поток, перебегающий по камням, оторвавшимся от соседних скал и непрошено упавшим в его ложе. Не глядите вниз, если вы боитесь кружения головы; смотрите лучше прямо: перед вами дикие скалы, с изумительной правильностью прорезаннные вдоль целыми веками; — читайте их — эти прорези-иероглифы природы. За скалами поле; сливаясь с небом, оно будит в душе вашей мысль о беспредельности, — и если в эти минуты не заблестит слеза в очах ваших, если, по крайней мере, сердце ваше не забьется до пресыщения сладким восторгом: то, извините, вы не человек в благородном значении сего слова, а только Иван Антонович Страбинских[228] или, еще хуже, рыжий Джон-Буль.

Но обзор кончен. Вы возвращаетесь, избрав по произволу тот или другой путь между деревьями; вы громко смеетесь, заметив, что заблудились, и испуганная птичка взлетает быстро, трепеща крылышками и сердито троля над вашей головой. Но вот вы вышли на простор и спешите в толпу, где ждут вас жалкие веселости, людьми выдуманные, где ждут вас радости, возбуждаемые трескотнею насильно вырываемых тонов из звенящей меди; а для возбуждения в вас восторга готова отравительная выжимка из виноградной лозы...

Пикник был уже в полном разгаре. Полковые музыканты, стоявшие на открытом воздухе, под окнами летнего домика, усердно исполняли свое дело. Набежавшие из соседней деревушки ребята цеплялись за изгороди и ухмылялись, выставив глупые рожи; некоторые из офицеров прогуливались по двору, обмахивая раскрасневшиеся лица фуляровыми платками; видно было по всему, что молодцы поработали на порядках ногами и всем корпусом. В домике раздавался шум и хохот.

Солнце уже садилось огромным шаром на краю небосклона, подернутого алым отливом вечерней зари. Группы гуляющих расхаживали по широкому двору; многие расположились со стаканами чаю у опушки леса на коврах, раскинутых по мягкой мураве. Тонкий дымок от сигар и офицерских трубок кокетливо пробирался между листьями орешника и исчезал в глубокой синеве неба.

Вдали от всех расхаживал Пустовцев. Он был мрачен, и какая-то беспокойная дума поминутно изменяла черты его бледного и исхудавшего лица. Гневные взоры, бросаемые им на всякого, кто решался близко подойти, удерживали в почтительном отдалении от него даже и таких людей, как Ерихонский. Нетерпеливые движения Пустовцева показывали ясно, что он ждал кого-то.

Вдруг он остановился, взглянул на окно домика, и лицо его зарделось. Сделав два-три поворота с какою-то напряженной медленностью, он тихими шагами пошел по тропинке, уходившей в глубину леса.

Через минуту на крыльце появилась Marie. Быстрые движения танцев облили ярким румянцем

пылающие ее щеки; коралловые губки были полуоткрыты и выказывали ровный ряд чистых, как снег, жемчужин. Она шаловливой рукой поправила волосы, проворно подхватила под руку подошедшую к ней одну из девиц и, спрыгнув вместе с нею с лестницы, помчалась в лес тою же тропинкой, которою пошел Пустовцев. Несколько минут слышен был их звучный хохот, потом все стихло, и менее чем через четверть часа mademoiselle Ольга выходила одна из леса, потеряв шаловливую свою подругу.

Онисим Сергеич, давно уже сидевший за ералашем, сильно горячился в эту минуту и чуть не бранил своего партнера, между рук упустившего случай дать большой шлем противной стороне. «В бабки бы вам играть! — кричал он. — В свайку, коли хотите! А то туда ж игроки называются, право!»

Соломонида Егоровна, очень хорошо знавшая характер Онисима Сергеича, который в таких важных случаях не любил щадить никакого лица и не слишком стеснялся в выборе выражений, подошла к столику с намерением удержать своего супруга от других более горячих вспышек. Но не просидела она и четверти часа, как Онисим Сергеевич громко вскрикнул:

— Да вот отчего и несчастье-то! Она возле меня. Отойди, пожалуйста! Ну чего ты тут торчишь? Твое бы дело за дочерями глядеть. Ну, где Маша, например?

Соломониду Егоровну как будто кольнуло что-то. Она поспешно встала и вышла на крыльцо. Сделав рукой щиток над глазами, она беспокойно оглядела все группы: но Маши не было. Она подозвала к себе Елену, неподалеку гулявшую с каким-то приземистым майором в огромных бакенбардах и рыжеватом парике.

— Где Маша? — спросила Соломонида Егоровна в сильном волнении.

— Не видала, maman, — отвечала Елена, оглядываясь по сторонам.

— Как, не видала! Где ж ты была?

— В зале была, потом тут гуляла.

— Вижу, вижу, сударыня, — злобно сказала Соломонида Егоровна. — В мечтах уносились, романтизировать вздумали!

— Да что ж я сторож, что ль, Marie вашей? — сказала обиженная Елена

— Ах, Боже мой! Говорю тебе, сыщи мне Машу! Слышишь ты, Машу сыщи! Да отцу ни слова…

А Marie выходила уже из лесу, но только не с той стороны, которою вошла туда. Она была страшно бледна; глаза ее горели лихорадочным огнем; поступь была как-то неверна.

— Что с тобой, Marie? — спросила Соломонида Егоровна, шибко подойдя и взяв ее за руку.

— Мне дурно, maman, — отвечала Marie, едва переводя дыхание и стиснув рукою левый бок.

— Где ты была?

— Там… я упала… ушиблась… упала — ах!

Соломонида Егоровна хотела было позвать кого-либо на помощь, но Marie быстро схватила руку матери и проговорила шепотом:

— Ради Бога, никого не зовите! Я сама дойду… Держите меня крепче.

А Соломонида Егоровна сама едва передвигала ноги.

— Будьте покойнее, maman! Глядите веселей! На нас смотрят.

И собрав последний остаток сил, Marie взошла на крыльцо и отправилась в комнатку, служившую на этот раз вместо уборной. К счастью, девушки, назначенные для прислуги, ушли все до одной, соблазненные звуками полкового оркестра, а может быть, и для других каких-нибудь причин. Бледная, истомленная Marie залпом проглотила два стакана холодной воды, и крупные капли пота выступили на челе ее; губы посинели, она вся задрожала и упала без чувств.

Испуганная Соломонида Егоровна имела, однако ж, столько присутствия духа, что, не требуя ничьей помощи, сама принялась расшнуровывать полумертвую Marie: но лишь только возобновилось правильное кровообращение, бедная девушка с невообразимым усилием очнулась и, схватив руку матери, не позволила ей почему-то продолжать расшнуровку. Она поднялась с кресла, взяла стакан до половины налитый водою, плеснула на руку и, брызнув себе в лицо, вытерлась платком и твердыми шагами подошла к туалету. Marie стала поправлять себе прическу, между тем Соломонида Егоровна зашнуровывала ее с неимоверными усилиями.

— Маша, я позову девушку, — говорила она, обливаясь потом.

— Боже вас сохрани! Если вы не сможете, я сама как нибудь зашнуруюсь.

И Соломонида Егоровна снова принималась за непривычную работу.

Но что ж там такое случилось? Не знаю, решительно не знаю. Я видел только, как Пустовцев вышел из лесу и пробирался огородами, крадучись и прячась от любопытных глаз, как потом пошел он пеший по дороге к городу, как, отошедши на далекое расстояние от Райских Дверей, упал на траву и лежал несколько минут, не шевеля ни одним суставом. Я видел, как вскочил он потом проворно и, с ужасом оглядываясь назад, пошел опять быстрыми шагами, как бы убегая от кого-то. И еще далеко впереди виднелась мне лохматая голова его, не покрытая шляпой, которою он по временам обмахивался, хоть уж было вовсе не жарко. Больше этого, к сожалению моему, а может, и вашему, читатель, я ничего не видел и не знаю.

— Ну, maman, — сказала Marie, быстро повернувшись от туалета. — Как вы меня теперь находите?

В этом простом, по-видимому, вопросе была такая бездна недоговоренного, такая пропасть глубокого, слезного юмора и горечи и при всем том такая натуральность, что даже Соломонида Егоровна, как ни была простовата, не могла вдруг собраться с ответом и глядела на дочь, выпучив изумленные глаза.

— Что ж, — продолжала Marie, — хороша я теперь?

— Маша! Маша! что с тобой?

В словах Соломониды Егоровны задрожали слезы. Тут уже сказалась мать со всей нежностью, со всем непритворством истинного чувства.

Marie снова побледнела. Она живо оборотилась к зеркалу, взглянула в него пристально и с каким-то судорожным движением схватила руку матери.

— Маменька! если вы… любите меня, если вы не желаете моей погибели… будьте тверды и покойны… Не спрашивайте меня ни о чем… я упала… понимаете ли, упала… ха, ха, ха, ха!

Мороз пробежал по жилам матери от этого ужасного хохота.

— Цс, — сказала Marie, приложив палец в губам и оглядываясь кругом как-то полупомешанно, — молчите! Упала, ушиблась, вот и все! Иду танцевать, танцевать, танцевать… Не говорите… — продолжала она чуть слышно, — не говорите папеньке…

Marie остановилась и закрыла лицо руками. С минуту она оставалась в этом положении; казалось, грудь ее готова была разорваться от одного тяжелого вздоха, который с трудом и со стоном вылетел так нескоро.

— Что? Вы думаете, я плачу? Нет, я не плачу, — говорила Marie, открыв лицо и стараясь принять веселый вид, между тем как каждое слово ее рыдало. — Ну, маменька, идемте! Да чего вы так смотрите на меня? Разве не видите, что мне смерть танцевать хочется?

И взяв под руку совершенно растерявшуюся мать, Marie явилась среди танцующих. Пленянничков кинулся к ней первый.

— Как же это можно, Марья Онисимовна? Я глаза проглядел, ноги истоптал, отыскивая вас повсюду.

— Что такое?

— И как же-с? Вы же обещали танцевать со мной вторую и четвертую кадриль.

— Виновата, из ума вон.

— Это уж доля моя такая! Ну, да быть посему! Второй-то, однако ж, не видать мне, как своих ушей… и можете вообразить, во всю эту кадриль я бедный сидел «сумрачен, тих, одинок на ступенях мрачного трона», должность которого на этот раз исправляло крыльцо с голубыми колоннами.

— Вы извините меня, если узнаете, что со мной случилось, — весело сказала Marie.

— А что такое-с?

— Вообразите, я побежала в лес с Ольгой… а где она?

— Уехала.

— Уехала?!..

— Да, с ней сделалась какая-то дурнота.

Marie изменилась в лице: но Племянничков не заметил этого. — Ну-те, ну-те, — продолжал он, — что ж там такое? Уж не привидение ли вы встретили?

— Слушайте: мы стала прятаться друг от друга. Я заплуталась, зашла в такую чащу, что ужас, поскользнулась и упала, да как упала!.. Посмотрите-ка на платье. Просто срам!

— Так вам и надо! Вперед не ходите без кавалера.

— Да где ж было взять его? Вы безотлучно были при сестре…

— Нельзя же-с; об оркестре рассуждали.

— Пустовцев, — продолжала Marie, — байронствовал и потом пропал где-то. Все вы такие!

— Что до меня, то извините! Я cavaliero servante всех и каждой порознь и, как мотылек, порхаю с цветка на цветок, поэтому никак не могу посвятить себя исключительно… но Пустовцев… это меня удивляет.

— Подите ж! Все вы таковы, господа! Любите, чтоб за вами ухаживали.

— Вот уж нет-с, меня попрекнуть этим никак нельзя. Еще не было такой притчи, чтоб за мной хоть когда-нибудь ухаживали; я — другое дело — ухаживаю за всеми, и увы! страдаю, хоть и не безмолвно, но зато всегда безнадежно!

— Так вы не танцовали второй кадрили?

— Никак нет-с. Многие даже приступали ко мне с расспросами, ради чего я угомонился? Даму потерял, ответствовал я с надлежащим сокрушением сердца.

— А, так вас спрашивали? — сказала Marie как-то странно. — Стало быть, мое отсутствие было-таки замечено?

— Еще бы! Не заметить отсутствия царицы этого вице-бала!

— Благодарю за комплимент! А не пускались в догадки, где я и что со мной?

— Кажись, что нет. Позвольте, однако ж — так точно, — мадам Клюкенгут ужасная сплетница! — уверяла тут всех, что вы уходили в лес с Пустовцевым…

— Тише! — быстро сказала Marie, схватив Племянничкова за руку. Она дико огляделась вокруг и, сделав над собой страшное усилие, произнесла полусерьезно, полушутливо. — Как можно говорить так громко подобные вещи?.. Но однако ж какая гнусная клевета!

— Да вы не беспокойтесь! Я ее там отделал, что…

— Благодарю вас, Федор Степаныч, — сказала Marie, пожав ему руку.

— Уж не беспокойтесь! Я им теперь всю правду-матку выложу, как на ладони. Уж не беспокойтесь!

Музыка заиграла прелюдию четвертой кадрили. Пары начали устанавливаться, и через две минуты Marie носилась в танцах с необыкновенным увлечением, рассыпая вокруг себя восторг и шумное веселье. Все были обворожены ею и в один голос повторяли, что никогда Marie не была там очаровательна и весела, как сегодня.

Глубоко сердце человеческое, друзья мои! Сами ангелы не могут проникнуть туда; один лишь Создатель видит все тайные изгибы его!..

Ночь, чудная, восхитительная ночь, с темно-голубым небом и мириадами звезд, тихо спустилась на беспокоимую страстями человеческими землю. В ближнем лесу, недавно оглашаемом кликами радости и беззаботного веселья молодежи, не шелохнется ни один листок; отдыхают и пернатые певцы, нагулявшись досыта среди белого дня и напевшись

вдоволь над теплыми гнездушками своих подруг; только изредка легкий зефир прошелестит прозрачными крылышками и шаловливо пробудит заснувшие листья дерев. Все тихо, все мирно в природе; нет только мира и тишины там, где люди…

Ермил Тихоныч осветил плошками весь двор и увешал фонарями ближайшие к опушке леса деревья, которые мрачно выглядывали, как бы досадуя за такое своевольное нарушение ночного их спокойствия. При громе музыки еще раздаются шумные восклицания молодежи и быстро вертятся неугомонные пары под звуки полек и вальсов. Чудо как весело, не правда ли?

Но кто ж это сидит на крыльце меж голубых колонн? Голова поникла, руки упали долу, как бы от истомы и бессилия. Полная грудь колеблется от тяжелых вздохов, сквозь которые слышны глубокие рыдания сердца; ноги дрожат, насильно удерживаемые на твердом помосте, — кто это? вижу, господа, но узнать не могу; темно, даром, что Ермил Тихоныч не поскупился на освещение…

Все остались в высшей степени довольны распорядительностью Ермила Тихоныча и осыпали его благодарностями, которые он принимал с сознанием своей заслуги и с величайшим удовольствием, выражавшимся в шарканье ногами перед мужчинами и в глубоких реверансах перед дамами. Под конец пикника Ермил Тихоныч выхватил у музыканта какую-то трубу, попробовал было протрубить всей честной компании заздравный туш, но, насмешив всех и особенно музыкантов своими приемами и гримасами, пропел громогласно: «многая лета».

Один Онисим Сергеич был как-то не в себе. Он ужасно сердился на Семена Семеныча и клялся всеми святыми, что уж теперь ни за что в свете не сядет с ним ни в какую игру, потому что, говорил он с сердцем: «Этот трухтубан-барабан годится только в бабки играть». К довершению досады, Онисим Сергеич нашел Соломониду Егоровну почти больною и крепко стал бранить Ерихонского, который черт знает с чего затеял этот глупый пикник, когда везде такая сырость и особенно в этом проклятом лесу.

— Дивлюсь еще, — говорил он, укутывая своей шинелью ноги Marie, — как дети не простудились. Хорошо, что ты, Маша, не таскалась по лесу, а то долго ли до беды?

— Не таскалась, как же не таскалась! — бормотал Жорженька. — Я сам видел, что таскалась.

— Ты молчи, ты молчи, сорванец, — говорил Онисим Сергеевич. — Ты уж там винцо потягиваешь; вот я тебе дам винцо!

Жорж с улыбкой взглянул на Marie и не отвечал отцу ни слова.

— Да где это девался Пустовцев? — спросил Онисим Сергеевич. — Я только и видел его, что при начале этого дурацкаго пикника.

Marie вздохнула.

— Что тебе, Маша, холодно, что ль? Закройся хорошенько и прислонись к углу; там теплей тебе будет. Вот так! Что ни говори, а Пустовцев-то поступил умней нас, — продолжал Онисим Сергеевич, — он, как видно, заранее убрался восвояси от этой проклятой сырости. Ты, Маша, не видала, когда он уехал?

— Нет, папенька, — чуть слышно проговорила Marie.

Соломонида Егоровна вздохнула со стоном.

— Да что вы расстонались? — сердито сказал Онисим Сергеевич и, завернувшись в шинель, безмолвно стал покачиваться из стороны в сторону.

Разъезжавшиеся гости тоже заметили отсутствие Пустовцева и решили это тем, что он слишком важничает и потому не соблаговолил принять участие в дружеской пирушке. По этому случаю на долю Пустовцева припало довольно резких замечаний, а когда один из офицеров сообщил во всеуслышание, что он сим видел, как Пустовцев уходил огородами, то все повершили тем, что в насмешку назвали его поэтом — прозвищем, по мнению жителей города В., самым обидным для порядочного человека.

На другой день, после пикника, в доме Небеды поднялась страшная суматоха. В ворота то и дело визжали да уезжали доктора, но по закутанным их физиономиям нельзя было сделать никакого заключения о результате их драгоценных визитов; впрочем, опущенные шторы у всех окон дома Небеды ясно давали знать, что там крепко неблагополучно.

В знакомой вам зале, опустив голову ниже плеч, сидел Небеда в глубоком кресле. Он барабанил одной рукой по столику, стоявшему перед ним с непочатым стаканом чаю; в другой же держал погасшую трубку, которая, перевернувшись верх дном, усыпала пеплом налощенный паркет. Долго оставался Онисим Сергеевич в этом положении, наконец, крякнул и пошел с видом какой-то решимости в соседние комнаты.

В спальне лежала в сильной горячке Соломонида Егоровна. Глаза ее были красны сколько от слез, столько же и от огня, палившего ее внутренность.

— Ну что, как ты себе чувствуешь? — говорил Онисим Сергеевич, усаживаясь на постелю больной.

— Плохо, Онисим.

— Недаром мне не хотелось, — сказал Онисим Сергеевич, стукнув себя кулаком по колену, — ехать на этот проклятый пикник! Как будто сердце чуяло, что быть худу.

— Ах, друг мой!

— То-то ах! А можно поговорить с тобой?

— Что тебе нужно? — спросила Соломонида Егоровна слабым голосом.

— Расскажи мне покороче, что там такое случилось с Машей?

— Ах, Онисим, не спрашивай меня об этом!

— Да чего не спрашивай! Поневоле спросишь, когда делается Бог, знает что. Всю ночь она металась, как сумасшедшая, говорила невесть какие страсти, грызла подушку, заливалась слезами, а от меня отворачивалась, словно от демона, прости Господи. Что ж это такое, в самом деле?

— Простудилась, должно быть.

— Хороша простуда!.. Послушай-ка, друг мой, — сказал Онисим Сергеевич, наклоняясь к больной, — да уж не поссорилась ли она с Пустовцевым?

— Ох, Боже мой, ох, ох! Воды, воды скорей! Дурно мне, дурно!

Онисим Сергеевич бросился к столику, но второпях опрокинул его, и все, что было на нем, с шумом и стуком полетело на пол. Вбежавшая прислуга нашла Соломониду Егоровну в сильном обмороке. Онисим Сергеич стоял посреди комнаты и посматривал на все стороны.

— А, Боже мой! — вскрикнул он, схватив себя за голову и выбегая из спальни.

— Барин! — сказала горничная, чуть не столкнувшись с ним в дверях.

— Ну что ты, дура?

— Пожалуйте, барышня вас зовет.

— Которая?

— Марья Онисимовна-с.

— Так и говори. А то суется, словно угорелая, — бормотал Небеда, направляясь к комнате больной дочери.

— А чай не изволите кушать? — спросила горничная.

— Захлебнись ты им!

Вся обложенная подушками, полулежала страдалица на широком кожаном диване. Она была страшно бледна и в одну ночь похудала так, что нельзя было узнать ее. Глаза, окаймленные синеватыми кругами, глубоко впали: пересмягшие губы уже не закрывали рта, и высокая грудь поднималась тяжело и медленно. Завидев отца, Marie тревожно начала закрывать себя одеялом.

— Папенька! — сказала она слабым голосом.

— Что, Маша?

В словах старика кипели слезы. Он приблизился к больной дочери и хотел взять ее руку: но Marie поспешно спрятала ее под одеяло.

— Папенька!

— Что, друг мой?

— Простите ли вы меня?

— Бог с тобой, матушка! Чем ты виновата?

— Ах, папа, друг мой папа! Вы не знаете…

— Все знаю! Успокойся!

Marie опустилась на подушки. Видно было, что в бедной страдалице совершалась страшная, небывалая прежде борьба с самой собой. Румянец ярко проступал на бледных ее щеках; с полуоткрытых уст готово было сорваться какое-то роковое слово.

— Что у тебя болит, Маша?

— Кто вам сказал, что у меня болит что-нибудь? С чего вы взяли, что у меня болит что-нибудь? — вскрикнула Marie неестественно-раздражительным тоном. — Я вся больна, вся!.. Я должна умереть!

— Полно, полно, Христос с тобой!

— Боже мой! — сказала Marie, ударив себя в грудь обеими руками, — друг мой, если б вы только знали...

— Ведь я ж тебе сказал, что все знаю!..

— И вы не желаете мне смерти?

— Да что я сумасшедший, что ли? Не отец твой, что ли? Из камня я создан, что ли? — «Уж эта мне любовь проклятая, — думал Онисим Сергеич, — из умной девки вон что сделала!»

— Не принимайте никого! — сказала Marie. — Слышите, — никого, никого! Никто не должен знать, что я больна!

«Постой-ка, — подумал Онисим Сергеич, — дай-ка я запою с ее тона».

— А если, — сказал он, — придет... Пустовцев?

Глаза больной засверкали, губы задрожали, она приподнялась на подушках и, высвободив из-под одеяла исхудавшую руку, сделала нетерпеливое движение.

— Не напоминайте мне об этом... — сказала она грозно. — Оставьте меня, папенька!

Послушный отец медленно пошел из комнаты дочерниной. Лицо его приняло выражение добродушного спокойствия. «Знаем теперь, — говорил он, улыбаясь, — что за боль такая. Поссорились, видишь, и погрозили один другому презрением, а может, и ненавистью. Ну, беды еще немного! Милые бранятся, только тешатся, говорит пословица».

Но напрасно Онисим Сергеич так легко и так заранее утешал себя. Пришлось ему, бедному, провести не одну ночь бессонную, не однажды сплакнуть в тишине своего кабинета, не один раз позабыть казенную пору обеда. Бедная Елена, обреченная в сиделки то близ матери, то близ сестры, тоже выбивалась из сил. Положение этой доброй девушки было истинно жалко. Соломонида Егоровна стала крайне раздражительна, и болезненные капризы свои вымещала большею частью на Елене, потому что прислуга, как водится, всегда умела найти благовидный предлог убраться подальше от привязчивой барыни. Елена терялась в предупредительных угождениях, и все понапрасну. Marie же просто не могла терпеть своей сестры и лишь только завидит, что Елена входит к ней в комнату, тотчас отворачивалась к стене или накрывалась одеялом, сохраняя упорное молчание. Онисим Сергеевич, всеми помыслами доброй, доверчивой души своей обращенный единственно к больным, не замечал несправедливых их притязаний и сам иногда, не знать за что, делал выговоры Елене. Горько плакала бедная девушка, не понимая причины восставшего на нее гонения. А дело-то, кажется, очень ясно; не так ли, мой догадливый читатель?

Одному Жорженьке ни до чего не было дела. Связавшись с Чикарским и подобными ему, он большую часть времени проводил в модной ресторации Дерибальского, где практиковался на биллиарде, вероятно приготовляясь к артиллерийской службе. Домой он являлся иногда затем лишь, чтоб пообедать, да и то почти всегда не в пору, а вечером приезжал всегда поздно на извозчике неизвестно откуда. Онисим Сергеевич давно уж сбирался дать ему хороший

нагоняй: но утром он заставал кровать Жорженьки пустою, а вечером, умаявшись около больных, ложился спать, и родительское внушение откладывалось до другого, более удобного времени. Чикарский постарался открыть своему питомцу хороший кредит у одной приятельницы своей Домны Давидовны Толстиковой по десяти процентов в месяц, и сыночек кутил напропалую на счет доброго папеньки и нежной маменьки.

Месяца через полтора Соломонида Егоровна начала оправляться и входить в хозяйство, запущенное во время ее болезни. Это обстоятельство было новым поводом всякую минуту упрекать Елену в небрежности и в том, что она более любит заниматься «воображениями», чем нужными делами. Казалось, Соломонида Егоровна избрала старшую дочь мишенью для стрел, приготовленных для кого-то другого; казалось, она обливала желчью язвительного негодования не того, кого бы ей хотелось.

Но упорнее была удерживаема на страдальческом одре Marie. Доктора истощали все свое искусство и, на порядках истощив терпение и кошелек Онисима Сергеевича, порешили, что им уж делать нечего и что лучше будет отправить больную за границу попутешествовать и попользоваться водами. К трем месяцам Marie встала, но с признаками болезни губительной, страшной. Исхудавшая, бледная, она едва двигалась из комнаты в комнату, и малейший стук производил в ней нервические припадки. К ужасу своему, она видела, что нарочитая худоба обнаруживала присутствие другой болезни, которая в одном случае почитается благословением неба, а в другом — стыдом и поношением...

От Соломониды Егоровны не могло это укрыться, и она решилась сказать все Онисиму Сергеевичу. Но приступ к такому объяснению был слишком труден и не для такой, как Соломонида Егоровна, женщины. Как часто, вооружась, по-видимому, полной решимостью, она терялась на первом же слове и торопливо спешила сама, потом скрыть темный намек от настороженного внимания своего мужа!

Между тем толки самые соблазнительные, самые обидные для семейства Небеды ходили по целому городу. Добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит, говорит русская пословица. Вестовщики, и особенно вестовщицы, истощались в изобретении сплетней, передавая их друг другу под величайшим секретом, — способ, как известно, самовернейший, чтоб разгласить что-нибудь под рукою. Конечно, никто не смел сказать чего-нибудь оскорбительного в глаза Онисиму Сергеевичу: но нельзя ж было не заметить этих подозрительных улыбок, этого переглядыванья и перешептыванья при появлении Небеды, этой принужденности в обращении и, наконец, — этого намеренного отчуждения прежних знакомых от опозоренного сплетнями дома. Удаление Пустовцева на дачу, его мрачность и какая-то необъяснимая робость, плохо прикрываемая дерзкими взглядами, а главное — старание по возможности избегать встреч с Небедой, — все это служило сильным подтверждением дурных слухов, ходивших из улицы в улицу, из дома в дом. Прислуга, обыкновенно принимающая в таких делах самое деятельное участие, вредила репутации целого семейства Небеды неотразимо-страшно. Несколько дней кряду из рук в руки ходило письмо повара Небедов к своему сыну, и многие из господ собственноручно списывали его как важнейший, по их мнению, документ. Благодаря Семену Семеновичу Трухтубарову автор имеет возможность сообщить оное читателям. Вот это письмо:

Любезнейший сын наш!

«Посылаю вам заочное наше радительское благословение, которое на век бы послужило вам и чтоб вы знали, что у нас в доме оченно неблагополучно, и весма мне сумнительно, каково глупы наши господа, ибо материнское сердце оченно близко к своему детищу, но опять разсуждено, что природа к тому влечет, не только люди, но и псы имеют любовь свою к детям, и ради того умонепостижимого поведения наших господ, так как они совершенно сбились, как

говорят простолюдины, с пантелыку и нападки чинят на старшую барышню нашу, а она вовсе безпричинна, а меньшая-то, то есть, не хорошо себя повела и уже обретается с будущим, как нам докладно известно от Варвары Ивановной, барышниной комнатны, которая при сем свидетельствует вам уважительный поклон и заочный поцалуй».

В постскриптуме было написано: «держите это про себя, то есть, в секрете».

Но, как видите, в секрете это не удержалось. Сын повара прочитал послание своего родителя в людской, а из людской, через любимую горничную, оно перешло в гостиную, из гостиной в другую, из другой в третью и так далее. В силу таких обстоятельств, многие из барынь, охотниц знать, что у кого даже в кухне варится и жарится, прибавили жалованья своим горничным и кухаркам, которым секретной статьей домашнего контракта вменялось в обязанность разузнавать все городские вести и сплетни. От этого, по-видимому, незначительного обстоятельства хозяйственная экономия во многих домах потерпела значительное расстройство, потому что многие барыни, принимая от своих кухарок отчеты в ежедневных расходах, решительно стали пренебрегать контролем, когда сметливая приспешница в крайне сомнительном бюджетном казусе накидывала какую-нибудь свежепросольную новость, заставлявшую строгую барыню трепетать от нетерпения передать эту новость другим, разумеется по секрету. Туалетные занятия многих госпож тоже потребовали больше времени по той причине, что горничная, обыкновенно причесывавшая барыню, иногда лишних разов десять принималась за гребешок, прежде чем успевала перевязать ленточку или шнурок у корня косы. А это потому, что барыня, узнав от своей поверенной нетерпеливо ожидаемую сплетню, никак не могла покойно сидеть перед зеркалом и беспрестанно вертелась, приводя в отчаяние привилегированную вестовщицу бесконечным продолжением прически волос, поминутно ускользающих из ее напомаженной руки. В Клубе же и речи другой не было, как о Небедах да о Пустовцеве. Почтенные Члены один перед другим старались удивить новостями своих слушателей, и горячим спорам конца не было. Семен Семеныч даже немножко повздорил с Созонтом Евстафьевичем, который вздумал отвергать одну нелепость, которая, действительно, ни на что похожа. В самом деле, нельзя ж было согласиться, что Пустовцев магометанской веры, когда в формуляре его ясно значилось, что он православного вероисповедания.

И долго бы еще мучиться Соломониде Егоровне нерешительностью объяснить мужу то, что немного попозже объяснилось бы само собою; и долго бы разгуливать по городу толкам и сплетням, если б неожиданное обстоятельство не ускорило всеми ожидаемой развязки.

Глава двенадцатая

В одно, как говорится, прекрасное утро Онисиму Сергеевичу подали записку, в которой он прочитал следующее: «Сегодня вечером я буду у вас. Вы должны принять меня непременно, если дорожите вашим спокойствием, спокойствием всего вашего семейства и, наконец, репутацией вашей дочери».

Которой дочери, — не было сказано, а подписался *Валериан Пустовцев*.

Сначала Онисим Сергеевич улыбнулся. Он еще раз прочитал записку, — и вдруг лицо его подернулось страшной бледностью. Он схватил себя за голову и громко вскрикнул: «Боже мой, Боже мой! Неужто это правда?..» Но сила мысли взяла верх над увлечением сердца. Оскорбленное чувство отца придало силу и энергию этому доброму и гибкому характеру. Оправившись от первого впечатления, Онисим Сергеевич решился скрыть от всех полученную им записку и наедине встретить удар, уже предугаданный его сердцем. Он секретно отдал одному из доверенных своих слуг приказание немедленно и без особого доклада провести

прямо в кабинет к нему Пустовцева, как скоро он пожалует. Сделав такое распоряжение, Онисим Сергеевич заперся в своей половине, не желая видеться с кем бы то ни было из своего семейства.

Чем более сближалось к вечеру, тем беспокойнее становился Онисим Сергеевич, с каждым часом теряя силу преодолеть непобедимое волнение. Он хотел уже отдать приказ отказать Пустовцеву, как вдруг увидал перед собой ожидаемого гостя. Горевшая под колпаком карсельская лампа бросала сомнительный свет на лица двух собеседников, из которых один — мрачный, бледный и сухой — остановился безмолвно посреди кабинета, а другой словно пригвожден был к креслу, из которого не имел сил подняться для того даже, чтоб встретить и приветствовать гостя.

— Онисим Сергеевич, — начал Пустовцев, подойдя к креслу, — я не подаю вам руки, потому что чувствую себя недостойным принять вашу. Нас тут двое: один из нас должен быть судьей, а другой — ответчиком и подсудимым. Право первого неотъемлемо принадлежит вам; вторым являюсь я, не с тем однако ж чтоб оправдывать себя, а чтоб обвинять нещадно.

Из дрожащих уст Небеды послышалось глухое стенание. Он закрыл лицо руками и остался в этом положении.

— Будьте хладнокровней, Онисим Сергеевич, — продолжал Пустовцев. — Дело наше слишком большой важности, чтоб решить его шумом и ни к чему не ведущими восклицаниями. Привязанность к вашей дочери увлекла меня далее границ благоразумия. Буду откровенен: сначала я видел в ней только ребенка, хорошенькую игрушку, которою мне нравилось забавляться. Далее и далее я серьезно привязался к ней, успел пробудить в ней самой незнакомое ей чувство любви и по-своему трудился над образованием ее ума и сердца. Не думайте, чтоб я не видел бездны, открываемой мною под ногами вашей дочери; нет, я видел, хорошо видел и при всем том смело вел ее к этой бездне с чистым намерением показать ей всю гибельность гибельного увлечения, но я чересчур много доверял моим собственным силам; я забыл, что человеку трудно устоять против очарования, которому он сам поддается в гордой мысли дойти лишь до известной точки — и ни шагу далее. Сначала, как видите, я увлекал, и потом меня увлекли дивные совершенства вашей дочери.

— Батюшка, Валериан Ильич! Дорезывайте меня проворней!.. Что мне в ваших хитрых словах? Я человек простой. Я вижу только, что вы меня обидели, обесчестили, убили...

— Повторяю, Онисим Сергеич, без восклицаний! Здесь стены слышат.

— Да что мне стены! Я в истошный голос закричу на весь город!..

— Удивительно, как много вы этим сделаете, — с невозмутимым хладнокровием сказал Пустовцев. — Вас же осмеют; вас же будут поносить, но главное репутация Marie навеки будет убита.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул Небеда, ломая руки. — Наказал ты меня по грехам моим!

— Онисим Сергеич! Некогда теперь молиться; надо дело делать. Иначе оно примет худой оборот.

Закинув голову на спинку кресла, Небеда, казалось, думал о чем-то; по лицу его текли слезы тяжкой, мучительной грусти оскорбленного, обесчещенного отца.

— Слушайте, — сказал глухо Пустовцев, наклонясь к Небеде, — я… обольстил… вашу Marie.

Онисим Сергеевич вздрогнул, как вздрагивает уже измученная жертва под последним ударом палача, но ни слова, ни даже звука не вырвалось из стиснутых уст его; только лицо побагровело.

Сам Пустовцев испугался. Он торопливо бросился к графину и, не нашедши стакана, намочил водою свой платок и проворно приложил его к воспаленной голове Онисима Сергеича. Небеда вздохнул всей грудью и, быстро выхватив из рук Пустовцева графин, стал прямо из него глотать воду.

— Дайте мне лечь, — сказал он потом слабым голосом и, облокотясь на руку Пустовцева, перешел на широкое канапе и ринулся на него всем корпусом.

В эту минуту в зале послышался страшный, пронзительный вопль, и что-то рухнуло на пол. Пустовцев насторожил ухо; там поднялась беготня. Через минуту раздался другой вопль… Онисим Сергеемч глухо простонал и впал в бесчувствие.

Не зная, что начать, Пустовцев бросился к двери, ведущей в залу; дверь была заперта. Сильной рукой рванул он ее, и обе половинки с шумом распахнулись. Что же увидел он?.. На полу, с разбитым до крови скулом, лежала бесчувственная Marie, и только прерывистое дыхание показывало присутствие в ней жизни. Бросив шляпу и оттолкнув прислугу, Пустовцев схватил на руки бедную девушку и понес в гостиную. Он бережно сложил свою ношу на мягкое канапе и, стоя на коленях, старался привести Marie в чувство всем, что подавала ему растерявшаяся прислуга. Но старания его не так были успешны, как старания Елены, которая хлопотала около матери; Соломонида Егоровна поднялась и, опираясь на руку дочери, вошла в гостиную. Вид бесчувственной Marie, окруженной попечениями Пустовцева, едва не сделался причиною вторичного обморока мадам Небеды. К счастью, этого не последовало, и Соломонида Егоровна сама начала отдавать приказания, нужные в таком случае.

— Идите, — сказал Пустовцев Соломониде Егоровне, — к Онисиму Сергеевичу, — но старайтесь быть как можно покойнее, — иначе все погибло!

Испуганная, она забыла всю слабость, оставшуюся от обморока, и поспешно пошла в кабинет мужа, оставив Marie попечениям Пустовцева и Елены. Дыхание Marie становилось ровнее.

— Елена Онисимовна, — сказал Пустовцев пофранцузски, — прикажите прислуге выйти вон. Мы должны остаться одни, прошу вас!

Елена сделала знак, и прислуга медленно и осторожно вышла из гостиной.

— Затворите плотнее двери в людскую и в прихожую, — продолжал Пустовцев.

Елена взглянула на него вопросительно.

— Затворите, — говорю вам прошептал он нетерпеливо.

Невольно повинуясь властному тону, Елена поспешила исполнить требование Пустовцева.

Между тем Marie начинала приходить в себя. Она открыла глаза; но свет, ударивший прямо, заставил ее опять закрыть их.

— Переставьте лампу на тот стол! — сказал Пустовцев Елене, держа руку Marie.

Елена повиновалась.

— Кто здесь? — слабо проговорила Marie.

— Я, Валериан, друг твой.

Несчастная девушка взглянула испуганными очами и, порывисто поднявшись на диване, судорожно вырвала руку из рук Пустовцева.

И Пустовцев… Пустовцев… заплакал… Голова его упала на край дивана; глухие, но сильные всхлипывания колебали страдальческое ложе его жертвы…

Marie с недоверчивостью и изумлением глядела на Пустовцева, на этого гордого, непреклонного человека. Он — всегда кощунственно смеявшийся над всяким выражением внутренней боли человека, он — презрительно называвший горькую слезу каплею пота, проступающего из пор глазных; он — ни разу не погрустивший над горем человека и всегда готовый гордо встретить находящую беду, — он плачет!.. С каким-то детским любопытством Marie протянула руку к голове Пустовцева и старалась приподнять ее, как бы желая увериться в истине скорби своего обольстителя и насладиться его слезами. Пустовцев схватил эту так знакомую ему руку, прижал ее к пылающим устам своим, обливая жгучими слезами. Грудь Marie волновалась сильнее прежнего.

— Marie, — сказал Пустовцев, — простишь ли ты меня?

Она опять отдернула руку от уст его.

— Marie! не проклинай хоть меня! Я преступник, но я у ног твоих: я виноват, но ведь любовь моя безумная привела меня к тому. О, Marie, Marie! вспомни, и ты ведь меня любила!

Бедная девушка упала на подушку и залилась слезами.

— Я не выйду отсюда, пока ты не назовешь меня тем сладким именем, которое так часто слышал я из уст твоих!.. Marie! Всю жизнь мою, все думы мои отселе я посвящу тебе, и честь моя порукою, что я сделаю тебя счастливою!

— Надолго ли? — как гром, раздался над годовой Пустовцева голос Онисима Сергеевича, который незаметно вошел в гостиную с рыдающей женой.

— На всю вечность! — вскричал Пустовцев под влиянием восторженного чувства.

— Ха, ха, ха, ха! Не велика же ваша вечность, если мы будем считать ее днями! — сказал Небеда, стоявший ровно и как будто выросший в одну минуту.

— И мгновение счастья искупает иногда годы страданий, — отвечал Пустовцев, гордо смотря в глаза Небеде.

— А если и мгновенье это отравлено болезнию неизлечимой?

— Любовь моя будет самым целительным лекарством для вашей дочери.

— Вижу, батюшка, как оно целительно! Уйди, Елена, — сказал Онисим Сергеевич кротко, — тебе стыдно быть тут. Уйди, друг мой!

Елена, рыдая, вышла.

— Упреки в сторону, Онисим Сергеевич, — сказал Пустовцев, — они ни к чему не поведут. Что сделано, того уж не воротишь. Здесь, перед вами, я винюсь в преступлении и клянусь заслужить если не любовь вашу, то по крайней мере прощение себе. Честь вашей дочери давно уже принадлежит мне; от вас я прошу только руки ее, я уверен, что вы не откажете мне, хоть бы для того лишь, чтоб покрыть бесчестие имени, драгоценного и мне, и вам… Соломонида Егоровна! обращаюсь к вам как к матери

— Ах, что ж я могу сказать? — едва проговорила, рыдая, обесчещенная мать.

— Ничего! — твердо произнес Онисим Сергеевич. — По делам вору и мука! Мы, мы, матушка, одни с тобой виноваты! Пустили волка…

— Папенька, подите ко мне! — громко и как-то решительно сказала Marie.

Небеда подошел к ней колеблющимися шагами. Marie наклонила его к себе и сказала что-то на ухо. Онисим Сергеевич ухватился за стол и задрожал. Marie упала на подушку и закрыла себе лицо руками.

— Боже! — сказал наконец Онисим Сергеевич. — Вижу, вижу карающую десницу Твою!.. Валериан Ильич, вы поступили подло, бесчестно… но не мне судить вас. Есть Бог, отмститель злого коварства и всякой неправды! Он воздает вам за то горе, которым облили вы всю мою душу! Он заплатит вам за тот стыд, которым покрыли вы седины мои! Она, — и отец указал на поруганную дочь, — она отдалась вам, не спросясь меня; возьмите ж ее, тоже не спрашиваясь меня! Когда в преступной душе вашей скоплялся гнусный замысел, вы не просили моего благословения, ибо преступного и гнусного не благословляют; не просите ж и теперь, ибо не поднимется рука моя благословить преступников!..

Marie вскрикнула. Соломонида Егоровна бросилась к ней со спиртом. Небеда продолжал твердо и невозмутимо:

— Я удержу язык мой от проклятия… оно пало бы на меня, глупого и виновного отца! Но не будет вам счастья, ибо вы хотели пользоваться им воровски; не будет вам долголетия, ибо вы не уважили седин отца и преклонных лет матери! Валериан Ильич!.. Вы тайно от меня вошли в родство со мною и заставили старика со стыдом признать это родство; вы зять мой, но никогда не будете моим сыном! слово мое верно. Кончайте ж теперь то, что начали! Мое тут дело сторона. Прощайте!

И Онисим Сергеевич быстро вышел из гостиной. Захлопнув за собой двери кабинета, он два раза повернул ключ в замке, оставив другие действующие лица доигрывать эту грустную драму… Пора, однако ж, и перед вами, читатель мой, спустить занавес; развязка слишком очевидна, чтобы досказывать ее до конца. Слава Богу еще, что при этих сценах не было Жорженьки, а то, право, не знаю, как выдержали бы роли свои главные персонажи этой драмы. Юный питомец Пустовцева и Чикарского приехал поздно на извозчике препьяный-пьяный, что, впрочем, на этот раз было довольно кстати, потому что устранилась неизбежная надобность посвящать его в эту минуту в семейные тайны.

На той же неделе начались приготовления к свадьбе. Онисим Сергеевич решительно не выходил никуда и не вмешивался ни во что. Он всеми мерами избегал даже встречи с Пустовцевым, и обычные приветствия знакомых раздражали его страшно. Не желая служить баснею целого города, Небеда немедленно подал в отставку и с нетерпением стал ожидать минуты, когда позволено ему будет выбраться из омута сплетней, толков и злословия, которые кишмя кишели черными гномами в самой атмосфере, его окружавшей. Онисим Сергеевич на

время свадьбы уехал в имение, состоявшее под его опекою. Тихо и скромно отпраздновали бракосочетание Marie с Пустовцевым в одной ближайшей к городу деревне, и молодые супруги начали свои медовые месяцы, уже отравленные горькой полынью…

В непродолжительном времени на воротах квартиры Небеды проходящие читали следующую надпись: «Сей дом прадаеца и взаймы адаетца, а о цене спрасить у хозяена». Онисим Сергеевич получил отставку, немедленно выехал из города, где так поносно осмеяна была его ничем не запятнанная честь и доброе имя.

Грустно и печально было его расставанье с дочерью, в которой он когда-то души не слышал. В последние минуты прощанья уже готово было сорваться с уст его слово примирения, уже он протянул было отцовские объятия к преступной дочери: но раздавшийся под окнами громкий смех каких-то молодых людей снова оледенил сердце оскорбленного отца. Он отвернулся от Marie и произнес как-то напряженно: «Бог тебя да помилует! Живите, как знаете!»

И отошла отверженная дочь от любившего ее отца… Села она, бедная, одна-одинешенька и залилась горькими слезами. Соломонида Егоровна, вся расплаканная, подошла к отринутой и, обвив рукою шею дочери, другою разглаживала густые волосы, успокаивая ее нежными словами.

— Ах, маменька, маменька, — говорила сквозь рыдания бедная Marie, — ведь я сирота уже!

— Бог с тобою, друг мой! Мы еще живы; отчего ж ты сирота?

— Вы не мои.

— Как тебе, Маша, не грех отказываться от нас!

— Не я отказываюсь, маменька, а от меня отказались.

— И, полно! Чего ты смотришь на отца? Ведь он всегда такой на первых порах, а после уходится, и все пойдет хорошо.

— Верю, только не со мною. Мне уж не видать его ласк, мне уж…

И снова зарыдала отринутая дочь. Соломонида Егоровна утешала ее, как умела, но и не Marie заметила бы во всяком слове матери неверность и непрочность убеждений.

— Ненадолго я с вами, маменька, — сказала Marie после продолжительного молчания.

— Что ж делать-то, друг мой? Нельзя же откладывать, когда все уже готово.

— Приедете ли вы проводить меня?

— Да разве ты сбираешься куда?

— Сбираюсь, маменька, и в дальнюю-дальнюю дорогу. Вы видите, в каком я положении: но не видите, что тоска изгрызла уже мое сердце, что с развязкой моего стыда я развяжусь и с жизнью… Маменька! Поминайте… меня… в молитвах ваших! Скоро, скоро не будет меня на этом свете!

Соломонида Егоровна рыдала. Сердце матери болезненно соглашалось с пророческими словами дочери…

— Бог милостив, Маша; все пройдет, — говорила она, сама искренно не веря словам своим. — Ты будешь жива, здорова и к нам еще приедешь.

— Нет, маменька, не приеду. Я знаю, что у меня чахотка. Но не то меня мучит, милая маменька! Смерть мне не страшна; я даже с радостью встречу ее… но Валериан — Валериан, — вот кто не дает мне умереть покойно! он стал так мрачен, что в иную пору и я боюсь подойти к нему. Знаете ли, что он сделал недавно? Мне прислали из Киева кипарисную икону Богоматери со святыми угодниками; я оставила ее в кабинете Валериана. Приходит он с должности; я встретила его, и мы пошли вместе в его половину. «Чем это пахнет?» — спросил он. Я указала на икону… Ах, маменька!.. с каким нечеловеческим остервенением бросился он к столу!.. Икона уже была у порога, разбитая вдребезги… Боже мой, Боже мой! Погиб, погиб он без меня!..

Так говорила страдалица, забывая саму себя и думая только о том, кто погубил ее… Нет, друзья мои, сердце любящей женщины выше всего прекрасного в мире!..

Пустовцев, действительно, стал ужасен. Не имея веры — этой главнейшей опоры нашего бытия, этого покойного возглавия, на котором улегается утомленная думами голова страдальца; не имея надежды — этого якоря, без которого погиб бы корабль нашей жизни; не имея любви, возвышающей земное до небесного, Пустовцев оставлен был самому себе, своей гордости и мнимой непреклонности характера. Страшное одиночество! Оно и на земле отторгает человека от подобных ему; что ж на небе, где живет вечная любовь, где весь мир надзвездный держится согласием и гармонией!..

Пустовцев, упрашиваемый женою, согласился, наконец, за день до отъезда своих родных, проститься с ними, но, как на беду, он попал к ним именно в то время, когда у Онисима Сергеевича только что кончилась жаркая перепалка с Жоржем. Оно бы и ничего, да Соломонида Егоровна подлила масла в огонь. Желая оправдать сколько-нибудь свое возлюбленное чадо, она возразила, что напрасно Онисим Сергеевич попрекает Жорженьку дурными обществами, что непозволительных связей он не имеет и иметь не может, потому что это дурно, нехорошо, о чем, конечно, не раз слышал он и от «ихняго Валериана». Это-то только и не доставало, чтоб разразиться резкими выходками насчет Пустовцева. И Онисим Сергеевич, как говорится, выписал жене всю правду-матку о зяте и порешил тем, что он знать его не хочет.

В эту-то самую минуту доложили о Пустовцеве; а надо знать, что со времени свадьбы он ни разу не заглянул к своим, ни однажды не промолвил слова с Онисимом Сергеевичем, что, впрочем, и неудивительно после известного объяснения еще с будущим тогда зятем. Онисим Сергеевич хотел было и в этот раз улизнуть в кабинет, но было уже поздно. Пустовцев входил в залу.

— Здравствуйте, — сказал он.

Онисим Сергеич безответно сел в любимое свое кресло и потупил голову.

— Жорж! — небрежно сказал Пустовцев, садясь на канапе и доставая папироску. — Подай мне огня!

Жорж зажег спичку и с улыбкой подал ее Пустовцеву.

— Пошел вон, негодяй! — гневно сказал Небеда.

Жорж, взглянув значительно на шурина, засмеялся и вышел.

— Так вы, — сказал Пустовцев, — думаете завтра и выехать?

— Завтра, — отвечала Соломонида Егоровна, робко поглядывая на мужа.

— Скоренько, — сказал Пустовцев, пуская кольцами дымок.

— Чем скорей, тем лучше, — резко проговорил Небеда.

— Зачем же так торопиться?

— Затем, чтоб не дали мне посреди улицы оплеухи! — сказал Онисим Сергеевич, дрожа от гнева.

— Ах, Онисим! — сказала Соломонида Егоровна. — Как тебе не стыдно говорить это!

— А что ты думаешь, баба? — отвечал он с злой иронией. — Может, и в самом деле, стыдно. У нас, слава Богу, зятек есть; заступится в случае обиды; на дуэль вызовет.

Пустовцев уронил папироску.

— Вы недурно острите, — сказал он, презрительно улыбнувшись.

— Да, у вас научился, — грубо отвечал Небеда.

— Однако ж мы порядком ребячимся, — сказал Пустовцев с принужденной улыбкой.

— Может быть.

— Я пришел к вам проститься.

— Ну, и прощайте.

— Скажите ж, как мы расстаемся?

— Очень просто: я еду, а вы тут остаетесь.

— И только?

— Не больше.

— Жаль!

— Мало ли чего! Иному есть и больше что пожалеть, да не приходится. У иного, батюшка, сердце кровью обливается, да показать людям стыдно, засмеют; у иного отняли великое сокровище, что синь-порох в глазу, да пожаловаться некому, да, некому! Иного… да что толковать! Баста, аминь!

И Онисим Сергеевич еще ниже наклонил голову.

— Ваше сокровище, кажется, не в дурных руках, — протяжно сказал Пустовцев.

— Да, скоро будет в хороших, а теперь покамест в дурных, — отвечал Небеда, поднявшись с кресла и направляясь в кабинет.

— Жена! — крикнул он в дверях.

Соломонида Егоровна поспешно пошла к мужу, и Пустовцев остался один.

Мрачно глядел он с минуту на закрывшиеся пред ним двери кабинета; стиснутые губы и сдвинутые брови его выражали гнев и досаду; яркий румянец, проступивший на бледных и впалых щеках его, обнаруживал бессильную злобу. Постояв немного, он громко засмеялся, схватил шляпу, смял ее в руках и выбежал из дому.

— Проклят час, когда я...

Никто не слышал окончания крамольной речи изгнанника из отческого дома...

А чего не вытерпела Marie в короткий срок своего супружеского житья-бытья! Оставленная отцом и матерью, воспитавшая в себе непреодолимую антипатию к сестре, одна, — всегда одна, всем чужая, — она, как испуганная голубка, пряталась от коршунов и ястребов, готовых ежеминутно терзать ее насмешками и злословием. Никто с того самого дня, как приняла она имя своего обольстителя, ни разу не заглянул к ней; ни от кого из чужих не слышала она самого обыкновенного привета дружбы, — и все то по милости своего избранника!.. Пустовцев всех оттолкнул от себя своею дерзостью и непреклонной гордостью, а дурная слава о несчастной Marie окончательно отдалила щекотливых на чужие грехи барынь от обесчещенного дома. Терзалась гордая душа его, но не столько за свое унижение, сколько за унижение той, которую он сам погубил невозвратно. В гневной раздражительности он осыпал перед Marie самыми злыми и язвительными насмешками всякого, кто осмеливался быть невнимательным к нему; каждый день возвращался он домой тревожный, беспокойный и после двухчасового молчания разражался сарказмами и презрением, не щадя ни уз родства, ни привязанности дружбы, ни незапятнанного имени девицы. Но холодно уже и безучастно принимала Marie эти вспышки бессильной досады; чистая душа ее с покорностью усматривала справедливость гонения людского, и тайно от мужа она молила Бога прекратить ее невыносимые страдания. Беззаконно зачатый плод преступной любви вместо радости и утешения поселял в ней стыд и отчаяние. Мать страшилась святого названия матери!..

Боже мой, Боже мой! Как велика цена искупления за одно минутное увлечение неопытного сердца!.. Но не щадит суд Твой и ныне обольщаемых преступниц, как не пощадил он прародительницу нашу, обольщенную змием-искусителем!..

Глава тринадцатая

Marie увядала слишком заметно. Лютая чахотка развилась в ней до ужасающей степени. Доктора после нескольких консилиумов решили, что главною причиной болезни их пациентки было то, что она, разгоряченная танцами во время известного пикника, пила холодную воду. Это, между прочим, послужило весьма поучительным примером, которым каждый из докторов воспользовался при удобном случае, внушая осторожность молодым своим пациенткам. Но никто из просвещенных питомцев эскулапа намекнул на ту заповедную тайну, которая червем зародилась в душе страдалицы и подточила жизнь ее в самом корне.

Пустовцев с ужасом видел разрушение любимого им существа. Он любил ее как свою жертву, со всем пламенем бурной, неистовой страсти. Будь Marie в цветущем здоровье, будь она весела и игрива, как бывала прежде, — может быть, Пустовцев и охладел бы мало-помалу, удовлетворив своей чувственности, но страдания любимого существа возвысили цену его, и потухающая любовь поддерживалась неизбежной внимательностью к больной. Мысль о вечной разлуке с Marie обдавала его смертельным холодом, и, с содроганием видя близкое осуществление пугавших его ожиданий, он произносил хульный ропот на Того, Кому не знал имени, но присутствие Которого, мимо желания своего, ощущал он слишком осязательно.

Раздраженное чувство искало успокоения в чем бы то ни было, и он прибегал к отрицанию всего, чем живет наш внутренний человек. Так неизлечимо страдающий некоторыми физическими болями прибегает к яду, на мгновение заглушающему нестерпимые его страдания…

— Что ж такое? — говорил Пустовцев в такие минуты. — Смерть — это общий удел всего существующего! Кто мы, откуда, куда пойдем и чем будем — кто это знает? Умрешь — похоронят, нарастет лишний слой земли — и кончено! Проповедуют там о каком-то бессмертии; слабые натуры верят этому, нисколько не подозревая, как смешны и глупы претензии куска земли на вечную жизнь в каком-то надзвездном мире…

Не далеко уйдешь, господин философ, с такими убеждениями! Скажется со временем желаемое тобой ничтожество, явится оно: но не в том виде, в каком ты его себе воображаешь. Источат черви бренное тело твое: но и оно не исчезнет обманчивым миражем. Рассеявшись в мириады атомов, оно до последнего воскресения своего станет проявляться в других творениях, полных жизни, и не истлеет до конца века!.. Излетит из тела та неведомая сила, которую ты сам же назвал душою и по которой ты дал себе право горделиво испытывать тайны природы и возноситься мыслью выше звезд небесных, — излетит она и не найдет стихий, могущих обратить ее в ничтожество, ибо она чище, эфирнее всякой стихии, сильнее всего сотворенного; а сильное слабому не поддается… Явится тебе, философ, желаемое тобой ничтожество: но явится в сознательном твоем отпадении от Того, Кто есть все, Кем все живет и вне Которого ты точно ничто!..

Люди, люди! Чем вы играете и что бросаете на необъятную ставку вечности!.. Мысль цепенеет от ужаса!..

В одно утро доктор, постоянно навещавший больную Marie, беспокойно заметил Пустовцеву, что положение его супруги очень ненадежно и что не мешало бы пригласить такого-то и такого-то для общего совещания.

— Превосходно, — отвечал Пустовцев, — а позволите ли узнать, для какой это надобности?

— Для…

— Я вам помогу, — перебил Пустовцев, — для того, чтоб по формальному протоколу, утвержденному подписью нескольких из вашей братии, отправить ее в елисейские — так, что ль?

— Как вам угодно…

— Мне угодно, чтоб вы одни отправили ее туда по всем правилам вашей премудрой медицины.

— Извините-с, — сказал обиженный доктор, принимаясь за шляпу.

— К чему такая щекотливость? Полноте, — сказал Пустовцев, удерживая доктора. — Я так раздражен… сам не понимаю, что говорю. Сядемте, да потолкуем, — Пустовцев уселся в кресло. — Нуте-с, скажите же, что вы там находите в моей Marie?

Доктор, рассчитав, что чрезмерная амбиция может лишить его порядочного куша, заработанного, но еще не полученного им, поместился насупротив Пустовцева.

— Плохо-с, как я уже имел честь доложить вам. В эту ночь, как мне кажется, вас можно будет поздравить отцом: но сомневаюсь, чтоб родилась дитя живое. Ваша супруга истощена до

крайности, и разрешение будет последним исходом ее сил жизненных-с. Остановить затем разрушительное действие чахотки не предвидится никакой, так сказать, возможности.

Пустовцев, в продолжении этой тирады медленно открывавший бумажник, достал оттуда радужный билет и подал его доктору.

— Благодарю вас, доктор, — сказал он насмешливо, — за ваши труды, а всего больше за пособие.

Добрый доктор принял двумя пальцами депозитку и вежливо откланялся Пустовцеву.

В самом деле, в эту же ночь Marie стала матерью, но не увидала она светлых глазок своего малютки. Плод преступной любви перешел из одной могилы в другую…

Дыхание смерти уже носилось над обессилевшей матерью, но и тут едва могла она упросить своего Валериана, чтоб он позволил ей прибегнуть к утешениям религии. Долго отвечал он на усильные просьбы жены своей мрачным молчанием, наконец согласился и велел позвать священника.

— Батюшка! — сказал он, встречая на пороге отца духовного. — Жена моя хочет о чем-то говорить с вами. Что следует заплатить вам за такой труд?

Оскорбленный служитель алтаря в негодовании отступил от Пустовцева. Он хотел отвечать что-то на такую дерзость, но потом как будто отдумал, поклонился и хотел выйти.

— Позвольте, — сказал Пустовцев, — вы, кажется, обиделись? Что ж тут такого? Это ведь ремесло ваше. С меня же берут доктора за то, что приготовляют к смерти.

— Я, милостивый государь, не приготовляю, а напутствую умирающих.

— Все одно! Перемена только в слоге.

— Извините, что я вас побеспокоил.

— Меня? Да вы ведь не ко мне пожаловали.

— Знаю. Вам и не нужны наши утешения. Дай только Бог, чтоб вы сами не потребовали их когда-нибудь поздно и бесплодно!

— Постараюсь! — дерзко и гордо ответил Пустовцев.

— Батюшка, — сказала горничная, подходя под благословение, — барыня вас просит.

— Позволите? — сказал священник.

— Сделайте одолжение! Однако ж не будьте на меня в претензии.

— Милостивый государь! Если б вы меня и более оскорбили, я все-таки не пошел бы теперь от вас. Когда разят воина на поле брани, он должен стоять; так и мы — недостойные служители алтаря Господня.

— Какие, однако ж, низкие характеры у этих попов! — почти вслух сказал Пустовцев, провожая презрительным взглядом уходившего к больной священника.

Чахотка быстро и сокрушительно добивала свою жертву. Marie уже потеряла голос и часами почитала жизнь свою. Благочестивый служитель алтаря Господня всякий день по нескольку часов оставался у больной, врачуя и укрепляя душу страдалицы в тяжелой борьбе с мучительным раскаянием. Пустовцев в такие часы никогда не входил в спальню жены; он видеть не мог этих, по его выражению, тунеядцев, которые живут на счет суеверия тупых голов.

В последний, однако ж, день Marie настойчиво потребовала к себе мужа при священнике. Тихим, но грозным взором встретила она своего Валериана и трепещущей рукой указала ему место у ног своих.

— Ну что, батюшка, — сказал Пустовцев с злой усмешкой, — как идет ваше леченье?

— Слава Богу, — смиренно отвечал священник.

— Да вы как лечите ее — на живот или на смерть?

— На живот, Валериан Ильич, на вечный живот.

— Лучше бы на временный, а вечный-то поберегли бы для себя.

— Марья Онисимовна не захочет теперь променять своего вечного на ваше временное.

— Будто?

— Уверяю вас моим иерейским словом.

— Отчего ж это?

— Оттого, — сказал иерей Божий, и голос его сделался грозен, — оттого, что вы отравили ее временное счастье; оттого, что вы заразили ее такой болезнию, которой не вылечить бы мне никогда, если б не благодать Божия. При ее лишь всесильном действии открылась растленная вами душа страдалицы к святым утешениям веры и надежды на небесные обетования… Боже милостивый! Что было бы с нею, если бы она осталась при том отчаянии, в которое вы ввергли ее вашими богопротивными правилами и неосторожными внушениями… Валериан Ильич! Не обижайтесь моим дерзновением; я говорю не от себя, но от имени Того, Кому служу и Кого вы не хотите знать. Придет пора, когда Он Сам скажется вам… но да сохранят вас силы небесные от страшного суда Божия!..

На глазах служителя алтаря заблистали искренние слезы сокрушения о погибающем. Marie рыдала. Пустовцев бросил гневный взгляд на священника и наклонился к жене.

— Валериан, Валериан, — сквозь рыдания шептала страдалица. — Опомнись, покайся!

— Уж поздно!.. — отвечал с страшной улыбкой отступник.

— Никогда не поздно! — отозвался священник. — Бог…

— Оставьте, отец святой, ваши назидания! — гневно перебил Пустовцев. — Они мне не нужны. Я лучше вас знаю, во что мне верить и чего надеяться. Рассказывайте ваши бредни глупым суеверам. Может быть, вы спасете их этим от общей участи всего земного. Оставьте ж меня и делайте свое дело!

И демон-соблазнитель вышел из спальни умиравшей своей жертвы…

В ночь эту не стало Marie. Успокоенная, примиренная с небом, она тихо отошла в ту страну, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания…

Возмутительно-страшно было отчаяние Пустовцева. Отказавшись от утешений религии, увидав разрушение мечтательного своего счастья, всеми покинутый и оставленный, он заперся в своем кабинете, предоставив прислуге последние попечения об усопшей. Только тогда, когда шумная толпа окружила дом в ожидании выноса тела, вышел он из кабинета — бледный и мрачный.

— *Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя*, — читал псаломщик мерным, протяжным голосом.

— Замолчи! — крикнул Пустовцев. Все предстоявшие вздрогнули. Он приблизился к гробу, вмещавшему в себе бренные останки его жертвы, окинул презрительным взглядом святыню, принесенную из храма Божия в дом плача и рыданий, и медленно пошел во внутренние комнаты, дав знак начинать последнюю церемонию.

Не было недостатка в любопытных, провожавших гроб страдалицы; не было недостатка и в слезах позднего сожаления. Люди плакали, как крокодилы, над убитой ими жертвой…

Процессия приближалась к кладбищу. Звучное и грустное пение хора далеко разносилось по окрестности, и будничные труженики бросали свои занятия и опрометью бежали в улицу, где представлялся предмет их праздному любопытству.

У самого подъезда к кладбищу стоял дорожный экипаж; он медленно отъехал в сторону, заметив приближение печальной колесницы. Сняв шапку, приподнялся кучер на козлах и стал набожно креститься. Гроб внесли в ограду. У часовни Надежды Софьиной стоял какой-то господин, одетый по-дорожному. Он только что кончил молитву, и на глазах его еще не высохли слезы тихой христианской грусти и теплого чувства. Проезжий повернулся и спросил проходившего мимо гробокопателя: кого это хоронят?

— Пустовцеву-с, барыню, — отвечал гробокопатель, проворно удаляясь.

Проезжий задрожал; обеими руками оперся он о холодную стену часовни, и слезы ручьем полились из не обсохших еще глаз его.

Это был Софьин.

Вдруг по всей толпе электрическою искрой пробежало какое-то смятение.

— Что такое? — спрашивали одни.

— Застрелился, — отвечали другие.

— Кто?

— Пустовцев.

И устрашенная толпа разошлась с кладбища, и никто не пошел в дом, покинутый страдалицей и заклейменный самоубийством отступника.

На другой же день к ночи видели белый сосновый гроб, вывозимый за город полицейскими служителями в сопровождении квартального да двух каких-то баб и полупьяного инвалида,

беспечно рассуждавших о происшедшем. Прохожие останавливались на минуту, но, не видя ни креста, ни иконы, удалялись, не сказав даже покойнику «царствия небесного». А в модной ресторации, мимо которой везли белый сосновый гроб, раздавался громкий, но неверный голос Племянничкова, распевавшего во все горло: «Вот развалины те! На них печать проклятья; на них отяготел правдивый гнев Небес!»

Записки звонаря

I

— А ужасно скучно, должно быть, жить этому старику в колокольне! — сказал кто-то, проходя мимо моей кельи. — Мало, что скучно; одному даже страшно! — прибавил другой голос.

Вот притча-то, думал я, как же это мне доселе не пришло это в голову? Дай-ка, в самом деле, поразмыслю, уж впрямь не скучно ли мне, не страшно ли? Сел я себе на пенек или, то бишь, на стуло, потому что пеньки бывают в лесу, а это, что у меня стоит в келье, стуло называется. Сижу себе, знаете, да и думаю и никак не думаюсь, почему ж бы это надо быть мне скучно и даже страшно. Думаю еще и вижу, что мне становится как будто веселее и не в пример покойнее прежнего. А помню, точно помню, что на первых порах я скучал и боялся чего-то: стукнет в углу — я вздрогну; затрещит в печке — оглянусь, даже стоя на молитве; а бывало и так, что ничего нет, тишь такая, что даже слышно, как мысли в голове бродят, а сердце так и сжимается, так и сжимается какою-то боязнью. Но это было давно, очень давно. Теперь мне даже непонятно, отчего тогда нападало на меня страхование такое. Люблю, сердечно люблю уединенную мою келью в колокольне: тихая, спокойная и преудобная-удобная. Вот скамейка, на ней и полежать можно; вот стол сосновый, а это полочка, на полочке горшочек и ложка — чего ж еще не достает мне? Не знаю, можно ли найти где-нибудь место удобнее для житья. До гроба не оставлю моей кельи, разве уж по грехам моим лишат меня ее. И чего это люди жалеют обо мне? И я ведь не обделен Господом Богом. Не всем одно, а всякому свое: *овому талант, овому два,* иной полки водит, другой суд судит, тот градом правит, а такой, как я, грешный, на колокольне звонит, — что ж, все, стало быть, при месте. Нужно только приспособиться, как исправлять его по Божьему, — ну, и хорошо будет, и спокойно, и не страшно. Право, премудро устроен мир Божий! Как птички на большом дереве — одна выше, другая ниже, а все могут подняться на высоту небесную; иная, нижняя-то, глядишь, опередит еще верхнюю…

Я один, говорят они: как один? Со мною — я сам, а сам я — целый мир. Я рассуждаю сам с собою, разговариваю, да чего? — даже сожалею иногда, что я не один, что во мне как будто много людей: один человек во мне хочет того, другой — другого. Господи! как хорош кантик, который у нашего настоятеля пели как-то маленькие певчие. Я нарочно списал его у Миши — добрый мальчик! — перепишу и в эту тетрадку.

Какой во мне внутрь спор ужасный!

Двух человеков зрю в себе:

Один, к добру любовью страстный,

Влечет меня, Творец, к тебе;

Другой зло любит, зло творит,

Твоих законов не хранит.

Один, дух чистый, устремляет

Все чувства, мысли к небесам;

В ничто земное все вменяет,

Свое блаженство ищет там;

Другой же к суетам манит,

Грехами душу тяготит.

Один, как херувим Эдема,

Мое блаженство стережет

И от погибельного плена

Меня тревожно бережет.

Другой же, как прельститель змей,

Готовит плен душе моей.

Один в молитве и терпеньи

Судьбе покорным быть велить,

И сладким гласом примиренья

С душою часто говорит;

Другой же горд, непримирим,

Злопамятен, неукротим.

Один мне веру показует,

Бессмертье в Господе сулит,

Сомненье всякое врачует,

Про жизнь загробну говорит;

Другой ничтожеством грозит,

Надежду с верою мертвит.

В борьбе всечасно изнывая,

К тебе, о Боже, вопию,

Услыши, Троице преблагая,

Молитву грешную мою,

Да обрету моей душой

В Тебе ослабу и покой![229]

Гм, — один: а Бог-то разве не со мною? Без Вездесущего разве можно где-нибудь быть? А ангел-то хранитель, а угодники-то Божии?.. Люди думают, что они когда-нибудь бывают одни: неправда. Бог с ними на всяком месте владычествия Его. Вот оттого мне и не страшно. Кого мне бояться? Людей — не из чего; на диавола есть у меня крестная сила. Не я его, а он меня должен бояться. Он хоть и злобен, но безоружен: а я имею оружие, которое сильно дать мне всегда непобедимую победу. Поди-ка, подступись!..

А как весело-то мне на колокольне! Дальше от земли и ближе к небу; над головой лазурь небесная, а под ноги и взглянуть не хочется. Бывает, правда, что у добрых моих колоколов меня и гроза Божия застанет, и колокольня пойдет ходить ходором: ну что ж, лишний раз перекрестишься, лишний поклон положишь да лишний раз воздохнешь о грехах своих тяжких. Душе польза.

II

Вчера у нас — православных — был целодневный звон, ради торжества высокого.

Назвонившись, сколько сил моих достало, присел я на кирпичике тут же, около моих говорунов-колокольчиков, и стал глядеть на галок-чернушек, что сидели себе рядышком по карнизу. «Ахти, кумушка, — сказала одна, — звонарь-то наш никак жениться хочет». — «Провались ты, окаянная!» — сказал я. — «И то, жениться, — говорила другая. — Вишь ты — какую мягкую постель себе приготовил». — «И сиденье-то какое роскошное!» — прибавила третья. «То-то слышу я, — сказала прилетевшая галка, оправляя крылышки и прохаживаясь меж подругами, — трезвон такой свадебный: что бы это такое? подумала я, да и прилетела к вам, подруженьки. Ан видишь что: звонарь женится. Этакое диво!» — «Ах, вы щекотухи этакие, пусто б вас было!» — крикнул я с досадой, чуть не свалясь с покойного кирпичика. Чу, что это такое? Звон, право же, звон, да какой! Отродясь такого не слыхивал. Словно и в самой вещи галки затеяли играть бесовскую свадьбу. Протираю глаза, крещусь — глядь, точно звонят, и кто ж бы вы думали? Наши-таки студентики. Не понравился, видите, им уставный звон, так они выдумали это потрезвонить по-своему, по-модному. «Вот они галки-то свадебницы!» — подумал я, и таково мне кручинно стало. Огорчился я маленько, да и говорю: «…Ну, не стыдно ли вам, люди ученые, наругаться так над церковным звоном? Ведь у вас, — говорю, — что это такое выходит? Плясовое какое-то дело, бесам на потеху. Как же это можно? Вы поглядите-ка, кто изображен на колоколах-то. Вверху вон Спаситель благословляющий, а по другую сторону Братская Божия Матерь; внизу со всех четырех сторон угодники Божии, святые Петр, Алексей, Иона и Филипп: так как же вам не грех такую святыню обращать в цымбалы? Целомудренный звон, коли хотите знать, есть продолжение того молебна, который служили в церкви Божией и который заключили молитвою: *подаждь, Господи*, то и то Благочестивейшему Государю нашему и всему царствующему Дому; стало быть, когда звонят до самых вечерен, то, значит, внушают, чтобы мы из ума не выпускали этой молитвы, по заповеди Апостола». — «Завирается старик», — сказали молодые люди, и, однако ж ничего, не больно разгневались на речь мою смелую, а пошли себе тихохонько с колокольни.

Проводив их, я позвонил как следует, по-уставному, а далее стал этак, опершись об стенку, да и задумался. «Завирается», — сказали они; ну, положим, завирается; на то он старик, и еще неученый старик; да и от завиранья-то его стариковского беды еще не Бог знает сколько; а вот это как назвать, спрошу я вас, господа ученые, это как назвать, коли человек берется за дело не умеючи, отталкивает от него других умелых и делает его как попало — или для

собственного прибытка, или из-за тщеславия, или просто для своего удовольствия? Иному лишь бы забраться повыше, на колокольню, чтобы все его видели, а чтобы приспособиться к делу, об этом и горюшка мало и в помышлении того нету. Только бы позвонить как-нибудь почуднее, чтоб, знаете, проходящие подняли головы к верху да сказали: «Вишь он какой! звонит-то не по старому, а как-то другим манером; дока, должно быть!» А этот дока только и умеет, что чудасийные вещи строить да ломаться и коверкаться, на колокольне стоячи.

Крепко не люблю я, когда кто берется звонить у меня на колокольне, не приспособившись к этому делу. Грешный человек, — так-таки и гоню! Эх, когда бы и с других колокольней гоняли этих незваных звонарей: складу и ладу не в пример было бы больше, да и народушко-то православный не соблазнялся бы неуставным звоном.

Пробило девять. Пора звать людей Божиих и к обедне Господней.

III

Иду я себе как-то раз по нашему-то таки монастырскому двору, нагнувшись, по обычаю: обычай-то этот у меня не так давно стал обычаем, а то я, как и все грешные люди, смотрел прямо всем в глаза, а подчас и с усмешечкой, когда повстречаешь бывало, примером, человека в каком-нибудь безобразии, да отучила одна — и пусть бы какая подвижница, а то, не в осуждение ей будь сказано, женщина, каких много в нашем граде. Идет, знаете она себе, такая разряженная, что… фу, ты пропасть! Шляпка чуть на затылке держится, платье широты невообразимой… видите ли, все разглядел! — я зирк на нее, да и уставил мои дурацкие глаза. Она тоже глядит на меня, очей не спускаючи. Таково мне досадно стало! — Чего ты, говорю, уставилась на меня? — А ты, говорит, чего, тряпица этакая? — Право, так-таки и сказала, и тряпицей обозвала. Я маленько присмирел. «Твое дело, — говорит мадам, — глядеть в землю, ради того, что ты от земли взят, а мне можно и на тебя смотреть, потому что жена от ребра мужняго взята есть». И пошла. Вот тебе раз, подумал я, да с тех пор и положил себе зарок ходить потупясь. Ну их! А то, пожалуй, еще и не так выбранят.

Только раз, говорю, иду этаким манером по двору монастырскому; захватило мне дыхание; вот я и приостановился, чтобы вздохнуть посвободнее. При этом поднял я голову; в глаза мне бросилась колокольня моя. Не впервой мне ее видеть, да в первой пала на сердце дума такая. Стоит она — моя голубушка, такая стройная, такая белая, словно невеста под венцом, и чем выше, все у́же, у́же. Вот это меня и заняло. Ради чего это, думаю я, поставлена она так, что внизу шире, а к верху все у́же? Сказал я сам себе ответ на это, а записать его поудержался на ту пору: погожу, мол, с людьми умными наперед посоветуюсь. Раз это, по вечеру, вижу — ходит по дорожке, вон той, где рябина-то стоит большая, студентик нашей академии; я знаю его: сурьезный да богобоязливый; идет в ученье, непременно остановится насупротив храма Божия и помолится. Я к нему. Прости, мол, Бога ради, голубчик; вразуми ты меня, говорю, на счет колокольни, отчего это… ну, и положил, знаете, на его рассуждение все, что надо. Стал он это мне объяснять, — ну, хоть убей, ровнешенько ничего не понял! Недаром называют меня бестолочем. А говорил студентик все про законы, да такие, что я и не слыхивал, падения да тяготения, да сим… сем… нет, не выговорю. Поклонился я, выслушав его, да и пошел к себе. Нет, думаю, мудрено больно, а по-моему, так это делается просто для того, чтобы и постановкою-то колокольни вразумить нас грешных жизни духовной. Широк человек первонаперво, когда только приступает к богоугодному житию: тут у него и фундаменты разные, прикрепляющие к земле, и камни тяжелые, естество его облегающие, а поднимется маленько в подвиге молитвенном — станет потоньше и полегче, и чем выше, все тоньше, все легче, так что к концу-то делается стрелка стрелкой, вон как шпиц, сияющий с крестом Господним. И уносится он в лазурь небесную, и стоит там, не касаясь земли. Вот она притча-то какая! А все колокольня моя навела меня на такое рассуждение. Справедливо рассуждает Каллист

Катафугиот в Добротолюбии: «…всяко помышление яве яко от вещи бывати естество имать; а идеже вещь не зрится, помышление ниже раждается, ниже убо обретается».

IV

Мудреный народ эти студенты! Вчера вечерком сижу это я на пороге моей кельи, гляжу, — подходят ко мне двое веселые-развеселые. — Старина, — говорит один, — откуда происходит колокольный звон?

— Как, откуда, — отвечаю я, — вестимо с колокольни и от колоколов.

Они засмеялись.

— Что ж тут смешного? Вы сами, я думаю, званивали у себя в деревне, ну так знаете, как дело это бывает: ударишь языком о бок колокола, он и загудит.

Они еще пуще засмеялись. Такие проказники!

— Я не о том тебя спрашиваю, — заговорил все тот же юнош.

— О чем же?

— О том, когда и где впервые начали звонить в колокола; кому пришла в голову мысль употреблять колокол как средство для собирания верующих в храм Божий.

Я молчал.

— Что ж, старина, не знаешь?

— Не знаю, говорю, простите, Бога ради!

Вошедши в свою келью, я начал думать: в самом деле, по каким это побуждениям люди ввели в употребление колокола? В первые времена христианства, конечно, не звонили, — еще бы! Тогда было не до звона; нужно было втихомолку собираться на молитву, даже своим языком не звонить о том, куда идешь, чтоб не попасться в руки гонителей и не наделать беды всему обществу христианскому. Когда гонимые поклонники Христовы расходились по лесам и пустыням, — колоколов опять не было и быть не могло, а били, должно быть, дерево об дерево али в доску какую-нибудь. Откуда ж колокол-то? Ужасно мудреный вопрос!

А между тем как в старину не было ни бил, ни колоколов — усердствующих к службе Божией, пишут, не в пример было больше. Странное существо этот человек! Запрети ему что-нибудь — сделает, непременно сделает; вели — не сделает. Древних христиан гнали, били, жгли, мучили, смерти предавали: «Не ходи, — говорили мучители, — в храмы христианские, не покланяйся Распятому; ступай с нами в капища, кланяйся нашим богам, вот тебе за это и почести, и золото», — нет же, христиане и знать ничего не хотели, шли себе, не дерзая иногда думать даже о том, чтоб воротиться домой подобру-поздорову. А теперь… Господи Ты, Боже мой! — колокольный звон стоном стоит, призывая верных на молитву; храмы Божии отверсты; служители алтаря вопиют в слух всех: «Идите, православные, будем вместе молиться Господу Богу, Спасителю нашему и Пречистой Его Матери; сонм угодников и святых Божиих ждет, чтоб принести вашу молитву Отцу небесному», — ни ответного гласа, ни послушания. Точно, Господи прости, уши заткнуты!

Сегодня и я таки спросил нашего отца диакона: для чего это звонят в церквах? — «Для

порядка, — отвечал он мне, — чтоб люди знали, когда идти в церковь». Может быть, и так; кто его знает! Только вот что я в толк не возьму: в древности, когда не было раз навсегда определено время богослужения, христиане знали его очень хорошо: отчего ж теперь-то нужно напоминать им об этом? Узнал бы время человек, когда бы почаще ходил в церковь Божию да был повнимательней к богослужению, а то заглянет в месяц, а иногда и в два месяца один раз, вот тебе и все! Слышал я, что даже есть такие, что и по полугоду и по году в церковь не заглядывали: как же они будут знать время? Да и звонишь-то иногда понапрасну, особенно в будни. Так и представляется мне живою притча Спасителя; один говорит — *волов купих, иду искусити,* другой *на село* отправился, а третий *жену,* говорит, *поях,* — всем, стало быть, дело есть, как будто служение Богу меньше другого дела. О-ох, ох, ох! То-то и есть-то! Если б погромче звонила в человеке совесть, то, может быть, и колокола были бы не нужны. «Молись, — пишет преосвященный Михаил митрополит, — не только тогда, когда услышишь колокольный звук, но и тогда, как совесть твоя позвонит в сердце твое и произведет мысль о вездесущем Боге». А я все-таки буду звонить, потому что надо звонить, потому что звон может быть полезен человеку. «Благовестят того ради, — напечатано в книге, нарицаемой *Пращицею*, — которые люди за каковым кому случится недосугом и непраздностию во обдержании Приказом и прочая, не быти при Божественной литургии, и тии вси да будут оным благовестом известни о оном Духа Святаго пришествии, и да услышавше упразднятся от дел своих и да отдадут благолепное поклонение Господу нашему Иисусу Христу, в таинствах оных сущу». Матушка моя (дай ей Бог царство небесное!) всякий раз, как бывало услышит благовест «к достойну», и сама станет перед образами, и нас, малых детей, поставит на коленки: «Молитесь, — скажет бывало, — в эту минуту тайна великая совершается; ангелы небесные славят Бога, *поюще вопиюще, взывающе и глаголюще: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея!*»

Гудите ж, мои колокола, громче и звонче, будите уснувшую совесть и грешника; благовествуйте ему тайну велию, совершаемую в Божественной литургии!

V

Бом-м, — ударил я один раз в колокол и прочитал: *Блажен муж;* бом-м, — ударил я в другой и прочитал: *Вскую шаташася;* бом-м, — ударил я в третий и прочитал: *Господи, что ся умножишася,* и так до тридцатого псалма, неспешно, медленно, с трезвением и вниманием, как положено делать это дело во дни Св. Четыредесятницы. Положил я потом три земных поклона и стал размышлять: отчего это в Великий Пост и благовестить-то заповедано не так, как в прочие дни? Зачем этот печальный, медленный, заунывный звон, словно будто где-нибудь случилось несчастие какое, примером, пожар всеистребляющий али человек умер? Отчего, на что, для чего это? Уж и впрям нет ли несчастия какого? Ох, есть, да и какое еще! Великое, шире пламени, за один раз потребляющего палаты и хижины, леса и поля, — неогляднее разлива водного, потопляющего все живущее на земле. Загорелись души человеческие, души христианские, охватил их со всех сторон пламень греха и нечестия, пламень похоти мирской, и гибнут, гибнут они — бедненькие, испепеляясь и падая на дно адово обгорелыми остовами. Видит это Церковь Христова с высоты своей и речет гласом колокола к душам, объятым пламенем, чтоб они спешили, пока еще есть в них дыхание, к живоносному источнику покаяния, чтоб они погружались в водах его, текущих в живот вечный, чтобы спасались от конечного погубления. Видит Церковь Господня и умерших уже духовно и, болезнуя об них, возвещает о таком своем несчастии миру Божьему: *Слыши, небо, внуши, земле; сыны родих и возвысих, тии же отвергошася мене. Рахиль плачущися чад своих, и не хотяше утешитися, яко не суть.* Вот в чем горе ее тяжкое и скорбь неутешная! Дети, духовно порожденные ею, воспитанные и взлелеянные *не суть,* умерли, — и велит она — Мать сиротеющая — колоколам своим говорить небу и земле о такой великой своей потере: *сыны родих и возвысих, тии же*

отвергошася мене… Знает она и о праведном прещении Божием еще на живых, но грешных и все-таки дорогих ей детей, видит вдали и тучу гнева Господня, грядущую на нераскаянных, и томным, заунывным звоном колокола возвещает чадам своим находящую беду. «Ко мне дети мои, ко мне, дорогие мои! — говорит она, широко распростирая крылья свои, словно кокош, собирающий птенчиков своих. — Я вас спрячу, я вас укрою от тучи-грозы. Сильней меня в мире нет! Слышите ли, дети мои, что Господь говорит: *се гряду скоро и мзда Моя со Мною воздати коемуждо по делом его…*»

Да, да, да! Если когда, то вот именно в эти великие дни Св. Четыредесятницы звон колокола «означает будущий суд и трубу ангельскую из гробов созывать к общему суду имеющую»…

Ох, Господи, Господи! *Аще беззакония назриши, кто постоит? Помилуй же* нас *по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония* наша. *Не уничижи*, Господи, *сердца сокрушенна и смиренна!*

VI

— Старик! — сказал мне сегодня тот господин, которого вижу я всякое утро на дворе нашем монастырском.

— Что, батюшка? — сказал я с низким поклоном.

— А как называется то, чем ты ударяешь о бока колоколов?

— Язык, батюшка.

— Язык?

— Язык, говорю.

— То-то ж и есть-то!

С тем и пошел он от меня.

Что бы это за притча такая? — думал я, провожая его глазами. С какой стати вопросил он меня об этом и ради чего промолвил под конец: то-то ж и есть-то? Человек он, сказывают, добрый и умный, всякими науками занимается и о природе человеческой рассуждает: так может ли быть, чтоб он это сказал так только, чтобы позабавиться надо мной и затуманить меня, простака. Не может, никак не может быть! — Вот я, знаете, этак стою себе, да и думаю, — что ж, хоть мозги все вывороти, ничего нету, да и полно. Господи ты, Боже мой! — сказал я под конец с сокрушением сердца. — Уродится же такой бесталанный человек, как я, грешный! — На ту пору слышу тара-та-та-та, тарата-та-та. А это, знаете, идут две бабы-торговки, да так-то перебраниваются с собою, так-то обносят одна другую нечестными словами! Тут меня как будто светом осияло. Вот оно, думаю, что означает притча-то того господина! Колокольный-то язык, батюшка мой, только и делает, что поведает славу Господню, да воззывает нас грешных к покаянию и памятованию часа смертного: а человеческий-то на какие только речи не употребляется. Колокольный-то перестал раскачивать, ну он и угомонится; а человеческого иного не уймешь ни добром, ни уступчивостью, — знай себе болтается и трезвонит дробь какую-то неподобную.. *Всяко естество,* — говорит апостол, *— зверей же и птиц, гад же и рыб укрощается и укротится естеством человеческим: языка же никто же может укротити, неудержимо бо зло, исполнь яда смертоносна. Тем благославляем Бога и Отца, и тем кленем человеки, бывшия по подобию Божию; от тех же уст исходит благословение и клятва*[230]. Вот для чего и поется в Пост Великий: *положи, Господи, хранение устом моим и*

дверь ограждения о устах моих.

Дай же Бог здоровья доброму господину, что он навел меня на душеполезную мысль. Чудно, право, устроено все на белом свете! Поглядишь на иное дело, и покажется оно тебе так, ничем, даже меньше, нежели ничем; а как вдумаешься вплотную, так и скажется оно тебе и уроком, и назиданием. Не нужно только по верхам глядеть да ворон считать.

VII

Часто приказывают мне звонить по покойникам; ну, я и звоню и думаю в это время про себя: что такое покойник? Спрашивал однажды я об этом знакомого мне студента; как принялся он мудрить да хитрить, так я и голову повесил. Вопрос, кажись, простой, чего тут мудрить? Из всего мудрования его вышло только то, что покойником называют человека умершего; да я об этом и прежде знал. Да почему ж так называют-то, вы мне скажите? И можно ли всякого умершего человека назвать покойником? Тело умершего кладут в гроб, относят на кладбище, зарывают в могилу; через несколько времени оно там истлевает: неужели ж тело это называется покойником? Нельзя, никак нельзя! Конечно, оно само не двигается, ну так его двигают черви и тление. Какой же тут покой? Оно и то сказать, что для тела нет ни покоя, ни беспокойства. Стало быть, другое что-нибудь в умершем называется покойником. Должно быть, душа. Но хорошо, если она угодила Господу Богу и заслужила себе место в обителях райских, где святые покоятся; там действительно можно найти покой, о чем мы и молимся: *со святыми упокой, Христе, души раб твоих.* А если чья душа не угодила Богу, что ж она за покойник? Какой ей покой? Где она возьмет его, и кто ей даст его? Нет, грешной душе нет там покоя ни внутри, ни вне себя. И на том свете не свободна она, бедная, от работ житейских, от земных привязанностей, которые вросли в нее и останутся при ней на всю вечность, разрастаясь все более и более, словно огонь в сухом валежнике. Совесть покоя не даст, снедая ее, как червь могильный; демоны начнут потешаться над нею, терзая ее неистовыми своими восторгами и адским хохотом, играя ею, как перышком, и увлекая туда и сюда, как вихрь увлекает собою легкую пылинку. А там с земли вопиет к небу кровь неповинных, несутся слезы и вздохи оскорбленных, падая на нее свинцовым дождем и огненным туманом; а там Божие Правосудие гремит ей вечным проклятием, невозвратным отчуждением от божественного света и блаженной жизни. Что ж она за покойник?

О Господи! Прости моя согрешения вольная и невольная! Избави вечных мук мою грешную душу! Боже, очисти мя и помилуй!..

Читал я в Житиях святых, что угодникам Божиим уготованы обители светлые, преукрашенные, — то-то, должно быть, покой-то там!.. А грешникам что? Будет, конечно, и для них обитель, да лучше б ее не было, лучше бы и их самих не было...

Упокой, милосердый Господи, души усопших рабов Твоих, братий наших! Упокой и мою грешную душу, когда тебе угодно будет взять ее от земли!

Так думаю я, когда мне велят звонить по покойникам, и медлен, крепко медлен становится звон мой...

VIII

Сей час говорили мне какие-то светские люди: «Зачем ты, старик, не даешь нам покоя твоим погребальным звоном? Ведь это тоска, это напоминает смерть».

— А дозвольте спросить, — сказал я, — вы — смертны или бессмертны?

— Бессмертны, — отвечал один с усмешкой.

— Ну, так чего ж вам бояться смерти?

— Да скучно, старик.

— Что ж для вас скучного в погребальном звоне? Это благовест о преселении человека из временной жизни в вечную.

— Не то, старик, — перебил другой, — потому скучно и тоскливо, что мы все — смертны.

— Смертны? А, это другое дело! Отчего ж вы боитесь думать о смерти? С нею, ведь, друзья мои, не со своим братом, — на лыжах от нее не уйдешь, в темном лесе не спрячешься. Чем меньше об ней будешь думать, тем она страшней покажется. Св. Иоанн Лествичник, знаете, что говорит: «Молись часто при костях мертвецов и впечатлевай в сердце твоем неизгладимое об них воображение». А Премудрый так повелевает: *помни последняя твоя, и во веки не согрешиши.* Простите, однако ж, мне, други мои, не мне вас учить. Вы люди ученые, а я — только звонарь.

Они сказали мне спасибо, поклонились и пошли.

Бедняжки!.. Им несносен звон погребальный; им страшно одно воспоминание о смерти: что ж будет с ними при самой смерти? Каково-то будет душе их, когда я позвоню и над их гробом!..

IX

— Здорово, старинушка! — сказал мне сегодня знакомый господин. — Я сердит на тебя.

— За что, батюшка? — спросил я.

— Да как же за что? Я только что собрался было уснуть этой ночью, а ты поднял такой трезвон, что в ушах затрещало.

— Простите, Бога ради, — сказал я, поклонившись. — Это я к заутрене звонил.

— Бог простит! — сказал он и пошел от меня.

Вот искушение-то! Без вины виноват оказался. А вольно ж им, этим господам, извращать Господом Богом положенный порядок! Вон и птица Божия и зверь лесной наблюдают его, а человек, лучшее творение Создателя, *умаленный малым чим от ангел,* и думать о нем забыл: день у него делается ночью, а ночь днем, — Бог знает что такое! И диво бы такие люди, как богоотец Давид, проводили ночи без сна за молитвой и исповеданием Господу Богу, а то… сказывал мне как-то студент нашей академии, что в этих напролет целую ночь освещенных домах люди молодые пляской занимаются, а те, что постарше, в карты играют, а то театры представляют и всякое такое, — нечего сказать, нашли дело! Но *да не возлаголют уста моя дел человеческих;* лучше буду *яко глух и яко нем не отверзаяй уст своих,* буду *яко человек не слышай и не имый в устех своих обличения;* лучше *возвещу беззаконие мое и попекуся о гресе моем.* Но звонить, как там они себе хотят, не перестану, даже еще громче, еще больше буду звонить. Авось проговорит в ком-нибудь совесть, дремлющая до святой заутрени; авось перекрестится мирской человек, спешащий в дом свой после беспутно проведенной ночи и воздохнет о душе своей окаянной. Звон церковный на то ведь и учрежден, чтобы пробуждать человека от дремоты духовной и прогонять от одра врагов нашего спасения. «Когда, — говорит св. Иоанн Лествичник, — звонят в колокол, то невидимо стекаются враги душевные, кои,

становясь у нашей постели, по восстании нашем от сна паки на постелю лечь нам советуют: помедли, говорят они тебе, пока еще начнется пение, успеешь еще придти в церковь».

Господи Вседержителю Боже сил! даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти, да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови.

X

— Что это ваши часы замолчали? — спросил меня сегодня какой-то молодой человек, должно быть, студент нашей академии. — Я страх как люблю бой часового колокола.

— Хорошее дело, радость ты моя, — сказал я. — Верно, вы любите думать при этом о вечности.

— Вовсе нет! Звон часового колокола возбуждает во мне мечтательность.

— Что, батюшка?

— Мечтательность; да ты не поймешь этого, старик; ты уже отжил свое время.

И пошел он от меня, напевая что-то. Я разобрал только первые слова: «…вечерний звон, вечерний звон».

— Надоели мне ваши проклятые часы! — сказал мне тоже сегодня другой, уже пожилой, господин. — Я рад, что они, наконец, замолкли.

Сказав это, он пошел от меня.

Господи, прости мое согрешение! Не в осуждение будь сказано, а ведь оба эти господина, даром, что один из них скучает без часового колокола, а другому он надоедает, вряд ли лучше один другого. Первый вместо воспоминания о вечности гонит его от себя прочь какою-то пустою мечтательностью; а другой прямо сердится ради того, что память-то часа смертного сама лезет ему в голову. Да колокол для того и гудит, чтоб говорить о времени, пропадающем в вечность. Певчий Миша пропел мне как-то раз, а я записал:

Лишь ударяет

Колокол час,

Он повторяет

Звоном сей глас:

Смертный, будь ниже

В жизни ты сей,

Стал ты поближе

К смерти своей.

А в книге, именуемой *Новая скрижаль,* сказано вон что: «…бываемое ударение в железное или медное било будущий нам суд и трубу ангельскую, из гробов созывать к общему суду имеющую, означает».

XI

Слава Тебе, Господи! Вот я грешный и до Пасхи дожил! А боялся, крепко боялся умереть, не дождавшись этого дня. Уж стар стал, дряхл, немощен; вот и ноги не ходят, и глаза плохо видят, и в руках силы нет, совсем-таки ни к чему не гожусь, — так по тому самому и боялся умереть до праздника Христова. Конечно, умереть нужно же когда-нибудь, да хотелось еще послушать божественного, любезного и сладчайшего гласа ликующей Церкви, Матери нашей. Господи, как хорошо мне теперь! И на небо не хочу, потому что Воскресший Господь и Бог мой, в день Своего восстания, и землю делает небом…

А умереть все-таки придется. Боже мой! Сподоблюсь ли я там-то со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати! Ох, грехи наши тяжкие! О немощь человеческая! Вот хоть бы о себе сказать: не в похвалу кажучи, стараюсь звонить вовремя, исправно и в такту: а, грешный человек, иногда проспишь уреченный час, в другой раз кусок лишний съешь, ну и лезешь на колокольню-то, словно с кулем осмипудовым, да и звонишь-то торопясь, скороговоркой произнося затверженные мною псалмы на всякий час и потребу по моей должности. А ведь все это грех, все это от лукавого; Богу за все надо ответ дать. К чему ты приставлен, то и исполняй, да поусердней исполняй, имея в виду славу Божию. Исполнишь — спасешься; не исполнишь — пропала душа твоя навеки! Оно и то сказать: усердие усердью рознь. Иной усердствует и добрыми, кажись, делами: часа по два на молитве стоит, по святым местам ездит, богадельни устраивает, книги читает все душеспасительные, а других-прочих терпеть не может, благотворит неимущим и благодетельствует странным, а после всего того и звонит о своих добродетелях во вся тяжкая, вот точно как и я о моем усердии к звонарству. Все это непорядок, неугодно Богу, нехорошо. *Помилуй нас Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, Господи, приносим: помилуй нас.*

Двенадцатый час. Хотелось бы соснуть немного; сон так и клонит, так и клонит. Непостижимое дело! В другое время сидишь себе вплоть до поздней заутрени — ничего; а тут, словно сила какая, так и тянет тебя вздремнуть. Душа ждет не дождется благовестия о воскресении Христовом, а плоть спать хочет, как будто ей и дела нет до праздника, как будто ей не нужно ни Христово, ни свое воскресение. Недаром сказал св. апостол: *не живет во мне сиречь, в плоти моей доброе*[231]. Нет, уж как ты себе хочешь, лукавая плоть, — не послушаюсь тебя! Не послушаюсь, — легко сказать, не послушаюсь, — а чуть пера из рук не выронил. Помоги моей немощи, ангел мой хранитель!

Скоро двенадцать часов. Теперь почти все в эту пору не спят, а кто и спит, тот поднимется. Святые жены мироносицы пришли *зело рано* к гробу Господню, даром, что не знали, что Господь воскрес, а пришли *зело рано* и, уж конечно, без звона.

Две минуты до двенадцати. Пойду на колокольню. Ну, мои милые колокольчики! Давайте поговорим на великий праздник. У вас и звон-то как-то веселей в эти дни: словно музыку играете. Вы ведь иногда звоните у меня целодневно в дни высокоторжественые и победные и звоните так весело и звонко: как же не звонить вам теперь в этот праздников праздник, торжество торжеств?

Пойду звонить и возвещу братии моей и всему народу православному, что *Христос воскресе!*

Раздел III. Программная публицистика, полемика

Димитрий Донской, обесславленный г. Костомаровым

Невыразимым оскорблением должно было возмутиться не только патриотическое, но и религиозное чувство всякого истинно русского человека статьей г. Костомарова [1], напечатанного в Месяцеслове на 1864 год. Пресловутый экс-профессор, задавшись вопросом о Куликовской битве, которая положила основание освобождению России от ига татарского, в какой-то странной и необъяснимой досаде на «совершившийся факт» вздумал втоптать в грязь приснопамятное и глубокочтимое русским народом имя героя Димитрия Донского [2], оболгав вместе с тем и св. Сергия Радонежского и бесцеремонно исковеркав все исторические данные. С нетерпением ожидали мы отзывов петербургских ученых на оскорбительную клевету их собрата; но, видно, я для них точно так же, как и для г. Костомарова, все равно, что Мамай, что Ягайло, что Димитрий Донской. Циническая выходка «темного человека» была единственным отголоском измельчавшей петербургской прессы[232].

И кто знает, быть может, так бы и остался верх за петербургским монополистом-историком, если б ветеран нашей литературы *Михаил Петрович Погодин* [3] не возвысил честного и правдивого голоса в оборону незабвенного героя Руси православной[233]. Примите же, Михаил Петрович, землекасательный поклон наш, и да будет стыдно г. Костомарову за его неуважение к святыне земли русской, за дерзкое посягательство на великое имя Дмитрия Донского и уничижение великой битвы, ставшей зарею прекрасного дня для нашего богохранимого отечества, — за то, что он приравнял влияние Москвы на Русь тяготению татарскому!..

Сила вопроса состоит, собственно, в том, что г. Костомаров выставил личность Димитрия Донского в самом неблагоприятном свете — представил его трусом, который, для собственной безопасности, способен представить другого под мечи и стрелы вражеские. «Для меня, — писал он к М. П. Погодину, — нет таких дорогих сердцу, с которыми я должен был бы обращаться с большею осторожностью, чем с другими. Я думаю, что вовсе не обязан в суждениях о Димитрии Донском наблюдать более осторожности, чем в суждениях о Ягайле или Мамае». Очевидно, что г. Костомаров силится этими словами поставить себя на степень беспристрастного историка; но если бы мы даже и согласны были простить ему такое оскорбительное сопоставление нашего истинного героя с разбойником Мамаем и врагом нашей святой народности Ягайлой, то и тогда мы вправе требовать от него честности и верности историческим данным, а не искажения их по своему произволу. Нет ни одного места в летописях, которое говорило бы в пользу предвзятого г. Костомаровым убеждения в жалкой роли Димитрия Донского, которую он, по милости его, играет в Куликовской битве; напротив, везде мы встречаем неопровержимые свидетельства геройской решимости князя стать против современного ему рушителя царств и народов, о его решительной храбрости и несокрушимости духа. Вот весь ход дела, как мы читаем его в летописях.

Перед трапезою у препод. Сергия Димитрий сообщил ему о наступающей грозе Мамаевой. «Почти дарами и честью нечестивого Мамая, — сказал преподобный, — Господь увидит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит». — «Я уже поступил так, отче, — отвечал Дмитрий, — но он тем более несется на меня с гордостью». — «Аще убо так есть, — сказал препод. Сергий, — то убо ждет его (Мамая) конечное погубление и запустение; тебе же от Господа Бога и Пречистыя Богородицы и святых Его помощь и милость и слава». Затем, отпуская на войну Пересвета и Ослабю, он сказал: «Мир вам, возлюбленные братья, Пересвет и Ослабя; пострадайте, как доблестные воины Христовы!»

После такого ободрительного напутствия Великий князь, помолясь Богу в Успенском соборе и поклонившись гробам своих предков в соборе Архангельском, вышел на Красную площадь, где

были собраны войска. «Лепо нам, братия, — возгласил он дружинам, — положить головы за Правоверную веру христианскую, чтоб не взяли поганые городов наших, чтоб не запустели церкви наши, да не будем рассеяны по лицу земли, а жены и дети не отведутся в плен на томление от поганых. Да умолит за нас Сына своего и Бога нашего Пречистая Богородица!»

Это ли голос малодушного человека? Тот ли это говорит, который, по словам г. Костомарова, «не отличался отвагой»? Соглашаемся, что юношеской пылкости в Димитрии не было, ибо он, прежде чем приступить к делу, попробовал остановить нашествие Мамая дарами, счел нужным посоветоваться с препод. Сергием и митрополитом Киприяном, молился Пресвятой Богородице в Успенском и Архангельском соборах, «да умолит она Сына своего и Бога нашего»[234], но геройскую решимость свою он не раз доказывал и прежде Куликовской битвы. В 1376 году он ходил на Казань; в 1377 посылал войско в помощь к своему тестю в Нижний; в 1378-м вышел навстречу против посланного Мамаем на него войска и в Рязанской земле, на берегах Вожи, на голову разбил татар. Вернее было бы, г. историк, если бы вы в таких фактах увидели намерение Димитрия вступить в более решительную борьбу с Мамаем, если бы сказали, что и Куликовская битва была вызвана отвагою Донского, не раз уже засвидетельствованною и заставлявшею вождя татарского опасаться возраставшего могущества Великого князя.

По получении известия о приближении Мамая к Дону состоялся военный совет. Ольгердовичи сказали: «Если хочешь крепкого бою, вели сегодня же перевозиться, чтоб ни у кого и мысли не было назад воротиться; пусть всякий без хитрости бьется, пусть не думает о спасении, а с часу на час себе смерти ждет». Димитрий принял этот отважный совет и согласился с ними. Прочитав грамоту Сергия, полученную пред началом сражения, он воскликнул с псалмопевцем: «Сии на колесницах и на конех, мы же имя Господа нашего призовем!»

«Находились многие, — говорит г. Костомаров, — у которых осторожность брала верх над *отвагою*; они все еще настаивали, чтоб оставаться. Димитрий сказал им: «Честная смерть лучше злаго живота. Уж лучше было вовсе не идти против безбожных татар, чем, пришедши сюда и ничего не сделавши, назад возвращаться». И пристал великий князь к совету Ольгердовичей, и решили переправляться на Дон, отважиться на крепкий бой, на смертный бой, победить врагов или без поворота всем пропасть».

Непостижимое дело! Как-таки г. Костомаров мог не заметить, что он себе противоречит, говоря в одном месте, что «Димитрий, как показывают все дела его, не отличался пылкою отвагою», а тут приписывает ему отвагу и выставляет как решителя битвы не на живот, а на смерть! Вот что значит предзанятое-то мнение!

Перед битвою Димитрий сказал: «Отцы и братия! Ради Господа, подвизайтесь за веру христианскую и за святыя церкви! Смерть тогда — не в смерть, а в живот вечный!»

В сражении Димитрий бился как простой воин. Вот тому свидетельства.

Никонова летопись. «Прежде всех стал на бой на первом оступе, и в лице с татары много бился. И много ему глаголаша князи и воеводы его: господине княже, не ставись напереди битися, но ставись назади, или на крыле, или где инде на опришенном месте. Он же отвещеваше им, глаголя: да како аз возглаголю кому что: подвизаемся, братия, крепко на враги, а сам стоя назади и лице свое крыя. Не могу аз сие сотворити, еже таити и скрывати себе, но хощу якоже словом, тако и делом преже всех сам начатии, и преже всех главу свою положити за имя Христово и Пречистыя Его Матери, и за веру христианскую, и за все православное христианство, да и прочие, видевши мое дерзновение, и ти також да сотворят со многим усердием.

Да яко же рече, тако и сотвори, преже всех нача битись с татары, да одесную его и ошуюю его вступиша татарове, аки вода, и много по главе его и по плещима его, и по утробе его биюще и колюще и секуще, но от всех сих Господь Бог милостию Своею и молитвами Пречистыя Его Матери и великого чудотворца Петра, и всех святых молитвами соблюде его от смерти; утруден же бысть и утомлен от великаго буяния татарского толико яко близ смерти» (с. 119).

Синодальная летопись. «Рекоша князи литовския (по окончании сражения): мним, яко жив есть, но уязвлен. Иной рече: аз пятого часу видех его крепко бьющася с четырмя татарины. Юрьевской же уноша, Степан Новосильской: аз видех его перед самым твоим (князя Володимира Андреевича) приходом пеша идуща с побоища, но уязвленна; того бо деля не дах ему коня, зане гоним бех тремя татарины» (Кар. V. пр. 80).

Ростовская летопись. «Некто от благородных воин… наидоша великаго князя в дуброве велми язвена лежаща. Доспех его весь бяше избит, но на теле его не бысть язвы».[235]

То же самое, только с некоторыми украшениями, читаем мы и в других летописях. Брат Димитриев, Владимир Андреевич Храбрый, так приветствовал героя Донского после сражения: «Древний еси Ярослав, новый еси Александр!»

Скажите, кому ж больше верить, современным ли летописцам, близким ли к тому времени лицам, у которых так живы были воспоминания о подвигах героя, или г. Костомарову, открыто заявившему, что Москва — не родная ему страна, что единодержавие ее есть остаток татарщины? Казалось бы, каких еще нужно больше доказательств мужества и неустрашимости Димитрия Донского? А между тем послушайте, скрепя сердце, как г. Костомаров расписывает участие Димитрия в Куликовской битве.

«Великого князя между простыми воинами сбили с коня; он сел на другого коня; но бросились на него четыре татарина, сбили с коня, погнались на ним. Князь Новосильский оборонял его. (?) Димитрий почувствовал на своих доспехах *несколько* ударов, *побежал в лес, запрятался* под срубленное дерево и там улегся чуть не без чувств».

Откуда, однако ж, взял все это г. Костомаров? Из *Никоновой летописи*; только там совсем не то. Читайте и судите: «…и уже много от сановных великих князей и бояр и воевод, аки древеса, кланяхуся на землю, а уже и самого великаго князя Дмитрея Ивановича с коня збиша. Он же взыде паки на другой конь. Татарове же паки и с того коня збиша его и уязвиша зело. Он же притруден велми изыде с побоища едва в дубраву,[236] и вниде под новосечено древо многоветвено и лиственно, и ту скрыть себе лежащее на земле».

Не в лучшем виде представляет г. Костомаров Димитрия и с нравственной стороны. «Димитрий, — говорит он, — нарядил своего боярина Великим князем с тою именно целию, чтобы сохранить себя от гибели и еще более от плена, потому что враги татары, узнавши Великого князя по знамени и по приволоке, употребляли бы все усилия, чтоб схватить его. Иного побуждения быть не могло».

Обвинить или подозревать так дерзко, скажем словами М. П. Погодина, одно из самых дорогих лиц, и с таким малым правом, неприлично степенному исследователю. Пусть рассудят беспристрастно, где и кому больше опасности: в первом ряду бьющемуся воину или военачальнику, стоящему вдали, подобно Мамаю, хоть и в княжеском одеянии? Следовательно, для какой бы причины ни поступил так Димитрий, но это не была трусость, еще менее это не было обречение на гибель любимого человека. Каков бы он был, если б это было так? Вы, г. Костомаров, говорите: «…другой причины быть не могло». Нет, могло. Может быть, нужно было всему русскому войску видеть князя, присутствующего под великокняжеским знаменем,

а Димитрий хотел биться; биться же он не мог в великокняжеском одеянии, не подвергая себя даром лишней опасности. Бренку (боярину) случилось быть убиту, а Мамай, в его обстоятельствах, успел спастись, убежать. Так и Димитрий бился в первых рядах, не получив даже раны, хотя доспех его и был избит.

Нельзя без отвращения и крайнего негодования читать некоторые места в статье г. Костомарова, где он прямо издевается на Димитрием, обращая ему в упрек даже «богомольное настроение». В ожидании, пишет он, «вестей от своих гонцов, Димитрий, согласно обычаю, *творил милостыни по монастырям и раздавал нищим, наделял прохожих-странных*, которые в то время сновали из страны в страну *под предлогом благочестия. Богомольное настроение не мешало, однако, князю и пировать*. Когда сходились князья и бояре и дружины, первое дело — нужно было угощать приезжих, а потом приезжие делали от себя пиры; таким образом, пиры и *попойки* шли беспрестанно».

Что ж вы нашли во всем этом дурного, г. Костомаров? *Милостыня*, сказано, *избавляет от смерти*, и оправдание этого мы видим на князе Димитрии. Находясь впереди своих дружин, сражаясь рядом с простыми воинами, он не был даже ранен, хоть доспехи его все были избиты. Летописец говорит, что «от всех сих Господь Бог милостию Своею и молитвами Пречистыя Его Матери и великаго чюдотворца Петра и всех святых молитвами соблюде его от смерти». А не было ли в этом доли и тех молитв, которые воссылали за своего князя-надежу святые обители, нищие и странные?.. Вы упрекаете Димитрия, что и при богомольном настроении он пировал. Кому что, почтенный сказочник. В монастыри он делал вклады, нищих и странных оделял милостынями, а князей, бояр и дружину угощал, для того чтоб они были крепки ему в предстоявшей борьбе. Мы находим, что Димитрий в этом случае поступал, как настоящий дипломат. Гостеприимство в старину высоко ценилось; и тот, кто ел хлеб за одним столом и потом восставал против своего амфитриона, — считался ничем не лучше Иуды-предателя. Димитрию хорошо это было известно и потому-то, совершая правою рукою дела милосердия, он левою давал в то же время пиры и сам принимал их от своих вельможных гостей.

Нет, г. Костомаров, если и все ваши исторические исследования отличаются такой же честностью и беспристрастием, то немного вы внесете в сокровищницу отечественной литературы. Оставьте же нас с нашими Александром Невским, Димитрием Донским, с нашими Гермогенами [4], Сусаниными, Миниными и Пожарскими и пишите себе про своих Ягайл, Мазеп, Виговских и Дорошенков. Но и тут не трогайте Москвы, не трогайте России; ни та, ни другая не скажут вам спасибо. <…>

Г-н Костомаров, сам себя побивающий

Как глубоко ниспал пресловутый наш сказочник, забавлявший нас побасенками о Богдане Хмельницком, гетмане Виговском, о жмуди и других таковых и сим подобных историях! Как много оказалось теперь пустоцвета в обрабатываемой им по своему исторической ниве, в которую он подбавлял время от времени удобрения, или совсем портившего почву, или заставлявшего ее произрастать терния и волчцы, бурьян и крапиву! Уж плохо, значит, дело, когда серьезно-ученый прибегает к фельетонным приемам и думает отделаться шуточками да острыми словцами. Все здравомыслящие люди с участием выслушали благородную отповедь г. Кояловича [1][237] на наездническое гиканье историка-импровизатора и с улыбкой глядели, как этот храбрец барахтался в своих собственных доспехах, потерпев жестокое побиение от молодого ученого. Да, не приведи Бог «быть живым, полуразрушась над могилой!»

Что г. Костомаров своими статьями намерено оскорбляет русское, национальное чувство, что он с каким-то особенным злорадством выкапывает и подбирает на заднем дворе наших летописцев разное сметье, из которого строит хатки и балаганы по плану, заранее им

задуманному, — от этого сам он не только не отказывается, но и признается в этом с замечательным цинизмом. Но мы никак не думали, чтобы пресловутый наш рассказчик снизошел до роли лжетолкователя фактов и решился проводить идеи, громко вопиющие против вековых убеждений и непререкаемых свидетельств истории. С трудом мы могли поверить, чтоб фельетонная статейка, отличающаяся поразительною пустотою содержания, под заглавием *Апологии за Димитрия Донского гг. Аверкиева* [2] *и Аскоченского*[238], принадлежала тому ученому, каждое слово которого сопровождалось когда-то шумными рукоплесканиями взбалмошной молодежи, — тем историографом, для которого передовые готовили высочайший пьедестал, которого буквально носили на руках и которому нельзя отказать в знании своего дела. Я, говорит между прочим г. Костомаров, сказал, что духовные наши более заботились о вере и об исполнении ее уставов, чем о земном отечестве... Что же? Это духовенству можно поставить разве в похвалу, а никак не в обвинение: задача Православной Церкви вовсе не устраивать наше земное благополучие в политическом или экономическом отношениях. От этого православное духовенство редко решалось на дело, которое имело цель политическую, а не нравственно-духовную, и, с точки зрения православного благочестия, решаться на кровопролитие можно только тогда, когда является опасность вере и Церкви. От этого наши иерархи не стеснялись вступать в дружелюбные отношения с ханами. Они чрез то гарантировали свободу веры, неприкосновенность церквей, богослужения и, следовательно, охраняли для своей паствы средства к приобретению вечного спасения. В смутное время что побуждало великих деятелей московской церкви (?) — Гермогена, Дионисия, Авраамия — призывать народ к оружию против Сигизмунда? Опасность, угрожавшая православной вере и, следовательно, средствам к вечному спасению. В таком духе и св. Сергий советовал почтить дарами нечестивого Мамая и искупить потерею тленных благ спокойствие благочестивого жительства. Примеры, представляемые г. Аверкиевым, что Сергий примирял князей, вовсе неудобны для опровержения моего мнения о том, что духовенство более заботилось о вере, чем о земном отечестве. Примирять ссорящихся есть прямая обязанность Церкви не с точки зрения устранить вред для политических выгод отечества, а ради спасения душ: ссора есть грех; мир — богоугодное дело и ведет в Царствие Небесное. Странно, что и г. Аскоченский против меня в этом случае: если кому, то, конечно, ему, с его известным «благочестием, следовало бы знать «эту черту вашего Православия...»

Не будем останавливаться над осмеиваемым благочестием какой бы то ни было личности, и тем более такой, которая, подобно самому г. Костомарову, стала известною только по литературной своей деятельности; — нам предстоит дело гораздо большей важности: распутать исторический софизм, в первый раз встречающийся в печати и заявляемый от лица, к которому люди близорукие и недоучившиеся недоросли питают еще безусловное благоговение.

Совершенно справедливо, что православное духовенство никогда не присваивало себе, подобно католическому, прав светской власти, но что оно было самым видным, самым энергическим деятелем в истории нашего отечества, — этого никто никогда не отвергал, кроме г. Костомарова. Даже внешнее политическое могущество России образовалось под непосредственным влиянием Веры православной и освященных ею представителей. Вера положила первый основной камень политическому бытию России как правильно организуемого государства. Она роднила победителей с побежденными, уничтожала между ими различие и решительнее всех уставов содействовала слиянию разноплеменных обитателей русской земли в один народ, в одно гражданское общество, которому она внушила ясные понятия об истинном Боге, Спасителе мира, о будущей жизни, о добродетели, о необходимости закона и верховной власти, о таких, то есть, истинах, которые служат основанием государственного благоустройства. В самую тяжкую годину княжеских междоусобий и татарского погрома наше духовенство, при всем видимом безначалии царства русского, постоянно поддерживало в народе мысль о необходимости единой верховной власти как более

согласной с духом и предписаниями св. веры и как надежнейшем средстве к умиротворению отечества, восстановлению в нем порядка, тишины и благоустройства. Скрепив, таким образом, государственный организм, она живила и охраняла его, чрез своих представителей, в эпохи треволнений и смут политических. Среди разделений и разъединения внешнего она одна держала Россию в том внутреннем, неразрывном единстве, которое было не только спасением ее бытия, но и крепкою основою грядущего величия и славы отечества. Едва прекращались княжеские распри, — ненависть исчезала и между областями, дотоле враждебными, по-прежнему восстановлялся братский, христианский союз. Нигде и ни в ком, в самые бедственные эпохи нашего государства, благодетельная услуга веры не выражалась в такой силе, как в лице служителей и пастырей Церкви. К их священному сану питали глубокое уважение все — от князя до простолюдина, и потому-то, владея умами и совестью своих пасомых, они одни могли врачевать и, насколько сил их было, врачевали язвы отечества. Скорбя более всех о бедствиях врученного им стада Христова, пастыри наши с одушевленною ревностью являлись к соперникам, кроткими отеческими увещаниями смиряли и приводили в умиление раздраженных или страхом небесного правосудия потрясали души строптивые, в трогательных образах представляли им опустошение сел и городов, попрание святыни храмов, нарушение законов христианской любви и братского единения, — и весьма часто успевали останавливать враждующих и восстановляли мир и тишину в взволнованных странах. Спору нет, что в этих подвигах духовенства имелась в виду и высоко-нравственная цель и польза Церкви: но разве то и другое не есть непременное условие благосостояния по-христиански устроенных обществ? Надо быть слишком предзанятым известного рода предубеждением, чтоб утверждать, будто бы патриарх Гермоген, Дионисий и Авраамий призывали народ к оружию против Сигизмунда потому только, что опасность грозила вере православной и средствам к вечному спасению. Средства эти, г. Костомаров, ни малейше не зависят от внешних причин; и вечное спасение возможно и при гонениях, и при самом лютом угнетении, так как Церковь Православная и в мире, и в пору политического погрома всегда остается воинствующею. Касаясь вершиною своею неба, она опирается своим основанием в землю, *преводя от земли к небеси победную поющих*. Разве митрополит Никифор был чужд политических выгод России, когда говорил Ярославу и Святославичам, двинувшим войско для наказания Давида и Святополка: «Не терзайте отечества междоусобием; не веселите врагов его! С каким трудом отцы и деды ваши утверждали величие и безопасность государства! Они приобретали чуждые земли, а вы губите собственные»[239]. Разве мы не знаем об услугах отечеству митрополитов Петра и Алексия — этих истинно государственных мужей? Разве так может говорить человек, холодный к интересам отечества, как говорил святитель Вассиан Иоанну III, когда он, стоя пред полчищами Ахмата, уклонялся от брани: «Смертным ли бояться смерти? Я слаб и стар, но не убоюсь меча татарского, не отвращу лица моего от его лезвия?»[240] И не дрогнула у вас рука, г. Костомаров, унижать доблести патриарха Гермогена!.. Если бы мы не знали вас лично, то подумали бы, что это говорит завзятый поляк, враг Церкви Православной… Не так относился о духовенстве наш приснопамятный историограф, внимательно проследивший всю эпоху ига татарского. «Никто, — говорит он, — ревностнее духовных не ходатайствовал в сие время за свободу отечества, за необходимость утвердить оную мечом»[241]. Вы, быть может, скажете, что и тут наших пастырей руководило опасение за благостояние храмов и лишение средств к вечному спасению: но ведь вам как историку не может быть неизвестно, что храмы и имущества духовные были освобождены ханскими ярлыками от налогов и всякого рода притеснений, что пастыри Церкви пользовались особенным, пред всеми сословиями, уважением и благосклонностью самих поработителей, — и однако они любили отечество более, чем врагов и притеснителей его, никогда не думали жертвовать пользам и его своим выгодам, благодарили за благодеяния, чем могли, но в то же время врагов России почитали своими личными врагами.

Видим, г. Костомаров, отсюда видим нехорошую вашу улыбку, плохо свидетельствующую о

вашем благочестии, когда из-под пера вашего выходили слова: «вечное спасение, царствие небесное» и т. п. — но боимся, чтоб улыбка эта не изменилась когда-нибудь в другую улыбку, от которой содрогнутся окружающие смертный одр ваш… Мы очень хорошо понимаем все, что кроется у вас между строками, в которых написано, что «наши иерархи не стеснялись вступать в дружелюбные отношения с ханами» потому только, что иго, наложенное ими на Россию, не грозило опасностью вере и Церкви; оттого прямо и не обинуясь упрекаем вас в недобросовестности. Бросьте же, г. Костомаров, трость книжника-летописца; успокойтесь на колючих лаврах вашей ученой и литературной деятельности! Finita la comedia, которую вы доселе играли! Вы не здоровы, г. Костомаров, разлитием желчи от неудач, испытанных вами особенно в последнее время; потому что так запальчиво и очертя голову бросаетесь на все, что земля русская почитает своею святынею…

Несколько слов о газете «День»

Мы уже заявили о появлении газеты «День» [1]; позволяем себе еще замолвить о ней несколько слов. Дай Бог здоровья редакции, что она не стала дожидаться обычного срока появления в свете газет и журналов. Не такое теперь время, чтоб стеснять себя подобного рода формальностью: в литературе нашей пожар; тушить надо, — кто первый поспел на тревогу, тому честь и слава. Перечесть нельзя, сколько в настоящую пору затронуто вопросов, задевающих за сердце православно-русского человека. Кипение мысли современной дошло до таких степеней давления, что удивляться нужно, как еще выдерживает его общественная машина. Все элементы, составляющие характер русского народа, если не сдвинуты с своего основания, то по крайне мере тронуты, хоть и остаются на своем месте. Дело ясное, что тут уже не до народа, не до пунктуального исполнения принятых миром журнальным условий и обычаев. Газета «День» очень хорошо поняла это и потому явилась в половине октября, а не дожидалась урочного нового года. *Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии*! Выходите на борьбу, не щадя живота своего до последней капли крови, за те вековечные принципы, которыми крепка была Русь в течение тысячи лет, которые манят и притягивают к себе все славянские племена, утратившие то, чем мы, благодаря Бога, еще владеем и что составляет драгоценный перл в венце Богом избранного Помазанника России.

Мы прочитали всего только три вышедших номера газеты «День» и от души воскликнули: «Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, воздвигающему деятелей благопотребных во время свое!» Боже! Как неотразима истина, коль скоро она идет не из самосозданного человеческим умом миросозерцания, а из благоговейного усмотрения путей Промысла Вышнего в делах целой вселенной! Как крепко льнет сердце ко всему, в чем слышится голос православно-русского человека! Мы почти уверены, что «свистящие» цивилизаторы и громкоголосые прогрессисты поднимут[242], что называется, дым столбом против г. И. Аксакова [2] и его честного и добросовестного делания или намеренно пройдут его гордым молчанием в надежде убить этот «глас вопиющаго в пустыни», но не почти, а решительно уверены и в том, что Русь святая не послушает их ни криков, ни воплей, поймет и молчание их и с трепетной радостью станет читать газету «День», если только редакция так будет и продолжать ее, как начала. «Известно, — насмешливо скажут читатели разных *мнимо*-«Русских слов», *мнимо*-«Русских вестников», *мнимо*-«Русских речей», *мнимо*-«Русских миров» и проч. и проч., — известно, славянофильская газета!» — Пусть и так, ответим мы им на это, да все же лучше, чем какая-нибудь англофильская, галлофильская или полонофильская. Славянофилы-то, господа, несмотря на все ваши вопли и крики, всегда оставались истинными рыцарями «без страха и упрека», а вы, взобравшиеся на высоту общечеловечественного, космополитического развития… но пусть говорит за весь народ, который уже поднимает усталые от долгой дремоты очи и обращается к вам, борзописцы, со словом праведного укора: «Куда девали вы порученные вам дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ее духовные сокровища?

Что сталось с моим обычаем, верою, преданием, моею прожитою жизнью, моим долгим и горьким опытом? Что совершили вы на досуге? Где цельность и единство жизни и духа? Где наука, вами взрощенная? Где мое живое, изобразительное, свободное слово? Какого хламу нанесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безобразные снимки с чужих народов! Подите к ним, если они вас примут; я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне», — скажет народ, пробуждаясь к сознанию, — и смете вас, как сор, свежая струя воскресшаго народного духа!.. Но еще не наступила пора. И хотя мы, говорит редакция газеты «День», почти уверены, что голос наш раздается напрасно, но скажем: *глас вопиющего в пустыни, уготовайте путь Господень!.. Покайтеся*![243]

Душа дрожит благоговейным трепетом при чтении таких речей, вырывающихся из-под самого сердца! А их много в «Дне», доселе не давшем читателям своим ни одной пустопорожней статейки. Вот еще образчик. По случаю собрания, состоявшегося 10 октября сего года в воеводстве Люблинском царства Польского в м. Городло, где безумные патриоты требовали восстановления Польши в ее будто бы старых пределах, временно замыкавших в себе воеводства Киевское, Черниговское, Волынское, Подольское, Смоленское и проч., «День» говорит: «Киев, Волынь, Чернигов, Смоленск!!!.. Безумные поляки! Как спешите вы проиграть ваше дело! Как торопитесь вы затушить всякую искру сочувствия, которую могла бы зажечь в единоплеменных вам братьях ваша любовь к родине! Неужели вы так глухи, так слепы, неужели вы думаете, что в пространной Русской земле, от Камчатки до Карпат, в Великой, Малой, Белой, Червонной Руси найдется хоть один русский, который бы не загорелся весь самым жгучим огнем негодования при таких лживых и наглых ваших притязаниях, — который бы не отдал жизнь в борьбе с вами, за сохранение наших древних русских областей, нашего трижды святого прекрасного Киева?.. Или тщетны были для вас все уроки истории и вас ничто исправить не может? Вам по-прежнему нипочем права чужих народов и их народная воля; надменный шляхтич, ругавшийся над верою нескольких миллионов руссов, называвший ее *холопскою* и русский народ — *холопами* Польши, видно, еще жив в вас и, как прежде сгубил, так и теперь, безумный, губит дело своей родной земли! Мы оставались чужды доселе вашей тяжбе с правительствами, но вы хотите возобновить международную тяжбу и воскресить вражду, которую сострадание к вам начинало изглаживать в сердцах наших!.. Несчастные, несчастные, безумием, как Божьей карой, пораженные поляки!..

Довольно, кажется, и этого, чтоб видеть, как свежо и животрепещуще слово нового деятеля в мире журнальном! Мы сочли бы себя непростительно виноватыми перед нашими читателями, если бы не подали голоса за газету «День». Вести из-за границы в высшей степени интересны, тем более что они касаются не Гарибальди какого-нибудь или Риказоли, до которых нам нет никакого дела, а наших кровных славян, нашего Православия, нашей святой Руси.

Отповедь «Домашней беседы» на пояснение «Православного обозрения»

Это было накануне праздника Сретения Господня.

Под влиянием самого тяжелого и грустного впечатления, оставшегося во мне от чтения гневной и раздражительной статьи духовного журнала, величающего себя *Православным обозрением* [1], стоял и слушал я всенощное бдение. Сумрачно было в душе моей и не тепло на сердце, оскорбленном кем-то из сынов Левииных. Безучастно выходили из уст моих слова тихой молитвы; казалось, душа требовала потока слез и разрывающих воплей; казалось, ей мало было елейного растворения умиротворяющей службы церковной...

Воротившись домой, сел я к письменному столу и, склонив голову мою, думал, долго думал, говоря про себя с пророком Иеремией*: прельстил мя еси, Господи, и прельщен есмь; крепльший мене еси и превозмогл еси: бых в посмех весь день, вси ругаются мне. И рекох не*

воспомяну имене Господня, ниже возглаголю ктому во имя Его; слышах бо досадительства многих собравшихся окрест: нападите, нападим нань, вси мужие друзи его; наблюдайте помышление его, аще како прелстится и преможем нань, и сотворим отмщение наше ему. Но в ту ж минуту пришло мне на память слово того же пророка: *Господь со мною есть, яко борец крепкий: сего ради погнаша и уразумети не могоша; постыдешася зело, яко не разумеша безчестия своего, еже вовеки незабвено будет. И бысть в сердце моем яко огнь горящ, палящ в костех моих, и разслабех отвсюду, и не могу носити. И Ты, Господи, искушаяй праведная, ведаяй утробы и сердца, молютися, да вижду мщение твое на них, Тебе бо открых прю мою...*[244]

Когда нападали, поносили и язвили меня и служение мое Церкви и миру православному так называемые светские журналы и газеты, я со смехом встречал их бессильные выходки, памятуя крыловского «прохожего»; когда против «Домашней беседы» выступали разные анонимы и псевдонимы с клеветою на нее и неправедными обличениями, она, не останавливаясь, шла своею дорогой: но когда, забыв всякое приличие, подобающее званию *духовному,* кто-то, конечно, сам редактор, возвысил голос даже против направления «Домашней беседы», взводя на нее почти уголовные вины и преступления, то молчать с моей стороны было бы больше, чем ошибкой.

Ни слова об оскорблениях, касающихся меня лично; ни слова о моем тупоумии, непонимании дела, горячности характера, отсталости, *самодурстве*[245], даже безнравственности. Все это не подлежит литературному разысканию и доследованию. Дело в деле, а не в той или другой личности. Прямою задачею моего «судии решительного и строгого» должно было бы быть показание заблуждений «Домашней беседы», уличение ее в неПравославии, в неправомыслии, в последовании какому-либо учению, не *имущему образа здравых словес;* и если бы все это оказалось по справке, то и говорить бы нечего. Всякий тогда из читателей легко бы увидел, что эта «Домашняя беседа» — вредный журнал, что следует руководиться учением «Православного обозрения» и «Странника» [3], «разделяющего его взгляд», что «Беседу» эту, как выразился один из наших журналистов в письме к своему знакомому, следует стереть с лица земли, а издателю и редактору ее замазать рот... Вместо этого что же делает «Православное обозрение»? Не имея сил сразиться честно и открыто с «Домашней беседой», оно, став на сторону современных прогрессистов и цивилизаторов и окружив себя этою *спирою*, прибегает к темным намекам, голословным обвинениям и глухим доносам.

«Православное обозрение» жалуется Церкви, что «Домашняя беседа» отпугивает прогрессистов и цивилизаторов от Православия своими резкими нападками на них. В землю кланяемся за такое обвинение! Оно стоит самой высокой похвалы. Вокруг стана Христова рыщут волки, прикрывающиеся, ради безопасности и верной добычи, мягкою, бархатистою одеждою то гуманности, то филантропии, то любвеобильной, ко всем трем проявлениям падшей современности, цивилизации; всем этим господам мешало распоряжаться по-своему в стане Христовом Православие родной нашей Матери-Церкви, — и вот «Обозрение», обнявшись с «Сыном Отечества» [4][246], отстраняет эту опасную для своих единомысленников препону, отверзает врата для современных глашатаев полнейшей разнузданности, а «Домашняя беседа» отпугивает их... Да помилуйте! Ведь это вживе история с Валаамом! Защищаемые прогрессисты могли бы так же, как Валак Валаама, спросить автора статьи: *что сотворил еси нам? На проклятие нашего врага призвахом тя, и се благословил еси его благословением*[247].

«Православное обозрение» доносит Правительству, повторяя это никак разов до десяти, что «Домашняя беседа» не только не сочувствует, но даже противодействует решению крестьянского вопроса, «развитию общественной благотворительности, распространению

образования в народе, стремлению к тому, чтобы было больше искренности и справедливости в различных отношениях общественных». Кладем перед всем читающим миром все доселе вышедшие тома нашего журнала и приглашаем всякого сыскать хоть слово, хоть намек на подобное обвинение… Раз только «Домашняя беседа» затронула вопрос крестьянский, и то в приветствии своем на новый 1859 год. «Привет и тебе меньший брат наш, вечный труженик, потом лица своего омывающий землю-кормилицу, всех без разбора питающий трудами мозолистых рук твоих! Жди с упованием в новом годе того счастья, заря которого занялась уже для тебя в минувшем году. *Не торопи его* — этого счастия, оно не уйдет от тебя; порукою тебе в том крепкое царское слово; но помни, что не в два дни Москва выстроилась, что скоро не бывает споро, а не скоро живет здорово; скорый поспех людям насмех; скоро пойдешь, ножку зашибешь; тяп да ляп — не выходит корабль. *Новый год уже с тобою, а счастье впереди*»[248]. Прогрессисты и тут подняли «Домашнюю беседу» на смех, поставив ей в упрек то, что она внушает народу терпение и благопокорливое ожидание. Перепечатала она еще отрывок из поучения к освобождаемым крестьянам[249]; а больше этого она никогда не касалась этого вопроса, справедливо почитая разрешение его нисходящим свыше и не желая соваться с своими проектами туда, где ее не спрашивают. Что касается до других запятых этого пункта, то и оправдываться в них она не находит надобности, ибо всегда смотрела и смотрит на подобные вопросы с точки нравственной и христиански-православной. Пусть «Православное обозрение» докажет, что это не так, тогда мы посмотрим.

«Православное обозрение» доносит обществу, что «Домашняя беседа» «клеймит, от имени Православия, память благородного общественного деятеля *(разумеется, Белинского конечно*), жизнь которого была служением человечеству». Не вам бы говорить, не нам бы это слышать! Не бросаем камня осуждения в этого человека, которого мы знаем гораздо ближе вас; он теперь там, где *вся нага и объявлена*: но судить о нем можем, потому что осталось слово его, потому что возрастает семя, им посеянное, распространяется учение, за отступление от которого он укорял и поносил Гоголя. Неужели составителю ругательной статьи неизвестно profession de foi — исповедание веры Белинского, откровенно изложенное им самим в письме к Гоголю? Сомневаемся, потому что автор, как из всего видно, в самых близких сношениях с прогрессистами; пускай же попросит у любого из них это изделие, разгуливающее теперь, как слышно, уже и в печати по святой Руси. Посмотрим тогда, назовет ли «Православное обозрение» заклятого врага Православия или «ортодоксии», которую он называет «проповедницею кнута и поборницей невежества», благородным, общественным деятелем, жизнь которого была служением человечеству…

«Православное обозрение» доносит и Церкви, и Правительству, и обществу, что «Домашняя беседа» старается всячески и значительно успевает закреплять разобщение и неприязнь между представителями Православия и представителями современности, что в этом ее главная задача. Ну, против такого обвинения нечего сказать: правда, действительная, правда! «Домашняя беседа», во-первых, заявляет это как факт, свершившийся и свершающийся вот уже семь тысяч лет; во-вторых, не закрепляет, — ибо что расходится по естественному порядку вещей, того нельзя закреплять, а предостерегает и указывает всякому, ревнующему о своем спасении, чтоб он берегся этого *зверя,* зовомого современностью, *восходящего от земли и имеющего рога два, подобна агнчим,* и однако ж *глаголющих,* держания, ее не станут читать, и дело так и погаснет». Около этого времени явился дифирамбический фельетон «Сына Отечества»[250]. Изумленный и испуганный возгласами рецензента, редактор тотчас же послал к архим. Феодору, испрашивая его согласия на ответ против статьи фельетониста: «Ну-ка, Авраам, — говорено было в письме, — принесите в жертву своего Исаака!» При этом было упомянуто, что в ответной статье совершенно будет устранено имя архим. Феодора, а речь пойдет прямо и непосредственно против фельетона. «Мне не в первый раз, — отвечал архим. Феодор, — приходится приносить в жертву своего Исаака; пишите, что знаете. Бог вам на

помочь». На другой же день представлена была ему статья, возвращенная в редакцию без всякой перемены и при письме, в котором нельзя было приметить ни малейшего неудовольствия. Естественно было подумать, что автор решился повести дело так, как предложила ему Редакция. Не тут-то было! Когда вышел 51 выпуск, вдруг архим. Феодор изменил благопокорливость свою и стал настоятельно требовать помещения в «Домашней беседе» ответной статьи уже от своего имени. Дружески, заклиная Богом живым, письменно убеждал его редактор не производить соблазна, уверяя, что вся беда пала и падет на фельетон. Архим. Феодор остался непреклонен и написал, что он «найдет другой орган» для своих оправдательных статей. Редактор еще раз приступил к нему с убедительнейшими просьбами не начинать этого опасного по своим последствиям дела: «…нет, — писал архим. Феодор, — вы меня назвали ренегатом, отступником, — могу ли я стерпеть это?» Значит, ударь по столу, ножницы отзовутся… Статья явилась в «Сыне Отечества» за подписью архим. Феодора. Редактор «Домашней беседы», сознавая все неприличие борьбы в журнале, передовые страницы которого наполняются обыкновенно городскими сплетнями, средними повестями скандального содержания, театральной и маскарадной хроникой, а последние — подчас бесстыдными, но всегда нелепыми карикатурами, отказался избрать его ареной для соблазнительного состязания. Так было дело, вначале; в каком оно виде теперь — видят читатели; чем кончится этот соблазн — Бог знает. Виноват ли после этого редактор, что, истощив все усилия ко вразумлению архим. Феодора и употребив даже в посредничество близких к нему, решился наконец громко поведать о его заблуждении Церкви, состоящей из лиц представительных и потом всех православно-верующих? Виноват ли, что оставил его при той обстановке, которую он сам себе учредил, отдавшись под защиту католика и открыто приняв сторону современных евреев? Бог с ним после всего этого! Не можем однако ж не сказать, что, верно, по особенному Божию попущению стался такой соблазн в нашей духовной литературе; видно, нужно было, чтобы нравственная проказа, таившаяся доселе под покровом священной одежды света и истины, выступила наружу, чтобы все, пропитанное духом школы и современной философщины, сказалось внутренним своим содержанием, стало пред зерцалом Православия и чтобы резче обозначились два сопротивных стана.

Для полноты и решительности моего осуждения считаю своею обязанностью признаться в нижеследующих пунктах, в которых, по долгу совести и правды, почитаю себя виновным.

Пункт первый. Боюсь не того, чтобы «Православие пало от какой-нибудь фельетонной выходки» или даже от целого «Православного обозрения», но того, чтобы стадо Христово не оскудело, когдав него ворвутся волки в одежде современной, — боюсь и с грустью читаю про себя Иезекииля главу 34.

Пункт второй. Верю, вопреки учению «Православного обозрения», что «светлый, высокий идеал Православия выяснен вполне и великие залоги для развития человечества, в нем заключающиеся, раскрыты тоже вполне» Символом веры и учением Церкви Православной. Если «Обозрение» желает разубедить меня в этом, то пусть докажет, что святые Божии, начиная от первомученика Стефана до нынешних праведников, спасающихся *в горах и вертепах и в пропастех земных*, совершали и совершают свои подвиги, не понимая «идеала Православия и не имея залогов для своего спасения».

Пункт третий. Так как «Домашняя беседа» никогда не касалась собственно общественных вопросов, как то: освобождения крестьян, усовершенствования путей сообщения, развития торговли, устройства телеграфов, водопроводов, гласного судопроизводства, газового освещения и проч. и проч., а занималась и будет заниматься единственно тем, что есть *едино на потребу* всякому православному христианину, то в этом отношении «воззрения ее отстали не то что за двадцать», а за полторы тысячи лет, — мало этого: относятся ко временам

апостолов и первых учителей Церкви.

Пункт четвертый. Идею Православия понимаю, действительно, «слишком узко», именно — в рамках, устроенных Церковию, и в пределах, указанных Вселенскими Соборами. С этой же точки смотрю и на идею прогресса и цивилизации.

Пункт пятый. Не считаю, в противность приказанию «Православного обозрения», великими и благотворнополезными учеными для христианства и Церкви ни жида Спинозу, ни выкреста Неандера [5], ни полужида Ноака, ни рационалиста Штрауса, ни даже гениальнейшего из безбожников Гегеля [6], которому, как видно, с усердием поклоняется «Православное обозрение». Впрочем, «труды их не не ставлю ни во что»: напротив, говорю и утверждаю, что они невообразимо вредны и страшно опасны даже для тех, кто «приникает в них с мыслию об Агнце Божием, вземлющем на себя и философские грехи».

Пункт шестой. Сознаюсь, что не сочувствую ни прогрессу, ни цивилизации, понимая их современное значение, совпадающее несколько с тем, какое они имели в конце минувшего столетия на западе Европы, и преимущественно во Франции.

Пункт седьмой. Не якшаюсь и не намерен якшаться ни с «Современником», хоть он и проводит современные идеи, ни с «Русским вестником», у которого «вся английская складка», ни с tutti guanti (всеми, сколько их есть) — толстыми и тоненькими журналами нашими, ни даже с «Сыном Отечества», даром что он «сын отчизны» и отменно «полно изъясняет воззрения самого о. Феодора, даром что его рекомендует читателям «Православное обозрение».

Пункт осьмой. Сознаюсь, что сердито смотрю на некоторые фельетонные мелочи, которые, впрочем, только «Православному обозрению» кажутся мелочами, а для людей, чуждых такого обширного и гуманного воззрения, представляются червяками, подтачивающими многосеннолиственное древо Православия, им же прикрывается и «Обозрение».

Пункт девятый. Охотно и с благодарностью принимаю от «Православного обозрения» все хулы и поношения на мою личность, искренно веруя в то, что Иисус Христос, Сын Бога живаго, пришел в мир спасти не прогрессистов и цивилизаторов с их философскими грехами, а просто грешных, *от них же первый есмь аз.*

В заключение, позвольте, отцы обозреватели, обратиться к вам с маленьким предложением: если вы не разучились петь по-православному и не спали с голосу от такого крика, какой подняли на «Домашнюю беседу», то давайте пропоем вместе третий ирмос канона Сретению Господню:

Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, Церковь, юже стяжал еси честною Твоею кровию!..

Объявление об издании журнала «Домашняя беседа» в 1864 году

Еще проходит год; еще, по милости Божией, дается нам время на дело и делание наше. Что ж нам сказать, стоя на рубеже минувшего и грядущего?

Благодарение воздаждь, учит св. Церковь, *Вседержителю Богу, яко дарова тебе* год *мимошедший*[251].

И мы воздаем наше благодарение от всей души, от всего сердца, от всего помышления нашего.

Все, бывшее с нами в течение минувшего лета, мы принимаем за особенную милость Божию; самые клеветы, поругания и всякого рода неприятности и препятствия служили нам ручательством, что делание наше, столь нетерпимое для поклонников мутной цивилизации, тем самым приближалось, по силе возможности, к тому вечному идеалу правды и истины, который содержится в учении Церкви Православной. *Слава* убо *показавшему нам свет*! Слава и благодарение Господу Богу, толико благодеявшему нам!..

Положи, говорит далее св. Церковь, *слово в самем собою и испытание сотвори совести твоея, преходя и приводя себе на память, что творил еси и что собеседовал еси*.

Что мы делали и о чем собеседовали, — читатели наши видели и знают. **«Домашняя беседа»** по возможности отзывалась на все вопросы, задаваемые беспокойною современностью, и без малейшего лицеприятия говорила то, что сама почерпала их чистого источника Евангелия и древне-апостольского исповедания Веры православной. Сами враги наши, при всей своей неутомимости, не могли уличить **«Домашнюю беседу»** ни в чем противном, тем началам, которых она держалась и будет держаться впредь во все время своего существования. Нас упрекали за резкость тона, за решительность приговоров: но укорители наши забывали, видно, тот эпиграф, который стоит на заглавном листе **«Домашней беседы»**: «Служить, так не картавить; картавить, так не служить». А что редактор ее не слишком медоточив в словах и чужд маниловской уклончивости, — так это уж его слабость, с которою он и в гроб пойдет. Нам не было никакой надобности до того, кто и какого значения человек, действующий на поприще нравственно-литературной или воспитательно-патриотической деятельности; мы только памятовали слова апостолов, что *повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком*,[252] — и говорили, не озираясь вспять, не имея в виду выслужиться перед кем бы то ни было. Нас упрекали в том, что мы обращаем слишком много внимания на изгарь, переполнившую сферу русской литературы: но мы спрашивали некоторых из наших укорителей, что они прежде всего читают, получив тот или другой выпуск **«Домашней беседы»**, — и все они в один голос отвечали нам с улыбкой, что — «Блестки и изгарь». Мы очень хорошо знаем, что этот отдел более всего докучает псевдоцивилизаторам и ультрапрогрессистам всех цветов и рангов: не будь его — **«Домашняя беседа»** не навлекала бы на нас таких поруганий и редактор ее был бы и хорош, и пригож, и страх как умен. А теперь он, по милости этих «Блесток и изгари», и обскурант, и самодур, и наглец, и проч. и проч.[253] Согласитесь, что если бы мы искали похвал от таких людей, то этого достигнуть было бы очень легко: стоило бы только обходить молчанием порождения сходновы современной прессы. Но *забвенна буди десница* наша, *прилепни язык к гортани* нашей, если мы хоть одною чертою Закона Божия, одною йотою учения Церкви Православной поступимся ради похвалы мирских!.. Не касаясь священных прав, искони принадлежащих Церкви представительной, блюсти за *благочестием* и благочинием народным, мы в отделе «Блесток и изгари» ловили и будем ловить посягателей на то и другое и представлять их с неопровержимыми уликами на суд Церкви и правительства... Нас упрекали, и, к сожалению, такое убеждение разделяли с журнальными крикунами и люди влиятельные, что будто бы **«Домашняя беседа»** занимается доносами. Но наши укорители не точно определяют себе понятие о доносе. Доносят втихомолку, — а мы говорим и говорили вслух всей Руси Православной; доносят те, которые не имеют права быть гласными обличителями, — а журналист, как честный гражданин, уполномочен самим правительством заявлять правду по чистой совести. Доносы вообще опасны людям подозрительным, а человеку честному и доброму бояться их нечего: защита его — закон; и если наш журнал, действительно, опасен для литературных мазуриков, то ему должны быть благодарны все честные и добрые люди на Руси Православной... Нас упрекали в том, что мы обходим более крупные явления жизни общественной, выражающейся в нашей литературе: но мы никогда и не обещались писать больших трактатов, а беседовали обо всем по-домашнему, предоставляя более объемистым журналам преследовать разные «Роковые

вопросы», системы материализма, Энциклопедические словари или такие гнусности, как роман г. Чернышевского. Во все сих случаях мы, *положив слово с самеми собою и испытав совесть свою*, не считаем себя виноватыми перед нашими читателями.

Но, продолжает Мать-наставница наша, Церковь, *аще благое сотворил еси, не от себе сия быти, но от Самаго Бога, вся благая нам дарующаго, непщуя, Тому сие восписуй и благодари, да тя в сем благом утвердит и прочая совершити пособит и дарует, молися*.

И молимся, и будем молиться, искренно и глубоко сознавая свою немощность не только к тому, чтобы сделать что-либо благое, но и помыслить о том *от себе, яко от себе*. Да и странно было бы считать себя чем-то особенным при том обороте, какой неожиданно приняла **«Домашняя беседа»** в последние три года своего существования, при тех толках, какие возбудила она на Руси Православной при тех бесчисленных заявлениях любви и благодарности со стороны людей благомыслящих и ожесточенной, со скрежетом зубов, ругани со стороны врагов и примирителей Православия с современностью. Может ли мечтать о себе свирель, на которой играет мастер, останавливающий прохожего звуками, извлекаемыми из такого нехитрого инструмента? Может ли гордиться меч, когда он в сильной руке и наносит неотразимые удары? Положат свирель — она безгласна; оставят меч — и он заржавеет. Зная все это очень хорошо, мы преклоняемся пред *Дарующим нам вся благая* и *Тому восписуем* все, что сотворили благого в минувший и прежние годы; а за тем молим, да *утвердит Он* нас *в сем благом* и да пошлет силы *совершити прочая*.

Аще же что лукавое содеял еси, от себе самаго и от своея немощи или лукаваго обычая и произволения сие происходити глаголя, кайся и моли Человеколюбца, да тебе в том прощение даровати изволит, и обещанием твердым, яко сего прочее ктому уже творити не имаши.

Каялись во многом, каемся теперь и, конечно, будем каяться и впредь, не надеясь, по слабости, общей всем земнородным, быть без ошибки и без упрека. И *праведник седмижды в день падает*, — а **«Домашняя беседа»** с ее редактором и вкладчиками, что за праведница! Да если бы мы и забылись, то нас вразумили бы те нарекания и поругания, которые сыплются на нас со стороны наших врагов. Спасибо им: нет-нет, да и укажут сучец во очесе брата своего… Что ж касается до тех, которые без злобы и ненависти взирают на то, что в делании нашем произошло или от *лукаваго обычая и произволения*, или от излишнего увлечения, или от недосмотра, то мы и теперь, как прежде, обращаемся к ним словами летописца: «Отцы и братия, оже ся писах, али не дописах, али переписах, чтите, исправливая Бога деля, а не клените»…

Крепко хотелось бы нам ввиду вопиющей необходимости — следить за всеми явлениями жизни современной и литературных ее органов, увеличить объем нашего журнала и даже выпускать его по два раза в неделю: но, с другой стороны, опасаемся оказаться несостоятельными по невозможности иметь обязательных сотрудников при дешевизне нашего издания; а с другой — боимся быть в тягость тем, для кого каждая копейка составляет счет, так как увеличение объема нашего журнала неизбежно должно было бы возвысить и подписную цену его. Стало быть, пусть уже будет так, как было. <…>

Новая программа «Домашней беседы»

Робко и нерешительно выступила **«Домашняя беседа»** в 1858 году на поприще журналистики, не дерзнув даже принять на себя название периодического издания, и уже в 1859 году пошла по рассмотренной Св. Синодом и Министерством народного просвещения и Высочайше утвержденной программе. Ряд великих событий, преемственно следовавших одно

за другим, придал и журналистике нашей более оживленный характер, и **«Домашняя беседа»** не могла не остаться безучастною зрительницей и безмолвною свидетельницей всего происходившего. Но, оставаясь подцензурным изданием и связанная весьма тесною программой, она зачастую встречала препятствия в изложении своих мыслей и убеждений касательно многообразных явлений в жизни политической, гражданственной и социальной. В последнее время это сделалось для нее весьма ощутительным и **«Домашней беседе»** угрожала опасность обратиться в духовную, так что сама собою представилась необходимость изменить и распространить ее программу.

Стоя на рубеже двух литератур, собственно церковной и светской, и желая оставаться верною раз навсегда принятому ею строго религиозному и нравственно-патриотическому направлению, **«Домашняя беседа»,** подобно прочим собратам своим по журналистике, с настоящего времени будет относиться с возможным участием ко всем без исключения вопросам как внутренней, так и внешней жизни.

Новая программа, рассмотренная в надлежащей части Св. Синодом и утвержденная Главным управлением по делам печати, открывает обширнейший круг деятельности для «Домашней беседы», обнимающий собою всю сферу человеческих познаний, начиная от нравственно-догматического учения Церкви Православной до последних явлений жизни обыденной.

<…>

Само собою разумеется, что полное осуществление такой обширной программы по всем указанным рубрикам в еженедельном издании невозможно. Нам только развязаны руки, и мы можем писать обо всем, что входит в сферу журналистики, не останавливаясь ни перед каким вопросом жизни политической, гражданской и социальной. В последних трех выпусках уже сделана проба этому, и мы надеемся с помощию Божиею дать нашему журналу подобающий ему характер всесторонней домашней беседы. Нас не удержит от этого ни трудность и многообразие предстоящих занятий, ни увеличившиеся издержки по изданию, ни весьма умеренная плата за наши труды: испытав одиннадцатилетним опытом сочувствие благомыслящей публики, мы надеемся, что она не оставит нас и на новом, более обширном и более трудном поприще журнальной деятельности.

<…>

Вынужденное объяснение

Давно уже перестали глумиться и издеваться над редактором «Домашней беседы» и его многотрудным деланием присяжные зубоскалы, намеренно уродуемые газетными компрачикосами. Кабацкие выходки вроде тех, какие позволяют себе за рюмку водки и порцию селянки обитатели задних дворов нашей журналистики и какими постоянно отличается грязная газетка, именуемая «Петербургским листком», мы в счет не ставим: нельзя же обращать внимание и обижаться пьяным горемыкою, который из пропитанного сивушным запахом подвала высовывает вам язык и строит пакостные рожи. Такие выходки могут забавлять лишь дураков да ротозеев. Но досадно, когда на страницах более дельных и серьезных наших газет являются обидные насмешки — добро бы над редактором, а то над характером и направлением его издания, успевшего, по милости Божией, приобрести уважение людей солидных, умных, честных и христиански мыслящих. Что Аскоченский — «мракодухновенный пророк», как называет его «Незнакомец» в одном из своих фельетонов[254], это мы уж слышали несколько раз, только в других вариантах: но что «Домашняя беседа» есть «новейшая книга Левит» — это мы только теперь узнали. Впрочем, если принимать эту выходку фельетониста просто, как она есть, без задней мысли, то тут

ничего нет ни оскорбительного, ни даже остроумного. Книга Левит, как известно, входит в состав Пятикнижия Моисеева и признается всеми христианами книгою богодухновенною; следовательно, сопоставление ее в «Домашнею беседою» может служить последней скорее к чести, чем к бесчестию: но если эпитет «мракодухновенный», приданный редактору оной, отнести и к автору книги Левит, то, по отношению к последнему, это будет кощунство, а по отношению к первому — оскорбление. Мы однако ж ни на то ни за другое не намерены вчинять иска, до чего в последнее время стали такими охотниками наши борзописцы; а желали бы только услышать от бойкого фельетониста: мракодухновенно ли то, что дает публике в своем журнале мракодухновенный редактор? Непременно так; ибо только *древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит.* Скажите же, что есть мракодухновенного в статьях «Домашней беседы» хоть, примером, за истекающий год? Вот перед вами *Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,* занявшие место в двадцати четырех выпусках; вот *Письма о духовной жизни*, начавшиеся с 33-го выпуска и имеющие продолжаться до конца текущего года, — те и другие принадлежат перу одного из уважаемейших наших архипастырей и истинно православного богослова: неужели у кого-нибудь достанет духу сказать, что все это плод мракодухновенности? Вот вам статьи о. Т. Твердынского о расколе, прекратившиеся до времени и снова имеющие печататься в «Домашней беседе», — что ж, и это мракодухновенность? Журнальных заметок помещено всего три: но каждая из них есть драгоценное приобретение ученой литературы, особенно последняя из них, принадлежащая г. Цареградскому, давно знакомому читателям нашего журнала под псевдонимом «Константинопольского». В первых выпусках за текущий год помещена целая драма в стихах: *Марфа Посадница,* — докажите же, господа, хоть нарочно, что она плод мракобесия и никуда не годится! Вы же охотно анализируете все, что ни появилось бы в других журналах, — что ж вы не удостаиваете вашего внимания многолетний, добросовестный труд? Подумайте-ка, не вы ли больны мракобесием, которое мешает вам относиться беспристрастно даже и к тем произведениям, которые принадлежат перу нелюбимого вами человека? А «Врачебный отдел», столь богатый своим содержанием, столь полезный для всех и каждого, заведываемый человеком, всей душою преданным науке, разгоняющим мрак повсюдного невежества в известной сфере его деятельности, — неужели и это гнилой плод мракодухновенности? А «Иностранное обозрение» мракодухновенно, что ли, знакомит читателей с событиями, совершающимися в цивилизованном мире? А «Басни» г. Незамая чем мракодухновенны? Вот в отделе «Блесток и изгари» действительно мало первых и гибель последней: но в этом виноват уж не редактор, а усердные распространители мрака и присяжные поставщики всякого рода изгари. Нет, господа порицатели, «Домашняя беседа», став на рубеже, разделившем нашу бедную литературу, в течение *тринадцати лет* не отступила ни на йоту от принятого ею направления, не мирволила ни нашим, ни вашим, твердою рукою держала поднятое ею знамя Веры православной и, благодаря Бога, приучила помаленьку к серьезному чтению и тех, которые потеряли было вкус к нему, напуганные рутиною прежних духовных журналов наших и летанием за облаками и туманами ваших доморощенных догматословов и моралистов. Она раскрыла, насколько то возможно, пустоту и ничтожество корифеев современной стихийной мудрости, воистину мракодухновенной, и перед читателями ее все эти Бюхнеры, Фогты, Молешотты, Дарвины и tutti guanti стоят в дурацких колпаках с длиннейшими ушами. «Домашняя беседа» никогда не говорит *от своего чрева,* но всякую мысль подносит к зерцалу евангельской истины и освещает ее тем светом, который идет от Света истинного, просвещающего всякого человека, грядущего в мир; значит, упрекнуть «Домашнюю беседу» или редактора ее мракобесием и мракодухновенностью может только тот, кто сам страдает тем и другим. Не трубя перед собой, мы легко могли бы указать и доказать, что влияние «Домашней беседы» не осталось бесследным и на всю нашу журналистику: для этого стоило бы только раскрыть журналы и газеты первых годов истекшего десятилетия и сличить, что писано было тогда и что пишется и печатается теперь. За весьма немногими исключениями, почти все запели по камертону «Домашней беседы»,

чему, впрочем, и быть надлежало; ибо правда не камень, в воде не тонет; ибо света солнечного не в состоянии затемнить нетопыри, как бы ни сновали они перед солнцем; и бои у отрицателей правды головы не клином сошлись.

Предобъявление

«Пишите что-нибудь повеселей, и у вас будет в десять раз более подписчиков».

«Если бы вы, с самого приезда в Петербург, попали не в общество Бурачка с компанией, то мы имели бы под вашим руководством великолепный сатирический журнал, и вы лопатою загребали бы деньги».

Так говорили мне два господина, оба не получающие «Домашнюю беседу» и однако ж оба охотно прочитывающие казовый конец ее, «Блестки и изгарь».

«Друзья мои, — отвечал я тому и другому, разумеется, в разное время. — Если бы я не помнил *последняя своя*; если бы не был убежден, что за всякое праздное слово, особенно печатное, придется отдать ответ на Страшном Суде Христовом.

Если бы не боялся участи того раба, который данный ему, какой бы там ни был, талант закопал в землю или и еще того хуже — в грязь, — я предупредил бы все эти «Гудки», «Искры», «Занозы», все «Листки» и «Газетки» и, набрав себе литературных клоунов из кабацких подвалов и трактирных трущоб, взял бы в руки хлыст с навязанными на хвосте его радужными бумажками и заставил бы их коверкаться на журнальной арене, сам подавая им в том пример. Я знаю, что охотников до кривляний у нас ох как много, что ловким плясунам на каком бы то ни было канате далеко вольготнее жить и благоденствовать, чем честному и христиански-добросовестному труженику мысли и слова, но сила в том, что я с ребячества привык смотреть на литературу как на высокое служение человечеству и убоялся злоупотреблять даром Божиим — словом. А убеждений, сросшихся с душой моей с самого детства, воспитанных и возращенных наукою, etsi fractus illabatur orbis, и если бы отец лжи предлагал мне все обольщения мира, — я изменить не могу… Я помню, что придет и для меня очередь слечь на одр смертный, и как ни стараюсь быть осторожным, а все чувствую, что пред тускнеющим взором моим станут угрожающими призраками многие строки, начертанные моею рукою, и одна только молитва да будет тогда на устах моих: *Господи, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою*… Нужды нет, что сочувствующих убогому моему деланию раз, два и обчелся: но ведь званных всегда бывает много, а избранных мало; зато ж эти избранные — все из числа призванных к спасению. Нужды нет, что в течение тринадцати лет журнальной моей деятельности я натер себе мозоли на раменах, таща без всяких пособий и без обязательных помощников тяжелое иго неуступчивой правды, что по смерти моей не на что будет похоронить меня и семейству моему не останется ни пенсиона, ни насущного куска хлеба: верю, что Господь не оставит Своею милостию раба Своего, послужившего Ему по силам своим… Верую, что избранные из званных спешно притекут с благодушным участием к детям того, кто хоть крохами и крупицами питал духовно и их самих, и детей их… Грустно, грустно, друзья мои, заглядывать в будущее!.. Нужды нет, что меня в течение тринадцати лет поносили и злословили всеми способами: беда была бы моя, если б меня хвалили мои поносители. Я радовался всегда и буду радоваться до скончания труда моего всем насмешкам и поруганиям, как очистительному для меня средству».

Так, и даже больше того, часто говорил и говорю моим советодателям и в надежде, что Господь не посрамит упования моего, не спущу с рамен моих возложенный на себя крест. Еще не оскудела Русь святая избранниками, жаждущими слова правды евангельской; еще есть, для кого потрудиться и поработать; не дадут умереть с голоду *волу молотящу*, и побелевшая

голова моя не склонится перед лохматыми головами юных новаторов, драпирующихся в дырявую хламиду цивилизации и прогресса. Возлож руку на рало и, не отнимая ее в течение тринадцати лет, не оглянусь вспять, и со знамением креста Христова пойду и в четырнадцатое лето моей деятельности с тою же энергией, с тою же неуступчивостию духу времени, какою закалено все существо мое изучением Слова Божия и многолетней опытностью. Лишь бы было кому читать, а писать будем…

15-го августа <1870>

Опровержение нелепых слухов

Паки стали беситься, паки смущаться наши Иродии, бросаясь с пеною у рта на редактора «Домашней беседы». Не доняв его мытьем, хотят донять катаньем. Мало им показалось прямых нападок на дух и направление ненавистного им издания: понадобилась атака с тыла. Когда-то «Киевский телеграф», под редакцией безграмотного фон Юнга, торжественно возвестил о прекращении «Домашней беседы» и о переезде редактора на житье в Киев, а «Северная пчела» похоронила даже его на Смоленском кладбище с приличным заявлением своего сожаления. А вот теперь какие-то газетные поденщики в изданиях, читаемых только низшими слоями нашего общества, уведомляют, что редактор «Домашней беседы» принял на себя управление Стрельнинским певческим хором, которого, собственно, нет и не бывало. Можно было бы принять это за тупую остроту, если бы вслед за сим не появилось в той же газете извещение, что Аскоченский продал свое издание и остается, стало быть, «не у дел». Это уже такого рода утка, которую можно было бы подстрелить дробью из Уложения: но мы не охотимся за дичью. Пусть квакают эти утки до первого стрелка. Для успокоения же тех, кому о сем ведать угодно, объявляем, что у нас и в помышлении нет и никогда не было прекращать дело и делание, которому служили мы девятнадцать лет и будем служить до конца нашей жизни, не озираясь вспять и крепко держась за то рало, которым работаем на ниве Господней…

С нами Бог!

Русь потому и называется «святою», что содержит Веру православную, апостольскую, которую исповедовали мученики, уяснили Отцы Церкви, оправдали подвижники и по которой мы славим Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Следовательно, *с нами Бог*!

Нетленные и цельбоносные мощи угодников Божиих всегда служили и служат вместилищем особенной благодати Божией и знамением Вышнего благоволения к роду христианскому, а ими усеяна вся наша земля, от севера и юга, запада и востока; следовательно, *с нами Бог*!

Были и у нас лютые годины; нападали и на Русь татары, литовцы, шведы и в недавнее время *двенадесять язык* всей Европы. Страшен был сон, но милостив Бог. *Тии спяти быша и падоша; мы же востахом и исправихомся*. Значит, *с нами Бог*!

Вот и теперь пришлось нам вступить в войну с Турцией не для какой-либо корысти, не для расширения наших владений, а единственно для защиты и освобождения от тяжкого ига варваров, четыре века упивающихся кровию единоверных наших братьев-славян. Смеем ли мы надеяться, что и теперь будет *с нами Бог*?

Что говорит нам о войне Слово Божие? Во-первых, то, что ее вели иногда люди святые; во-вторых, то, что они начинали ее с Божия благословения. Так, Авраам [1] с горстию вооруженных домочадцев своих разбил целую коалицию царей, напавших на владельца

содомского, под кровом которого жил племянник его, Лот, и победителю сказано было Мельхиседеком: *благословен Бог Вышний, иже предаде враги твоя под руки тебе*[255]. Иисус Навин покорил почти все племена палестинские, истреблял жителей и сожигал города, но не иначе, как по повелению свыше: *востав, прейди Иордан ты и вси людие сии в землю, юже Аз даю им; не сопротивится человек пред вами во вся дни живота твоего. Крепися и мужайся: ты бо разделиши людем сим землю, ею же кляхся отцем вашим дати им*[256]. Гедеон [2] сокрушил громадное мадиамское ополчение тоже по слову Божию: *иди в крепости твоей и спасеши Израиля от руки мадиамли, понеже Аз буду с тобою*![257] Царь Давид [3], уже ничто же сумняся, исповедал, что Сам *Господь Бог был научаяй руце* его *на ополчение* и *персты его на брань*[258]. А первый царь-христианин получил непосредственное вразумление от Господа побеждать врагов своих способом новым, дотоле неслыханным — силою Креста Христова: *сим победиши*!

Многолетний, единодушный гул всего народа русского, наконец, твердые слова долготерпеливого Монарха нашего, призывающий исхитить из рук варваров миллионы страдальцев-христиан, разве это не голос Самого Бога, не благословение Его на открывшуюся брань? Глас народа, говорит пословица, глас Божий. А наши сербские добровольцы — что это, как не передовая Божия рать, идущая на сокрушение мадиамлян? Вспомните, как расставались они со своею родиной, покидая свои дома, родителей, жен, детей? Говели, очищали покаянием грехи свои, приобщались святых таин Христовых и шли потом в страну, вовсе им неведомую, чтобы стать впереди многовековых страдальцев, братий своих по вере и крови, и принять на геройскую грудь свою первые удары остервенившегося врага. Как вступали они на родственную им землю? Стройными рядами, в предшествии св. икон, лобызали землю, орошенную потоками крови христианской, и давали клятву или победить, или сложить кости свои на этой *долине суда Божия*. Взгляните теперь на доблестных воинов наших, которые рвутся на поле битвы; пересчитайте бесчисленные жертвы, приносимые мирными жителями; остановитесь с благоговением над самоотверженностью огромного числа пожилых и юных мироносиц наших, отказывающихся от всех жизненных удобств и спешащих с елеем укрепления, любви и утешения в юдоли скорби, стонов и болезней, — что двигает всех их на такие высокие подвиги, как не мысль, что *с нами Бог*? И Он действительно с нами, ибо мы в настоящую минуту *не предложили пред очима нашима вещь законопреступную*, не *с гордым оком* и не *с несытым сердцем* идем ныне на *избиение грешных земли, еже потребити от града Господня вся делающия беззаконие*[259].

Не станем описывать, какие ужасающие размеры приняли в наше время нечестие и безнравственность турок. Волос становится дыбом от тех ужасов, весть о которых ежедневно доносится до нас с многострадального востока. И вот Русь святая, *сильная, препоясала меч свой по бедре своем* и пошла, памятуя героев, прославивших ее на берегах Невы, на поле Куликовом, под Бородиным и в Севастополе. Сами враги наши начинают уже чувствовать и понимать, что Россия исполняет только святое и высокое свое призвание, и страхом-ужасом разит их слух наша победная песнь: *С нами Бог! Разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог! Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть*![260]

Раздел IV. Блестки и изгарь

О памятнике тысячелетию России

Что-то не слыхать, чтоб русский православный народ слишком горячился по случаю обещанной постановки в Новгороде памятника тысячелетию России. Практическому смыслу его представляется это дело не слишком важным, — не то, что какому-нибудь немцу, который

по таковому поводу имеет в перспективе побольше обыкновенного кусок бутерброда, сочную пару котлет с картофелем и одну бутылку пива на двух разгулявшихся брудеров, с приличным таковому торжеству спичем. Зато ж наши так называемые передовые покоя не знают, пересматривая в девятьсот девяносто девятый раз великолепный проект г. Микешина [1] и указывая *сочинителю* то на те, то на другие промахи. Признаться, мы не обратили бы внимания ни на г. Микешина с его проектом, ни на хлопоты передовых, если бы последние в тенденциях своих не проговаривались иногда довольно знаменательным образом.

Фельетонист недавно появившегося из богадельни «Русского инвалида» «Современного слова», остановившись над заметкою газеты «Тэймс» (Times), тоскует вместе с нею о том, что в барельефах микешинского памятника нет собственно ученых, и с безотрадною горестию вопрошает себя: «Но были ли у нас ученые в настоящем смысле слова? Только в самое последнее время начали появляться такие научные сочинения, которые заслуживают название русских»[261].

Таким образом, сначала обездоленные, а потом утешенные заметкою «Современного слова», мы с тайною радостию просим его как можно скорее указать нам эти «научные сочинения последнего времени», чтоб уж решительно не показаться неучами пред Европой. Мы и сами видим, что у нас, благодаря Бога, нет и не было доселе ни Маколея, ни Кювье, ни Вольтера, ни Лапласа, а уж о таких великих умах, как Спиноза, Кант, Шеллинг, Гегель, Фейербах, Штраус, и думать не смеем. Правда, есть у нас Струве, Пирогов — не оператор Пирогов, а Пирогов — педагог и философ, что составляет огромную разницу, — но, к сожалению фельетониста, и тот и другой еще живы; были опять «в настоящем смысле слова ученые, *распространявшие ясные, сознательные идеи в обществе*[262], нравственные, эстетические, религиозные, политические и т. д. — но, к сожалению разноцветных передовых, Русь их не знает, да навряд ли и знать захочет, когда поближе познакомится с ними и хорошенько вникнет в их «научные», мнимо русские сочинения. Мы совершенно уверены, что никто из православного люда не догадается, о ком это у нас с фельетонистом идет речь; а между тем пропуск их в барельефе окончательно ставится г. Микешину в преступление, ибо это люди не какие-нибудь «исторические деятели языка и формы, *а абсолютные художники и исторические деятели мысли*[263]; один же из них «по всем концам России привел в ясное, отчетливое сознание те неясные чувства, которые шевелили в нас поэты, образовал нравственно и эстетически, прямо и через вторые руки, несколько поколений, был первым проводником истинной, применимой к нам гуманности, гуманности истинной, широкой, не доставшейся на долю одному простолюдину, как достается она у односторонних учеников его, взявших одну его рьяность, без его вкуса и без его глубины». Чтоб не томить долее наших читателей, скажем, что эти пропущенные светила Руси православной, без которых так темен будет «памятник народный или, скорее, государственно-народный», суть (внимание, господа!) Белинский [2], Грановский [3] и немножко Станкевич [4]. Первый по нашему искреннему убеждению оказал России незабвенную услугу тем, что перепутал в головах молодых поколений все понятия, религиозные, политические, нравственные и эстетические; второй тем, что был профессором Московского университета и либеральничал совершенно в современно-русском духе, по образцу юродствующих в атеизме[264]; а последний… последний хоть и не произвел ничего видного, *но исправил и создал отчасти* Белинского, Тургенева (не слышали), Грановского, Кудрявцева, Каткова, Кольцова и других, о которых мы, говорит фельетонист, пока умолчим». Кто ж бы это такие «другие», при упоминании которых фельетонист прибегает к поприщинскому молчанию? Уж не Добролюбов ли, не Пиотровский ли со всею брадатою и лохматою братиею, исподтишка трудящеюся над преобразованием России? Что бы таки уж их втащить в барельефы памятника! Наконец, почему же не дать бы место и Пугачеву, и Степану Тимофеевичу Разину — чем они не исторические деятели мысли и дела! Вот уж именно был бы народный памятник, — только кто его знает, какой эпохи… Нет, господа, вы, как видно,

желаете устроить памятник настоящему, грустному моменту, если тискаете в него такие личности, как Белинский, Грановский и «другие», о которых *пока* умалчивайте, — и не от лица миллионов людей истинно русских и православных, а от имени горсточки запевал, большая часть которых тянет песенку свою из-за кулис. Народ не призна́ет такого памятника своим и в чувстве справедливого негодования отвернется от него, как скоро увидит там изображение такого господина, как Белинский, который, не обинуясь говорим, был отъявленным врагом Веры и Церкви православной, который… да, впрочем, вы и сами догадаетесь, что́ хотим мы сказать.

Знаем, что вы раздражитесь на нас за наше откровенное слово и готовы будете забросать нас грязью насмешек, порицаний и ругательств: но будьте гуманны, господа; позвольте и нам сметь свое суждение иметь. Мы ж не гневаемся на вас за то, что вы, как бы из милости, уступаете местечко в барельефах Державину, Гнедичу и Жуковскому: не извольте ж гневаться и на нас за то, что мы, очень хорошо зная и понимая тенденции рекомендуемых вами *абсолютных художников и исторических деятелей мысли*,[265] положительно отрицаем их права на существование в народной памяти или, что то же, памятнике тысячелетию России.

Давно хотелось нам сбросить с души своей тяжкую и оскорбительную для всякого истинно русского человека думу об одном важнейшем и существеннейшем пропуске в микешинском памятнике России. Между великими деятелями мы там не видим Единого из единых, тридцать лет верою и правдою прослужившего православному народу, — Того, кто своею мощною рукою держал Россию на небывалой дотоле высоте и не пережил ее, Им Самим созданного величия; не видим Избранника, от потери Которого стоном стояла Русь,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля,
До стен недвижного Китая…

Нет Его, нашего Великого и Незабвенного, на мнимо народном памятнике, — нет, ну, и не надо. Да притом, кстати ли Ему стоять наряду с Белинским и подобными, которых так усердно тащат в храм бессмертия передовые нашего времени? Действительно, место Ему не в барельефах, которые рано или поздно сотрет всесокрушающее время, а в сердце вечно благодарной России, откуда не вырвет Его никакая сила в мире… Народ умеет создавать памятники лучше и прочнее, чем даже строители древних пирамид и обелисков; народ… но довольно!.. Вы, господа, задеваете русского человека за такие струны, которые звучат болезненным аккордом, разносящимся в воздухе похоронным звоном вашим темным затеям и замыслам…[266]

Еще о памятнике тысячелетию России

Спешим известить читателей «Домашней беседы», что в микешинском памятнике тысячелетию России дано наконец место Императору Николаю I [1] как одному из *государственных людей* и Державину [2] как *литератору*. Считаем, говорит г. И. К–в в «Северной почте» (№ 163), нужным «прибавить, что на барельефе памятника произведены небольшие изменения против первоначального плана: некоторые лица, как *менее замечательные*, уничтожены вовсе и заменены другими; не будут помещены на барельефе: св. Митрофаний Воронежский [3], Дмитревский (актер) и Шевченко (поэт), а взамен их будут изображены: Император Николай I (в числе государственных людей) и Державин (в отделе литераторов)».

Итак, угодник Божий деятельно, при жизни своей помогавший и доныне предстательством своим у Бога пособствующий благостоянию России, оплаканный Петром I[267], возвеличенный

Самим Богом, сравнен с поэтом и актером как *лицо мало замечательное!!*.. Феофан Прокопович [4] — другое дело: это наш Мазарини, Ришелье, Талейран; Волков, основатель российского театра, Кокоринов, построивший Академию художеств, да даже Грибоедов, Пушкин, Лермонтов — все это звезды первой величены, без которых немыслимо тысячелетнее стояние России!.. Умолкаем, однако ж, предоставляя подумать обо всем этом всякому истинно русскому, православному человеку…

Гоголь, Аскоченский и К°, проповедники «Каких-то высоких истин»

Так-то, незабвенный труженик мысли, с необыкновенным самоотвержением предавший огню смущавшие дух твой изделия праздного наблюдения! Высоко ставили тебя, при жизни твоей, передовые твоего времени, так высоко, что и твоя привычная голова кружилась от той высоты, у подошвы которой кишмя-кишили твои поклонники, окуривая тебя фимиамом лести: но смиренно сознал ты недостаточность твоих собственных сил к исправлению человечества путем зримого миру смеха сквозь незримые ему слезы, увидел, что нет в жизни нашей того материала, из которого мог бы ты построить идеал русского человека, почивавший в чистом сердце твоем; не «поднялась иным ключом грозная вьюга вдохновения из облеченной в святой ужас и в блистанье главы твоей; не почуяли мы в смущенном трепете величавый гром других речей» твоих, и обратился ты к высоким истинам веры Христовой и стал хоть не всегда искусным, но зато ревностным ее проповедником. И толпа, кричавшая о твоей гениальности, отхлынула от твоего пьедестала и с пеною у рта стала подгрызать его подножие с намерением уронить тебя и втоптать в грязь своих нечистых помыслов и затей!..

В самом деле, кто на месте Гоголя [1] не сделал бы крутого поворота назад, увидав себя впереди таких передовых, которые и по принципу, и по жизни, и по литературной своей деятельности не могли отвечать той идее, которая составляла задачу всей его жизни и которая подавила его самого своею громадностью! Не многие тогда поняли это: но гениальному художнику не до того уж было — понимают ли его, нет ли: он занялся устроением своей собственной души и смиренно подклонил стремления своего ума под легкое иго Христово…

Не хотелось бы верить, но так действительно было, так есть и по сие время, так будет *и по сих*, до тех пор, покуда люди не придут *в разум истины*. Гоголь, потешавший публику зримым своим смехом, был ее кумиром: но лишь только, — будем говорить словами публициста «Северной пчелы», — вздумал «сделаться проповедником *каких-то, по его мнению, высоких истин*, в сущности мало отличавшихся от тех истин, которые в наше время с большею силой, энергией и последовательностью проводятся г. Аскоченским и К° и до которых обществу, как во времена Гоголя, так и теперь, нет никакого дела, — публика сделалась положительно равнодушною к нему, увидав, что он не отвечает насущным ее потребностям»[268]. Что ж это за публика, которая отвергла любимца своего за проповедание «каких-то высоких истин»? Уж не та ли, которую он сам покинул, испугавшись ее нравственного безобразия? Не та ли, которая взяла потом себе в предводители Белинского с К°? Если так, то обществу до этой горсти крикунов нет никакого дела; если же нет, если наше общество, действительно, настроено по камертону Белинского и потому не понимает «каких-то высоких истин», исповедником, а не проповедником которых сделался Гоголь при конце своей литературной деятельности… страшно за человека, страшно за такое общество! «Я, — говорил Гоголь в своей «Авторской исповеди», — не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же; предмет у меня был жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть Источник жизни, пришел к Тому, Который Один полный ведатель души и от Кого Одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. Я пришел к тому заключению, что верховная

инстанция всего есть Церковь и разрешение вопросов жизни в ней». Так вот они, эти *какие-то* высокие истины, до которых будто бы обществу и во времена Гоголя, и теперь нет никакого дела!.. Члены общества христианского, дети Руси Православной! Отвечайте, правда ли это или клевета?.. Горе, если действительно среди нас *несть разумеваяй и взыскаяй Бога,* если *вси уклонишася, вкупе непотребни быша! Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь вметаемо!*..[269]

С одной стороны обмолвка, а с другой недомолвка

С истинным наслаждением читали мы в «Основе» [1] биографию нашего украинского философа Григория Саввича Сковороды [2], еще прежде довольно ознакомившись с подробностями его страннической жизни и характером миссионерской его деятельности. Недовольный педантизмом своих современников и упорно отстранявший себя во всю жизнь свою от представителей тогдашней учености, Сковорода явился у нас, на Руси, тем, чем были на Западе Бемы, Гельмонты, Пордечи, Сведенборги и другие мыслители, известные под именем *феософов*. Собственно говоря, мы видим на Сковороде поразительный образчик того, к чему может привести самого глубокомысленного испытателя таин природы намеренное уклонение от учения Церкви и своенравное убеждение в непогрешимости своих философских выводов. Нас неоднократно поражала эта непроглядная тьма умствований Сковороды, облегавших черною тучею его впечатлительную душу; болезненно сжималось сердце, когда мы видели этот самородный ум влающимся всяким ветром учения, без твердой основы, без определенной цели, вдруг ярко озаряющий и верхнее, и дольнее и в то же мгновение погружающийся в густой мрак, — с признаками раздражительного самолюбия и тайного поклонения самому себе, которое просвечивалось даже сквозь красно-подобранные слова о смирении. «Мир меня ловил, но не поймал», — эта эпитафия, сочиненная Сковородою себе самому, всегда возбуждала в нас неприятное чувство какою-то резко выдающейся нотой, вроде той, какою попотчивала Чичикова ноздревская шарманка.

Но ни с чем нельзя сравнить того неприятного чувства, которое произвело в нас известие, сообщенное жизнеописателем Сковороды Коваленским о том, что будто бы «он перед смертию отказался было совершить *некоторые обряды*, положенные Церковию, и что потом, *представляя себе совесть слабых*, исполнил все по уставу»[270]. Спрашиваем, не Коваленского, которого давно уже нет на свете, а автора биографии г. Ореста Халявского и главное — редакцию «Основы», — что это за обряды, положенные Церковью, для напутствования умирающих? Елеосвящение, что ли? Или, может быть, принесение покаяния и причащение Телу и Крови Господней? Но разве это обряды только, а не действительные и не вседействующие таинства? Опять, — если Сковорода и в самом деле отказывался перед своею кончиною исполнить долг православного христианина и если исполнил его потом для того только, чтоб не смутить «совести слабых», — то разве это служит к чести его? Разве биограф не бросил самую мрачную тень на уважаемую личность нашего народного мыслителя? Нет, как угодно, а не имея задней мысли, мы не поместили бы этого факта, если бы он имел даже историческую достоверность. По-нашему так: передавая такое или другое извещение о более замечательной личности, непременно надо иметь в виду, какое действие произведет оно на читателя, и, главное, не бросит ли какой-либо тени на тот или другой предмет, к которому по-своему относилась выставляемая личность. Удерживаясь от осуждения Сковороды, мы не можем не упрекнуть г. Халявского и редакцию «Основы» за то, что они не выбросили из биографии украинского философа эту удушающую изгарь.

Картина г-на Ге

На последней выставке в Императорской Академии художеств внимание всей публики было

привлечено картиною г. Ге [1], названною в каталоге: «Тайная Вечеря». Все журналы и газеты наперерыв спешили заявлять об этом произведении талантливого художника, положившего, как говорят знатоки, основание новой школе, отвергнувшего рутину и «внесшего в русскую живопись живую струю, которая должна освежить поблекший исторический род живописи и показать, что история и господствующий в нашей школе жанр не подлежат резкому разграничению».

Начитавшись печатных и наслушавшись устных толков о картине г. Ге, мы нарочно ездили на выставку поглядеть на это диво искусства. Ну, и глядели и видели. Хороша картина, нечего сказать, очень хороша. Если не выше, то непременно рядом она имеет право стоять с знаменитою картиною г. Иванова [2]. Для живущих далеко от Петербурга мы расскажем, насколько сумеем, план ее и положение действующих лиц.

Художник изобразил убогую комнату, в углу которой поставлен стол, покрытый простою скатертью, а вокруг стола бедные ложа вроде низких диванов. Стены голы; небольшое окошко, полузадернутое грубою тканью, не скрывает, однако ж, что на дворе лунная ночь. Комната освещена ночником, скрытым за одною из фигур. На столе остатки вечери и самая простая посуда; у стола на полу умывальница, думать надобно, для омовения ног. Среди этой обстановки на первом плане представлен Спаситель, но не тот Спаситель с Божественным величием на челе, с сознанием, что *вся предана* Ему Отцем Его, не с мыслью о великой тайне, долженствующей оживить весь мир вкушением от плоти и крови Его, не в тот момент, когда изречены Им слова: *приимите, ядите* и *пийте от нея вси*, а какой-то убитый горем человек, не поладивший за общим столом со своим соседом, с понуренным челом и опертой на руку головой. Апостол Иоанн, только что поднявшийся с помятого ложа, полон изумления, как будто от неожиданного оборота дела. Апостол Петр представлен каким-то горячим стариком, который того гляди бросится за уходящим Иудой, чтоб… чтоб остановить его; на лице Иуды вы видите оскорбление и жажду мести; остальные девять фигур, занимая задний план картины, служат только дополнением к действию.

Читатель и без нашего указания видит, что картина эта не имеет ни малейшего права именоваться «Тайною Вечерию»; она, скорее, жанр, взятый из обиходной жизни, — игра досужего воображения, залетевшего далеко за пределы, указываемые евангельским сказанием и преимущественно практикою и преданиями Церкви Православной. Минуя художественное исполнение картины, мы глядим на нее с точки религиозной и потому положительно говорим, что произведение г. Ге есть оскорбительная для чувства христианского профанация величайшей мировой тайны, есть прикосновение Озы к ковчегу завета. Тяжело, болезненно-тяжело впечатление, уносимое православномыслящим человеком от изображения, подобного которому не представляла ни одна школа христианской живописи. Есть сюжеты, раз навсегда апробированные вековым употреблением, которых не смеет переставлять по своему произволу рука художника; есть события в мире христианском, имеющие свой колорит, свою обстановку, свои неизменные условия. Это не рутина, а примирение небесного с земным, укрепленное рядом веков; малейшая черта, вновь привнесенная, уже вредит этому примирению, расторгает связь небесного с земным, оземленяя первое и низводя его на степень обыденных, человеческих явлений. Вот почему Церковь Православная чуждается изысканного стиля итальянских художников; вот почему неприятны и оскорбительны для чувства христианского театральные позы, придаваемые изображениям католических святых и, к несчастию, врывающиеся и в нашу церковную живопись. Но не в том дело. Быть может, мы не сказали бы ни слова, ни о картине г. Ге, ни об аномалии ее в смысле религиозном, если бы нас не побудили к этому более чем странные рассуждения какого-то г. *А. Сомова*[271].

«Г. Ге, — говорит он, — внимательно читая Евангелие и *новейших его толкователей*, не

довольствовался этими божественными строками, а читал и между ними, находя и там новые и новые *прелести*». Видите ли, к чему приводит чтение Евангелия по руководству новейших его толкователей! К недовольству тем, что читается ясно и понятно для верующего, к чтению между строками, то есть к навязыванию своих собственных мыслей святым евангелистам и вследствие того к открытию в Евангелии каких-то *новых прелестей*!.. Что мудреного после этого, если художнику Спаситель мира представился с лицом «не особенно красивым», что в измене Иуды он понял «не побуждение низкой алчности, но грустную развязку несогласий между творцом нового учения и его последователем, не могшим отречься от древнего иудейства». Что удивительного, если Христос Спаситель представился и Иуде, и художнику не разрушителем дел диавола, не искупителем всего рода человеческого, а только «врагом родины, грозящим разрушить все, что составляло ее национальность»! Новейшие толкователи низвели божественное сказание евангелистов до простой интриги, — и вот Сын Божий является в пластическом образе оскорбленного неудачею человека; апостол Петр (прости Господи!) — забиякой, «готовым броситься на Иуду и наказать дерзкого, осмелившегося так глубоко огорчить Господа»; апостол Иоанн — посредником, который «надеется помирить поссорившихся»; предатель Иуда — «не негодяем, готовым за деньги на высочайшую подлость, но глубоко оскорбленным старообрядцем». Стало быть, все не так, как мы читаем в Евангелии и слышим из уст Церкви Православной; все происходило не тем порядком и не при той обстановке, к каким приучила нас церковная практика. По вашему, все это рутина: да за чем вы трогаете ее? Этой рутиною живет благоговейная дума христианина; эта рутина возводит его от земли к небеси и могущественно переносит к тому великому моменту, когда учреждением таинства Евхаристии совершилось великое дело обновления вселенной. Эта рутина не давит нас пластикою и заставляет с любовью и благоговением взирать на божественное лицо Искупителя, принимавшего в пречистые руки Свои хлеб и чашу. Эта рутина указывает нам в хлебе пречистое тело Его, а в чаше божественную кровь Его... Понимаем, очень хорошо понимаем, к чему ведете вы народ православный с вашими новейшими толкователями Евангелия!.. Мы тоже умеем читать между строками и видим заднюю мысль за густым слоем красок, — и потому еще раз говорим, что картина г. Ге есть не «Тайная Вечеря», а осуществление идей новейших толкователей, в сердце которых, как в сердце Иуды перед предательством, вошел сам сатана...

Нет, г. Ге, лучше б вы сделали, если б при вашем несомненном таланте читали Евангелие не по руководству новейших толкователей его и не между строками, а так, как учит читать оное Церковь Православная; а еще лучше, если б вы вместе с г. Ивановым выбирали сюжеты для своих изделий из мифологии или даже обыденной жизни, вон как поступил г. Пукерев [3] с знаменитою картиною г. Иванова. Тогда бы мы, люди православные, не имели неприятности видеть на выставках *прелестного* безобразия, которое и вы, г. Ге, и покойный г. Иванов ярко выразили в своих препрославленных картинах.

Хороши наши ребята, только славушка не та

С неодинаковым чувством прочитается на Руси православной передовая статья «Московских ведомостей» о свойствах и характере наших петербургских псевдолибералов. Все благомыслящие и близко знакомые с делом люди останутся благодарны знаменитому редактору за разоблачение литературных бандитов, которые любят закрываться широким плащом гуманности и космополитизма и прятать бесстыжие глаза свои под широкими полями флибустьерских шляп. Дело пошло с писем, помещенных в английской газете «Тэймс» (Times) корреспондентом, проживающим в Петербурге, который писал в редакцию и с театра событий, с польских мест и часто прямо под диктовку поляков. Само собой разумеется, что описания его не отличались доброжелательством к России, и где представлялся хоть малейший случай, поставщик известий не пропускал его, чтоб не кольнуть русских варваров, угнетающих

польскую цивилизацию. «Но вот этот же человек, — продолжают «Московские ведомости», — прибыл в Петербург и пишет из русской столицы, где, казалось бы, должны быть сосредоточены все живые интересы и чувствования русского народа. Среда непременно оказывает влияние на наблюдателя; волею или неволею он находится под ее впечатлением и подчиняется господствующему в ней духу. Иностранный наблюдатель смотрел на польское восстание из разных мест и, стало быть, с разных точек зрения, — и что же? — ни одна из этих точек зрения не представила ему такой неблагоприятной в русском смысле перспективы, как петербургская точка зрения. Ничего нельзя представить себе хуже того духа, который сказывается в письмах английского корреспондента о польском восстании с берегов Невы. Все это ничтожество, все это растление, весь этот бессмысленный и презренный лжелиберализм особого рода, состоящий в измене своему народу, в пренебрежении к его живым интересам и требованиям, и в рабском трепете перед чужим мнением, — все это так и повеяло на нас из двух прочтенных нами в газете «Times» петербургских корреспонденций о польском восстании. Для того чтоб уязвить русское народное чувство, для того чтоб оскорбить, взволновать и болезненно раздражить его, не нужно осыпать Россию и русских укоризнами и бранью; нужно только зачерпнуть из петербургской среды разных суждений и передать их в надлежащей обстановке. Это всего действительнее. Дух тления, который дышит в этом петербургском так называемом либерализме и которого пагубные действия становятся все ощутительнее внутри России, — вот наш укор, вот наше зло! Чтó бы кто ни говорил в этом духе, в чем бы не отзывался этот дух, — все болезненно сожжет самый источник жизни в нашем обществе, почувствуется как самая горькая обида. Что значат для нас ругательства иностранных писак! Что значат для здорового, свежего и сильного народа чьи бы то ни было отзывы! Что значат для умных, дельных людей, способных чувствовать собственное достоинство, сплетни и пересуды окружающей среды! Но когда в зеркале, которое нам подставят, отразится наш собственный позор, тогда всякий, кто бы какой ни был комплексии, почувствует и боль, и унижение и невольно возненавидит ни в чем не повинное зеркало.

«Недавно, когда Россия находилась в незаслуженном унижении, когда в ее пределах пожаром разлился мятеж, изумив все русское общество, ничего не подозревавшее в своем затишье и полусне, когда посреди русского народа вдруг неведомо откуда взялась какая-то бессмысленная революционная организация, когда, наконец, вся Европа ополчилась на нас и враги России ждали с часу на час, вот-вот она рушится сама собою, — что спасло Россию от этого кошмара, что оживило, что подняло ее, что заставило ее крепко почувствовать свои государственные границы, что снова приобрело ей не фальшивое, а истинное уважение Европы, что заставило Россию почувствовать в себе источник новых сил, начатки новой жизни и великого плодотворного развития? Этот ли лжелиберализм, который был готов великодушно жертвовать единством и целостью своего Отечества, — который готов был преклоняться перед всяким безумием и всякою глупостью, лишь бы только они заявляли себя достаточною наглостью и нахальством, — который губил бедную молодежь, кокетничая с нею и приветствуя гимназистов в качестве передовых мудрецов и преобразователей, — который отзыв иностранца ставит выше народного чувства своей страны? Нет, — теперь нельзя ошибаться; теперь и слепой видит, в чем дело. С фальшивым либерализмом мы покончили. На эту удочку нас теперь не поймают. Безвозвратно прошли те времена, когда можно было дурачить целое общество студенческими демонстрациями на улицах. Что было возможно тогда, того теперь не повторится. Твердая, ничем несовратимая национальная политика внутри и вне — вот наше спасение! Только на наши народные силы можем мы благонадежно опереться и в нашем консерватизме, и в нашем либерализме»[272].

Праведно и всякого приятия достойно слово одного из честнейших и разумнейших наших публицистов. Но мы, верно, невполне верим тому, чтобы дело с фальшивым либерализмом уже покончено. Что на эту удочку нас теперь не поймают — это верно: но почему ж и нам не

закинуть удочек для ловли этих ершей и плотвиц, притаившихся в тине, среди камыша? Почему бы не повытаскать их на берег и не подвергнуть влиянию той атмосферы, которая действует на них так истребительно? Нет-нет, да и выпрыгивают они на водном полотне великой речи; нет-нет, да и зашевелят камышом, давая знать о своем присутствии. Вот они, — смотрите: мы видим их и в мире журнальном, и в училищных аудиториях, и за департаментскими столами, и в партере столичных театров, и за книгопродавческими прилавками, и в комитетских собраниях, и даже… даже… да мало ли где мы их не видим! Право, не мешало бы «народным силам» позаняться этими зверками!

Сердце Вольтера

Трудно представить, до какого сумасбродства может доходить цивилизация, гоняющаяся за призраками и блудящими огоньками мнимо-высокого, мнимо-прекрасного. Сколько нам помнится, ни древняя, ни новая история не представляет похожего на то, что теперь делается в одной из нынешних цивилизованных стран света. «В Магдебурге, — пишут в иностранных газетах, — еще не кончилась борьба за гробницу Карно, а уже в Сент-Женевьеве возгарается новая распря по поводу *сердца* Вольтера [1]. Смертные останки Вольтера, по общему убеждению, покоились в могильном склепе церкви св. Женевьевы, — бывшего Пантеона, на котором, во времена революции, красовалась надпись: «Благодарное отечество великим людям». Вольтер скончался 30 мая 1778 года. Телу умершего атеиста было отказано в церковном погребении, и аббат Миньо, совершавший над ним панихиду в Селльерском аббатстве (департамент Юры), подвергся строгому наказанию. Революция учредила впоследствии торжественное празднество; остатки Вольтера перевезены были в Париж и погребены в Пантеоне вместе с прахом Жан-Жака Руссо [2]. В могильном склепе соорудили временный памятник, из дерева и крашеного холста. Этот памятник существует и в настоящее время, хотя в весьма ветхом и полуразрушенном виде. Бронзовый монумент, который должен был заменить его, не был отлит. С 1806 года Пантеон снова обратился в церковь, и прах Вольтера продолжал покоиться в отведенном ему помещении до настоящего дня. Таково было, по крайней мере, общее мнение. Нынче вследствие произведенных, по распоряжению императора, изысканий оказалось, что гробница Вольтера — пуста. Мы полагаем, что у всех сохранилось воспоминание о процессе, возникшем по поводу завещания маркиза де-Вильета, и о воспоследовавшем затем решении суда, в силу которого кровные родственники французского писателя вступали во владение всем имуществом, принадлежавшем приемному сыну Вольтера. В течение последнего времени замок Вилльет поступил в продажу и англичане предлагали громадные суммы денег за находившееся в этом замке сердце Вольтера. Владельцы не согласились, однако ж, на предложение англичан и, обратившись к министру внутренних дел, предлагали сердце Вольтера в дар Франции. Император принял подарок, но, прежде чем предать сердце погребению, пожелал узнать мнение архиепископа. Кардинал, выразив свою благодарность за оказанное со стороны императора внимание, заметил, что в Пантеоне вряд ли отыщутся теперь останки Вольтера. Среди парижского духовенства, по словам архиепископа, сохранилось предание о перенесении, во время реставрации, праха Вольтера в неизвестное место. Вследствие этого император приказал открыть гробницу, и праха Вольтера в ней действительно не оказалось. Но дело тем не покончилось. Император повелел произвести следствие, и если прах Вольтера не будет отыскан, в чем почти нельзя сомневаться, то в большой зале библиотеки должен быть сооружен монумент в честь знаменитого писателя. По поводу исчезновения праха Вольтера в новом журнале «Intermediaire», издающемся с января-месяца настоящего года, появилась статья библиофила Жакоба, в которой сказано, что в 1814 году, ночью, в мае месяце, прах Вольтера и Руссо был вынут из гробниц, положен в мешок и отправлен в фиакре, в сопровождении шести человек, к Горской заставе. За заставой, на широкой площади, предназначавшейся для постройки складочного товарного места, была вырыта глубокая яма, частью наполненная негашеною известью. В эту яму зарыли смертные

останки обоих писателей. Библиофил Жакоб сообщает некоторые указания о шести лицах, совершавших погребение, по всей вероятности, не без участия правительства»[273].

Таким образом, сожаление нашего Пушкина, что любимый им Вольтер,

Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доселе странствует с кладбища на кладбище,

разрешено и удовлетворено Жакобом-библиофилом. Знаменитый безбожник перестал странствовать с христианского кладбища на кладбище и нашел себе место за городской заставой, где был сложен лес для построек. Ясно, что праху безбожника неловко лежать рядом с теми, кто верил в Бога и служил Ему по мере сил и разумения своего. В показании Жакоба замечательно, между прочим, то, что яма, в которую свалили останки двух безбожников, была наполнена негашеной известью: так обыкновенно хоронят чумных и пораженных проказою. Жаль, что нет материала, которым можно было бы засыпать неумирающие останки этих архиатеистов, архиреволюционеров и истребить память их, которая смрадной изгарью носится над миром христианствующим…

Штраус и ученик его Ренан

Не всем, конечно, удастся ближе познакомиться с пресловутым сочинением Ренана [1], явившегося в наше время Цельсом [2], которому он, не уступая в дерзости и нахальной лжи, не годится и в ученики по уму и учености. А между тем всякому более или менее интересно узнать, что это за лжеучитель и в чем состоит его система, поколебавшая слабую веру тех, которые легко увлекаются всяким ветром учения. И похожи на *облацы безводни, от ветр преносими.*

Появлению Ренана предшествовала богопротивная деятельность немца Штрауса. Лет 25 тому назад этот господин фигурировал напропалую и стоял мишенью для справедливых и беспощадных нападений добросовестных гелертеров Германии. Штрауса [3] разобрали, что называется, по ниточке, и наконец, наскучив им, бросили его под стол. Там бы ему и оставаться, если б не вздумалось легонькому французу Ренану достать его оттуда и, пропитанного пивом и кнастером немецкого гелертера, переделать в галантерейного, выглаженного, завитого и надушенного говоруна.

Философы XVIII столетия, между прочими нелепостями, пресерьезно утверждали, что Иисус Христос есть только астрономическое иносказание и исторически не существовал никогда, что 12 апостолов соответствуют знакам зодиака. Казалось бы, трудно себе вообразить, чтобы подобная нелепость могла засесть у кого-нибудь в голове, наполненной мозгом, — и, однако ж, нашелся господин, который ухватился за грезу энциклопедиста и смело заявил о ней, во имя науки, перед целым миром. Иисус Христос, провозгласил Штраус, есть не индивидуум для нас, а *идея* или, лучше сказать, *человечество,* человеческий род, сын видимой девы-материи и невидимого отца-духа. Этот сын — наш искупитель безгрешный, умирающий, воскресающий и возносящийся на небеса за нас и наше оправдание пред Богом. Ренан, доставший Штрауса из-под стола, смекнул, что немец хватил уж чересчур, а потому повел дело не таким решительным путем. Он придумал написать *свою* «Жизнь Иисуса Христа», произвольно сокращая слова Господни, разрывая их связь между собою, переиначивая факты и толкуя тексты по-своему, а не по значению слов. Таким образом — учение Иисуса Христа вышло у него продуктом талмудизма и парсизма, невзирая на то, что то и другое явилось далеко после христианства. Но лжецу какая надобность в верности историческим данным? Благо есть головы, которыми можно вертеть по произволу. Ренану прежде и главнее всего нужно было подорвать кредит и авторитет евангельских сказаний, — и вот он принялся сортировать их и подводить под

измышленные им периоды. В первом периоде, по словам его, преданы были письмена первоначальные повествования о Христе, состоявшие из бесед Спасителя, сохранившихся в Евангелии Матфея, и из рассказов о делах Его, вошедших в состав второго. Во втором периоде составлены в настоящем своем виде наши первые два Евангелия как плод отрывочного взаимодействия двух господствовавших у христиан направлений. По мнению Ренана, Евангелия от Матфея и от Марка служат памятниками беспорядочного предания, не запечатленного никаким авторитетом. Третий период составляет эпоху компиляций, памятником чего служит Евангелие от Луки. Наконец, к четвертому периоду относится время *намеренного искажения исторической правды* с целью провести предзанятые метафизические идеи. «Евангелист Иоанн, — говорит Ренан, — был в этом периоде Платоном иудейского Сократа!..»

Не думайте, чтоб Ренан имел твердые исторические основания для таких периодов образования источников евангельской истории. Нет, — он об этом заботится меньше всего; его периоды — мечты, но мечты завлекательные для легких умов, *ни во что же ино упражняющихся, разве слышати что новое.* Ренан мастерски пишет картины природы и нравов, облекает мысли свои в образы живые и блестящие, а этого слишком довольно для людей, бедных внутренним содержанием. Но умы крепкие никогда не удовольствуются этими блестками, чуя во всем изделии Ренана смердящую изгарь, и потому-то они убеждены, что если христианство выдержало нападение Цельсов, Норфириев, Клианов и целой фаланги энциклопедистов прошлого века, то, конечно, не убоится женственного романа Ренанова.

По поводу канонизации Кунцевича

Рим сопричислил к лику своих святых или, как выражаются клерикальные газеты, «сподобил чести олтарей», униатского архиепископа Иосафата Кунцевича [1]. Этот акт почему-то задуман как демонстрация против России, и ультрамонтанские газеты обращаются к ней с назидательным советом проникнуться чувством важности этого события и усмотреть в нем урок для себя[274].

В чем же урок? Всем известны обстоятельства смерти Кунцевича. Это был один из самых ревностных притеснителей русского народа в Польше; он насильственно распространял унию и прибегал к жестокостям, от которых содрогались даже единоверцы его и проклинали как виновника великих бедствий, как сеятеля зла и пагубы. Он погиб не от людей, наступавших на него или на его верования, а от людей, измученных его насилиями и отчаянно оборонявших от него свое Православие. Не к нему врывались в храм, а он врывался в чужие храмы. Он погиб не на мирной, исполненной христианской любви проповеди, а среди сцен насилий и буйства, причиненных им самим. Он действовал мечом власти против беззащитных и подавленных народонаселений и пал от топора, занесенного отчаянием. Вслед за его умерщвлением и задолго до его нынешней канонизации римская церковь уже отпраздновала по нему свою тризну. Реки крови пролились для успокоения отшедшей души такого праведника; тысячи людей были принесены в жертву мрачной его тени; римская церковь, вопиявшая о кровавой мести, была удовлетворена по горло. За несколько лет перед сим Европа с ужасом читала об избиении христиан в Дамаске и других городах Сирии, проклинала мусульманское изуверство и снаряжала экспедицию в эти страны: но мусульманское изуверство из всей истории своих кровавых возмездий не представляет ничего разительнее этих истинно мусульманских слов, которыми папа Урбан VIII побуждал короля польского Сигизмунда III карать русские народонаселения за смерть Кунцевича. Последователи Магомета по крайней мере не имели обычая совершать канонизаций после подобных тризн: в Риме же делается и то и другое, — и вот папа Пий IX [2] довершает дело своего давнего предместника, — говорим — давнего: но следует заметить, что папа Урбан VIII жил в XVII столетии, в эпоху смягчения нравов и

возрождения наук, и потому кровожадные наказы его не могут быть объясняемы фанатизмом мрачного времени. Они характеризуют не столько время, сколько самое папство, верное себе во все времена; они характеризуют также и то государство, ту власть, которая была их исполнительницей; точно так же, как нынешнее польское духовенство как нельзя лучше характеризуется той похвальбой, которая читается под изображением Кунцевича, которое оно распространяло во время недавнего мятежа, — с похвальбой, что в отмщение за смерть этого мнимого мученика, по повелению польского короля, было перебито *пять тысяч* православных русских людей, находившихся под его скипетром, — как будто это обстоятельство может окружить сиянием главу нового святого!..

Но какой же урок могла бы из всего этого извлечь для себя Россия? Ведь все это происходило не в русском, а в польском государстве, и опять в то время, когда половина кровного русского народа, половина исконной русской земли находилась под польским владычеством, когда, наконец, и самая Москва только что вырвалась из рук своих врагов. Чтó прославляется и чествуется, то, разумеется, поставляется чрез это самое в образец: так не хотят ли в Риме, чтобы Россия из истории Кунцевича научилась, как должна она сама действовать? Довольны ли были бы в Риме, если бы Россия, в самом деле, захотела пользоваться подобным уроком? Довольны ли были бы там, если бы кто-либо из православных иерархов стал, по примеру нового римского святого, запечатывать римские храмы в России и сгонять насильно людей, исповедующих римскую веру, в православные церкви? К тому ли побуждает римская курия Россию, чтоб она действовала в отношении к своим римско-католическим подданным точно так же, как старая Польша действовала в отношении к православным народонаселениям, стенавшим под ее игом? Правда, мы согласны, совершенно согласны, что история Кунцевича, возобновленная польским мятежом и употребленная римскою курией в орудие демонстрации против России и в поощрение государственной измене, полна для нас уроков и напоминаний. Действительно, ничто с такою силою не напоминает России ее священные обязанности относительно той части ее народа, которая, наконец, была возвращена ей и которая так долго страдала под ее владычеством. Эта история должна с особенною силою напомнить России судьбы этих несчастных народонаселений, которые, быв оторваны от своего корня, под чуждою фанатическою властью тяжко боролись за свою русскую народность, так долго отстаивали свою русскую веру и которые при всем том так успешно ополячивались даже под владычеством России... России, чужд фанатический дух старой Польши, точно так же как Православной Церкви чужды насилия и неправды римской пропаганды: но было бы делом недостойным и вместе пагубным, если бы русское государство оставалось равнодушным к своей русской национальности; было бы пагубно, если бы русское правительство изменяло своему национальному характеру и становилось в той или другой части подвластной ему территории нерусским; было бы пагубно, если бы и в настоящее время оставались в силе слова Ломоносова, вырванные у него современным ему положением русских дел:

О стыд, о странный оборот!
Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?..

Что касается до римской демонстрации, то Россия не может отказаться от веротерпимости в возмездие Риму за его злоухищрение и козни против державы, где римское вероисповедание пользуется полным обеспечением. Веротерпимость есть великое благо в государстве: но терпимость, оказываемая римской церкви во владениях русской державы, не одно и то же с какими бы то ни было обязательствами русского правительства пред папским престолом. Россия может предоставлять вероисповедованиям свободу: но она не может терпеть у себя чуждой власти, злоумышляющей против господствующей в ней Церкви...

Крестовый поход на Россию

Чем ты, Русь терпеливая, многострадальная, так озлобила вечно волнующийся, коварный Запад? Кровь свою жалела, что ли, ты для обитателей его, когда они восставали друг на друга и, избитые, посрамленные, простирали к тебе дрожащие руки свои? В чужие дела, что ли, мешалась ты ради своих только выгод и интересов? В куске хлеба отказывала что ли, налетавшей на поля твои иноземной саранче? Нет, никто не упрекнет тебя в этом! А между тем косятся на тебя другие народы и государства, забегают на путь-дорогу, по которой ты идешь не торопясь к великой твоей цели, и всеми силами стараются забросать сметьем и мусором, запорошить и затуманить изгарью, лежащую перед тобою необозримую даль. Нет такой лжи и клеветы, которых бы не позволили себе досужие писаки, коль скоро припадает им охота посудачить о России: честь, совесть, историческая правда, даже логика — все приносится в жертву ожесточенной злобе против пугающего их колосса, ими нареченного «Московией».

Читатели наших русских газет, без сомнения, знакомы несколько с руганью и клеветами на Россию французского публициста де-Мазада [1], — но то, что писал он про нас, — это лишь цветики против ягодок, выращенных каким-то Анри Мартеном (Henri Martin) [2]. Этот господин призывает теперь всю Европу соединиться и ополчиться на Россию, чтобы нас, русских, которых он называет *туранцами,* не принадлежащих, по его щучьему веленью, к семье европейских народов, выгнать в Азию и предоставить «Европу европейцам»; а нас, бедных, заключить в пределах уральско-туранских, подобно тому, как некогда Александр Македонский заклепал в гиперборейских горах диких азиатов в песьими головами. Надо быть очень уверенным в невежестве Европы насчет России, чтоб говорить то, что́ говорит Анри Мартен. Книга его есть жесточайшее оскорбление, но не для России, а для Европы, над невежеством которой так злостно издевается автор, если только невежество может издеваться над подобным же себе невежеством. Тут есть все: и производство австрийских галичан от галлов на том основании, что будто русский Галич был некогда «страною галльскою» (le pays gael ou gaulois), где прежде жили «умбрские галлы» Птоломея; тут есть и русские *этнографы* — Погодин и Милютин, и *академики* Костомаров, Кулиш и Белозерский, которые, изволите видеть, находятся ныне «в ссылке», и наш летописец препод. Нестор, произведенный в поляки, и Шафарик как свидетель того, что русские не принадлежат к славянам, — словом, тут есть все, чему могут поверить разве только в Судане или Голконде.

Будем, однако ж, продолжать передачу бредней писаки, очевидно действующего под влиянием чуждой французам национальности. В предисловии к своей книге Анри Мартен задает себе вопрос: «Что такое Европа и что такое Россия?» В ответ на это он ведет параллель между тою и другою. Европа, говорит он, есть ассоциация, дурно или совсем неустроенная, — разнообразие наций, которые имеют сознание своей гармонии далеко неполное. Россия же есть единство, почерпающее свое самосознание в деспотизме, которым будто бы оно создано и которым держится. Основа европейского общества лежит в личной свободе, семье и собственности: в России ничего нет подобного. Европа, с самого начала организования новейших обществ, шла путем постепенного прогресса: русское, московитское или «туранское» единство шло своим путем развития, по-турански. Сначала оно выражалось в своей собственной форме — в «татарской» — в Аттиле, Чингисхане, Тамерлане и турецких султанах; а «теперь оно, более опасное, наряжается в европейский костюм» и имеет то преимущество пред европейскою цивилизацией, что имеет перед собою цель — всемирное владычество. С Петра Великого образ его действий состоял в том, чтобы иметь европейскую наружность; а *теперь* (то есть после усмирения Польши, когда мы высказались все как один человек, что мы *русские*) под русским явился туранец, татарин. «Вот где безмерная важность предмета! — восклицает он. — Европа это увидела и не действует!» Как же действовать? А вот как: поднять снова польский вопрос —

«эпизод русско-европейского вопроса», эпизод центральный, вокруг которого вертится все остальное. «В силу этого Анри Мартен требует войны не на живот, а на смерть. Чтобы возбудить к этому общественное мнение, он изыскивает все средства, хватается за всякую клевету, лишь бы представить Россию невообразимо дикою, азиатскою страною и бесконечно опасною для Европы. Для этого он выдумывает басню о борьбе двух начал — доброго и злого, Ирана и Турана, и всех европейцев вне России называет *арийцами*, а нас, русских, — *туранцами*, как будто от этих нелепо придуманных названий выигрывает дело. За недостатком собственной изобретательности Анри Мартен прибегает к помощи Тьера, который в своей «Истории консульства и империи» в одном месте выразился так: «Когда русский колосс будет одною ногою у Дарданелл, а другою у Зунда, — старый мир сделается рабом; свобода убежит в Америку. Ныне — химера для умов ограниченных — эти печальные предвидения когда-нибудь жестоко осуществятся. Европа, по несчастию разделенная, подобно городам Греции перед царями Македонии, без сомнения, испытает ту же участь, как и Греция». Вот слова Тьера, которыми Анри Мартен грозит Европе! Он говорит, что три года занимался изучением вопроса об «общественном европейском спокойствии», и теперь представляет Европе результаты своих исследований. Нечего сказать, стоило учиться три года, чтоб так искажать историю!

Вычитав у Шницлера [3] о естественной границе России на западе, которая идет Карпатами, а потом через Рудные Горы (Эрцгебирге) и Эльбу проходит к Немецкому морю, минуя Балтийское, — Анри Мартен бьет набат, как будто мы и в самом деле уже отняли пол-Европы, и пугает Германию небывалыми ужасами. «Послушай, Германия! — вопиет он. — Естественная граница империи царей — это Карпаты, продолженные через Рудные Горы и Эльбу до Немецкого моря. Туда попала Силезия, туда попал сам Берлин. Это приговор географии, и этот приговор исполнится над Эльбою, если Европа не возвратит его к Днепру».

Так вот куда метит новый Петр-пустынник, три года изучавший вопрос о спокойствии Европы и не заметивший того, как его пером стала водить шаловливая рука какого-нибудь огорченного *пана,* в свою очередь слышавшего от какого-либо велеученого ксендза, что вельможные предки пана доходили до Днепра и за Днепр и как на Днепре, так и за Днепром были жестоко побиваемы украинскими *хлопами.* Действительно, когда-то малороссы топили в Днепре ляхов за их бесчинства; правда и то, что когда-то в Малороссии гайдамаки вешали на одних релях ляха и собаку: но это еще не значит, чтоб ляхи приобрели право на Днепр и Малороссию.

Россия, которую Анри Мартен называет «Московией», тем именно стала опасна для Европы, что с Петра Великого вступила в систему европейских держав. «Чужая Европе, — говорит он, — и трактующая Европу как чужую, Московия стала коренным врагом Европы, после того как Петр Великий ввел ее в европейский мир, *нарушив закон природы* и сделав это в то самое время, когда сам же силился расширить ее до самых крайних пределов Азии, чтоб дать ей возможность поглотить в себя все племена татарские или турецкие, от Урала до Китайского моря. Московия, какою он ее сделал и какою она развивалась при его преемниках, была чем-то *вроде двойного чудовища*, империею *пантуранскою* для племен Азии, *панславистическою* и *пангрекославянскою* для запада».

Так вот в чем сила, вот что пугает и чем пугают Европу досужие заграничные писаки! Это — идея нравственного объединения славян. «Борьба, — восклицает Анри Мартен, — между Россией и Европой неизбежна; народ русский не может быть ничем изменен, как только поражением его; и если Россия не будет побеждена, — Европа погибла. Все войны между европейцами суть войны гражданские, междоусобные: с московитами же война есть война иноземная, война за «быть или не быть». В силу такого убеждения Анри Мартен почти на каждой странице своей книги взывает к Европе, чтоб она соединилась в одну «европейскую федерацию» против нас, русских, которых он величает «варварами», «деспотами», дикими сынами степей, туранцами, пантуранцами, потомками Чингисхана, чудовищами просто и потом

политическими чудовищами, даже двойными чудовищами, бичами Божими и т. д. Все, что у нас ни делается, все наши реформы, начиная от освобождения крестьян и кончая гласным судом, — все это, говорит он, похоже на то, как в «Messe Noire» черт пародирует обедню. Особенно изволите видеть, русские с тех пор стали «двойными чудовищами», когда по поводу возникших в Европе увлечений, вызванных польскими сплетнями и подкупною заграничною печатью, Европа вздумала было диктаторствовать над нами и когда все русские со всех концов величайшей в мире империи, без различия сословий, званий и вероисповеданий, единодушно и единогласно сказали перед целым светом, что они сумеют отстоять и свои права, и свое единство[275]. С этой поры русские окончательно испортились и стали людоедами, «двойными чудовищами», чего, конечно, не случилось бы и нас, туранцев, пожаловали бы в европейцы, если б мы струсили, ударили челом нашим указчикам и уступили своим врагам половину России, по самый Днепр. К удивлению и огорчению Европы, мы, грубые туранцы, незнакомые с вежливым европейским обращением, отвечали на дерзкие притязания врагов взрывом страшного негодования, за каковой поступок господин Анри Мартен и К° назвали нас дикими «хамитами», потомками Хама, проклятого сына Ноева, недостойными войти в семью «иафетидов», благословенных сынов благословенного Иафета. К этому преступлению в последнее время прибавлено нами еще новое, тягчайшее: мы заговорили, тоже единодушно и единогласно, что и все прочие славяне, находящиеся в услужении на побегушках у благородных иафетидов, такие же, как и мы, — туранцы и «хамиты» и что наши взаимные симпатии все более и более крепнут, тогда как благородные иафетиды недавно перерезались не на живот, а на смерть и одна часть немецких иафетидов выгнала из своей семьи другую часть иафетидов, указав ей дорогу к хамитам.

Оборот дела, действительно, не совсем благоприятный для их благородия, господ европейцев. Анри Мартен рисует две картины, из которых одною пугает Европу, а другою обездоливает Россию. «Или, — говорит он, — Европа исчезнет, весь континент падет под ярмо азиатского деспотизма; Англия исчезнет, задавленная между Россией и Америкой, и не останется ничего, кроме двух держав на земле, которые разделят между собою свет и тьму; вся моральная жизнь убежит в другое полушарие… Или Европа проснется, и Всероссийская Империя обрушится; останется лишь Царство Московское, или Великая Россия. И будет тогда три державы, из которых московская будет самою меньшею: будет федерация европейская, Североамериканские Соединенные Штаты и Московия Волги и Урала, господствующая над севером, над центральным и крайним востоком Азии, с возможностью удержать свое место в гармонии этого шара, вместо того чтоб раздроблять его и колебать. Если она покорится этой роли, тогда она не будет более врагом Европы».

Совет спасительный; но едва ли мы, по своим хамитским наклонностям, сумеем оценить всю спасительность этого французско-польско-иафетидского совета. В совете этом мы, между прочим, вот чего не можем понять: молочный наш братец хочет отбросить нас в Азию; а в другом месте своей книги делает нам такое предостережение: «…что касается Сибири, то пусть московитское правительство страшится и избегает развития этой страны, потому что когда-нибудь оно найдет там кару как прямое следствие того способа, каким оно населило Сибирь». А как же сами иафетиды-то не боятся кары со стороны всех хамитов, которых они намерены сослать в Азию, на равнины Турана? Ведь уж если следовать логике и исторической необходимости, то сосланные в Азию хамиты, рано ли, поздно ли, возвратятся в Европу, и тогда иафетидам будет плохо.

Непостижимо, право, как это правитель Франции и его министры, по-видимому состоящие с нами в дружественных отношениях, допускают подобные выходки! Кроме указанного нами сочинения, при всей бессмыслице своей разжигающего страсти, и разных брошюр, бросаемых в нас польскою эмиграцией, недавно один из французских живописцев Тони Роберт Флери

(Tony Robert Fleury) [4] написал большую картину, сюжетом которой служит «Варшава в день 8 апреля 1861 года». Известно, что в этот день войска наши, находившиеся в Варшаве, подверглись величайшим оскорблениям как в личном, человеческом своем достоинстве, так и в национальном. Для разогнания буйной толпы были употреблены слишком кроткие меры; а все-таки человек пять или шесть пали жертвою своего безумия. Вот этот-то момент и взят Робертом Флери для своей картины, но только совершенно в искаженном виде и в самом благоприятном для мятежников, представленных страждущими невинностями и беззащитными жертвами мнимого зверства. Картина изображает Варшаву, объятую пламенем; на улицах толпы народа, молящегося Богу в самых патетических позах, со слезами умиления на глазах, с руками, поднятыми к небу. На первом плане русские солдаты прикалывают штыками молящихся стариков, жен и детей; вдали виден дым пушечных выстрелов; и среди молящейся толпы падают раненые и валяются убитые юноши и девицы. Словом, картина представляет беззащитный город, взятый приступом дикими ордами Атиллы или Чингисхана, жители которого обречены поголовно на смерть.

Можно ли что-нибудь выдумать возмутительней такой клеветы! В книге еще туда-сюда: но картина… ведь она бросается в глаза всякому и возбуждает одинаково человека образованного и необразованного, богача и пролетария. Изделие Роберта Флери выставлено в Париже в одном из лучших магазинов, на самом бойком месте и привлекает огромные массы парижан, которые плачут об участи Польши, проклинают Россию и, конечно, от души верят в ужасное варварство русских. Польская эмиграция не могла остаться равнодушною к произведению французского маляра; один из стихоплетов, бежавших из *лясу*, написал бессмысленнейшие вирши в честь Роберта Флери; вирши его переведены на французский язык звучными стихами, скрывшими бессмыслицу подлинника. Польский оригинал, мало, впрочем, кому понятный, и французский перевод напечатаны на прекрасной бумаге, в две колонны. На заглавной странице символический политипаж со знаменами, на которых надписаны названия всех частей, о присвоении которых мечтают обезумевшие поляки: Русь Белая, Русь Червонная, Русь Черная, Волынь, Подолия, Смоленск, Жмудь, Украина, и подпись: «Тони Роберту Флери от эмиграции польской за патриотическую картину — *Варшава 8 апреля 1861 г.*»

Вирши раздаются чувствительным парижанам и парижанкам даром или продаются по самой ничтожной цене, и таким образом пропаганда, враждебная России, идет быстро. Зато в обилии курится фимиам перед Францией, выставляется в идиллическом свете Польша и польская эмиграция, опозорившая себя убийствами, лжами, клеветами и деланием фальшивой монеты.

И такие стихи дозволяются к публичной продаже одною из дружественных нам держав! И такие картины выставляются в той стране, повелитель которой торжественно произнес, что «империя — это мир!». Удивительно и непостижимо! Впрочем, давно уже сказано: si vis pasem, para bellum… то есть с врагом мирись, а камень держи за пазухой…

Ликуй ныне и веселися, Сионе!

Порадуйтесь, православные! То, что составляло для вас заботу и крушение благочестивого вашего духа, встретило ныне внимание и содействие власти предержащей. Пусть каждый из вас положит земной поклон за блюстителя истинного просвещения народа, графа Димитрия Андреевича Толстого [1]. Распоряжение, сделанное им, запишется на страницах истории Церкви Православной и скажется благодетельными последствиями в жизни самого народа.

По поводу, пишет г. обер-прокурор Св. Синода, поступивших в Св. Синод от преосвященных разных епархий представлений о необходимости перенести существующие во многих местностях нашей империи воскресные базары на дни будничные, а равно и вследствие многочисленных ходатайств о том от частных лиц и целых обществ, г. синодальный обер-

прокурор, от 5 мая минувшего года, относился к г. министру внутренних дел с просьбою сделать распоряжение о повсеместной отмене этого обычая, в высшей степени вредного для народной нравственности.

Г-н статс-секретарь Валуев [2] отозвался на это, что он находит заслуживающими особого уважения те данные и соображения, на основании которых г. обер-прокурор признает необходимую отмену воскресных базаров, и что посему, со стороны министерства внутренних дел, будут не уступительно приняты меры к тому, чтобы не было разрешаемо базаров в воскресные дни вновь и чтоб немедленно были прекращаемы и те из существующих уже воскресных базаров, о закрытии которых будут сделаны заявления со стороны подлежащих обществ и властей. Независимо от сего, дабы иметь возможность достигнуть отмены базаров в воскресные дни, в виде общей меры он, г. министр, отнесся к начальникам губерний о доставлении ему заключения по этому делу для соответственных за тем распоряжений со стороны министерства[276].

Одному из московских читателей «Домашней беседы»

Одному из московских читателей «Домашней беседы» по поводу напечатания в ней статей: *Мерзость запустения на месте святе* (вып. 29, стр. 758), *Пятнушки* (вып. 32, стр. 807), *Пропущенное* (вып. 36, стр. 887).

Письмо ваше не обрадовало, а испугало меня. Когда бранили и поносили меня всячески за защиту принципа монашества, я благодарил Бога, сподобившего меня постоять за святое дело: но когда ни с того ни с сего начинают причислять меня к антагонистам мало кому доступного великого, духовного делания, когда зачисляют меня в ряды врагов и гонителей монашества из-за статей, не имеющих ничего общего с духом и характером его, — я невольно останавливаюсь, испуганный незаслуженными похвалами, и ищу к ним поводов в себе самом и вне себя. Нет, милостивый государь, — ни вы, и никто в свете не докажут, чтобы я изменял тому знамени, под которое стал сознательно тридцать лет тому назад, и стою до сих пор, отражая всякого рода нападения врагов Церкви и Православия. Кто вы — я не знаю да и знать не могу, потому что имя ваше — *легион*; а кто я, то сейчас скажу.

Утверждаю и исповедую перед всеми, что монашество, в его истинном значении, есть глава того фундамента, на котором зиждется и до конца веков будет стоять Церковь истинная. Уклонения от нормы жизни монашеской тут ничего не значит, точно, так как они ничего не значат в деле стояния Церкви Христовой, которую *и врата адовы не одолеют*. Недаром стало оно развиваться тогда уже, когда в народе начала ослабевать вера, когда сделались редкими дела благочестия. В первые три и даже четыре века христианской эры не было ни Пахомиев, ни Антониев, ни Макариев, ни Арсениев: но чем дальше вперед, тем обильнее рассыпаются светила на тверди мира христианского. Светильник веры, то едва мелькавший, то вдруг вспыхивавший неестественным светом от подливаемого в него сала страстей человеческих, взят был вышним Промыслом из среды шумного, волнуемого всяким учением мира и отнесен в более тихое и безопасное место, откуда потом стали исходить на дело и делание свое великие светоносцы в лице патриархов, митрополитов, епископов и архимандритов — настоятелей там и сям являвшихся общин с тем, чтобы светить миру, бродившему ощупью во тьме своих жалких начинаний.

Не стану развивать перед вами историю монашества в России; как видно, она вам хорошо знакома: но скажу не обинуясь, что не будь у нас святых обителей, — древнему благочинию и церковному уставу во всей его полноте и точности давно был бы конец. Монастыри — это скинии сведения, в которых нерушимо хранится ковчег Православия, — это те столпы огненные, которые предходят христианскому Израилю, шествующему по пустыне мира сего.

Не приведи Бог какому-нибудь Озе прикоснуться к скинии, несомой руками тех, кого приставил к тому Сам Всевышний! Смерть неминуемая смерть грозит им, и гнев Божий ляжет на роды родов их!.. Не указывайте мне на испанские и италианские монастыри; я не знаю их, да и знать не хочу, потому что в них не пошли бы ни Пахомии, ни Арсении, ни Макарии. Оставим мертвым погребать своих мертвецов и будем заниматься живыми, заимствующими жизненность свою от Верховного Подателя жизни! Что нам до тех, которые не могут служить нам ни образцом, ни примером!..

Вы, — тяжело мне высказать это, — обрадовались тому, что будто бы я «поднял край завесы, скрывающие некоторые безобразия *известной* обители». Благодарю вас за пожалование меня в звание Хама, посмеявшегося наготе отца своего Ноя! Но помните и другим скажите, что никогда не думал и не желал я касаться святости той, Самим Богом учрежденной и хранимой обители, которая стоит как бы на страже города, носящего полу-немецкое имя. Если я в указанных и столь понравившихся вам статьях коснулся некоторых аномалий, то именно потому, что дорожу чистотой, святостью и блеском того места, в котором, к несчастию, они появились. Того не чистят и не вымывают, что выбрасывают за окно или относят на задний двор, в разбитых черепках. Вы хоть и не высказываете прямо, но я вижу, что заметки мои относятся вообще ко всей обители. Напрасно! Разве комары, снующие между вашими глазами и солнцем, уменьшают его свет и теплоту? Разве от очень малого частного можно делать заключение к общему? Разве один или два «Граблевых-Бамбасовых» могут служить представителями огромного большинства? В семье, говорит пословица, не без урода; и если эти уроды водятся во всяком обществе, то почему же им не быть и там, где собираются тоже люди, не чуждые человеческих слабостей? А если бы вы знали, какой ничтожный процент составляют эти жалкие уроды против тех истинно преподобных мужей, которые составили бы украшение не современных только нам обителей, — вы пожелали бы только вместе со мною, чтобы эти малочисленные плевелы были выполоты и выброшены за ограду монастырскую. Щадя скромность истинных подвижников духовного делания, я не поименую их, но они написаны в благоговейном сердце моем гораздо глубже, чем те безобразники, которые скользят лишь по его поверхности. Впрочем, зачем быть слишком строгими к тем, которые убегают от мира и за которыми, однако ж, гоняется мир? Припомните, что писал я года три тому назад об обителях: они похожи на Ноев ковчег, в котором были животные, и чистые и нечистые; те и другие однако ж спаслись от вод потопных. Спасемся ли мы, стоящие на берегу и не подозревающие того, что того и гляди захлестнет нас прилив моря житейского…

Что и говорить, — прискорбно для истинно христианского чувства встречать пятнушки там, где желалось бы видеть все чистым и сияющим, как злато, искушенное в горниле: но что же делать, когда эти пятнушки есть, когда их отсутствие нельзя ничем доказать, когда об уничтожении их очень мало стараются и даже нарочно выставляют их на показ: «На, дескать! Знать тебя не хотим!» Я убежден, что обличения только для нечестивого — раны; а для того, кто не желает уклонять сердца своего *в словеса лукавствия*, не *непщует вины о гресех своих*, они — пластырь, вытягивающий всякую дрянь. Друг за друга, а Бог за всех. Ведь монахи — те же наши братья, с теми же слабостями и недостатками, и мы обязаны в отношении к ним теми же обязанностями, какие лежат на всех нас по отношению к другим членам общественного организма. Мы — не паписты, благоговейно созерцающие бернардина или доминиканца потому только, что он носит особую одежду и молится по четкам; и потому, если поведение одного или двух из братии любимой тобою обители оскорбляет твое нравственное чувство, то есть *аще согрешит к тебе брат твой*, то, ради славы, блага и чистоты самой обители, *иди и обличи его между тобою и тем единем. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не послушает, пойми с собою еще единого или два, да при устех двою им триех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повеждь Церкви*. Развитие и применение к настоящему делу этой заповеди Господней повело бы меня далее пределов

необходимой скромности и приличия — а потому я умолкаю…

Крайне больно и оскорбительно для меня ваше поздравление с тем, что я «наконец ступил на путь истинный». Если бы я, по слабости, свойственной каждому из нас, по какому-либо постороннему увлечению, действительно не был бы в состоянии удержаться от шествия по такому пути, то я со слезами умолял бы Бога *отставить* его от меня. Оставаясь неизменным поборником принципа монашества, я потому самому не перестану действовать в отношении к носящим этот ангельский чин по указанию вышеприведенной заповеди Спасителя, но не для грешного осмеяния слабостей человеческих, а из искреннего желания, да будет всякая православная обитель, как вообще Церковь Христова, *свята и непорочна, не имущею скверны или порока, или нечто от таковых.* То не защита, когда более опасное место закрывают, по-китайски, фальшивою батареей; тот не поборник, который укладывает побораемых в обозе спать и почивать. Нет, — все должны вставать на ноги, когда опасность близ есть, когда враги множатся и поднимаются тучею, словно комары в летний вечер у топкого болота.

Вы пишете, что не одни заявляете мне благодарность за вообразившееся некоторым головам восстание мое против святых обителей. Если вы приняли на себя труд сообщить мне об этом, то примите и другой — сказать всем единомысленным с вами, что я все тот же, и как доселе ратовал, так и впредь буду ратовать за дело Божие, где бы и как бы оно не проявлялось.

Японский православный миссионер

Идите, сказал Господь ученикам Своим, отпуская их на проповедь Евангелия, *не стяжите ни злата, ни сребра,* н*и меди при поясех ваших,* не берите с собою *ни пиры в путь, ни двою ризу, ни сапог, ни жезла*[277]. И как тогда шли апостолы, по слову своего Божественного Учителя, так идут и теперь самоотверженные исповедники в страны неприютные, неласковые. Благоговейно преклоняется пред такими личностями истинно верующий христианин и молит Бога, да споспешествует Он им в великом делании сеяния слова Божия и да избавит их от непризванных пособников и «попечителей», *ищущих* только *своих си*, и между тем *мнящих службу приносити Богови*.

К числу таких светлых личностей принадлежит иеромонах *Николай Касаткин* [1]. Невзирая ни на какие препятствия, не страшась ни трудов, ни самой смерти и движимый только ревностью по вере и высокою любовью к ближним, при самых скудных, своих собственных средствах, о. Николай в 1861 году прибыл в Японию. Это было в то время, когда там во всей силе существовал закон, грозивший смертью туземным христианам и тюрьмой или ссылкой тем из них, которые будут уличены в слушании христианской проповеди. Много нужно было решимости и упования на Бога, чтобы стать лицом к лицу со всеми ужасами смерти и начать сеяние среди терний колючих, в полной уверенности, что оно принесет плод свой. Отец Николай прежде всего принялся за образование самого себя и приготовление к миссионерской деятельности. Он начал изучать японский язык, который несравненно труднее китайского, и при помощи Божией успел в этом столько, что в непродолжительном времени мог читать свободно по-японски. Из двух лиц, привлеченных им к христианству, Симмей, учивший его японскому языку, сам бывший в звании «служителя духов» в секте «син-то», сделался правою его рукою; ознакомившись с христианством, он отрекся от своего звания. При его-то содействии о. Николай предпринял перевод Нового Завета на японский язык. «Четыре евангелиста, — пишет он от 22 мая сего года, — уже переведены. За обедней в Пасху Евангелие читано на японском языке после славянского. К зиме весь Новый Завет будет переведен. Спешу кончить, чтобы Симмею было с чем отправиться в Ниппон»[278].

И этот благочестивый труженик евангельской проповеди до сих пор несет на себе всю тяжесть

расходов своего миссионерства, даже содержит на своем иждивении учителя своего Симмея!.. Можно ли допустить, чтобы ревнитель истины евангельской отвлекал благочестивые думы свои на добывание средств к жизни? Можно ли поверить, чтобы православный мир не ответил живым сочувствием к нуждам японского апостола, успевшего уже так много сделать и в такое короткое время? Скромно взывает он о помощи, прося прислать ему только все принадлежности для литографии, «если не на чей счет, — говорит он, — то на мой». Нет, достоуважаемейший отец Николай! Мы не допустим вас тратить свои силы и свои скудные средства на дело Божие! Дайте и нам возможность быть вашими сотрудниками в великом вашем подвиге. Еще не оскудела Русь святая истинными ревнителями Веры и благочестия; еще не проник в кости ее гнилой индеферентизм и пошлый атеизм!..[279]

Неблаговидная ошибка

Нас... да и не нас одних, а весьма многих из читателей «Домашней беседы» возмущало и возмущает всякий раз кощунственное неуважение к имени Божию, которое сплошь и рядом является на широких листах некоторых русских газет. Оно, конечно, не велика важность в какой-нибудь прописной или подстрочной букве, — но когда слова: *Бог, Божий, Христос, Христов, Церковь* (в высшем значении своем) и проч. пишутся и печатаются чрез маленькое *б, х, ц,* то в этом позволительно видеть более, чем орфографический каприз.

Но еще оскорбительнее для религиозного чувства православного христианина, когда вместо Бога обращаются к каким-то богам и приглашают благодарить этих богов за то или другое. В № 171 газеты «Голос» помещено «воспоминание М. П. Погодина о князе В. Ф. Одоевском [1], читанное им в заседании Московского Общества любителей российской словесности, 13-го апреля». С удовольствием прочитали и мы задушевный говор нашего ветерана-литератора и известного ученого: но несколько слов в заключении возмутили нас до глубины души. «Поблагодарим, — говорил оратор, — *богов*, которые привели его (Одоевского) к родным берегам, где он может воскликнуть с нами: *к тихому пристанищу притекох*... Прости, наш добрый друг, наш любезный товарищ! Мы любили и любим тебя искренно. Не оставляй же нас своим назиданием (не от имени ли тех богов, которым молится оратор?), пока мы здесь еще *печемся и молим о мнозе службе*, забывая — увы! часто, что всякую минуту можем умереть и что *единое есть на потребу*». Скажите, пожалуйста, — как вяжутся эти святые слова, целиком взятые из Евангелия, с приглашением благодарить каких-то богов? И неужели старый литератор и ревностный христианин, каким мы вправе считать г. Погодина, не заметил этой грязной заплаты на богатом покрывале, которое возложил он на гроб своего отшедшего друга? Латынь заела наших ораторов — вот горе! Там ведь все dii immortales да разные penatae. Нам кажется, что речь г. Погодина ровно ничего не потеряла бы, если бы он пригласил своих слушателей поблагодарить не каких-то неведомых богов, а Бога, Коего *разве иного не знаем и Его же Имя именуем*.

Гражданское погребение

Что гражданский брак существовал с самой глубокой древности — эта истина неоспоримая; только он известен был тогда под другим названием, не совсем удобным для употребления, и состоял в связи с излишним употреблением напитков; почему апостол Павел, предостерегая от этого новых христиан, писал к ефесеям: *не упивайтеся вином, в немже есть*... гражданский брак[280]. Но что существует и «гражданское погребение», об этом мы узнали только 18 января сего 1870 года. Это припомнило нам одну весьма странную церемонию, свидетелем которой довелось нам быть совершенно случайно. Некий весьма важный барин, выехав за границу, оставил на попечение своего садовника престарелого бульдога, назначив на содержание его по 25 рублей в месяц. Бульдог через несколько времени околел, о чем

немедленно дано было знать по телеграфу собаколюбивому барину, от которого тоже немедленно было получено приказание похоронить усопшего с подобающею честью на указанном месте в барском саду и поставить приличный памятник из мрамора. На все это повелено было взять из кассы господской немалую сумму денег. Огорченный садовник созвал своих приятелей и знакомых, уложил пса в гроб, обитый красным атласом, и, проводив его в выложенную камнем могилу, устроил надлежащее поминовение с блинами и обильным возлиянием. Случайно быв очевидцами всего этого, мы недоумевали, как назвать такое погребение, и порешили, что оно — собачье и может быть применяемо только к бульдогам, пуделям и левреткам. Оказывается теперь, что оно, под другим только названием, идет и к людям, даже таким, *елицы во Христа крестишася, во Христа облекошася*. В № 18 «Голоса» извещают, что 11 января, в два часа пополудни, происходило в Париже «гражданское погребение» несчастного Герцена [1], стяжавшего себе при жизни своего рода громкую известность, причем присутствовало немалое число русских, поляков и французов. Об участии духовенства в погребальной церемонии не говорится ни слова, да навряд ли оно и было, потому что Герцен ненавидел и проклинал все, что могло напоминать ему о Спасителе мира и о христианстве. Мертвеца отвезли на кладбище отца Лашеза, где и предали земле после нескольких речей, соответствующих последней деятельности, характеру и известному направлению покойника...

Боже мой, Боже мой!.. И ведь это погребали русского, православного, омытого от греха первородного водами святого крещения, носившего святое имя Александра, запечатленного в таинстве миропомазания печатью дара Духа Святаго, сподоблявшегося, по крайней мере, в юных летах, приобщения Телу и Крови Господней!.. Верить трудно, чтоб человек мог дойти до такого ожесточения, что даже в последние минуты жизни своей решается на отказ от всесильных пособий Церкви и переступает на ту сторону гроба с печатью отступника на челе своем!.. Что ж после этого мудреного в том, что есть существа высшие человека, которые упорствуют в своей злобе от века и отвергают все средства к своему спасению, претерпевая все ужасы своего вольного отвержения? Над злосчастным Герценом совершено «гражданское погребение», без молитв, без креста, без христианского напутствия в жизнь вечную, — куда ж явится этот «гражданин» с правами своего революционного гражданства? Не туда ли, где вечная революция, где ненавидят молитву и боятся креста? Не к тем ли существам, принцип деятельности которых есть вечное отрицание и нескончаемая злоба против царства Христова, основанного на земле и вершиною своею касающегося неба? Да, нет и не может быть страшнее того наказания, которое сам себе уготовляет человек, *Сына Божия* п*оправый, кровь заветную, ею же освятися, скверну возмнив, и Духа благодати укоривый!*..

Было и прошло

Перечитывая в «Русском архиве», одном из превосходнейших наших изданий, переписку знаменитых представителей нашей литературы прошедшего царствования, с благоговением преклоняешься пред этими богатырями мысли и чувства, и как посравнишь век нынешний и век минувший, невольно скажешь с поэтом: «свежо предание, а верится с трудом». Прежде всего, внимание останавливается на самих личностях, которые вели между собою переписку: это были люди, честно и всецело посвятившие себя служению правды, дорожившие данным им от Бога талантом, искренно веровавшие в достоинство слова человеческого, возлюбившие науку всей силою своего ума и строго относившиеся ко всему, что выставлял им на показ цивилизованный Запад, — люди, освещавшие самые лучшие помыслы свои светом веры Христовой и Божественного Откровения, и потому-то *память* их *пребывает* доныне с *похвалами*, и потому-то имена их затверживали мы, затверживают дети наши и будут твердить внуки в поучение и назидание свое. И какие все имена! Державин, Карамзин, Жуковский [1], Плетнев [2], Батюшков, Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов!.. Как много в именах этих

такого, чем без греха может гордиться русский человек! Как поучительно падение и восстание каждого из них! Говорим о падении, потому что, как говорит Плетнев в письме своем к Жуковскому, без некоторых слабостей никто не совершил земного странствования: но и в слабостях самих видны люди силы и неиссякаемой энергии, — люди, скоро сознававшие свое падение и восстававшие во весь свой рост, во всю ширину своего гения. Чувства любви и взаимного уважения, связывавшие этих исполинов мысли, объясняют некоторым образом ту тайну, почему они были в свое время и остались доныне светилами в деле науки и просвещения, почему так благодетельно, так тепло влияют они на благомыслящее наше юношество, которому удалось уберечь себя от буфонад Белинского и паясничских кривляний Писарева. «Всех нас, — говорит Плетнев в одном из писем своих к Жуковскому, — связывала и животворила чистая, светлая литература». В чем же заключалась светлость и животворность тогдашней литературы? В том, что она не боялась имени Бога, не относилась к предметам веры с холодностью и равнодушием, не руководствовалась при разрешении жизненных вопросов философией по стихиям мира сего или — и еще того хуже, философией желудка, не заносилась «во области заочны» вместе с Шеллингом и Гегелем, а стоя на твердой почве Откровения, освещала светом его непроглядную тьму деяний человеческих. «Распределение ваше Науки Жизни, — писал Плетнев к Жуковскому, — по четырем классам я вношу в число тех высших откровений, которыми, в лучшие минуты бытия, так пламенно желаю руководствоваться. Вы поместили себя пока в первом классе. Молитесь Всевышнему, чтобы Он скорее ниспослал вам помощь дойти до четвертого. «Чувство благодарности за науку страдания, и живая любовь к Учителю и к Его строгому учению…» — да, только этого и желать должно на земле! У меня давно утвердилась мысль, что из множества житейских соблазнов опаснейший называется: *прекрасное слово.* Оно чаще всего убаюкивает слабую душу нашу. Рассчитавшись этою блестящею монетою с требованиями рассудка и совести, мы часто успокаиваемся, как будто весь свой долг исполнили, когда желание одели звуком. Нет, друг души моей! Здесь-то и корень главного грехопадения нашего, людей XIX века. Я, по крайней мере, ежедневно чувствую, как прекрасное слово терпит лучшее стремление души моей, вознаграждая ее своею прелестью вместо самого действия или исполнения того, что заключено в этом очаровательном звуке. Мне показалось, что и вы еще не защищены от чего-то похожего на это. «Любовь к Учителю и Его строгому учению» — вникните глубже в беспредельность идеи этих божественных слов. Эта любовь, не защищает ли сердце ваше от всех искушений и страхов земной жизни? Не укрепляет ли она сердце ваше верою в каждое слово евангельских истин? Не представляет ли она всех благ земных бесплодными и ничтожными? Не обязывает ли нас она не только стоять прямо и твердо перед всеми превратностями судьбы и счастья, но и всех близких нам приводить в такое же положение? Не упрекая вас в недостатке твердости при помышлении о неизбежном конце, я, однако же, считаю себя в праве, сказать искренно, что вы действительно должны молиться о скорейшем переводе вас в четвертый класс». Что ж это за классы, и что это за наука жизни, которыми занимаются такие крепкие умом и волею люди, как Плетнев и Жуковский? Из выписки, приведенной Плетневым в другом письме к тому же Жуковскому, видно, что «наука жизни есть *признание* воли Божией, — сперва *просто признание,* что она выше всего и что мы здесь для покорности, потом *смирение в признании*, исключающие всякие толки ума или страждущего сердца, могущие привести к ропоту; потом — *покой* в смирении и целительная *доверенность;* наконец, сладостное чувство «благодарности за науку страдания» и *живая любовь* к Учителю и Его «строгому учению». Вот, по словам Жуковского, четыре класса, которые «необходимо должны мы пройти в школе жизни». Чтобы яснее понять характер и поводы к переписке, завязавшейся между этими светилами нашей литературы, надо сказать, что Жуковский в последние годы своей жизни крепко беспокоился об участи своего семейства, в обеспечение которого не оставлял он ничего, кроме честного своего имени и покровительства Августейшего своего Воспитанника. Такое тревожное состояние духа вызывает со стороны друга его следующие увещания: «Молитесь пламеннее, чтобы Господь благоволил скорее перевести вас в четвертый класс. Но

по последнему письму (там, между прочим, есть слова: «Все это не недостаток надежды на покровительство Божие, а просто безтревожное, весьма естественное желание лучшего и самого непорочного земного блага — *свободы душевной»)* я нахожусь вынужденным сказать, что для вас всего необходимее попасть в третий класс. Ваша *доверенность* не крепка; иначе она бы явилась вам действительно *целительною*, как вы называете ее сами. Как бы то ни было, все это божественно-прекрасно и свидетельствует о чудной высоте, на которую возносит нас христианство хоть в некоторые минуты». — «Добрый наш Жуковский! — пишет А. П. Зонтаг [3] к Плетневу, — он все любит подводить под систему. Но какие тут классы? Кто признал бытие Божие (а кто может не признать его?) тот не может не признать и воли Его. И нам дана свободная воля; иначе бы мы не имели ответственности за дела наши. Но наша воля ведет нас, по большей части, к злу, а всемогущая воля Господня — из самого этого зла извлекать благо. Итак, из этого признания воли Божией, воли всемогущей, истекает все: и покорность, и смирение, и покой в смирении, доверенность, благодарность и любовь. Но вот где нужно употребить все силы души, чтобы взойти на *Черную Бембергскую гору*. А у кого в жизни не бывает своей Черной горы? Для иного она крута, для другого отложе. Иной бодрее, другой слабее; но у всякого в жизни есть Черная Бембергская гора. Она была и для Спасителя так тягостна, что в минуту страдания и Он, Который все постиг, еще будучи во плоти, воскликнул: «Боже, Боже мой! всякую Мя оставил еси?» Но взобравшись на верх горы, вы видите над головою небеса, а у ног ваших царство кашемирское». Вот какими вопросами занимались тогда великие умы, представители нашей чистой, светлой литературы! Оттого она была и чиста, и светла, что в руках светильники носящих было не промозглое сало прогресса и цивилизации, а дистиллированный елей веры, надежды и любви христианской. И как неотразимо сильно было влияние таких людей, как Карамзин, Жуковский, Плетнев на всю плеяду современных им светил нашей литературы! Даже Пушкин, при всей юркости своей натуры, при всей несдержанности могучего своего слова и легкомыслии, не нарушал гармонии в этой светлой среде. И все это производилось взаимною любовью, искренним уважением друг к другу, глубоким, искренним пониманием достоинств каждым каждого из представителей тогдашней чистой, светлой литературы. «Я, — пишет Плетнев, — вполне убедился теперь, что не учение, не воспитание, не книги, не общество совершают в душе нашей благодетельные перевороты, а один человек с могучею волею, с твердым характером, с неподдельным достоинством, если он живет с нами и если мы его с любовью оценили».

Но не исчерпать нам всех перлов, щедро рассыпанных в этой задушевной переписке ученых, умных, честных и благородных представителей светлого периода нашей литературы. Среди самых обыденных вопросов дня проскакивают у них такие блестки, которыми подорожит всякий здраво и по-христиански мыслящий человек...

С отвращением переносишь затем взоры свои к «конвульсивно скаредной литературе», как называет ее Плетнев в письме совсем к Жуковскому от 4 марта 1850 года, которая сложилась из «нестройной толпы наездников, поддерживаемых одним развратным невежеством провинциалов». «Вы, — говорит он знаменитому другу своему, — не можете и вообразить, до какой степени я теперь один, как все около меня умерло, чем прежде я наслаждался так полно. Теперь совершенно понимаю, что значит пережить тех, кому жизнь одолжена была лучшими своими цветами. В одну из счастливейших для вас минут вы сказали о себе: «Прошлая жизнь осыпалась с меня и лежит на моей дороге, как сухой лист вокруг дерева, воскресающего с весною». И я похож на голое дерево, но не весною, а позднею осенью. Маленькое число тех людей, с которыми вместе я бывал у вас, теперь странно разрознилось. Нет общей любви, общего интереса и общей цели. Одних охолодило чувство глубокого презрения к господствующим идеям в кругах литературных, другие, недостойно увлекшись соблазном корысти, невольно отталкивают от себя каждое несовременное сердце; третьи, как златые тельцы, стоят на своем подножии — боги для упавших перед ними, болваны — для

неязычников. Нет Моисея и нет религии!»

Приговор убийственный, и убийственный собственно тем, что в нем нет и тени неправды. Мы знаем и тех, которые прониклись чувством глубокого презрения к господствующим идеям, но таких осталось немного; знаем и тех, которые сделались литературными барышниками и кулаками: этих господ далеко больше, чем первых; знаем и последних, как тельцов, так и поклоняющихся этим тельцам: но и те и другие составляют сволочь, довольно многочисленную в начале шестидесятых годов, а теперь разреженную и потерявшую всякий кредит. Тем не менее положение нынешней литературы и значение современных литераторов более нежели бедственно. Двадцать лет мы возим с собою мраморные бюсты Державина, Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и до сих пор не могли прибавить к ним ни одного из теперешних представителей нашей литературы. В самом деле, неужели рядом с этими великими светилами русского гения и ума поставить Белинского, Писарева и блазнюков, составляющих банду «Вестника Европы?» Неужели полутрезвые писаки и поставщики повестей и романов в наши толстые журналы могут быть признаны двигателями мысли? Мы уважаем, например, г. Костомарова за его неутомимое трудолюбие; с любовью относимся к некоторым произведениям господ Тургенева, Гончарова и Островского, но обращаемся к ним самим с вопросом: сочтут ли они себя достойными занять место между упомянутыми нами столпами нашей литературы? Согласитесь, что они ни более ни менее как те же второстепенные деятели, которые существовали и при Карамзине, и при Жуковском, и при Пушкине, и что о них столько же будут знать наши внуки, сколько мы знаем о Нарежном, Загоскине, Лажечникове, Хемницере, Измайлове, Козлове, Баратынском, Дельвиге, Ф. Глинке, Языкове, Бенедиктове, Кольцове и проч. и проч. Но это еще лучшие представители мысли современной, — что ж сказать о прочих, им же имя легион, как не то, что говорил Пушкин в дорожной своей мечте «средь неведомых равнин»:

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин;

Бесконечны, безобразны,

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре.

Сколько их! Куда их гонят?

Домового ли хоронят?

Ведьму ль замуж отдают?..

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

Нам кажется, что вряд ли можно вернее изобразить «надрывающее» и ум, и сердце положение современной нашей литературы. Чисто бесовское круженье нынешних писак вокруг великих вопросов жизни, вой и визг против всего священного на небе и на земле, насильственное

призывание всех к участию в демонской пляске и скрежет зубов на тех, кто, памятуя первый стих первого псалма, нейдет на совет их, — вот что и даже более того представляет нынешняя, по выражению Плетнева, «конвульсивно-скаредная литература!». Тридцать лет тому назад оплакал жалкое падение ее поэт наш в своей превосходной «Думе».

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее иль пусто, иль темно;

Под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно…

Толпой угрюмою и скоро позабытой,

Над миром мы пройдем без шума

и следа…

У нашей Палагеи все новые затеи

По поводу доброго слова, оброненного М. П. Погодиным о покойном экс-архимандрите Феодоре, скончавшемся в звании мирянина, под именем Александра Бухарева, «Церковный вестник» проразился задорной катилинадой против, как выражается он, «нерациональной системы вербования в монашество, которая господствовала когда-то в духовных академиях». С трудом сдерживая себя в границах приличия, «Церковный вестник» не жалеет темных красок, чтобы набросить мрачную тень на духовную администрацию давно минувшего времени и мазнуть грязью лица, выработавшиеся вследствие «нерациональной системы вербования в монашество». Близко знакомые с прежним порядком вещей в духовных академиях, мы считаем прямою своею обязанностью восстановить факт в настоящем, неизвращенном его виде.

Нет спора, что бывали личности, принимавшие монашество из-за перспективы скорого возвышения по степеням иерархическим; но такого рода частный стимул (побуждение) ставить общим правилом едва ли справедливо. В том курсе воспитанников Киевской духовной академии, к которому, имел честь принадлежать и пишущий эти строки, из числа 52-х студентов *семь* человек приняли монашество еще в студенчестве, *два* вскоре по окончании академического курса и еще *два* после более или менее продолжительного служения в священническом сане. Из числа их *два* скончались в сане епископском, *шесть* доныне находятся на высших ступенях церковной иерархии; *два* умерли в звании иеромонахов и *один*, по болезни, живет на покое. Спросите каждого из них: было ли что-нибудь насильственное со стороны ближайшего их начальства в привлечении их к избранию такого, а не иного образа жизни?

Все до одного дадут вам отрицательный ответ. То же скажут воспитанники и других духовных академий, конечно не теперешних, а прежних. Предложения, действительно, бывали, и преимущественно лицам даровитым; но в цели той, чтобы сохранить их для Церкви. В этом, кажется, ничего нет худого. Каждому специальному заведению естественно желать удержания в своей сфере будущих лучших деятелей; и если оно ошибается иногда в этом случае, то это уж не его вина.

«Церковный вестник», сочинив «нерациональную систему привлечения в монашество», делит жертвы этой системы на четыре сорта. «Одни из них, — говорит он, — разочарованные положением, в которое поставило их ложное увлечение, быстро попадали на противоположный

путь и с неистовством предавались пьянству и иным порокам. Другие заглушали в себе все человеческое и делались страшными деспотами, бичами своих подчиненных, как бы вымещавшими на них безвозвратную ошибку своей молодости. Третий сорт юных монахов состоял из натур мягких и ничтожных, которые способны примкнуть ко всякому положению и которые по тому самому, не нанося особенного вреда людям, поставленным от них в зависимость, не приносили ни им, ни остальному обществу никакой пользы. Наконец, были натуры благородные и честные, которые, сознавая невыносимую тягость бремени, наложенного (почему же не принятого добровольно?) на них в молодости, и серьезно смотря на всякое положение, к которому они призваны в жизни, искали, путем закона и чести, сложить с себя непосильное бремя и войти в ту сферу жизни и деятельности, в которой они видели свое истинное назначение».

Хорошо-с, — ну, а к какому же сорту, к каким натурам «Церковный вестник» причисляет тех, которые «служили впоследствии, как многие служат и доселе украшением монашества в частности и человечества вообще»? Это, отвечает «Церковный вестник», только «блестящие исключения, не сокрушившиеся даже при насилии и фальши, которые их окружали». Предоставляем суду каждого, не составляют ли исключений, — вовсе, однако, не блестящих, — те «честные и благородные натуры», которые отметут благодать, почивавшую на них, и входят в ту сферу жизни, которая в них нимало не нуждается? Загляните в историю российской иерархии и проследите ее хоть от начала текущего столетия до наших дней, — какой облак свидетелей лжи и несостоятельности сортировки, придуманной «Церковным вестником»! И это лишь «блестящие исключения»!.. Теперь посмотрите, сколько этих «натур честных и благородных», которые, «серьезно смотря на всякое положение», следовательно, и на свое, вдруг оставляли его, снимали с себя монашеский клобук ради какой-нибудь ухаживавшей около них «пущеницы» и становились, как говорится, ни рыбою, ни мясом? Раз, два, три, да и обчелся. Кто говорит, — не легок подвиг молодого человека, добровольно подъемлющего на рамена свои тяжкое бремя отречения от мира и его обаяний; дальнейшая перспектива почестей не в состоянии умирить борьбу духа и плоти: но тут-то и вырабатываются характеры, составляющие, по словам «Церковного вестника», блестящие лишь исключения; тут-то и являются истинно благородные и истинно честные натуры, которые, возложив руку на рало, не озираются уже вспять; а если, по немощи человеческой, и приключится им такое искушение, то, осенив себя крестным знамением, они говорят слушающему их духу-соблазнителю словами своего Спасителя: *иди за мною, сатано*... Не «двадцатилетние мальчики», как уверяет «Церковный вестник», поступали в монашество (старость, замечает Премудрый, не числом лет измеряется), а люди, долгим учением, вниманием к себе и трудными опытами окружающей их жизни, умудрившие себя, оставившие хлопотливых Марф *пещись и молвити о мнозе* и избравшие благую часть Марий, приседящих у ног того, Кто призывает к Себе всех труждающихся и обремененных. То обстоятельство, что впереди этих самоотверженцев ожидают почести и высокие степени в иерархии церковной, ничего не значит. Во-первых, тот, кто рассчитывает на это, при самом вступлении в монашество непременно обманется: в ближайшей перспективе у него — труд и послушание; во-вторых, бакалаврство с каким-нибудь инспекторством представляется невесть каким благом только для тех, кто близко незнаком со всем этим: а пусть-ка завидующий этому потрет лямку в упомянутых должностях, и еще при прежнем скудном содержании, — тогда и увидит, легко ли бремя, подъемлемое молодым монахом, отказавшимся и от семейных радостей, и от утешений мирских. Не спорим, что бывают в среде даже лучших питомцев академии, надевших на себя монашеский клобук, примеры и запойного пьянства, и впадения в иные грубые пороки, что иные из них на начальнических постах являлись свирепыми деспотами; но где же, в каком сословии этого не бывает? И можно ли частные анормальности обобщать в подтверждение своей предвзятой идеи? Свобода человека не ограничивается никакими обстоятельствами, и разве можно сказать положительно, что такой-то субъект на другом месте был бы совсем иной? По большей

части человека губят гордость и самомнение, не унимающиеся и под рясою монашеской: дайте этим порокам пищу, — они, как вечно жаждущие Танталы, потребуют от нас более осязательного удовлетворения; а при неимении его, откинув свойственные их природе средства духовные, обратят своего пленника к средствам грубым и животным, еще более разжигая в нем противное всему тому, чем обусловливается истинное благородство существа разумно свободного, и еще деспотичнее властвуя над ним. Горе монаху, с первого же раза не принявшему на себя ярем послушания и смирения! Если над кем, то именно над монахами исполняются слова Спасителя: *возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется.* К последним-то принадлежат те «блестящие исключения», которыми полна история Церкви; а к первым — те «честные и благородные натуры», которые любезны лишь цивилизаторам и прогрессистам и которые, по поговорке, являются ни Богу свечи, ни… и проч.

Крайне жаль, что панегиристы и апологеты памяти в мире скончавшегося экс-архимандрита Феодора не оставляют костей его в покое. Ну, к чести ли его служит предостережение сотоварищей его по академии, когда он решился принять сан монашества: «Ты будешь несчастен, ты погибнешь; сам не знаешь, что делаешь, — или с ума сойдешь, или сопьешься?» Предсказания, говорит «Церковный вестник», сбылись одной стороною; — да, к сожалению, сбылись… И сколько разнообразных дум возбуждает в душе приведенное «Современными известиями» товарищеское предостережение! Кто же мешал Феодору Бухареву быть, по его собственному выражению, «монахом не фальшивым, а по совести» и чем, наконец, повершил он это?.. Но не будем, подобно неразумным панегиристам усопшего, тревожить костей его… Мы близко, очень близко знали его и могли бы *положительно* указать причину совершившегося в жизни его переворота, но… sit ei terra levis!..

«Церковный вестник», оплевав прежнюю духовно-училищную администрацию, состоявшую преимущественно из лиц монашествующих, приветствует с восторгом новую эру духовного просвещения под руководством лиц из светского духовенства и фрачных блюстителей юношеской нравственности. «Новые уставы духовно учебных заведений, — говорит он, — отрадным чувством — от академий до низших училищ включительно открыли широкую дверь для белого духовенства. Духовенство это не только принимает деятельное участие в судьбе духовных заведений чрез введение в состав правлений священников, но оно допущено и к занятию начальнических должностей в этих заведениях. Со своей стороны, жизнь со своими требованиями откликнулась повсюду на эту драгоценную льготу, и теперь мы видим, что почти везде, где происходят выборы в означенные должности, избранниками являются лица белого духовенства, а само духовное правительство, при административном назначении на те же должности, уже не отдает прежнего предпочтения монахам, находившимся, при старых порядках, в положении привилегированном. Непосредственным последствием всех этих мер является то, что ныне совсем не слышно о поступлении в монашество двадцатилетних мальчиков, а следовательно, и случаи горестных последствий от такого ненормального порядка вещей, во главе которого стояла вербовка в монахи, окончательно устранены мудрою предусмотрительностью высшей власти».

Мимо «мудрую предусмотрительность высшей власти», на которую клевещет «Церковный вестник»! Мы на этот раз скажем ему только вот что: рано ты, птичка, запела, как бы тебя кошка не съела. Действительно, на иерархических ступенях, ближайших к архиерейству, мы уже мало видим лиц монашествующих, получивших академическое образование, потому что все четыре наши духовные академии не дают уже, как прежде, «двадцатилетних мальчиков», самоотверженно посвящавших себя служению Церкви. Что делать, — *по нужде и закону пременение бывает*, — и вот вследствие этой нужды мы видим теперь на кафедрах святительских вчерашних священников и протоиереев: но это еще, слава Богу, — а скоро и этот контингент израсходуется, потому что из воспитанников духовных академий весьма мало

охотников поступают в духовное звание… Но об этом когда-нибудь после.

Правда груба, да Богу люба

Слава и благодарение Господу Богу, — есть еще на Руси святой люди, имеющие уши слышати да слышат. Хоть голос наш до времени остается гласом вопиющего в пустыни при тяжелости на подъем тех, кому ближе всего ведать бы это надлежало, — но хорошо и то, что они, по крайней мере, не мешают другим сметь свое суждение иметь о некоторых предметах, вызывающих на размышление. Gutta, говорит старинная латинская пословица, cavat lspidem non vi, sed saepe calendo[281], и потому мы не перестанем говорить и указывать на некоторые аномалии в великом деле церковного служения Богу истинному.

Наш протест о поименном поминовении бесчисленных усопших отец, братий и сродников наших по плоти на Божественной литургии, без всякой существенной надобности растягивающим богослужение и положительно вредящем сосредоточению в себе и благоговению молящихся, хоть и встретил возражение со стороны некоторых «батюшек», отстаивающих в этом случае свои интересы; но возражения эти были так слабы и несостоятельны, что не заслуживали серьезного опровержения, между тем в наших церквах по-прежнему продолжается перечисление Иванов–Иванов, Семенов–Семенов, Графен, Лукерьев и сродников их, им же несть числа. Что делать?

Где до барышей коснется,
Не только там людям, и церкви достается.

Другое заявление наше касательно дурного чтения предлитургийных часов, шестопсалмий, канонов и кафизм хотя и принято некоторыми беспристрастными и благоразумными людьми духовного и светского чина, но делу мало помогло: все те же остаются безграмотные, гугнивые, безголосые и частенько пропитанные алкоголем чтецы, — все то же бестолковое и невнятное чтение чудных, проникающих душу псалмов Давида и умиляющих стихир христианских песнописцев, — все та же гоньба за количеством, а не качеством вычитываемого. Не многие настоятели церквей обратили на это внимание, но и тем не мешает поставить на вид следующую заметку Церковного Устава. «Егда, — сказано там, — глаголется шестопсалмие, тогда подобает со вниманием слушанию прилежати, покаяния бо псалмы исполнены суть умиления. Глаголем же сии псалмы со благоговением и страхом Божиим, яко Самому Богу невидимо беседующее и молящесе о гресех наших». Но спрашивается: как «прилежати слушанию», когда, кроме того, что псалмы эти читаются скверно, чтец становится не посреди церкви, не в центре молящихся, а перед самым алтарем, присутствующие в котором по большей части не обращают на читаемое никакого внимания? Почему бы не ставить чтеца, как это делается в некоторых обителях, среди церкви, наказав ему быть не медью звенящею и не кимвалом звяцающим, а звучным органом беседы с Богом Самим? Никогда не забыть мне впечатления, произведенного на одного из моих знакомых чтением шестопсалмия в Сергиевой Пустыни. Надо сказать, что знакомец мой не из очень усердных посетителей храма Божия и, по собственному его сознанию, никогда не достаивал до конца всенощного бдения, а уходил после обычного благословения, перед началом шестопсалмия. А тут почему-то остался. Вышел на средину храма великолепный, разумный чтец, иеромонах Никон. Смотрю, — мой приятель на коленях и плачет. «Что с вами?» — спрашиваю я его. «Почему, — говорит он, — не читают этого в наших церквах?» — «Как не читают, — читают, да только так, что не разберешь ни единого слова, да и сам чтец думает только о том, чтобы поскорее отхватать шестопсалмие».

А вот и еще аномалия, но уже встречаемая не между причетниками и псаломщиками, а между некоторыми отцами дьяконами. Произнося, например, великую или так называемую сугубую ектению, иные из них не дают клиру окончить обычное «Господи помилуй» или «Подай

Господи» и под звуки пения продолжают следующее возглашение. Да понимают ли они, что такое ектения? Это — изложение молитвенного прошения, ответом на которое служат упомянутые возгласы клира и народа. Они должны выслушивать их, и если до молящихся из стоящих вдали в каком-нибудь обширном храме не доходит звук диаконского возглашения, то по движению руки с орарем, долженствующей быть поднятою выше головы, они вместе с прочими преклоняют главы свои и делают поясной, а иные, по усердию, и земной поклон. Нет ничего досаднее, когда диакон выходит на амвон, прочитав на пути своего следования два или три возглашения. Чего они торопятся? Наша литургия, если исключить из нее поминальные календари, и без того не длинна.

Еще о диаконах наших. Обращали ли вы внимание на крутой поворот и овальное движение рукою с орарем при произнесении слов: *и во веки веков* после *Господи, спаси благочестивыя*? Иной из лихих дьяконов при этом сделает такой размах, что стой подле него, непременно получишь нежеланное приветствие <…> Откуда они это взяли? Ведь тут дело очень простое и естественное: диакон, становясь перед местною иконою Спасителя в пол-оборота и произнося: *Господи, спаси* и проч. — держит подъятою руку с орарем. Поворачиваясь затем к алтарю, он поворачивается вместе с подъятою рукою, а не поводит и не размахивает ею с неприличным жестом и каким-то бравством.

К слову о бравстве. Этим недостатком страдают преимущественно наши протодьяконы, а за ними и просто дьяконы. У них и приемы какие-то тамбур-мажорские, и походка с развальцем, и взгляду своему стараются придать нечто юпитерское, — ну, к лицу ли это смиренному служителю алтаря? Полноте смешить, господа, люд православный каратыгинскими приемами! Ведь вы не на подмостках театральных, а в том доме, где невидимо присутствуют чины ангельстии, со страхом и трепетом лица свои закрывающие и неслышимо вопиющие: *свят, свят, свят Господь Саваоф!*

— Чем начинается литургия? — спрашивал нас один шутник. «Известно чем, — отвечали мы ему, — если служит диакон, то словами: *Благослови, владыко*; а если один священник, то: *благословенно царство»*. — Извините-с; большей частью откашливанием дьякона; а если он горласт, то и кряканьем густым. Что, отцы, не водится ли за кем-нибудь из вас такого грешка? Бросьте его, хоть не ради чего иного, а ради приличия.

Мы говорили и писали о неправильности постановки налоя для чтения Евангелия, указывая на то, как это делается на Востоке и вообще в греческих церквах. Там обыкновенно налой устанавливается боком перед местною иконою Спасителя и диакон читает, обратясь лицом к народу, как это и подобает. А у нас диакон становится к народу задом и возвещает слово Божие священнослужащим, как будто они нуждаются в этом больше, чем народ. С чего это взято — Бог один знает. Не правильнее ли было последовать православному, греческому обычаю, признаки которого замечаются даже в инославных церквах?

Но это еще туда-сюда. При чтении Евангелия диаконом, особенно если он громогласен, до народа, хоть и под тупым углом, по закону отражения, долетают слова благовестия Христова, — а чем объяснить чтение священником Евангелия в алтаре на всенощном бдении? В эту минуту в храме воцаряется необыкновенная тишина; всякому желалось бы послушать слово Божие, а до вас долетает отдаленное жужжанье комара. Почему бы не читать Евангелие посреди церкви и даже на амвоне? Ведь выносится же оно для поклонения и лобызания после того? Ведь читается же оно так в высокоторжественные, праздничные и даже полиелейные дни. Зачем же в воскресные навечерия лишать молящихся этого великого духовного утешения? «Так принято», — отвечали нам на это некоторые из настоятелей. «От кого и когда?» — спрашивали мы, но ответа не получали.

Говорили также и даже писали мы об одной аномалии при архиерейском служении. При посвящении в диакона или во иерея вводящие посвящаемого в алтарь произносят: *повели, повелите* — и заставляют его кланяться, обращаясь к алтарю. Это неправильно. Слов *повели* относится к народу, и посвящаемый должен кланяться ему; слово *повелите* — к священнослужащим, которым он должен поклониться направо и налево, остановившись в церковных вратах, и затем последнее *повели* относится уже прямо к рукополагающему святителю. Скажете, что это — мелочь; извините, в нашем богослужении мелочей нет и быть не может.

Может быть, заметки наши кому-нибудь покажутся излишними и даже резкими; но что делать, когда уж наш девиз такой: служить, так не картавить, — картавить, так не служить.

Русская грамматика (Письмо к А. И.-ой)

Вчера вы сделали мне строгий выговор за то, что я не сам преподаю дочери моей русскую грамматику, а пригласил для этого учительницу, ничем не доказавшую особенных познаний в русском языке. Со всею покорностию принял я ваш выговор, и чтобы не отнимать у вас дорогого времени, великодушно смолчал; но тогда же положил в уме своем не отменять моего распоряжения. Должен признаться, что когда-то и я брался за эту работу, но через два-три урока бросил ее, заметив, что забираюсь в такую трущобу, из которой и выхода нет. Теперь с стесненным сердцем я слушаю, как добрая учительница возится в мозгу моей дочери, перепутывая ее понятия и отучая ее говорить по-человечески, — как натужится ребенок, чтоб усвоить себе неудобоваримые определения, деления и подразделения разных частей речи. В эти минуты я чувствую себя похожим на того несчастного болгарина, перед глазами которого мучат его малютку сына или дочь, а он не может пошевельнуться и вырвать свое дитя из рук мучителей.

Прежде всего, ставлю вопрос: возможна ли грамматика живого языка? Отвечаю: невозможна. Кто ж таки изучает анатомию на живом организме? Для этого берутся трупы, которые нечувствительны ни к каким вскрытиям и кромсанью; а пока организм одушевлен, до тех пор он изучается только снаружи. Так и с живыми языками. Ни один из них не дается анатомическому кромсанью, ни один не раскрывает таящихся внутрь его сокровищ и каждый презрительно смеется над хлопотами и усилиями резаков, снующих вокруг него с тупыми ножами и согнутыми пилками. Вот почему ни в одном живом языке нет твердой и постоянной грамматики. Все до одной они врут без зазрения совести, растягивая на Прокрустовом ложе живой организм, и только тиранят и мучат его. Грамматика возможна лишь в языке мертвом, свершившем свой цикл и уже не подвигающемся вперед и не растущем. Хорошо ли писал Ломоносов для своего времени? Хорошо. Хороша ли речь у Карамзина, у Пушкина в прозаических его сочинениях? Превосходна. А Гоголь с своим живым, самородным, в глаза бьющим словом?.. Попробуйте же подойти к ним с вашим грамматическим зондом, и вы тотчас увидите, что-то не так, вот это следовало бы выразить вот так-то, а тут расставить слова вот этак, — и вышла бы чушь и галиматья. Говорят, великий грамотей, Греч, редактировавший, как известно, «Мертвые души» Гоголя, прочитав две первые главы, бросил оземь толстую свою грамматику, очень сожалея, что он напрасно потратил на нее laborem et oleum. Потому-то я положительно держусь того определения, что «грамматика есть наука, которая учит говорить так, как никто не говорит, и писать так, как никто не пишет».

Так что же, скажете вы, значит, не нужно обучать грамматике? И нужно, и не нужно. Нужно, чтоб ознакомить детей с рутинными, техническими терминами, сковавшими разговорную речь; и не нужно по тем убийственным руководствам, какие имеются в наших учебных заведениях. Покажите детям, что вот, мол, это слово принято называть именем существительным, это — прилагательным, это — глаголом, это — местоимением, это — предлогом; растолкуйте им, что

это за штуки, и затем уже не мучьте их изменениями в окончаниях по падежам, наклонениям и временам, особенно толкованием, как это делать. Русское дитя само знает это; а вы только собьете его с толку и напустите в голову туману. Иностранцу — другое дело: ему ваши лекалы нужны, хоть по ним все-таки не выучите вы его говорить и писать чисто и правильно по-русски. Придерживаясь, как слепой за поводыря, за ваши правила с их дополнениями и исключениями, он вместо «зубов» скажет вам «зубей», вместо «говорил» — «говаривал», вместо «был у вас» — «был вам». И это естественно, потому что он учился по грамматике, а не по живой молви. То же могло бы быть и с детьми, которых мучите вы вашею мнимою наукою: заставьте-ка их говорить по вашей грамматике, — они заговорят не лучше Карлов Карловичей и Иванов Ивановичей.

Позвольте спросить вас, грамотеи-педагоги, откуда взялись эти технические термины в ваших убийственных грамматиках. Из языков греческого и латинского, то есть из мертвых языков. Значит, снятую с трупа кожу вы приставляете кусками к живому организму. Как тут не хитрить! Как обойтись без определений, делений подразделений, исключений и разного рода примечаний? Как не заговорить бестолково какому-нибудь г. Иванову, поучающему юношество — легко сказать — уже *четырнадцатым* изданием своей грамматической ерунды? На то, впрочем, они и мучители русского языка, баши-бузуки его, отрубающие руки и ноги в угоду теории, высиженной ими в клинике, в которой уложили они русскую молвь, обложив ее гипсовыми повязками и длинными бинтами. Бедные дети! Как хорошо и складно говорите вы, когда нет возле вас учителя или учительницы русского языка! А посадят они вас подле себя, и пошли истязания. Вы скажете: «У меня голова болит от ваших уроков», сейчас вопрос: «Почему вы сказали голова, а не голов? Какой падеж «уроков»? Как зовется высказанная вами мысль? Где тут подлежащее и сказуемое? Нет ли тут «вводного», подводного и подземного? С чем согласуется «голова» и проч. Чья, спросил бы я, господин учитель или учительница? Ваша? Ни с чем, и менее всего со здравым смыслом. Не уж-то вы не замечаете, что в светлую головку вашего воспитанника или воспитанницы напускаете только туману и отучаете их мыслить и говорить, как Бог велел! Как присяжный писатель и литератор, скажу вам, многоуважаемая Анна Ивановна, что если бы меня стал пытать так какой-нибудь Иванов или Иванова, то я не удостоился бы получить от них и двойки, несмотря на то, что в течение сорокалетнего служения моего на поприще науки, литературы и журналистики никто ни однажды не упрекнул меня незнанием русского языка. И уж никак не виноваты в этом мои педагоги-грамотеи. Впрочем, в наше время учили нас этой псевдонауке проще, не по мертвым и затхлым руководствам, а по живому слову в лучших творениях современных писателей. Грамматика Соколова [1] (в сокращенном виде грамматика Ломоносова, несравненно лучше всех нынешних грамматик) была у нас лишь подспорьем; из нее мы узнавали только техническую терминологию русской речи и, слава Богу, научились говорить и писать не хуже всех нынешних грамматиков, которые чувствуют себя в роли Собачкина, когда им приходится написать самую обыкновенную записку: «…так, кажется, на словах все бы словно изъяснил; а примешься за перо, — просто, как будто бы кто-нибудь оплеуху дал: конфузия, конфузия, не подымается рука, да и полно».

Пусть сердятся на меня грамотники и грамотницы, но я скажу, что это самый непроизводительный, самый бесполезный род наставников и наставниц во всем учебном персонале. Дело, за которое берутся они так смело, может быть под силу только Павским, а не каким-нибудь Ивановым, Кирпичниковым, Антоновым и tutti guanti.

P.S. Разбирать грамматики этих господ я не стану: слишком много будет им чести; а при первой же оказии явлюсь к вам с ними и доставлю вам полное удовольствие похохотать над нелепостями, какими они потчуют детей наших.

Раздел V. Статьи по церковному искусству

Вокальная и инструментальная музыка в храмах христианских

Это было в Киеве.

Не помню, какой-то католический праздник в тамошнем костеле любители и дилетанты музыки разыгрывали ораторию Гайдна [1] «Творение мира». Часу во втором пополудни заехал я с визитом к одному из моих знакомых, у которого застал несколько гостей; они вели между собою, как видно, горячий разговор, смолкнувший при моем появлении. После первых официальных приветствий хозяин обратился ко мне со следующею речью:

— Кстати пожаловали! У нас тут завязался в некотором роде диспут; да предмет-то такой, что я чувствую себя как-то недостаточно сильным против такого оппонента, как Тимофей Константинович. Поддержите, батюшка.

— Что ж такое? — спросил я.

— Прежде скажите: вы не были сегодня в костеле?

— И не думал.

— Отчего так? — спросил гость с огромной лысиной и с огромнейшими, выпуклыми глазами.

— Что мне там делать?

— Послушать ораторию.

— Для этого нет надобности ходить в церковь, точно так же как не было надобности делать из храма Божия какую-ту филармоническую залу.

— Да, вот у нас небось лучше! — возразил он с едкой усмешкой. — Воля ваша, — а если бы к нашему, действительно великолепному, действительно торжественному и истинно умилительному богослужению да придать инструментальное пение как более способное к стройности, так дело-то вышло бы чуть ли не лучше.

— Что и говорить! Да вправе ли кто бы такой ни был вводить в обряды нашей Церкви такую новизну и изменять чрез это внешнюю сторону нашего богослужения?

— Почему ж новизну?

— Да вот почему, благоволите прислушать. Благодатная церковь Христова в первые веки своего существования, прияв от Апостолов чин богослужения, никогда не видела в храмах своих никаких органов, свирелей и разных дудок; она чуждалась инструментальных звуков даже при обряде погребения, где употребление труб было освящено давностью и обычаем. Сам Спаситель, исходя на вольное страдание, шел не в древнем гласе трубном, а с новой, умилительной песнию на устах: *и воспевше*, сказано, *изыдоша на гору Елеонскую*[282]. А ученики Христовы на гуслях ли или органах утишали скорбь свою в лютых гонениях? Опять нет: среди глубокой ночи они молились и *пояху Бога*[283]. *Слово Христово*, — пишет апостол Павел, — *да вселяется в вас богатно во всякой премудрости, учащее и вразумляющее себе самех во псалмех и пениих и песнех духовных, во благодати поюще в сердцах ваших Господеви*[284]. Послушные голосу своего учителя, верные тогда строго исполняли эту

заповедь; дни и ночи проводили они в святых псалмопениях. Слова нет, они пели не витиевато, без этих рулад и агремá, без этих соблазнительных morendo и affectuoso: зато песнь их была от души, от сердца. Они не ахали и не охали от приторной сентиментальности, не безмолвствовали от чувственного восторга: но зато слух их оставался целомудренным.

— Что такое? Слух — целомудренным? Так у вас есть еще целомудрие слуха?

— А как бы вы думали? Если вам понятна тайна сочувствия души звукам мирской гармонии, которая влечет так легко, так, по-видимому, усладительно к мечтаниям, подчас куда как грешным; если вам случалось читать об этом мнения, правда немножко строгие, но справедливые, подвижников: то вы и без меня поймете, чтó такое и в чем должно состоять целомудрие слуха. Думайте себе, как хотите, а все-таки вы согласитесь, что инструментальная музыка в храме Божием крепко неуместна. На что было этот чуждый огнь вносить, подобно Дафану и Авирону [2], в святилище Бога истинного? На что эти бессмысленные звуки и тоны там, где должно слышаться слово?

— Ах Боже мой! — воскликнула бывшая тут дева, порядком заматоревшая во днях своих и вот уже лет пятнадцать терзающая уши убийственным завыванием известной арии Casta diva, — да такая музыка… такая музыка, monsieur, гораздо более говорит душе, чем… — она не докончила своей реплики и взвела глаза к небу.

«Убила бобра! — подумал я. — Нашла смысл в инструментальном гаерстве!»

— Совершенно согласен, — отвечал я, — что музыка много, даже чрезвычайно много говорит душе, — да что говорит — вот вопрос! Те ли утешительные истины Веры, которые так живо, так действенно передаются в членораздельных звуках? Заимствуя изящность свою в гармонии природы, похищая у бури грозное завывание, у грома страшные раскаты, у ручья журчание, у птиц мелодические напевы — такая музыка, не переносит ли молящегося из храма Божия в разнообразный мир природы видимой? Не развлекает ли его в ту пору, когда ему более всего нужно самоуглубление? Я знаю, что такая гармония иногда исторгает слезы у слушателя, — но спросите его: отчего он плакал? Что осталось в душе его от этих слез? Уверяю вас, что он ничего не скажет вам толком: возгласы, безотчетные восторги, ахи да охи — вот и весь ответ его! Смотря на него в такую пору, невольно подумаешь: эк — он какой щекотливый на нервы! Я не траппист, не строгий анахорет, но смею думать, что это самая тонкая, самая неприметная, а вместе с тем прекрепкая цепь, которою тайный враг наш влечет нас ко греху, — и если есть похоть очес, похоть плоти, то есть также и похоть слуха.

— Что вы это? Да как это? Помилуйте! — раздалось со всех сторон. Я только поглядывал по сторонам, ожидая, чем все это кончится.

— Позвольте, — сказал один из гостей, тщательно выбритый, с изящно уложенною Анною на шее и с манерами немножко маниловскими, — позвольте-с. Небесный дар гармонии, которым обладали некоторые гениальные люди, употреблявшие его к прославлению величества Творца миров, неужели также не может избегнуть нарекания? Что ж после этого все искусства, если самое возвышеннейшее из них не смеет являться там, где душа верующая должна испытывать чистейшее удовольствие, где внешняя гармония должна возбуждать и производить внутреннюю?

— А позвольте припомнить вам слова Самого Спасителя: *дом Мой — дом молитвы*[285]. Это, кажется, ясно: так зачем же вы хотите, чтобы храм Божий был святилищем искусства? Чтò родилось от мира и для мира, то пусть и остается в мире. Святая простота Веры Христовой лишних украшений не требует. Да и что, скажите на милость, могли бы принесть в область

благолепия Церкви самые прославленные гении музыкального мира? Кстати, мне пришел теперь на память отзыв знаменитого Гофмана [3], который, как вам самим известно, и сам был не глух к музыке и не близорук в суждениях своих о ее корифеях. Замечу наперед, что он смотрит на них с той же точки, с какой смотрел и смотрит доселе целый свет. Что ж в этом отзыве? А вот извольте прислушать. Один характеризуется как ребенок, забавляющийся игрушками досужей своей фантазии, — это Гайдн; другой, углубляющийся, повидимому, во внутренность нашего существа, представляется заклинателем, вызывающим духов и привидения, — это Моцарт [4]; третий изображается каким-то мучителем, который действует страхом и исступлением, раскрывает какое-то бесконечное стремление (куда?), которому нет ни границ, ни предмета, ни цели, — это Бетховен [5]. Скажите ж, как перед Богом, что это такое? Что тут взять святого, не растленного впечатлениями мира в жертву Богу? И это называют небесным даром!.. Это ли тот огонь, который, как веяние Духа Божия, расплавляет жесткое сердце грешника, открывает у него источник слез, и все существо его делает как бы светозарным? Положим, что стройность и гармония в так называемой инструментальной музыке доведены до высочайшей степени совершенства, что пение церковное уступает ей в этом отношении: но так оно и должно быть. Пение или, пожалуй, музыка, как нечто внешнее, не должна совершенно закрывать внутреннего, не должна отторгать души слушателя от святая-святых и уносить его в мир бесплодных грез и пустопорожних мечтаний. Умейте только хоть раз отвлечься от бездушных звуков этих *сопелей, гуслей* и *труб, издающих пискание или гудение*[286] и прислушаться к мелодическому напеву церковных песнословий, — вы тотчас увидите превосходство последнего перед первым. Да вот лучше всего: случалось ли вам провожать друга или встречать провожающих усопшего в могилу? Слыхали ли вы при этом звук труб погребальных — обычай, к слову сказать, перенятый нами у язычников, — и пение хорошего, даже хоть мало-мальски порядочного хора? Что вас более поражало — этот ли заунывный голос труб, которые стоном своим как бы пророчили усопшему ничтожество, или умилительное пение трисвятой песни как свидетельство веры умершего и надежды его на воскресение? Что до меня, то, признаюсь, я не могу оставаться хладнокровным и в том и в другом случае: но — чудное дело! — при звуке труб и разного рода гудков и сопелей мне всегда приходит на мысль сомнение, и я как-то невольно вопрошаю:

Что же там за гробом?

Где душа витает?

Что там ожидает

В небе человека?..

Будет ли он вечно

Жизнию особой

Жить, не умирая?

Иль своей чредою

Обратится снова

К первому Началу,

И в едино слившись

Неразрывно с Богом,

Потеряться должен

В беспредельной жизни?..

Теперь — поют трисвятое, — и милосердное Небо сказывает мне тайну загробной жизни: там, говорит, *несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная*; там *праведницы просветятся яко солнце, в царствии Отца их*[287], где уготованы им *обители многи*[288]; там к отшедшим, которые умели

Терпеньем, верой заслужить

Себе небесное веселье,

Тогда придет его делить

Сам Бог на новоселье…

Да, милостивые государи, в эти минуты, действительно,

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

Собеседники мои молчали; я продолжал:

— Знаю опять, что наше церковное пение потому еще не нравится многим, что оно, как заметили мне однажды, слишком обнажено, просто. Оно, если хотите, с одной стороны, так, а с другой — не так. Если коснемся внешнего выполнения, то пение и должно быть просто. Древние христиане не заботились о витиеватости своих песней; они пели безыскуственно, так что, по свидетельству современных писателей, пение их больше походило на распевное чтение, чем на пение в строгом смысле. Подражая им, и мы не должны украшать нашего песнопения внешней витиеватостью, потому что она всегда вредит, отвлекая внимание певца и слушателя от предмета воспеваемого. Что ж касается до внутреннего его содержания, до духа, — то оно непросто. Не в звуках, а в словах воспеваемых содержится та внутренняя сила, которая движет волю и сердце молящегося. Просто всякому известно пение таинственного: *Иже херувимы*; не витиевата, по внешности, песнь: *Чертог Твой вижду, Спасе мой*; нет изысканных мотивов в погребальном стихе: *Благообразный Иосиф*; нет особенно восторженных излияний в радостном: *Христос воскресе*: но скажите откровенно, — с чем сравнится то движение сердца, которое всякий раз испытывает верующая душа, внимающая сим песнопениям? Кто не падал ниц при словах: *Просвети омрачение души моея, Светодавче*? Кто не плакал ни разу в жизни от радости, услышав в первый раз в году: *Христос воскресе*?..

— Прекрасно, — сказал господин с огромной лысиной, — но ведь это для нас с вами так оно кажется, потому что обстановка, обстановка действует на ваши чувства, потому что душа ваша уже предзанята ожиданием впечатлений; на всякого другого, как говорится, не нашего прихода, сомнительно, чтоб это имело такое же действие, тогда как музыка инструментальная есть язык общий, понятный всем и каждому, без отношения к обстоятельствам того или другого быта.

— Не спорю, но ведь дело не в действии на чувство, а в самом характере этого действия. Если ваша инструментальная музыка, скажу словами Гофмана, уносит вас туда, где нет ни границ, ни предмета, ни цели, то, что ж тут хорошего в деле богослужения? Уноситесь себе, пожалуй, куда хотите, например, в опере, в балете: но в церкви это не совсем прилично. А что церковное

пение может действовать на людей, как вы сказали, и не нашего прихода, так доказательство этому служат послы равноапостольного Владимира, которые, услышав в Константинополе пение при богослужении, сознавались потом, что они воображали себя стоящими не на земле, а на небе. Если же теперь, благодаря цивилизации, не все одинаково испытывают благодатное влияние пения церковного: то в этом виновато не пение, а они сами. Слепому дайте хоть рафаелевскую картину, он не отличит ее от вывески с колбасами и свиным окороком; глухому пойте хоть райские песни, — они не займут его. Нет, господа, только в богослужебном пении та чистая, неподдельная, истинно духовная гармония, которой иногда напрасно доискиваются люди в страстных тонах светской музыки; в нем-то те звуки, которые, как легкие крылья херувимов, касаются внутреннейших струн души. Там — в светской музыке, куда бы не переносили вы ее, хоть бы за тридевять земель, в тридесятое царство, никогда не перестанут говорить страсти; как ни утончайте, как ни одухотворяйте звуков ее, вы никогда не изгладите печати, налагаемой на них человеком, по преимуществу страстным, каковы вообще все музыкальные гении. Порождение беспокойного, вечно томимого, бесцельно стремящегося духа, звуки эти способны возбудить только бурю в душе вашей, только тоску и безвестные порывы, а тихая гармония также не произведет в вас гармонии, как нет ее в ней самой. Пение же, и пение церковное, порождаемое тихим, благоговейным излиянием молящейся души, проливается в нее благотворною струей и при благочестивом внимании производит в человеке такую тишину и такой рай, какого не дадут вам никогда ни ваши Тамберлики со своими ut diéze, ни ваши Бозии, ни все наипрекраснейшие органы в свете!..

Ну, тут уж чуть было не пришлось мне плохо. Дилетанты и мужского, и женского пола хором возопили на меня за такое ужасное посягательство на бессмертную славу Тамберлика [6], Бозио [7] и других, как пишется в музыкальных обозрениях, *божественных* певцов Большой Оперы. Переждав бурю упреков, советов, убеждений и даже немножко колких слов, я продолжал:

— Заметьте еще, messieurs и mesdames, что пение гораздо древнее и сообразнее с достоинством существа человеческого и с существом самого дела, чем музыка на каких бы то ни было инструментах. Полный чувств благоговения и благодарности к Творцу своему, человек всегда прежде извлекал звуки из себя, а не из мертвого инструмента. Он пел, — и песнь его была понятна и ему самому, и окружавшим его. Прекрасный, Божий дар слова, остающийся без употребления, омертвелым там, где его заменяет одно механическое движение, в пении бывает главным деятелем, самым лучшим, вернейшим и благороднейшим проводником внутренних движений духа; все твари, в разнообразных звуках поведающие благость и славу Создателя своего, передают человеку свои песни, чтобы он, как жрец, истолковал их живым словом, одним из существеннейших принадлежностей его природы. *Змиеве и вся бездны, огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящия слово Его; горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты*[289], — все это устремляет на человека полные надежды и ожидания очи, умоляя, чтоб он перевел их хваление Создателю и Промыслителю своему. Стало быть, грешит человек против Творца своего, против самого себя, даже против низших себя тварей, если в святой молитве благодарения и хвалы Богу оставляет без употребления свое слово и, по странному своенравию, становится в храме Божием бессловесным певцом чудес Всемогущего. Воля ваша, а мне кажется, что в таком разе он хоть и в более благородном смысле, но все-таки *прилагается скотом бессмысленным и уподобляется им*.

— Ну, уж это слишком! — с улыбкой заметил хозяин. — Не забывайте, однако ж, что инструментальная музыка допущена была в церкви подзаконной, что там были в употреблении и трубы, и гусли, и другие современные инструменты.

— Совершенно справедливо: но ведь и лепет допускается в человеке в известную пору его жизни; если же он будет продолжать лепетать и в возрасте мужества, то его извиняют разве потому только, если он косноязычен. Не хочу вдаваться в рассмотрение свойства и характера церковной музыки древних евреев, во всем совершенно отличной от нынешних реквиемов и ораторий, — скажу только, что в первобытные времена Церкви подзаконной, действительно, при некоторых торжественных случаях были употребляемы органы, гусли, свирели и тимпаны: но все это, по мере возвышения израильтян к духовности, малопомалу оставляемо было вне врат храма. Уже Идифум, Асаф, Ефам, сыны Кореовы, получали от пророка Давида не какие-нибудь нотные каракульки, а полные псалмы, состоявшие в слове и из слов молитвенных. Чем более прозревали древние евреи сквозь подзаконную сень, чем более от внешних образов и обрядов углублялись внутрь самих себя и чем яснее усматривали невозможность очищения себя кровью козлов и овнов и потребность другого, более духовного очищения: тем более становились слышны песни покаяния и молитвы, возносимые уже не на мертвых органах, а в тихом слове умиления, в святой песне плача и воздыхания. Постепенно спадала завеса с огрубевших очей древнего Израиля; постепенно исчезало и ликование их на гуслях, свирелях и тимпанах. Во времена, близкие ко временам Спасителя, вы уже не найдете ничего такого между иудеями, а тем более не найдете во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Даже общее всем народам употребление музыки как средства развлечения было уже оставляемо, так что св. апостол Иаков [8] говорит уже только о пении: *благодушествует ли кто в вас? да поет*[290]. Притом изящная сторона музыки доступна понятию только небольшой части народа, так называемому образованному классу, что ж делать другим-то? Поневоле этот огромный участок народа должен оставаться безмолвным, мертвым слушателем ораторий, над выполнением которых так усердно трудятся дилетанты, — или довольствоваться своею простосердечною молитвою, без всякого участия в церковном славословии такого рода.

— А разве наш простолюдин, — спросил один из гостей, — все понимает, что поется в церкви?

— Все не все, а понимает гораздо больше, чем многие и весьма многие даже из высокообразованных господ. Он с детства навык этим песнопениям, слова которых глубоко вошли в душу его вместе со звуками. Он скорее падет на землю при пении, например, праздничного тропаря, чем иной велеученый мудрец, который будет стоять при этом, бессмысленно вытаращивать глаза…

В эту пору вошел знакомый уже читателям «Домашней беседы» «трехименный» Антон-Феликс-Алоизий Пршипршинский. Не желая связываться с этим господином, который до сих пор еще верит в непогрешимость своего папы, я замолчал…

Ведель Артемий Лукьянович

Киеву от древних лет суждено быть вводителем и впоследствии усовершителем церковного пения. По сказанию так называемой Иоакимовой летописи, еще к Владимиру равноапостольному присланы были из Константинополя с митрополитом св. Михаилом «демественники от славян болгарских», передавшие России демественное или доместическое пение, которое, впрочем, мало разнилось от столпового[291].

При Великом князе Ярославе явились в Россию три греческих певца, от них же, как свидетельствуют Степенные Книги, «начат пение изрядное осмогласие[292] наипаче же быти в рустей земли ангелоподобное и трисоставное, сладкогласование и самое красное демественное пение». Остатки его доныне сохранились в Киево-Печерской Лавре, где самые глубокие знатоки музыки не могут не восхищаться чудною, неподражаемой гармонией, завещанною св. обители многими веками.

Знаменитый в Истории Русской Церкви и отечественного просвещения Лазарь Баранович, в бытность свою игуменом Киевобратского монастыря и ректором тамошнего училища, желая противопоставить бездушным звукам органов, оглашавших католические костелы, более разумную и сознательную музыку, обратил особенное внимание на увеличение и улучшение Братской певческой капеллии и заботливостью своею довел ее до такого совершенства и известности, что когда царь Алексей Михайлович и патриарх Никон пожелали ввести и в Москве церковно-партесное пение, то для обучения этому искусству вызывали наставников и даже певчих из Киево-братского монастыря[293].

Само собой разумеется, что подражание западным ораториям во многом должно было изменить древний характер наших церковных песнопений и что, за неимением готовых пиэс, настояла необходимость составлять их вновь, применяясь к современному вкусу и эстетическим требованиям. К сожалению, репертуар древней Киево-братской капеллии погиб невозвратно; уцелевшие же гимны св. Димитрия Ростовского и неизвестных композиторов, творения которых находятся в старинном *Богогласнике*, мало характеризуют ту эпоху, когда пение церковное, лишенное первобытной простоты, уклонилось в витиеватость и вычурность, не совсем ему свойственные. Последним представителем этой отжившей школы киевского партесного пения был *Артемий Лукьянович Ведель.*

Ведель родился в Киеве в начале семидесятых годов прошлого столетия и принадлежал к мещанскому сословию. В юных летах он отдан был родителями своими в киевское училище и за отличный голос был немедленно принят в академический хор. Таким образом, *Ведель* с первого же раза попал в тот круг, из которого не суждено было ему выходить до конца своей жизни. Достигнув философского класса, *Ведель* принял в управление академическую капеллию: отличная манера, глубокие сведения в музыке, полный и превосходно выработанный голос привлекли к нему общее внимание киевлян. Тогдашний московский генерал-губернатор П. Д. Еропкин просил митрополита Самуила прислать к нему знатока в церковном пении. Выбор пал на *Веделя* с тремя мальчиками из академического хора, он отправился в Москву и вступил там в управление капеллией Еропкина, состоя между тем на службе в Сенатской канцелярии. В 1790 году по увольнении Еропкина от службы, *Ведель* возвратился в Киев с чином губернского секретаря и прямо явился в Академию с камертоном регента. Квартировавший в ту пору на Подоле корпусный генерал А. Я. Леванидов полюбил его и уговорил перейти к себе, исходатайствовав ему чин поручика. *Ведель* тотчас же занялся составлением певческого хора из солдатских детей и вольных людей. В короткое время певческая Леванидова стараниями *Веделя* стала одною из лучших в Киеве.

Это была самая цветущая пора его необыкновенного таланта, и к этому-то времени относятся почти все концерты его и самое пение, долго остававшееся в памяти киевских старожилов. В партитуре всех концертов *Веделя*, писанной им самим 1796 года, нельзя с первого же взгляда не обратить особенного внимания на разные музыкальные украшения, которыми убирал он преимущественно партицию тенора и выполнение которых вряд ли и было кому доступно, кроме его самого. Над такой партицией призадумались бы и новейшие певцы-артисты: труднейшие рулады, быстрые переходы из полутона в полутон, смелость и нарочитая витиеватость оборотов показывают, что голос *Веделя* был обработан в высшей степени и не боялся никаких трудностей. Конечно, от этих светских украшений, щедро им рассыпаемых, церковное пение некоторым образом утрачивало характер простоты и молитвенного спокойствия: но *Веделя* слишком строго винить в этом нельзя, — таков был вкус и требования духа времени. По крайней мере, у *Веделя* самые хитрые рулады и фиоритуры никогда не затемняли главной мысли и не были предметом особенных и намеренных его усилий, а выходили сами собою; это не те скачки и рулады, которыми щеголяли в свое время концерты Алейникова, Пичугина и особенно Дехтярева, походившие более на итальянские оперетки.

Замечательно, что концерты *Веделя* и без тех украшений, какими усыпал он партицию тенора, нисколько не теряют своих достоинств и даже, можно сказать, больше нравятся строго эстетически образованному вкусу.

В 1792 году, когда Леванидов был переведен из Киева генерал-губернатором в одну из северных губерний в России, *Ведель,* лишившись в нем своего покровителя, бросил все и, соскучившись без любимого своего занятия, сложил себя чин поручика и поступил в Киево-Печерскую Лавру послушником. Здесь он обратил всю энергию пылкой души своей к иноческим подвигам, усердно исправляя должность чтеца и клирошанина. Братия находила в нем образец кротости, терпения и послушания и скоро надеялись видеть его в сане служителя алтарю Господню: но, к удивлению всех, *Ведель* в одну ночь тайно бежал из Лавры. В нищенском виде, с признаками некоторого помешательства, бродил он по Полтавской, Черниговской и Харьковской губерниям. Между тем на *Веделя* пало неблаговидное подозрение в составлении каких-то записок, относившихся к современным политическим событиям. Тогдашний генерал-губернатор Киевский М. Н. Кречетников немедленно распорядился об отыскании беглеца. Не зная ни о чем и ничего не подозревая, *Ведель* сам воротился в Киев и явился прямо в Лавру, откуда был представлен за караулом гражданскому начальству. Это обстоятельство сильно потрясло его; однако ж он не потерял присутствия духа и успел оправдаться в возникшем подозрении: но за бродяжество все-таки посадили его в Смирительный дом. Тут уж он совсем помешался; глубокая задумчивость, боязливое искание уединенных мест были признаками уже ненормального состояния умственных его способностей. Многочисленные почитатели его таланта не переставали, однако ж, навещать его в горьком заключении: но уходили, часто не могши добиться от него какого-либо слова. В 1806 году *Артемий Лукьянович Ведель* окончил горемычную жизнь свою в том же Смирительном доме. Знаменитый вития И. В. Леванда, напутствовавший его Св. Тайнами, испросил позволение у начальства проводить *Веделя* с приличной торжественностью, и в день погребения улицы были покрыты народом; воспитанники Академии спорили с многочисленными почитателями его таланта о чести нести бренные останки знаменитого певца. Прах *Веделя* покоится в бывшем Кирилловском монастыре, — но где именно его могила — неизвестно[294].

Ведель был красив собою и прекрасно сложен, особенно поразительны были глаза его, светившиеся каким-то особенным огнем. Нравом был тих, кроток, приветлив и всему предпочитал уединение. Последнее обстоятельство было причиною того, что школьные товарищи почитали его «духовидцем» и подходили к нему с некоторою боязнью. Молитва не сходила с уст *Веделя:* что́ бы он ни делал, куда бы ни шел, — всегда шептал про себя Псалтирь, который знал наизусть, и часто заливался слезами, декламируя нараспев вдохновенные песни Царя-псалмопевца. Генерал Леванидов, в доме которого он жил и с которым был потом в дружеских сношениях, пожелал однажды узнать, чем занимается *Ведель* в свободное время; для этого он тихонько подошел к его комнате: но услышав его пение и завидев в полуотворенную дверь *Веделя*, стоявшего перед иконами на коленях, отошел прочь, не желая мешать молитвенному вдохновению благочестивого человека. Независимо от дней воскресных и праздничных, *Ведель,* как только позволяли ему занятия, непременно являлся на богослужение и становился на клирос, участвуя в пении простых клирошан.

Ведель превосходно играл на скрипке и был первым солистом в оркестре академическом. Управляя хором, он никогда не сердился, и вывести его из терпения не было никакой возможности; ошибку он встречал улыбкой и ласково поправлял ее. В дни Великого Поста *Ведель* иногда выходил петь один: *да исправится молитва моя*, импровизируя музыку удивительным образом[295]. Сказывают, что в эти минуты лицо его как бы просветлялось и слезы ручьем лились из глаз его. В разговорах он был весьма умерен; больше молчал и почти

всегда бывал задумчив. Любимым развлечением его было пение священных гимнов и кантов, бывших в общем употреблении между студентами Академии. Для этого он приглашал к себе малюток-певчих, причем, как замечает сказатель жизни *Веделя*, сам не раз, исполнявший при нем те песни, он всегда «погружался в меланхолию».

Концерты *Веделя* есть двухорные и однохорные для четырех голосов. Впрочем, двухорных только два: *Проповедника веры*, в день св. апостола Андрея, и *Господь пасет мя.* Оба эти концерты написаны, как видно, из подражания известному Сарти и слабее прочих композиций *Веделя*, хоть далеко выше музыкально-церковных произведений этого итальянца-композитора. В adagio и solo этих концертов *Ведель* является то же молитвенное чувство, каким всегда одушевляем был наш отечественный композитор: тут как будто он чувствует себя дома и поет своим, а не подражательным голосом. Хоровые переклички в allegro, видимо, сбивали его с своеродной колеи и заставляли прибегать к общим музыкальным местам, которыми так богаты современные ему композиторы. Четырехголосные концерты *Веделя* следующие: 1) *В молитвах неусыпающую Богородицу*; 2) *Спаси мя Боже, яко внидоша воды до глубины души моея; 3) Доколе, Господи, забудеши мя; 4) Пою Богу моему дондеже есмь; 5) Блажен разумеваяй на нища и убога;* 6) *Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь;* 7) *Воскресни, Господи, судятся языцы пред Тобою*; 8) *Услыши, Господи, глас мой;* 9) *Боже, законопреступницы восташа на мя* и 10) Ко *Господу внегда скорбети ми.* Во всех их самая лучшая партиция — теноровая; в adagio все прочие голоса служат как бы аккомпанементом тенору. Но зато что за богатство инструментовки в хорах! Что за широкое, что за необъятное море звуков, как бы волнующихся плавной, мерной зыбью! Ни одного педантического скачка из тона в тон, ни одного ненатурального перехода, ни одной ноты, поставленной наудачу или для пополнения музыкальных пробелов; легкость, особенная мелодичность, чистота, ясность, молитвенность и, так сказать, сердечность (sincerité) — вот неотъемлемые достоинства произведений *Веделя!*

Строгие контрапунктисты упрекнут, может быть, его в некотором однообразии и повторении любимого мотива: но, не говоря уже о том, что подобное сему встречается и у таких великих композиторов, как Бетховен, мы находим, что *Ведель* в этом случае нимало не изменял характеру нашей церковной музыки, и поэтому мнимое однообразие может быть даже поставлено в числе первых достоинств его композиций. Оно показывает непрерывность, естественность, постоянство и единичность молитвенно-религиозного чувства, содержащего душу до конца песни и, может быть, действительно повторяющего иногда себя, как повторяется одна и та же молитва в «умном делании» высоких подвижников жизни духовной. Возьмите хоть концерт *Веделя Доколе, Господи, забудеши мя* — от начала до конца целого псалма, он весь проникнут одним, ни на одну секунду не прерывающимся чувством скорби, изливаемой пред Утешителем всех скорбящих. Тут нет общих музыкальных мест; нет, пожалуй, и педантического разграничения, указываемого контрапунктом[296]: но зато во всякой ноте, во всякой фразе видна душа, любящая, христианская душа. Сказатель жизни *Веделя* говорит, что по исполнении в Киево-Михайловском монастыре этого концерта капеллией Леванидова, под управлением самого композитора, князь Дашков, временно проживавший на ту пору в Киеве, снял с себя золотой шарф и подарил его *Веделю,* присовокупив к тому 50 червонцев. Концерт *Спаси мя, Боже* нельзя слушать без слез; концерт же *Помилуй мя, Господи* обошел всю Русь православную; его пели везде, приписывая то тому, то другому композитору. Уж одна эта популярность много говорит в пользу высокого таланта *Веделя.*

Манере *Веделя* подражали все певческие хоры, которых в ту пору в Киеве было очень много. Малороссийские помещики дорого платили за каждую его пьесу, переписываемую для их домашних капеллий. Министр юстиции Д. П. Трощинский заплатил за две полные службы *Веделя* триста рублей — цена, по тогдашнему времени, высокая. Сам Бортнянский, не любивший себе соперников, не раз письменно просил *Веделя* не оставлять музыкальных

занятий.

Из мелких сочинений *Веделя* особенно замечательно трио: *Покаяния отверзи ми двери.* Его знает и поет вся Православная Русь, — и ни одна из известнейших композиций этой покаянной песни не выражает столько мысли, столько глубокого сокрушения о грехах, как это произведение *Веделя.* Ужас объемлет душу при восклицании баритона: *Окаянный трепещу* — восклицании, прямо вырывающимся из-под сердца, тесно сжатого благодатною скорбью. Есть и другие его сочинения: но все они, нося в себе печать его могучего таланта, как будто не договорены, как будто показывают, что композитору негде было развернуться полетом творческой своей фантазии.

Когда, объятый вдохновением, *Ведель* написал первую строку своего концерта: *Пою Богу моему дондеже есмь*, — думал ли он, что не допоет до конца прекрасных песней своих, что его же звуки будут потом казаться ему темной сказкой, давно когда-то слышанной и уже позабытой?.. Непостижимы судьбы Божии!..

Кое-что о церковном пении (Письмо в Киев)

Отыскивая между бумагами понадобившееся мне письмо одного из моих журнальных корреспондентов, я нечаянно напал на твое послание, писанное ко мне еще в 1859 году. Кажется, что оно, за разными хлопотами, было оставлено мною без ответа. Как провинциальный меломан, ты обращаешься ко мне с просьбой поделиться впечатлениями, которые, по твоему мнению, я должен был испытать «в этом разливном море музыкальных наслаждений». «Счастливец, — пишешь ты, — ты можешь слушать Тамберлика, Бозио, Эмерик-Лаблаш, упиваться гармонией в итальянской и русской операх; восхищаться Штраусом, Гунглем, Контским, Рубинштейном, присутствовать в концертах Придворной капеллы под дирекцией самого Львова и проч. и проч.» Завидуй, завидуй, если тебе нечего делать! А я тебе скажу, что из всех перечисленных тобою артистов мира музыкального я имел терпение послушать только немногих, да и от тех бежал с тоской в душе, с растрепанными чувствами, с взволнованными страстями. «Сокрушительные вздохи, — писал когда-то Сребрянский, — не облегчают сердца», а я прибавлю, что все эти оперы, как порождение самых буйных и беспокойных страстей поднимают в душе такую бурю, что не знаешь, куда и деваться. Ну их совсем! И говорить не хочу о всех этих корифеях современной музыкальности, даже и тебя прошу забыть, что я слышал некоторых из них, или, по крайней мере, не вспоминать более и более об этом.

Ты, бывало, трунил и подсмеивался надо мной, когда я, вопреки восторженным твоим возгласам о методе какой-либо доморощенной Виардо или горловом завывании самоучки — Тамберлика, со своей стороны начинал выхвалять тебе церковное наше пение, действительно возносящее дух наш на какую-то высоту светлую и божественную и растворяющее помыслы умилением и сокрушением покаянным; ты называл меня отсталым, односторонним, фанатиком и еще чем-то, право, не помню: но я, мой милый, и здесь остался при тех же убеждениях, какие имел тогда, когда слушал прекрасное пение академического *двухвекового* хора. Недавно довелось мне прослушать в Исаакиевском соборе трио: *архангельский глас*, исполненное басом и великолепнейшими двумя тенорами. Я не устоял и пал на колени; слезы сами собою катились из глаз моих, а на душе стало так светло, так грустно-отрадно, что сказать не могу… Вот это так пение! Чуешь сердцем, что поет не волынка и не *сопель*, а человек, *умаленный малым чим от ангел*, достойный истолкователь тех звуков, которыми совоздыхает с нами вся природа, *чающая своего избавления*. Но… увы! И здесь, в центре мира музыкального, в нашей северной Пальмире редко выдаются эти мгновения… Да, мой друг, и над церковным нашим пением прошел тот досадный уровень западной формалистики, который многое обезличил, многое обесхарактерил, многое довел до ненужной фразистики, и все от того, что затянул

нашу свободную, небесную музыку в узкую одежду западного контрапункта.

Ты весьма благосклонно называешь меня знатоком музыки, — спасибо. Оно хоть я и не присяжный знаток ее, а действительно понимаю и знаю довольно; поэтому-то и надеюсь, что никто не запретит мне сметь свое суждение иметь об этом предмете, насколько он касается нашего церковного благолепия; грешный человек, — но как-то усерднее и теплее молитва моя, когда ей помогает стройное, благоговейное пение; тогда, словно на крыльях, уносится душа моя в тот мир, где слышится песнь апокалипсических старцев. Пусть осудят меня за это дошедшие до высокой степени самоуглубления; я как человек внешний с покорностью приму это осуждение, но все-таки не откажусь от моих убеждений, потому что они укоренились в душе моей с самых ранних лет моего детства.

Во всех петербургских церквах, где существуют певческие хоры, пение доведено до строжайшего единообразия. Ты можешь быть совершенно уверен, что то же самое услышишь и от придворного хора, и от митрополитского, и от исакиевского, и от измайловского, и от почтамптского, и от преображенского, и от знаменского, и от казанского, и даже от убогого из убогих — вознесенского, — все они поют по одним нотам и даже по одному камертону. Даже провинциальные хоры, являющиеся по временам в столицу, долгом свои считают впадать в этот водоворот однообразия и сухой формальности. Оно, конечно, в бюрократическом отношении это очень похвально, но в церковном… как бы это сказать… раболепно, что ли. Посмотри на пруд, который не освежается притоком чистых вод, — что с ним делается? Покрывается плесенью, загнивает и портится. Так точно случилось и с нашим церковным пением. Когда-то очень давно Бортнянский, не посоветовавшись, как бы следовало, с нашими октоихами и обиходами, сочинил свое пение и пустил в Русь Православную. Неохотно, однако ж, приняла Русь это пение; некоторые дирижеры провинциальных хоров принялись разнообразить его тоже *своими сочинениями*; Дехтяревы, Пичугины, Алейниковы, Давыдовы и многое множество других доморощеных композиторов понатворили из церковных песней и псалмов св. Давида разных опереток и совсем обезобразили церковную музыку. Стало быть, одна крайность вызвала другую. Пришлось обуздать подобное авиронство формальным запрещением; но дело от этого нисколько не выиграло, потому что не вздумали в ту пору обратиться к оживлению нашего форменного пения теми мелодиями, которые в свежести и целости сохранялись в наших древних обителях, в городах старинных, даже по селам и деревням. Как драгоценной находке, обрадовалась благочестивая Русь переложениям протоиерея Турчанинова [1] и запела их с любовью, ибо слухом услышала в них что-то близкое ей, что-то родное, властно двигающее волю и согревающее сердце.

Отрадно становится мне, когда вспомню пение, например, в Киево-Печерской Лавре. Вот куда бы должны стремиться наши церковные композиторы; вот бы где изучать им тайны мелодии, которой недостает в их выровненных и выглаженных произведениях! А впрочем, и тут беда с этими магистрами музыкальными! Сейчас начнут укладывать песнь церковную на прокрустово ложе своего контрапункта. Что им за дело до того, что такое-то пение нравится люду православному! *Им* не нравится — вот что главное, и вот они, что окажется им длинным, урежут, что коротким — вытянут, и таким мастерством из прекрасного и стройного организма сделают какое-то чучело безголовое и безногое. Недалеко заходя, мы с тобой в Киеве не раз слышали, стоя на коленях, дивную музыку *славословия великого* на всенощном бдении; что же, попало оно к нам и в северную нашу Пальмиру; подняли его, братец ты мой, на рожны, принялись кромсать и теребить и сделали из него Бог весть что такое. Я почти заплакал, когда услышал эту дивную песнь в искаженном виде. А *херувимския* Бортнянского, с их солами и прыганьем в *яко да царя*, неужто лучше, например, киево-лаврской херувимской, которую, хоть и не совсем удачно, переложил покойный архимандрит Иосиф (Познышев) [2]? А *Господи помилуй* тройное, в прах повергающее молящегося, может ли сравниться с этим речитативным

пением, которым столько лет угощают нас всероссийские хоры? А стихиры на *Господи воззвах*, поемые в навечерие Успения Богоматери, — может ли с ними сравниться какой-нибудь концерт на манер итальянский? Но всего для меня обидней слышать в Питере пение высоких гимнов: *Свете тихий*, Величание Пресвятой Богородице, *От юности моея* и *Символа Веры*. Первое, второе и третье обыкновенно отделывают скороговоркой, в которой не разберешь ни слова; а третий вопиют по нотам Березовского [3] — этого раболепного подражателя потемкинскому слуге сеньору Сарти [4]. Бог знает что такое!.. Верующий желает слышать и повторять за поющими исповедание Веры православной «тихо, не борзяся»; а его поднимают на разные модуляции, переходы из тона в тон и нелепые выклички. Не похвалю я и пение: *Милость мира жертву*, ни на йоту не умиляющее душу. Помню, как молилось здешнее народоселение, когда был тут с высокопреосвященнейшим митрополитом ваш скудный хор, исполнявший этот истинно ангельский гимн по самому простому, общеупотребительному в наших селах и деревнях напеву; помню, с каким восторгом встретило благочестивое общество пение канона *Волною морскою* в переложении г. Лавинова, сохранившем, так сказать, весь букет оригинала, — и что ж, никто из контрапунктистов не обратил на это должного внимания, даже иные как будто огорчились таким ужасным нарушением их бездушного однообразия. Да, друг мой, пока наши знатоки церковной музыки не обратятся к живым источникам напевов, остающихся в древних наших обителях, пока не оставят они заказной форменности, занесенной к нам из-за моря, до тех пор пение наше не воскреснет, не заставит всецело биться сердце православного отрадным трепетом. Вопрос, конечно, трудный, — но, невзирая на это, возможный к разрешению; стоит только взяться за дело не с верою в свои артистические приемы, а с благоговением и уважением к малейшей нотке, к незаметным изменениям тона; стоит бросить эти черточки и разграничения тактами и численными измерениями мотивов[297].

Письмо это, против моего ожидания, оказалось слишком длинным: но я еще не высказался и в половину. Больно, друг мой, когда посмотришь на эти чудные ансамбли превосходных голосов, собранных со всей Руси и осужденных тянуть одну и ту же ноту, поросшую плесенью. Дерзаем надеяться, что при теперешнем оживлении всего, и пение церковное явится в первобытном своем благолепии, и из обителей наших польются звуки, которые покамест у нас

…ходят темной сказкой,
Словно в воздухе прозрачном
Обольстительные сны.

Заметки любителя церковного пения

Октября… дня 186… года.

Нельзя и сказать, как не приятен, показался мне когда-то указ 1826 года, воспрещающий пение концертов в храме Божием! Мне думалось в ту пору, что им положительно нарушается торжественность и благолепие церковного богослужения, а наши певческие хоры низводятся на степень простых певцов, обязанных строго держаться обиходной буквы и не позволять себе свободного излияния религиозных чувств. Мысль эта путешествовала со мною по всей России, и я без ума был рад, когда встречал хоры, которые, вопреки указу, распевали во время литургий, вместо причастных, сантиментальные концерты Бортнянского, или крикливые оперетки Дехтярева [1], или, наконец, композиции Львова со всеми аксессуарами театральной вокализации. Много нужно было времени, чтоб отрезвиться от такого странного опьянения; далеко глубже надо было вникнуть в характер единственно потребного Церкви православной пения, чтобы понять свое жалкое заблуждение и убедиться, что неприятно подействовавший на меня указ был плодом того глубоко прочувствованного правила, что *петь Богу* нужно

разумно.

Более десяти лет не слышал я в церкви концертов, и убеждение, что так оно и должно быть, укрепилось во мне тверже и глубже. Не доставало еще одного доказательства, как пишется в старинных логиках, — ab absurdo. Представилось и такое доказательство: в день Покрова Пресвятыя Богородицы в одной из столичных церквей сборный хор, вместо причастна, запел концерт Бортнянского: *Восхвалю имя Бога моего.* С детства знакомые звуки приятно защекотали мое ухо, шевельнулось даже в груди какое-то ласкающее чувство при исполнении первого мелодического отдела этой прекрасной композиции; но когда хор хватил: *и возвеличу Его во хвалении,* — очарование исчезло, и я с негодованием ушел в алтарь, чтоб быть подальше от этого рева басов, крика теноров и альтов и визготни дискантов. Несоответственность пения тому, что в эти великие минуты совершалось во святая святых; неуместное развлечение, предложенное певцами благочестивым прихожанам; нерусская мелодия, святотатственно внесенная в храм Божий, — все это легло на душу мою самою неприятною изгарью, и думы, одна другой раздражительнее, волновали меня до тех пор, пока отдернулась церковная завеса и прекратился гомон разыгравшегося хора.

Нет, теперь еще более убедился я, что пение концертов, какого бы они ни были достоинства, не может и не должно быть допускаемо в православных храмах. Они не собирают в себя внимательного слушателя, а рассеивают его; они не возвышают молитвенного чувства, а парализуют, оземленяют, убивают его, — и не будь после этого строгого возглашения диакона: *со страхом Божиим и верою приступите,* — человек вышел бы из церкви, как из филармонической залы, если еще не хуже того...

Более чем странною кажется мне после этого статья *О влиянии юго-западных церковных братств на церковное пение в России,* помещенная в «Православном собеседнике» за текущий год, в сентябрьской книжке. Автор, как заметно, хорошо изучил дело, но как сторонник вычурного пения, занесенного к нам с Запада, он во что бы то ни стало, хочет доказать, что наша церковная музыка с того только времени получила свое изящество, когда «гармонический строй открыл простор для свободного полета южнорусской мелодии». Он вне себя от удовольствия, что «сами музыкальные учители южно-руссов, латиняне, слушая их пение, приходили в благоговейный восторг, и торжественно признавались, что у «греков» гораздо святее и превосходнее чествуется Бог, нежели *даже* «у римлян». Странно, как это автору не пришла в эту пору на память басенка Крылова: «Кукушка и петух». Он тотчас понял бы тогда,

За что так, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха:
За то, что хвалит он кукушку.

Почтенный любитель итальянского пения до того наконец зарапортовался, что всех, не соглашающихся с его мнением, пожаловал в раскольники. Опровергнуть его доводы стоило бы не большего труда, но я на этот раз не пишу диссертации, а напомню им же самим приведенные слова препод. Максима Исповедника: «Сладость божественных песнопений служит образом сладости божественных благ, возбуждающей душу к чистой и блаженной любви к Богу и внушающей сильнейшее отвращение ко греху». Оттого-то никак нельзя согласиться с автором, что лишь бы было истинное понимание пения, лишь бы не услаждало оно одного внешнего слуха, а то будь, изволите видеть, оно одноголосное или многогласное, демественное или итальянское, — различия в существе дела никакого не будет. Нет, почтенный муж, с таким убеждением немудрено вместо храма Божьего забежать и в оперу, так как и оперное пение не услаждает одного внешнего слуха, — но возбуждает ли оно душу к чистой и блаженной любви к Богу, внушает ли сильнейшее отвращение к греху, — это еще

вопрос. Согласитесь, что композиции Рачинских, Березовских, Галуппи [2], Сартиев, Дехтяревых и даже Бортнянских и Львовых не далеко ушли от сочинений Беллини, Мейербееров, Верди, по крайней мере, по характеру своему, и, следовательно, приписывать им силу, вдохновляющую чистейшие помыслы, чересчур уж решительно и отважно.

* * *

Августа… дня 186… года.

Не то, так другое. Сегодня на всенощной, с начала до конца, дразнил меня какой-то бас, находившийся, как заметно, в подпитии. Во время ектении он, после каждого *Господи помилуй*, тянул нижнюю октаву ровно до следующего возглашения диакона. Хорошо еще, что и диакон-то непозволительно торопился, выговаривая ектению в продолжение пения хора, так что предстоящие могли слышать только окончания его возглашения и сами догадываться, о чем следует молиться, а то я и не знаю, что делал бы безобразник-октавист.

Все серьезно составленные хоры непременно имеют одного или двух басов, имеющих на своей ответственности нижнюю октаву. В известных местах хорового пения эти голоса, действительно, производят эффект и способствуют полноте гармонии, но только тогда, когда они не своевольничают и не обращают рычанья в собственную потеху и в удовольствие ротозеев.

По-моему, дирижеры хоров должны строго смотреть за этим и не позволять октавистам тянуть свою ноту долго по окончании пения целым хором. Это всякий раз напоминает мне ту гоголевскую дудку, которая в шарманке Ноздрева никак не хотела уняться и продолжала выть независимо от своих товарищей. А согласитесь, что представление подобного рода сравнений весьма неприлично в храме Божием, и тот, кто наводит на него, грешит и за себя и за других.

А вот и еще в высшей степени неприятная вещь — это неправильное произношение слов певцами. В петербургском почтамтском хоре есть какой-то бас самого терзательного свойства и, к удивлению, составляющий, как видно, замечательную единицу. Бог бы с ним, если б он пел, как мать-природа его одарила, но невыносимо слышать, когда он коверкает слова, и вместо, например: *Тебе поем, Тебе благословим,* произносит: «тебе пеем, тебе блегеславем». До сих пор мерещится мне, как он в известном задостойнике Турчанинова: *Рождество твое нетленно явися,* хватил: «Бег из беке твеею», — я не мог долее оставаться в церкви и ушел, от души негодуя на безобразника-певца. «Чего регент-то смотрит?» — думал я. Или у него вместо уха одни только уши!..

Так или нет?

Надо вам сказать, добрые мои читатели, что я из самых односторонних почитателей таких великих художников, как Брюллов [1], Иванов, Бруни [2], Щебуев [3] и tutti guanti. Когда они напишут что-нибудь вроде «Последний день Помпеи» или «Именины дьячка», — я до икоты восхищаюсь произведениями их кисти и не отстаю от других в восписании им похвал и панегириков: но коль скоро они избирают сюжетом для своей кисти что-либо священное, решаются наделять наши храмы православные картинами собственного сочинения, я становлюсь суров и строг к ним до ригоризма. Передо мною тотчас встают целомудренные и вечно-святые требования Церкви Православной, и я с негодованием отношусь иногда к художнику, намалевавшему какую-нибудь мученицу в изысканном костюме с перетянутою талией или мученика с розовыми щеками и изящными усиками. Если при взгляде на такое изображение и поднимается рука на крестное знамение, то непременно в ту ж пору повторяются в уме слова молитвы Господней: *Не введи нас во искушение, но избави нас от*

лукаваго.

Недавно пришлось мне разговориться об этом предмете с одним господином, который, нечего сказать, понимает несколько толк в живописи, но, к сожалению, безусловно, преклоняется пред произведениями новейшей кисти. Поводом к разговору послужила копия с картины Брюллова, на которой изображен якобы умерший Спаситель.

— Ну, посмотрите, — сказал я, — неужели это образ?

— А что ж, по-вашему?– с едкою улыбкой спросил мой собеседник.

— Картина, и притом весьма неудачная по композиции. Если бы это было просто изображение спящего человека, — я поглядел бы на нее — и только: но коль скоро я знаю мысль и намерение художника, то отношусь уже к его произведению с невольною досадой и негодованием. Разве подобную вещь можно поставить, не говорю — в храме Божием, но даже в каком-либо благочестивом доме?

— Почему же нет?

— Да хоть бы потому, чтоб не возбудить соблазна. Подведите к этой картине простого мужичка или даже хорошо выдержанного и развитого по своему возрасту ребенка, — они непременно спросят: «Что это такое? кто тут представлен?» — А отчего? Оттого, что это и не икона, и не картина, а так, какой-то межеумок.

— А что ж такое, по-вашему, икона?

— Икона есть изображение или известного лица, или известного события из Истории Церкви, в котором художество строго подчинено требованиям чувства религиозного, в котором нет ни одной черты страстной, вопиющей, которое не привязывает к себе много внимания, а отторгает его от всего земного и возносит горе, к Иерусалиму небесному, где пребывают святые молитвенники за нас, грешных. Выражение лиц, позы, самые краски и сочетание их должны непременно служить этой цели и заставить меня забыть, что святой, которому я поклоняюсь, был подобострастный мне человек.

— И, однако ж, все святые были люди, подобострастные нам.

— Были, но не есть, и мы их чтим не за то, что они были подобострастны нам, а за то, что благодатию Божиею стали выше всего, что составляет несчастную принадлежность нашей страстной природы. Вот потому-то я и хочу в изображении их видеть не мою страстную природу, а ту, которая остается теперь при них в той стране, где нет ничего похожего на условия нашей обыденной жизни.

— Да разве это возможно?

— Не только возможно, но и должно. Стоит только выучиться иконописать, а не живописать. Образцов для этого довольно и на востоке, и даже на западе. Не говоря о редких экземплярах икон кисти знаменитого Панселина [4], — присмотритесь к древним фрескам, открытым, например, в Киево-софийском соборе: в них нет ничего изысканного, — линии прямые, контуры строгие, выражение лиц бесстрастное, глубокое, краски отнюдь не кричат, тоны не кокетничают; а между тем вы с благоговением останавливаетесь пред изображением, например, святителя Николая или св. мученицы Пелагии. В одном из приделов этого собора весь иконостас сделан по образцу древних фресков, и вы вообразить себе не можете, как это хорошо и боголепно.

— Уж не Солнцев ли писал там?

— Да, Солнцев.

— Помилуйте, да он вовсе не понимает живописи!

— Бруниевской или Шебуевской, — да и то не то, что не понимает, а не принимает как человек истинно православный и отлично понимающий дело иконописное.

— Меня, право, удивляет, что вы так авторитетно судите о живописи: ведь вы не умеете рисовать?

— Не умею.

— Как же вы можете судить, что хорошо и что дурно?

— А позвольте вас спросить, — искусство живописи входит в науку эстетики или нет? Конечно, входит. Законов же эстетики не чужд и тот, кто не изучал ее как науку, ибо эти законы таятся в природе всякого человека. Ведь вот и вы, по вашему собственному признанию, не умеете отличить в музыке такта от полтакта, а часто являетесь судьей церковно-музыкальных пьес, и хоть не всегда, а таки попадаете в такт. Так и я позволяю себе судить о живописи и, руководясь чувством религиозным, которое есть в высшей степени чувство эстетическое, отдаю полное преимущество в деле иконописания Солнцеву [5] пред всеми этими Бруни, Ивановыми, Шебуевыми и безобразниками — Ге.

— Для вас, пожалуй, и суздальская мазня больше значит, чем живопись нынешней школы.

— Если хотите, то чуть ли не больше. Я поясню вам это сравнением. Поет в церкви неискусный дьячок; я слушаю его, сам пою мысленно вместе с ним, дополняя недостающие в его пении тоны, и молюсь всем существом своим, ничем не развлекаемый и спокойный. Пусть же теперь, вместо этого дьячка, запоет хор певцов итальянской оперы по всем правилам своего искусства, — сейчас молитва останется у меня на заднем плане, и я уйду из храма Божия, святотатственно обращенного в филармоническую залу. Так точно и в иконописи. Простая икона, написанная, конечно, без вопиющего оскорбления эстетического вкуса, хоть бы даже суздальской работы, действует на меня в тысячу раз благотворнее, чем такая, как вот эта, например, картина. Там для меня нет ничего ни прелестного, ни прельщающего; а тут все — плоть и кровь или, точнее, глыба мяса и клубок жил и нервов. Кстати, замечу вам: укажите мне хоть одну икону новейшей кисти, которая была бы прославлена благодатным даром чудотворения? Рафаэлевские мадонны, рубенсовские изображения святых, леонардода-винчиевские группы служат лишь предметом праздного любопытства. Надо быть восторженным поэтом, чтобы, подобно Жуковскому, видеть в них что-то неземное, божественное. Глядя, например, на Мадонну Рафаэля [6] , я никак не могу оторвать моей мысли от известной Форнарины; согласитесь, что суздалец никак не поведет меня на такие кощунственные мысли и много-много, если заставит подосадовать на неискусное изображение какой-либо части лица или неверность линий и очертаний.

— Раскольник!

— Кто?.. Не вы ли, господа поклонники новейшей живописи? Раскол является после правого верования, а вы со своими взглядами на иконопись явились гораздо позже Панселинов; стало быть, вы — раскольники, а не мы — люди, держащиеся во всем свято-отеческих преданий. Мне сказывали, что какой-то ревнитель благочестия прислал на Синай несколько икон кисти наших модных художников или, по крайней мере, учеников их, и что же? — синайские отцы не только

не выставили их в храме, но не дали им места и в ризнице, а сложили на чердаке. Наших иконописцев или, правильнее, живописцев губит подражательность Западу да незнание церковной истории, православной археологии и священной традистики. У нас, например, принята всею Православною Церковью икона Успения Божией Матери; а нынешние мазилки, в подражание католикам, изображают восшествие на небо Пресвятыя Богородицы. У нас св. апостол Петр всегда изображался с хартией в руке; а католики приказали нам дать ему в руки ключи...

— Что вы, что вы! Бог с вами!

— Не пугайтесь, а прочитайте то, что пишут по этому поводу в «Киевских епархиальных ведомостях». Извольте-ка прослушать.

«С давних времен не только в Малороссии, но и в Великороссии вошло в обычай изображать апостола Петра с ключами в руках. Основание для сего, без сомнения, можно указывать в словах Иисуса Христа, обращенных к апостолу Петру: *и дам ти ключи царства небесного.* Но как этим обещана была Петру только та власть отпускать грехи, которая, по воскресении, Иисусом Христом дана ему вместе с прочими апостолами, то можно спросить, почему только один Петр изображается с ключами как символом этой власти? Почему не изображаются с ключами прочие апостолы, имевшие ту же власть от Господа? Конечно, можно бы и безразлично смотреть на эти вопросы, если бы они были безразличны для Церкви и народа. Но известно, что на ключах Петра в Риме вырос особый догмат, не признаваемый Православною Церковью и противоречащий как Св. Писанию, так и духу Христовой Церкви. Нам известно, что и народ в юго-западной России и на севере ее небезразлично относится к такому изображению апостола Петра. На основании, без сомнения, этого изображения наши народные рассказчики, поэты, художники и иконописцы представляют апостола Петра единственным охранителем дверей рая, вводящим туда праведных и не допускающим входа грешникам, а потому, естественно, народ составляет себе понятие о Петре как апостоле, облеченном от Бога особенным пред прочими апостолами доверием и особым полномочием. Но из древней ли христианской Церкви ведет свое начало обычай изображать апостола Петра с ключами? На Афоне подобных икон нет; не встречаются ключи на древних иконах апостола Петра и в других местах Востока. На фресковых изображениях древнейших киевских церквей, Спаса на Берестове и Киево-софийского собора, апостол Петр *без ключей,* с хартией в руке. Итак, мы вправе сказать, что обычай изображать апостола Петра с ключами в руке есть обычай позднейший, вошедший к нам после XI века, а может быть и гораздо позже, занесенный к нам с Запада; и потому не можем не пожелать, чтобы этот обычай, благоприятствующий римскому догмату о главенстве апостола Петра и основанном на нем главенстве папы, был отменен в русской Церкви. Истина и благо Церкви Православной требуют не только на будущее время не допускать в церквах подобных изображений, но исправить в православном духе и существующие изображения. Весьма правильно было бы изобразить апостола Петра, по древнему обычаю, с хартией, на которой написаны его слова: *Симон Петр, раб и посланник Иисус Христов, равночестную с нами получившим веру в правде Бога нашего и Спаса Иисуса Христа*[298]. Как противоположно такое изображение изображению с ключами римскими! Здесь — апостольское смирение; там — гордыня и превозношение»[299].

Собеседник мой молчал, потому что надобно было молчать ввиду таких неотразимых, фактических доказательств. Я продолжал.

— Вся беда от того, что мы до сих пор не имеем у себя цензуры собственно для икон. Всякая книжонка, брошюра, даже лубочная картинка подвергаются предварительному просмотру и дозволению выйти в свет; а икона, которая, в сущности, несравненно важнее всего, что мы пишем и печатаем, которая составляет предмет благоговейного поклонения, является

бесконтрольно и часто служит явным соблазном для верующих. А будь-ка у нас контроль по этой части, тогда мы не видели бы ни суздальского безобразия, ни академических *прелестей.*

— Да как это сделать-то?

Очень просто: запретить продажу икон по лавкам, рынкам и базарам и учредить ее собственно при церквах. Пусть при всякой городской и сельской церкви будут иконы, приобретенные священником на церковные деньги от мастеров, и пусть желающие приобретают их с известным процентом — и вы увидите, что дело пойдет, как лучше быть нельзя. Уж как себе хотите, а священник, каков бы там он ни был, гораздо более суздальцев и городских маляров, более даже, чем иные прославленные художники, понимает значение и характер иконы и, конечно, не выберет ни «Николу в рукавицах», ни нелепое подражание рафаэлевской Мадонне. В селах и деревнях мера эта не только уместна, но крайне необходима. Случится, например, мужичку безотлагательная надобность приобрести икону — ну, сына там отпускает в рекруты, дочь отдает замуж или провожает кого-либо из своих близких на тот свет — где взять икону? Ехать в город, который отстоит от иной деревни верст на сто и более, убыточно и несподручно; ожидать какого-нибудь разносчика, — да скоро ли его дождешься? А будь-ка при церкви иконы, — пошел к батюшке, заплатил по положению, тут же попросил освятить полученную икону — и дело с концом.

— Но не будет ли это походить на монополию?

— А хоть бы и походило, так что ж в этом дурного? Ведь это не то, что покойный откуп, от которого жирело и ширилось несколько особей и разорялись да гибли сотни тысяч. Всякому прихожанину будет очень хорошо известно, что прибыток от приобретенной им иконы обращается на поддержку и украшение церкви, на улучшение материального быта его отцов духовных, на воспитание детей священно-церковно-служительских; и если теперь, когда дерут с него иногда Бог знает, за что двойную и тройную цену, он не ропщет, то, без сомнения, не скажет ни слова, когда ему дадут необходимую вещь по известной таксе, без всякого торга и вымогательства. Тогда, если хотите, и самая торговля иконами, которая так неприятно звучит в ушах благочестивого человека, потеряет свой рыночный характер, а будет простым обменом одной вещи на другую — дара кесарева на дар Божий.

— Навряд ли согласятся с вами те, кому о сем ведать надлежит.

— А мне какая надобность — согласятся или не согласятся! Мое дело сказать, подать мысль, а там — пусть как себе знают.

Не помню, чем кончилась беседа наша, но только последняя мысль залегла у меня на душе. Право, не мешало бы принять ее к сведению и по должном соображении — к исполнению[300].

Одному из многих (Письмо к дирижеру одного из столичных хоров)

Ах, как хорошо, как хорошо пели вчера, в Великую Пятницу, под вашею дирекцией, всеми ожидаемую, всеми любимую песнь: *Благообразный Иосиф!* Я даже забыл обо всем, что окружало меня в эту великую минуту; мысль моя унеслась далеко-далеко из храма Божия; как бы внезапно, порывисто схватили ее эти баховские аккорды, эти нежащие сочетания звуков, и помчали вместе с собою туда, где все музы да грации, где молитвенному чувству вовсе нет места. «Прелесть что такое!» — шептали друг другу внимающие этому очаровательному пению. Все были в каком-то сладостном упоении, и я с нетерпением ожидал окончания богослужения, чтобы пожать вам руку и поздравить с таким блистательным успехом.

Но вдруг взоры мои упали на плащаницу, изображавшую гроб Спасителя, и мне стало совестно за восторг мой и грустно за вас, так неуместно оторвавшего молящийся народ от единого на потребу настроения. Я пал ниц перед Сошедшим с Креста со словом раскаяния и гневно осудил себя за бессмысленное увлечение. Как духа искусителя отгонял я от себя звуки, еще ходившие вокруг меня каким-то неслышимым эхом, и простой дьячок, запевший в эту минуту *Благообразный Иосиф* давно знакомым сердцу напевом, показался бы мне Романом-сладкопевцем. Почтеннейший! Зачем вы это сделали? Зачем внесли чуждый огнь во святая святых, когда в горниле Церкви Православной есть свой огонь, тихо и благодатно размягчающий душу до сладких слез и глубоких воздыханий? Не уж-то вы, столь опытный и столь известный знаток церковной музыки, убеждены, что великолепно исполненная под вашею дирекцией композиция досужего маэстро лучше и пристойнее для такого великого момента, чем тот напев, который достался нам от древних времен и сросся с нашею душою с самого нашего детства? Да соберите всех Бахов, Палестрин [1], Бетховенов, Моцартов; пусть встанут Глинки [2] , Березовские, Бортнянские — все они вместе не напишут ни одной нотки, похожей на ту, которая так властно движет сердце многомиллионного населения Руси православной! Будь пропетая вашим хором пьеса исполнена в какой-нибудь филармонической зале, — мы единодушно аплодировали бы и вам, и управляемой вами капелле, — но в храме Божием, пред Гробом умершего за нас Спасителя, в минуту всеобщего настроения к тихой и умиленной молитве — нет, это такая аномалия, с которою не помирится ни один православный человек! Нет, мы должны тщательно беречь те бриллианты, которые переданы нам нашими благочестивыми и мудрыми предками, а не заменять их стразами и тяжеловесами новейшего изобретения. Это неблагодарность, это грех!

Вы — наши отцы и командиры, но не забывайте, что мы — ваши судьи, Вы — учители ваших послушных певцев, но публика — не ученик ваш. Конечно, публике этой, en massee, далеко до ваших познаний; она незнакома ни с генерал-басом, ни с контрапунктом, ни даже с музыкальной грамматикой; но у нее есть чутье, есть внутренний слух, которым она слышит и понимает гораздо яснее самих маэстро, что идет и что никуда не годится в деле православного богослужения. Она снисходительнее относится к дьячковской разладице, чем к сантиментальным, разнеживающим диссонансам, к которым так любят прибегать иные композиторы, с пренебрежением относящиеся к древнерусским церковным напевам. Не гневайтесь же, если из какого-нибудь уголка принесется к вам шепот неодобрения и досады. Она вступается за самое священное дело, за свое молитвенное расположение, которое вы так неосторожно нарушили; следовательно, ее голос достоин большего внимания и уважения, чем прозорливый укор какого-нибудь дилетанта, упрекающего публику в невежестве. Не *человек субботы ради, а суббота ради человека;* не публика для певцов, а певцы для публики, — ну, так пусть же они служат ей честно и необлыжно. А то посмотрите, — ждет благочестивый человек драгоценных песней церковных, например, *Свете тихий* или *Величит душа моя Господа,* — что же, способствуют ли молитвенному настроению наши даже пресловутые хоры? Нисколько! Первую песнь, высокую и многознаменательную по своему характеру, они отбарабанят вам сухим речитативом, вторую отмахают скороговоркой, — и молящийся с неудовольствием, видит, что он напрасно становился на колени, напрасно ждал вдохновляющего его пения. А оно так знакомо ему; где-то и когда-то он слышал его...

Нет, господа дирижеры и композиторы! Не нужно нам измышлений ваших. Дайте нам то, что хранится целым и невредимым в сокровищнице Церкви Православной; дайте в том строгом и внушающем благоговение виде, который не стерт веками и горит, как удар кисти на неподражаемых иконах Панселина. Пишите, что хотите, но не вносите ваших композиций в храм Божий: для этого есть филармонические залы, даются так называемые духовные концерты. Туда все эти рабские подражания западным маэстро! Для всего такого там и награда полагается — звучные рукоплескания; а тут один и единственный должен быть

стимул: *да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою!..*

Нам вторят

Припомните, читатели, что писали мы в 1865 году по поводу духовных концертов, ежегодно даваемых нашей придворной капеллией[301]. Слово в слово повторяют теперь то же самое в корреспонденции из Москвы. Странно было бы отчаиваться в том, чтобы единодушное заявление обеих столиц не возбудило от сна дирижеров, спящих на мягком ложе рутины, и не осмыслило бы музыкальные праздники, ежегодно учреждаемые в Москве и Петербурге. «Признаюсь откровенно, — пишет московский корреспондент газеты «Голос», — состав не только прежних, но и последнего концерта неудовлетворителен. Немножко из Бортнянского, кое-что из Турчанинова... нет, я желал бы начертать самый широкий план для наших духовных концертов; я желал бы, чтоб они представляли историческую картину нашего духовного пения. Какой богатый, неисчерпаемый, неиссякаемый материал представляют создания наших композиторов, и какой родник истинного наслаждения могли бы доставить эти исторические концерты! Неужели всем наизусть известные и всем надоевшие оперы могут доставить более наслаждения, нежели свежее, девственное, могучее, хоровое исполнение дорогих русскому сердцу созданий? Не думаю. Вероятно, тысячи людей не только согласятся со мною, но и одобрят мою мысль»[302]. Корреспондент излагает, потом краткую историю развития в России духовно-церковной музыки и после биографий Березовского и Бортнянского переходит к целой серии композиторов, талантов замечательных и своеобразных, но, к сожалению, неизвестных большинству публики. «Назову, — говорит он, — *Дегтерева,* умершего в 1813 году, оказавшего нашему церковному пению незабвенные услуги исправлением литургии и всенощной, — *Львова,* который в капелле заступил место Бортнянского и добросовестно издал его сочинения, — *Варламова,* очаровательного мелодиста, о. *Виктора,* иеромонаха Симоновского монастыря, создавшего совершенно своеобразный стиль — тенорово-басовое пение унисоном, — о. *Петра Турчанинова*, у которого столько врагов, хотя никто из этих врагов не станет отвергать того, что о. Турчанинов — талант могучий и сильный; наконец назову *Наумова, Давыдова, Козловского, Грибовича, Веделя, Макарова, Васильева, Есаулова, Маршировского, Мясоедова, Каченовского, Архангельского, Кузовникова,* епископа *Моисея,* архимандрита *Феофана, Багрецова*[303]. Спрашивается: за исключением присных любителей, многим ли известны прекрасные создания этих композиторов?»

Повторяем, — совершенно то же самое говорили и мы ровно три года тому назад: но голос наш оставался и, конечно, останется еще надолго гласом вопиющего в пустыни, еще не перестанут угощать нас мычаньем каких-нибудь отрывков из опер или исполнением пьес, не имеющих никакого достоинства в церковно-художественном отношении. Что бы это значило? Не может быть, чтобы такие заявления были отрицаемы из одного лишь ребяческого упорства поставить на своем. Нам кажется, что наши столичные дирижеры останавливаются больше перед трудностью разрешения этой задачи. В самом деле, много ли, да и есть ли хоть один из огромного состава капеллий петербургских и московских, который основательно был бы знаком с историей церковной музыки в России? Написать какой-нибудь *причастен* или протянуть по заученным и нахватанным оттуда и отсюда аккордам какой-нибудь стих церковный — на это достанет сил и уменья у каждого: но стать перед публикой в качестве комментатора предлагаемой пьесы, указать значение и характер ее в области церковной музыки — это статья иная. А между тем как интересны были бы духовные концерты, если бы пред исполнением пьесы нам сообщали сведения о жизни и деятельности того или другого композитора, указывали бы состояние искусства в данное время и разъясняли бы особенности в композициях известного маэстро! Публика выносила бы тогда очень многое с концерта; усладив слух свой, она дополнила бы и запас своих сведений, и имена давно скончавшихся тружеников перестали бы быть чуждыми ей, и поняла бы она тогда, что и у нас были свои

Палестрины, Бахи, Гайдны, Гендели и Моцарты.

Будем, впрочем, надеяться, что хоть в этот раз учредители духовных концертов добросовестнее и разумнее отнесутся к своему делу и перестанут потчевать жаждущую публику жидким сиропцем из композиций или совершенно нам чуждых, или свидетельствующих лишь о бесталаннности и смертной охоте наших теперешних композиторов писать и сочинять.

Памяти Бортнянского

28 сентября истекшего года совершилось ровно 50 лет со дня кончины одного из гениальнейших русских людей, имя которого знакомо всей России от востока до запада, на севере и юге, который составил собою эпоху в истории нашего церковного пения и согнал с клиросов разных Керцелли, Галуппи, Сарти и всех других заезжих итальянцев, внесших, подобно Дафану и Авирону, чуждый огнь во святая святых. Трудно понять, как это в наше многоохотное до юбилеев время забыли пропеть «вечную память» истинному рабу Божию и труженику Церкви Православной, *Димитрию Степановичу Бортнянскому*, в день блаженной полувековой его кончины. Тут что-то недаром: наш знаменитый композитор не чесал русского слуха шумными операми и страстными ариями, а возносил ум и сердце своих слушателей в молитвенных воздыханиях к Богу, был, по выражению одного из почитателей его, «духовной музыки поэтом», чего, как известно, не жалует мир грешный и прелюбодейный. Помянем же мы нашего гениального творца церковных песнопений хоть и поздним, но неизменно благодарным словом.

Почивший полвека тому директор придворной певческой капелии, действительный статский советник, Димитрий Степанович Бортнянский родился 1751 года в г. Глухове, Черниговской губернии, и по отличному голосу дисканта, семи лет от роду, взят был в придворный певческий хор. С детства обнаружившийся талант его к пению обратил на него внимание самой императрицы Елизаветы Петровны, которая поручила его знаменитому в то время придворному капельмейстеру Галуппи: но вскоре этот итальянец выехал из России в Венецию и Бортнянский остался без руководителя. Императрица не пожелала оставить такой талант без возделания и повелела семнадцатилетнего юношу отправить к тому же Галуппи в Венецию. Итальянец принялся за обработку своего питомца и повел его тою дорогою, которая была более ему знакома, Бортнянский под руководством своего наставника написал несколько опер, симфоний, сонат и других мелких пьес; но так как все это было лишь пробою пера и одною музыкальною практикой, то ни одно из упомянутых произведений юного композитора не уцелело для потомства и предано забвению.

Объехав Флоренцию, Болонью, Рим и Неаполь и познакомившись со всеми красотами музыки итальянской, Бортнянский в 1779 году возвратился в Россию уже с именем известного артиста. Державная благотворительница его повелела ему быть капельмейстером придворного церковного хора, а в 1796 году вверено было ему и самое управление придворною певческою капелией со званием директора.

Таким образом, Бортнянскому открылось обширное поприще, но вместе с тем и затруднения, значения которых, конечно, с первого раза и сам не мог он оценить. Вопервых, исполнителем гениальных его произведений был хор шумный, богатый отличными голосами: но в этом хоре верхние голоса, по правилам нашей Церкви, были исполняемы малолетними певчими, от которых невозможно было требовать сердечного, разумного выражения идеи; достоинство хора состояло тогда в громогласии, без одушевляющих оттенков и жизненной силы. Во-вторых, при исполнении пьес не могло быть никакого оркестра для восполнения хора; оставались одни обнаженные голоса, малейшая неверность которых по необходимости не могла не быть слишком чувствительною. В-третьих, придворное пение украшалось тогда разными

концертными аллюрами, а не служило молитвенным выражением благочестиво настроенного чувства. Бортнянский видел, что нашему церковному пению не достает простоты и теплоты сердечной, что оно походит более на западное, чем на православновосточное. Одолеть все это было тем труднее, что страсть к музыкальной вычурности и громозвучности сделалась общею всем знатокам и любителям церковного пения.

Но Бортнянский не убоялся никаких трудностей. Он заменил недостаток вокализации простотой чистых детских голосов, отсутствие вспомогательного оркестра силою и верностью хоров, концертный слог, отличавшийся вычурностью и музыкальною высокопарностью, обратил в слог простой, ясный, трогающий, исключительно приличный Церкви Православной. Тут гений Бортнянского явился в полном своем блеске. При изображении молитвенных слов на языке гармонии, Бортнянский всею могучестью своего таланта избегал таких сплетений аккордов, которые, кроме разнообразной звучности, не выражают ничего и сочиняются, собственно, для оказания пустой и бессодержательной учености композитора. Ни одной строгой фуги не допустил Бортнянский в своих священных песнопениях; нигде не развлекает он молящегося немыми звуками, ласкающим только слух и ничего не говорящими сердцу. Он сливает хор в одно господствующее чувство, в одну господствующую мысль, и, несмотря на то, что развитие темы идет посредством то тех, то других голосов, песнь его заключается всегда общим молитвенным единодушием. Ввиду у него была одна смиренная и теплая молитва, разогревающая сердце и часто извлекающая сладостные слезы. Бортнянский навсегда останется единственным образцом того редкого и высокого изящества, которое гармонией простых, не мудрствующих лукаво звуков возбуждает в молящемся теплое, святое чувство и возносит ум и сердце его к Богу. <…>

Далеко до звезды

Одна из великих заслуг гениального Бортнянского состоит в том, что он прогнал с наших клиросов итальянщину, разных этих Керцелли, Галуппи, Сарти, сделавших храмы православные кирхами и филармоническими залами и, насколько было то возможно в его время, приблизил так называемое партесное пение к пению, унаследованному нашей Церковью от греков и болгар. Конечно, дурную траву как ни выпалывай, она все-таки будет давать ростки. Разные Дехтяревы, Писаревы, Алейниковы, Лавиновы и другие доморощенные наши композиторы продолжали оглашать своды храмов православных итальянскими мелодиями. Для исполнения такого рода пьес у некоторых богачей-помещиков имелись артистки и даже допускался контр-бас[304]. Но скоро взглянули на это дело поразумнее и построже, и Бортнянский остался господином музыки церковной. Являлись, правда, подражатели ему — Березовские, Давыдовы и другие; но они уж не могли иметь успеха: при солнце звезды блекнут. Покойный Львов, в первые годы своего дирижерства, тоже написал несколько концертов в духе итальянском, с фугами, речитативами и другими музыкальными затеями: но они недолго продержались, и сам, талантливый впрочем, композитор увидел, что совершенно напрасно вносил потухший огонь елисаветинских Дафанов и екатерининских Авиронов во святая святых, и обратился к переложению обиходного пения, избрав для этого сотрудником своим одного из опытнейших учителей пения в придворной капелии. Известно, что гениальный Глинка, в последние годы своей жизни, приступил было к изучению наших ирмолоев и обиходов, почуяв в них неистощимый родник неслыханных еще мелодий, слегка тронутых протоиереем Турчаниновым в его переложениях херувимских песней, задостойников и некоторых стихир. Но, к сожалению, этому не суждено было осуществиться, и наше пение церковное осталось преимущественно при том, что завещано нам гениальным Бортнянским. Русское ухо чего-то требует, чего-то желает и ни за что не хочет расстаться с гимнами напевов древних. Вдохновенному пению, например, гимнов: *Благообразный Иосиф, Плотию уснув, Дева днесь,* оно внимает благоговейно и тогда, когда исполняют их хоры, и когда поет их один

дьячок. Предлагали чувству русскому свои композиции и Бортнянский, и Львов; но оно отвращалось и отвращается от них, требуя знакомого и движущего его напева.

Размышление это вызвано у нас заметкой «Церковного вестника» (органа святейшего всероссийского Синода то ж) по поводу предполагаемого «Сборника духовно-музыкальных пиэс, переложенных на три и на четыре женские голоса, г. Рожнова», ныне старшего учителя придворной капеллии. В «Сборник» этот, по словам «Органа-Вестника», войдут лучшие сочинения Бортнянского и *других* композиторов; но Турчанинов забыт или, точнее, намеренно оставлен. Не понимаем, за что такая немилость к человеку этих львовцев, так честно потрудившемуся на духовно-музыкальном поприще и давшему нам понять неподражаемую красоту древних церковных напевов. А уж что эти монополисты духовного пения не любят Турчанинова, так уж не любят. Вся Россия поет, например, превосходное переложение его на четыре голоса известной стихиры: *Тебе одеющаго светом яко ризою,* и что же? — «старший учитель придворной капеллы» и на нее дерзнул наложить святотатственную свою руку, не приняв во внимание даже того, что ему далеко до Турчанинова, который в этой стихире строго держался оригинала и ничего не убавил и не прибавил к нему. «Старшему учителю», должно быть, больше нравится переложение той же стихиры г. Львова. О вкусах, конечно, не спорят; но мы знаем то и другое и, не делая себя в этом деле судьями, избираем присяжными весь православный мир, не мудрствующий лукаво, предоставляя ему произнести свой вердикт: пусть самый лучший хор исполнит перед ним переложение Львова и переложение Турчанинова упомянутой нами стихиры: держим сто против одного, что при исполнении первого весь состав присяжных зазевается и станет глазеть по сторонам; а слушая последний, в средине пиэсы почувствует необыкновенное умиление, начнет плакать, а в конце повергнется перед Тем, Кому в трогательном недоумении обращает речь свою благообразный Иосиф: *как погребу Тя, Боже мой, или кия песни воспою?* И нет сомнения, что благочестивое недоумение его разрешилось бы гимном в переложении именно Турчанинова, а не *других* каких-либо композиторов. И куда этим «другим», начиная от Львова до г. Бахметева, написать хоть что-нибудь похожее на турчаниновские херувимские! Мы недавно слышали композицию последнего из них, либретом для которой избрал он вдохновенные слова песни херувимской, — и тяжело, тяжело нам стало. Это писал не Асаф царя Давида, не Роман-сладкопевец, а действительно, «почетный академик Флорентинской музыкальной академии», насквозь пропитавшийся современною вагнеровщиной. Ну, да Бог с ним! Пожелаем только, чтобы нынешние композиторы не подражали ему и перестали угощать нас в храме Божием подобными пряностями, от которых тошнит русского, православного человека.

Совершенно верно рассуждают об этом предмете в «Московских ведомостях». «Древнее и новое церковное пение имеют каждое свои особенности, делающие из них две почти различные категории. Существенное несходство их главнейшим образом основывается на их происхождении: древнее пение почерпнуто из сборников церковных песнопений, принятых русскою Церковью с самого начала ее существования; в настоящее же время храмы наши оглашаются исполнением вокально-музыкальных произведений, нередко по содержанию своему чужды духу Православия. Это уже не те простые, проникнутые возвышенностью и умилением напевы, которые являет нам древнее исполнение: это плоды обще-музыкального искусства, богатые нередко неуместною для Церкви роскошью виртуозности.

Имея целью написать музыку, успокаивающую дух, располагающую к молитвенному настроению, сочинитель постоянно должен помнить, что не имеет права касаться сторон, которые, по существу своему, способны затрагивать ощущения, неуместные в храме, несоответствующие духу песнопений. Его задача состоит в том, чтобы точно изобразить скромность, величие, спокойствие, торжественность; даже грусть обыкновенная должна тут принимать чистейший характер духовности, без малейшего сантиментальничанья. Если в

некоторых исключительных случаях, по смыслу полагаемого на музыку текста, и нельзя избежать некоторой реальности, то все-таки композитор не должен переступать известных границ, для распознания коих он обязан иметь тонкое чутье. Обилие звуков, могучие сочетания их, требующие неуместного в храме способа выполнения их, обращают произведение просто в музыкальную пьесу, ничуть не похожую на молитву… А другие особенности, оскорбляющие чувство и вкус благочестивого человека? Зачем это ни к чему не ведущее в хоровом пении единичное щегольство голосом или устаревший даже и для театральных певцов в ролях селадонов метод пения, основанный на злополучном, предурном выполнении, «portamento di vose» и столь несвойственный такой серьезной музыке? Зачем эти воющие и завывающие ligato? Откуда взялось обратившееся почти в норму обыкновение делать произвольные и притом частые оттяжки темпа? На чем основаны эти неумеренные fortissimo и pianissimo? Между тем ко всему этому так привыкли, что, пожалуй, и не убедишь наших церковных певцов в их несостоятельности; а потому нельзя не согласиться, что пения церковного, в полном смысле этого слова, нет в православных храмах; а есть по большей части какие-то своеобразные, весьма сомнительного происхождения концерты, характерическая черта которых состоит в том, что в них господствует набор, без всякой связи и смысла, всего того, чем может отличиться тот или другой голос, в обиду и оскорбление строгого религиозного чувства».

Вглядываясь в такое поистине младенческое состояние нашего церковного пения, представители которого преподносят нам иногда свои музыкальные творения самого странного свойства, невольно приходишь к заключению, что они не ведают что творят и, как древние Дафаны и Авироны, вносят чуждый огнь во святая святых.

Раздел VI. Воспоминания и некрологи

Георгий, затворник Задонского монастыря

Георгий, затворник Задонского Богородицкого монастыря, принадлежал к дворянскому роду Мишуриных, которые проживали в Вологде. Еще во чреве своей матери провозвещен был Георгий как состоящий под особенным покровительством Подвигоположника Христа. Благочестивая мать Георгия в первые месяцы своей беременности удостоилась небесного благословения. В самую глухую полночь спальня ее озарилась необычайным светом. Отворилась дверь, вошел священник, бывший ее духовник, уже три года почивавший во гробе: в руках у него была икона с тремя сияющими венцами. Тихо приблизившись к одру духовной своей дочери, он благословил ее и сказал: «Бог дает тебе сына Георгия. Се тебе и образ святого великомученика и Победоносца Георгия». В священном трепете и радости она приложилась к иконе и приняла ее на свои руки. Но это отрадное извещение скоро омрачено было ужасной скорбью: в один вечер, когда будущая мать ожидала своего мужа, послышался сильный удар в стену дома, у которой она сидела, и вслед за тем голос: «Возьмите убитого». Выбежали на улицу и увидели окровавленного и еле живого отца Георгия; злодеи, приняв его по ошибке за другого, избили невинного; с трудом исполнив долг христианский, он скончался, не порадованный рождением обетованного сына.

Вся нежность матери с этой минуты обратилась на сироту, еще носимого под сердцем, еще не рожденного на свет, но уже требовавшего исключительных ее попечений. В 1789 году родился, наконец, младенец и при крещении наречен был Георгием. Нежная мать, оставив город, построила себе небольшой домик близ кладбища, где схоронен был муж ее. Тут-то начала преподавать она своему младенцу живые уроки о тленности всего мирского; тут-то укореняла она в него ту премудрость, которая под именем страха Божия соделалась потом водительницею Георгия на всю его жизнь. Сама, возлюбив благолепие дома Божия, она приучила к тому же и

сына своего; ребенок сызмала навык слушанию слова Божия и в детском лепете передавал матери своей все, что видел и слышал в храме Господнем. Это радовало сердце родительницы едва ли не более, чем быстрые успехи малютки в учении.

Георгию совершилось 18 лет. В 1807 году он поступил в Лубенский гусарский полк юнкером. Мать простилась с ним — навсегда. С производством в корнеты Георгий переведен был в Казанский драгунский полк. В веселом кругу разгульных товарищей он оставался все тем же скромным, тихим и благочестивым, каким был в ту пору, когда находился под руководством незабвенной своей матери. Товарищи не могли не уважать и не любить его, а начальство оказывало особенное внимание к нему как к отличному офицеру. Но уже в эту пору он чувствовал призвание к высшей духовной деятельности и, получив чин поручика, стал помышлять об отставке. Скоро желание это усилилось в нем до того, что он решился просить о том высшее начальство, и, к величайшей радости, был уволен от службы с полным мундиром[305].

Георгию было только 29 лет от роду. Явившись к Епифанию, епископу Воронежскому, и изложив пред ним намерение свое вступить в монашество, он назначен был в Задонский монастырь, куда и прибыл 7 сентября 1818 года, и тогда же, сложив с себя мирские одежды, облекся в смиренную ризу послушника. Внимание к самому себе, любовь к храму Божию, необыкновенная кротость и смирение с первого раза обратили на него внимание всей братии. Но вместе с тем, по действу духа злобы, он возбудил в некоторых легкомысленных и неискусных в делании духовном зависть и недоброжелательство; к этому присоединилась тяжкая болезнь, продержавшая его безвыходно в келье около полугода. Оправившись от недуга, Георгий положил было искать другое место для своих подвигов: но, удержанный от этого советом иеросхимонаха Агапита, остался в Задонском монастыре и затворился в темной келье, худшей из всех в обители. Отовсюду закрытая, она в летнее время не освежалась чистым воздухом и потому была сыра и вовсе неудобна к житью, а в зимнее промерзала насквозь: но Георгий не обращал на это внимания и поселился в ней. Он отказал себе в малейшем удобстве; ложем его был сырой пол, да и на тот он редко ложился. Весь сон его состоял в легкой дремоте незадолго до утреннего благовеста; при первом ударе в колокол он просыпался и начинал свое правило молитвенное. Пищу употреблял он вечером, да и то не всякий день; она обыкновенно состояла из четверти фунта белого хлеба и кружки воды, в которую примешивал он несколько уксуса. Одежду носил он не переменяя до тех пор, пока она совсем не становилась ветхою. В келье его ничего не было, кроме икон и богомысленных книг. Никому не позволялось входить к нему, даже и служившему при нем послушнику; если ему что бывало нужно, то он писал на записке, которую полагал на небольшом окошечке, прорезанном в дверях кельи; келейный, осведомляясь по временам, исполнял по записке требуемое и подавал в окошечко, которое тотчас же закрывалось.

Но и такой подвиг показался недостаточным для человека Божия. Чтоб избежать докуки от людей, обыкновенно ходивших около затворнической его кельи, Георгий выкопал у себя под полом пещеру, куда удалялся на целый день молиться, и уже ночью выходил в келью доканчивать положенное им себе правило. Так прожил он пять лет[306].

Настоятель обители, архимандрит Самуил, благоговея к подвигам Георгия и заботясь о сохранении его здоровья, предложил ему перейти в другую, более светлую и удобную келью, на что с трудом и только из послушания согласился подвижник: но часто с некоторым сожалением вспоминал он о прежнем жилье своем. «Как мне, — говаривал он, — было там хорошо и тихо! Ничто меня не тревожило; ночью молитвенная комната, а днем — подземное убежище, служившее беспрестанным напоминанием, что еще теснейшая могила ожидает всякого из нас». Впрочем, и новая келья только затворнику могла казаться слишком

просторною, тогда как ни по обширности своей, ни по особым удобствам она не представляла ничего для привыкших к спокойной жизни. Перед входом, у дверей коридора, стоял от полу до потолка гроб без крышки; из коридора стеклянная дверь отворялась в небольшие сени, слабо освещаемые малым оконцем, прорезанным в противоположных дверях, ведущих в его келью. В одном углу стояла крышка от гроба с разными надписями, выбранными из книг пророческих; на восточной стене находился образ св. Троицы, перед которым теплилась неугасаемая лампада. По стенам стояли маленькие скамейки, разделенные столиками; в небольшой каморке шкаф с книгами, а на полу рогожка, служившая для него ложем успокоения, ибо нигде не видно было ни кровати, ни подушки, ни даже войлока.

В новом жилище своем Георгий сделался уже доступнее для тех, кто желал пользоваться благочестивыми его советами. Клевета и зависть снова начали источать яд свой на святого мужа, но, укрепясь в подвиге духовном, он уже не смущался наветами злых и отражал их молитвою, кротостью и глубочайшим смирением. Соединяя дар прозорливости с глубоким знанием сердца человеческого, он изливал целыми потоками душеспасительные наставления то в устных беседах, то в письмах, — и неисчислимо велико и многополезно было влияние его на всех, жаждавших искреннего слова правды и истины!

Георгий был монах, а не послушник только: но когда именно принял он монашество — неизвестно; верно только то, что он имел тайный постриг и наречен был *Стратоником*. Не желая, однако ж, расстаться с именем, чудесно открытым матери его, он до конца жизни своей продолжал в письмах своих именоваться Георгием.

Господь Бог не скрыл от верного раба своего и времени блаженного отшествия его от мира сего. В конце 1835 года он предупрежден был об этом в сонном видении и тогда же, передав оное братии, сказал: «Еще немного времени, и вы меня не увидите». В начале января следующего года он в письмах своих к архиепископу Антонию и К. писал о том же, прося молитв за душу свою: но болезненных припадков не чувствовал никаких. Во второй половине января Георгий занемог. Сначала это была только простуда, но впоследствии к этому присоединилось удушье, учащенное биение пульса и опухоль в ногах такая, что он с большим трудом мог ходить по комнате и при всем том не хотел ложиться, а отдыхал иногда на стуле. Даже при сильном изнеможении он позволял себе только опереться обо что-либо, да и тут еще укорял себя: «Что ты разнежился, Георгий? Не хочешь потерпеть малой и кратковременной болезни. Горе тебе, если утратишь терпение!». Приближенные уговорили было его лечь в постель, но он скоро отказался, говоря, что ему тяжелей лежать, чем стоять или сидеть.

В первых числах апреля к прежним его болезням присоединилось лишение слуха, так что самый громкий крик был для него невнятен. Это продолжалось до 23 апреля — дня его ангела. В этот день Георгий пожелал угостить нищую братию. В минуту благословения трапезы у Георгия вдруг отверзся слух, и он стал совсем здоров. Но через три дня опять возвратились к нему все, кроме глухоты, болезненные припадки. Изнемогая телом, он оставался постоянно бодр духом и решительно отказывал всем желавшим послужить ему: «По милости Божией, — говорил он, — у меня еще довольно сил, на что же напрасно утомлять других?». Если уж ему становилось слишком трудно, то он склонялся грудью к столику, да и то ненадолго. С Псалтирью в руках садился он против святых икон и совершал обычное свое правило.

Вечером 24 мая келейные заметили, что Георгий более прежнего ослабел в силах своих, хоть и оставался совершенно спокойным. На ночь он велел, по обычаю, постлать себе рогожку в передней и, побеседовав с келейными, облобызал их и отпустил с миром, а сам лег на приготовленное ложе. Но лишь только келейные скрылись, он встал и пошел в свою уединенную каморку совершать молитвенное правило. В полночь он опять прилег, но с первым ударом в колокол к заутрени вошли к нему келейные взять благословение и, получив его,

вышли, отнюдь не думая, что они видятся с подвижником уже в последний раз.

После ранней обедни один из келейных, вошедши в келью, увидел Георгия лежащим перед образом всех святых и Страшного Суда в положении человека, сотворившего земной поклон. Не желая нарушать благочестивой молитвы, келейный хотел выйти, но, остановившись у дверей, заметил, что подвижник не переменяет своего положения. Тогда, сотворив, по обычаю, вслух молитву, он стал ожидать ответа, — но ответа не последовало. Душа праведника отлетела уже от земли на небо. Георгий скончался.

Так угас светильник, озарявший светом Христовым всех приближавшихся к нему и руководивший собственным примером каждого в царство вечной славы! Пробыв в затворе 17 лет, Георгий предал праведную душу свою в руки Божьи на 47 году своей жизни.

Православные! Если кого из вас приведет Господь Бог быть в Задонске, подите к часовне, устроенной над могилою праведника, и, сотворив честное поклонение, помяните в молитве вашей и пишущего эти строки.

И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке

[307]

Эх Тарасе, Тарасе! За́-що мене́ оха́яли людэ? За́-що прогомонѝли, що я те́бе, орла могó сѝзого, оскорбив, облаяв?.. Боже ж мій милостивий! Колѝ ще вонѝ не знали, дэ ты, і як ты, і що таке, а я вже знав тебе, мого голуба, слухав твого «Йвана Гуса», слухав други твои думы, которих не бросав ти, як бисер перед (нехай вибачають) свинями…

Случайно познакомился я в Киеве с Тарасом Григорьевичем Шевченком. Это было 1846 года в квартире А-вых [1] на Старом городе. Нас собралось тогда, как теперь помню, что-то много; вечер был такой теплый, влажный, благоуханный. После чаю все наше общество вышло в небольшой садик с огромными, однако ж, фруктовыми деревьями и расположилось, кто как мог. Тарас (я еще не знал его тогда) в нанковом полупальто, застегнутый до горла, уселся на траве, взял гитару и, бренча на ней «не до ладу», запел: *«Ой не шуми, луже»*. Я перестал болтать с одной из дочерей хозяйских и обратился весь в слух и внимание. Тарас пел неверно, даже дурно, чему много способствовал плохой аккомпаниман, но в каждом звуке слышалось что-то поющее, что-то ноющее, что-то задевавшее за душу.

— Кто это такой? — спросил я сидевшую подле меня девицу В. А-ву.

— Шевченко, — отвечала она.

— Шевченко? — почти вскрикнул я и в ту ж минуту встал и подошел поближе к любимому мною поэту, *Кобзаря* которого (в прескверном киевском издании) [2] я знал почти наизусть. Опершись о дерево, я стоял и слушал; вероятно, заметив мое внимание, Шевченко вдруг ударил всей пятерней по струнам и запел визгливым голосом: *«…черный цвит, мрачный цвит»*, пародируя провинциальных певиц, закатывающих глаза под лоб. Все захохотали, но мне стало грустно, даже досадно, что человек, на которого я глядел с таким уважением, спустился до роли балаганного комедианта. Я отошел от Шевченка и сел на пенек срубленной — не то вишни, не то черешни. Тарас положил гитару на траву и, выпив рюмку водки, которую поднес ему (тогда гимназист) П. А-ч, стал закусывать колбасою, беспрестанно похваливая ее.

Меня окружили дамы и просили «спеть что-нибудь». Тарас это услышал и, подавая мне гитару, сказал: «Ану, заспіва́йте». Я отказался тем, что не умею аккомпанировать себе на гитаре. «То

ходим к фортоплясу», — сказал он, поднимаясь. Мы пошли, за нами потянулись барыни и барышни. Я запел: *Погляди, родимая*. Тарас стоял передо мною, опершись на фортепьяно, и пристально смотрел мне в глаза.

— А хто це скомпонував ціи вирши? — спросил он, когда я перестал петь.

— Я.

— Ви? Спасыби вам, коза́че. А все ж таки вы — москаль.

— Да, москаль, — отвечал я. — А впрочем, разве только малороссам доступна поэзия?

Тарас вместо ответа махнул рукой, и тем дело кончилось на этот раз.

Дней через несколько забрел я как-то на взгорье Михайловской горы, позади монастыря, откуда открывается удивительный вид на все Заднепровье. Над крутым обрывом горы я увидел Шевченка; он сидел на земле, подпершись обеими руками, и глядел, как говорят немцы, dahin[308]. Он так был углублен в созерцание чего-то, что даже не заметил, как я подошел к нему. Я остановился сбоку, не желая прерывать дум поэта. Тарас Григорьевич медленно поворотил голову и сказал: «А, бувайте здоровы! Чого́ вы тут?»

— Того ж, чого и вы, — отвечал я с усмешкой.

— Эге, — сказал он, как будто тоном несогласия. — Вы з яко́и стороны?

— Я — воронежский.

— Сидайте, панычу, — сказал он, отодвигаясь и подбирая под себя полы своего пальто.

Я сел.

— То вы, мабуть, козак?

— Був колѝсь, — отвечал я. — Предки мои точно были козаками; прапрадедушка, есаул войска Донского, звался Кочка-Сохран.

— Який же га́спид перевернув вас на Аскоченского?

— Того уж не знаю.

–Ученье, кажуть, світ, а неученье — тьма; може, й так воно, я не знаю, — с улыбкою сказал он, решительно не понимаю к чему.

Мы оба замолчали. Я достал сигару и закурил.

— Ой, *панычу*, москаль надійде, буде вам!

Я засмеялся. И долго сидели мы потом молча. Мельком я взглядывал на Тараса: лицо его то становилось суровым, то грустным, то делалось так светло и привлекательно, что расцеловал бы его. Не знаю, воображение ли мое помогало мне в этом случае, но мне чудилось, что в голове поэта «коитьця» что-то чудное, формируется, быть может, целая поэма, которой не суждено выйти в свет и которая останется невысказанным словом. Мне хотелось передать Тарасу мечту мою, но я боялся нарушить эту созерцательную тишину поэта и, кажется, хорошо сделал.

— Ходѝм, — сказал он, поднимаясь.

Мы сошли с горы на Крещатик; расставаясь, я просил его бывать у меня.

— А дэ вы живете́?

Я сказал.

— Уа́, — отвечал он, — то великий пан. Нам, мужикам, туда не можна.

— Но у этого пана, — возразил я, — тоже живут мужики, и первый из них — я.

— Правда? — спросил он, крепко сжав мою руку.

— Правда, — отвечал я.

— То добре.

Мы расстались.

Когда все это было, определительно сказать не могу; знаю только, что весною 1846 года, ибо в дневнике моем, откуда я заимствую все это, дни и месяцы не обозначены. Мая 26 Тарас Григорьевич был в первый раз у меня с В. П. и Н. П. А-выми, из которых первый (уже покойник) был жандармским, а последний армейским офицером. Вместе с ним был, *кажется*, и А. С. Ч-ий с четками в руках, серьезный и неразговорчивый. Несмотря на это, все были, как говорится, в ударе. Тарас, с которым я успел уже сблизиться, читал разные свои стихотворения и между прочим отрывок из поэмы своей *Иоанн Гусс*. Несколько стихов из нее доселе не вышли из моей памяти:

Народ сумуе там[309] в неволі,
И на апостольськім престолі
Чернець годованный сидить:
Людською кровію він шинкуе,
У найми царство віддає.
Великій Боже! Суд Твій всуе
І всуе царствіє Твое!..

Не могу забыть снисходительности поэта к таким убогим стихоплетам, каким был я, грешный, во время оно. Шевченко заставлял меня читать мои тогда еще не печатанные изделия и — помню хорошо, что некоторыми главами из «Дневника», помещенного в собрании моих стихотворений, оставался чрезвычайно доволен. У меня доселе хранится рукопись этого семейного рассказа, на котором Тарас мазнул на полях следующих стихов прескверным своим почерком «спасыби, панычу»:

Небесный гость, переселенец,
Лежал в объятиях младенец.
Прильнув ко груди молодой
Своей кормилицы родной, —
И мать счастливая, шутя,
Ласкала милое дитя,
И грустный взор ее прекрасный,
Взор тихий, полный неги страстной,
Понятливо наедине

Тогда покоился на мне…
Друзья мои! Я был отец,
И где ж все это, наконец?..

Вытянув от Тараса согласие на посвящение его имени одного из моих стихотворений, я просил его написать что-нибудь и мне на память.

Тарас обещался, но не исполнил своего обещания. Г-н Ч-кий был добрее: он через несколько дней прислал мне стихотворение, написанное его собственной рукою.

<…>

Да, отцы и братия мои! То старина, то и деянье! Но отрадно как-то остановиться на ней человеку сего мира! Звуки давно-прожитого времени

…Ходят темной сказкой
Словно в воздухе прозрачном
Обольстительные сны.

Но мы отбились от нашего рассказа.

В. П. А-ч, юморист и остряк, какими бывают только малороссы, сыпал самые уморительные анекдоты; мы помирали со смеху. Тарас часто повторял, хватаясь «за боки»: «Та ну-бо, Василю, не бреши!» После чаю «с возлиянием» Тарас стал веселее и, седши к фортепьяну, начал подбирать аккомпаниман, что однако ж ему не удалось.

— Паничу, — сказал он наконец, — чи не втне́те нам яко́и-не́будь нашенськои?

— Добре, — сказал я и запел: *«Злетив орел по-пид небо, жалибно голосить…»*. Без хвастовства скажу, что я пел с глубоким чувством; голос мой дрожал, слезы кипели в груди моей.

— Сучий я син, — сказал Шевченко по окончании песни, — коли вы не козак!.. Козак, щѝрий козак!

В. А-ч тоже сел к фортепьяну и, бренча как попало, запел самым прескверным образом: *«…ты душа ль моя»*. Тарас рассердился и, подошедши к певцу, сказал резко: «Це свинство, свинство! Коли не пип, то не суйся в ризы. Дурень еси, Василь!»

Это незначительное само по себе обстоятельство чуть не расстроило прекрасно начатого вечера. Тарас сидел пасмурный и неохотно отвечал на вопросы и приставания В. А-ча. Подали закуску. «Хлыснув *тиеи* дви-три чапорухи», Шевченко повеселел, а дальше и совсем развязался: он принялся читать стихотворения, наделавшие ему потом много беды и горя.

— Эх, Тарасе, — говорил я. — Та ну-бо покинь! Ей же Богу, не доведуть тебе до добра таки поганы вирши!

— А що ж мени зроблять?

— Москалем тебе зроблять.

— Нехай! — отвечал он, отчаянно махнув рукой. — Слухайте ж ще крашчу!

И опять зачитал.

Мне становилось неловко. Я поглядывал на соседние двери, опасаясь, чтобы *кто-нибудь* не подслушал нашей слишком интимной беседы. Вышедши на минуту из кабинета, где все это происходило, я велел моему слуге выйти ко мне через несколько времени и доложить, что, мол, зовет меня к себе…

Гости оставили меня.

В июне (1846 г.), не помню, которого числа, зашел я к Шевченку в его квартиру на Козьем болоте. Жара была нестерпимая. Тарас лежал на диване в одной рубашке. Сняв с себя верхнее платье, я повалился на кровать. Разговаривать не было никакой возможности: мы просто разварились. Отдохнув несколько, я принялся осматривать все, окружавшее меня: бедность и неряшество просвечивались во всем. На большом столе, ничем не покрытом, валялись самые разнородные вещи: книги, бумаги, табак, окурки сигар, пепел табачный, разорванные перчатки, истертый галстук, носовые платки — чего-чего там не было! Между этим хламом разбросаны были медные и серебряные деньги и даже, к удивлению моему, полуимпериал. В эту пору подошел к окну слепой загорелый нищий с поводырем. Я встал и взял какую-то медную монету, чтобы подать.

— Стойте, — сказал Тарас, — що це вы ему даете́?

Я сказал.

— Э, ка-зна що!

И в ту ж минуту, встав с дивана, взял полуимпериал [3] и подал его нищему. Слепец, ощупав монету и спросив о чем-то своего поводыря, протянул руку в окно с полученным полуимпериалом.

— Спасыби вам, пане, — сказал он, — але я такои не вѝзьму, нехай ии всячина! У старцѝв таких грошей не бувае. Визьмыть ии соби, а мени дайте шмато́к хлиба, чи що.

Тарас дал ему полтинник; нищий, постояв и подумав немного, пошел от окна, бормоча молитвы и разные благожелания.

— О, ба́чите! — сказал Тарас. — Що то значить бида́ка! І гро́шей боиться велыких, бо то панам тилько можна ма́ты их. Жарко, панычу! — заключил он и опять повалился на диван.

Встречался я с Тарасом Григорьевичем и еще несколько раз; бывал и он у меня, и я у него, но, собираясь к переезду из Киева в Житомир и, главное, занятый предстоявшею мне женитьбою, я не вносил в мой «Дневник» разговоров с Шевченком. Под 26 июля значится там у меня только вот что: «превосходно проведенный вечер, в полном смысле литературный. Шевченко — дивный поэт. На досуге я поговорю об нем».

Но этого досуга не оказалось. Я выехал в Житомир, и через несколько времени весть о судьбе, постигшей Тараса Григорьевича, поразила меня несказанною скорбью…

По приезде моем в Петербург я навестил Шевченка, который, как известно, жил в Академии художеств. Он принял меня довольно радушно, говорил о своем способе гравирования, обещая «втéрти носа нимцям»; рабочая его насквозь пропитана была какими-то сильно разящими кислотами, и я поспешил расстаться с дорогим хозяином. В это посещение мое, помню, я просил у Шевченка переложений его псалмов, которые читал я еще в 1856 году в Киеве, разумеется, в рукописи. Шевченко сослался на С. С. А-го [4], уверяя, что у него все его стихотворения. Узнав от меня о том, что я издаю «Домашнюю беседу», Тарас сказал: «добре»,

но когда я изложил перед ним мои убеждения и цель, к которой я решил идти не спеша, Тарас сделался серьезным и, оттягивая огромные свои усы, проговорил: «Трудно вам против рожна прати». Холодно и безучастно слушал он после этого мои воспоминания и каждым движением показывал, что я как-будто ему в тягость. На прощанье я просил его бывать у меня, но Тарас Григорьевич отвечал мне отрывисто: «Я не выхожу никуда; прощайте».

В последний раз я встретился с ним летом прошлого года на Загороднем проспекте, но… лучше мне не встречаться…

Тарас Григорьевич имел прекрасное сердце, полное любви и самоотвержения. Как истый малоросс, он не мог быть невером и атеистом. Наука не могла испортить его чистого и прямого взгляда на предметы религии: вот разве столкновение с прогрессистами и современными цивилизаторами сбило его «с пантелыку», да обстоятельства неблагоприятные ожесточили его впечатлительную и прекрасную душу. Вот почему мы все, ближе многих и многих знавшие Тараса Григорьевича, скорбим и сетуем на тех, кто находился при нем в последние дни его жизни!.. До последнего смертного вздоха он все тосковал и тосковал о чем-то, не находя себе утешения ни в чем, и отдыхал несколько, уносясь мечтою в поля своей родимой Украины: друзья мои! — не была ли это жажда души уже прозиравшей, может быть, место злачно и покойно, от которого вы отталкивали ее вашим ребяческим скептицизмом и мрачным неверием? Не было ли это то томление духа, облегчить которое сильна только Церковь святая с ее вседействующими таинствами, с ее напутствием в жизнь вечную? Вот, господа, когда показали бы вы ваш ум, вашу истинную любовь к собрату, если бы постарались разбить все его сомнения, сокрушить гордыню огорченного чувства! А то речи да панегирики, неприличные во святая святых, да встречи тлеющего трупа, — нашли чем почтить и утешить душу, разлученную от тела!..

Эх, Тарасе, Тарасе! Бог видит, как прискорбно душе моей при воспоминании о тебе и о последних минутах твоих!.. Примет ли Господь грешную молитву мою, но я молюсь о тебе и буду молиться, да простит тебе Милосердый *вся согрешения твоя вольная и невольная, яже мыслию, словом, делом, ведением же и неведением, и да вчинит душу твою, идеже присещает свет лица Божия*…

В Оптиной пустыне

Собираясь из златоглавой Москвы в наш русский Иерусалим — Киев на поклонение его святыне, я записал в свою памятную книжку — заехать в лежащую по пути пустынную обитель Оптину, где нашли себе место упокоения два родных брата Иван и Петр Васильевичи Киреевские [1], оба близкие моему, все более и более сиротеющему, под осень жизни, от частых потерь сердцу; оба люди замечательные и приснопамятные по своему уму, качествам сердца, прямодушию и любви к истине, той святой любви, которая готова бывает скорее положить душу свою, нежели отказаться от того, что в глубине ее однажды призвано святым, высоким и достоуважаемым.

На последней станции к Козельскому, кажется в Подборках, я просил станционного смотрителя приказать ямщику завезти меня в Оптину пустынь, которая, как было у меня записано, находится в $4^1/_2$ верстах от Козельска, не доезжая его. Станционный смотритель весьма любезно согласился на сие, взяв с меня весьма любезно же и двойные прогоны; причем заметил, что из едущих по этому тракту большая часть берет лошадей прямо в Оптину, а оттуда гостеприимная обитель нередко доставляет проезжих как в Подборки (первая станция к Калуге), так и Слаговицкие постоялые дворы (первая станция к Белеву) на своих лошадях.

Вскоре по оставлении Подборок мы проехали какое-то бесконечно-длинное селение, которое,

помнится, ямщик называл *Каменкою*, и замечательное также своей убийственно тряской мостовой; насыпь же и мостовая, как пояснил мне ямщик, сделаны от того, что весною разлив текущей слева (в версте или более расстояния) Жиздре доходит иногда до самой этой деревни. Зато, тотчас за задворками, начинаются поемные луга, простирающиеся вплоть до реки, а за нею встает синий бор, вид которого тем приятнее, что леса исчезают у нас ежегодно, как бы по мановению волшебного жезла, и если отстрочится еще на столетие то время, когда водяной пар будет сведен с престола двигателем, менее алчным к топливу, то нам придется в статистических таблицах прибавить новую графу: замерзших по неимению средств к отоплению своих полусквозных (в следствие той же причины) жилищ столько-то, а филантропии прибавится новая забота плясать и задавать обеды в пользу семейств этих несчастных.

В этих мыслях о столь немаловажном предмете я с особенною любовью смотрел на лесную полосу, причем заметил, что местами вынуты из нее уже целые участки, — а если пройдет на Калугу железная дорога, то, уповательно, скоро и ничего не останется; а меж тем лошадки резво бежали по ровной дороге, и я незаметно приближался к ночлегу.

Вот, стали мы спускаться с горы, окаймленной глубоким оврагом; внизу сельская церковь, вправо господская усадьба и село, влево виднелась луговая долина, перерезанная озерками и лесными островками, а у опушки леса неправильно раскинулась, точно небольшой городок, — пустынная иноческая обитель, издали приветствуя путника верхами своих белых стен и храмов…

Проехав село, которое назвал мой возница *Прысками*, и еще какую-то небольшую деревеньку, мы свернули с большака влево по шоссейной дорожке, проведенной чрез луга прямо к монастырю, обсаженной ракитником, а через полчаса времени уже переезжали быструю Жиздру на монастырском пароме, любуясь видом мирной обители, озаряемой последними лучами заходящего солнца.

Принятый весьма радушно, я мирно провел ночь под кровом монастырской гостиницы; на другой день, пробудившись со звуком колокола, отправился к ранней обедне и по окончании ее просил проводить меня на могилу Киреевских и отслужить по них панихиду.

Меня привели на монастырское кладбище, которое расположено за алтарем двух монастырских церквей. Там, прежде всего, обратили мое внимание два колоссальных чугунных памятника, местами позолоченные: под одним из них, как видно из надписи, погребен старец сей обители иеросхимонах Леонид [2], о духовной мудрости которого и претерпенных им от неправомыслящих гонениях я слышал довольно из рассказов покойного И. В. Киреевского. Другой памятник покрывает могилу храмоздателя того придела, близ которого они погребены (во имя Св. Николая) А. И. Желябужского.

Впереди надгробных памятников старца иеросхимонаха о. Леонида и Желябужского на месте, также обнесенном чугунною решеткой, погребены два родные брата Иван и Петр Васильевичи Киреевские. На могиле первого из них усердием его супруги поставлен небольшой четырехсторонний чугунный памятник с таким же крестом; на памятнике надписи[310]:

Надворный советник И. В. Киреевский, родился 1806 года марта 22 дня, скончался 1856 года июня 12 дня.

Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст придох ко Господу.

Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь.

Господи, приими дух мой!

Память Ивана Васильевича Киреевского дорога для всех близко знавших его как человека, обладавшего редким сочетанием прекрасных качеств глубокого ума с кротким и любящим сердцем, несмотря на свое научное образование, которое при всей гордости нашего века может быть признано не за весьма многими из ученых по диплому. И. В. считал это образование недоконченным зданием и спешил увенчать его покровом сердечной веры. Растворенное солью неземной мудрости — слово отеческое, слово глубокое и вместе простое, слово «помазанное», вносящее мир и успокоение во всякую душу, жаждущую и алчущую правды и истины, — это слово удовлетворило вполне его пытливый ум, и с той поры он посвятил себя всецело на то, чтобы отвлечь внимание своих ученых собратий или, по крайней мере, небольшого кружка своих ученых друзей, от философских умствований Гегеля, Шеллинга и К⁰, этих вполне изглубленных им «сокрушенных кладенцев» германской мысли, и обратить их внимание на забытые одними и неведомые другим источники «воды живой» — к писаниям отеческим[311].

Но И. В. Киреевского постигла та же участь, как Н. В. Гоголя: с той минуты, как он заговорил со своими учеными собратиями не прежним языком, высказав им, не обинуясь, что свет и истина не там, где они ее искали доселе, что надобно начать учиться сызнова, и, по знаменитому изречению мудрой жены XVIII столетия, «начать с Катихизиса», — друзья И. В., сказав — кто про себя, а кто и громко: «Жестоко слово сие», пошли каждый своею дорогою до встречи там, где уже не посмеет никто спросить: что такое истина? Ибо «вся будут нага и объявлена»; а он вскоре был отозван отсюда, «зане совершил в пределе земном все земное». Так же как и на могиле Гоголя раздались поздние вопли сожаления о рановременной утрате на обычную тему: как, зачем, отчего так неожиданно, внезапно, нечаянно, что злая *судьба* постигает наших *передовых* (а поживи он еще немного, — высказалось бы печатно то, что уже произнесено было в сознании: «жаль, отстал от века!»). Ответом на эти вопросы немой *судьбе* служит слово Премудрого, начертанное достойно оценившими благую перемену в образе мыслей покойного: *узрят кончину праведного и не уразумеют, что усоветова о нем Господь!*

Верующие в загробную жизнь и смотрящие на смерть как на переход в «пакибытие», а не к ничтожеству или, как недавно выразился один из германских мыслителей «к разрушению уединения человеческого я в чувство общения с целым природы»[312] знают и веруют, что каждый христианин поемлется отсюда в самое благоприятное время для нашей загробной участи, в ту минуту, которую благость Божья находит самою удобною для совмещения на нелицеприятном суде своем правды с милостью. Что после сего значат наши языческие сетования на безжалостную судьбу! Если бы преставльшийся мог сам возражать на них в ответ на сожаление, что он не докончил своего «полезного труда», — он, верно, отвечал бы словами Авраама евангельскому богачу[313], напомнив им притом слово вселенского учителя и отца Церкви Иоанна Златоустого: «кто не имеет матерью своею Церковь, тот не может иметь Отцем Бога»; или, наконец, указал бы на слова Самого Спасителя дщерям иерусалимским: *себе плачите и чад ваших*! Вот что, по мнению нашему, отвечал бы покойный ученым друзьям своим, если бы мог беседовать к ним с того берега; а ныне его безмолвная могила не призывает ли их последовать его благому примеру: *познать, яко не инако одержится премудрость, аще не даст Господь, и приити ко Господу?*

Нельзя умолчать, что сердечному обращению И. В. Киреевского к вере и учению матери нашей Церкви много способствовал недавно почивший о Господе старец Оптиной пустыни иеросхимонах Макарий [3], указав ему на неисчерпаемый источник мудрости, заключающийся

в учении св. отцов, способной удовлетворить стремлениям самого глубокого ума, но который промыслительно утаивается от премудрых и разумных века сего, ибо *таинства открываются лишь смиренномудрым*, по слову св. Исаака Сирина.

Супруга И. В. [4], рассказывая мне о благодатных действиях старца на ее семейство, между прочим, поведала следующее[314]: «Сама я познакомилась с о. Макарием в 1833 году через другого приснопамятного старца, его предшественника, о. иеросхимонаха Леонида; тогда же сделалась его духовною дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении. И. В. мало был знаком с ним до 1846 года. В марте сего года старец был у нас в Д…е и И. В. в первый раз исповедывался у него; писал же к батюшке в первый раз из Москвы в конце октября месяца 1846 года, сказав мне: «Я писал к батюшке, сделал ему много вопросов, особенно для меня важных; нарочно не сказал тебе прежде, боясь что по любви твоей к нему, ты как бы нибудь чего не написала ему; мне любопытно будет получить его ответ; сознаюсь, что ему трудно будет отвечать мне». — Я поблагодарила И. В., что он мне не сказал, что решился написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное для И. В. Не прошло часа времени, как приносят письма с почты и два, надписанные рукою старца, одно — на имя мое, другое — на имя И. В. Не распечатывая, он спрашивает: что это значит? о. Макарий ко мне никогда не писал! — Читает письмо, меняясь в лице и говоря: «…удивительно! разительно! Как это? В письме этом все ответы на мои вопросы, сейчас только посланные». С этой минуты заметен стал зародыш духовного доверия в И. В. к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и беспредельную любовь к нему, и принес плоды в 60 и во 100, ибо познав, *яко не инако одержится премудрость, аще не даст Господь*, он, при пособии опытного руководителя, шел ко Господу».

Мои воспоминания о Иване Босом

Несколько слов в «Киевлянине» об Иване Босом пробудили и во мне воспоминания об этом удивительном человеке, истинном подвижнике и теперь уже неземном молитвеннике за нас, грешных.

В первый раз мне удалось увидеть его в начале 1836 года зимою. Я тогда был еще студентом. Не помню хорошо, в какой именно день отправился я в Лавру к обедне; холод был нестерпимый; я шел, закутавшись как можно плотнее в шинель, и учащал мои шаги, чтоб согреться. Гляжу, — на подъеме Александровской горы, находившейся тогда в первобытном состоянии и крепко напоминавшей собою Кавказ с его стремнинами и провалами, бежит какой-то господин, довольно плотного сложения, лет этак сорока. Он был без шапки, в легком нанковом халате, простиравшемся до пят; на ногах его не было ни сапог, ни даже каких-нибудь чулков. Господин этот гнал перед собою деревянный шар, величиною с небольшой арбуз, который, скатываясь вниз, доставлял немало хлопот тому, кто подгонял его. Удивленный таким явлением, я невольно остановился. — «Чего ты стал? — сказал Босой, взяв в руки непослушный шар. — Иди вперед, вперед, вперед! Видишь, шар-то твой все катится назад, как ты ни стараешься; а ты все-таки толкай его и иди вперед!».

Недовольный такою фамилиарностью (нельзя же-с: студент был; важная, значит, фигура!), я плотнее завернулся в шинель и пошел быстрее от моего нежданного собеседника.

— Ты не спеши, раб Божий! Шар-то возьми с собой; тебе ведь приказано гонять его. Ты куда идешь? — сказал Босой, поровнявшись со мною.

— В Лавру, — отвечал я.

— Вот и хорошо. Ты в Лавру и я в Лавру. Давай же вместе подгонять шар.

И бросив свою игрушку, он принялся подталкивать ее. С Крещатика подъем сделался круче, и я опередил моего спутника, который гонялся за своим шаром, вилявшим из стороны в сторону и скатывавшимся назад.

Воротившись в академию, я рассказал о встрече моей товарищам и узнал от них, что спутник мой был известный всему Киеву юродивый Иван Босой[315].

Недели через две случилось мне быть в Михайловском монастыре. Отслушав обедню в домовой архиерейской церкви, я проходил мимо подъезда келий, занимаемых владыками. Гляжу — стоит Босой и с комически-гордым видом оделяет нищих деньгами, кусками хлеба, а иным показывает шиш. Заметив меня, он подскочил ко мне и, подавая какую-то монету, сказал: «Вот и тебе, раб Божий! Возьми, дружок, возьми; тебе деньги надобны».

— На табак, что ли? — сказал я с насмешкой. (Никогда не прощу себе этой глупой студенческой выходки!)

Иван Босой сплюнул.

— И без табаку будет у тебя горько во рту, — сказал он, отдавая монету какой-то подошедшей женщине. — Возьми, сестрица, — прибавил он, — и помолись за него — дурака.

Оскорбленный таким названием, я чуть не выругал навязчивого моего благодетеля; а он, захохотав мне вслед, закричал: «Пожалеешь, брат, о моей копеечке!».

Прости меня, подвижник Христов! Отринутая мной копейка твоя стоила мне тысячи скорбей в малой и злой моей жизни!..

Потом, не помню уж, когда именно, но только летом, встретил я Ивана Босого на Плоском. Это была пора самых пламенных юношеских моих мечтаний и надежд. Пользуясь вниманием одной достойнейшей девицы, которая, по неисповедимым судьбам Промысла Божия, стала потом моей женою, счастливый и беззаботный, я шел по улице, чуть ли даже не напевая что-то. Вдруг на самом повороте улицы к Щекавице, с саженною палкой, на которой привязан был огромный букет простых полевых цветов, перемешанных с бурьяном и крапивою, очутился передо мной Иван Босой. — Здравствуй, приятель, — сказал он, подходя ко мне. — А я был… (тут он назвал имя девицы, о которой я мечтал).

— Как же ты ее знаешь? — спросил я с непритворным изумлением.

— Вона! Кого я не знаю! Бедненькая! Повянет, все у ней повянет[316]. На-ка вот и тебе цветочек!

И не ожидая моего согласия, он выбрал из своего букета два облетевших одуванчика и, прибавив к ним крапивы, сказал: «Возьми!».

— На что они мне?

— Я и сам знаю, что не нужны, да возьмешь, возьмешь! За третьим сам пойдешь![317]

— Сумасшедший! — сказал я, отходя от него с досадой. Веселое настроение моего духа исчезло; я пошел тихо и скромно; а за мной гнался раздражающий смех юродивого.

После этого я уж не видал Ивана Босого. Прошло несколько лет; пошатавшись по свету и убоявшись бездны канцелярской премудрости, я воротился вспять к моим пенатам, моим

ученым занятиям, моей любимице — литературе. В 1852 году я был уже в Киеве. Как-то между разговорами я узнал от моего доброго хозяина, когда-то евшего со мной одну академическую кашу, что Иван Босой умер. Подробности подвижнической жизни этого необыкновенного человека сильно заинтересовали меня. Не оставляя трудного подвига юродствования, Иван Босой приютился под церковью св. Андрея Первозванного, в огромной, нежилой зале, служащей как бы фундаментом дивному созданию знаменитого архитектора Растрелли. Зала эта замечательна, между прочим, тем, что в ней содержался некоторое время плененный Ферзеном Косцюшко, предводитель польских конфедератов. Теперь эта зала, старанием известного нашего писателя Андрея Николаевича Муравьева и по благославению высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Киевского, обращена в церковь во имя препод. Сергия, Радонежского чудотворца. В этой-то зале Иван Босой открыл станноприимницу. Сам без всяких средств, живущий только о имени Христове, вменивший в уметы все сокровища мира, подвижник собирал целые толпы странников, так что в иную пору число их простиралось у него до 200 человек[318]. Он предлагал им трапезу, беднейших оделял деньгами и сам вызывался быть их руководителем по святым местам русского Иерусалима. В приобретении средств для содержания своей странноприимницы Иван Босой употреблял очень простой способ: он прямо являлся к более зажиточным из киевлян и настоятельно требовал того или другого для своих дорогих гостей, — и никто не отказывал ему в этом. Главным помощником его в таком святом и богоугодном деле был тогдашний киевский гражданский губернатор И. И. Фундуклей [1], к которому Иван Босой имел беспрепятственный доступ и называл его казначеем своей странноприимницы. Молва о благотворительности Босого быстро разнеслась по всей России, и он стал отовсюду получать приношения, давшие ему полную возможность поддерживать богоугодное заведение. И между тем сам Иван Босой оставался все тем же босовиком; на него, казалось, не действовали ни лютые морозы, ни удушающий зной; всегда веселый и, по-видимому, беззаботный, он ходил днем по святым местам Киева, а ночью предавался молитве и богомыслию.

К сожалению, я не умел в ту пору собрать более сведений о жизни и подвигах блаженного[319]. Известно только, что он был уроженец г. Зарайска, но когда начал подвиг юродства, когда прибыл в Киев — ничего этого не знаю. По смерти Ивана Босого оказались на нем тяжелые вериги, почти вросшие в тело, с которыми и похоронили его на Щекавице. Мне сказывали, что целые шесть дней оставался он непогребенным; и невзирая на то, что в комнате было постоянно душно от прилива посетителей, желавших поклониться усопшему, не слышно было от него ни малейшего мертвенного запаха. «За гробом его, — пишут в «Киевлянине», — шли тысячи народа, и слышен был плач многих беспомощных, лишившихся в нем своей подпоры».

Погребение Николая Ивановича Греча (Из письма к брату)

Помнишь ли ты «Учебную книгу Российской словесности», которая служила для нас самым высшим и недосягаемого совершенства руководством при изучении истории и теории того языка, который теперь у нынешних писателей представляет по большой части вавилонскую смесь?[320] Не знаю, как ты, а я всегда вспоминаю с глубокою благодарностию и как глаз свой берегу ту самую книгу, которая познакомила меня со всеми родами нашей литературы, с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным, Озеровым, Капнистом, Крыловым, Дмитриевым, Измайловым и с другими многочисленными и приснопамятными деятелями русского слова, ныне так легкомысленно осмеиваемыми неблагодарным потомством… Помнишь ли, в каком величии представлялся нам автор этой книги, так честно и добросовестно изучивший всю тогдашнюю литературу? Имя *Греча* [1] было для нас символом тех познаний, к которым неутомимо стремились мы, не замечаемые никем воспитанники старых семинарий. И этого-то Греча судил мне Бог узнать близко, встретить в нем непритворное, искреннее участие к моему

убогому деланию и слышать благодарность за радение языку русскому. К сожалению, кабинетные занятия мои не дали мне возможность часто видеться с ним; но и те немногие часы, которыми дарил он меня, останутся навсегда в благодарной моей памяти…

Наконец, этот Нестор нашей литературы кончил земное свое странствование. 12 января, в $5^{1}/_{4}$ часов пополуночи, он почил от трудов и неприятностей последних дней своей многолетней жизни[321]. Грех было бы не отдать последнего долга честному труженику русской науки, не сказав ему христианского «прости», в надежде жизни будущей, — и я (17 числа) поспешил отправиться в Петропавловскую церковь, где стоял прах его в ожидании последнего путешествия к могиле. В числе лиц посетителей я увидел много лиц почетнейших, но, к удивлению, почти никто из литераторов, учившихся по его грамматике, и, как видно, не научившихся благодарности. Времени до начала обряда погребения оставалось еще довольно, и я незаметно погрузился в думы болезненно-грустные и печальные. Не то сжимало сердце мое скорбью, что предо мною стоял гроб искренне любимого и уважаемого человека: умереть надобно же когда-нибудь, а жизнь его перешла уже тот предел, за которым начинается *труд и болезнь*; не мысль о бренности и суете земной жизни человека занимала меня в эту минуту, а то, что Николай Иванович, сослуживший службу русскому, православному народу и, без сомнения, почитаемый от него принадлежащим к нашей Церкви, принесен в лютеранскую кирху и что не возгласят над ним наше до глубины души трогающее *со святыми упокой*, наше торжественное *вечная память*, что не соберется вокруг гроба его сонм пастырей Церкви и не запоет: *покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего*. Вот что смущало меня и наполняло сердце мое скорбью! Ведь он — наш, славянин, чех по происхождению и православный по вере своих предков: как же это могло случиться, что он оставил то стадо, к которому принадлежал, тот крест, которым осеняли себя его деды, ту Церковь, веяние которой слышится еще в имени и отчестве его? И пробудились во мне исторические воспоминания о той борьбе, какую испытала древле-православная Чехия с католицизмом и которая стоила Гусу жизни на костре, — и понятно стало мне отпадение сынов Православия в лютеранизм, заслонивший собою в то время Церковь восточную, бессильно протягивавшую посинелые от оков руки свои к отрываемым от нее детям… Не раз говорил я об этом с покойным Николаем Ивановичем: но, сознавая всю справедливость слов моих, он упорно стоял на своем и уверял, что ему поздно уже оставлять исповедание, в котором родился. Странное заблуждение не его одного, а многих и многих подобных ему! Как будто для поворота с кривого пути на прямой может быть только одна минута в жизни! Как будто ошибка, которую мы разделяем, может оправдываться тем, что она сделана не нами и притом давно!..

И повезли нашего Николая Ивановича на Волково кладбище, где положат его и где будет лежать он до той минуты, когда труда архангела возбудит всех нас, лежащих в земле, и повелит явиться на страшный суд…

Есть сказание, что некоему благочестивому человеку, посещавшему безразлично все иноверческие церкви, явился ангел и предложил такой вопрос: «По какому обряду ты желал бы быть погребенным?» — «По-восточному», — отвечал он. — «Ну, так помни же это», — сказал ангел и скрылся от него. В сем сказаньи тайна скрыта; впрочем, и тебе, и мне, и всякому православному христианину она понятна.

Татьяна Борисовна Потемкина (Некролог)

В ночь на 1 июля скончалась в Берлине супруга действительного тайного советника, Александра Михайловича Потемкина, Татьяна Борисовна Потемкина, урожденная княжна Голицына [1]. Довольно произнести одно имя ее, — и этим будет все сказано. Нет человека в обеих наших столицах и даже в дальних окраинах обширной России, где бы имя это не

произносилось с благоговением и глубочайшим уважением; нет ни одного благотворительного общества и богоугодного заведения, в котором почившая не принимала бы самого деятельного участия. Это была боярыня в истинном, русском значении этого слова, ибо болела за всех бедствующих и страждущих своею прекрасною душою; это была аристократка в самом лучшем смысле, ибо держалось только того, что было αρισηον, то есть *елика суть честна, елика праведна, елика доброхвальна*. Самое злословие не смело коснуться ее честного имени и шипело лишь за порогом ее барских палат. Всегда ровная, всегда спокойная, она одушевлялась непритворным чувством глубокого соучастия к бедствиям ближних своих, без различия их звания и состояния. Истинная ревнительница Церкви Православной и строгая хранительница ее уставов, она служила примером благочестия для всех окружающих ее. Если о ком, то о Татьяне Борисовне можно сказать словами Премудрого: *многу славу созда Господь* в ней *величием Своим от века; правда и милость ея незабвенны будут, и похвалу ея исповесть* Церковь…

Тело усопшей привезено было из заграницы 6 июля, и 8-го, при многочисленном стечении народа, в одиннадцатом часу вечера, прибыло по Петергофскому шоссе в Сергиеву пустынь. На другой день совершена была настоятелем обители, архимандритом Игнатием, Божественная литургия в присутствии Ея Императорского Высочества, Великой княгини Александры Петровны, и Их Императорских Высочеств, Евгения Максимилиановича, Александра Петровича и Евгении Максимилиановны Ольденбургских, и многих других знаменитых особ. Обширная монастырская церковь полна была молящегося народа, — говорим: молящегося, потому что все знали, кого погребают, все слышали о христианских подвигах усопшей, а многие, весьма многие притекли в храм Божий, вместе со слезною молитвою, сказать последнее «прости» своей благодетельнице… Благоговейное служение, присутствие Высочайших Особ, неподражаемое пение знаменитого Сергиевского хора, простой гроб, без балдахина, усыпанный только венками и цветами и скрывавший в себе бренные останки отлетевшей праведницы, — все располагало к теплой и искренней молитве. Духовенство облачено было не в траурные, а в белые ризы, как бы в знамение того, что об усопшей не подобает скорбеть, *якоже неимущим упования*, что она предстоит теперь *пред престолом и пред Агнцем*, среди *облеченных в ризы белы* и *имущих финицы в руках своих*, — и понятен становился смысл обычного, церковного возглашения: *вечная память*, ибо *праведницы во веки живут, и в Господе мзда их, и утешение их у Вышняго*…

Государь Император изволил утешить осиротевшего супруга усопшей следующим Всемилостивейшим рескриптом:

«Александр Михайлович! С душевным прискорбием известясь о внезапной кончине супруги вашей, вменяю себе в сердечную обязанность выразить вам горячее участие, принимаемое Мною в столь неожиданно постигшем вас несчастии. Постоянно питав глубокое уважение к высоким качествам и добродетелям покойной Татьяны Борисовны, я искренне желаю, чтобы вы нашли некоторое утешение в том общем сочувствии к понесенной вами потере, которое вызывается памятью о достойной супруге вашей. Да поможет вам Бог смиренно покориться воле Всевышнего, подвергшей вас столь тяжкому удару.

Пребываю к вам благосклонный

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано:

Искренно вас любящий
Александр».

Димитрий Гаврилович Бибиков

В ночь с 21 на 22 февраля скончался Димитрий Гаврилович Бибиков...[1]

Вот и все извещение о кончине одного из замечательнейших государственных людей царствования вечной памяти Императора *Николая I*. Ничего, ни даже обычного обозначения чина и звания нет при имени Димитрия Гавриловича, да и нет нужды, ибо и без того его знает вся Россия, которой посвятил он лучшие годы своей долголетней жизни. Потеряв левую руку под Бородиным, в незабвенную Отечественную войну 1812 года, он одною правою в продолжении четырнадцати лет крепко держал бразды правления вверенного ему Юго-Западного края, равняющегося, по пространству своему, иному государству. Злословие и ненависть врагов России в имени Димитрия Гавриловича Бибикова служат лучшим свидетельством русской, истинно-патриотической его деятельности в той стране, которая до него была теплым гнездом всякой крамолы и подземной агитации. Впрочем, не наступило еще время говорить о Бибикове как о государственном человеке. История с поднятою тростью ожидает, чтобы вписать имя его в бессмертные скрижали...

25 февраля, при многочисленном стечении искренних почитателей памяти усопшего, совершено было в Александро-Невской Лавре отпевание. Литургию совершал Высокопреосвященнейший *Арсений*, митрополит Киевский, а на погребение прибыл и Высокопреосвященнейший *Исидор* [2], митрополит С.-Петербургский, с викарием своим, епископом *Павлом*. Какая-то тихая, унылая торжественность царила в храме Божием при отдании последнего долга верному, твердому, несокрушенному слуге возлюбленной им России и Державных ее Венценосцев. Вокруг гроба, на уготовленных табуретках, лежали знаки отличия, разительно свидетельствовавшие суету суетствий и всяческих суету; а в гробе, в простом сюртуке, даже не военного покроя, почивал тот, кто *бысть по имени своему велик на спасение избранных* русского Израиля, *мстити восстающим нань врагам, яко да наследствит ему* исконное достояние его...[322]

Всенощное бдение в Киеве накануне дня Успения Богоматери

Пройдите Россию из конца в конец, посетите все ее обители — ни в одной из них не найдете вы такового невообразимого величия, не услышите такого дивного пения, каким оглашается св. Киево-Печерская Лавра в навечерии дня Успения Богоматери... Если предки наши, посланные равноапостольным Владимиром изведать веру правую, видели подобное величие в константинопольском храме св. Софии, то не мудрено, что, воротясь к своему державцу, говорили, что они почитали себя стоящими на небесах; не мудрено, что присноживущие в обители препод. Антония и Феодосия, вкусив небесной сладости равноангельского жития, не хотят воротиться в наш мир, полный суеты и горького крушения духа.

Около восьмисот лет торжественно празднуется в св. Лавре день Успения Пресвятой Богородицы; около восьмисот лет стекаются в эту обитель «от запада и севера и моря и востока» православные чада Церкви Христовой, — и благодать, обильно истекавшая от живоносного источника в оны древние времена, не оскудевает и доселе.

Пойдемте со мною в великую церковь св. Лавры. Я давний жилец Киева; знаю все ходы и выходы в этом священном лабиринте.

Тысячепудовой Успенский колокол давно уже гудит, потрясая окрестный воздух и далеко разнося гул свой между горами и удолиями «посада, споривше го с Царьградом». Тысячи богомольцев теснятся на обширном дворе св. обители, не имея никакой возможности поместиться в храме, затопленном счастливцами, прежде их успевшими занять там места.

Остановимся на минуту и спросим этих простых, неиспорченных детей природы, или, лучше, сказать, нерастленных детей Божиих:

Вы откуда собрались,

Богомольцы, на поклон?

— и ответ каждого вольет в душу вашу сладкое чувство уверенности, что Русь не даром носит имя *святой*, что не оскудевает в ней вера детская, простая, угодная Богу, что для этой веры, окрыляемой усердием, нет ни трудов, ни лишений. Каждый из этих богомольцев скажет вам с поэтом:

— Я оттуда, где струится

Тихий Дон, краса степей.

— Я оттуда, где клубится

Беспредельный Енисей.

* * *

— Край мой теплый брег Евксина.

— Край мой брег тех дальних стран,

Где одна сплошная льдина

Заковала океан.

* * *

— Дик и страшен верх Алтая,

Вечен блеск его снегов,

Там земля моя родная.

— Мне отчизной старый Псков.

* * *

— Я от Ладоги холодной,

От лазурных волн Невы.

— Я от Камы многоводной.

— Я от матушки Москвы.

Но вот мы уже в храме. Неопределенный гул народа еще не угомонился; тысячи свечей разливают сомнительный блеск свой, споря с лучами заходящего солнца; там и сям виднеются коленопреклонненные, с трудом от тесноты воздевающие руку на крестное знамение; там и сям слышится простое, от сердца идущее слово молитвы: «Матушка, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй нас!». Сонмы рясофорных и послушников едва успевают принимать свечи —

этот видимый знак того богоугодного огня, который горит в серце каждого, приближающегося к Заступнице мира. Тяжелая, золотом украшенная свеча ставится рядом с тоненькою, из желтого, плохо очищенного воска, — и Бог весть, не горит ли она ярче пред Тем, Кто лепту вдовицы предпочел богатому даянию поклонников древне-иерусалимского храма!..

Грянули наконец оглушительным оркестром все колокола св. обители. Престарелый святитель Киева шествует в храм Божий, предводимый ликом клирошан. Все одушевилось, все напрягло внимание; и вот в растворенные двери храма шумным потоком врываются чудные звуки священной песни во славу Богоматери, и большая половина народа падает ниц; все крестятся, все молятся... Помните ли вы ту великую минуту, когда на утрени в великий день св. Пасхи, дверем затворенным, чуть-чуть слышатся вам из притвора желанные звуки и когда потом в слух ваш вдруг ударяют слова: *Христос воскресе из мертвых*? Только с этою восхитительно-чудною минутой можно сравнить то ощущение, какое объемлет душу вашу при настоящем пении священной песни, вдруг проторгшейся в массу народа и соединившей все молитвенные воздыхания в один полный аккорд, несущийся прямо к небу...

Маститый святитель установился уже на своей священно-архимандритской кафедре; начинается всенощное бдение. Часы показывают *половину шестого*.

Громовый голос главного уставщика заводит первый стих предначинательного псалма: хор безмолствует. Юный канонарх серебряным голосом продолжает чтение того же стиха, — и вдруг раздается пение огромного лика, составленного из одних монашествующих. Боже! Что это за пение!.. Слышал я много хоров на св. Руси; сам с любовию изучал нашу церковную музыку; понимаю ее настолько, насколько сил моих есть: но подобного пения выразить и перевести на ноты не могу да и не умею. Зачем, например, этот тенор вдруг вырывается дисонансом из общего, гармонического течения пьесы? Зачем баритон впадает в теноровую партицию и ведет ее до того, а не другого такта? Для чего не тянется непрерывною нитью звучный, серебряный голос канонархиста, а мгновенно блеснет и исчезнет, словно молния на оттушеванном нашедшею тучею небосклоне? Кажись, тут нет никакого порядка; кажись все дело чистого произвола: а между тем жалкими и бледными представляются все композиции великих мастеров церковной музыки перед этими потрясающими звуками, не подсказанными наукой, а вынесенными прямо из души, насквозь проникнутой тем чувством, с которым должно благословить Господа. Строгие контрапунктисты бросят свои теории и руководства перед этим пением, в прах повергающим всякое человеческое искусство... И замечательно, что лаврское пение не вдруг может предстать во всем величии явившемуся слушателю; испытующий дилетант музыки, пожалуй, даже заподозрит человека, наговорившего ему об этом, в пристрастии и непонимании дела. Но так оно и должно быть: лаврское пение — дело святое, чистое, небесное; а ко всему этому мы, по несчастному настроению нашей растленной природы, как-то глухи, тупы и неприимчивы. Для понимания вещей духовных заповедуют нам просветлить внутреннее зрение наше; точно так же и для понимания музыки, подобной лаврскому пению, надобно очистить внутренний слух наш, выкинув из него все пустопорожнее, светские мелодии, забыть даже, если возможно, что вы слушаете музыку, а научиться уноситься духом в молитвенном воздыхании, выражением которого Церковь Православная достойно и праведно признала не бездушные органы, а живой голос живого человека. Тогда только можно постигнуть и обнять душою это пение, подобного которому, говорю твердо и решительно, нет во всей Руси! Приглашаю какого угодно дилетанта походить неделю-другую в св. Лавру и благоговейно прислушаться к этим звукам, — сам потом удивится он тому своему неразумию, по милости которого прекрасное и высокое казалось ему чем-то простым и самым обыкновенным; сам не заметит, как простоит *ровно четверть часа*, слушая пение только предначинательного псалма.

Когда воздвигаем был обретенный св. Еленою Честный и Животворящий Крест, *на немже распятся Христос, Царь и Господь*, предстоящие, как говорит предание, возглашали только: *Господи помилуй*. Шумен, должно быть, был такой лик сотней тысяч, проникнутых одним чувством; чуден и невыразимо величествен аккорд необъятной толпы, слившейся в одну массу, и в двух только словах: *Кирие елейсон*, выражавшей все, что волновало ее тогда. Во все концы вселенной пошли потом эти слова, составившие душу и жизнь человечества, которому прежде всего нужно покаяние и помилование. Слышал я и моцартовское, и гайдновское *кирие елейсон*; слышал многообразные напевы, *Господи помилуй* и от наших православных хоров: но ни один из них и в сравнение идти не может с тем пением этих, по-видимому, самых простых слов, какое имеет Лавра. Переложено это пение и на искусственные наши ноты, с соблюдением как будто бы всего, что нужно: но нет, не то, — «аромата нет». В прах и сознание своего несчастного ничтожества повергается человек, слушая только *Господи, помилуй*, поемое немногоученым лаврским клиром. Все в этом пении — и грусть, и плач, и какая-то сердцу понятная отрада. В семь полных тактов adagio заключены те два слова, — заметьте, в семь тактов — знаменательное число? Отчего ж не в шесть, не в восемь? Не знаю; знаю только, что душа разрывается от этого сокрушающего плача…

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, — опять заводит тот же громовый голос уставщика, и опять начинается великая песнь, которую слушал бы, слушал, бесконечно слушал… Боже! Благодарим Тебя, что Ты сподобил нас, недостойных, вкушать от приснотекущей сладости утешения, так потребного душе, что Ты сохранил нас непричастными тому мертвящему учению века сего, которое, к сожалению, является ныне под названием цивилизации и прогресса! *Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых*!..

Слушайте теперь пение стихир на *Господи воззвах*; положите их в памяти и в сердце своем до следующего года; кто доживет, опять услышит; а кому судит Бог отыти от мира сего, — утешится он на смертном одре своем тем, что слышал и на земле ангельское пение, *имуще Гавриила чиноначальника*, и восклицал вместе с Церковию: *Благодатная, радуйся, с Тобою Господь*! Какая полнота звуков! Как все здесь разумно и понятно молящейся душе! Как кстати это громовое forte: *Благодатная, радуйся, с Тобою Господь*, несущееся в отверстые врата Великой церкви и к тем, кто стоит за стенами ее и ловит каждый звук, каждое внятно слышимое слово! И в храме, и вне храма — все повергаются ниц при этом благодатном привете Той, Которая *в рождестве девство сохранила, во успении мира не оставила* своим ходатайством и заступлением. *Двадцать* минут длится пение этих стихир: но кому ж это заметно? Кто чувствует усталость или изнеможение? Понятно и очень понятно теперь, что в вечном царстве Божием среди ликов, окружающих престол Агнца, закланного от сложения мира для блаженных наследников нескончаемой жизни, уже обремененных такою, как теперь, грубою плотью, и тысячи лет покажутся яко день един…

Уже десятый час ночи; ярче и светлее горят бесчисленные светильники пред иконами, залитыми золотом; темно стало за стенами храма, и фантастическими группами, при сиянии расставленных плошек, виднеются богомольцы, рассеянные по двору монастырскому. Первосвятителя уже не видно в самом храме: он в алтаре; шестопсалмие кончено: кафизмы с седальнами прочитаны и пропеты: наступает час погребения Богоматери. Из царских врат, в предшествии архимандритов, исходят три святителя в ризах белых, как апокалипсические старцы. Затем чудотворная икона Успения Пресв. Богородицы невидимо спускается и, ставши посредине царских врат, представляет умиленному взору припадающих к ней ту Величайшую Ходатаицу, *юже виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся*. Восхитительное трио лаврских певцов, прерываемое пением сто осмнадцатого псалма, оглашает своды великолепного храма. Один за другим святители совершают каждение всей церкви. И усердные молитвы, вместе с фимиамом, уходят в высоту, к престолу Бога Самого. Вот уж

окончилось и торжество погребения; мысленным взором мы проводили на небо Владычицу мира, и маститый архипастырь словами акафистными ублажает *Обрадованную, во успении своем нас не оставляющую*.

Во всем мире нет и быть не может ничего величественней и поразительней такого зрелища! Не люди, а сама Пресвятая Богородица устраивает для опальных жителей земли небесный пир сей. Плачет и радуется душа, величая *неоставившую мир во успении своем*! Люди, люди! Даст ли вам свет такую радость, окружая вас призрачным блеском веселий и торжеств? Взволнует ли он душу вашу тем прискорбно-отрадным чувством, которое единственно достойно человека как странника и пришельца мира сего?..

Умолкаю... *Шесть с половиною* часов длился божественный пир Богоматери: но не устала душа и живы впечатления, охватившие ее со всех сторон...

15 августа 1856 г.

За полночь

Муравьев Андрей Николаевич (Биографический очерк)[323]

Род Муравьевых известен в истории нашего Отечества многими славными деяниями, и три брата Муравьевых в последнее время глубоко врезали имена свои в ее скрижали. Старший из них, получивший титул графа, Михаил Николаевич, окончил земное поприще свое окончательным усмирением польского мятежа и введением русских порядков в западной России: средний — генерал-адъютант — Николай Николаевич, известен как покоритель Карса. По следам своих братьев пошел первоначально и Андрей Николаевич [1]. В 1827 году, 17-ти лет от роду, он поступил юнкером в 34 егерский полк и в том же году произведен был в прапорщики с переводом в Харьковский драгунский полк. Но в следующем же году, по Высочайшему приказу, уволен был от военной службы и определен «к делам статским», с повышением чина. В 1828 году Андрей Николаевич, выдержав экзамен в учрежденном при Московском университете комитете «в языках и науках, предписанных именным Высочайшим указом», определен в ведомство коллегии иностранных дел, с причислением к дипломатической канцелярии главнокомандующего второю армией, генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна.

Но не то было призванием незабвенного Андрея Николаевича. Возревновав по Богу и осязательно познав, сколь *благо есть исповедатися Господеви и пети имени Его, возвещати заутра милость Его и истину Его на всяку нощь,* он весь предался этому великому делу и деланию, не оставляя уже его до позднего вечера своей жизни. «Ничто особенное, — говорил в надгробном своем слове протоиерей Фаворов, — не предрасполагало его к тому роду деятельности, какому он посвятил свои дарования и силы. Ни происхождение, ни воспитание, ни внешнее положение в обществе не определяли сами собою его будущих занятий. Правда, он родился и воспитался в среде, глубоко проникнутой духом православной веры и благочестия; но это нисколько еще не предопределяло его к непосредственному служению вере и благочестию. Самые дарования, какими наградила его природа, могли быть обращены им на другие предметы без ущерба притом внутреннему религиозному его направлению. Он сам, свободно, по любви к Православию, всему предпочел прямое служение истине Православия христианского и остался до гроба верен раз избранному для себя служению. Те, которые видели его в молодых его летах, в военной службе, уже замечали в нем нечто в нравственном отношении особенное, отличавшее его от других молодых людей. В лице его отражалась серьезная мысль, и во всем его поведении оказывалась любовь к воздержной, правильной и чистой жизни. Его не чуждались другие, и он никого не чуждался; но в отношениях с ним само

собою неуместным являлось все не довольно скромное и легкомысленное, что́ так обыкновенно в среде молодежи, когда она без разборчивости ищет себе удовольствий и как бы своим правом считает не стесняться строгими правилами нравственности. И еще тогда, любя литературные занятия, он избирал для них такие предметы, которые, хотя и не относились прямо к предметам веры и благочестия христианского, но способны были возбуждать и питать мысли и чувства благочестивого христианина.

Из детства научившись любить Христа Спасителя и постоянно нося в душе своей евангельские образы и события, Андрей Николаевич желал посетить те места, где Господь жил, учил, страдал и умер за нас. Как высшего на земле счастья жаждал он ступить на ту почву, которой касались ноги Богочеловека, созерцать следы Его жизни на земле, облобызать предметы, освященные Его прикосновением, и помолиться там, где Он Сам молился Отцу Своему небесному за грешный род человеческий. Господь дал ему по желанию сердца его; и тогда он захотел поделиться с другими своими впечатлениями, наблюдениями и чувствами. Это и послужило началом его литературной деятельности, религиозной не только по духу своему, но и по самим предметам, на которых она сосредоточивалась. «Путешествие по святым местам» благочестивого и красноречивого паломника имело громадный успех в современном читающем мире. «Пламенное, — говорил о. протоиерей Оглоблин, — излияние благоговейных чувств поклонника при виде св. Иерусалима, во время шествия «крестным путем» Спасителя, при лобзании Голгофы, орошенной Божественною кровью Искупителя, и других священных предметов; потрясающие душу изображения дивных подвигов великих древних подвижников Палестины, величественные образы ее минувшей давнишней славы, — все это глубоко трогало, неудержимо увлекало каждого почитателя святыни, заставляя его читать и перечитывать красноречивое «Путешествие», которым Андрей Николаевич не только обновил искони свойственную русским любовь к св. местам, но и положил счастливое начало появлению у нас новейших «Путешествий по св. земле», довольно уже не малочисленных в настоящую пору».

Через полгода, по возвращении на родину, Андрей Николаевич, по предложению вице-канцлера графа Нессельроде, определен был столоначальником в азиатском департаменте и 1 января 1833 года пожалован чином коллежского ассесора, а 22 апреля того же года, по именному Высочайшему указу, определен за прокурорский стол Св. Синода, с оставлением в ведомстве министерства иностранных дел. В 1836 году он получил чин надворного советника, Высочайше пожалован в камергеры Двора Его Императорского Величества и назначен членом хозяйственного комитета при Св. Синоде; в 1838 году получил, за отличие, чин коллежского советника, а в 1840-м, по преобразовании хозяйственного комитета, назначен был членом общего присутствия духовно-учебного управления при Св. Синоде. В 1842 году уволенный, по прошению, от службы при Св. Синоде, Андрей Николаевич определен был членом общего присутствия азиатского департамента и в том же году произведен в статские советники. В 1846 году он назначен был по Высочайшему повелению чиновником особых поручений V класса при том же департаменте; а 1855 году произведен в действительные статские советники и через два года, вследствие представления министра внутренних дел, Всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем с вензеловым изображением имени Его Императорского Величества. Оставив вскоре после сего служебную деятельность, Андрей Николаевич поселился сначала в Москве, а потом, в конце 1860 года, переехал в Киев, где приобрел собственный дом, выстроив его на самом, так сказать, романическом месте и сделав его предметом любопытства знаменитых посетителей Киева. Тут он прожил до самой своей кончины, состоя последние два года председателем Свято-Владимирского братства. Память о последнем своем пребывании в Киеве Андрей Николаевич увековечил почином и стараниями об учреждении ежегодно, с особенным торжеством совершаемого крестного хода к памятнику св. Владимира (15 июля) и устройством подземной церкви под храмом св. Андрея Первозванного.

Мы изложили хоть и кратко, но с возможною подробностью служебную деятельность покойного Андрея Николаевича и должны признаться, что если бы только тем она и ограничилась, то ничем особенным не выдался бы он из ряда людей служилых, совершивших более блестящую карьеру, и не заслужил бы того исключительного почета и уважения, какими пользовался он при жизни своей и которые пошли за ним и за пределы гроба. Андрей Николаевич памятен именно тем, что сознательно познал, сколь *благо есть исповедатися Господеви и пети имени Его, возвещати заутра милость и истину Его.*

Громадный успех «Путешествия по св. местам» и сам по себе возбуждал уже автора к дальнейшим трудам в подобном роде; но, кроме того, говорит о. протоиерей Фаворов, «он сознавал себя нравственно обязанным пользоваться дарованными ему от Бога талантами именно так, как начал он ими пользоваться. И с этих пор, действительно, стали появляться, одно за другим, различные произведения его, в которых он то раскрывал смысл и изображал высокое благолепие и красоту священных обрядов богослужения Церкви Православной, то указывал и доказывал правду Восточной церкви в отношении отделившейся от нее церкви Западной, то обращался с словом вразумления к неверующим, то подавал руку помощи колеблющимся в Православии, то обнаруживал намеренные или ненамеренные лжи иностранных писателей касательно Православной Церкви, то отзывался сочувственно на голос хотя неправославных, но любящих веру Христову мыслителей; словом, догмат, обряд, история, полемика, нравоучение — все делалось предметом для его строгого и красноречивого пера, когда он видел потребность в изложении таких предметов и надеялся словом своим содействовать духовному просвещению, торжеству правды, одушевлению веры и возвышению нравственности. Он всегда зорко присматривался к тому, что происходит в религиозном мире, и старался пользоваться, как можно, представлявшимися случаями к употреблению в дело своих знаний и способностей. Ревность говорить за веру и для веры равнялась в нем дару скоро обнимать предметы и легко выражать свои мысли на бумаге; оттого он писал много и произведения его, по количеству своему, составляют очень богатый вклад в нашу духовную письменность».

Из многочисленных литературных трудов Андрея Николаевича Муравьева, кроме известных его «Путешествий», особенно замечательны: 1) Римские письма; 2) Письма с Востока; 3) Письма о богослужении Восточной церкви;[324] 4) История Иерусалима; 5) История первых четырех веков христианства; 6) История Русской церкви; 7) Грузия и Армения; 8) Киев и его святыня; 9) Битва при Тивериаде (трагедия); 10) Драматические эскизы Данта и многое множество статей, рассеянных по изданиям повременным.

Все произведения Андрея Николаевича, говорил о. протоиерей Н. А. Фаворов, «одушевлены искреннею любовью к св. вере и Церкви Православной, запечатлены духом чистой ревности по истине и благочестию христианскому. Слова писателя не разнились с его внутренними убеждениями; он как сам сознавал Православную Церковь тихим и надежным пристанищем от волнений житейских, так и другим желал войти в эту пристань или не выходить, если они уже в ней находились. Произведения с такими свойствами не могут быть бесплодными, как ни судили бы о их качествах в других отношениях… Мы, — продолжает о. протоиерей Фаворов, — не знаем — на кого, и как, и сколько они действовали; но если праздное слово, брошенное, так сказать, на ветер, не остается без всякого, разумеется, вредного действия на других, — то может ли доброе слово исчезнуть без следа и не принесть никакого плода по роду своему? А кто всю жизнь свою старался, по силам, сеять слова истины и правды, тот — верное слово — недаром жил на земле и не *погубит мзды своея* у всевидящего Господа, во имя Которого трудился… Впрочем, есть и очевидное свидетельство доброплодности письменных трудов его. Произведения А. Н. Муравьева расходились в весьма значительном количестве — знак, что они постоянно находили для себя немалое число читателей. А так как в них не было ничего, что

или раздражало бы любопытство, или льстило бы чувственности, или занимало бы воображение какими-нибудь вымышленными образами, то явно, что они возбуждали и питали в читателях истинное любознание и содействовали образованию в них вкуса к предметам религиозно-нравственного мира».

«Может быть, — замечает о. протоиерей Фаворов, — теперь произведения уже не возбуждают к себе большого внимания в нашей среде читающих. Нам случилось однажды услышать из его собственных уст такое грустное сознание: «Я пережил свои сочинения!» Что ж, — это судьба большей части человеческих произведений; но в ней нет еще приговора посильным трудам того или другого человека. Не все то лишено истинных достоинств, что с течением времени перестает обращать на себя внимание». Не все то, прибавим от себя, обилует истинными достоинствами, что пользуется долговечною известностью; все зависит от духа времени и от жизненной обстановки. «Евгений Онегин» Пушкина или «Цыганка» Баратынского будут долговечнее «Путешествия по св. местам» или «Писем с Востока» Муравьева; но упрек в этом должен падать не на автора, а на общество, в котором не переводятся ни Онегины, ни Ленские, ни Татьяны, ни цыганки. «Человеку, — продолжаем словами о. протоиерея Фаворова, — вложившему в труды свои все дарования и силы свои, естественно чувствовать большую или меньшую грусть в сердце, когда он видит, что пора его влияния проходит; но к нему близко и утешение, что сделанное им в данное время послужило приношением в общую сокровищницу просвещения человеческого, слагающуюся из добрых и полезных духовных приношений всякого времени. И мы должны помнить, что всякое поколение пользуется духовным наследством от предшествующих поколений, хотя большею частью не только не знает — от кого именно то или другое наследовано, но и не различает ясно унаследованного от приобретенного им самим».

«Любовь Андрея Николаевича к Церкви Православной образовала в нем такого преданного ей сына, для которого ее уставы всегда были святы и который в самой домашней обстановке своей желал видеть некоторое подобие церковного благолепия. Как дорого было для него все, что касалось церковного порядка и благочиния! Как услаждало его стройное отправление богослужения и как глубоко огорчали нарушения церковного строя! Если в последнем случае ревность его, казалось, переходила иногда законные пределы, то не будем скоры на осуждение, чтобы, может быть, мнимому недостатку христианского смирения не предпочесть действительного порока равнодушия к вере и Церкви Христовой. Гораздо лучше и справедливее поступит тот, кто припомнит и оценит немнимые услуги покойного, оказанные им во многих случаях, по благочестивой ревности, Церкви и обществу».

Нельзя не слышать в последних словах достоуважаемого ценителя жизни и подвигов Андрея Николаевича Муравьева как бы некоторого упрека в том, что ревность его по Церкви Православной «переходила иногда законные пределы». Этот слишком ходячий упрек был высказываем ему даже великим иерархом земли русской, московским митрополитом Филаретом [2], с которым он состоял в постоянной и интимной переписке. Действительно, Муравьев, если можно так выразиться, был полицейместером при отправлении каждого богослужения и небоязненно обличал тут же, на месте, всякую аномалию: но едва ли это значит, что он переступал иногда законные пределы. Мы все до единого сыны, а не пасынки Церкви: все обязаны блюсти интересы ее, и хоть нарицаемся овцами стада Христова, но овцами не бессловесными, и если пастыри не исполняют своего служения, как подобает по чину и уставу, то и овца может заметить им это. Пророк Иезекииль хоть и был от колена Левиина, но не был официальным пастырем; а кто больше его обличал пастырей? Особенно это неизбежно в наше время, когда к уставам Церкви относятся иногда с пренебрежением, давая волю собственному произволу и расширяя чересчур заметку: *аще изволит настоятель.* Муравьев не хотел знать этого «изволенья» и настойчиво требовал исполнения всего того, что положено

в Церковном Уставе. Даже в последние минуты жизни своей, уже на смертном одре, он остался верен этому правилу. Когда совершено было над ним таинство елеосвящения, он, прощаясь с епископом и пресвитерами, сказал им, что таинство совершено было «чинно». Пошли нам, Господи, побольше людей, так преступающих законные пределы ревнования по Православию!

Андрей Николаевич не был, однако ж, фанатиком, свирепствующим против всех и вся, что не подходит под его точку зрения. И по происхождению, и по воспитанию своему, принадлежа к лучшему обществу, он нигде не являлся каким-нибудь дикобразом и умел вести беседу оживляющую и веселую; даже к легкомысленному неверию и модному сомнению относился он, как к шалостям ребенка, игравшего его брелоками при часах. Но Боже сохрани, если кто проговаривался перед ним каким-либо умышленным кощунством или высокомерным свободомыслием. Андрей Николаевич разражался громом обличения и молниями неотразимых сарказмов. Тут уже не было пощады виноватому, и неловко становилось ему тогда в обществе людей порядочных.

Переходим к последним дням жизни Андрея Николаевича Муравьева.

Упадок жизненных сил его стал очень заметен еще с прошедшей осени. Но крепкое от природы телосложение и правильный образ жизни не давали силам падать быстро, и в продолжение целой зимы не произошло значительных изменений в его повседневной, непрерывной деятельности. Весною сего года он даже предпринял путешествие на Афон для обеспечения прав основанного им там русского Андреевского скита и для образумления греческих монахов, восставших на русскую братию монастыря св. Пантелеймона. Несмотря на стоявший нынешнею весною холод на Босфоре, не позволивший Муравьеву воспользоваться морским купаньем, здоровье его, по-видимому, улучшилось, и Андрей Николаевич, возвратившись в Киев, с обновленными силами и с энергией принялся продолжать начатое им еще до отъезда на Афон сочинение против пресловутого «Проекта духовносудебной реформы». Но это было уже заключительным, последним делом его многоплодной общественной деятельности…

С первых чисел августа прошлогодний недуг открылся в небывалой дотоле силе, обнаружившись изнурительным лихорадочным состоянием и крайним упадком сил, что однако ж не мешало ему продолжать обычные свои занятия и особенно посещать возлюбленный свой Андреевский храм. Но с праздника Успения Божией Матери Андрей Николаевич уже сделался так слаб, что не мог быть и на всенощной, которую не пропустил ни разу во все время пребывания своего в Киеве. Утром 16 августа преосвящ. Филарет, ректор академии, с несколькими градскими протоиереями и иеромонахами Братского монастыря совершил над болящим, при полном его сознании, таинство елеосвящения. За сим последовало окончательное приготовление его к переходу из временной в вечную жизнь. День 17 августа Андрей Николаевич провел без особенных потрясений, а равно и утро 18-го, и только за три часа до смерти оставило его сознание и умолкли красноречивые уста. Было 5 часов пополудни…

Во все время от кончины его до выноса тела в церковь панихиды по усопшем, в полдень и в вечеру, отправляемы были попеременно преосвящ. Филаретом и преосвящ. Александром (бывшим Полтавским), при участии градского и монастырского духовенства. При выносе тела в Андреевскую церковь, 20 августа в 12 часов дня, совершенном преосвящ. Филаретом, присутствовали соборные и градские протоиереи и иереи при несметном множестве народа. Погребение отправлено в той же церкви высокопреосвящ. митрополитом Арсением при участии преосвященных Филарета и Александра и представителей всех важнейших киевских церквей и монастырей. Причем за заупокойною обеднею произнесено было два слова — профессором богословия в Киевском университете, протоиереем Н. А. Фаворовым, и ключарем

Софийского собора, протоиереем Н. Я. Оглоблиным.

Но предание тела земле, по причине опоздавшей телеграммы с Высочайшим разрешением о погребении усопшего под Андреевской церковью, последовало 22 августа в 12 часов дня. Величественный Андреевский храм далеко не мог вместить в себе всех собравшихся отдать последний долг Андрею Николаевичу, так что, кроме родных и начальствующих, гражданских и военных чинов, почти никому не пришлось прощаться с ним в храме. Зато обширная терраса вокруг храма, вся широкая, длинная, с тремя уступами лестница, вся площадка у подножия ее и все ведущие к храму улицы буквально запружены были народом. Поразительна была картина следования гроба от верхней церкви по обширной лестнице, мимо средней, в самую нижнюю, называемую «подземную», устроенную самим Андреем Николаевичем в глубоком храмовом подвале во имя препод. Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Тут и почил он прахом своим до общего воскресения.

Мир душе твоей и вечная память тебе *муж славный, поведавший* нам *словеса в наказании* и *повести в писаниих* твоих![325]

Самарин Юрий Федорович (Некролог)

Еще не стало одного из сильных деятелей русской мысли… 19 марта, после кратковременной болезни, скончался в Берлине *Юрий Федорович Самарин* [1].

Не слишком блистательна была официальная деятельность покойного: но он успел сделать себе громкое имя как один из лучших знатоков русской жизни и лучших друзей русского народа. «Десятки лет, — говорил в своей речи профессор Петербургского университета, священник М. И. Горчаков, — мужественно и неустанно подвизался он, и жизнь свою положил на подвиги за веру и Отечество. Он подвизался как истинный, православно-русский герой, с оружием науки, мысли, слова, печати, с воодушевленной силой глубоких, широко обдуманных жизненных святых убеждений; с твердостью непреклонного патриотизма, с щитом веры, правды и любви, в шлеме народности и Православия. Он один из первых верно понял и объяснил просвещенному русскому обществу того врага нашего Отечества и Православной Церкви, который, очутившись в пределах России во второй половине XVIII века, крепко засел и непонятым образом удержался у нас тогда, когда его не терпели во всем свете, и, хотя не раз открыто изгонялся из пределов русских, снова тайно поселялся между нами, лукаво мутил и подчас еще мутит нашу науку, воспитание и жизнь. Юрий Самарин, один из немногих, к сожалению, образованных и ученых православных мирян Православной Церкви, ясно понимал, указывал и бодро отстаивал ту несомненную истину, что в обществе Православной Церкви заключается неиссякаемый источник великих народных, жизненных, нравственных сил, совершенно необходимых для содействия прогрессивному движению всестороннего благополучия русских граждан, и в кругу своей деятельности привлекал эти силы к саморазвитию и самодеятельности… Самарин был носитель и выразитель религиозного и церковного правосознания тех немногочисленных «образованных» православных мирян, которые, через посредство прихода, принадлежат к Церкви по своим церковным правам и обязанностям, своими верованиями и жизнью, а не для формуляра о государственной службе. Чем малочисленнее количество таких редких прихожан, тем дороже они для всей русской Православной Церкви. О всех, — заключил речь свою Михаил Горчаков, — мужественно подвизавшихся за веру и Отечество и в добром подвиге окончивших свою жизнь, русская Православная Церковь торжественно и ежегодно молится и вечно будет молиться».

«Самарин, — говорил в своей превосходной речи князь А. И. Васильчиков, — был в наше время, в нашем современном обществе, действительно деятель в полном и лучшем значении этого

слова, — не из тех, которые держат только речи и сочиняют проекты, но из других, которые и словом, и делом, своими познаниями и умом, своим участием в пробуждающейся общественной жизни, действительно, принесли пользу Отечеству и своей братии, не только меньшей, но и большей…

У народов, как и у царей, бывают льстивые и опасные друзья, и самые искренние чувства теряют свою цену, когда, увлекаясь крайностями, преувеличивая хорошие стороны и умаляя дурные, публицист или общественный деятель извращает факты для пользы своего дела. Это иезуитское правило никогда не руководило Самарина, хотя иезуиты не только латинской церкви, но и других приходов и уличали его в каком-то славянофильском доктринерстве. Действительно, у него была доктрина, как у всякого человека с твердыми убеждениями, но доктрина, чуждая всякой исключительности; он высоко ценил западную цивилизацию, изучал основательно классическую древность, знал, как не многие из нас, новейшие языки; но весь этот запас и богатый запас сведений и знаний применял разборчиво к русскому быту, принимал одно и отвергал другое. Культуру других народов он уважал глубоко, даже глубже, чем те, которые обвиняли его в узкости взглядов, потому что он требовал для России именно того условия, которое создало другие цивилизации, чтоб она вырастала из корней и семян, а не из культурных черенков, привитых сверху к диким стволам. Это была его доктрина. Он боялся ломки народного быта, преждевременного и легкомысленного искажения его коренных начал; но в то же время защищал всеми силами те нововведения, которые вносили свет и жизнь в русское общество, хотя бы они исходили из чужих краев».

Таковы были поминки в Петербурге и проводы одного из достойнейших и трудно заменимых деятелей нашей общественной жизни. Во всей широте исполнились над усопшим Юрием Федоровичем Самариным слова Писания: *Телеса их в мире погребена быша, и имена их живут в роды. Премудрость их поведят людие, и похвалу их исповесть Церковь*[326].

Москва едва ли даже не переспорила Петербург в торжественной встрече и чествовании памяти своего родимого питомца. К двум часам пополудни 29 марта в Николаевский вокзал начала стекаться многочисленная и разнообразная публика. В половине третьего часа вся платформа залита была народом. С прибытием пассажирского поезда гроб был вынесен из товарного вагона на платформу, где тремя священниками при участии двух диаконов отправлена была краткая заупокойная лития, затем гроб, украшенный лавровым венком и усыпанный цветами, поставлен был на катафалк и тронулся, в сопровождении многочисленной толпы народа, в университетскую церковь. На другой день происходило отпевание покойного, которое совершал сам маститый первосвятитель Москвы, высокопреосвященнейший митрополит Иннокентий, высоко ценивший заслуги Самарина Церкви, Престолу и Отечеству. Останки его перевезены были в Данилов монастырь, где и почили до общего всех воскресения…

Завидна участь твоя, *муж именитый силою, советовавший разумом своим, провещававший во пророчествах старейшина людей в советех и в разуме писания людей! Многу славу создав тебе Господь величием Своим от века!..*[327]

Мои воспоминания о преосвящ. Арсение, митрополите Киевском

В первый раз я имел честь представиться покойному митрополиту Арсению [1] в 1847 году в Житомире, куда приезжал он из Варшавы на летнее время. Тогда я был уже советником губернского правления. Признаюсь, не без смущения явился я к Владыке, ибо чувствовал за собою маленький грешок против него. Дело в том, что в числе студентов IX курса Киевской академии находился племянник его, поступивший в высшее училище из среднего отделения

семинарии и, конечно, ни за что не выдержавший бы приемного экзамена, если бы не авторитет всеми уважаемого дяди. По своей горячности я сделался неумолимым гонителем этого доброго, впрочем, и безответного юноши, явившегося в студенческую среду с ментором из талантливых тамбовских семинаристов и заискивавшего милости и благоволения у власть имеющих. Не знаю, как теперь, а в наше время стоило только обзавестись какою-нибудь протекцией, чтоб окончательно погибнуть во мнении товарищей. Будь хоть потомком или родственником шаха Наср-Эддина, но работай и трудись вместе со всеми другими, тогда тебе вдвойне почет и уважение. Как ни ухаживал около меня злополучный юноша, как ни угождал мне, я оставался неукротимым; влиянием моим на товарищей успел я оттолкнуть от него всех и относиться к нему с состраданием, чтó в иную пору жесточе всякой обиды, и кончил тем, что он не получил той степени, на которую рассчитывал, надеясь на протекцию академического начальства. Весьма естественно, что в письмах своих к дяде он не мог не жаловаться на меня как на своего гонителя, и, стало быть, имя мое должно было быть известным преосвящ. Арсению, бывшему тогда епископом Тамбовским. Понятно поэтому смущение, с каким переступил я порог того дома, в котором всегда был как свой при предместнике Владыки, преосвящ. Никаноре, впоследствии митрополите Новгородском и С.-Петербургском. Я еще ни разу не видал преосвящ. Арсения и потому спешил вглядеться в него, когда он медленными шагами и несколько сгорбившись выходил ко мне из гостиной. Сделав несколько шагов, я сложил руки для принятия благословения.

— Так вы-то г. Аскоченский? — сказал он, устремив на меня проницательный взор. — Я много слышал о вас, — прибавил он довольно значительно.

И конечно, ничего доброго, подумал я.

Владыка пригласил меня в гостиную. Мы сели. Разговор плохо вязался. Обоим нам было как будто неловко. Я ожидал, что преосвященный вспомнит о прошлом; но ни в эту минуту, ни в продолжение всего долголетнего нашего знакомства не обронил он ни одного слова о своем племяннике. Даже приветствие мое с возведением его в последнее время на высшую степень иерархического служения он принял совершенно безучастно и как бы с некоторым смущением.

Но чем далее, тем свободнее и непринужденнее потекла речь словоохотливого архипастыря. Он с участием выслушал горькую повесть о недавней моей утрате и со свойственною ему теплотою чувства утешал меня и уговаривал не скорбеть о почившей жене моей, как не имущему упования. Много говорил он и об управлении Юго-Западного края, который изучил он очень хорошо, будучи непосредственным деятелем среди католического народонаселения Подолии и потом Волыни. Припомнился мне при этом отзыв глубокого знатока людей, покойного генерал-губернатора, Димитрия Гавриловича Бибикова, о преосвящ. Арсении. Получив, не знаю, какую-то бумагу и прочитав ее про себя, он сказал мне именно так: «…если б с этого *nona* снять золотую шапку да посадить на министерский стул, — Россия имела бы своего Фуше». Что хотел выразить этим один из великих людей царствования Николая I, — не знаю; но знаю только то, что он всегда относился с глубоким уважением к архипастырю Подолии и имел с ним интимную переписку.

Получив приглашение посещать Владыку как только вздумаю, я не мог пользоваться этим часто: но все же раза два или три был у него, впрочем, вместе с другими гостями и, стало быть, ничем особенным не могу отметить моих визитов. Владыка прогостил в Житомире недолго; а в начале следующего года выехал и я в Каменец-Подольск на должность совестного судьи от короны.

Тяжело вспомнить об этой поре моей служебной. Не сумев сделать себе никакого состояния ни

в звании советника губернского правления, ни в звании совестного судьи и исправляющего должность председателя гражданской палаты, я влачил бедственную жизнь и, к довершению моего бедствия, впутался в дело, кончившееся для меня весьма неблагоприятно. Я должен был оставить службу и — что всего было тяжелее для меня — лишиться доверия и покровительства незабвенного благодетеля моего, Димитрия Гавриловича Бибикова.

В эту минуту вспомнил я о преосвящ. Арсении и написал к нему в Варшаву, излагая со всею откровенностью повредившее мне дело и прося его ходатайства за себя пред введенным в заблуждение благодетелем моим. 4 апреля 1852 года я получил от Владыки следующее письмо.

«Достопочтеннейший В. И. И без вашего письма знаю я о критическом вашем положении и от всей души желал бы помочь вам; только, откровенно говоря, не знаю, где и как можно бы было помочь вам. Времена и люди ныне мудреные: таких людей, как вы, не жалуют; везде и во всем хотят иметь себе только послушные орудия, то есть sanetam papalem obedientiam; а вы знаете, что значит это выражение во всей необъятной его силе и обширности. По моему мнению, более верное и лучшее для вас средство выпутаться из беды состоит в том, чтобы вы отправились в Киев и явились лично к Димитрию Гавриловичу с покорною головою и с скромным, но обстоятельным объяснением вашего дела. Эта мера, кажется, не останется безуспешною. Впрочем, пришлите, пожалуй, и ко мне копию с послужного вашего списка, и я со своей стороны буду искать случая помочь вам.

Засим, призывая на Вас благословение Божие, имею честь быть вашим покорнейшим слугою **Арсений**, архиепископ Варшавский».

Но дело было уже испорчено. Я не мог воспользоваться ни советом благожелательного мне архипастыря, ни переменою ко мне отношений Димитрия Гавриловича Бибикова, увидевшего, наконец, что я сделался жертвою интриги, сплетней и бессовестной клеветы. Вышедши в отставку, я переехал в Киев и, обнадеженный благодетелем моим, стал ожидать назначения меня на соответственную должность. Но Димитрий Гаврилович скоро сошел с высокого своего поприща, и я остался, как говорится, на бобах. Чтобы открыть хоть какой-нибудь источник к своему пропитанию, я обратился к литературным занятиям. Ввиду крайней неудовлетворительности студенческого сочинения, написанного иеромонахом (ныне архиепископом Литовским) Макарием, бывший тогда ректором киевской академии, ныне преосвящ. Антоний, архиепископ Казанский, предложил мне заняться составлением более полной Истории Киевской академии. Горячо принялся я за дело и ровно в один год написал два тома под названием: *Киев с древнейшим его училищем — академией.* Один экземпляр этого сочинения препроводил я, при письме, к просвящ. Арсению и 11 января 1857 года получил от него следующий ответ:

«Возлюбленный о Господе В. И! Ответ на письмо ваше от 25 ноября прошлого года я несколько замедлил: виноват, простите.

Вы желаете узнать о литературных трудах своих мой отзыв? Охотно и откровенно я готов сказать вам о том мое мнение, не выдавая, впрочем, оного за авторитет безошибочный. Я признаю в вас редкую способность и терпение собирать и подбирать к избранному вами предмету все, что прямо или косвенно к нему относится, — из малых и часто недоконченных данных выводить заключения казистые, хотя отчасти и преувеличенные, исторические пробелы восполнять своими соображениями и догадками, если не всегда, может быть, верными, то всегда правдоподобными, — места опасные и камни подводные удачно обходить искусным молчанием или полунамеком безукоризненным, — рассказу своему, несмотря иногда на скудость содержания, придавать живость и за внимательность к языку, по местам, сообщать

саркастическую терпкость и едкость, словом, я нахожу, что вы больше можете оказать пользы себе и другим на этом поприще, нежели за столом юридическим хотя бы даже и в звании судии совестного при бессовестных или малосовестных сотрудниках.

Итак, с Богом за новый какой-либо труд в том же роде, и особенно полемическом, к чему я признаю вас наиболее способным. Вот бы хорошо, если бы вы принялись за соседнее нам католичество!

Призывая на вас благословение Божие, с истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою **Арсений** А. Варшавский».

В 1858 году я переехал в Петербург и, не имея никаких средств, а единственно уповая на милосердие Божие и поддержку наших архипастырей, основал журнал мой. Преосвящ. Арсений приветствовал меня с этим 9 апреля 1859 года следующим письмом:

«Возлюбленный о Господе В. И. От души радуюсь, что вы, наконец, попали в свою сферу и к своему столь сродному вам делу и, поздравляя вас, призываю на вас и работу вашу благословение Божие, споспешествующее и богатящее.

О выписке *Беседы* вашей как журнала действительно весьма полезного во все монастыри и церкви Варшавской и Волынской епархий и я сделал надлежащее распоряжение, только в виде приглашения, а не в виде повеления, которого я как не член Синода не имел права давать. Ваш покорнейший слуга **Арсений** А. Варшавский».

Перебиваясь кое-как с моим изданием, я подвергся некоторым притеснениям со стороны двух цензур, духовной и светской, из коих последняя строго преследовала каждую мою мысль, каждое слово[328].

Были минуты, когда я хотел уже бросить дело и поступить на службу, убеждаемый к тому бывшим обер-прокурором Св. Синода, графом Александром Петровичем Толстым [2]. Нужно было поискать себе защитников, и я искал их не напрасно. Пишу это для того, чтобы был понятен смысл следующего письма преосвящ. Арсения, которое писал он мне от 3 января 1860 года.

«Возлюбленный о Господе В. И! На поздравление ваше меня с праздником Рождества Христова и Новым годом отвечаю моим поздравлением, столь же искренним и столь же благожелательным, призывая вместе на вас и на дело рук и головы вашей благословение воплотившегося нас ради Христа Бога нашего, ободряющее, укрепляющее и утешающее.

Сожалею я о вашем горе; но, живя в мире, можно ли без горя обойтись? Значит, это в порядке вещей. И потому излишне не скорбите и не унывайте, но вместо того вооружитесь, с одной стороны, христианским великодушием и терпением, а с другой — мудрым правилом, указанным Самою Ипостасною Премудростью: *будите мудри, яко змия, и цели, яко голубие*. Впрочем, если высокопреосвященный митрополит Киевский[329] принял уже вас под свое покровительство, то я не вижу для вас истинной опасности.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашим покорнейшим слугою **Арсений** А. Варшавский».

С назначением высокопреосвященнейшего Арсения киевским митрополитом переписка наша несколько сократилась, так как Владыка ежегодно вызываем был в Петербург для присутствования в Св. Синоде: но зато отношения наши сделались интимнее и чаще.

Благодушный архипастырь всякий раз встречал меня, как отец сына, и беседы наши длились иногда по нескольку часов о предметах серьезных, вызывающих на размышление. Для этого я всегда старался приезжать к Владыке пораньше, пока еще нет посетителей, в присутствии которых неудобно было слишком распространяться и откровенничать. «Слава Богу, — говаривал иногда Владыка, — сегодня не помешали поговорить нам».

Но была минута в моей жизни, минута незабвенная, память о которой завещаваю я детям моим с непрестанною молитвою об упокоении души в Бозе почившего архипастыря — благодетеля и отца моего.

Пятнадцать лет я вдовствовал и перестал уже думать о счастии семейной жизни. Но Господу Богу угодно было указать мне на одно чистое и прекрасное существо, которое решилось пойти рядом со мною по тернистому пути жизни моей. Все это сделалось так проворно и неожиданно, что я почувствовал нужду в подкреплении на такой важный шаг в жизни. К кому же, подумал я, обратиться, как не к тому, кто показал мне столько опытов истинно отеческого внимания? И вот, не сказав никому ни слова, я явился 1 апреля 1863 года к преосвященному Арсению не в обычный час, именно в самый полдень. Владыка принял меня немедленно; но по встревоженному моему виду и несвоевременному визиту не мог не заметить, что я приехал недаром. Не помню, о чем пошла у нас сначала речь: мне не до того было; я отвечал невпопад и слушал невнимательно.

— Владыка, — сказал я, перебивая поток его речи, — вы заменяете мне мать и отца. Я приехал к вам за родительским советом и благословением.

— Что такое? — спросил он с любопытством.

— Я хочу сделать глупость.

— Какую?

— Хочу жениться.

— Ну, тут я еще не вижу глупости. На ком?

Я рассказал биографию моей избранницы, едва удерживаясь от слез[330]. Смотрю, — Владыка поднимается и уходит к себе в кабинет. Я остался в гостиной. Через две или три минуты отворяется дверь, и Владыка идет ко мне с иконою благословляющего Спасителя. Увидав это, я преклонил колена. Осенив меня иконою, незабвенный произнес следующие приснопамятные для меня слова:

— Бог тебя благословит. Да пролиет Он елей на твою растерзанную душу[331].

Я зарыдал и долго-долго стоял пред святителем, обнимая его колени…

Боже, с каким радостным трепетанием сердца спешил я потом к моей избраннице! Со мною была икона благословляющего Спасителя и благословение святителя Христова…

Прошло несколько годов. У меня уж было трое малюток. Дорогую именинницу мою почтили однажды своим посещением высокопреосвященнейшие митрополит Арсений Киевский, Иннокентий Московский, Нектарий, архиепископ Харьковский и другие из высших лиц нашей иерархии. За обеденным столом я припомнил Владыке сказанные им слова, засвидетельствовав пред всеми действенность его святительского благословения. На речь мою преосвященный Арсений отвечал следующими, в тот же день записанными мною словами: «Благодарю Бога,

избравшего меня орудием Своей милости; благодарю и вас, заслуживших эту милость. Я рад, сделавшись *посаженым* вашим отцом. Приятно иметь таких детей. Вы с верою приняли смиренное благословение мое, и по вере вашей ниспослано вам, то счастие, которого все мы свидетели. Да не оскудеет же оно и во все продолжение жизни вашей!

Незабвенный отец и благодетель мой! *Аще забуду тебе, забвена буди десница моя; прилепни язык мой гортани моему, аще не помяну, аще не предложу тебе яко в начале веселия моего!..*

И до последних минут жизни своей не оставлял он отеческим вниманием своим *посаженую* свою дочь и детей ее и моих. «Благословенная чета!» — всякий раз приветствовал он нас, встречая. Часто, обращаясь к жене моей, он говаривал в шутку: «Как это вы решились выйти за такого зверя? Теперь он стал ручнее, и этим мы, без сомнения, обязаны вам». Каждое событие в моем семействе он принимал к сердцу, как истинный отец. Слезы мрачат очи мои, когда пишу я эти строки…

В половине 1867 года я сильно захворал. Работая через силу по своему журналу, я чувствовал себя в отношении финансовом в самом плохом положении и написал об этом к высокому моему благодетелю. Вот чем отвечал он мне от 24 июля 1867 года.

«Возлюбленный о Господе В. И! Душевно сожалею о постигшей и вашу крепкую натуру болезни. Судя по внешнему вашему виду, можно было подумать, что никакая немощь к вам не посмеет прикоснуться; а если и прикоснется ненарочно, то тотчас же отскочит и в другой раз уже к вам не заглянет. Но, верно, нашла, окаянная, какой-нибудь секрет и под вас подкопаться. Ну, так и быть! Теперь постарайтесь уже не угрозами, а толчками как-нибудь эту незванную гостью от себя выпроводить.

Посылаемые при сем сто рублей прошу принять. Хотел было отложить посылку их до моего личного свидания с вами; но из письма вашего увидел вашу нужду, не терпящую отсрочки, и потому решился теперь же послать.

Призывая на вас и семейство ваше благословение Божие, с истинным и совершенною преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою **Арсений** М. Киевский».

Письмо от 2 января 1871 года:

«Возлюбленный о Господе В. И. За поздравление Ваше благодарю и, взаимно поздравляя вас, призываю на вас с семейством вашим благословение Божие, сердечно желая, чтобы новый год был для вас лучше и покойнее прошедшего. Прошу принять меня в число подписчиков своих, на что препровождаю при сем сто руб. сер. Ваш покорнейший слуга **Арсений** М. Киевский».

Не имея возможности лично приветствовать Владыку с празднованием пятидесятилетнего его юбилея, я писал ему поздравительное письмо и 24 августа 1873 года получил от него следующий ответ.

«Возлюбленный о Господе В. И. Усерднейшее поздравление ваше с совершившимся пятидесятилетним юбилеем моего учебно-иерархического служения Православной Церкви и Отечеству и все ваши обильные благожелания мне приемлю я с душевною благодарностью и, взаимно желая вам здравия и долголетия на земли, молю Господа Бога, да будет Он для вас всегда и во всем крепким помощником на поприще полезного служения вашего ко благу общему и к собственному утешению вашему среди литературных трудов ваших.

Призывая на вас и на все ваше семейство всеобильное благословение Божие, с истинным

почтением и преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою **Арсений** М. Киевский».

Приводимое за сим письмо от 14 апреля 1875 года, уже напечатанное в «Домашней беседе», но не сполна, а ныне предлагаемое in extenso, требует некоторого пояснения. По несоблюдению некоторой формальности я присужден был окружным судом к уплате весьма значительной суммы человеку, который выведен был мною из ничтожества, 13 лет ел хлеб-соль мою и отблагодарил меня самою черною неблагодарностью. Вполне понадеявшись на правоту моего дела, я забыл, что при нынешнем судопроизводстве forma dat esse rei, — и проиграл, чуть не подвергшись продаже с аукциона всего моего имущества.

«Возлюбленный о Господе В. И.! За поздравление ваше с светлым праздником Воскресения душевно благодарю и взаимно поздравляю вас и, заочно с вами христосуясь, призываю молитвенно на вас и на весь дом и дела ваши во всем благопомощную благодать Воскресшего Господа.

Болезнь ваша, приметно согласившись со моею или моя с вашею, вдруг и в одно время поразила нас обоих, так что я в эти три великие недели ни шагу за порог; только вчера решился утешить себя пасхальным богослужением, но едва-едва, с большим трудом и изнурением для себя я мог совершить заутреню и литургию, теперь опять сижу в четырех стенах безвыходно, да кажется скоро и не удастся освободиться от сего не совсем приятного заключения, но по приговору Верховного Судии неба и земли нам назначенного, против которого нет апелляции.

А вам, приметно, в нашем новом, скором и справедливом суде и апелляция не помогает, и какой-нибудь негодяй имеет ныне право мучить и терзать честного человека, чего в старом суде, кажется, не было; а если и случалось иногда, то весьма редко. К чему же послужила судебная реформа, столько и доныне превозносимая?

Посылаю вам при сем на всякий случай 50 рубл. сер. Ваш покорнейший слуга Арсений М. Киевский».

Письмо от 27 декабря 1875 года, написанное в Петербурге.

«Возлюбленный о Господе В. И.! Благодарю душевно и взаимно поздравляю вас с теми же торжественными днями Рождества Христова и Нового Года, призывая молитвенно на вас и на все ваше семейство благословение Божие, скорби и болезни в радость обращающее. Надеюсь, что Господь вскоре восстановит вас от одра болезненного и утешит вас своею благодатью. Ваш покорнейший слуга **Арсений** М. Киевский».

По поводу разрешения великопостных спектаклей я написал большую и горячую статью, которая, конечно, не могла быть пропущена светскою цензурою. Не имея возможности лично видеться с покойным Владыкою, я писал ему о такой моей неудаче. Вот ответ его на мою жалобу от 2-го марта текущего года.

«О великопостных спектаклях, — не лучше ли начать с жалобы вашей Св. Синоду, с приложением статьи о непропуске оной в печать цензурою? Без этого же или чего-либо другого подобного повода нам начать дело невозможно, ибо мы лишены права входить в Синод с предложениями: одному только обер-прокурору это право предоставлено. Ваш покорнейший слуга Арсений М. Киевский»[332].

Письмо это взорвало меня; я написал Владыке несколько жесткое послание за показавшуюся

мне инерцию его, причем препроводил к нему копии с моих писем к некоторым высокопоставленным лицам по тому же предмету. Привожу ответ его сполна, без исключений, как это сделано мною[333].

«В благодарность за вашу рукопись посылаю и вам, для прочтения, с возвращением ко мне, свою[334]. Она, как слышу, пришлась некиим лицам очень не по вкусу; следовательно, принадлежит к разряду ваших рукописаний, а потому и *слабое,* в отношении ко мне, письмецо вам кажется неуместно[335]. Что я, при такой обстановке в Св. Синоде, мог бы и могу сделать? Sapienti sat. А. М. К. 2 апреля 1876 г. С.-П.»

Да, sat. Он все сказал этими последними своими словами…

Это было уже последнее письмо ко мне приснопамятного архипастыря. Удерживаемый тяжкою болезнью (ревматизмом в обеих ногах), я во все продолжение пребывания его в Петербурге навестил его только два или три раза. «Что, возлюбленный? — сказал он мне в последнее мое посещение, — и вы подались? Эх, вы, хромоногий! Хорошо, что духовно-то не хромаете. Да исцелит вас Господь! Вы еще нужны и для дела Божия, и для семьи вашей». Визит мой на этот раз был непродолжителен. Владыка, служивший в этот день литургию, был утомлен, хоть и бодрился, да и у меня ломило обе ноги от продолжительного стоянья. Беседа наша была как-то грустна.

Не понимаю к чему, Владыка сказал: «Мне говорили, что над преосвящ. митрополитом Филаретом и преосвящ. Аполлинарием вы пели киевское: *Волною морскою,* — а надо мною пропоете?»

Я взглянул на него, и слезы закипели в груди моей. Он сидел с опущенною головою и кушал чай с кусочком булки. Мне хотелось сказать что-нибудь на это, но сил не хватило: я боялся зарыдать.

Это было в воскресенье на третьей неделе Великого Поста. С тех пор я уже не видался с Владыкой по милости моей болезни.

Апреля 26-го я через силу посетил высокопреосвященнейшего Иннокентия, митрополита Московского [3]. Зашедши от него к эконому я застал там Киево-Печерской Лавры архидиакона Флавиана, от которого узнал, что киевский Владыка при смерти. Сообщив об этом высокопреосвящ. Иннокентию, я немедленно отправился на киевское подворье и прошел прямо в кабинет Владыки. По лицам встретивших меня, иеромонаха о. Феодосия и камердинера Гаврилы, я увидел, что для святителя Божия наступил час смертный. В кабинете я застал лейб-медика Николая Федоровича Здекауера и доктора Константина Людвиговича Недаца, которые писали Государю Императору о положении Владыки бюллетень, ожидаемый курьером Зимнего дворца. Повидавшись с ними, я прошел в спальню. На кровати, за открытым пологом, умирающий лежал на спине; уста его были открыты во всю ширину; глаза мутны и полузакрыты; он дышал тяжело и хрипел. Весь корпус его был неподвижен, и только в правой стороне заметно было по временам легкое вздрагивание. При мне ему влили в рот какую-то микстуру. Это возмутило меня, и, вышедши в кабинет, я стал протестовать против такого насилия человеческой природе. «Да, — сказал Николай Федорович, — вчера я дал Владыке чайную ложку касторового масла, и когда оно вылилось из уст его, я повторил тот же прием вместе с кофе». — «К чему?» — сказал умирающий тихо, но внятно. И это было последнее его слово.

Нужно было поспешить с грустным извещением к высокопреосвященнейшему митрополиту Иннокентию, и я пошел проститься с умирающим. Крепко прильнул я устами моими к

охладевшему наполовину лбу моего отца, и слезы градом потекли на истощенное лицо его. Не знаю, показалось ли мне, или, может быть, это так было в самом деле, — но из правого глаза Владыки выкатилась слеза, когда я положил руку его на мою голову…

В ту же ночь Владыки не стало…

Бурачек Степан Онисимович (Некролог)

В воскресенье, 26 декабря, в 4 часа утра скончался в Петербурге генерал-лейтенант корпуса корабельных инженеров *Степан Онисимович Бурачек* [1] на 76-м году своей жизни. Превосходно и необыкновенно верно охарактеризовал почившего о. протоиерей Николай Никитич Делицын в надгробном слове своем. Каждый из слушавших его, без сомнения, сказал вместе с проповедником: «Аминь, истинно так!»

«Почивший раб Божий Стефан, — говорил о. протоиерей, — был поистине самым преданным сыном Православной Церкви. Верою во Христа Спасителя и Его Церковь святую проникнуты были все его мысли, чувства, действия, вся его жизнь. Неизменным был он посетителем Храма Божия во все урочные и обязательные для христианина, а в свободное время и необязательные дни, и всегда было умилительно и поучительно видеть старца в сосредоточенной, но горящей огнем любви молитве к Господу. Постоянным был он причастником Божественной Трапезе Тела и Крови Христовым во все без исключения посты Церкви Православной, а в некоторые, например Великий, и не один раз. Это благочестие водворял он и в сердцах всех членов своего семейства, старался распространить его на всех своих домочадцев и по возможности на всех его окружавших.

Вне храма любимыми его беседами были беседы с людьми духовной жизни, с пастырями и архипастырями Церкви, причем он часто высказывал весьма здравые мысли о необходимости и средствах к возвышению христианской нравственности в народе и о разных мерах к благоустроению Церкви. Мысли свои, по свойственному ему характеру, он высказывал всегда открыто, прямо, иногда горячо, но, тем не менее, а может быть по тому самому, и заслужил истинное уважение от многих высокопоставленных и высокопочтенных духовных лиц.

Таким преданным сыном Церкви жил почивший, таким он и скончался. Почувствовав, более чем за год пред сим, приближение смерти, он почти еженедельно, а некоторое время даже буквально еженедельно приобщался святых Христовых Таин; за несколько дней до кончины сподобился таинства елеосвящения и, отходя в вечность, без трепета мог сказать: *ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое,* и мирно почил сном праведника…

Добрым подвигом подвизался почивший и как сын Отечества. Более 50-ти лет служил он трем монархам России. Покойный посвятил себя науке и искусству кораблестроения. Не без борьбы и не без подвигов проходил он эту службу с первых дней молодости до конца жизни своей то на кафедре наставника, то на водах Балтики и Каспия, то на верфях и мастерских корабельных. Неутомимый на этом поле деятельности явной, он посвящал свой досуг еще деятельности тайной, ученой работе в тиши кабинета. Часть этой ученой деятельности увенчана была вниманием Монарха, премией Академию наук и, по признанию знатоков дела, будет еще долгое время считаться одним из капитальнейших приобретений по части кораблестроения. Не без применения к делу останутся и другие труды и изыскания его в области науки, которой он посвятил так много лет самой честной работы и бескорыстного труда. Не наши это слова: это слова его сослуживцев — моряков, которые в адресе к нему по случаю пятидесятилетия службы называли его Нестором между ними. Так послужил он Отечеству на том частном поприще, на которое призван был Промыслом!»

Прерываем на минуту вдохновенное слово пастыря, бывшего духовным отцом почившего, и скажем от себя, что не розовым цветом окрасилась многолетняя его служба. Создав своею теорией сопротивления воды на плавающие суда целую школу, Степан Онисимович нажил себе много противников. Когда все заговорили с восторгом о круглых судах, он один из первых явился горячим их противником и, опираясь на научные выводы, представил кораблестроительному отделению морского технического комитета серьезный разбор этого нового, но не достаточно еще исследованного изобретения. За такую прямоту свою он медленно поднимался по ступеням лестницы служебной. Произведенный в 1854 году, то есть через тридцать семь лет службы своей в офицерском звании, в генерал-майоры, Бурачек пробыл в этом чине 15 лет, и только в 1860 году, после пятидесятилетнего уже служения своего в офицерских чинах, был произведен в генерал-лейтенанты и получил орден Станислава 1 степени. Но уступаем честь и место церковному оратору.

«Немалую службу сослужил покойный и для общего дела просвещения народного. Было у нас время излишнего увлечения западноевропейскими идеями, как они ни противоречили началам и требованиям нашей народной жизни. Пропитанный заграничными началами и оторванный от народа образованный класс общества, и в науке, и в литературе, и в жизни проводил понятия, совершенно чуждые историческому развитию русской жизни и коренным основам нашего быта. И вот, по почину покойного, в русском литературном мире является новый орган печати («Маяк»), который полагает целью вести дело общественного просвещения на началах чисто русских, именно на началах «Православия, самодержавия и русской народности». Странным диссонансом раздался этот новый орган печати в ряду других. Со всех сторон посыпались на него нападки, насмешки и даже неприличные ругательства. Но у ратника Христова достало настолько силы воли и характера, настолько ума и способностей, что он продолжал свое дело и прояснял, что не все хорошее только иностранное, а много есть хорошего и даже прекрасного и в русской жизни, что перенимать все от других, забывая о своем, — непростительное легкомыслие, что ошибочно думают, будто солнце светит только на Западе и с Запада, а не с Востока. Все благомыслящие русские люди скоро отозвались полным сочувствием к направлению нового издания, а с течением времени и сами стали усвоять себе его направление. В этом отношении почивший, без преувеличения, можно сказать, внес в нашу печать истинно живительную струю, и нет сомнения, что впоследствии достойно оценят его заслуги родной науке и русскому просвещению».

Раздел VII. Стихотворения. Отголоски. Басни

Стихотворения

XIX-му веку

Эхидный век, злосчастный век!
Ты все кощунственно отверг,
Всему безумно посмеялся,
От веры чистой отказался,
К добру охолодел, остыл
И ум мятежный обожил.
Тревожной занятый заботой,
Ты дух свой отягчил работой,
Несродной, чуждою ему; —
И по веленью твоему,
Что должно быть его крушеньем,
То стало духа назначеньем,

Ты жизнь на мелочь разменял
И мысль о небе осмеял,
Святые заклеймив поверья
Названьем вздора, суеверья,
Ты вечность самую отверг,
Эхидный век, злосчастный век!
Гляди ж с своей ты суетою,
Чтоб не сбылися над тобою
Угрозы страшные небес,
Чтоб след твой рано не исчез
В пучине вечности грядущей,
И голос милости зовущей
Не грянул рокотом трубы,
Решающей твои судьбы.
Подумай, чем занят коварный,
Кощунственный, неблагодарный
Кумир твой, твой мятежный ум?
Среди своих кичливых дум,
Бежа в след жалкого познанья,
Минуя веру, упованье,
В своем смешном, надменном Я
Он ищет цели бытия.
В припадке грешного сомненья,
Презрев святое искупленье,
На временный ничтожный срок
Он душу самую обрек!
Ты сам себя порой боишься,
Сам грешных дум твоих стыдишься
И хочешь иногда, как тать,
Всю черноту свою скрывать…
Напрасный труд! Пора настанет, —
И Божий Суд тебя застанет
Средь пира твоего врасплох,
И отомстит тебе сам Бог!

1845 года

Июня 4-го.

Неведомая кручина

(*Посвящ. Т. Г. Шевченке*)

Погляди, родимая,
Ты хоть на меня:
Что со мною деется,
Али болен я?
День деньской шатаюся
Словно сам не свой,
Будто обойден кругом
Немочью какой.
Кудри не расчесаны,

Мочи нет в руках,
Поступь стала хилая,
Нет огня в очах.
Сяду ли — задумаюсь,
Бог знает о чем;
Речи ли начну я с кем, —
Не сведу с концом.
Песню ль хороводную
Красные начнут, —
Защемит ретивое,
Слезы так и льют.
Стану ль в храме Божием
Пред алтарь святой, —
В душу окаянную
Лезет грех такой.
В праздник православные
Веселы живут,
Песню задушевную
Любо как поют.
А я — сиротинушка —
Голосу не дам,
Все держусь за грудь мою, —
Что-то больно там.
Совестно кругом себя
Как-то мне взглянуть,
Так и норовил бы я
Прочь улепетнуть.
Пальцами ребята все
Кажут на меня,
Будто, прости Господи,
Сумасшедший я.
Ночь придет — всю ноченьку
Глаз я не сомкну,
И зарею позднею
Только лишь засну.
Погляди, родимая,
Ты хоть на меня:
Что со мною деется,
Али болен я?..

1843 года

Июня 28.

Разгулье русского человека

Ну-ка, Ваня, выпьем, что ли,
Право, важное винцо!
Маком-цветом заалеет
Загорелое лицо.
Ну, держи стакан ровнее,
Да рукою не тряси,

Выпей сам; да мне скорее
С добрым словом поднеси.
Мы от царского кружала
Веселешеньки пойдем, —
Шапки на бок посодвинем
И лихую запоем.
Красные на нас молодки
Из-под ручки поглядят;
Втихомолку нас похвалят
И примолвят: «То-то хват!»
Встретим батьку — шапку снимем,
И под руку подойдем: —
Он сама ведь добродетель
И давно у нас попом.
Там близ церкви деды наши
Внуков с поля в хаты ждут,
И одни промеж собою
Речь разумную ведут.
Мы поклонимся *учливо*
На завальнях старикам;
Гладя бороды седые,
Ухмыльнутся они нам.
Ну, держи ж стакан ровнее,
Да рукою не тряси,
Выпей сам, да мне скорее
С добрым словом поднеси.

1843 года

Июля 22.

Русь

Из-за моря, издалека
Шел на Русь к нам супостат,
И пришлося одинокой
Ей противу всех стоять.
Он *Двунадесять* народов
За собой — разбойник — вел,
И не спрашивался броду,
Прямо в омут с ними шел.
Застонала Русь родная,
Раскачалася она,
И на Бога уповая,
В битву ринулась одна.
О полки злодеев лютых
Раздроблялась русских грудь:
Но ни часу, ни минуты
Не хотела отдохнуть
Драгоценная, родная,
Русь — кормилица моя,
Православная, святая,

Благодатная семья.
Под метелицу, под вьюгу
Погнала она врага,
И уж доказала другу,
Как легка ее рука.
Рядом с дедушкой — Бореем
Заметала след врагов,
И незванных лиходеев
Клала в землю без гробов.
Перешла за грань святую
И отерла пот с чела,
И за мать-Москву родную
Не попомнила им зла.
«С нами Бог, — она сказала,
Не вражда, не велиар», —
И от сердца им прощала
Кровь, и слезы, и пожар…

1844 года

Октября 5.

Отголоски

Заморским витиям

Ну что, болтливые витии,
Печальной доли вещуны?
Сбылись ли, ко вреду России,
Погибельные ваши сны?
Грозившие бедою ваши крики
Смутили ль хоть на краткий миг
Дух мощный русского Владыки?
Поник ли Он главой венчанною от них?
Робея сами пред тревогой,
Вы думали, что русский крест
Поникнет пред луной двурогой,
Не отстоять священных мест,
Христа врагами осквернённых;
Вы думали, что нет уже у нас
Вождей, в победе неизменных,
Что дух Суворова угас
В полках покорных и смиренных:
Так знайте же, безумные витии,
Печальной доли вещуны,
Что в нашей матушке России
Все те же верные сыны,
Все те же прадедов непобедимых внуки,
Пред коими пал Измаил,
Которые багрили руки
В крови мятежнических сил,
Которые смирили Прагу

И буйной вольности разгул,
И янычарскую отвагу, —
И кровью залили Кагул,
Которые наш русский флаг
В бою чесменском окрестили
И будущим врагам на страх
Бессмертной славою повили.
Не знали вы, и мы не знали
Героев брани и вождей:
Судьба их вызвала, и стали
Они опорою родной земли своей.
Доверчиво мы обращали взоры
На нашего Богатыря,
И раздражали нас пустые наговоры
На огорченного Царя.
Вы думали, что наш Великий
Не сыщет верных слуг себе,
И что перед толпою дикой
В неравной упадет борьбе;
Так вот же вам! Героев
Досель в неведомых вождях
Мы кажем вам, и русских строев
Не обымал постыдный страх…
Скажите, где толпы врагов,
Ступившие на брег Дуная?
<…>
Где ужас и гроза морей,
Несокрушимая преграда
На диво созданных судов и кораблей
Непобедимая армада?..
Но вы грозите нам врагами
Сильней ничтожных мусульман;
Грозите войском, кораблями
Враждебных нам, крещеных стран.
И что ж вы мыслите? Уже ли
Наш богатырский, русский штык
В дугу согнется? И земле ли,
Земле ли русской нов и дик
Вопль неприязненный кичливых иноземцев?
Мы слышали его, когда спасли
Недавно бесталанных немцев;
Мы слышали, когда отцы наши легли
Победоносными костями
На поле бранном за чужих.
Мы слышали… да что пугать нас так врагами!
Ну, где они? Давайте их!..
<…>
Не эти ли, торговцы записные,
Всесветные пройдохи и купцы?
Не эти ль рыцари шальные,
Сегодня умники, а через день глупцы?..

Мы их не трогаем, но если в ослеплении
Они поднимутся на нас,
С надеждою на Провиденье
Не испугаемся мы вас.
Мы повторим Бородино пред вами,
Гордыни вашей сломим рог,
И встретим вас словами:
«На начинающего Бог!»
Святая Русь! Мужайся и крепись,
Благословенный Богом край!
В твоих пределах родились
Великий Петр и Николай!

1854 года.

Встреча ополченцев в Киеве

Бог вам в помочь, молодцы,
Русская дружина,
Двоеглавого птенцы,
Дети Исполина!
На молитву же, друзья!
Киев перед вами!
Вот отсюда-то земля
Закипела нами.
Вот отсюда-то пошли
Русские дружины,
Воспитались и взросли
Дети-исполины.
Это наш Ерусалим,
Наш Сион священный;
Промчались века над ним,
А он все нетленный.
Каждый шаг тут освящен
Чудными делами:
Здесь легли на долгий сон
Прадеды костями.
Тут воители древлян,
Кара печенега,
И краса былых славян —
Воины Олега.
Вот он Днепр, тот самый Днепр,
Где вся Русь крестилась
И по милости судеб
Где она омылась.
Вот те горы, где Андрей
Крест воздвиг спасенья,
И изрек России всей
Он благословенье.
А взгляните, — на горе,
Кто вас ожидает?

Очи подняты горе,
Крест в руке сияет.
Это князь-христианин,
Наш Владимир славный,
Православной Церкви сын,
Мощный и державный;
Это он великий муж,
Руси просветитель,
Обновитель многих душ,
Наш Иван-Креститель.
На молитву, молодцы,
Лавра здесь святая;
Там нетленно спят отцы,
Русь им мать родная!
Не чужда им наша брань
За святую веру,
И грозит их мощна длань
Турку-изуверу.
И Владимир со врагом
Биться вам поможет,
Победительным крестом
Он их всех низложит!
Бог вам в помочь, молодцы,
Русская дружина,
Двоеглавого птенцы,
Дети Исполина!

1854 года.

Ледюку и его клевретам[336]

Бессильной зависти послушны,
Нас вдоль и поперек бранят;
Мы остаемся равнодушны
И говорим: «Пускай кричат!
Пускай их, как собаки, лают!
Своей бессильною брехней
Они отнюдь не помешают
Идти нам твердою ногой!»
Прекрасно и великодушно,
Что против этого сказать!
Но можно ль слышать равнодушно,
Когда у нас хотят отнять
И честь, и славу боевую,
Когда обидной болтовней,
Перед обманутой землей,
Марают нашу Русь родную?..
Весь знает мир, какой кровавой
Дорогою Россия шла,
Пока она себе со славой
В державах место заняла.

Весь знает мир, какие битвы
Она потом несла одна,
Как силой веры и молитвы
Не раз бывала спасена.
Весь знает мир… но лишь не знают
Того бесстыдные лгуны,
И как голодные псы лают
На Православную они.
Напрасно в уши им кричат
Бытописания скрижали, —
Они, упорствуя, твердят:
«То не они, им помогали!»
В давно былые времена,
Когда дружины печенега
И половецки племена,
При кликах бранного набега,
На Русь стремилися ордой,
И колыбель ее святую
Хотели дерзкою рукой
Разбить в куски: тогда родную
Кормилицу свою и мать
Вставали дети защищать,
И нашу колыбель святую
Никто не мог поколебать.
Тогда герои — Святославы
Держали речь к своим полкам;
Не уступая русской славы
Врагов бесчисленным ордам,
Костьми ложились все подряд,
Но самобытность отстояли…
И что ж, — теперь нам говорят:
«То не они, им помогали!»
Когда растленной Византии
Угасла яркая звезда
И крест на куполе Софии
Стал колебаться, — мы тогда
С Олегом вещим подходили
Царьграда гордого к стенам
И в знак победы щит прибили
К его развенчанным вратам.
Как грозны мы, как сильны мы —
Об этом все тогда узнали;
А ныне нам вопят лгуны:
«То, вишь, не мы, нам помогали».
Была пора: татарин злой
Два века Русь в плену держал,
И пред Ордою Золотой
Наш князь главу свою склонял.
В смиреньи кротком Русь несла
От Бога посланное иго,
И в тело больно ей вросла

Татар железная верига.
Но совершился Божий суд:
Герой Донской разбил Мамая,
И ослабел железный путь,
И поднялася Русь святая.
Стряхнула цепи с рук долой,
Схватила меч, давно забытый,
И побежал татарин злой,
Своею пленницей разбитый…
Мир изумленный восплескал
Тогда, как мы торжествовали;
А ныне он же закричал:
«То ведь не вы, вам помогали!»
Бич Божий, варвар и губитель,
В тафье монашеской тиран,
И подданных своих мучитель
Явился Грозный Иоанн.
Он, реки крови проливая,
Русь нашу добрую пытал:
Но русский, в пытках изнывая,
Цареву руку лобызал;
Прощал безумству, исступленью
И радовался всей душой
Погибели и истребленью
Злодеев родины святой.
Он видел лишь, как исчезала
Орда безбожных агарян
И как в кровавой сече пала
Притон разбойничий — Казань.
Он видел, что Европе гордой
Сказался Руси господин,
Неумолимый, грозный, твердый,
Самодержавный властелин.
Он видел, — видел то и мир
И, ужасаемый тиранством,
Все ж русского царя хвалил
И назвал Русь великим царством.
Никто не смел тогда сказать,
Что Астрахань с Казанью взяли
Не мы; теперь же все кричат:
«То не они, им помогали!»
Послал Господь на Русь погром
Неслыханное искушенье,
И на престоле на своем
Она узрела преступленье.
Богат умом был и велик
Взошедший на престол пронырством,
Но омрачен был царский лик
Предательским цареубийством.
Внушая страх Руси собой,
Он сам всегда дрожал от страха,

И тяжела ему порой
Казалась шапка Мономаха…
Внезапно сорван был венец
Бориса с головы преступной,
И на престоле сел беглец
Расстрига, царь богоотступный.
Он ввел в Россию поляка
С его ничтожною гордыней,
И завладела их рука
Кремля заветною святыней…
Стонала Русь; и Бог один
Спасти ее мог в ту годину!
И спас. Незнатный гражданин
Привел избранную дружину,
Прогнал с бесчестьем поляков,
Рассеял скопища их прахом
И поразил сердца врагов
Великим трепетом и страхом.
Опять восстала наша Русь,
Опять восстала наша сила!
Скрепился наш родной союз:
В цари нам Бог дал Михаила!
Тогда завистливой душой
На нас взиравшие державы
Склонились гордою главой
Пред ореолом нашей славы.
Дары почетные несли,
Победы наши величали;
А ныне нам жужжат шмели:
«То все не вы, вам помогали!»
Вы помните ли паладина,
Европы изумленной страх,
Страны полночной властелина,
Несокрушимого в боях?
Вы слышали ль когда про встречу
Героя шведского с Петром,
Про их отчаянную сечу
На поле, кровью залитом?
Видали ль вы вблизи Полтавы
Высокий под крестом курган,
Свидетель вековечной славы
Победоносных россиян?..
Когда с громами устремился
На нас полночный паладин, —
К кому с поклоном обратился
Наш чудотворец — исполин?
Один, один, как Божий воин,
Напереди своих дружин,
Бесстрашен, грозен и спокоен
Стоял венчанный исполин…
И разгромленный, побежденный,

Дотоль непобедимый Карл,
Своею кровью обагренный,
Постыдно с поля убежал.
Записана победа та
Бытописания в скрижали:
Неужели ж нет у вас стыда
Твердить еще: «вам помогали?»
А славный век Екатерины,
Век изумительных побед,
Ужель не понял и доныне
Враждующий против нас свет?
Где вы найдете что-нибудь
Подобное Кагула бою,
Где русская одна лишь грудь
Стояла каменной стеною
Перед многочисленной толпою?
Сравнится ли ваш Абукир,
Иль самый Трафальгар с Чесмою,
Где в первый раз смущенный мир
Увидел наш победный флаг,
Не бывший до тех пор в морях?
Кто был, скажите нам, у вас
Нигде, никем непобедимый,
Как был не так давно у нас,
Солдата батюшка родимый,
Спаситель царствий и царей,
Решитель межнародных споров,
Весь русский, всей душой своей,
Наш чудо-богатырь Суворов?
Кто помогал ему в Рымнике?
Чьи с русскими мешались клики,
Когда французов он громил?
Кто сокрушил с ним Измаил?
Кто Прагу буйную смирил?
Кто пособил ему унять
Мятежного конфедерата?
К кому пришла ключи отдать
Варшава, ужасом объята?..
Да Боже мой! Нет сил исчислить
Екатерининских побед!
И как же только сметь помыслить,
Что славы бранной с нами нет,
Что сами мы не воевали,
А нам другие помогали?..
Бесстыдные! Давно ль колосс,
Невиданный дотоле миром,
Мечом и силою угроз
Склонял вас пред своим кумиром,
Повитым пламенем войны?
Давно ль невольничьего ига
На вас, мятежные сыны,

Лежала тяжкая верига?
Давно ли в Дрездене был сбор,
Постыдный сбор всех глав венчанных,
Где ожидали приговор
Они себе под барабаны?
Давно ли Вена и Берлин
Несли ему покорно дани,
И сам владычественный Рим
Шел вместе с папою своим
За полученьем приказаний?
Давно ли в гордости безумной
Он гнал вас пред собой на бой?
И шли вы к нам толпою шумной
Всеразрушающей ордой?..
И что же, — устрашили ль нас
Когорты двадцати народов?
Сробели ль мы хотя на час
От Бонапартовских походов?
Кто помощь нам тогда подал?
К кому за ней мы обратились?
Кто даже нам добра желал,
Когда мы под Смоленском бились?
Кровавое Бородино,
Где Русь с Европою столкнулась,
Не вашей кровию оно,
А нашей русской захлебнулось.
Не Вену же и не Берлин,
А нашу мать-Москву родную,
Зажгли мы, как костер один,
Спасая родину святую.
И, дымом окурив гостей,
Мы сами проводы начали,
И много после их костей
В сырую землю мы поклали.
Тогда-то, как уж без когтей
Остался лев тот после драки,
Явились с помощью своей
И вы, великие вояки;
И с торжествующим челом
Пошли в Париж на новоселье,
В чужом пиру, чужим вином
Отпраздновать свое похмелье.
Бесстыжие глаза смежив,
За месяц с нами вы дралися,
А после, в чаяньи пожив,
Союзниками назвалися
И закричали, что без вас
Пробил бы наш последний час,
Что Ватерлоо развенчало
Непобедимого в боях,
Что царство русское бы пало

Без вашей помощи во прах…
Бессовестные хвастуны!
Вы под пятой колосса были,
Но повалили его мы,
А вы лежачего добили…
Смотри сюда, Ледюк болтун:
Вот персианин пред тобою, —
Спроси его, бесстыдный лгун,
Кто громоносною рукою
Его толпы рассеявал?
С повинной головой и данью
К кому он робко приступал
И поплатился Эриванью?
Вот турок, слабою рукою
Дерзавший меч поднять на нас, —
Спроси его: пред кем он с бою
Разбитый бегал всякий раз?
Кто овладел твердыней Варны?
Кто, семиверстною стопой,
Перешагнул через Балканы
И пред Стамбулом стал грозой?
А вон мятежная Варшава,
Крамольных скопище сынов,
Пред кем ее поникла слава
В борьбе семейной, но кровавой?
Кто был тогда для нас готов
Пожертвовать хоть каплей крови?
И с кем вступали мы в союз
Унять мятеж уже не новый?
Не сеял ли тогда француз
И англичанин в Польше буйной
Измены, злобы безрассудной?..
Умолкните ж, враги России,
Лжецы, глашатаи крамол,
Неугомонные витии,
Сеятели кровавых зол?
Не уронить вам нашей чести
И славы бранной не отнять.
Под шепот лишь бессильной мести
Вы силитесь провозглашать
Такие небылицы в лицах.
История в своих страницах
Нас оправдает от клевет,
И весь тогда познает свет,
Чем были мы во время оно,
Что делали для вас самих,
Врагов порядка и закона,
Неблагодарных и пустых!
История всем внятно скажет,
Что делаем и ныне мы,
И с отвращением укажет

На вас, защитников Луны…

1854 года.

Киеву

Что ты, старец, снаряжаешься
В златокованый шелом?
Не гостей ли дожидаешься
В позолоченный твой дом?
Не по летам торопливою
Ходишь поступью, старик,
И заботой хлопотливою
Омрачен твой светлый лик.
Опершись рукою мощною
На булатное копье,
Вдаль глядишь ты полуночную,
Будто ждешь к себе ее.
Аль почуял бурю бранную
Богатырскою душой,
Что́ летит на Православную
С темна запада грозой?
Видно, в зависть стало старому
Внуков поздних торжество,
Закипело, по бывалому,
В старом сердце удальство.
Что же, с Богом, старый дедушка,
Мы дадим тебе почет;
Закипит у нас беседушка
На крещеный весь народ.
Выходи ж на пир с отвагою,
Сбрось полтысячи с костей;
Запасайся пивом-брагою,
Будем потчевать гостей.
У тебя ли в годы старые
Пиво славное велось,
У тебя ль оно в бывалые
Через край всегда лилось.
Кто, бывало, ни прикушает,
И повалится, как сноп,
И лежит себе да слушает,
Как трава в земле растет.
Со Христом же, старый дедушка!
Выступай-ка наперед!
Закипит у нас беседушка
На крещеный весь народ!..

1854 года.

Плач на кончину государя императора Николая Павловича

«И Тебя мы проводили,

И тебя мы схоронили,
Вождь вождей, царей диктатор,
Наш великий Император,
Мира светлая звезда,
И Твоя пришла чреда!..».
Мы не думали, не ждали,
Приготовившись к борьбе,
Слышать в горе и печали
Память вечную Тебе.
С верой в Бога всеблагого,
Не считали мы врагов
И молили Трисвятого,
Чтобы Ты лишь был здоров.
Царь великий, незабвенный,
Батюшка Ты наш родной!
Перед целою вселенной
Охранял Ты наш покой!
Что ж, родной наш, не дождался
Благодарности от нас?
Что ж Ты рано так собрался
В путь далекий в этот час?
Погляди, на нас злодеи
Поднялись со всех сторон:
Али больше лиходеи
Не тревожат Твой уж сон?
Ты ж не спал, когда мы спали,
Ты же бодрствовал за нас:
Аль уж мы чужие стали
Для Тебя в сей горький час?
Погляди, — мы все рыдаем
И тоскуем за Тобой,
Царский гроб Твой обливаем
Неподкупною слезой...
Боже вечный! Не дерзаем
Проникать в Твои судьбы
И смиренно изливаем
Сокрушенные мольбы.
В Царской облечен порфире,
Он не знал, что есть покой, —
Хоть уж в том Его Ты мире
Со святыми упокой!..

1855 года

26 Февраля.

Полякам лжепатриотам

Молчать, подпольные сверчки,
Крамольные лжепатриоты!
Еще ли русские щелчки
Не отняли у вас охоты

О буйной вольности мечтать?
Ужель пора вам не приспела
Уняться и не напевать,
Что «е́ще По́льска не згинела»?
Изведала святая Русь
Ваш гонор, ваши обещанья,
Вы говорили нам: клянусь,
А в сердце крыли зложеланья.
Узнали мы уже давно
Шумливых ваших патриотов, —
Всем им название одно:
Предателей-искариотов!
<…>
Но, злобою увлечены,
Вы не хотите света видеть,
И, матери одной сыны,
Единокровных ненавидеть
Вы продолжаете досель.
У вас в руках ножи, кинжалы,
У вас одна лишь только цель:
Убийства, грабежи, пожары!..
Чего ж хотите вы от нас?
По-братски дали мы вам руку,
Как братьев, обласкали вас,
Забыли тяжкую науку
Минувших горестных времен,
Облитых чистой нашей кровью.
Свидетели кровавых сцен,
Мы заплатили вам любовью
За оскорбление Кремля,
За нечестивые союзы,
От коих русская земля
Носила тягостные узы.
Незлобно мы простили вам
Безумное остервененье,
Когда вы царственным стенам
Грозили полным разрушеньем;
Когда вы, бешенства полны,
В святом Кремле нас проклинали,
И, кровию обагрены,
Господни храмы осквернили…
Но вразумило ль это вас?
Дух ненавистный, дух крамольный
Вас поднял сызнова на нас…
Но пред толпою своевольной
Блеснул наш грозный русский штык,
И, осиян привычной славой,
Под русский громоносный клик,
Взлетел орел наш двоеглавый
Над покоренною Варшавой…
Свершилось! Польши уже нет,

Той Польши буйной, беспокойной,
И не восставит целый свет
Ее рукою беззаконной!
Довольно!.. наш покончен счет!
Давайте ж руку, руку, братья!
Мы ведь один славянский род, —
Скорей же в братские объятья!
Покончим вековечный спор,
И да исчезнет между нами,
Единой матери сынами,
Вражда, смятенье и раздор!..

1863 года.

По прочтении высочайшего рескрипта графу Михаилу Николаевичу Муравьеву

Благодарим тебя, архистратиг России,
За все твои труды, за благи вековые,
Какими наделил ты бедную страну,
Так долго бывшую в томительном плену!
Забитая нуждой, запуганная панством,
Она дрожала вся пред чужеземным чванством
И позабыла уж достоинство свое.
Послал тебя Господь, — и поднял ты ее,
И Белоруссия, томимая три века,
Познала наконец названье человека.
Из праха поднял ты, на поученье нам,
Забросанный сметьем и посрамленный храм
Издревле царившей там Веры православной;
И, направляемый Десницею Державной,
Всем место указал: законному жильцу
И преступившему порог наш пришлецу.
Измену и мятеж сразив рукою сильной,
Ты *Вильно* называть нам заповедал «Вильной»,
И русскую семью на почве родовой
Поставил ты стоять уж твердою ногой.
В годину тяжкого России искушенья
Отвсюду понеслись к тебе благословенья,
И русский человек названье *Михаил*,
Крестясь пред образом, с любовию твердил.
Что нужды, что в тебя бросали издали
Злословья камнями изверженцы земли, —
Земли, отринувшей их гнусные затеи!
Ведь змеи все шипят, — на то они и змеи…
Тебя Сам Государь достойно оценил
И царской милостью богато наградил.
Тебе приветы шлет и бьет челом Россия
За все твои труды, за подвиги святые,
И имя славное из рода в дальний род
Она с молитвою усердной пронесет.

1865 года

25 апреля.

Ужасное открытие

(В. П. Р-ской)

Вы ждали от меня стихов
В последнем нумере журнала:
Но что же делать, если слов
У нас тогда не доставало?
Как гром, нас всех до одного
Сразила весть о преступленьи…
Нам было уж не до того:
Мы с мыслью о Его спасеньи,
Стоя в безмолвии немом,
Молились трепетной душою,
И говорило все о Нем,
Спасенном Вышнею судьбою.
Вопрос: кто, умысел тая
Перед народом возрожденным,
Восстал на нашего Царя —
Остался нам неразрешенным:
Поляк ли то, иль нигилист,
Питомец западной науки,
Иль сумасбродный утопист,
Преступный замысел тая,
Цареубийственные руки
Поднял на русского Царя.
«Нет, он не русский, — нет, никак!
В один мы повторяем голос:
Он иностранец иль поляк;
В нем русского нет ни на волос!..»
И что ж открылось? Боже мой!
Злодей родился между нами
И вскормлен русскою землей…
Что он был меж ее сынами,
Избраннейшими от сынов,
Недавно бывшими порукой
За миллионы мужиков;
Что честной, русскою наукой…
Да полно, русскою ль?.. У нас
Наука вся идет от Бога;
На всякий день, на всякий час
Без Бога мы ни до порога.
А в той науке, что дала
Нам в русском изверга, злодея,
Пред коим сам начальник зла
Стоял, от ужаса бледнея, —
Что общего в науке той
С наукой нашей христианской?
Чего и ждать Руси святой

От прозелитки басурманской?
Она пришла к нам не одна,
А с спутниками утопии,
И загулял с ней сатана
По всем удолиям России…
Прогресса смрад, социализм,
Всю изгарь западной науки,
Безбожье, пошлый нигилизм
Он русским юношам дал в руки
И завопил: «Вперед, вперед!
За мной идите, дети, смело!
Никто пускай не отстает,
И сделаем тогда мы дело!»
Ну, вот и сделали! С своим
Вожатым доползли до ада,
И ждет теперь их вместе с ним
Достойная их дел награда…

13 апреля 1866 г.

Народный привет Высоконареченной невесте Августейшего Наследника Всероссийского престола

Здравствуй, Гостья дорогая,
Наша ясная заря,
Нареченная Родная
Православного Царя!
Тучка горя и печали
Пронеслась и над Тобой:
Но печали миновали,
И не быть уж им в другой.
За Тебя тут миллионы
Станут Вышнего молить,
И не могут эти стоны
Неуслышанными быть.
От престола и до хаты,
Всем Ты стала дорогой;
И чем исстари богаты —
Все дадим тебе — родной!
А богаты мы любовью
Да усердием к Царям,
Да огнем кипучей кровью
На погибель их врагам.
Погляди-ка, на просторе
Сколько мечется людей!
Это что! — лишь капля в море!
Столько ль нас в России всей?!.
Широка она, родная,
Ростом миру по плечо;
Вся одежда ледяная,
Только сердце горячо…

И несет тебе, Царевна,
В подаренье Русь себя,
Бесконечно, неизменно
Полюбившая тебя!..

17 сентября 1866 года.

Верноподданнический привет в день св. миропомазания Ее Королевского Высочества Марии-Софии-Фредерики-Дагмар, принцессы Датской

Приветствуем тебя, родная,
Вступленьем в православный храм!
«Моя ты! — скажет Русь святая, —
И никому я не отдам
Моей Царевны!.. Да, я с Нею,
Пред благодетелем моим,
Слилася всей душой моею
Миропомазаньем святым.
Печатью Веры православной
Она уже запечатлена,
И Матерью своей Державной
К причастию подведена...»
Свершилось! Между Ней и нами
Нет разделения ни в чем!
Миропомазаньем мы сами
Вступили в православный Дом,
Тот чудный Дом, богохранимый,
Где Дивный во святых Своих,
От русских православно чтимый,
Моленьям теплым внемлет их...
И в сотнях тысяч Божьих храмов
Царевны имя зазвучит,
И дым кадильных фимиамов
К престолу Божью полетит,
И над ее святой главою,
И на молящийся народ,
Животворящею росою,
Он благодатно упадет.

Славянская дума

Гляжу я на тебя с тоской,
Славян разрозненное племя,
И думу думаю с собой:
Когда же это было время,
Что род славянский был один,
Не знавший чуждого давленья,
Без пагубного разделенья
И полновластный господин?
Как сталось то, что смелый чех
Отдался немцу головою,
И, миру целому на смех,

Снял шапку серб перед чалмою?
Как стерлась главная черта
В обличье светлом славянина?
И отчего уже не та
У всех церковная святыня?..
Тот папе отдает поклон,
Тот держит Лютера вульгату,
И на молитве Божьей он
Взглянуть не смеет в очи брату…
Ведь прежде ж дружно все мы шли;
Одна у нас была дорога,
Одни апостолы вели
Нас к свету истинного Бога;
Для всех Мефодий и Кирилл
Живой родник пробили Веры,
Тот и другой собой явил
Нам *благочестия*[337] примеры:
Какою ж лютою судьбой
Отец отторгнут был от сына,
И отчуждился брат родной
Тогда от брата-славянина?
Не политический раздел
Прервал меж нами единенье:
Нам в этом деле подрадел
Он сам — исконный враг спасенья.
Он знал, что кто не Церкви сын
Святой, единой, православной,
Тот вполовину славянин
И равному не будет равный.
Он знал, что верою святой
Крепится сердце человека
И что разладом в ней одной
Посеется вражда до века.
И цели он своей достиг:
В среде славян с тоской мы видим
По вере нам уже чужих;
И хоть их словом не обидим,
Но сердце к ним не так уж льнет,
Как льнет оно к семье славянской,
Сберегшей посреди невзгод
Дух православно-христианский.
Среди речей неподкупных
И кликов братского угара
Все чудится отступство их
И трехэтажная тиара.
Так вот в чем рознь у нас, славян!
Вот что от нас уединило
Насельников далеких стран,
Детей Мефодья и Кирилла!
Долой же, братья, с плеч долой
На вас наложенное иго!

И путеводною звездой
Да будет Православья книга
И галичанам — бедакам,
Моравам, чехам и далматам,
И сербам, славным воякам,
И неуступчивым хорватам!

12 мая 1867 года.

Басни

Больной и врач

Томим горячкою тифозной,
Недвижимо лежал больной,
И смерть уже с косою грозной
Стояла над его главой.
А врач, для облегченья боли,
Тихонько срезывал болящему мозоли.
Осел он, — скажет всяк,
Сердясь и на врача, и на его приемы.
Осел он, — это так:
Но оглянитесь-ка, быть может, вам знакомы
Подобные ему врачи.
К леченью нравственной своих собратий боли
Они куда как горячи,
А срезывают лишь мозоли.

1862 года.

Оратор и жеребята

В дворе со всех сторон закрытом,
Табун был собран жеребят.
Все говорят
Табунщику сердито,
Что жеребятки-то уж чересчур шалят.
— Да что ж мне делать? Ведь острастки
Им нету никакой!
«Все б вам острастки! Это сказки! —
Сказал стоявший тут берейтор молодой:
Ручаюсь головой,
Что я их усмирю рацеею одной!» —
Пошел наш краснобай к буянам-жеребятам
И речь такую к ним повел: «Честные господа!
Вести себя, как вы, прилично лишь ребятам.
Вы собраны сюда
Как представители грядущих поколений;
На вас почиют, господа,
Надежды лучшие высоких убеждений;
Свобода мысли и труда —
Вот ваша будущая доля!

Тогда
Брыкаться полная вам воля! —
— А почему же не теперь? — вскричали жеребята;
Ведь мы уж не ребята! —
И подняли такой ужасный гам,
Что, убоясь тревоги,
Оратор наш скорее к воротам,
И подавай Бог ноги.
Прости мне, «дедушка», что я на этот раз
Припомню кой-кому разумный твой наказ:
Оратору такому
На стенке нужно б зарубить,
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где должно власть употребить.

1862 года.

Крестьяне на пиру

Съезжались мужички на постоялый двор
Попировать друг с другом на прощанье.
Пока там шло честно́е пированье, —
В дворе распоряжался вор
И парами сводил лошадушек со двора.
Псы заливались, а кутилы,
Что было силы,
Кричали громкое: ура.
Вот кончился и пир;
На воздух выползли ребята:
Что это? Наше место свято!
Лошадок-то и след простыл…
Простыл, друзья… Нельзя лошадок оставлять,
Когда вокруг двора вор окаянный бродит.
Лишь лежебоку в ум приходит
В такую пору пировать.

1862 года.

Волк под судом

Попался волк под суд; допрошен, уличен
И к виселице присужден.
Казалось, кончено уж дело:
Но, к счастью волчьему, Лиса тут подоспела;
Она ж была ему кума,
И говорили, что сама
Была тому причастна делу.
И вот, сначала под рукой,
Немножко робко и несмело,
Она пустила слух такой,
Что, дескать, волк попал под суд случайно,
Что судьи — дураки; что следовало бы их

Самих
Кое о чем порасспросить бы тайно;
Короче, обошлось Лисе не без хлопот,
Но дело приняло другой уж оборот.
Суд опустил в испуге руки,
И волк был выпущен судьями на поруки.
А через год-другой
И сам назначен был судьей.
Нельзя довольно надивиться
Таким порядкам у зверей.
Ну, как-таки на то решиться,
Чтоб так бессовестно обманывать судей?..

1863 года.

Отмененное решение

Решились как-то волки
Дозволить бедненьким овцам
Вести между собою толки
Об уложении, как волкам
Гуманнее овцами править.
От радости они
Сбирались монумент волкам за это ставить:
Но через два-три дни
Шасть волк к ним в заседанье.
— Ах, черт вас побери! Так вот какие вы!
Кричит он на собранье:
Мятежничать? Распространять молвы?
Постойте ж, не сносить своей вам головы! —
И вслед за тем последовал доклад,
Что овцы возмущеньем дышут,
Что на волков они доносы только пишут
И что по этому взять следует назад
Им данное волками разрешенье,
И запретить им впредь иметь свое сужденье.
Доклад был выслушан, записан в протокол,
И суд решил, для избежанья зол,
Вперед одним волкам решать дела овечьи.
У этих у волков все не по-человечьи.

1863 года.

Труженица

— Ну, что, Егоровна, нашла себе местечко? —
«Еще какое! Со столом,
И с освещением, и с теплой печкой,
С почетом, мать моя».
— А служба в чем?
— «Да как тебе сказать;
В день раза по три навещать,

Пить вместе чай, подушку поправлять,
Да на ночь спинку растирать».
– И только! — «Только». — Есть же ведь,
Егоровна, счастливицы такие!
Кажись, услуги не большие —
Попить чайку, да спинку потереть,
А вот поди ж ты, где с тобою нам равняться? —
«Стараться надобно, стараться,
Так от трудов и будет плод».
Как много есть господ,
Которые и честь, и совесть отдают
За то, что спинку им потрут!..

1864 года.

Коза

Под старость Лев Козу себе взял в услуженье.
Беда б еще не велика;
И у Козы достаточно уменья,
Чтоб успокоить старика.
Да дурно то, что Лев Козе во всем доверил.
Кто низко кланялся Козе,
Кто перед нею лицемерил,
Тому и милости, тому и блага все.
Все ропщут на Козу, все на нее в досаде,
И каждый ей проклятья шлет;
А Козонька у Льва в ограде
Себе и ухом не ведет.
Беда, беда нам, козы, с вами!
Беда и с этакими львами!

1864 года.

Мудрое решение

Козел боднул овцу
Да так боднул, что та и с жизнью распростилась;
Казалось бы, такому наглецу
Какая милость!
Так нет, премудрый Слон решил
Перевести козла в другое стадо,
А всех овец определил
Порезать. Кажется, не много б сметки надо,
Чтоб разобрать, кто прав, кто виноват;
Да сила в том, что ведь козел козе-то брат;
А у Слона
Она,
Как говорят,
Делами всеми правит,
Так как же тут не полукавить?

1866 года.

Медведь-защитник

Медведя выбрали начальником волков;
Ну, волк известно уж каков:
Овцу, корову ли завидит, —
Уж непременно их по-волчьему обидит.
Едва переводя с переполоха дух,
К Медведю как-то раз является пастух.
Вот так и так, он говорит, —
Обижен, батюшка; изволь сам рассудить:
Вчера коровушку мою зарезал серый,
Уйми злодея-то какою-либо мерой…
— И ты, — вскричал Медведь, —
Себе позволил сметь
Мне доносить на подчиненных!..
Да знаешь ли, что меж волками нет виновных?
Что у меня они по струнке ходят
И в ваши глупые стада совсем не бродят?
— Помилуй, батюшка… — Молчать!
Я им старшóй и всех их должен защищать!
А ваших жалоб, что коров они там душат,
Я не хочу и слушать!
Так иногда ретивый командир
Горячку порет за мундир
Своих по службе подчиненных,
Хотя бы то действительно виновных.

1868 года.

Мыши

Рассказывают, что мышей
В Европе прежде не водилось
И что с тех пор их расплодилось,
Как из Америки какой-то грамотей
Привез их для своих друзей.
«Ну что, мой друг, — спросил одного чрез год:
Доволен ты мышами?
Я думаю, уж есть от них приплод…»
— Еще бы! Мы теперь не знаем сами,
Что делать, как и быть
С такими милыми гостями, —
Почти что в пору волком выть.
Плодятся сотнями; прогрызли всюду щели,
Все перепортили, все в погребе поели
И расхозяйничались так,
Что я теперь не знаю как
Избавиться от них.
Завел уже котов двоих,
А толку мало: там, в подполье,

Им безопасное раздолье.
Хоть из дому беги, ей-ей,
От этих аспидов-мышей.
Я басню кончил; без сомненья,
Вы ждете от меня теперь нравоученья.
Но как его из басенки извлечь?
Хотел бы с вами я повесть о немцах речь,
Что все у нас заполонили.
Иль о жидах, которых мы пустили
Хозяйничать у нас:
Так ведь неровен час —
За этакое примененье
Получишь сам нравоученье.

1868 года.

Пес и змея

— Уж ты, пожалуйста, молчи, —
Так говорила Псу Змея:
Хоть как себе ты ни рычи,
А все тебя добрее я.
Ты мясо жрешь, — я нет;
Ты лаешь, — я молчу;
Ты злишься на весь свет, —
А я со всеми жить в согласии хочу.
В глаза всем не суюсь,
Толкнут меня, — не горячусь,
И разве как-нибудь слегка
Кольну иного смельчака. —
«Все так, голубушка моя,
И мяса ты не ешь, не лаешь так, как я,
И ласкова ко всем, а все-таки — змея».

1868 года.

Приложение

Из дневника

Одна из оригинальных личностей, связанных с началом нашего общественного движения шестидесятых годов, — личность Виктора Ипатьевича Аскоченского — представляет немало сторон, любопытных в историко-психологическом отношении. Но главное, чем привлекает к себе имя Аскоченского историческую любознательность, это превратность судьбы, постигшей писателя. Публициста с сильным дарованием, с разносторонним образованием, с огромным запасом энергии — во всем этом Аскоченскому никто даже из врагов его никогда не отказывал, — такой публицист не оставляет по себе иной памяти, кроме той, которая с именем его связывает репутацию обскуранта и фанатика. Как объяснить, в самом деле, что личность, обладавшая всеми задатками на уважение и современников, и потомства, личность, проникнутая самой искренней готовностью посвятить свои силы на честное служение общественной пользе, попадает в разряд «отверженных» и в завершение своей деятельности

становится мишенью неотразимых издевательств со всех сторон? Втаптывание в грязь личности, столь же поспешное, как и возведение ее в кумир, — такое явление зачастую наблюдается в условиях русской действительности; но по отношению к Аскоченскому этой чертой наших нравов можно уяснить немногое. Направление, какое приняла его журнальная деятельность, создавшая ему помянутую репутацию, явилось неизбежным последствием более сложных и неотвратимых причин. Весьма существенную важность в настоящем случае имеет факт, что Аскоченский стал публицистом именно в то время, когда жестокие удары жизненных неудач успели уже надломить сильную натуру, а тяжкие нравственные испытания — оставить неизгладимый след болезненности на душевном состоянии. Задавленный безысходной нуждой, доходившей временами до нищеты, потерпев неудачи всюду, куда ни кидался, он вступил, наконец, на тернистый путь журналиста. <…>

Как увидим ниже, в молодые годы самоуверенность в собственных силах, готовность служить обществу, прекрасные упования на жизнь не покидают его; — против житейских дрязг и людских предрассудков он вооружается юмором и сатирою. <…> Страстность натуры не дает, однако, успокоиться Аскоченскому. Он ищет себе утешения в товарищеском кругу. <…> Но и это увлечение ненадолго занимает его. <…> Академическая среда не удовлетворяет Аскоченского, да ему и тесно там, — негде развернуться живым силам души, а родник их бьет наружу. Общественная жизнь вращается около пустых развлечений и личных интересов; явления, важные в общественном смысле, не пользуются сочувствием: <…> В такой-то обстановке Аскоченский отдается мало-помалу мысли о женитьбе, надеясь найти в ней себе тихое пристанище. Но не успел он привести в исполнение свой план, как уже над ним разразился удар беспощадной судьбы. Друг его, «ангел хранитель» его, как называет он свою первую жену, покидает его. За смертью жены следует целый ряд жизненных неудач. <…> Но и тут сказалась в Аскоченском чуткая натура. Восприимчивость к веянию жизни не иссякла в нем, желанье возрождения не пропало совсем. Представилась возможность борьбы, и Аскоченский ринулся в нее. Полем для этой борьбы явилась журналистика.

<…> Его пытливый ум, необыкновенно склонный к скептицизму, не удовольствовался, конечно, ролью наблюдателя, ролью «умеренного и аккуратного» отметчика явлений, порожденных новыми запросами жизни. Для натуры деятельной, подобной Аскоченскому, лучше пасть в борьбе, нежели безмятежно и пассивно отречься от собственной личности и самостоятельности. Но где же было найти выход силам, хоть и порядком надорванным?

Кипучая жизнь била ключом лишь под лучезарным светом идей и порывов. <…> В школе он шел первым, в академической карьере своей он выделялся из среды товарищей, в общественной жизни он искал высших интересов, привык выдвигаться и умом, и образованием. А тут на поприще журналиста, после всего пережитого, ему пришлось все-таки быть новобранцем и встретить на первых же порах своей деятельности не особенно лестный прием в мире журнальном. <…> Аскоченский уклонялся в полемику и, в пылу спора вдаваясь в диалектические увертки, на которые он был мастер, упускал из виду нередко прямые интересы истины.

<…> Или вот еще одно характерное признание его: «Обдумывать и углубляться я никак не умею. Бог ее знает, как у меня устроена натура! Другие с каким-нибудь там сомнением носятся, точно курица с яйцом… У меня бывает вовсе не так. Часто, садясь за стол и принимаясь за перо, я не знаю, чем начать, и сиротинка-мысль не знает, где приютиться, где стать. Спроси она у меня, я и сам бы не указал ей места. Но тронется перо — и пошли мысли бежать вольною струей, и целая вереница посылок и отсылок рвется, и тянется, и опутывают мысль-сиротинку. Не прерывайте такого моего экстаза, и я в один присест кончу вам мое gelehrter’ское изделие». Также с легким сердцем Аскоченский быстро порешал и с публицистическими вопросами, кидаясь в полемику и посылая громы небесные на головы

своих противников.

<…> После всего сказанного невольно возникает вопрос: заслужил ли Аскоченский, на самом деле, тот суровый приговор, какой произнесли над ним его современники и повторяют доселе потомки? Какой бы мрачной ни представлялась по своему направлению деятельность писателя, но приговор истории не должен основываться лишь на знакомстве с односторонним проявлением этой деятельности. А над Аскоченским тяготеет именно такого рода несправедливость. Выставляя мрачную сторону его журнальной деятельности, обыкновенно забывают об его истинных достоинствах и о тех обстоятельствах, которые были причиною гибели этой талантливой и энергической личности. Мы имеем возможность пополнить такой пробел, пользуясь поступившим в распоряжение редакции «Исторического вестника» «Дневником» В. И. Аскоченского. Это — откровенная исповедь покойного писателя перед собственною совестью; в ней нет ни фальши, ни прикрас. Тут вполне обрисовывается живая и оригинальная личность Виктора Ипатьевича со всеми ее недостатками и достоинствами.

Дневник этот начат с 1835 года, когда Аскоченский был еще студентом Киевской духовной академии, и служит верным отражением душевного состояния, испытанного автором под гнетом обстоятельств, в какие бросала его судьба в течение последующих двадцати лет. В четырнадцати томах «Дневника» тщательно отмечено все, что, так или иначе, имело влияние на жизнь будущего публициста. В особенности пора расцвета юных сил, пора увлечений и порывов, ярко выступает в записях, которые аккуратно ведутся в это время изо дня в день. Себя самого не щадит Аскоченский в своих признаниях: «Я сам строгий себе судья, — пишет Аскоченский под 1 января 1857 года, — и сделав какую-нибудь глупость, вытерпев огорчение или даже оскорбление, я прежде всего задаю сам себе вопрос: «Не виноват ли я тут чем-нибудь? Не подал ли со своей стороны какого-либо повода к оскорблению меня?» И что ж! Ни разу не случалось, чтобы я вышел из этого суда чистым и правым. Тогда у меня начиналась казнь за ошибку или глупость, мной сделанную, и какая казнь, если б знали! Вся душа моя занывала нестерпимой болью; в дразнящих призраках проносились передо мною явления того или другого обстоятельства, и я терял последнее слово утешения, которое до того елейно успокаивало тревожное сердце мое. Тяжелее этой пытки ничего придумать нельзя». Но если Аскоченский был строг к себе, то не щадил он и других. В его отзывах о лицах, с которыми сталкивала его жизнь и многие из которых получили впоследствии известность, проглядывает иногда непостоянство, но это объясняется чисто впечатлительностью его натуры, отчасти же недоверчивостью, подозрительностью и наклонностью к скептицизму и сатире. Резко отзываясь сегодня о ком-нибудь, Аскоченский искренно каялся в неправоте своей, как скоро случай или более близкое знакомство с тем же лицом доставляли возможность ему убедиться в поспешности своего отзыва. Зато, если автор «Дневника» раз проникался уважением к другому, никакие личные огорчения, испытанные от этого лица, не могли изменить мнения Аскоченского. В данном случае характерный пример читатели найдут ниже, когда будет речь об отношениях его к киевскому генерал-губернатору Д. Г. Бибикову, который, строго говоря, и был главным виновником бедственного материального положения, в какое попал Аскоченский, бросив профессуру в Киевской духовной академии.

Помимо отзывов о современниках и сослуживцах Аскоченского, в «Дневнике» изложены его взгляды на общественные и литературные вопросы той эпохи, взгляды, в которых трудно узнать будущего издателя «Домашней беседы». Ниже мы извлекаем все, что сколько-нибудь выдается в рассматриваемом отношении.

Что касается, наконец, личной жизни автора, тут видное место в «Дневнике» отведено сердечным делам и, с другой стороны, испытаниям семейного горя. Эта часть «Дневника» полна живого интереса для оценки психического состояния Аскоченского. <…> «Странное дело! — читаем под 16 января 1846 года. — Неужели мне так скоро могли опротиветь все эти

развлечения большого света? Неужели моя опытность должна идти ускоренным шагом, чтоб стать вровень с теми летами, которые уже сказываются в голове моей небольшою сединой? Вот передо мною открыты салоны лучших аристократических домов, — но я не иду в них. Вот спектакль с оперою, — но и это не занимает меня. Вот купеческие общества, полные хорошеньких блондиночек и соблазнительных брюнеток; но и тут зевается. Чего же ты просишь, душа? Уединения? Возьми его, — только видно, что и уединение не по тебе: ты скучна, тебе тяжело. Занятий? Гляди — вот они перед тобою. Отчего ж ты так вяло берешься за них? Эх, братцы, братцы! Худо, когда оторвешься от берега и уронишь весло вглубь моря жизни… Несет тебя от берега и нет сил остановиться и плывешь себе наудачу, куда вынесет судьба, — и к берегу не хочется, и даль не манит!» Через три дня Аскоченский отмечает в «Дневнике»: «Мною овладело уныние. Я не хочу ничего; мне от всего грустно; все развлечения и удовольствия, которые представляет свет поклонникам своим, до того мне наскучили, что рад бы бежать от них, куда глаза глядят. Двадцать раз я решаюсь на что-нибудь и двадцать раз отменяю мое решение. На столе моем уже горели свечи; склонив задумчиво голову, я бессмысленно глядел на кучи книг, разбросанных по моему письменному столу, и не мог уловить ни одной определенной идеи, которая бы могла направить деятельность души моей, заснувшей в каком-то летаргическом сне». <…> Насколько похождения автора «Дневника» в светских кружках напоминают провинциального повесу, беспечно отдающегося забавам, и подчас не лишены комизма, настолько глубоко трагическим в его положении представляется безысходный гнет тоски, неоднократно сопровождавшейся сильными потрясениями. Так, смерть первой жены, затем неудачное сватовство за Балабухой <…> и, наконец, смерть второй жены — все события, следовавшие одно за другим быстро и непрерывно, — произвели целый перелом в жизни Аскоченского. Самый «Дневник» с 1847 года, когда умерла вторая его жена, ведется уже неаккуратно. Под 23 декабря этого года автор силится объяснить причину такой неаккуратности. Но объяснение похоже скорее на вопль отчаянного путника, утерявшего свой путь и не ведающего, как и куда ему брести. «Не дивитесь никто, — пишет Аскоченский, — кому придется взять в руки эту часть моего «Дневника», что я уже не с прежнею аккуратностью веду его. Это потому, во-первых, что внутренняя жизнь моя редко бывает, сосредоточена в самой себе; я сам разрушаю эту гармонию чувств и мыслей моих, потому что страшно заглянуть вглубь души моей. А другое и то, что вне меня везде и всюду такая пошлость, что невольно ум порывается на одни злые насмешки, а сердце болит досадою. Откровенно должен наконец сказать я, что в итоге каждого дня всегда приходится ставить нуль». В следующем году записи «Дневника» становятся еще скуднее. Еще год, и Аскоченский признается, что одна тоска только водит рукой его. Вот его собственные слова, помеченные 8 июня 1849 года: «Сколько раз в жизни моей испытывал я тоску от совершения бездействия и как тяжело на душе моей, привыкшей к обуревающей деятельности. Вас удивляет терпение мое, так непонятно открывающееся в бесконечном продолжении моего «Дневника». Это тоска водит и управляет рукой моей. Вы не знаете, как и когда находил и нахожу я время писать и то, и другое, составлять планы и проекты, готовить целые книги. Я и сам не знаю, друзья мои, знает грудь, да подоплека моя, где сидит вечная злодейка моя тоска. Вы — деловые люди — смеетесь над моими, иногда, в самом деле, пустяшными занятиями; но вы не видите, где исходное начало такой беспокойной неуимчивости моих сил, порывающихся на работу. Вы осудите меня, пережившие свои желанья, разлюбившие свои мечты, за мое мнимое волокитство, за мою любовь к прекрасным созданиям, друзья мои! Не бросайте рано на меня камня. Это душа, бедная душа моя ищет пищи для себя. Вижу, вы мне указываете громаду деловых бумаг, — да придвиньте ж их ко мне, обложите ими меня: я весь погружусь в этот омут будничных сплетней, я насквозь пропитаюсь чернилами и ябедами и, может быть, загашу горящий, не ожигающий душу мою огонь деятельности разумной. Но, Боже мой! Ужели ж я пройду тернистый путь моей жизни рядом с толпою, знающей только будничные потребности бытия, и забудет имя мое разумный потомок мой? Зачем же Ты вложил в меня эту жажду неумирающей памяти? Зачем я живу? Грустно!» Записи под 1850 годом ведутся со

значительными пропусками. В это время Аскоченский находился на службе в Каменец-Подольске. Последующие два года в «Дневнике» вовсе пропущены, точно Аскоченский не жил. Под 1853 годом отмечено лишь, что скука довела автора до того, что ему вздумалось собрать подробные сведения об именьях, принадлежавших монастырям до введения штатов 1764 года. И затем следует самый перечень этих сведений. С 1854 года опять находим несколько записей с большими перерывами.

Положение Аскоченского в это время было самое критическое. «С вялою и усталою душой сижу я в убогой моей квартире, и ни одна отрадная, утешительная мысль нейдет мне ни в ум, ни в сердце. Сам добрый мой гений, внушающий мне в такие минуты или тайну вдохновенных песнопений, или раздумчивые сказания о вопросах, волнующих современное человечество, как будто оставил меня. Я чувствую себя способным только к механической работе; но этого нет, потому что не имею средств, говоря просто: у меня не на что купить бумаги!.. Вот до чего дошел человек, которого Господь Бог не обидел ни толком, ни смыслом!.. О, Господи! где же предел твоему наказанию?..» Комментарии, разумеется, излишни к подобным признаниям. Но какое чувство должен испытывать каждый, в ком не перестало еще биться сердце, читая следующее, проникнутое безотрадною иронией признание: «Ноября 1-го (1854 г.), 11 часов вечера. Коллежский советник, бывший и то, и то, и пятое, и десятое, сейчас встал из-за работы. Слово «встал» прошу понимать как можно буквальнее, потому что вышеозначенный чиновник работал на полу с иглой в руке. Он, изволите видеть, мастерил себе из ваточного тряпья чтото вроде матраца, на котором будет почивать нынешнюю ночь. Удивляюсь, как это может унижаться человек, обладающий таким важным чином? Мог бы заставить лакея. — Гм, да если у коллежского советника лакея-то нет? — Ну, так попросил бы кого-нибудь другого? — Попросил, хорошо это сказать! А ну, как коллежскому советнику-то откажут? Что тогда? Честь коллежского советника решительно скомпрометирована. — А кто ж постель ему сделал? — Кто? Да сам. — А платье кто чистит? — Все сам же. — А сапоги? — Да все же коллежский советник. — Тьфу, пропасть! Да кто ж он такой? — Магистр богословия и словесных наук, бывший профессор академии, потом литератор немножко, далее советник губернского правления, еще далее — совестный судья и временно председатель гражданской палаты, а еще далее — ничто, то есть ваш покорнейший слуга Виктор Ипатьев сын Аскоченский. Знаете вы его? Преглупый человек! Я слышу — вот он вздохнул почти со стоном. А кто ж ему виноват? Имел возможность нажиться, да захотел своею честностью удивить Европу. Вот и удивил! Преглупый человек!» Здесь разумеется время служения Аскоченского в Житомире и Каменец-Подольске, когда, по должности принадлежа к «особам» провинциального правительства, он не имел частенько на что пообедать. Под гнетом такой нужды влечение к освежающей душу работе, конечно, не могло быть сильным. Под 3 декабря 1854 года мы находим на этот счет недоумевающее заявление. «Скажите мне, отчего я, всегда неутомимо деятельный, всегда раздумчивый и мыслящий, вдруг ни с того ни с сего становлюсь так глуп, так ленив, что ничего не кончаю, за что ни примусь, все бросаю, к чему потянется утомленная рука и о чем задумывает моя победная головушка? Одна из таких эпох наступила теперь. Я бросаюсь то к тому, то к другому и даже не имею сил сердиться на самого себя. И тут лень одолевает».

<…>1855 год уже открывается заметкой: «Написав эти два слова (т. е. «1855 год»), я горько и глубоко задумался. Боже мой! Как много промелькнуло в минувшие дни событий, отмеченных в истории не такой бедной, как моя, а в истории мира! Как сознательно живущий член всего человечества, я должен был бы все это вписать в мой дневник, но… буду после продолжать, а теперь я глуп до бесконечности, потому что в целые сутки спал только три с половиною часа и даже должен справиться и по справке написать, что теперь». Аскоченский, однако, не собрался навести справку раньше 11-го мая. С этого числа в течение нескольких месяцев сделано немного записей. Наконец, остается еще упомянуть, что от 1857 года только за январь имеются отметки. <…>

Что прежде живо затрагивало и возбуждало сильные движения души, то теперь окрещивается названием «пошлости». Общительный и энергический человек хочет уйти в самого себя, подальше от предательских увлечений своей лучшей поры жизни, выставляя эти увлечения в виде предостережения юной неопытности — молодому поколению. «Жизнь моя есть полная драма, — раскаивается Аскоченский, — со всеми глупостями, заблуждениями и даже мерзостями, к каким только способен человек, и с частичкой доброго, истинного и честного, посылаемой от Вышней благодати, дабы не совсем пропал человек. С ужасом и горьким сожалением оглядываюсь я на мое прошедшее, исполненное нелепостей и поражающих глупостей, подсказанных мне моей растленной природой; с тревожным духом стараюсь я проникнуть в будущее, чтоб угадать там себя — каков-то я буду через десять лет, если Господь Бог потерпит грехам моим и позволит помолиться на белом свете… В справедливом негодовании на себя я хотел сжечь все тома моего дневника, опасаясь, чтоб они не принесли вреда кому-нибудь впоследствии; но потом раздумал. Пускай молодые люди, а всего более сын мой, из заблуждений своего отца поучатся быть умнее, благочестивее и осторожнее. Фальшиво взятая нота чувствительна даже для необразованного уха». <…> Но пусть решают читатели, ознакомившись с приводимыми ниже признаниями из «Дневника» Аскоченского, о чем надо сожалеть больше — о том ли, что в душе его горел огонь смелых порывов и пылких увлечений, которые не давали ему поработить себя людским предрассудкам и возбуждали такое негодование к ним, или же о том, что этот огонь, по слову поэта,

…в бесплодной тоске
…сгорел и погас?

В заключение два слова об извлечениях из «Дневника». Это, по нашему мнению, один из драгоценнейших исторических мемуаров, во многих отношениях замечательный необыкновенной фактичностью и искренностью. Каждая черта в нем на своем месте и с той или другой стороны имеет общественное значение. Не говоря уже об автобиографических чертах, из остальных одни проливают свет на провинциальную жизнь того времени, другие представляют интерес для историка русского просвещения и русской литературы, иные же могут быть весьма любопытны педагогу. Изучающий историю театра найдет в «Дневнике» прекрасные обстоятельные рецензии об игре киевских актеров, одно время писанные изо дня в день, и очерк, искусной рукой составленный, киевского театра. Композитор встретит тут целый ряд заметок о музыке и, в особенности о нашем церковном пении, — в этих областях Аскоченский считался знатоком и сам немало писал пьес. Ученый богослов не мог бы оставить без внимания этюды по предмету академической специальности Аскоченского. Короче сказать, дневник представляет целую энциклопедию, какая только доступна силам одного человека. К сожалению, нам не позволяют пределы журнальной статьи воспользоваться извлечениями из дневника в той мере, как бы это было желательно. Пришлось ограничиться крупными явлениями и сосредоточить главный интерес цитат на выяснении личности самого автора. Факты, относящиеся к однородным обстоятельствам его жизни и деятельности, но рассеянные под разными числами, мы старались, разумеется, по возможности привести к единству, а равным образом делали то же и с суждениями Аскоченского об одних и тех же предметах, от себя добавляя только несколько слов для связи.

Ф. Булгаков [1].

I

<…>

И. Аскоченский[338], по собственному его показанию, родился 1-го октября 1813 года. «Судьбе угодно было, — пишет он под 21-м мая 1841 года, — чтобы я был первенцем между

моими братьями и сестрами. Разумеется, первые дети всегда утеха родителей, — это цепь, которая соединяет двух супругов крепче и крепче, это — елей, которым помазуются первые дни семейного быта; это — первое знамение Вышнего благословения, которое принимается всегда ощутительнее уже потому, что оно первое. Как первое дитя, я был предметом нежных попечений и предупредительной заботливости моих родителей; на меня не давали упасть, что называется, синь-пороху; все прихоти мои, все капризы были выполняемы как что-нибудь законное. Это избаловало меня совершенно, я требовал невозможного, горячился, топал ногами, падал наземь, кричал, если мне говорили, что того-то нельзя для меня сделать. Мать моя сказывала, что меня даже накормить было трудно: если дают мне пищу, я плачу, зачем мне дают; если дожидаются моей просьбы, я плачу опять, зачем не догадаются накормить меня. Словом, я был прекапризное дитя. Брат мой Аристарх, родившийся годом после меня, был постоянным предметом моих нападений.

Но эти годы проведены мною почти бессознательно. Помню только, — и то как будто сквозь сон, старый дом наш; помню большую кухню, светлую, чистую горенку, летнюю холодную комнату, обыкновенно на зиму служившую складочным местом всяких жизненных припасов; помню несколько картин с английскою подписью, висевших по стенам и изображавших историю блудного сына; помню Авдотью, добрую нашу крестьянку. Она умерла, бедная; ее похоронили поздно вечером; я еще, в ту пору ребенок, видел, как сколачивают ее гроб, как кладут ее туда, и мне ее стало жалко, крепко жалко; но я боялся заплакать, потому что маменька, по какому-то старинному капризу, рассердилась бы за эти слезы, не делавшие чести, по тогдашнему ее мнению, малому баричу, как я.

Я еще не умел ни читать, ни писать, а петь уже умел мастерски. Отец мой был наставником в нотном пении всех церковнослужителей обширной Воронежской губернии, заключавшей тогда в себе и Ново-Черкасск со всеми станицами и слободами. Пение этого неотесанного клира, собиравшегося обыкновенно в бане, так врезалось в ребяческую мою голову, что я без всякого труда и с возможною верностью выполнял все, что требовалось от церковного певца. Ребяческому моему самолюбию весьма льстило то, что меня выбирали иногда наставником в том, чего я не знал классически, но что очень хорошо было знакомо мне понаслышке. Чистый, звонкий голос мой раздавался серебряным колокольчиком посреди нескладного рева дьяконов, дьячков и прочего причта церковного.

Дали мне в руки церковную азбуку и указку, отслужили молебен св. Науму и посадили за стол. Домашнего учителя нанять было не на что. Отец мой получал жалованья всего 60 рублей ассигнациями в год. Делать нечего, надо было взяться самому за ферулу учителя.

Ну, вот посадили и за латынь. Достали букварь; в один присест я выучил его. Учитель дал мне Евтропия; я начал читать его с восхищением; моему детскому честолюбию ужас как нравилось то, что я понимаю более, чем кто-нибудь вот из этих, которые каждое утро горланят у нас в бане богородичные на восемь гласов.

Однажды как-то родителей моих не было дома, — я остался полным хозяином. В это время уже была у нас сестра Капочка. Вдруг ни с того ни с сего я затеял сыграть похороны. По моему зову сбежались к нам на двор соседние ребятишки. Сестра моя должна была играть роль умершей. Мы положили ее на доску, приказав как следует сложить руки и закрыть глаза. Я взял на себя роль священника, а для полноты церемонии дал четырем из нашего погребального кортежа ободранные ольховые палки, принявшие от солнца желтый цвет и много походившие на восковые свечи. Процессия была хоть куда, я шел впереди и пел. Вдруг моему мертвецу что-то соскучилось лежать неподвижно; ему захотелось посмотреть на церемонию. Движение, произведенное мнимо умершею сестрою, заставило носильщиков нарушить баланс — и моя мертвая бряк! прямо оземь. В минуту все испугалось, побежало; державшие свечи побросали

их, сам священник ударился наутек, а умершая наша сидит и воет волком.

Для меня ничего не было приятнее, как пустить змей как можно выше и держать его на нитке, постоянно искушавшей мое терпение и тревожившей меня своею непрочностью. Боже мой! Как завидовал я тем, которые пускали свои змеи на голландской бичеве и могли спокойно держать его в продолжение светлой июльской ночи! Я ничего не мог вообразить себе восхитительнее, как прислуживаться к реву и глухому говору этих змеев, которые, признаюсь, и теперь люблю слышать. Воля ваша, а тут что-то есть поэтическое. Вообразите безмолвие лунной ночи, тишину угомонившегося города, изредка прерываемую глухим лаем собак, — вообразите на чистом, усеянном звездами небе чуть заметную точку, которая повинуется малейшему движению вашей руки, — и теперь вообразите среди этого безмолвия отдаленный рев чего-то, несущийся к вам с вышины, то стихающий, то будто стонущий, то раздающийся громким forte и в минуту переменяющийся в самое тонкое piano, о — воля ваша, тут есть поэзия. Конечно, все это детское, не стоящее того, чтобы и вспоминать о нем; но, Боже мой! кто из нас снова не захотел бы быть дитятей.

Курс домашнего нашего воспитания кончился — пришла пора вести нас в школу; но наперед надо было представить начальству. Тогдашним префектом училищ был знаменитый в Воронеже таинственною своею ученостью Иван Яковлевич Зацепин. В детскую мою голову так много нашумела молва об нем, что я всходил на ступени крутой лестницы со страхом и трепетом. Зацепин жил в том корпусе, где и теперь еще (1842 г., апрель) помещается бурса и консистория; комнаты его были самые крайние к Спасовской церкви. С какою-то величавою осанкой, которая всегда так шла к его умному и благородному лицу, он принял батюшку и нас. Взяв меня за голову, он стал что-то щупать у меня на затылке и потом сказал: «Это быстрый ребенок». Не поняв хорошенько всей его операции и незнакомый с системою Галля, я заключил, что Зацепин или видел когда-нибудь мои шалости, или из невежливого наклонения головы моей, которой смерть хотелось не поддаваться этой пробе, составил обо мне такое дурное понятие. «Быстрый, вишь ты, быстрый!» — подумал я и чуть не заплакал с досады. Мы вышли от префекта — я сердитый, а брат довольный тем, что ему не сделано такого ж замечания.

— Ну, дети, — сказал наш родитель, — теперь к отцу Иларию.

Я повеселел. Этот отец Иларий был предметом детского моего любопытства. Наш учитель домашний так много говорил об нем с товарищами своими смешного; я все подслушал: например, как он заставлял на рекреации семинаристов петь:

«Ах, сякой такой комаринский мужик,

Он бесчинно так по улице бежит»;

как они обкрадывали библиотеку, находившуюся под его присмотром, ползая в ногах его и заставляя пятиться к шкафам, где стояли на полках книги; как клали ему в клобук сухари. «Что это за отец Иларий? — думал я, — должно быть, чудак, — непременно захохочу, как взгляну на него». Не тут-то было. Шаг через порог, и вся охота смеяться пропала. Батюшка вошел, а за ним вползли и мы. Показалась (сколько помню) тощая, низенькая фигурка в камилавке и завопила дрожащим козлиным голоском: «А, отец Ипатий! Это ваши детки!» Мы поклонились. Чем кончилась эта аудиенция, право, забыл; помню только, что отец Иларий дал нам «Ксенофонтовы достопамятности» на греческом языке. Батюшка скомандовал нам домой — и мы с братом чуть не подрались за подарок. Вечером объявили нам решение, что завтра мы должны сбираться в школу. Всю ночь не спали мы. Тревоги, тревоги, Боже упаси!

Вот забреждилось утро, мы уж на ногах. Маменька хлопочет о завтраке и чуть не плачет, разлучаясь так надолго с любезными своими детками. Мы умылись, Богу помолились и сели за кашу. Батюшка все ходил кругом стола и твердил: «Эй, дети, ешьте поменьше: plenus venter non studet libenter». Он, изволите видеть, дошел до *поэзии* и знал прекрасно несколько пословиц. Любимые его были *оная и сия*, Deus gaudet impari — по-русски «Бог любит нечет». Поймите-ка, что это такое? То-то и есть — трудно; слушайте же: «Бог любить троицу». Вот батюшка и твердит все оную пословицу, а мы, не понимая хорошенько смысла ее, слушаем да едим, едим да слушаем. Глядишь, уж мисочка-то пуста. «Голодны, батюшки мои», — заговорит маменька, гладя то того, то другого по головке. «Нежь, нежь на свою голову, — зашумит, бывало, покойник, — будет прок».

— Да уж ты…

— Ну, что ты?..

Тут батюшка, бывало, примет грозную позу и маменька оставит нас и пойдет к колыбели, которая уж непременно каждый год содержала в себе какое-нибудь живое существо. Вот мы уж одеты, маменька сама повязала нам галстуки, надела картузы… Мы готовы. Книг еще у нас нет по весьма простой причине: купить не на что. Батюшка идет вперед — мы за ним.

Первые школьные двери отворил нам о. Василий Дольский. Как теперь вижу его. Он все ходит мимо нас и вечно уж в зубах держал свою косу. Ну, так мы вошли и остановились, как новобранцы, у порога.

— А что вы знаете? — спросил о. Василий.

Он был регулярнейший и строгий человек.

Я взглянул на брата; в глазах его светился ответ: ничего; толкнул себя в башку — там тоже ничего; не желая, однако ж, так скомпрометировать себя на первый раз, мы оба смолчали. Вероятно, молчание наше принято было за удовлетворительный ответ, потому что нас посадили — и мы стали от нечего делать глазеть на учеников, а я так уж стал и пошаливать. Кончился класс. Боже мой! с каким шумом полетели мы домой. С радости забыли даже шапки надеть и трепали их в руках, летя сломя голову домой! Маменька утерла нам носы, поцеловала и давай кормить. Ну, уж и аппетит у нас был — дай Бог здоровья! В пору русскому мужику. Дорогою сказали нам, что после обеда нет ученья. Это, видите ли, как я очень хорошо помню, было в среду. Мы сказали это маменьке. Та и верить не хочет. «Ах, вы такие сякие, — меду не ел, а уж воском… (Маменька иногда употребляет непечатные пословицы.) Ступайте-ка»! И прогнала. Мы пошли, классы были заперты, надо было воротиться домой; мы и воротились, боясь, однако же, попасть в беду за оплошность.

Не прошло и двух недель с поступления моего в школу, как я успел уже напроказить так, что строгий мой ментор вынужденным нашелся оштрафовать меня лишением обеда и заключением в классе. Я рыдал, бился, метался ниц — не помогало. Строгий Катон был безжалостлив. Нечего было делать, — я решился быть дезертиром; вырываюсь вместе с толпою и лечу сломя голову. Меня ловят, я кричу. Учитель строго обещался наказать меня, лишь бы только меня поймали. А я употребляю все усилия, чтобы не даться в руки моим алгвазилам. Никогда не выйдет у меня это из памяти. Смотрю, по садику (тогда около архиерейского дома был палисадник, в котором были даже фруктовые деревья) ходит какой-то старичок в камилавке. Стремглав я бегу мимо него.

— Постой, — сказал он.

Не знаю, почему — но и в самом испуге своем я остановился.

— Чей ты? — спрашивал меня старичок.

— Ипата Ивановича, — сказал я, всхлипывая.

— А, знаю. Зачем же ты бежишь?

— Меня хотят запереть в классе.

— За что?

— Не знаю, — отвечал я, — поглядывая исподлобья на подходившего ко мне учителя. Я изумился, когда увидел, что мой страшный педагог идет к нам без шапки и даже косы в зубах не держит. — Э, — подумал я, — этот старичок, должно быть, выше учителя и вовсе не боится его, даром что тощенький и седенький. Мне, видите, казалось, что выше и важнее моего учителя нет и человека на белом свете.

— За что ты хотел запереть его в классе?

— Он большой шалун, ваше преосвященство.

Это был Епифаний [2], епископ наш. Я взглянул с любопытством на этого старичка, перед которым так спасовал мой учитель, и рад был уничижению сего последнего.

— О, когда так, то запереть его.

Я опять в слезы.

— Не будешь шалить?

— Нет, ей-Богу, нет.

— То-то же, ну, ступай домой.

Он протянул мне руку. От восторга, что я уже теперь волен, я не поцеловал ее, как следует, и опрометью пустился бежать, отирая слезы и стараясь не показать родителям вида, что я было попал под опалу. Впрочем, старания мои увенчались не полным успехом. На другой день о. Василий сказал батюшке о моем свидании с архиереем и покойник так перепугался смелых моих ответов, что даже забыл наказать меня.

Не знаю вследствие чего, только нас не захотели держать во втором низшем отделении, а низвели в третий класс. Это был класс предуготовительный. Мы были страшные романтики, книг у нас не было, уроков нам не задавали, предоставляя, таким образом, полную свободу *развивать идеи*. Бывало, отец Иван (он поступил после того в монашество и назывался Иннокентием, умер архимандритом и настоятелем Черногорского и Екатеринолебяжьяго монастыря), — так, бывало, отец Иван с усмешкой спросит нас: «А вы что»? Мы поднимаемся. — «Прочтите ж что-нибудь». Нам дадут книжку «Epitome sacrae historiae» Ломонда [3]. Кое-как, с грехом пополам, переведем, — и квит. Теперь уже нет ни Ломонда, ни классов тех, в которых мы отличались. На том месте стоят монашеские кельи, вновь переделанные. Залы с ее светлыми окнами, с кафедрою, окрашенною дикою краской, и с амфитеатром, возвышавшимся на первом плане залы, комнаты, где было поставлено много-много парт, порезанных ножичками и облитых под мрамор чернилами, той лестницы, которая вела на чердак и пугала

детское мое воображение, — всего этого теперь уж нет. Тут-то, в этой-то квадратной комнате, примыкавшей к залу, начали мы учиться зауряд с прочими. И что за науки тогда были! Ужас вспомнить, как много погибло времени по-пустому. Ребенку не давали никакой живой мысли, ничего, что могло бы интересовать золотое в эти годы его любопытство. Мы учились латыни, не зная хорошо по-русски, толковали о единицах и дробях, не умея при порядочном человеке не стыдясь, без застенчивости, пересчитать свои пять пальцев; учили устав церковный, ломая голову над бессмыслицей, которой не могли живым образом растолковать нам наши учители; переводили с латинского на какой-то дикий, варварский, не русский язык и плакали с горя, когда не могли вбить в голову какого-нибудь τύπτω или грамматического правила; <…> Экое, подумаешь, время было! <…>

Прошел год, нас перевели в первое отделение к Д. А. Прохорову. Тут началось повторение того же самого. Смутно представляются мне эти два года, не ознаменованные ничем особенным. Помню только Левку Данилова, нашего Ришелье, который правил целым классом, и сильный силою своего учителя и протектора, заставлял всех нас трепетать предательского пера своего. Только я один был у него как спица в глазу. Вечная вражда: он запишет, а я отниму да изорву; он в донос, а я в волосы ему; он в драку, а я и подавно. Помню еще Ублинского и Елисея Владимирова, авдиторов моих взяточников. Помню верзилу Богомолова, которого однажды велено было мне отодрать за уши, но так как это было сделать нельзя по причине неодинакового нашего роста, то мы только насмешили своими штуками расшутившегося учителя. O tempora! O mores! И как не прибавить: o pecora! o boves! В третьем классе или, как говорили во время оно, в нижнем, мы просидели два года. Я даже до сих пор помню место, которое занимал в школе. Это было к окну, выходившему на теперешний монастырский двор; окно это последнее к Вознесенской церкви. Тут-то я поучался той премудрости, которую с течением времени непременно надо было забывать, чтобы не остаться вечно дураком. <…> Учители смотрели только за тем, чтобы перед ними шапку скидали, да в классе смирно сидели. За проступки против этих двух заповедей казнили по-нероновски. Сто ударов лозами — нипочем; доходило подчас и до двухсот, а когда ментор был не в духе, то и до трехсот. Но все это сплывало с нас, как с гуся вода. Чувство грубело более и более, и в дитяти вместе со страхом и ненавистью к тирану-учителю развивались скрытность и плутовство, доходившие, наконец, до такой закоснелости, что никакие тиранства не могли вымучить у мальчика искреннего признания в каком-либо проступке.

Само собой разумеется, что между нами много было порядочных плутов. Мы гуртом ходили на воровство к торговкам, продававшим яблоки, арбузы, и кто ловче всех обкрадывал бедную бабу, тому и почет, и название молодцом.

В эту пору домашним учителем у нас был учитель словесности, Стратон Тимофеевич Гравировский. Не знаю, чем он с нами занимался, помню только, что частенько приходил он как-то не в себе. Такой, бывало, странный от него запах! Отзывает как будто немножко водкой и немножко каким-то корнем. Он обыкновенно в такие критические минуты ложился спать, чему и мы с радостью следовали, инстинктивно угадывая то премудрое изречение, что хоть все узнай от кедра до иссона, а когда придется идти спать, то непременно скажешь: «Суета суетствий и всяческая суета!»

Помню я очень хорошо то время, когда после публичного экзамена стали вызывать лучших учеников к награде книгами. Между этими лучшими был и я. На катехизисе Платона написано было: «Виктору Аскоченскому за хорошие успехи и прилежание». Я схватил книгу и опрометью бросился домой. Брат Аристарх, не получивший такой же награды, бежал за мною с недовольным видом. По дороге мы за что-то поссорились, я жестоко назвал его лентяем; брат, как и следовало, притаскал меня. Но мне было не до слез и не до таски. Я вбежал во двор. Маменька (очень хорошо помню) чистила сама рыбу близ погребицы. Я прямо к маменьке и

громко читаю, что написано в подаренной мне книге. Маменька с вопросом к брату: «А тебе ничего не дали?» Брат заплакал, мне стало жаль его; я и сам заплакал. Пришел батюшка, похвалил меня, похвалил и брата. Мы повеселели. «Четвертоклассные, четвертоклассные!» — кричал я, прыгая с книгою моею по двору.

Да, точно — это была радость непритворная. Добиться четвертого класса, или синтаксиса, по-тогдашнему, было не поле вспахать. И что за важные люди были тогда эти четвероклассные! Это то же, что patres conscripti в училище. Они уже с пренебрежением смотрели на инфилистов, а приходские был у них на посылках; они уже дерзали курить трубку и подчас ходить в шинели спустя рукава и, закутывая нос по-журавлиному, что удивительно как много придавало им весу. Они небрежно снимали шапку перед каким-нибудь третьеклассным учителем, а с второклассными уже вступали в спор. Осип Иваныч и Иван Савич (учители второго и первого класса) им были нипочем.

К такой-то категории важных людей примкнул и я с братом. Нашими учителями были о. Иннокентий (вышеупомянутый) и Яков Фирсович Покровский <…> На время болезни какого-либо из наших учителей к нам присылали студентов семинарии из богословского класса. Таких я помню двух: Киселевского, умершего архимандритом при китайском посольстве, и Палищева, нынешнего Пантелеймона, инспектора, кажется, астраханской семинарии. Предметы, преподаваемые у нас, были: греческий язык. Для упражнения в нем мы переводили вторую часть известной греческой хрестоматии (Якобса?) и, надо сказать, переводили чудесно. С русского на греческий мы перекладывали, не спрашивая слов у учителя, а выдумывали их сами и редко делали ошибки против грамматики. К чести своей скажу, что я поступил в училище, не зная по-гречески ни йоты. В два года я выучился и стал наравне с самыми лучшими учениками. Преподавателем греческого языка у нас был упомянутый Иннокентий, отличный знаток его. За Иннокентием оставались славянский язык, катехизис, устав церковный и нотное пение. Славянский язык мы изучали по какой-то старинной грамматике, впрочем, очень хорошо написанной. Лучше меня никто не мог из всего класса разбирать филологически славянскую грамоту. Катехизис у нас читался по руководству Платона, а потом Филарета. Тут я не опережал других. <…> На класс нотного пения я и брат не ходили, ибо в качестве певчих мы избавлялись от необходимости драть горло по этим кавыкам.

Яков Фирсович Покровский читал нам латинский язык, арифметику, географию и… кажется только. Сам он, не в укор ему будь сказано, знал свои предметы плоховато; но зато мы помирали со смеху на его лекциях. Все так мастерски умел он представить, что любо. Громовой хохот раздавался в зале, когда он, закутавшись в свою рясу, копировал семинариста, представляющего из себя Хемницерова метафизика. Впрочем, нельзя сказать, чтобы преподавание латинского языка шло у нас безуспешно. Нет, мы отлично переводили Корнелия Непота, а некоторые из нас могли à livre ouvert[339] — читать какую угодно латинскую книгу. К числу последних принадлежал и я. Как дорого выплатил бы я теперь за перевод, деланный и писанный моей рукою с Квинта Курция… Переводы с русского на латинский мы делали легко и свободно. Мои occupationes еще и теперь целы, и я по ним читаю мои первые, лучшие ощущения безрасчетного самодовольства своими успехами. Арифметики я в зуб, что называется, не знал и всеми силами отвиливал от нее. Географию знал тоже плохо, да и преподавали то ее, прости Господи, дрянно. Бывало, заучишь название городов, рек и проч., отдерешь, как говорится, с зуба — и дело с концом, а где эти города, где эти реки, и чем они замечательны, словом, все, что требуется от знатока географии, — мы и знать не знали, и ведать не ведали. Учители выслушивали у нас уроки, водили пальцами по открытым картам, размежевывали чересполосным образом города и горы — и квит, а мы думали, что это так и надо, и в простоте сердца не простирали вдаль своих претензий.

Должность инспектора училищ в то время неразлучна была со званием смотрителя. То и другое держал о. Иннокентий. И грозен, суров и подчас кровожадно-жесток он был, прости ему Господи. Понедельник каждой недели был для нас сущею грозою. В этот день делалась расправа всем, кто или не был в церкви, или, бывши, не чинно стоял. Последним доставалось больше всего. Страшно было видеть Иннокентия, когда он, закусив бороду и сдвинув клобук на сторону, закричит не своим голосом домашним палачам: «*пори*». Кровью обливается несчастный преступник, а тирану все мало. Страшнее всего для нас был зов в библиотеку. Это — лобное место домашних преступников. «Архангелы, сюда»! — закричит, бывало, Иннокентий, и из дальних кутов или, как у нас говаривали, из «камчатки» вылазят, бывало, человека три самых дюжих для исправления должности палачей. И горе бедняку, попавшемуся в их руки! Но когда хладнокровие позволяло Иннокентию сделать предварительные приготовления к наказанию преступников, то обыкновенно являлись солдаты в качестве алгвазилов. Этим молодцам однажды попался и я. Не помню, за что, знаю только, что за самую малость, взбешенный Иннокентий приказал солдату отвести меня и одного из товарищей моих, четырнадцативершкового верзилу, в карцер. Нас повели. Дорогою я размышлял о том, что́ дальше с нами будет, и мне страх захотелось улизнуть от казни.

— Полянский, — сказал я, обращаясь к товарищу моему, — давай уйдем.

— Да как тут уйдешь — вишь, за нами солдат.

— Экой дурак! Да свисни его в ухо, а там тягу.

Дурачина послушался. Бедный служитель свалился с ног; мы убежали. Но этим не спаслись нисколько от беды. Нас привели снова. Ну, плохо было моему Полянскому, и мне не хорошо, да уж все легче, потому что Иннокентий, как говорится, сорвал сердце на товарище моем.

Но, несмотря на такое нероновское обращение с нами, мы были ужасные шалуны и негодяи. В самом классе у нас бывали рыцарские потехи, от которых у иного являлась лазурь под глазами и нос принимал фигуру разностороннего треугольника. Бывало, за час до прихода учителя мы соберемся и идем на кулачки стена на стену. Это жестокое побоище кончалось тем, что одна какая-нибудь сторона давала тыл и победители гнали побежденных по коридорам училища, свирепствуя над ними не хуже татар. Другая дикая забава состояла у нас вот в чем. Партия выходит на партию, имея вместо оружия или платки с завязанными на одном конце узелками, или просто край халата, — этим оружием мы щелкали друг друга, не боясь выстегнуть глаза. Часто пораженный сваливался со стола, ибо битва всегда происходила на партах, и гром падения его был призывным знаком к лютейшему сражению. Ужасная грубость, что и говорить. Но где ж взять лучше развлечение, когда наши менторы сами не понимали, чем можно занять ребят в минуты досуга. Под неумолимою ферулою домашних палачей ожесточались душа и тело, и мы становились дикарями, для которых такие побоища были самым лучшим dolce far niente.

Дома мы с братом занимались большею частью переводами с латинского языка. Педагогом нашим был некто Петр Ефремович Устиновский, с ужасными бакенбардами и с глупою головою. Не знаю, почему, но я его терпеть не мог. Как жаль, что для моей охоты к ученью не было никакой пищи, что мне никто ничего не мог указать. По нескольку раз я переписывал тексты, выбираемые учителем для ежедневного повторения, — меня и за это бранили, говоря, что я попусту трачу бумагу; перечищал мои классические задачи — и то украдкой, чтоб батюшка не заметил. Я рад был бы душою прочитать какую-нибудь книгу; но мне не давали, да, вправду сказать, и дать было нечего. Одно и единственное мое наслаждение было читать какую-то древнюю историю, у которой не было ни начала, ни конца, да еще сказки лубочной печати. Вот все, чем должна была ограничиться моя литературная деятельность. А

любопытство страшно кипело в ребенке. Я читал философские лекции моего педагога и завидовал ему, что он учит вещи гораздо умнее тех, которыми тиранил я в ту пору память свою. Не помню, как и каким образом попалась мне «Пиитика» Платона. Я с радости почти выучил ее наизусть. Помещенные там при конце «Овидиевы превращения» заинтересовали меня более всего; я несколько раз обращался с просьбою объяснить мне эти рассказы; но мой педагог важно прогонял меня прочь, замечая мне, что я все пустяками занимаюсь. Тут еще успел я выучить одно старинное стихотворение о петухе и лисице, которое (до сих пор помню) начиналось так:

Дивная история и чудная весть,

Как однажды лисица захотела есть.

Я декламировал его мастерски, и меня по нескольку раз заставляли читать и перечитывать его, постоянно осыпая похвалами. В это время, не знаю, по какому случаю, я познакомился с стихотворениями Державина, Капниста, Николева и Жуковского и моею детскою рукою списал многие из них. *«Подражание Иову»* Ломоносова я знал наизусть, и сердце во мне трепетало от восторга, когда я читал неслыханные никогда мною строфы этого отца нашей поэзии. Сам батюшка поглаживал иногда меня по голове и приговаривал: «Хорошо, сынок, только, смотри, береги у меня бумагу». Бог знает, не было ли это предвещательным предостережением, чтоб я не брался впоследствии времени за перо стиходея. Грешен, что ж делать, не исполнил завета отцовского и даже влез со стихами моими в печать.

Я был в училищном хоре; пел альтом. Еще до поступления моего в школу я охотно бежал в церковь и громко распевал на клиросе стихиры. Звонкий голос мой нравился всем; но я боялся попасть в архиерейский хор, ибо вовсе потерял бы в общем мнении. Там было сборище самых отчаянных шалунов и лентяев. Хором, к которому принадлежал и я, заведовал Я. Ф. Покровский, и мы — экая смелость! — дерзали даже петь концерты. Около этого времени последовала кончина Епифания, епископа Воронежского и Черкасского… С приездом нынешнего Антония [4] я посвящен в стихарь в качестве лампадника к его преосвященству. Никогда не забуду я того впечатления, которое произведено было на меня блестящим стихарем, впервые надетым на мои плечи. Мне казалось, что все смотрят и любуются мною, и это, конечно, оттого, что я не мог налюбоваться сам собою… Принимался я и за рисование. Разумеется, учителя у меня не было никакого, а перенимал все у товарищей. Главный секрет рисования состоял у меня в следующем: взять какую-нибудь картину, пришпилить к ней бумагу булавками и приставить к стеклу, рисовать сначала карандашом, а потом размазывать красками. Картины мои вовсе не годились бы на выставку.

Брался я за музыку, но безуспешно. У моего домашнего педагога были гусли, на которых он преудивительно игрывал. Урывками я, бывало, побренчу собственную фантазию и убегу, чтобы не увидал меня злой Петр Ефремович.

Вот одна страница моей жизни, — переверните ее и будете читать на другой, где я уже пишусь словесником, т. е. учеником словесности, а паче «хитростей пиитических».

Отрывок из этой страницы находится в «Дневнике» под 1845 годом. Вот что читаем мы там:

«Я сказал уже, что читатели мои (если только будут у меня читатели) должны теперь не иначе воображать себе меня, как словесником. О, не шутите этим! В мою пору это было совершенно то же, что тоненький эполет для прапорщика, первый выезд на бал для институтки. Мы гордо проходили мимо училища, уже не боясь, чтобы нас отодрали за уши, если мы не скинем шапки перед каким-нибудь учителем. Мы уже смело носили шинель спустя рукава, нисколько не

воображая, как это было смешно, особенно для фризовой яркого цвета шинели. Прошу помнить, что носить шинель спустя рукава наше начальство строго запрещало, находя в этом что-то богопротивное. Словесники и так далее были в этом случае немножко вольнодумцы и уже позволяли себе все, что запрещалось ученикам уездным.

Я с братом подался во второе отделение словесности. Профессорами у нас были: по словесности — Алексей Петрович Лебедев, по истории — Антон Иванович Собкевич, а по прочим предметам — лекторы, назначаемые из лучших учеников богословского класса. Я помню их: одного, который читал у нас греческий язык, звали Петровым, а преподавателя французского языка — Мезецким. Немецкий язык читал А. А. Николаевский. О последних нечего говорить. Это были такие же семинаристы, как и я, и все мои товарищи, не обозначаемые особенным типом. Но о профессорах можно и даже должно сказать.

А. П. Лебедев был у нас заслуженным профессором и одним из важнейших диктаторов в семинарском ареопаге. Более двадцати лет обучая ребят риторике, он, как говорится, набил руку; но, собственно говоря, он не умел приспособляться к понятиям ребятишек. Всегда важный, гордый, он говорил с нами языком не педагога, а оратора, декламирующего перед публикою заранее обдуманную лекцию. Он не любил долго вбивать в голову ребенка условные правила составления речи, — оттого теорию мы знали плохо. Лебедев обыкновенно учил нас примерами. Он возьмет, бывало, какое-нибудь сочинение, положим, Анастасия, Карамзина или Феофана, и начнет его разбирать по суставчикам, указывая нам, где тут порядочная хрия, где не совсем порядочная, где тут винословный, где разделительный период, где там торчит синекдоха, где метонимия. К концу такого анатомического анализа бедное сочинение до того бывает истрепано, что на нем лица не видно. Впрочем, нельзя не поблагодарить Лебедева за такой метод преподавания, — не все, но многие из нас, выбитые самим наставником из привычной колеи риторических правил, рано начали писать тем языком, который тогда впервые показался в «Письмах русского путешественника». Благодарен я Лебедеву и за то еще, что он не привязывался к школьным приемам условной речи, а позволял писать свободно, прямо, не растягивая речи на прокрустово ложе риторики. И — странное дело — мы учились сочинять по-русски по руководству латинской риторики Бургия, бестолковее которой я доселе еще не читывал ни одной риторики. Что за глупая была мысль убивать в ребенке всякую живую мысль этою аптечною мертвечиною... А нас заставляли учить и непременно от слова до слова. Новое варварство! Но вечная память моему доброму наставнику. Первые начатки писать я вынес из его школы. Медленно развертывались мои способности и односторонне их было направление, но я не виноват был в том. Нам читали только проповеди, строго запрещая чтение повестей, которых тогда было слишком небольшое число. А энциклопедических сведений и требовать нельзя было от нас, ибо сами учителя их не имели, простодушно довольствуя нас уроками о смирении и суете сего мира. Но вот что странно. По-русски мы не умели писать, зато по-латыни были такие мастера, каких теперь трудно поискать. Я сам в настоящую пору (в 1845 году) не сумею написать того, что выходило во время оно из-под детского моего пера... А сказать ли, что меня заставило заниматься латинскою поэзией? Был у меня в ту пору товарищ Н. К. Смыслов. Его рано похитила смерть; но таких талантов, какие имел этот человек, я во всю жизнь мою не встречал. Он был могучим соперником моим в школе, всегда и во всем перебивая мне дорогу. Это меня бесило. Но я успел опередить его в знании русского языка и еще кое в чем. Вдруг, слышу, Лебедев читает чьи-то латинские стихи с такою похвалою, что у меня уши загорелись. Кончив чтение, он отдал тетрадь Смыслову. Я чуть не заплакал. «Постой же ты, злодей, — думал я, — не опередить тебе меня и в этом». Тот час же я взялся за просодию, начал учить Овидия, читать Вергилия и Горация, и через две недели первый опыт моего стиходейства был уже в руках нашего ментора. Но каково же было мое огорчение, когда профессор в каких-нибудь сорока стихах нашел правильным только один коротенький стишок: «1abitur omne». Я готов был растерзать себя. Смыслов торжествовал. Не

испугавшись однако ж первой неудачи, я усилил мои старания, зная очень хорошо, что «gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic bene doctus eris non vi, sed saepe studendo». Успех увенчал мои старания, и я стал наравне с моим противником. В эту же пору рука моя впервые вооружилась тростью стихописца, — и смешно и досадно мне это воспоминание. Зачем тогда же не вырвали у меня пера и бумаги, — сколько бы уцелело ее? Самое первое мое стихотворение, помню хорошо, написано было мною к празднику Рождества для моих сестер. Я пробыл тогда в риторике только первую треть учебного года. Стихотворение это забыто мною. Оно было контрабанда, потому что мы еще не слышали от нашего профессора никаких наставлений о «хитростях пиитических». Наконец, мы дождались сего вожделенного часа с подобающею в таковых случаях важностью. Профессор приказал нам запастись «пиитикою» Аполлоса и в первой же лекции доложил нам, что «поэзия или стихотворство есть наука всякую вещь или данную материю описывать с некоторым подражательным вымыслом к пользе и уважению слушающих или читающих», что на таковой конец в поэзии есть героические поэмы, нравственные и очень душеспасительные оды, водится даже лирический восторг, отпускаются, по требованию надобности, богатые и бедные рифмы, и пр. и пр. С благой руки мы пустились писать. Так как пиитика пришла к нам в нагольном тулупе зимою, то нам дана была для первого стихотворения: Зима. Вот уж как мы ее отделали, разбойницу! Вот что особенно хорошо было у нас: у каждого непременно в стихах упоминался *мороз* с непременною рифмою *куст роз; свирели* с рифмою *трели*. А пальцы — бедные пальцы! У меня мозоли были на суставах от этого проклятого каданса, к которому надо было приучаться по милости этого пииты Аполлоса. После «Зимы» нам задаваемы были разные темы, большую часть которых я уже забыл, а помню только две, из которых нам приказано было сделать рондо. Первая тема: *Тот счастливо живет*, а вторая — *Антоний наш отец*. В таких мудреных казусах мы поступали вот как. Сначала подбираешь рифму, а там уже мысль, какая придется, и выходит рондо. Плачь, потомство! Завистливое время отняло у тебя эти перлы моего поэтического таланта...

А вот это как вам покажется? Заметьте, что я чуть было не уронил тогда славу Крылова тремя сохранившимися доселе басенками: 1) *Дятел и Голубь*; 2) *Лев, Медведь и Волк*; 3) *Страус и прочие птицы*. Лебедев под этими баснями положил такую резолюцию: «Studium versus et fabulas struendi laudator maximopere; coeterum perfectiones fabulae firmioni memoria tenere debes. Cura». Но я не послушался напрасного совета моего наставника и не сделался баснописцем, за что премного себе благодарен.

Но это все были стихи по казенной надобности. Нельзя было не ожидать, чтобы не принес я посильной дани и красоте. Мне попалась одна девочка, которой уж теперь нет на свете. Я влюбился в нее, как обыкновенно влюбляются мальчики в шестнадцать лет. Это была та девушка, которую воспел незабвенный Кольцов в своем *«Косаре»*. Он хорошо пел, а я — увы! — довольно скверно на первый раз... С тех пор как я научился различать размеренные строки от сплошной прозы, самовластно переходящей с одного конца строки на другой, стихокропанье стало лучшим моим farniente. Под вечер, уединясь в свой маленький садишко, я усаживался на больших камнях близ бани и писал с таким наслаждением, какое только мог испытывать мальчик моего возраста...»

На этой последней тираде, занесенной в дневник в 1846 году, прерываются, к сожалению, автобиографические воспоминания Аскоченского. О дальнейшем пребывании его в воронежской семинарии попадается только под 30 июля 1854 года весьма любопытная заметка о ректоре Евтихиане [5] и о занятиях последнего с семинаристами, заметка, пополняющая отчасти этот пробел в «Дневнике».

«Это был оригинал в своем роде. Один из ученейших людей тогдашнего времени и в высшей степени своенравный и неуступчивый, он был в постоянной вражде с могущественным

Антонием, архиепископом Воронежским, и ни в каком случае не покорялся его капризам. Зато ж и не усидел он на своем месте. Всего только один год пробыл Евтихиан ректором, но в это короткое время он чуть было не уронил тогда цветущей семинарии. <…>

Редко он сам отправлял богослужение, но нельзя не сказать, что он был благоговеен в священном одеянии архимандрита. Высокий ростом, с седой окладистой бородой, умным и серьезным выражением в лице, он в эту минуту заставлял нас забывать недавние его кощунства и шутки, так несвойственные его сану. При всем том Евтихиана любили и даже уважали. С профессорами он всегда не ладил и был у них спицей в глазу.

Ему, между прочим, обязан я тем, что не поехал в университет. Когда я принес к нему просьбу об увольнении меня из духовного звания, уже скрепленную резолюцией преосвященного, Евтихиан изорвал ее в клочки и бросил к моим ногам, обиженный, конечно, тем, что я повел это дело мимо ближайшего моего начальства. На вопрос обо мне Антония он вот что отвечал его высокопреосвященству: «Извольте распоряжаться вашими попами, дьячками и дьяконами, а моих студентов предоставьте мне. Аскоченский мне нужен для академии». Это мне сказывал сам Евтихиан, которого я был любимцем».

К сожалению, воспоминаний о дальнейшем ходе образования Аскоченского мы не нашли в «Дневнике». Но и из приведенных ясно уже, какова та суровая школа старого закала, которую проходил Аскоченский с природными задатками, с натурою, требовавшей деятельности. <…>

III

По окончании академического курса

<…>

Наиболее светлым периодом в жизни Аскоченского были 1840 и 1841 годы. В 1840 году он впервые почувствовал себя свободным от школьнических обязанностей, «мучивших его», по его собственному выражению, «с лишком 15 лет». В том же году он получил и диплом свой на степень магистра. Но главное, говорит автор, в том, что «я в первый раз почувствовал тут истинную, крепкую, как смерть, привязанность к милому, единственному в целом мире существу». Речь идет о знакомстве с его первой женой. Большая половина «Дневника» за 1840 и 1841 годы, когда Аскоченский женился, переполнена излияниями чувств его, тревогами по поводу устройства семейной жизни и сетованиями на свое безденежье, которое положительно отравляло ему покой. Но и здесь личные заботы не успели поглотить его вполне. Проводя большую часть времени то на лекциях в академии, то на частных уроках, Аскоченский не перестает, однако, проверять себя самого наедине со своею совестью и время от времени заносит в «Дневник» суждения свои о всем, что так или иначе может иметь общественный интерес. Без сомнения, академическая сфера всего более занимает автора и служит за это время главным предметом его критической наблюдательности. Заметки его в данном случае заслуживают полного внимания. В одной из них автор представляет в сжатом виде тогдашний духовно-академический круг.

«Сегодня (29-го апреля) начал я снова, — пишет Аскоченский, — свои патрологические лекции. Добрые студенты собрались все и слушали меня с возможным вниманием. Не знаю, как теперь (т. е. в 1842 году), а в наше время это было для преподавателя достойным ручательством того, что он знает свое дело, как следует, и ведет уроки свои ревностно и добросовестно. Не хваля себя, пишу это, а только ободряя свою леность на новые труды и хлопоты. Признаюсь, люблю послушать стороною об отзывах студентов касательно преподающих в академии разные науки. Мера всему — внимание слушателей. У нас не

заставишь неволею идти студента в класс. Угрозы, епитимии, штраф не пугают его; равнодушно идет он в часы занятий за город и к обеду является непременно, как ни в чем нигде не бывал. Это велось при нас, ведется и теперь. И потому-то некоторые наставники академии часто не досчитываются десятками своих слушателей. У ректора — нечего сказать — бывают все не от того, чтобы они боялись власти его; нет, ректор вовсе не обращает внимания на то, много ли или мало сидящих в аудитории. Он знает только свое дело, без умолка говорит битых полтора часа, изумляет всех разнообразием своих сведений, необъятностью своей памяти, энциклопедическим знанием всего, что входит как-нибудь в сферу богословия, и, кончая необъятную свою лекцию, выходит сам со своими слушателями утомленным, измученным. Инспектор Иоанникий мало интересует студентов своею моралью. Его нравственное богословие так нравственно, что не смеет шагу ступить далее предела, указанного каким-то немецким руководством. Скучен, Господь с ним, этот отче. Замечательно, что этот инспектор есть уже вторая ошибка нашего митрополита. Старик думал, что кто в семинарии хорош, тот будет таким же и в академии — ан вот и нет… <…>

А вот послушайте молодого монаха Макария, — как хорошо, с каким энтузиазмом импровизирует он свои уроки из истории русской Церкви. Послушайте, говорю, его все слушают».

Так отзывается Аскоченский об академических наставниках-монахах; но и о светских преподавателях он не позабыл. Вот, например, Я. К. Амфитеатров:

«Было время, когда этот чудесный профессор говорил лекции свои с таким энтузиазмом, которому нельзя было не симпатизировать: мы слушали его, не переводя духу. Бывало — войдет, сядет, утрется платком — все это так неловко; заговорит себе под нос, а там, чем дальше, тем живее, а там и пошел, и пошел. Славно, умно, правильно! А теперь… он ослабел; ревностные занятия и неизлечимая болезнь убили его здоровье, потушили прежний жар, и от прежнего восторженного импровизатора остался скучный читатель старозаветных уроков. Но прошлое совершенство искупает настоящие недостатки его преподавания. Он сделал свое дело, создал науку — пусть уж молодежь теперь развивает и горячится над нею.

Д. И. Макаров, преподаватель церковной истории, читает, как бы это сказать… Случалось ли вам слушать старого проповедника, который боится на кафедре говорить по-модному, а ломает бедный язык по-письменному? Или случалось ли вам слышать чтение повести Марлинского от какого-нибудь сельского попа или от чегонибудь вроде этого? Если случалось, то вы поймете, как досадно и скучно слышать хорошую лекцию, исковерканную какою-то фанатическою набожностью к целости букв и положенную на какие-то жалкие ноты монотонии. Не знаю, как теперь, а в наше время многие внимательные слушатели уроков Макарова с четверть часа не могли наладить речи своей на склад человеческий. А впрочем, Д. И. делает свое дело добросовестно. Он трудится много, крепко много, лишь труд его и не виден.

За Макаровым следую я с своей патрологией. Ну, уж извините, говорить о себе как-то не приходится. Перехожу к преподавателям языков и наперед замечу, что эта часть во всех наших учебных заведениях крайне запущена. <…>

Класс философский быль счастливее. В регентстве Иннокентия философия дошла до высшей степени своего совершенства. Отличные преподаватели (Новицкий, Карпов, Михневич и потом Авсенев) держали ее в таком виде, что Иннокентий без хвастовства мог сказать, что нигде в России не читается лучше философия. Но то было и прошло, — что теперь? Ветеран философии, ординарный профессор И. М. Скворцов, и до сих пор еще подвизается на давней своей арене. Иннокентий толкнул его и отскочил от Винклера, Скворцов в иную пору и в добрый час говорил и говорит дельно. Как бы то ни было, но двадцатипятилетняя служба

заставляет смотреть снисходительно на некоторые странности нашего ветерана и даже уважать его за многое. Авсенев, экстраординарный профессор, несколько уже лет делает свое дело мастерски, и студенты умеют ценить и понимать его. Весь углубленный в неметчину, он, однако же, строго держится духа Православия и мирит философию с учением веры, делая это без насилия той и другой. Этому человеку можно и должно сказать большое спасибо. <…> Математические науки читают двое: ординарный профессор В. П. Чехович и бакалавр Д. А. Подгурский, и читают, должно быть, хорошо, потому что имеют довольно охотников для слушания своих сухопарых лекций.

Всеобщая история… постойте, дайте перевести дух… Когда-то давно, еще в первом курсе здешней академии, был один студент, отличавшийся аккуратностью и классическою точностью. Студент этот хорошо учил уроки, подавал вовремя задачи, регулярно ходил в столовую, в церковь и был nec plus ultra исправный ученик. За таковые похвальные качества его присудили оставить бакалавром, кажется, французского языка. Прошло несколько времени и ему отдали в жертву историю, и с тех пор он вымучивает из нее дыхание и жизнь. Взяв в помощники себе Кайданова (т. е., разумеется, учебник), он тиранит ее, анатомирует и сечет, как живорез Мажанди бедное животное, и за это дали ему пряжку с римскими цифрами XV. Страх послушать, как он начнет рассказывать о событиях древнего мира: ни одной живой мысли, ни одной идеи, которая бы проникала мертвые факты, нанизанные как попало, на удачу. Для этого человека как будто нет ни Гертера, ни Нибура, ни Погодина, ни Шафарика. Бедная история, бедная академия, бедные студенты! Губит вас А. Д. Гранилов! Учи, учи, учи наизусть, тверди всякий вздор, даже и о том, какая случилась оказия с Копронимом в купели, как аргонавты похитили золотое руно или… виноват, спутался. Да разве, в самом деле, не все равно? Сказка — не быль: истина не пострадает. А как важен этот наш отсталый профессор — иной раз подумаешь, что он с неба звезды хватает, а приглядишься поближе, ан и выйдет трын-трава. В параллель ему можно и даже должно поставить экстраординарного профессора С. Е. Соловьева. Братцы мои! Где это слыхано, чтоб до сих пор держаться, как за последнюю доску после кораблекрушения, Бати и Лагарпа? Боже мой! Что, если бы какой-нибудь литератор послушал лекции нашего Тредьяковского? Он обмер бы со страху, а мы — от стыда. Вот уж попал не в свою колею. Я каждый раз принужен сидеть как на иголках, когда бедные студенты, по наряду своего профессора, начинают корчить словесников. Ужас, да и только! Вообразите, для него и теперь «Россиада» Хераскова — chef d’oeuvre русской эпической поэмы; для него и до сих пор Ломоносовы речи — образец прозаического красноречия; для него и теперь Пушкин еще не поэт, Хомякова — как не было, Баратынский — миф, Лермонтов — сказка, Грибоедов — темна вода во облацех. Ах, батюшки мои, и это в академии? И это в высшем учебном заведении?.. Бедная словесность! Бедные слушатели! Бедный горемыка профессор!

Перейдем теперь к самому гадкому отделению академической учености — к языкам. Начнем с французского, или нет — лучше не начинать. <…>

Немецкий язык остается за Гогоцким. Исполняя ex officio свою Сизифову работу, он глядит в лес и потому, окончив с пренебрежением несносную лекцию, спешит к более важным, домашним ученым занятиям. По крайней мере, он иногда забавляет слушателей своих рассказами о немецкой литературе. Делал когда-то и я со своим польским языком, но теперь, из уважения к патрологии, я бросил прежнюю свою любовницу — литературу польскую…»

<…>

Вскоре по выходе из академии Аскоченскому удалось побывать на родине. Сама по себе поездка в Воронеж не заслуживала бы внимания, если бы с нею не было связано в дневнике воспоминания о свидании с А. В. Кольцовым. Вот как описано это свидание, происходившее 12 июля 1841 года:

«Длинная, винтообразная лестница привела, наконец, меня к уютному жилью любимца моего. С каким-то тихим замираньем сердца взялся я за ручку двери, за которою было передумано так много дум, святых мыслей, за которою так сильно и звучно билось сердце общечеловеческою любовью. Замок щелкнул. Я вошел в переднюю, сбросил шинель и, став перед поэтом, сказал:

— Здравствуйте, Алексей Васильевич. Вы, конечно, меня не знаете.

— Нет, не имею чести, — отвечал он удушливым, сиповатым голосом.

Я отрекомендовался. Он просил меня сесть. С минуту я смотрел на него, не сводя глаз. Мне хотелось изучить это чело, в котором зарождалось столько высоких, мировых идей; мне хотелось насмотреться на этого человека, для которого природа была единственною книгою, который стал мастером, не быв никогда тружеником науки. Это, думал я, помазанник Божий, и этот человек уже чуть дышит. Он говорит почти неслышным голосом, за каждым словом переводит дух. С непритворным участием я спросил его о здоровье.

— Слава Богу, — отвечал он, — теперь… мне лучше… а прошлый год… приходилось плохо.

— Живите, Алексей Васильевич, живите для нашей родной литературы. Мы и так уже несчастливы, лишившись великого представителя нашей народной…

— Меня, — прервал он, — избаловали неумеренные похвалы наших критиков… Избавьте меня от похвал.

— Умейте различать какую-нибудь безотчетную, восторженную похвалу фельетониста от искренней привязанности и уважения к вашим талантам людей, которые знают, как понимать вас. Что касается до меня, то скажу вам прямо: я влюблен в вас.

Поэт мой улыбнулся.

— Да, — продолжал он, — во мне хотят видеть мещанина… Я прошу всех, чтобы на меня смотрели как на человека… Я им даю факт… Что им за надобность, с неба ли беру я мое вдохновение, или от земли…

Удушливый кашель прервал его речь. Я просил его успокоиться.

— На вас, Алексей Васильевич, — сказал я, — надобно смотреть, отвлекаясь от всех условий общественного быта. Вы поэт, — и выше этого титла я не знаю и не хочу знать ничего.

— Благодарю вас. — Он с чувством пожал мне руку.

— Вот вам рука моя, я с вами согласен. Однако ж извините, вам надобен покой.

— Беру с вас слово, что это не последнее ваше посещение.

— Если только не наскучу вам…

— Я человек больной… и если я скажу вам напрямки, что мне дурно… то вы не обидитесь… и не назовете меня каннибалом…

— Так, стало быть, этикет в сторону?

— Непременно.

— В таком случае я ваш.

Он проводил меня до дверей, изъявив желание поговорить со мною об академии, и простился до свидания. Я был рад его приглашению и однако ж по обстоятельствам, при всем желании моем не мог воспользоваться им...»

<...>

IV

<...>

1842-й и первая половина 1843 года были для Аскоченского переходным временем от радостей к жестокому потрясению. Много событий пережил он, от которых «поседели целые десятки волос». «Там, — говорит он о дневнике этого года, — яркими красками написались счастливые мгновения, когда я назвал себя отцом; там написались через несколько времени горькие слезы, которыми я проводил первенца моего в могилу. Там есть строки, которые скажут моему потомству о смерти доброй, единственной страдалицы — моей маменьки; там много, много омытого горячими слезами раскаяния, позднего сожаления, томительной грусти, беспомощной нужды, обманутых ожиданий, и однако все это прошло. Что же тут напишется?.. Вопрос не легче гамлетовского: быть или не быть?».

Так писал Аскоченский 10 августа 1843 года, а 22 января следующего года мы читаем уже:

«Ночь — страшная ночь! — А слез нету. Я чувствую, что все не так во мне, как должно, а как должно — того не знаю. Софья велела позвать священника — неу...»

Дальше дописать, очевидно, был не в силах Аскоченский, — ему уже было не до дневника. На третий день после этого умерла первая жена Аскоченского. Как потрясла его эта кончина, показывает сделанное одним из студентов академии описание всего, что происходило тогда с Аскоченским. Он почти помешался, бродил, как тень, ища своего «ангела — Софью». Вот одна из записей, какими надолго потом переполняется дневник после смерти жены.

«Хоть бы во сне мне увидеть ее! Нет, не вижу, а там, на кладбище, только холодная земля. Где ж Софья-то моя? Други мои! Где ж Софья-то моя! Я искал ее меж немых памятников; туда ее отнесли — а все нет ее; я звал ее на могиле ее — и она не сказала мне ни слова. Софья, Софья! Явись же ко мне хоть во сне. Скажи, как ты живешь там? Что делаешь, о чем думаешь? Господи, Боже мой! Хоть на одну минуту, хоть на одно слово повели снизойти моему ангелу ко мне, несчастному».

Долго не мог Аскоченский помириться со смертью жены: этот момент был для него началом разочарований. 29 августа читаем в дневнике: «Не думаете ли вы, что я дорожу теперь чем-нибудь? Совершенно предавшись в волю Божию, я бросился в море жизни и иду без мысли, оторвав якорь пустых надежд и желаний. И для чего надеяться? Для того ли, чтоб еще раз обмануться в своих надеждах? Будет, не надо. Пусть же уроки повторяют непонятливые, беспамятные ученики судьбы, а я знаю и твердо помню данный мне Господом Богом урок. И желать не хочу — к чему? Все вздор! У меня и без того уже много, куда как много седых волос, а эти желания только крушат да сушат. Мне теперь одна молитва: «Со святыми упокой мою Софью; а для меня — день прошел, благодарю тя, Господи; подай мне и вечер с нощию бессоблазнен, а обо всем прочем, якоже хощеши, устрой о мне вещь».

<...>

V

Служба в Житомире

<…>

Одним из последствий сватовства за В. Н. Балабуху была необходимость переменить род службы. Надежды на счастливый финал его романа, как мы видели, не покидавшие Аскоченского, заставили его согласиться на предложение Д. Г. Бибикова бросить ученую карьеру и искать более обеспеченного положения. Отступать было нельзя даже после неудачной развязки. Бибиков зачислил его в свою секретную канцелярию, и Аскоченскому, в ожидании нового назначения, пришлось испытывать неприятность неопределенного положения.

«Я теперь (23-го января 1846 г.) — как бы вам сказать? — чиновник, служащий везде и нигде. Сейчас вы видели меня за профессорским столиком и весьма основательно заключили, что я, точно, профессор. Но вот я в канцелярии, толкую о делах судейских, на меня смотрят вот эти молодые образованные юристы как на товарища своего, и вы не знаете, что обо мне подумать, вы обращаетесь ко мне с вопросительным видом, и я отвечаю вам улыбкой, из которой ни вы, ни я ничего не поймем. В самом деле, что я теперь такое? По всему городу разнеслось, что я уже советник житомирского губернского правления, все поздравляют меня, жмут от души руку, желая про себя сломить мне шею, а между тем я сам должен отклонять от себя эти поздравления по весьма простой причине — слишком они ранние. И мне приходит тут на ум предостерегательная пословица: «Рано ты птичка запела, как бы тебя вошка не съела». И опять-таки остается нерешенным вопрос, кто ж я такое?»

<…>

К неприятностям неопределенного положения Аскоченского присоединилось в это время еще крайнее безденежье. О нем можно судить по следующим строкам, занесенным в дневник 6 февраля:

«Не удивляйтесь, господа, такому скачку в моем дневнике[340]. Вы поймете его, если узнаете, что с самого понедельника (4-го) совсем не был, даже не ночевал дома. Не удивляйтесь и тому, если я не обстоятельно расскажу вам, где и почему, там, а не в другом месте ночевал я. Никто бы, клянусь вам, не выгнал меня из дому, если бы не эти кредиторы, с утра до ночи, осаждающие все мои двери и пытающие меня решительно по-инквизиторски. Рекомендую, милостивые государи, если, кто хочет совсем лишиться спокойствия, потерять сон и аппетит, тот пусть постарается задолжать так, как задолжал я, — и вдобавок, пусть увидит впереди самые ничтожные надежды отделаться от этих ужасно нестерпимых визитов моих нежданных посетителей. Боже мой, хоть бы один месяц, один день вздохнуть мне без этих дьявольских долгов! Вот, слышите ли? У дверей моих уже стучится один кредитор. Я притих и боюсь даже скрипом пера дать знать, что я тут, дома. Прошу покорно предаваться в таком случае liberalibus litteris, когда голова поминутно вертится то к окну, то к двери, когда ухо настороже — и беспокойство убивает всякий экстаз души!.. Не зная, куда деваться, я пустился наудалую шататься, и эти дни, глупо проведенные мною, вычеркнуты из короткого списка порядочных дней моей жизни. Не хочу и вспоминать об них. Боже мой! что еще впереди будет со мной!»…

Кредиторы решительно атаковали Аскоченского, а между тем жалованье в это время он не получал ни из академии, ни из генерал-губернаторской канцелярии. Если что и давало ему некоторую, впрочем, весьма скудную поддержку, так это его литературные произведения. К тому времени относится появление в свет стихотворений и «Истории русской литературы». Но

тогда уже, будучи еще неофитом в литературе, сознавал он ясно, какие трудности ожидают каждого прозелита на этом тернистом пути.

«Господа прозелиты в мире литературном! — пишет он под 10 июля. — Когда придет вам охота явиться печатно, возьмите на себя иго терпения, будьте кротки и смиренны сердцем — и тогда только вы обрящете покой думам вашим. Знаю, по опыту знаю, что иго это не благо и бремя это нелегко есть, ибо вам придется столкнуться со всем, что имеет унизительного раздражительный эгоизм человека. Начать с того, что на вас будут уже все смотреть как на писателя, на сочинителя. С этим словом большая часть рода человеческого соединяет понятие о таком опасном существе, которое вреднее для общества сулемы, который выбросит грязь, скрываемую в душе этим грязным обществом, который поэтому есть враг порядка, который ни к чему не годен — и плохой чиновник, и вольтерьянец по правилам. Но вы не обращаете внимания на эти жалкие предрассудки; вы печатаете себе, и книга ваша вышла в свет. Хорошо, если состояние ваше позволяет вам бросить сотни две серебряных рублей на авось, вы хладнокровно будете смотреть на пирамиду, составленную из печатных экземпляров вашего творения, вы, пожалуй без значительного ущерба для себя, раздарите ваше сочинение своим знакомым в знак, дескать, глубокой расположенности. Но худо, очень худо, если на издании своем вы основали какие-нибудь меркантильные расчеты и если к тому ж имя ваше недавно явилось печатным. Не пособит этому горю и то, что ваше сочинение полно всякого рода совершенств. Это даже тем хуже для вас, тем больнее слышать близорукие суждения литературных Катонов, с которыми вы даже и спорить не можете «по прикосновенности к разбираемому и осуждаемому делу». И знаете ли что, — легче, во сто раз легче перенести горделиво бестолковый приговор, произносимый вашему сочинению как никуда негодному, и вам самим — как человеку, который взялся не за свое дело. Тут, по крайней мере, можно утешиться, молча и не отвечая ни слова на бестолковую брань. Но горе, если ваше сочинение попадется в руки недоученному ученику и если он в порыве многознайства начнет теребить вашу книгу своими мучительными суждениями и взглядами. Во-первых, вы видите, что он не понял вас, даже не хочет понять и сердит на вас потому только, что ваши мысли не сходятся с его мыслями; во-вторых, он хвалит у вас то, что по законному порядку идет зауряд и чинно, и хулит напропалую те места, которые долго не давали вам заснуть спокойно и которые вышли на бумагу с вашею плотью и кровью. Знаете, на что походит эта пытка? На то, если бы перед вашими глазами уродовали ваше дитя и доказывали в то же время, что этак будет гораздо лучше. Попробуйте сохранить в такую пору стоическое хладнокровие! Трудно, а неизбежно, ибо иначе ваш критик, серьезно рассуждающий о вашей книге, засмеет вас, если вы горячо вступитесь за то. Только в случае крайней нужды защищайтесь, и то с готовностью уступить при криках, к которым обыкновенно прибегают судии такого рода. Разумеется, на каждом шагу вас ожидают грубости. Терпите, непременно терпите, ибо на то вы и призваны. Как вы смели, в самом деле, возвышать свой голос и занимать публику, когда вот, например, его превосходительство, действительный статский советник, с орденом на шее молчит, и если позволяет себе говорить, то разве только о том, что вчера оно изволило сыграть семь без прикупки, имея на руках всего сам-четверть туза козырей с маленькими, или когда вот его высокоблагородие, служившее на флоте и знающее Камчатку, как свой кошелек, позволяет себе только так, между друзьями, поразмазать диковинные вещи вроде: не любо — не слушай, а лгать не мешай, или когда вот они, честь имеющие быть ординарным профессором при университете и самим небом призванные деятели учености, не печатают себя, отделываясь в министерских отчетах вечною обделкой никогда небывалых на бумаге и глупо импровизируемых лекций. Как это можно! Да кто вы такой? Да как вы?.. Да что вы, из призванных, что ли? Под суд вас, под неумолимый литературный суд!.. И вот вследствие этого является в каком-нибудь журнале или газете статья, в которой не пропущена ни одна опечатка, где вы разбранены по-извозчицки, где вы просто-напросто названы бестолочем, с пересыпкой других такого же рода вежливых выражений… Но вы уныли, прозелит

литературный! Бог с вами! Трудитесь, работайте, если у вас есть силы, пишите и печатайте, помня русскую пословицу: собака брешет, а барин едет. Та же толпа, которая теперь, с голосу вашего критика, бранит вас и смеется вам в глаза, будет аплодировать вам без устали, как скоро вы, не сморгнув, встретите первый бешеный натиск ее, возбужденный опиумом желчной критики журналиста. Слушайте не эту пустую, безмозглую толпу, а людей образованных, истинно ученых. Если, впрочем, уж и они сказали, что вы не умеете владеть литературным пером, тогда бросьте его и беритесь за рапорты и отношения. Если же ваше творение успело заслужить одобрение двух-трех крепких голов, то ступайте с Богом своею дорогою!»...

Аскоченскому, однако, не удалось скоро попасть на эту дорогу. Теперь ему предстояла совсем не соответствующая ни его характеру, ни его умственному кругозору и нравственному уровню карьера чиновника, на которую волей-неволей толкнула его судьба. Но прежде чем покинуть Киев, Аскоченский успел в весьма короткое время отыскать себе невесту. Этот эпизод вторичного сватовства увенчался успехом, словно для того, чтобы в результате доставить Аскоченскому новое испытание и приблизить начало бесповоротного перелома в его жизни.

<...>

VII

<...>

В августе 1852 года Аскоченский покинул Каменец-Подольск. Где и как он жил до 1854 года, мы не знаем, а в «Дневнике» эти два года совсем пропущены. Последующие же заметки начинаются с марта 1854 года, но большинство их относится к воспоминаниям о прошлом, ибо настоящее не представляло ничего утешительного в личном положении Аскоченского. <...> В тяжком безотрадном уединении Аскоченский приводит на память теперь свои отношении к разным лицам, одних клеймя желчным стихом, о других же говоря с уважением. Вот что, между прочим, писал он тогда о Бибикове, который, как мы видели, в значительной степени был виновником многих печальных испытаний, пережитых Аскоченским:

«Ой, долго, долго будут жалеть все благомыслящие люди о Бибикове. Повторяют, что я сказал когда-то: «Государь мог найти и сделать сотни министров, но другого Бибикова для этого края не отыщет». «Мне всегда возражают, что он держал при себе Писарева, и ставят это в незагладимый упрек Дмитрию Гавриловичу. Удивительно, как близоруко такое суждение. Я очень хорошо знаю вдоль и поперек Писарева: он был взяточник, по-своему понимавший честь и совесть, но в уме ему никто отказать не может, и все мудрые и по своим результатам благодетельные распоряжения Бибикова по всем трем западным губерниям сделаны при посредстве этого проклинаемого взяточника. Дмитрий Гаврилович поступил в таком случае как глубокий политик: он допускал малое, частное зло для общего и большого блага. Он хорошо знал про взяточничество Писарева и сносил это, потому что нужен был ему ум и деятельность этого человека.

Кончились задуманные распоряжения, осуществились превосходные планы, — Бибиков отстранил тогда от себя Писарева, но отстранил благородно, предоставил даже награду ему за труды, вместе подъятые; Бибиков предоставил судьбе наказать взяточника, и он наказан, жестоко наказан. Повторяю, ставить в упрек Бибикову поведение Писарева есть вопиющая несправедливость и обличает узкий, недальновидный взгляд на вещи. Я священным долгом поставляю всегда стоять за честь, и имя этого великого слуги Царю и Отечеству. В лести и похвальстве, надеюсь, никто не упрекнет меня, ибо кто больше меня потерял от того же самого Бибикова, — но, мимо моих личных интересов, я всегда буду любить его, ибо понимаю, кого люблю и уважаю».

При всей склонности своей к пристрастному третированию окружавших его Аскоченский по отношению к Бибикову остается неизменным даже тогда, когда обнаружилось, что последний вполне равнодушен к участи бывшего своего protégé. «На Благовещение, — отмечает Аскоченский, — получил я от Козлова из Петербурга письмо, но не благовестие, а зловестие принесло оно с собою. Кажется, вся моя надежда на Бибикова исчезла невозвратно. Однако ж как жестоко поступил он со мною! Бог с ним! Знаю только, что он сделал меня несчастным; нет возможности перечислить все, что перенес и переношу я по милости этого крутого и немилостивого человека. Чтобы не тревожить горячих ран растерзанного моего сердца, я не стану говорить ни о Бибикове, ни о письме Козлова. Гибнуть, так гибнуть!»...

А между тем личная жизнь Аскоченского становилась с каждым днем все плачевнее. Без всякого заработка, с разбитыми надеждами, разочарованный автор «Дневника» не видел конца своему «злополучию». Дело дошло до того, что он не только смирился в своих отношениях к людям, но и принужден был иногда испытывать унижение перед недавними своими врагами. Так, под 1 августа читаем:

«...Я нынче положил камешек, который до сих пор служил мне претыканием. Приказав замолчать бедственному для меня самолюбию, я ездил — угадайте, к кому? — к Розенбауму, к человеку, который стал некогда врагом моим и ядый со мною хлеб воздвиже на мя запинание, который за то потерпел и сам много от ядовитого пера моего и который под конец горемычного моего существования был один из членов беззаконного совета, сложившего на меня извет и повергшего меня в бездну несчастий. Да, я сам теперь протянул ему руку примирения, чего не сделал бы, конечно, если б не мои несчастия... Розенбаум принял меня радушно, и через пять минут мы уже забыли нашу вражду и говорили между собой про былое, приятное в нашем знакомстве. Этим первым параграфом на этот раз я и удовольствовался, предоставив дальнейшие мои планы и надежды времени...»

Но не в одном «смирении» сказалась теперь в Аскоченском перемена, вызванная утомлением в борьбе с враждебными обстоятельствами. В это время ясно уже определяется то направление его, которое впоследствии открыто выражалось в «Домашней беседе». Наглядным доказательством такой перемены в душевном настроении Аскоченского служат заметки его о современном просвещении вообще и об университетском образовании в России в частности. <...>

«В наш просвещенный век цивилизации и прогресса, когда молодое, а за ним и старое поколение спешит под знаменем мнимого просвещения к разрушению всего, что освящено давностью и чем держится благосостояние обществ, невольно останавливаешься беспокойною мыслью над вопросом: что такое современное просвещение? Не та ли это печать антихриста, которая предсказана в Апокалипсисе и которая не ляжет численным изображением индустрии на челе только малых избранных?..

Нет такой несправедливости, нет такой лжи и клятвопреступления, которых бы не оправдало это так называемое просвещение. Дикарь ужаснулся бы тех жестокостей, к которым прибегает индустрия для достижения своих сатанинских целей. Во имя этого лжеименного просвещения явилась филантропия, преследующая какую-то идею и считающая жизнь особей совершенно ничем; от имени этого просвещения ставят памятники истребителям человечества, отъявленным безбожникам и низким космополитам; от имени этого просвещения обожили ум, отринув спасительную веру, всегда спасавшую наших добродушных предков.

И мы — русские — жалкие подражатели истлевающего запада, — и мы к нашему юному, свежему телу привили эту язву лжепросвещения, воздвигли огромные здания, где не унциями, а целыми пудами раздают отраву отрицания и безверия, да еще гордимся тем, что и мы,

дескать, не отстали от Европы, и у нас есть университеты, где всякий голубой воротник рассказывает вам, что каждая звезда на небе значит.

Давно уже мне хочется глубже вникнуть в вопрос: нужны ли нашей матушке-России эти университеты, — тем более хочется, что частенько приходится толковать об этом с любителями современного прогресса, которые всегда обвиняют меня в пристрастии и в неправильном одностороннем увлечении. А между тем я говорю только вот что. Прошу прислушать.

Что такое университет? По этимологическому производству этого слова, оно значит «всеучилище», то есть такое заведение, в котором преподаются все науки без исключения, обширный пантеон человеческого знания. Таковы и были первоначально университеты на западе Европы; в них сосредоточивались все факультеты, и за отсутствием других специальных училищ для образования юношества, из университетов выходили и богословы, и законоведы, и математики, и литераторы, и все, что вам угодно. В таком составе и с такой же обширностью переведены эти «всеучилища» и на Русь к нам. Я сказал: переведены, потому что сами собою они перейти не могли, быв, как мы увидим ниже, совсем не по духу русского народа. Мы выписали немцев учить нас заморской премудрости; но с самого же начала такого принужденного пересаждения иностранных университетов на русскую почву оказалось нужным отделить и даже вовсе уничтожить один факультет и самый главный — именно богословский; для этой науки слишком узки были головы выписанных из-за моря немцев, и блюстители Православия на святой Руси достойно и праведно не позволили бы заморским умникам браться не за свое. При том же у нас, далеко еще до введения университетов, существовали духовные академии, в которых, несмотря на схоластичность преподавания наук философских и богословских, истины Православия сохранялись во всей первобытной своей чистоте и неприкосновенности, и лучшими уроками по богословию не могли похвалиться самые прославленные университеты в Европе. Вот уж это одно могло показать упорным нововводителям неестественность заведения училищ, с первого раза становившихся в оппозицию с главным началом нашей народности. Но какая надобность! Мы шли, как слепые, за образованными нашими руководителями, которым Русь давала чистый кусок хлеба, деньги и почести; мы обрадовались сами и с юношеской гордостью повторяли перед коварно улыбавшейся Европою: «Вот оно как! И у нас есть университеты!» Учредители этих всеучилищ видели однако ж, что отставка богословского университета оставила целое здание университета без краеугольного камня. Что тут делать? Да чтó! Поставить во главе программы преподавания Закон Божий, — и дело с концом! Хорошо, поставили. Но уж одно то, что главному заграницей факультету у нас, в русских университетах, дано было, как бы из милости, лишь укромное местечко и, предоставив широту и глубину преподавания другим наукам, науке религии определили самый тесный круг, — одно уж это, говорю, уронило ее в глазах юношества, приучаемого смотреть на все глазами своих наставников, большею частью лютеран, кальвинистов, социниан и другой сволочи. Капля яда, пущенная еще в ту пору, разлилась быстро в мутной воде университетского образования; чем дальше, тем ниже становилось дело религиозного усовершенствования молодых умов. Науки, взрощенные непокорным умом, который все желал бы подчинить своему деспотическому критериуму, пошли противоположно тихому, но светлому голосу евангельской истины, обращающейся прежде к сердцу и уже оттуда приносящей чистый светильник веры для успокоения и разрешения тревожных вопросов ума.

Немцы-профессоры, а потом и питомцы их, русские наставники, не могли или не хотели этого понять и полною рукою продолжали сыпать гибельные семена сомнения и отрицания, во вред уже и без того униженному богословию. Плодом этого было презрение к урокам богословским; оттого-то доселе ничто не возбуждает такой скуки в молодых умах воспитанников университета, как истины, преподаваемые служителем алтаря в пустеющих аудиториях. С

голоса своих наставников и они повторяют, что все это ужас как отстало, пóшло и лишено всякого прогресса, что как идея дохристианской религии оказалась истощившеюся, точно так же и идея христианства требует перемены и должна уступить место другой — идеи разума. Я не только слышал, но даже читал это в печатной книге!.. Многоученое начальство не только не противоборствует, но даже содействует уничтожению науки богословской: на объяснение, например, Софокловой Антигоны оно полагает в программе десять часов в неделю, а на преподавание закона Божия какие-нибудь три часа.

Современники царя Бориса с шумом поднялись против намерения его завести на Руси университеты. Что ни толкуйте, а чуть ли они не лучше своих потомков понимали эти заморские выдумки, устроенные лишь для того, чтобы калечить здоровые умы русского народа. Посмотрите хоть в наше славящееся просвещением время, куда годятся воспитанники университетов, когда они пустятся в толкование предметов религиозных? Запас добрых сведений, вынесенный ими из гимназий, подвергается бестолковому критическому анализу и, поверяемый узеньким односторонним умишком, расходуется на вольные и богопротивные мысли и часто совсем исчезает в мелочности понятий научных, схватываемых ими по верхушкам. И некому остановить этой молодежи, прямо стремящейся в бездну моральной погибели. Обращает ли просвещенное начальство строгое внимание на то, чтобы студенты ходили в церковь? Смотрит ли оно за тем, как голубые воротники держат себя в храме Божием? Наконец, считает ли само начальство священнейшей своей обязанностью присутствовать при воскресном богослужении? Никогда! Другое дело — театр, публичные гулянья, там непременно надзор, и попечительное начальство, не видя голубых воротников, сильно встревожится такой явной безнравственностью своего юношества. Инспекторы и субинспекторы побегут, как на пожар, и строго начнут расследовать, где это ученое юношество проводит позднее свое время. O tempora, o mores! O pecora, o boves!..

Университеты сосредоточивали и до сих пор сосредоточивают в себе все остальные факультеты. Впрочем, один из них — философский — недавно уничтожен как ненужный и предоставлен исключительно духовным академиям. Университетам оставлена логика и психология, да и то преподавание этих частей философии поручено лицам духовным, так называемым законоучителям[341]. Это исключение философии из преподавательной программы ясно показало, что университетские головы не крепки и что не следует оставлять им привилегированную науку свободного мышления. Правительство наконец поняло, что философия в руках таких мыслителей, как преподаватели и воспитанники университетов, острый нож, данный для забавы мальчишке. Вот оно и взяло у них этот нож, приговаривая: это, дескать, орудие острое, а орудием острым можно порезаться, следовательно, надо его у вас взять (это последний урок университетам из логики); вы же ребята горячие, голова у вас и без того набита высокопарными немецкими идеями, перевернувшими вверх дном ваши прежние русские понятия, следовательно, вам философия не нужна (это последний правильный психологический урок им). Надо признаться, что внушение этих практических уроков действительно могло бы принести пользу, если бы преподаватели постарались вбить их в головы своих слушателей. Но, к сожалению, оборванные части науки философской не оказывают университетам никакой услуги. Логика и психология сползли в ряд самых сухих, безжизненных и, по признанию самого совета университетского, ненужных и излишних наук. Предоставленные таким образом законам собственного мышления, молодые люди закружились напропалую, и девять десятых врут такую дичь, что в разговоре с ними и сам потеряешь логическую мысль правильного суждения. А все отчего это? Отчего образумившееся правительство отняло у университетов философию? Отчего оно вырвало ее из рук фрачных преподавателей и отдало рясам? Оттого, что заметило, что фрачные преподаватели, скроенные по-немецки, вели науку не рядом с учением Православия и не ее поверяли откровением, а откровение дерзнули поверять своей жалкой мудростью; оттого,

наконец, что увидели, что эта наука сделалась в университете мудрованием по стихиям мира сего, а не по Христе. Вот и вызвало оно других деятелей, но опасение его было так велико, что и тут не решилось оно дать полного хода философской науке. Вместо большого воза семян правительство дало новым сеятелям только два решета пшеницы, да и то пополам с половою. «Предписываю вам, — сказало оно новым преподавателям, — засеять все это поле данным вам семенем». — «Да помилуйте, — отвечают преподаватели, — если рассеять на таком пространстве, то от колоса до колоса не слыхать будет человеческого голоса». — «Тем лучше, — отвечает правительство, — между пространством от колоса до колоса мы будем сеять семена другого рода».

Соревнуя такому дивному распоряжению, преподаватели разных наук пустились сеять напропалую, кому что попадет под руку: кто просо, кто кукурузу, кто полынь, кто клевер, кто лебеду, кто дыни и арбузы, — все это без толку, без системы, без правил, и бедные ростки сеятелей логики и психологии глохнут и исчезают под этой громадной растительностью всякой всячины. Видите ли теперь, — вот еще плод того устранения главнейшей основы всякого образования, которое показал я выше, говоря о факультете богословия: здание философии, построенное не на камне чистой истинной веры, а на песке всерастлевающего анализа, должно было пасть и упало. Поделом! Не заводи училищ, не сообразясь хорошенько с требованиями нашей благородной святой народности. Вся беда оттого, что мы захотели быть просвещенными по-европейски, а не по-русски. Но мне заметят: разве заграницей в университетах, где существуют рядом факультеты богословский и философский, философия благотворней и лучше? Да кто ж это и говорит? Там еще хуже. Там бедное богословие в совершенной зависимости от философии, и жид-выкрест, какой-нибудь Страус, ломает направо и налево истины догматические; там некому и наблюсти за этим, ибо духовенство, обязанное хранить чистоту веры, само нечисто и связано по рукам и ногам. Когда-то в давние времена положенная, хоть и праведно, но только не за то проклинаемыми иезуитами основа ныне совсем подточена; самое здание, насквозь проеденное червями, стало так легко, что держится покамест и на таком подточенном основании, зато ж сколько раз оно и летало по воздуху в вихре революций, нечестия и безбожия! Не дай Бог дожить до этого! Пусть лучше рассыплются в прах эти здания и подавят собою всю премудрость, мятежно восстающую на разум Божий и на святые предания наших праотцев!»

Затем Аскоченский подробно разбирает курс и систему преподавания на факультетах: юридическом, математическом, словесном и медицинском, — и приходит к следующему выводу:

«Причем же теперь должны остаться университеты? Факультета богословского в нем нет, философский — оборван и почти тоже не существует; юридический и математический не приносят никакой пользы; словесный — бесхарактерен и бесцелен; медицинский, по характеру своему, более принадлежит другому специальному заведению. Что ж такое должно еще поддержать ненужное существование университетов? Решите теперь сами.

Слова нет, что есть исключения во всех факультетах, но что ж говорить об исключениях? Кто судит о целом по одной какой-либо его части? Я, например, весь покрыт язвами, а пальцы на ногах здоровы: следует ли из этого, что я весь здоров? И потому если для этих исключений заводить такие огромные здания, бросать в воду миллионы, то получаемый отсюда процент слишком мал и незначителен и игра не стоит свеч.

Доселе я говорил о значении университетского образования только в умственном отношении; посмотрим теперь на нравственную его сторону. На этот раз прошу припомнить, что я говорю о воспитанниках русских, а характер русского слагается из трех существенных элементов: Православия, приверженности к престолу и народности, разумея это слово в смысле

соблюдения всего того, что завещала нам святая древность, чем мы разнимся и не походим ни на немца, ни на француза, что, т. е., составляет нашу физиономию. Что же дают нам университеты? Как в этом отношении воспитывают они юношество? Увы! И жалко, и грустно подумать!..

Насчет возделывания первого элемента нашего отличительного характера я уже сказал, толкуя о факультете богословском, никогда, впрочем, не существовавшем в наших университетах, и нахожу, что прибавлять к тому нечего. Скажу только разве вот что: сохрани Бог, если б только на университетском образовании держалось ваше Православие! Погибла бы тогда главная и существенная опора силы и могущества России! Бедный преподаватель закона Божия! Слово твое есть глас вопиющего в пустыне! Как он уготовит пути Господни, когда против него идет целая фаланга других наставников с весом и авторитетом, если каждый из них с точки зрения своей науки как бы долгом своим считает подрывать и подкапывать все то, что священник говорит от слова Божия? На одну его аксиому являются сотни научных проблем, излагаемых с софистическою увлекательностью и возбуждающих тревожную деятельность молодых умов, уже настроенных к сомнению и отрицанию. Проповедник слова Божия внушает питомцам простую веру, отвергающую незаконное испытание судеб Божиих, а против него говорят разумники, наигрывающие каждый в свою дудку, делающие анализ всему существующему «от кедра до иссопа». Молодой ум, еще не оборвавшийся над разрешением самых простых задач, еще ложно уверенный в своих силах, требует исключительного знания, а тут ему подносят безыспытательную веру. Прочь ее! И вот на поприще света является говорун, которому простаки верят для того, что он, дескать, человек образованный и ученый. Оттого-то так часто встречаются в свете индифферентисты, для которых все равно — что Православие, что лютеранизм, что даже исламизм и жидовство.

Не подумайте, чтобы я в ригористическом ожесточении назвал университеты притоном революционного вольнодумства, музеем правил, противным великому началу нашей народности, однозначительной с приверженностью к престолу, царю и Отечеству. Нет, это было бы уж слишком. Но не обинуясь скажу, что индифферентизм по отношению к религии отражается некоторым образом и по отношению к другому началу жизни русской. Это, впрочем, естественно: кто не воздает Божия Богови, тот не может воздавать и кесарева кесареви. В венгерскую кампанию вышла заграницей картинка, на которой была изображена китайская стена. По одну сторону этой стены яркий свет и надпись: *Европа*; по другую — глубокая тьма и какие-то ленивые тени с надписью: *Россия*. В самой стене видно несколько отверстий, сквозь которые пробиваются лучи света с противоположной стороны, и над каждым отверстием надписан какой-либо из наших университетов. Как вам кажется эта картинка, сочиненная врагами России? Вишь, как они похваливают наши университеты. Чем они так угодили лжепросвещенной и революционной Европе? Уж не богобоязненностью ли, не приверженностью ли к престолу и отечеству, не привязанностью ли к коренным обычаям и преданиям наших предков? Ой, вряд ли! Такого учреждения просвещенная Европа крепко не любит! Слышите ли, что толкует дедушка Крылов:

Кого нам хвалит враг, в том верно проку нет!

Что такое революция? Отвержение издавна существующего порядка, уничтожение вековых законов страны во имя какого-то прогресса, устранение дедовских преданий и обычаев и введение новых начал, зародившихся и даже не созревших в головах, наполненных несбыточными, утопическими идеями вроде Платоновой республики или бредней Жан-Жака Руссо. Благодарение Богу, наша Русь-матушка чужда этому злодейскому прогрессу, от которого вся Европа с ума сходит. Мы крепко держимся святой веры, умеем молиться, любить царя и отечество и не чуждаемся прадедовских разумных обычаев. Но между тем нельзя не сказать, что в недрах России уже зародилась язва, привитая издавна европейским

просвещением. Другие заведения наши, по новости и молодости своей, еще не успели всосать эту тлетворную язву, а в университетах она уже произвела неисцелимую, застарелую болезнь; она обратилась там в антонов огонь, охвативший целый организм. Что мудреного, если великие и до сих пор еще крепкие основы нашего благоденствия со временем поколеблются, когда в таком же виде будет продолжаться воспитание нашего юношества? Чем, например, руководствуются господа университетские профессора в своих толках об основах народного благосостояния? Книгами иностранцев, живущих в вихре нововведений, революций и гибельного прогресса. Прошу в этой мутной, нечистой воде почерпнуть хоть одну живительную каплю для Руси, во всем непохожей на западные государства, состоящие под деспотизмом политиков, журналистов, парламентских говорунов, теоретиков и другой сволочи! Карамзин сказал в своей «Истории»: «Сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезной; самые опасности и беспокойства, питая великодушие, пленяют ум, в особенности юный, малоопытный». Простим нашему историку такое республиканское убеждение; он или, правильнее, юность его принадлежала XVIII веку, девизом которого были сумасбродные слова: liberté et égalité! Во второй половине своей заметки Карамзин как бы хочет оговориться, утверждая, что республиканские идеи пленяют только юный, малоопытный ум. Я совершенно соглашаюсь с ним в этом. Как, в самом деле, не увлечься юному уму обольстительной утопией какого-нибудь Овэна и подобных ему? Как не поддаться обману, когда вам говорят не прямо, а только сводят параллель между законодательством, между местными обычаями и постановлениями, когда вам указывают на заграничную свободу мышления, из-под руки толкуя о правах и равенстве человечества, когда, в ущерб отечественному, восхваляют действия той или другой страны в деле цивилизации и, не смея прямо и открыто осуждать то, что кажется им дурным у нас, тем самым возбуждают беспокойную деятельность юных умов и готовят в них на первый раз только недовольных настоящим порядком вещей? От коренных иностранцев или даже и наших русских профессоров, воспитанных поиностранному, иного и ожидать нельзя. И вот, при нашем благоразумно строгом и осмотрительном образе правления эти умники-говоруны, когда пойдет в ход задевающий сердце русский вопрос, или упорно отмалчиваются, опасаясь за лишнее словцо подпасть под сюркуп, или дерзают говорить такие вещи, за которые Сибирь есть самое легкое наказание. Хорошо еще, что «страха ради» скоро можно остановить мятежную предику такого говоруна, а то просто беда бы! И кто ж, вы думаете, по большей части эти говоруны? Какой-нибудь недопеченный студент, печальный регистратор или заносчивый гимназист! Гадко и стыдно говорить-то с ними!

Клевета!.. — закричат на меня со всех сторон. Нет, отвечаю я громко и твердо; нет, господа, не клевета! Пусть каждый из поумневших и остепенившихся потом на государственной службе воспитанников университета скажет, как перед Богом: так ли он рассуждал в голубом воротнике о правительстве и распоряжениях его, как рассуждает теперь, присмотревшись ко всему ближе? Разве даром император Николай Павлович не жалует этих университетов? Разве даром он, в порыве справедливого негодования, ограничил было недавно прием студентов в эти притоны безделья и вольнодумства? Верно, далась ему «в тяжкое» вековечная ошибка Петра, насильно навязавшего нам европейское просвещение. Великий человек, не дав нам дочитать азбуки, вдруг посадил нас за философские книги, смысла которых мы и понять не могли и в угоду непреклонному властелину земли русской затвердили их от доски до доски, как школьники. И замечательно, что молодые люди чистой дворянской крови гораздо менее усвояют себе либеральные идеи; зато дети разночинцев являются самыми усердными поклонниками их и так и лезут в преобразователи России. Совершенно, как заграницей! Ведь и там аристократы проклинают революцию, и там они готовы были бы поддерживать власть и силу правительства, да что ж прикажете делать с сапожниками-мещанами и всякого рода промышленниками и уличными бродягами, из которых многие тоже получили высшее образование… в университетах. Оно, впрочем, и естественно. Коренному дворянину и

аристократу тянуться незачем, не для чего желать ему революционной реформы; но сыну мещанина или сапожника — другое дело. Его поровняли с дворянином шпагою, его тоже называют милостивым государем, а не Ванюшкой или Степкой, он тоже хватил университетской премудрости, а между тем кровь-то говорит, что она с примесью грязи, — подавай сюда идею равенства. Но благоустроенное государство не допускает этого; ну, так постановления его дурны, а постановления и законы исходят от кого? От высшей правительственной власти, представителем которой служит... нечего говорить, кто... Ну, так и эта высшая правительственная власть распоряжается незаконно; значит, нужен новый порядок вещей, значит, и пр. и пр. Правительство, наконец, кажется, начинает понимать, откуда ожидается скорее всего зло — от университетского образования. В настоящее время оно ограничило прием студентов только дворянским сословием, детьми священнослужителей и купцами первой гильдии. Давно бы так следовало. Пусть сын мещанина сидит за прилавком — он будет полезнее для общества; пусть сын сапожника учится сапоги шить — это будет лучше, чем браться не за свое дело, ибо sutor ne ultra crepidam; пусть дьячковский сын помогает своему батюшке петь и читать на клиросе, и это полезная и необходимая вещь. Пусть жидовский сын не профанирует мундира и шпаги как принадлежности дворянина, а продает сернички и мыло или плутует и обманывает, как его папенька. Благосостояние общества от этого не поколеблется нимало, по крайней мере, в миллион раз меньше того, если вся эта сволочь примется рассуждать и резонировать о правилах и законах государственного благоустройства. Дворянин, священное лицо, купцы первостатейные существенную опору своего благоденствия непременно находят в правительстве, защищающем их справедливые и высокие права. Стало быть, эти сословия не пойдут против него; им искать нечего лучше того, чем они владеют, а вот эти шмели, эта-то дрянь — им непременно хочется поравняться с избраннейшими классами общества, отсюда и недовольство, и зависть, и, наконец, ожесточение против правительства, связывающего им беспокойные руки».

Такой взгляд на высшее образование в России и на дело нашего общественного развития впоследствии нашел свое полное выражение на страницах «Домашней беседы». <...>

Этим заключаем наши извлечения из дневника Аскоченского в полном убеждении, что приведенные нами факты из его жизни и не раз заявленные им взгляды и суждения, совершенно противоречащие позднейшей его деятельности, представляют личность его иной в сравнении с тем, как она обрисовывалась в «Домашней беседе». С какой бы строгостью ни относились мы к этой последней деятельности Аскоченского, пережитые им испытания, неудачи и несчастия в значительной степени должны смягчить приговор истории над ним. <...>

Ответ В. И. Аскоченского шефу жандармов

Дневник В. И. Аскоченского, печатаемый в «Историческом вестнике» в извлечениях Ф. И. Булгакова, воскресил живые воспоминания в тех, кто лично знал покойного издателя «Домашней беседы». На столбцы ежедневных газет проникло уже немало заметок, свидетельствующих, что личность В. И. пользовалась большою известностью и была не вполне понята при его жизни. Но из всех заметок наибольший интерес представляет напечатанная В. А. Васильевым [1] выдержка из его собственной памятной тетради, куда занесена она была со слов В. И. Аскоченского. Выдержка эта любопытна для характеристики отчасти личности В. И., частью же, тех условий, в каких в его время находилась печать. Тем с большим удовольствием позволяем себе привести целиком воспоминания В. А. Васильева, что они касаются именно того времени, о котором в «Дневнике» не сохранилось записей.

«Заходил сегодня к Аскоченскому. Поднимаясь к нему, встретил на лестнице монаха; и затем, войдя в кабинет, не успел я еще обратиться к нему с приветствием, он уже ко мне с вопросом:

— Встретил монаха, который пред тобой от меня вышел?

— Да.

— Узнал его?

— Нет.

— Это цензор мой, архимандрит Фотий…

— Что же в этом важного?

— Важного нет, а курьезное — есть.

— Секрет?

— Слушай. Месяц назад, довольно поздно вечером, приезжает он и со страхом и трепетом рассказывает, что навязалась беда, и не знает, как она разыграется.

— Если музыканты хороши, говорю, то должна и разыграться хорошо.

— Вам шутки, а мне, право, не до них.

— В чем же дело?

— Я вчера получил запрос о том, что мною ли пропущен к печати № 32 «Домашней беседы».

— Ну, конечно, вы ответили, что вы пропустили.

— Ничего еще не отвечал, но завтра надо идти к его высокопреосвященству с повинной.

— Скажите, дело-то в чем?

Тут о. архимандрит вынул из кармана официальное к нему отношение с вопросом, на верху которого написано было: «секретно». При отношении положен № 32, в котором по тому случаю, что после Высочайше утвержденного проекта памятника тысячелетия России кем-то исключен из барельефа св. Митрофаний, — напечатано было:

«…итак, угодник Божий, деятельно при жизни своей помогавший и доныне предстательством своим у Бога способствующий благосостоянию России, оплаканный Петром I, возвеличенный самим Богом, *сравнен с поэтом и актером, как лицо малозамечательное*».

Против подчеркнутых слов красными чернилами написано черным карандашом: «фраза возмутительная».

— Что же, о. архимандрит, и вы, как вижу, тоже возмущены?

— Знаете ли, что это идет от шефа жандармов к товарищу обер-прокурора Святейшего Синода? Дело может быть худо. Научите, что ответить…

— Оставьте эти бумаги у меня, а завтра, до предъявления отзыва вашего митрополиту, заезжайте ко мне, я приготовлю вам ответ.

— Пожалуйста, В. И., чтобы это было между нами. Написано ведь — секретно, — сказал мне

архимандрит на прощанье.

— Помните, отец, это секрет для того, кто написал это знаменательное слово, а для нас оно нуль, и мы будем действовать гласно, — и по его уходе я тотчас же сел и написал князю Урусову письмо.

Объяснив в начале письма суть дела, я продолжал: что «я никогда не только не писал, но даже не мыслил и не мыслю ничего возмутительного; свидетель этому моя прежняя и теперешняя литературная деятельность, обратившая на себя внимание всей православной и царелюбивой России, и потому такое замечание принимаю только за личное оскорбление меня и от души прощаю возмутившемуся фразой, в которой ровно ничего нет возмутительного. Другое дело — факт, вызвавший эту фразу: он, точно, возмутителен. Меня засыпали письмами со всех сторон, настоятельно требуя от меня голоса в защиту поруганной святыни. Почему возмутившемуся фразою в «Домашней беседе» не показался возмутительным самый факт, теми же словами опубликованный во всех наших газетах? Видно, как говорит Грибоедов, «грех не беда, молва не хороша».

Св. Митрофаний не нуждается в каком-либо памятнике, а тем более в сопоставлении с такими личностями, как Пушкин, Лермонтов и другие; даже хорошо было бы, если бы и все святые мужи земли русской сошли с микешинского памятника: но дело в том, чтобы их не ославляли перед миром православным *лицами малозначительными*. Если г. шеф-жандармов счел своею обязанностью обратить внимание на мою скромную заметку, то почему же Св. Синод не спросил в свое время, кого следует, как дерзнули они св. угодника Божии поставить рядом с актером и поэтом?

Честь имею доложить вашему сиятельству, что статью писал я, а одобрил ее к напечатанию о. архимандрит Фотий, — и вот почему:

По чувству верного сына Церкви Православной, оскорбленному таким святотатственно-кощунственным сопоставлением личностей, отнюдь не похожих одна на другую.

Потому, что такое заявление сделано печатно, и следовательно, требовало печатной же протестации.

Потому, что не видно, чтобы снятие с барельефов св. Митрофания состоялось вследствие каких-либо высших распоряжений, против которых гласность безмолвна.

Потому, что чувство человека православного оскорблено здесь, главное, тем, что перемена барельефов в памятнике опубликована так бесцеремонно и дерзко. Сними они барельефы и замени чем угодно, но не говори об этом вслух всей России — я не имел бы никакого литературного повода заявлять об этом.

Потому, что если бы хоть я не подал голоса против такого кощунственного поступка строителей микешинского памятника, то православные во всей империи вправе были бы подумать, что в Петербурге все до единого, даже (простите Бога ради) Св. Синод разделяют образ мыслей и убеждения этих строителей.

Кстати: любопытно было бы узнать — был ли микешинский проект памятника на рассмотрении Св. Синода? Если был, то, каким же образом допущено сопоставление таких личностей, как преподобный Сергий Радонежский и Фонвизин, Кирилл Белозерский и Кокоринов, строитель академии художеств? Каким образом пропущены великие деятели Руси православной, св. митрополиты Петр и Алексий, а между тем стоят Ф. Прокопович, князь Щеня и Марфа

Посадница, бунтовавшая новгородцев?.. Если не был, то с какой же стати и по какому праву спрашивают обер-прокурора Св. Синода: кто из духовных цензоров пропустил статью в «Домашней беседе» об этом нелепом, по сочинению, памятнике? Статья ведь не памятник, увековечивающий тысячелетие России.

Изложив все это пред вашим сиятельством, прошу оказать защиту как мне, так и цензору, подневольному соучастнику в моем деянии. Прогрессисты и темные цивилизаторы действуют энергически и находят себе покровительство у сильных земли: неужели же святая правда должна оставаться бесприютною? Пусть возмутившийся фразой моей докажет мне, что я сказал ложь, — тогда я безмолвно подвергаю себя всей строгости закона. А пока этого нет, то я остаюсь совершенно покойным, уповая на Бога и заступничество поруганного угодника Божия, св. Митрофания. — С совершенным почтением и проч.»

— Что же далее? — спросил я его, когда он кончил чтение письма.

— Ничего. Он сегодня приезжал поблагодарить за благополучный исход дела».

К биографии В. И. Аскоченского

Доставленное нам Л. С. Мацеевичем [1] нижепомещаемое письмо В. И. Аскоченского к архиепископу Анатолию Мартыновскому [2] прибавляет некоторую черту к биографии Аскоченского. Оно служит, во-первых, документальным свидетельством того бедственного положения, в каком находилась эта даровитая личность в последние годы своей жизни и журнальной деятельности. Во-вторых, печатаемое письмо показывает, что Аскоченскому приходилось вести реакционную борьбу против смущавшей его новизны без всякой поддержки. Ему оставалось полагаться в этой борьбе лишь на собственные силы, ибо на него в то время уже восставали и чужие, и свои. Любопытную подробность напоминает в письме в редакцию «Исторического вестника» г. Мацеевич. Г-н Катков поместил тогда против Аскоченского статью в «Русском вестнике» («Одного поля ягоды»), а г. Аксаков в «Русской беседе» — по поводу издававшихся Аскоченским брошюр: «Современные идеи православны ли?». Восстала против Аскоченского даже духовная журналистика. В таких условиях сгибается самое непреклонное упорство — робкие и малодушные бросают оружие и удаляются вспять, вступая в компромиссы с собственною совестью, а смелые борцы идут до конца, рискуя лучше пасть сраженными силою, нежели сдаться без бою. Аскоченский, как мы видим из его «Дневника», принадлежал именно к таким независимым борцам за торжество своих убеждений. Но прежде чем падать, надо испробовать все средства, дающие возможность продолжать борьбу. Этого требуют интересы самого дела. Нижеследующее письмо есть не больше, как одна из попыток Аскоченского обратиться к своим за поддержкой, без которой «опускались» его «руки» и могло прекратиться его «дело и делание». Не для него лично требовалась эта поддержка, а для дела и во имя этого дела, которое он признавал правым. Он пренебрег, очевидно, весьма понятным чувством самоунижения, прося о помощи архиепископа Мартыновского. Вот почему, как бы ни относились мы к самим идеалам и началам, проводившимся в «Домашней беседе», в настоящей просьбе Аскоченского о поддержании этого издания трудно усмотреть предосудительную готовность продать свое перо, пойти на подкуп, на служение чьим бы то ни было личным интересам.

Ф. Б.

Письмо В. И. Аскоченского к архиепископу Анатолию Мартыновскому

«Христос Воскресе!

Ваше высокопреосвященство!

Четырнадцать лет воюю я один, без пособников, без средств, с глашатаями современного прогресса и с врагами правды евангельской: состарила меня эта тяжкая, безысходная борьба — и если не помогут мне наши святители, то я неизбежно паду, лишенный всякой возможности продолжать ее.

Ваше высокопреосвященство! Я знаю, что вы вашими сочинениями не собрали столько сокровищ, сколько собрал их Макарий Литовский [3]: но знаю и то, что вы не расточаете того, что Бог послал вам, на созидание себе кумира, а творите добро десною, не позволяя ведать про то шуйце. Вот что и дает мне смелость обратиться к вам с усерднейшею моею просьбою о помощи, без которой опускаются мои руки и прекратится дело и делание мое. Поспешите, поспешите поддержать труженика, состарившегося в нескончаемой борьбе! Я обращаюсь ко всем святителям земли русской как единственным соучастникам и сочувственникам моего посильного труда.

Если вашему высокопреосвященству случится видеться с преосв. Петром[342][4], то передайте ему мой старинный дружеский поклон. Он знает меня лучше, чем кто-либо; ибо мы с ним делили когда-то и горе, и радости, которых, впрочем, было у нас очень, очень немного.

В ожидании скорой помощи от вас испрашиваю вашего благословения на семейство мое и на себя.

Вашего высокопреосвященства покорнейший слуга Виктор Аскоченский».

4-го апреля 1871 г.

Сообщено Л. С. Мацеевичем.

Светлые точки

Заглавие не полно и не выражает того, что хочется мне сказать. Следовало бы округлить его прибавкой: «на горизонте журнальной моей деятельности», да слог будет уж очень высок; пожалуй, еще на смех поднимут, а на мою долю и без того порядком досталось этих насмешек, поношений и ругательств в течение семнадцатилетней борьбы моей со всякого рода *истами*. Из одних карикатур на редактора «Домашней беседы» у меня составился целый альбом, которым дорожу я как веселеньким памятником бессильной злобы гонителей моих и беспричинного ожесточения собратий моих по ремеслу. Но Бог видит, что ни одна из них никогда не потревожила спокойного состояния моего духа; напротив, они даже возбуждали во мне энергию, и я скучал, если долго не встречал поруганий в виде карикатур или пасквилей на меня, с прописанием полного моего имени, отчества и фамилии. Я даже привык считать ругателей первыми моими благодетелями. Лучше всяких реклам возвещали они о трудах моих; громче и явственнее голосистых герольдов трубили обо мне на литературной площади, и благодаря им Русь скоро узнала о существовании «Домашней беседы». Что же касается до оскорблений, то они только издали представлялись горькими и нестерпимыми, а надо мною проходили легонькими облачками, на минуту закрывавшими согревающее меня солнце правды вечной и даже прохлаждавшими меня среди зноя непрекращавшейся борьбы. Теперь, озираясь вспять, я вижу только трупы близоруких гонителей моих, и вопрошаю их со сказочным Русланом:

О поле, поле! Кто тебя усеял
Мертвыми костями?

Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?

Но не отвечают уже мне, как во времена оны, сгнившие и догнивающие трупы бранью и ругательствами, внушая своим могильным молчанием смиряющую мысль, что

Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья…

Да, — были на горизонте журнальной деятельности моей облачка, надвигались и тучи черные; но были и светлые точки, манившие меня к себе и исполнявшие упованием душу мою. Со всех сторон Руси православной, от вельможи до крестьянина, от иерархов до простого церковника, неслись ко мне ободряющие слова, и весело выходил я на битву и благодарил Бога, давшего мне силу и крепость стоять среди этого шума и гама, в котором ясно слышались только слова: «Исаакие, воспляши с нами!»

Пусть же считают меня чем хотят, пусть осуждают и обзывают хвастуном, — но на переход к осьмнадцатому году журнальной моей деятельности я дерзаю явить миру православному то, что ободряло и поддерживало меня в трудной борьбе с духом века сего. Если клеветы и порицания против меня и моего служения находили себе место на печатных страницах враждебных духу христианскому изданий, то зачем же таить под спудом и благословения святителей Церкви и других досточтимых мужей? Пусть, по крайней мере, узнают, что «Домашняя беседа» не такой «презираемый журнал», каким недавно показался он одному непризванному ревнителю интересов нашего духовенства.

Письмо преосвящ. Арсения, архиепископа Варшавского[343]

От души радуюсь, что вы наконец попали в свою сферу и к своему столь сродному вам делу, и, поздравляя вас, призываю на вас и на работу вашу благословение Божие, споспешествующее и богатящее.

Ваш покорнейший слуга **Арсений**, а. Варшавский

9 апреля 1859 г.

Варшава

Письмо преосвящ. Парфения, епископа Томского[344]

Возлюбленнейший В. И.!

Когда я прочитал ваше письмо с приглашением о распространении издаваемого вами журнала, то, признаюсь вам откровенно, у меня сильно заскорбело сердце. Я думал, что и вы, о котором у меня сохраняется лучшая память, пустились в пустословие, которым, в особенности с 1859 года, наполняют ветер журналисты с своими прогрессами и гласностью, нередко в опровержение самых родных и священных истин. Несмотря на отдаленную Сибирь, и ко мне уже поступили разные приглашения о распространении по моей епархии нынешней мудрости; но в сердце моем есть другая мысль: если бы у меня были средства, я скупал бы некоторые журналы для того, чтобы не распространять, а собирать для предания огню, дабы не заражали сердца православных моей епархии зловредные нынешние идеи.

Но, прочитавши из вашего журнала статью другую-третью, столько был восхищен голосом вашей правды, что готов был поклониться вам до земли, и не отставал от чтения, пока не

прочитал все номера вашего издания. Это было на пути по проселочной дороге, потому что издание ваше мною получено, когда я готов был сесть в экипаж; а наши сибирские дороги, в особенности проселочные, таковы, что и без чтения рябит в глазах.

Величайшая вам благодарность за предпринятый вами подвиг в защиту истины, не многими любимой. Господь да подаст вам твердость устоять противу злословия и гонений, которыми обыкновенно мир награждает защитников правды!

Бывши в одном домашнем собрании, я нарочито лично прочитал несколько статей из вашего журнала, чтобы дать об нем понятие и заставить благомыслящих выписывать его. Еще вам великое спасибо!

Прошу покорнейше считать меня одним из преданнейших вам

Епископа **Парфения** Томского [1] *29 мая 1859 г.*

Томск

Письма преосвящ. Иоанникия, епископа Саратовского[345]

М.Г. В. И.

Искреннейшую благодарность приношу вам за издаваемую вами «Домашнюю беседу», весьма назидательную и полезную. Сердечно желаю журналу вашему успешного распространения в народе и достижения той благой цели, с какою он издается.

Говорят, авторское самолюбие самое раздражительное и, при раздражении, самое сердитое и мстительное; а вашему журналу, по направлению, и приходится вести открытую войну с этим самолюбием, сторону которого держит притом весь мир, враждебный духу Евангельскому. Мне кажется, журнал ваш в борьбе с противниками истины удобнее бы мог достигать своей цели, если бы, не щадя нимало лжи и неправды, поудерживался от некоторых выражений, резко оскорбительных для самолюбия *пишущих лукавство*.

Простите мне, достолюбезнейший В. И., за это замечание, которое решился я высказать по искреннейшему моему к вам доброжелательству, сердечной любви и преданности, с которыми имею честь быть вашим покорнейшим слугой.

Иоанникий, епископ Саратовский.

5 июня 1859 г.

Саратов.

Ответствуя на письмо ваше ко мне, молю Господа о даровании вам помощи в борьбе с врагами святого нашего Православия и истинного народного просвещения.

Искренно уважающий и любящий вас

Иоанникий, архиепископ Варшавский [2].

28 апреля 1871 г.

Варшава.

Письмо Антония, епископа Кишиневского[346]

М.Г. В. И.

Несказанно обрадовало меня дорогое письмо ваше, полученное мною в праздник Святого Духа. Оно привело мне на память многое-многое присное мне, киевское. Дай Бог вам здоровья за добрую вашу память обо мне! Примите уверение, что я добре памятовал и памятую о вас. Очень нередко осведомлялся я о вас, служа во Пскове, в Новгороде, находясь в Петербурге, — здесь несколько разов была приятная беседа о вас с незабвенным святителем, отцом моим, высокопреосвященным митрополитом Никанором. Служа в Оренбурге, я с душевным удовольствием перечитывал ваш «Киев с его древнейшим училищем — Академиею», и, наконец, в прошлом году, на месте общего — вашего и моего воспитания и службы — в Киеве, преосвящ. Антоний вручил мне в подарок сочинение ваше: «Яков Козьмич Амфитеатров». А с этих пор даю слово беседовать с вами в каждом листке «Домашней беседы».

«Беседа» эта получена в доме моем, во время моего путешествия по епархии. Я нашел ее в своем кабинете, возвратясь домой накануне Троицына дня. Пока не знал я редактора; но, читая оную с истинным услаждением, от всей души его благодарил. Мне кажется, что она скорее протрет отуманенные очи прогрессистам, чем все высокоумные проповеди братий наших, архиереев и иереев.

К благословениям иерархов, доброжелающих вашей «Беседе», и я, грешный, усердно призываю благодать Божию на ваши труды. Да подкрепит Он вас и сотрудников ваших в благополезном делании! Уповаю, что Он обрадует вас утешительными плодами.

Повторяю снова мою искреннейшую благодарность вам и за память вашу обо мне, и за «Беседу». Имею честь быть с истинным почтением и совершеннейшею преданностию

Покорнейший слуга и усерднейший богомолец **Антоний**, епископ Кишиневский [3].

9 июня 1859 г.

Кишинев.

Письмо преосвящ. Антония, епископа Смоленского[347]

Любезнейший В. И.!

С праздником и наступающим Новым годом! Да укрепит вас Господь новыми силами на борьбу, предстоящую вашему журналу в этом Новом годе, и да увенчает вас и новыми успехами! Эта борьба — сущее исповедничество! Господь да благословит вас во всем!

Преданный вам **А. Е. С.** [3]

22 декабря 1859 г.

Киев.

Письмо преосвящ. Арсения, архиепископа Варшавского

Возлюбленный о Господе В. И.!

На поздравление ваше меня с праздником Рождества Христова и Новым годом отвечаю моим

поздравлением, столь же искренним и столь же благожелательным, призывая вместе на вас и на дело рук и головы вашей благословение Воплотившегося нас ради Христа Бога нашего, ободряющее, укрепляющее и утешающее.

Сожалею я о вашем горе; но живя в мире, можно ли без горя обойтись? Значит, это в порядке вещей. И потому излишне не скорбите и не унывайте, но вместо того вооружитесь, с одной стороны, христианским великодушием, а с другой — мудрым правилом, указанным Самою Ипостасною Премудростью: *будите мудры, яко змия, и цели, яко голубие*.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть вашим покорнейшим слугою.

Арсений, а. Варшавский

3 января 1860 г.

Письмо преосвящ. Григория, епископа Калужского[348]

Читаю ваш прекрасный журнал. Желаю душевно, чтобы известность вашей «Беседы» равнялась совершенно благонастроенности и высокой назидательности оной, чтобы труды ваши по сему предмету были многоплодны и, призывая на вас благословение Господне, с высоким почтением и преданностию честь имею быть вашим покорнейшим слугою.

Григорий, еп. Калужский [5].

2 августа 1862 г.

На Синод. подворье.

Письмо игумена Дамаскина

Искренно уважая вас за вашу ревность о благе Церкви и общества и давно желая познакомиться с вами, приятным долгом поставлю себе, в выражение моего душевного к вам расположения, через наместника монастыря препроводить к вам краткую летопись Валаамской обители, начертанную, по скудости живого слова, карандашом.

Очень рад был бы я, если бы вы посетили наше пустынное селение. Сделайте милость, доставьте мне удовольствие видеть вас.

С искренним к вам уважением и преданностию ваш усердный богомолец.

Игумен Дамаскин [6].

25 окт.1863 г.

Валаамский монастырь.

Письмо с Афона

Достоуважаемый В. И.!

Мир вам, милость и спасение от Господа Бога, с благословением от св. Горы Афонской.

Помоги вам Господь неослабно трудиться во славу Пресвятого имени Его, в честь Матери

нашей, св. Церкви и в назидание чада ее. Спаси вас Матерь Божия, Всемилостивая Покровительница Афона и всего рода христианского усердная Заступница. Необоримый покров Ея и державное заступление буди всегда с вами! Ее теплым предстательством благодать Божия, спасительная всем человекам, да укрепит вас во всем, *елика суть истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна,* и *мир Божий, превосходяй всяк ум*, да соблюдет сердце ваше о Христе Иисусе, навсегда непоколебимо.

В чувстве признательности нашей к вам, мы в приятную себе обязанность вменяем поминать вас в смиренной молитве ко Господу Богу и Царице небесной *о милости, жизни, мире, здравии, спасении и благопоспешении* во благих трудах ваших.

При искреннем желании вам от Бога благ, благоприятных жизни временной и вечной, остаемся смиренными о вас богомольцами Русского, на Афоне, Пантелеймонова монастыря.

Русский духовник **Иероним**.

26 ноября 1863 г.

Св. Афонская Гора.

Русский монастырь.

Письмо Макария, митрополита Месопотамского

Милостивейший государь и возлюбленный сын о Христе, В. И.

Смиренный старец митрополит Месопотамский и Амидийский прежде всего за счастье для себя поставляет приветствовать вас словами апостола и возлюбленного ученика Христова: *Возлюбленне, во всех молюся* (о тебе) *благоспеятися тебе и здравствовати, яко же благоспеется тебе душа*.

Прошу вас, любезнейший В. И., принять от меня вторично искреннейшую благодарность как за напечатание моего воззвания, так еще более за ваше дополнение к нему. Ваш голос сильнее моего отозвался в сердцах православных христиан; его услышали уже и в самых отдаленных концах благословенной России. Мы, конечно, должны быть благодарны за каждую лепту, поданную нам; но до вашего печатного слова и их почти присылаемо нам не было. Источники милостей потекли к нам именно после выхода того № вашего журнала, в котором вы с такою любовью и так сочувственно отнеслись к бедствующим христианам на Востоке, и притом с такою энергией возбуждали сердца православных христиан России к вспомоществованию нам, бедным. Многие из наших доброхотов пишут мне, что они о нуждах месопотамских христиан узнали только из «Домашней беседы». А это вполне убеждает меня, что ваше слово принесло нам великую пользу, и потому побуждает меня, в заключение письма сего, сказать вам еще слово апостола: *Возлюбление, верно и добре твориши, еже аще делаеши в братию и в странныя.* Месопотамская братия о любви вашей к ним засвидетельствует пред Церковию.

Призывая благословение Господне на вас, честь имею быть ваш покорный слуга и усердный богомолец ваш, смиренный митрополит Месопотамский и Амидийский.

Макарий.

(На подлинном имеется арабская подпись митрополита и печать его.)

14 декабря 1863 г.

Новоспасский монастырь.

Письмо преосвящ. Иоанна, епископа Выборгского[349]

Приношу вам, В. И., душевную благодарность за ваше доброе слово о моей статье. Обеими руками благословляю вас перепечатать ее в вашей «Домашней беседе» и на будущее время разрешаю перекладывать в нее из «Христианского чтения» все, что вам угодно. А я, правду сказать, сам было не думал печатать статью о богословии в университетах, чтобы не возбуждать неприятной полемики, которой нисколько не боюсь, а только не люблю. Я написал статью по приглашению обер-прокурора, который, прочитав ее в рукописи, убедительно советовал мне напечатать ее и, заметить могу, в таком же именно тоне, как и вы, выразился о ней.

Вы упрекаете, зачем я мало печатаю: во-первых, нельзя сказать, что мало; во-вторых, печатал бы еще больше, если бы не отбивало охоты невнимание тех, вниманием которых мы движемся и есмы… Ведь, поверите ли, узнают о выходе статьи чрез семь лет по напечатании ее. Это факт. То ли дело епархиальная служба!..

Ваш покорнейший слуга **Иоанн** Е.В. [7]

4 апреля

1865 г.

Письмо преосвящ. Евсевия, архиепископа Могилевского

Пред Господом желаю и молю Его благость, да поможет вам Он, Всемогущий, преодолеть все препятствия на пути вашего высокого и многотрудного служения во славу имени Его, — разумею ваше служение слову истины и правды, во имя Единого истинного и праведного Бога, в трех лицах прославляемого, и да умножит над вами и присными вашими Свои благословения, земные и небесные.

С искренним отличным почтением и душевным благожеланием честь имею быть вашим покорнейшим слугою.

Евсевий, архиепископ Могилевский [8].

31 мая 1870 г.

Могилев на Днепре.

Письмо Федора Николаевича Глинки

Только теперь, после продолжительной болезни, собрался с силами отвечать на радушное письмо ваше и благодарить за приложение к нему. Сейчас интересная карточка будет орамлена и поставлена в приличное лицу место. Только с грустью заметил я, что в чертах, хоть и артистически изображенных, не стало того, что я знавал в подлиннике: не стало спокойной уверенности в успехе и той приятной улыбки, которую дает надежда на общее внимание и одобрение. Да и есть, отчего опасмуриться, глядя на все, что делается на свете. События мчатся по железной дороге…

Что касается до гласов и возгласов, то это вздор. Мы живем в веке борения духов. Всякий дух говорит своим языком…

Пусть бранятся и гневаются (Бог с ними!), а христианин должен говорить и трубить по-христиански. Пора бы и опомниться. Посмотрите, что делается в природе и в народе, лучше сказать, — в народах…

Искренно желает вам всего лучшего, а паче здоровья и всем нам нужного терпения покорно преданный слуга

Ф. Глинка [9]

16 апреля 1871 г.

Тверь.

Письмо преосвящ. Дионисия, епископа Якутского

М.Г. В. И.

Получив от вас сего 21 января издаваемый вами журнал «Домашняя беседа» за целые восемь годов и несколько экземпляров других изданных вами сочинений в дар погоревшему Якутскому духовному училищу, я считаю для себя священною обязанностию благодарить вас, м.г., за столь благодетельное и в высшей степени полезное, по строго православному направлению, для чтения юношества, готовящегося к пастырскому служению, пожертвование. Примите же, м.г., искреннюю мою благодарность, и да будет на вас <…> благословение от Отца светов за ваше любвеобильное внимание к несчастию ближних, отдаленных от вас пространством, но близких вам по сердцу.

Учениками Якутского духовного училища издавна строго исполняется обычай при утренних и вечерних молитвах молиться о здравии благодетелей их. С сего дня в их заздравный помянник вошло и будет навсегда поминаться имя и *Виктора.*

С глубочайшим уважением и совершеннейшею преданностию имею быть вашим покорнейшим слугою.

Дионисий, недостойный епископ Якутский [10]

21 января 1871 г.

Якутск.

Письмо преосвящ. Митрофана, епископа Оренбургского

«Домашнюю беседу» вашу я читаю с удовольствием; ценю оную много и молю за вас премилосердого Господа Бога, да укрепит Он вас понести крест, поднятый вами на себя, до конца жизни, во благо св. Церкви, и получить за то от Бога вечное спасение.

Испрашивая вам и семейству вашему от Бога благословение и милость Его, с истинным к вам благорасположением имею честь быть покорным слугою и усердным богомольцем.

Митрофан Е. О. и У. [11]

1 июня 1874 г.

Оренбург.

Письмо преосвящ. Нила, архиепископа Ярославского

За откровенность, выраженную вами в письме ко мне, я благодарен вам. А о ревности вашей по Православию поведает Россия.

Пребываю с истинным почтением и преданностию покорнейший слуга.

Нил Ярославский [12]

27 мая 1874 г.

Ярославль.

И еще много-много светлых точек рассеяно по небосклону моей убогой деятельности. В тяжкие минуты, устремляя на них взор мой, я укрепляюсь духом и с восстановляющеюся энергией опять выхожу на дело и делание мое, торопясь окончить его, так как день мой давно-давно уже склонился к вечеру…

Но еще одно последнее сказанье, и речь окончена моя. Один из наших поэтов, пожелавший остаться неизвестным, почтил меня следующим стихотворением с неотступною просьбою напечатать его.

Спасибо, русский человек,
Что ты стоишь за правду смело;
В холодный, буйством гордый век
Вступился за святое дело,
И громко обличаешь ты
Отступничество, вольнодумство,
Лжепросвещенье, клеветы,
Писак безнравственных безумство…
Не все ж безумцам голосить,
И дастся разуму победа.
Твоей заслуги не забыть,
Залог: «Домашняя беседа».
При всех усилиях вражды,
Журналов груда в прахе ляжет;
Твои ж, Аскоченский, труды
Историк родине укажет.
Неколебимо, твердо стой,
Срывая маску с вероломства,
И повторится голос мой
Тебе в сознании потомства.

Примечания

Изданное наследие выдающегося русского православного мыслителя, церковного историка, публициста, писателя, журналиста, поэта, переводчика, искусствоведа, церковного композитора и дирижера В. И. Аскоченского за почти сорокалетнюю его литературно-публицистическую деятельность весьма велико и разнообразно.

Начало его литературной деятельности было положено еще в годы учебы в Киевской духовной академии. С тех пор он печатал свои сочинения как под настоящим своим именем, так и под псевдонимами: В. А-ий; Виктор А-ий; В. А.; Заезжий; Звонарь; В. Кочка-Сохран; Незамай; Отсталый.

В настоящее издание вошли его самые известные церковно-исторические труды, знаменитая публицистика «Блестки и изгарь», литературные произведения в прозе и поэзии (первый антинигилистический роман «Асмодей нашего времени», повесть «Записки звонаря», стихотворения, «отголоски», басни), воспоминания, дневник...

Все сочинения впервые переиздаются после 1846–1882 гг.

Расположение материала в разделах преимущественно по хронологии.

Орфография большей частью изменена в согласии с современными правилами написания.

Ссылки в квадратных скобках даны составителем в Примечаниях.

В постраничных сносках «*Ред.*» означает «*Аскоченский*».

Раздел I

Церковно-исторические сочинения

Киев с древнейшим его училищем Академиею

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* Киев с древнейшим его училищем Академиею. Ч. 1. — К.: Тип. Университетская, 1856. — [8], 370 с.

Концевые сноски заменены постраничными (без библиографических исправлений, в авторском варианте).

История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году. — СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1863. — 282, VIII с.

Книга посвящена истории Академии после проведения в ней реформы. Повествование здесь доведено до 1851 года. После введения, представляющего собой очерк реформы духовного образования при императоре Александре I, следует изложение истории новой Академии. Материал структурирован по академическим курсам. Фактически книга представляет собой историко-статистическое исследование, которое и по сей день может служить биографическим справочником о выпускниках и профессорах Киевской духовной академии первой половины XIX века.

[1] Филарет (Амфитеатров Федор Георгиевич) (1779–1857) — святитель. 1 июня 1819 года хиротонисан во епископа Калужского и Боровского, митрополит Киевский и Галицкий (с 18 апреля 1837 г.).

[2] Фенелон Франсуа (1651–1715) — французский писатель, педагог, архиепископ, мистик.

[3] Масийон Жан-Батист (1663–1742) — французский проповедник (орден доминиканцев).

[4] Бурдалу Луи (1632–1704) — французский духовный оратор (орден иезуитов).

[5] Флешье Эспри (1632–1710) — французский проповедник и писатель.

[6] Леванда Иоанн Васильевич (1734–1814) — протоиерей Киево-Софийского собора, известный проповедник.

[7] Бестужев Александр Александрович (1797–1837) — писатель-байронист, публицист, декабрист. Печатался под псевдонимом Марлинский.

Раздел II

Литературные произведения (проза)

Асмодей нашего времени

Печатается по первому изданию: *Аскоченский В. И.* [Подп.: Соч. В. Кочки-Сохрана] Асмодей нашего времени. — СПб.: Тип. Э. Треймана, 1858. — [2], 205с.

В издании 1858 года после главы десятой идет глава двенадцатая.

Записки звонаря

Печатается по первому изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Записки звонаря // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 6. — С. 109–111; Вып. 7. — С. 133–135; Вып. 8. — С. 151–152; Вып. 9. — С. 169–171; Вып. 10. — С. 194–195; Вып. 12. — С. 233–234; Вып. 13. — С. 253–255; Вып. 15. — С. 323–325; Вып. 16. — С. 347–350.

Отд. изд.: Записки звонаря. — СПб.: Тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1862. — [4], 59 с.

Раздел III

Программная публицистика, полемика

Димитрий Донской, обесславленный г. Костомаровым

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Димитрий Донской, обесславленный г. Костомаровым // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 18. — С. 433–438.

[1] Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк, публицист, критик, писатель.

[2] Дмитрий Иванович (прозванный Донским за победу в Куликовской битве) (1350 — 1389) — святой благоверный Великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного. В правление Дмитрия Ивановича продолжилась централизация русских земель вокруг Москвы, построен белокаменный московский Кремль.

[3] Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк, писатель, публицист, профессор Московского университета, академик (1841). В 1841–1856 гг. вместе с С. П. Шевыревым издавал журнал «Москвитянин». С 1830-х начал собирать письменные и вещественные памятники русской истории, составившие обширную и весьма ценную коллекцию, т. н. Древлехранилище, большая часть которого в 1850-х была приобретена петербургской Публичной библиотекой.

[4] Гермоген (Ермоген) (ок. 1530–1612) — второй (фактически третий, считая Игнатия) патриарх Московский и всея Руси (1606–1612, в заточении с 1 мая 1611), святой Русской Православной Церкви; дни празднования священномученику Ермогену: 17 февраля (по Юлианскому календарю) — преставление и 12 мая — прославление в лике святителей.

Г-н Костомаров, сам себя побивающий

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Г-н Костомаров, сам себя побивающий // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 22. — С. 515–519.

[1] Коялович Михаил Осипович (1828–1891) — историк, профессор С.-Петербургской духовной академии.

[2] Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836–1905) — писатель, в т. ч. автор статьи: Г. Костомаров разбивает народные кумиры // Эпоха. — 1864. — № 3.

Несколько слов о газете «День»

Печатается по единственному изданию: Аскоченский В. И. [Без подп.] Несколько слов о газете «День» // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 46. — С. 895–897.

[1] «День» — газета, выходила в Москве в 1861–1865. Ее издателем-редактором был И. С. Аксаков.

[2] Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист, поэт, общественный деятель, славянофил, младший сын С. Т. Аксакова, младший брат Константина Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.

Отповедь «Домашней беседы» на Объяснение «Православного обозрения»

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский Виктор*. Отповедь «Домашней беседы» на Объяснение «Православного обозрения» // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 7. — С. 136–144.

[1] «Православное обозрение» — богословско-философский журнал (1860–1891). Издавался ежемесячно в Москве. Основан свящ. Н. А. Сергиевским при поддержке митрополита Московского Филарета (Дроздова).

[2] Речь идет об архимандрите Феодоре (Бухареве).

В 1860 г. были изданы несколько его сочинений, в которых автор пытался искать «мерцания Божия света» и в нехристианских явлениях современности. Против таких воззрений решительно и выступил В. И. Аскоченский.

В ответ большую брошюру «Приемы, знания и беспристрастие в критическом деле редактора «Домашней беседы для народного чтения» В. И. Аскоченского» (СПб., 1862) в защиту архим. Феодора анонимно издал сторонник его взглядов диакон А. А. Лебедев (впосл. настоятель Казанского собора в С.-Петербурге).

20 апреля 1861 г. архим. Феодор был уволен с должности цензора и переведен в Никитский монастырь в ПереславлеЗалесском. В феврале 1862 г., вслед за очередной критической статьей В. И. Аскоченского, Святейший Синод изъял из печати и запретил издание труда архим. Феодора «Исследования Апокалипсиса». 20 июля 1862 г. архим. Феодор направил в Святейший

Синод прошение о сложении сана. Летом 1862 г. вышла в свет его книга «О миротворении». 6 сентября 1862 г. архим. Феодор написал прошение Императору об отмене запрещения на труд об Апокалипсисе, но получил отказ (был опубликован позднее: Сергиев Посад, 1916). 22 октября 1862 г. Владимирская духовная консистория вынесла определение о 3-месячном увещании архим. Феодора. 25 июня 1863 г. Святейший Синод дал А. М. Бухареву разрешение на снятие духовного и монашеского сана с лишением его звания магистра и права проживания в тех епархиях, где он пребывал монахом. 31 июля 1863 г. Бухарев подписал сложение сана и отречение от всех званий.

16 августа 1863 г. он венчался с А. С. Родышевской (†9.12.1922), дочерью переславского помещика. Позднее А. М. Бухарев ответил В. И. Аскоченскому в кн. «Моя апология по поводу критических отзывов о книге «О современных потребностях мысли и жизни, особенно русской»» (1866).

[3] «Странник» — ежемесячный духовный журнал. Основан в 1860 г. протоиереем В. В. Гречулевичем.

«Сын Отечества» — русский журнал, выходил в С.-Петербурге с 1812 до 1852 г. (с перерывами) и оказал влияние на развитие общественной мысли и движение литературной жизни в России. Редактором-издателем был Н. И. Греч. С 1825 г. соиздателем журнала стал Ф. В. Булгарин.

[4] Неандер (Neander) Август (1789–1850) — протестантский историк Церкви.

[5] Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — знаменитый немецкий философ.

Объявление об издании журнала «Домашняя беседа» в 1864 году

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский Виктор*. Объявление об издании журнала «Домашняя беседа» в 1864 году // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 37. — С. 223–228.

Новая программа «Домашней беседы»

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский Виктор.* Новая программа «Домашней беседы» // Домашняя беседа. — 1869. — Вып. 17. — С. 483–484.

Вынужденное объяснение

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский Виктор.* Вынужденное объяснение // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 37. — С. 1003–1004.

Предобъявление

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский Виктор.* Новая программа «Домашней беседы» // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 37. — С. 1003–1004.

Опровержение нелепых слухов

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский Виктор.* [Подп. Редактор-издатель Виктор Аскоченский.] Опровержение нелепых слухов // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 24. — С. 672.

С нами Бог!

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] С нами Бог! // Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 29. — С. 831–833.

[1] Авраам — родоначальник многих народов (Быт 17, ст. 4). Является первым из трех Библейских патриархов эпохи после Потопа.

[2] Гедеон — один из известнейших судей израильских. В Православии почитается святым в сонме пророков.

[3] Давид (ок. 1085 г. до Р.Х. — ок. 1015 до Р.Х.) — святой царь и пророк, псалмопевец, умер в возрасте 70 лет после 40 лет царствования и был погребен в Иерусалиме.

Раздел IV

Блестки и изгарь

О памятнике тысячелетию России

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Блестки и изгарь // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. — Вып. 25. — С. 612–615.

Название в настоящем издании — составителя.

[1] Микешин Михаил Осипович (1836–1896) — художник, скульптор, автор проектов памятников 1000-летию России в Новгороде, императрицы Екатерины II в С.-Петербурге, Богдана Хмельницкого в Киеве.

[2] Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — критик.

[3] Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк-медиевист, с 1849 г. ординарный профессор Московского университета.

[4] Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — критик.

Еще о памятнике тысячелетию России

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Блестки и изгарь // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. — Вып. 32. — С. 117.

Название в настоящем издании — составителя.

[1] Николай I Павлович (1796–1855) — Всероссийский Император (с 1825 г.), третий сын Императора Павла I.

[2] Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816) — поэт, представитель классицизма. В различные годы занимал высшие государственные должности, в т. ч. министр юстиции (1802–1803). Член Российской академии с момента ее основания.

[3] Митрофан Воронежский (1623–1703) — святитель, первый епископ Воронежский (с 1682).

[4] Феофан (Прокопович Елиазар (Елисей)) (1681–1736) — архиепископ Новгородский, церковный и политический деятель, сподвижник Петра I в реформах Русской Православной Церкви, писатель и ученый.

Гоголь, Аскоченский и К°, проповедники «каких-то высоких истин»

Печатается по единственному изданию: Гоголь, Аскоченский и К°, проповедники «каких-то высоких истин» // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 1. — С. 25–26.

[1] Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — великий русский писатель.

С одной стороны обмолвка, а с другой недомолвка

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] С одной стороны обмолвка, а с другой недомолвка // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 3. — С. 75–76.

[1] Халявский Орест [псевд. Г. Данилевского]. Сковорода, украинский писатель XVIII века // Основа. — 1862. — Август. — С. 1–39; Сентябрь–октябрь. — С. 39–86.

[2] Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) — малороссийский философ, поэт.

Картина г. Ге

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Картина г. Ге // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 48. — С. 432–434.

[1] Ге Николай Николаевич (1831–1894) — художник.

[2] Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — художник, представитель академизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа народу». С 1831 по 1858 г. жил в Риме.

[3] Пукирев Василий Владимирович (1832–1890) — художник.

Хороши наши ребята, только славушка не та

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Хороши наши ребята, только славушка не та // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 2. — С. 44–46.

Сердце Вольтера

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Сердце Вольтера // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 12. — С. 316–318.

[1] Вольтер (Voltaire) (псевд.; наст. имя и фамилия Мари Франсуа Аруэ — Arouet) (1694–1778) — французский писатель, философ, историк.

[2] Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский писатель, публицист, философ.

Штраус и его ученик Ренан

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Штраус и его ученик Ренан // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 21. — С. 507–508.

[1] Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский семитолог, историк, писатель. В 8-томной Истории происхождения христианства (Histoire des origins du Christianisme, 1863–1883) он развивал рационалистическую критику, особенно в первом томе «Жизнь Иисуса» (Vie de

Jsus, 1863).

[2] Цельс (Celsus) Авл Корнелий (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — один из самых известных античных критиков христианства.

[3] Штраус (Strauß) Давид Фридрих (1808–1874) — германский философ, историк, теолог, публицист.

По поводу канонизации Кунцевича

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] По поводу канонизации Кунцевича // Домашняя беседа для народного чтения. — 1865. — Вып. 24. — С. 746–748.

[1] Иосафат Кунцевич (1580–1623) — известный униатский церковно-политический деятель, архиепископ Полоцкий, по прозвищу «кровавый епископ». Убит в Витебске. Канонизирован Пием IX в 1867 г., провозгласившим его патроном для Руси и Польши.

[2] Пий IX (1792 —1878) — римский папа с 1846 по 1878 г. Вошел в историю как папа, провозгласивший догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии и созвавший I Ватиканский Собор, утвердивший догматически учение о безошибочности римского первосвященника.

Крестовый поход на Россию

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Крестовый поход на Россию // Домашняя беседа. — 1866. — Вып. 40. — С. 894–900.

[1] Мазад (de Mazade) Шарль де (1821–1893) — французский писатель. Был одним из главных сотрудников «Revue des deux Mondes», где опубликовал не менее пяти тенденциозных статей о России. Отдельно изданное сочинение «La Pologne contemporaine» (1863) также было написано «в духе, далеко не сочувственном России».

[2] Анри Мартен (1810–1883) — автор многих книг по истории Франции, масон, сенатор (1876–1883), на основе идей русофоба Ф. Духинского в 1866 г. опубликовал работу «Россия и Европа» (Henri Martin. La Russie et l’Europe. — Paris, 1866. — 431 p.), которую двумя годами спустя издал на немецком языке (Henri Martin. Rußland und Europa. — Hannover, 1869. — 455 s.).

[3] Шнитцлер (Schnitzler) Иоганн Генрих (1802–1871) — историк и статистик. В 1823–1828 гг. жил в России домашним учителем, собирал материалы о России. Летом 1864 г. он предпринял второе путешествие в Россию. Автор сочинений: «Essai d’un statistique generale de l’empire de Russie» (Paris, 1829) и «La Russie, la Finlande et la Pologne, tableau statistique, geographique et historique» (Paris и СПб., 1835); «Historie intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas» (Paris, 1847); «La Russie ancienne et moderne, histoire, description, moeurs» (Paris, 1854); «L’empire des Tdsars au point actuel de la Science» (Paris и СПб., 1856–1866); «La mission de l’empereur Alexandre II et le general Rostoftsoff» (Paris, 1860); «Rostopchine et Koutouzof, ou la Russie en 1812» (Paris, 1863) и др.

[4] Робер-Флери (Robert-Fleury) Тони (1837–1911) — французский художник.

Ликуй ныне и веселися, Сионе!

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Ликуй ныне и веселися,

Сионе! // Домашняя беседа. — 1867. — Вып. 42. — С. 1014.

[1] Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (1882–1889).

[2] Валуев Петр Александрович (1815–1890) — граф, государственный деятель, министр внутренних дел (1861–1868), председатель комитета министров (1879–1881).

Одному из московских читателей «Домашней беседы»

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Подп.: В. Аскоченский]. Блестки и изгарь. LCIX // Домашняя беседа. — 1867. — Вып. 44. — С. 1071–1074.

Название дано составителем. — *А. К.*

Японский православный миссионер

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Японский православный миссионер // Домашняя беседа. — 1867. — Вып. 44. — С. 1074–1076.

[1] Николай Японский (Касаткин Иван Дмитриевич) (1836–1912) — святитель, архиепископ; миссионер, основатель Православной церкви в Японии.

Неблаговидная ошибка

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Неблаговидная ошибка // Домашняя беседа. — 1869. — Вып. 33. — С. 885–886.

[1] Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) — князь, писатель, философ, педагог, музыкальный критик. С 1846 — помощник директора Императорской Публичной библиотеки в Петербурге.

Гражданское погребение

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Гражданское погребение // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 5. — С. 196–197.

[1] Герцен Александр Иванович (1812–1870) — критик, публицист, эмигрант.

Было и прошло

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Было и прошло // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 41. — С. 1090–1094.

[1] Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт, прозаик, переводчик.

[2] Плетнев Петр Александрович (1791–1865) — поэт и критик, впоследствии профессор российской словесности (с 1832) и ректор Петербургского университета (1840–1861).

[3] Зонтаг Анна Петровна (рожд. Юшкова) (1785–1864) — русская писательница, племянница В. А. Жуковского, сестра А. П. Елагиной.

У нашей Палагеи все новые затеи

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] У нашей Палагеи все новые затеи // Домашняя беседа. — 1874. — Вып. 19. — С. 545–549.

Правда груба, да Богу люба

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Правда груба, да Богу люба // Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 35. — С. 1053–1056.

Русская грамматика

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Русская грамматика // Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 38. — С. 1067–1070.

[1] Соколов Петр Иванович (1764–1835) — член Российской академии и непременный ее секретарь. В 1786 г. назначен учителем русского языка в гимназию и занимал эту должность около 18 лет. С 1800 по 1825 г. работал преподавателем российской грамматики, логики и риторики в Училище корабельной архитектуры. Кроме того, был редактором «Санкт-Петербургских ведомостей», редактором «Журнала департамента народного просвещения» и в течение 30 лет заведовал академической типографией.

Автор многочисленных трудов, в т. ч.: «Начальные основания российской грамматики» (С.-Петербург, 1788, 5-е изд. 1808).

Раздел V

Статьи по церковному искусству

Вокальная и инструментальная музыка в храмах христианских

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Вокальная и инструментальная музыка в храмах христианских // Домашняя беседа для народного чтения. — 1860. — Вып. 13. — С. 188–195.

[1] Гайдн (Haydn) Франц Йозеф (1732–1809) — австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет.

[2] Дафан и Авирон — сыновья рувимлянина Елиава, вместе с соплеменником Авнаном участвовали в восстании левита Корея против Моисея и Аарона. Они упрекали Моисея за то, что он вывел их из богатого Египта в пустыню, а не в землю обетованную. Вместе с прочими мятежниками были поглощены землей (Чис 16; 26:7–11; Втор 11:6; Пс 105:17).

[3] Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель, композитор.

[4] Моцарт (Mozart) Йоганн Хризостом Вольфганг Теофил (известный как Вольфганг Амадей Моцарт) (1756–1791) — австрийский композитор. Выступал как клавесинист-виртуоз, скрипач, органист, дирижер, импровизатор.

[5] Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827) — немецкий композитор, дирижер и пианист, один из трех «венских классиков».

[6] Тамберлик (Tamberlinck) Энрико (1820–1889) — итальянский певец (драматический тенор).

[7] Бозио (Bosio) Анджелина (1824–1859) — итальянская певица (сопрано). В 1856 г. пела в С.-

Петербурге 4 сезона (1856– 1859) в эпоху расцвета в России итальянской оперы.

[8] Иаков — апостол, «брат Господень» — один из 70 апостолов Христа, первый епископ Иерусалима. Казнен около 62 г. в Иерусалиме иудеями.

Ведель Артемий Лукьянович

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Ведель Артемий Лукьянович // Домашняя беседа для народного чтения. — 1860. — Вып. 19. — С. 270–276.

Кое-что о церковном пении

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Кое-что о церковном пении. (Письмо в Киев.) // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 24. — С. 489–493.

[1] Турчанинов Петр Иванович (1779–1856) — протоиерей, один из самых видных русских духовных композиторов, первый гармонизатор древнерусских церковных напевов.

[2] Иосиф (Позднышев Иван Егорович) (1823–1857) — архимандрит, с 1850 г. — ректор Казанской семинарии. 3 сентября 1855 г. по прошению уволен на покой и назначен настоятелем Черниева монастыря Тамбовской епархии. Скончался в 1857 году в Киево-Печерской Лавре.

[3] Березовский Максим Созонтович (1745–1777) — композитор.

[4] Сарти Джузеппе (1729–1802) — итальянский композитор, педагог, органист, музыкальный теоретик. С 1784 г. работал в России (придворный композитор и капельмейстер). Среди сочинений — хоры с оркестром к пьесе Екатерины II «Начальное управление Олега» (4 хора на слова Ломоносова, 4 унис. хора на слова Еврипида); монументальные хоры-кантаты в сопровождении оркестра, колоколов, пушек («Тебе Бога хвалим», «Слава в вышних Богу»), церковные хоры, 2 реквиема и др.

[5] Львов Алексей Федорович (1798–1870) — скрипач, композитор, дирижер, музыкальный писатель и общественный деятель. Директор Придворной певческой капеллы в 1837–1861. Автор музыки гимна «Боже, царя храни» (1833) и других сочинений.

Заметки любителя церковного пения

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Заметки любителя церковного пения // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 47. — С. 950–952.

[1] Дегтярев (Дехтерев) Степан Аникиевич (1766–1813) — композитор.

[2] Галуппи (Galuppi) Бальдассаре (1706–1786) — итальянский композитор. В 1765–1768 гг., в период царствования Екатерины II, Галуппи был приглашен работать придворным капельмейстером и сочинителем музыки в Петербурге. Галуппи стал первым иностранцем, написавшим музыку на текст православного богослужения, и ввел в него неизвестную ранее форму «концерта». За время службы в России композитор написал несколько кантат, духовных концертов и серенад.

Так или нет?

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Так или нет? // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 32. — С. 681–686.

[1] Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — художник.

[2] Бруни Федор Антонович (1799–1875) — художник.

[3] Шебуев Василий Козьмич (1777–1855) — художник.

[4] Панселин Мануил (Μανουήλ Πανσέληνος) (конец XIII — нач. XIV вв.) — византийский живописец, иконописец Палеологовского периода; считается одним из ведущих иконописцев македонской школы.

[5] Солнцев Федор Григорьевич (1801–1892) — художник, архитектор, историк.

[6] Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский живописец, график и архитектор, представитель флорентийской школы.

Одному из многих

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Одному из многих (*Письмо к дирижеру одного из столичных хоров)* // Домашняя беседа. — 1868. — Вып. 16. — С. 428–429.

[1] Палестрина (Palestrina или Praenestinur) Джованни Пьерлуиджи да (1514–1594) — итальянский композитор церковной музыки.

[2] Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — великий русский композитор, основоположник русской классической музыки.

Нам вторят

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Нам вторят // Домашняя беседа. — 1868. — Вып. 16. — С. 429–431.

Памяти Бортнянского

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Памяти Бортнянского // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 7. — С. 171–173.

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) — композитор, один из основателей классической российской музыкальной традиции. Воспитанник, а затем управляющий Придворной певческой капеллой в С.-Петербурге.

Как глава капеллы и автор духовных композиций Бортнянский оказал заметное воздействие на церковное пение в России XIX в. Бортнянский первым получил по императорскому указу право цензуры на исполнение и публикацию новых духовно-музыкальных произведений (это право капеллы было отменено только в 1880-е годы).

Духовно-музыкальные произведения Бортнянского включают около сотни богослужебных песнопений (в том числе двухорных), около полусотни духовных концертов, литургию, трио, обработки традиционных распевов. Весь этот репертуар исполнялся повсеместно в течение всего XIX в.

Далеко до звезды

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Далеко до звезды // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 14. — С. 359–362.

Раздел VI

Воспоминания и некрологи

Георгий, затворник Задонского монастыря

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Георгий, затворник Задонского монастыря // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 47. — С. 463–468.

И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке

Печатается (в сокращении) по первому изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — № 33. — С. 645–651.

Воспоминания В. И. Аскоченского связаны со следующими страницами из жизни Т. Г. Шевченко.

В конце мая 1845 г. Шевченко приезжает в Киев и поступает на службу в Комиссию для разбора древних актов, занимавшуюся также археологическими и этнографическими исследованиями. В ноябре 1846 г. он подает прошение о поступлении на должность преподавателя рисования в Киевском университете.

Осенью того же года Т. Г. Шевченко входит в так называемое «Кирилло-Мефодиевское общество». Впоследствии один из его членов так выразил «главное правило Шевченко: кто предан государю, тот подлец, а кто борется за свободу, тот благородный человек».

5 апреля 1847 г. Шевченко был арестован, 17 апреля доставлен в Петербург, а 30 мая 1847 г. был объявлен окончательный приговор, который гласил: «Художника Шевченку за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений» с добавлением императора Николая I: «*Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать*». (Такая резолюция объясняется тем, что Т. Г. Шевченко насмеялся над физическими недостатками Императрицы-матери — худобой и нервным тиком, появившемся после восстания декабристов (от нервных переживаний и из-за боязни за собственную жизнь и жизни детей Императрицу постиг нервный срыв и до конца жизни у нее был нервный тик). Государь Император лично прочитал поэму «Сон»: «Допустим, он имел причины быть недовольным мною и ненавидеть меня, — заметил Николай Павлович, — но ее же за что?»)

Правда, это предписание не имело практически никакого воздействия и его никто не выполнял.

После возвращения в Петербург Т. Г. Шевченко еще более тесно сближается с революционерами (в том числе польскими). В 1859 г. в Лейпциге выходят его запрещенные произведения, а в январе 1860 г. — 3-е издание «Кобзаря» и затем целый ряд его других

произведений.

Утром 28 февраля 1861 г. Т. Г. Шевченко скончался в своей мастерской от паралича сердца. Похоронен он был на Смоленском кладбище Петербурга, а 10 мая 1861 г. перезахоронен на Чернечьей горе под Каневом.

[1] Речь идет об Андреевичеве Павле Максимовиче, чиновнике военного интенданта, и его семье. В воспоминаниях В. И. Аскоченского дальше упоминаются дочь П. М. Андреевичева Варвара (под криптонимом «В. А-ва») и сыновья Василий и Николай (также под криптонимом: «с В. П. и Н. П. А-выми»). Квартира Андреевичевых находилась в доме полковника Гуреева в Старокиевской части города.

[2] Здесь возможно неточность мемуариста. Кобзарь — народный певец. Такое название Т. Г. Шевченко дал первому сборнику своих стихотворений объемом в 114 страниц. Киевского издания «Кобзаря» пока не обнаружено. Все прижизненные издания «Кобзаря» вышли в Петербурге: в 1840, 1844 и 1860-х годах.

[3] Полуимпериал —5 рублей.

[4] С. С. А. — Гулак-Артемовский Семен Степанович (1813–1873) — малороссийский композитор и оперный певец. Автор оперы «Запорожец за Дунаем» (1862). Один из ближайших друзей Шевченко. Познакомился с ним в Петербурге в 1838 году, состоял в переписке, посвятил ему песню «Стоїть явір над водою».

В Оптиной пустыне

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Подп: Отсталый] В Оптиной пустыне // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 4. — С. 61–66.

[1] Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — религиозный мыслитель, критик, один из основоположников истинного славянофильства.

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) — славянофил, литератор, фольклорист. Собрал свыше 10 тыс. народных песен.

[2] Лев (Ноголкин Лев Данилович) (1768–1841) — иеросхимонах, преподобный оптинский старец. Основатель старчества в Оптиной пустыни.

[3] Макарий (Иванов Михаил Николаевич) (1788–1860) — преподобный оптинский старец.

[4] Киреевская (рожд. Арбенева) Наталья Петровна (1809– 1900) — супруга И. В. Киреевского, благотворитель, издатель святоотеческих сочинений.

Мои воспоминания об Иване Босом

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Подп: Отсталый] Мои воспоминания об Иване Босом // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 4. — С. 61–66.

[1] Фундуклей Иван Иванович (1804–1880) — гражданский губернатор Киевской губернии (с 1839 по 1852). Время его губернаторства отмечено как лучшие годы правления губернией. Уехал в Польшу в 1852 г., вице-председатель государственного совета Царства Польского (1865). Почетный гражданин Киева (1872).

Погребение Николая Ивановича Греча

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Погребение Николая Ивановича Греча. (Из письма к брату) // Домашняя беседа. — 1867. — Вып. 5. — С. 171–172.

[1] Н. И. Греч (3 (16) августа 1787 — 12 (25) января 1867) — издатель, публицист, писатель, филолог.

Татьяна Борисовна Потемкина

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Татьяна Борисовна Потемкина // Домашняя беседа. — 1869. — Вып. 29. — С. 762–763.

[1] Потемкина Татьяна Борисовна (урожденная княжна Голицына) — жена действительного тайного советника А. М. Потемкина, статс-дама, благотворительница, род. 30 января 1797 г. (по другим источникам — 1801 г.), ум. 1 июля 1869 г. в Берлине.

Всеобщую известность она приобрела благодаря своей выдающейся благотворительной деятельности. Отличаясь глубокой религиозностью, она делала щедрые пожертвования на церкви и монастыри. Особенное впечатление на современников произвело восстановление ею находящейся в ее имении древней Святогорской Успенской обители на реке Донце, упраздненной в 1787 г.

Татьяна Борисовна весьма часто посещала Сергиеву пустынь, много жертвовала туда и вещами, и деньгами — для памяти своей матери, рабы Божией Анны. Хорошо она была знакома и с настоятелем пустыни.

Замужем она была за Александром Михайловичем Потемкиным, с которым прожила 55 лет. Александр Михайлович был человеком исключительной доброты, в деятельность жены не вмешивался, предоставляя ей полную свободу.

Димитрий Гаврилович Бибиков

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Димитрий Гаврилович Бибиков // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 10. — С. 339–340.

[1] Бибиков Дмитрий Гаврилович (18(29).3.1791 — 22.2(7.3).1870) — государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1843). На военной службе с 1808 г. В должности адъютанта генерала М. А. Милорадовича принимал участие в сражениях под Витебском, Смоленском, Бородино, где был тяжело ранен (1812). В 1819–1821 гг. — владимирский, саратовский и московский губернатор. С 1824 г. — директор Департамента внешней торговли. В 1837 г. назначен киевским военным губернатором, а также подольским и волынским генерал-губернатором. Активно проводил политику совершенствования управления в юго-западных губерниях России. Противодействовал здесь польскому влиянию, заменил местных чиновников, провел проверку прав польской шляхты на дворянство, в результате которой часть шляхты была переведена в податное сословие. В 1846–1847 гг. разработал инвентарные правила, нормировавшие отношения крестьян и помещиков.

В 1852–1855 гг. — министр внутренних дел.

[2] Исидор (Никольский Иаков Сергеевич) (1799–1892) — митрополит Новгородский и С.-Петербургский (в 1860–1892 гг.)

Всенощное бдение в Киеве накануне дня Успения Богоматери

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* Всенощное бдение в Киеве накануне дня Успения Богоматери // Домашняя беседа. — 1874. — Вып. 34. — С. 871–876.

Муравьев Андрей Николаевич

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Муравьев Андрей Николаевич // Домашняя беседа. — 1874. — Вып. 41. — С.1041–1049.

[1] Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — выдающийся духовный писатель, публицист, брат Николая Николаевича Муравьева-Карского (1794–1866) и Михаила Николаевича Муравьева (Виленского) (1796–1866). В письме от 12 января 1858 г. брат святителя Игнатия, П. А. Брянчанинов, пишет Н. Н. Муравьеву-Карскому: в назначении и посвящении брата действовал весьма влиятельно Андрей Николаевич.

[2] Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782–1867) — митрополит Московский и Коломенский в 1826–1867 гг. В 1993 г. причислен к лику святых, день памяти 19 ноября / 2 декабря.

Самарин Юрий Федорович

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Самарин Юрий Федорович // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 15. — С. 394–396.

[1] Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — религиозный мыслитель, публицист, общественный деятель, один из главных представителей истинного славянофильства.

Мои воспоминания о преосвящ. Арсение, митрополите Киевском

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о преосвящ. Арсение, митрополите Киевском // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 613–623.

[1] Арсений (Москвин Федор Павлович) (1797–1876) — один из выдающихся иерархов XIX столетия, церковный писатель, сектовед, библеист.

Родился в семье диакона села Воронья Костромской губернии, обучался в Костромской семинарии и С.-Петербургской духовной академии, в 1821 г. пострижен в монашество, в 1823 г. кончил курс со степенью магистра и определен бакалавром богословских наук при С.-Петербургской академии, с 1825 г. последовательно состоял ректором семинарий: Могилевской, Орловской, Рязанской и Тверской. В 1826-м произведен в сан архимандрита, в 1832 рукоположен во епископа Тамбовского, в 1841 назначен архиепископом Подольским, в 1848 — архиепископом Варшавским и управляющим Волынской епархией и Почаевской Успенской лавры священно-архимандритом, в 1860 г. назначен митрополитом Киевским и Галицким. С 1862 г. ежегодно вызывался на зимние месяцы в Петербург для присутствования в Св. Синоде, в 1866 г. назначен председателем комиссии по вопросу о преобразовании духовно-учебных заведений. Погребен в Киеве в Крестовоздвиженской церкви ближних пещер.

Митрополит Арсений был почетным членом духовных академий: Киевской и Московской, университетов: С.-Петербургского, Киевского и Московского, Медико-хирургической академии, Имп. Публичной библиотеки в С.-Петербурге, Археологического общества и др., а также покровителем Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии.

[2] Толстой Александр Петрович (1801 — 1873) — граф, член Государственного Совета; обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1856–1862).

[3] Иннокентий (Попов-Вениаминов Иван Евсеевич) (1797–1879) — святитель, апостол Америки и Сибири, митрополит Московский и Коломенский (с 5 января 1868 г.).

Бурачек Степан Онисимович

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Бурачек Степан Онисимович // Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 1. — С. 42–43.

[1] Бурачек Степан Онисимович (1800–1877) — кораблестроитель, генерал-лейтенант, публицист, издатель.

Раздел VI

Стихотворения. Отголоски. Басни

Стихотворения

XIX-му веку

Публикуется по первому изданию: *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — С. 43–45.

Под таким названием помещено в издании: *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — 200, III с.

Под названием «Нынешнему веку» и в несколько измененном виде с подписью «Заезжий» опубликовано: Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 33. — С. 318.

Неведомая кручина

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — С. 155–158.

Стихотворение посвящено Т. Г. Шевченко.

Разгулье русского человека

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — С. 176–178.

Русь

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — С. 179–181.

Отголоски

Заморским витиям

Публикуется (в сокращении) по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 159–162.

Встреча ополченцев в Киеве

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 163–165.

Ледюку и его клевретам

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 168–178.

Ледюк (Leduc) Альфонс (1804–1868) — французский музыкант, издатель.

Киеву

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 189–190.

Плач на кончину государя императора Николая Павловича

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 194–195.

Николай I Павлович (1796 — 18 февраля (3 марта) 1855) — Император Всероссийский (с 1825 г.).

Полякам лжепатриотам

Публикуется (в сокращении) по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 196–199.

Написано по поводу польского восстания и русофобии.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Полякам лжепатриотам // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — С. 250–253.

По прочтении Высочайшего Рескрипта графу Михаилу Николаевичу Муравьеву

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 200–201.

Муравьев (Виленский) Михаил Николаевич (1796–1866) — государственный деятель, в 1857–1863 гг. министр государственных имуществ; генерал от инфантерии (1863), граф Виленский (1865). Брат Н. Н. Муравьева-Карского и А. Н. Муравьева.

Во время восстания 5 (13) мая 1863 г. был назначен главным начальником Северо-Западного края (виленский, гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа, главный начальник Витебской и Могилевской губерний; вскоре под его власть перешла часть Августовской губернии) с чрезвычайными полномочиями. Решительно и жестоко подавил вооруженную борьбу.

Видя причины восстания в сопротивлении польских помещиков крестьянской реформе, принял меры к ее осуществлению в Северо-Западном крае и одновременно секвестровал имения, облагал контрибуцией и штрафами неблагонадежных лиц, то есть помещиков католического вероисповедания. Проводил политику русификации Северо-Западного края. Привлекал повышенными окладами чиновников, педагогов, священников из внутренних губерний России.

Ужасное открытие

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 208–210.

Написано в связи с покушением террориста Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. на Государя Императора Александра II.

Впервые опубликовано: *Аскоченский В.* Ужасное открытие // Домашняя беседа. — 1866. Вып. 17. — С. 444–445.

Народный привет Высоконареченной невесте Августейшего Наследника Всероссийского Престола

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 211–212.

Мария София Фредерика Дагмара (Дагмар) (1847–1928) — датская принцесса, затем невеста и супруга (с 28 октября 1866 г.) императора Александра III, мать царя-страстотерпца Николая II.

17 июня 1866 года состоялась помолвка в Копенгагене; спустя три месяца нареченная невеста прибыла в Кронштадт. 13 октября 1866 г. приняла Православие (через миропомазание), получив новое имя и титул — великая княгиня Мария Федоровна.

Верноподданнический привет в **день св. миропомазания Ее Королевского Высочества Марии-Софии-Фредерики-Дагмар, принцессы Датской**

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 213–214.

Славянская дума

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 215–217.

Впервые опубликовано: *Аскоченский В.* Славянская дума // Домашняя беседа. — 1867. — Вып. 23. — С. 631–633.

Басни

Больной и врач

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 9.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Больной и врач // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. — Вып. 39. — С. 255.

Оратор и жеребята

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 16–17.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Оратор и жеребята // Домашняя беседа для народного

чтения. — 1862. — Вып. 38. — С. 237–238.

Крестьяне на пиру

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 19.

Волк под судом

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 31–32.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Волк под судом // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 5. — С. 101.

Отмененное решение

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 36–37.

Труженица

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 38.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Труженица // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 15. — С. 373–374.

Коза

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 40.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Коза // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 20. — С. 480.

Мудрое решение

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 53.

Медведь-защитник

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 112–113.

Мыши

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 119–120.

Впервые опубликовано: *Незамай В.* Хозяин и мыши // Домашняя беседа. — 1868. — Вып. 34. — С. 805–806.

Пес и змея

Публикуется по: *Аскоченский В. И.* [Псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — С. 135.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из дневника

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: Дневник В. И. Аскоченского (С предисловием и объяснениями Ф. И. Булгакова) // Исторический вестник. — 1882. — Т. 7. — С. 79– 106, 335–339, 343–344, 534–535; 1882. — Т. 8. — С. 515–518; 1882. — Т. 9. — С. 471–482.

Слова в разрядку заменены курсивом.

[1] Булгаков Федор Ильич (1852–1908) — журналист, издатель. В конце 1870-х гг. состоял секретарем комитета иностранной цензуры и Общества любителей древней письменности. Сотрудник многих периодических изданий, подготовил ряд изданий древних памятников. С 1897 г. издавал и редактировал «Новый журнал иностранной литературы».

[2] Епифаний (Канивецкий Евдоким Саввич) (1775–1825) — епископ Воронежский (с 1816 г.).

[3] Ломонд (Lhomond) Шарль Франсуа (1727–1794) — аббат-педагог, профессор в одном из парижских коллежей. Написал несколько педагогических сочинений, выдержавших несколько зданий, в т. ч. «De viris illustribus urbis Romae» и «Epitome historiae sacrae».

[4] Антоний (Смирницкий Авраамий Гаврилович) (1773– 1846) — епископ (с 1826 г.), архиепископ (с 1832 г.) Воронежской и Борисоглебской епархии.

В 2003 г. причислен к лику местночтимых святых Воронежской и Борисоглебской епархии.

[5] Евтихиан (Лестев Елпидифор) — архимандрит, ректор Воронежской семинарии (в 1833–1834 гг.)

Ответ В. И. Аскоченского шефу жандармов

Печатается по единственному изданию: Отповедь В. И. Аскоченского шефу жандармов // Исторический вестник. — 1882. — Т. 7. — С. 491–493.

Название изменено составителем.

[1] Васильев Василий Александрович (1819–1899) — офицер, впоследствии филолог, писатель. Печатал очерки, повести, рассказы и грамматические исследования в «Маяке» С. О. Бурачка, в 1880-х гг. публиковал воспоминания в «Историческом вестнике», «Русской Старине» и др.

К биографии В. И. Аскоченского

Печатается по единственному изданию: *Булгаков Ф. И.* [Подп.: Ф.Б.] К биографии В. И. Аскоченского. Письмо В. И. Аскоченского к архиепископу Анатолию Мартыновскому [Сообщено Л. С. Мацеевичем] // Исторический вестник. — 1882. — Т. 8. — С. 697–699.

[1] Мацеевич Лев Степанович (1843–1915) — историк, библиограф.

[2] Анатолий (Мартыновский Августин Васильевич) (1793– 1872) — епископ (с 1844 г.),

архиепископ (с 1853 г.) Могилевский и Мстиславский. Известный духовный писатель, богослов и иконописец. В 1857 г. под псевдонимом Авдий Востоков издал историко-политический труд «Об отношении Римской Церкви к другим христианским Церквам и ко всему человеческому роду» (за этот труд в 1859 г. удостоен степени доктора богословия). 17 июля 1860 г. был уволен на покой с пребыванием в Гербовецком Успенском монастыре (Кишиневской епархии), где и погребен.

[3] Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816–1882) — церковный историк, богослов. Ректор Киевской духовной академии (1851–1857), академик Петербургской Академии наук (1854), митрополит Московский и Коломенский (в 1879–1882). Автор многочисленных трудов, в т. ч. «История русской церкви» (т. 1–12, 1866–1883).

[4] Петр (Троицкий Платон Алексеевич) (?–1873) — епископ Аккерманский, викарий Кишиневской епархии. 7 октября 1835 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью магистра и определен профессором Киевской духовной семинарии. С 8 января 1857 г. — ректор Киевской духовной семинарии и настоятель Киевского Пустынного Николаевского монастыря. 29 мая 1869 г. хиротонисан во епископа Аккерманского, викария Кишиневской епархии.

Светлые точки

Печатается по единственному изданию: *Аскоченский В. И.* [Без подп.] Светлые точки // Домашняя беседа. — 1874. — Вып. 38. — С. 974–985.

[1] Парфений (Попов Петр Тихонович) (1811–1873) — епископ Томский и Енисейский (с 1854 г.), архиепископ Иркутский и Нерчинский (с 1860 г.).

[2] Иоанникий (Горский Иван Семенович) (1810–1877) — архиепископ Херсонский и Одесский. 29 августа 1838 г. перемещен инспектором в Киевскую семинарию; 10 июня 1841 г. назначен инспектором и бакалавром богословских наук в Киевской духовной академии. В Киеве он был членом духовноцензурного комитета, цензором проповедей; 30 декабря 1854 г. назначен епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии; 16 апреля 1856 г. перемещен на Саратовскую архиерейскую кафедру, а 17 июля 1860 г. переведен в Варшаву и возведен в сан архиепископа; с 16 ноября 1875 г. архиепископ Херсонский и Одесский.

[3] Антоний (Шокотов Алексей Андреевич) (1799–1871) — епископ (с 1858 г.), архиепископ (с 1861 г.) Кишиневский и Хотинский.

[4] Антоний (Амфитеатров Яков Гаврилович) (1815– 1879) — архиепископ Казанский и Свияжский. Первоначальное образование получил в Калужском духовном училище и семинарии, где в то время святительствовал его дядя Филарет (Амфитеатров). В 1835 г. поступил в Киевскую духовную академию. В 1839 г. окончил академию со степенью магистра и определен бакалавром Киевской академии. 16 декабря 1840 г. назначен ректором Киево-Софийских духовных училищ. С 19 июля 1841 г. — инспектор и профессор Киевской семинарии. С 12 марта 1845 г. — ректор той же семинарии. 11 февраля 1848 г. назначен настоятелем Киево-Николаевского монастыря. С 10 января 1851 г. — ректор Киевской духовной академии и настоятель Киево-Братского Богоявленского монастыря. 30 марта 1858 г. хиротонисан во епископа Чигиринского. 31 октября 1859 г. переведен на Смоленскую кафедру. С 9 ноября 1866 г. — епископ Казанский и Свияжский. 16 апреля 1867 г. возведен в сан архиепископа.

[5] Григорий (Миткевич Николай Васильевич) (1807– 1881) — архиепископ Калужский (с 1869

г.).

В 1828 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в октябре 1831 г. со степенью магистра и был оставлен при ней бакалавром. С 23 июля 1836 г. — инспектор Киевской духовной академии. 13 февраля 1837 г. был определен экстраординарным профессором КДА и управляющим Киево-Братским монастырем. 9 декабря 1851 г. был хиротонисан во епископа Калужского.

В 1828 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в октябре 1831 г. со степенью магистра и был оставлен при ней бакалавром. С 23 июля 1836 г. — инспектор Киевской духовной академии. 13 февраля 1837 г. был определен экстраординарным профессором КДА и управляющим КиевоБратским монастырем. 9 декабря 1851 г. был хиротонисан во епископа Калужского.

[6] Дамаскин (Кононов Дамиан) (1816–1881) — игумен Валаамского монастыря в 1839–1881 гг.

[7] Иоанн (Соколов Владимир Сергеевич) (1818–1869) — епископ, богослов. 17 января 1865 г. хиротонисан во епископа Выборгского, викария С.-Петербургской епархии, с оставлением ректором столичной академии. 13 ноября 1866 г. переведен на Смоленскую кафедру.

[8] Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпович) (1808– 1883) — архиепископ Могилевский и Мстиславский (с 1860 г.).

[9] Глинка Федор Николаевич (1786–1880) — поэт, литератор, редактор.

[10] Дионисий (Хитров Дмитрий Васильевич) (1818–1896) — епископ Якутский и Вилюйский (с 1868 г.), епископ Уфимский и Мензелинский (с 1883 г.). Миссионер, переводчик Священного Писания и богослужебных текстов на якутский язык.

[11] Митрофан (Вицинский Марк Алексеевич) (1807– 1887) — епископ Оренбургский (с 1866 г.), архиепископ Донской и Новочеркасский (с 1879 г.).

[12] Нил (Исакович Николай Федорович) (1799–1874) — архиепископ Ярославский и Ростовский (с 1853 г.).

[1] Здесь и далее все даты приводятся по юлианскому календарю.

[2] Аристарх Ипатьевич Аскоченский (1815–1896) впоследствии стал известным врачом (защитил в 1858 г. докторскую диссертацию в Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии) и публицистом.

[3] Дневник В. И. Аскоченского // Исторический вестник. — 1882. — Т. VII. — С. 89–90.

[4] Святитель Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич) (1800–1857) в 1823 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью магистра. С 1830 г. — ректор и профессор богословия этой же академии. С 3 октября 1836 г. — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии, оставаясь в должности ректора Киевской духовной академии. С 1 марта 1840 г. — епископ Вологодский и Устюжский. С 24 февраля 1848 г. — архиепископ Херсонский и Таврический. В 1997 г. причислен к лику местночтимых святых Одесской епархии Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

[5] Впоследствии архиепископ Херсонский и Одесский.

[6] В 1839 г. Георгий Говоров (будущий святитель Феофан Затворник) как лучший из воспитанников выпускного курса из Орловской семинарии, а Михаил Булгаков (будущий митрополит Московский Макарий) из Курской семинарии были направлены в Киевскую духовную академию.
15 февраля 1841 г. ректором академии, епископом Чигиринским Иеремией (Соловьевым) Георгий Говоров был пострижен в монашество с именем Феофан, а Михаил Булгаков — с наречением ему имени Макарий.

[7] *Гильтебрандт Петр.* Виктор Ипатьевич Аскоченский // Древняя и новая Россия. — 1879. — № 6. — С. 172.

[8] *Аскоченский В. И.* История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году. — СПб.: Тип. Э. Веймара, 1863. — С. III.

[9] Материалы для биографии Филарета, митрополита Московского // Домашняя беседа. — 1871. — Вып. 18. — С. 559.

[10] Там же. — С. 563.

[11] *Аскоченский В. И.* История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году. — СПб.: Тип. Э. Веймара, 1863. — С. 221.

[12] Там же. — С. 227.

[13] Еженедельный общедоступный журнал «Воскресное чтение» при Киевской духовной академии издавался с перерывами в 1837–1912 гг. В конце 1836 г. еп. Иннокентий (Борисов) совместно с преподавателями и профессорами академии протоиереем Иоанном Скворцовым, Я. К. Амфитеатровым и бакалавром иеромонахом Димитрием (Муретовым) составил программу первого в Киеве духовно-нравственного журнала. Благодаря поддержке митрополита Евгения (Болховитинова) в начале следующего года было получено разрешение на издание журнала. Первоначальный тираж еженедельника составлял 2500 экз., иногда «Воскресное чтение» выходило и 2-м изданием. В 1837–1839 гг. большинство опубликованных статей были написаны редактором журнала еп. Иннокентием (Борисовым).

[14] «Маяк» издавался С. А. Бурачком в 1840–1845 гг. (в 1840–1841 гг. — совместно с П. А. Корсаковым).

[15] *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о Кольцове (См.: Русский инвалид. — 1854. — № 244; Киевские губернские ведомости. — 1854. — № 41; Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 13. — С. 245–250; Исторический вестник. — 1882. — Т. VII.- С. 89-90; *Аскоченский В. И.* Из дневника // Современники о Кольцове. — Воронеж, 1959. — С. 165–166).

[16] См.: Исторический вестник. — 1882. — Т. VII. — № 2. — С. 335.

[17] Исторический вестник. — 1882. — Т. VII. — № 3. — С. 535.

[18] Пройдут годы и один из главных героев романа В. И. Аскоченского «Асмодей нашего времени», под которым угадывается сам автор, получит фамилию «Софьин».

[19] Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870). В 1837 г. назначен киевским генерал-губернатором, а в 1852 г. — министром внутренних дел.

[20] Его сын, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин, будет убит террористами 2 (15) апреля 1902 г.

[21] И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — № 33. — С. 645–651.

[22] Цензурное разрешение от 15 ноября 1845 г. «Начертание» было посвящено киевскому гражданскому губернатору И. И. Фундуклею.

[23] *Аскоченский В. И.* Краткое начертание истории русской литературы. — К.: Универс. тип., 1846. — 162 с.

[24] Там же. — С. 102.

[25] Два письма преосвящ. Иннокентия, архиепископа Херсонского, к редактору «Домашней беседы» // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 45. — С. 1224.

[26] Отечественные записки. — 1846. — № 9. — С. 12.

[27] *Аскоченский В. И.* Стихотворения. — К.: Тип. И. Вальнера, 1846. — 200, III с. Цензурное разрешение 24 июня 1846 г.

[28] См.: Библиотека для чтения. — 1846. — Т. 79; Современник. — 1846. — Т. 44; Отечественные записки. — 1846. — № 10.

[29] *Аскоченский В. И.* Дневник // Исторический вестник. — 1882. — № 7. — С. 47.

[30] Разрешение цензуры было получено 14 июля 1846 г.

[31] Исторический вестник. — 1882. — № 6. — С. 520.

[32] *Павлович А.* Виктор Ипатьевич Аскоченский (Некролог) // Церковный вестник. — 1879. — № 21. — С. 14.

[33] Очерки Волынской губернии в историческом, географическом, статистическом и этнографическом отношениях, издаваемые при «Волынских губернских ведомостях» под ред. В. Аскоченского. — Житомир, 1847. — 163 с.

[34] Панорама, или Очерки из современной жизни. — Ч. 1–3. — СПб.: Тип. Морск. м-ва, 1875. — С. II.

[35] Совестный суд — губернский суд в Российской империи, созданный по инициативе Екатерины II в 1775 г. для дополнительной защиты гражданских прав по отдельным категориям дел (малолетние обвиняемые и др.) на основании принципа «естественной справедливости». Рассматривал некоторые гражданские дела с целью примирения сторон, например о разделах имущества между родственниками, и уголовные дела малолетних, невменяемых, глухонемых, а также совершенные при особо неблагоприятном стечении обстоятельств.
Состоял из судьи и шести заседателей — по два от каждого из сословий: дворян, городского и сельского.

[36] *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о преосв. Арсении, митрополите Киевском //

Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 616.

[37] Антоний (Амфитеатров Яков Гаврилович) (1815–1879) — архиепископ Казанский и Свияжский. С 10 января 1851 г. — ректор Киевской духовной академии и настоятель Киево-Братского Богоявленского монастыря.

[38] Первым монографическим исследованием, специально посвященным истории Киевской духовной академии, стала книга бакалавра иеромонаха Макария (Булгакова). В июне 1841 г. он закончил курс академического образования со степенью магистра и был оставлен при академии преподавателем русской церковной и гражданской истории, которые до того времени в академии не читались. Еще на студенческой скамье он увлекся историей своей alma mater. Плодом этого увлечения и стала «История Киевской академии. Соч. воспитанника ее иеромонаха Макария Булгакова» (СПб.: Тип. Константина Жернакова, 1843. — 226 с.)

[39] *Аскоченский В. И.* Киев с древнейшим его училищем Академиею. Ч. 1. — К.: Тип. унив., 1856. — [8], 370 с. — Цензурное разрешение 27 декабря 1855 года; *Аскоченский В. И.* Киев с древнейшим его училищем Академиею. Ч. 2. — К.: Тип. унив., 1856. — 566, [1] с. — Цензурное разрешение 30 апреля 1856 года.

[40] Следующая книга по этой теме вышла годом позже: *Чистович И. А.* История Санкт-Петербургской духовной академии. — СПб., 1857. — 456 с.

[41] В 1863 г. В. И. Аскоченский издал еще одну монографию: «История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году». Книга была посвящена истории академии после проведения в ней реформы. Повествование здесь доведено до 1851 года.

[42] *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о преосв. Арсении, митрополите Киевском // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 616.

[43] Два письма преосв. Иннокентия, архиепископа Херсонского, к редактору «Домашней беседы» // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 45. — С. 1224.

[44] Русский композитор А. Л. Веделев // Киевские губернские ведомости. — 1854. — № 10; Моровая язва в Киеве в 1710 и 1770 гг. // Киевские губернские ведомости. — 1855. — № 18; Заложение Троицкой церкви в монастыре Фроловском // Киевские губернские ведомости. — 1855. — № 28; 1624 г. Запорожская [?] запись, данная Яницкими Киево-Братскому училищному монастырю // Киевские губернские ведомости. — 1856. — № 28; Три акта Выдубицкого монастыря 1572 г. // Киевские губернские ведомости. — 1857. — № 2; Документ о Гнилещине // Киевские губернские ведомости. — 1857. — № 5; О гайдамаке Гаркуше: документ 1754 г. // Киевские губернские ведомости. — 1857. — № 33; Наказ игумена Выдубицкого монастыря о посевах и полевых работах // Киевские губернские ведомости. — 1857. — № 34–35; Моровая язва в Киеве в 1710 и 1770 гг. // Киевские губернские ведомости. — 1858. — № 22.

[45] *Аскоченский В. И.* [псевд. В. А.] Василий Григорьевич Григорович-Барский, знаменитый путешественник XVIII в. — Киев: Тип. Губ. правл., 1854. — 39 с.; *Аскоченский В. И.* [псевд. В. А.]. Воспоминания о Я. К. Амфитеатрове, бывшем профессоре Киевской духовной академии. — Киев: Тип. Губ. правл., 1854. — 24 с.; *Аскоченский В. И.* Сказание о церкви св. Георгия Победоносца, яже пред враты св. Софии в Киеве. — К.: Тип. ун-та, 1856. — [4], 30 с.; *Аскоченский В. И.* Амфитеатров Яков Косьмич, ординарный профессор Киевской духовной академии. — К.: Тип. ун-та, 1857. — 155 с.; *Аскоченский В. И.* [Виктор Аскоченский] Петр Дамьянович Максимович, протоиерей Киево-Подольского Успенского собора (Некролог). —

Киев: Губ. тип., 1857. — 16 с.; *Аскоченский В. И.* Всенощное бдение накануне дня Успения Пресвятой Богородицы и освящение церкви во имя св. Николая Чудотворца в монастыре Киево-Михайловском, бывшее 7 октября 1856 года. — Киев: Губ. тип., 1857. — 30 с.; *Аскоченский В. И.* Преосвященный Аполлинарий, епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии (Некролог). — Киев: Унив. тип., 1858. — [2], 46 с.

[46] «Заморским витиям» (1854); «Встреча ополченцев в Киеве» (1854); «Ледюку и его клевретам» (1854); «Англии, союзнице Турции» (1854); «Сэру Непиру» (1854) и др.

[47] В то время в Москве уже два года как издавался славянофильский объемный журнал «Русская беседа». Но он выходил раз в квартал и уже в силу этого не мог своевременно реагировать на многие текущие события.
А год назад (в июле 1857 г.) вышла первая революционная газета «Колокол».

[48] Домашняя беседа для народного чтения. — 1858. — № 1. — С. 5.

[49] См. напр.: Новейшие отступники от Православия // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 9.

[50] *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о преосв. Арсении, митрополите Киевском // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 617.

[51] *Иона (Голубцов).* Религия, нравы и обычаи амурцев // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 34; *Шевляков В.* Якуты-христиане // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 46 и др.

[52] Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 42.

[53] *Бурачок С. А.* Современные вопросы // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 45.

[54] См. напр: Аномалии в мире литературном // Домашняя беседа для народного чтения. — 1859. — Вып. 43.

[55] «Искра», еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1859–1873 гг. Издатели — В. С. Курочкин и Н. А. Степанов (вышел из состава редакции в 1864 г.).

[56] Руководителем журнала с 1853 г. стал, наряду с Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевский и с 1856 года — Н. А. Добролюбов. С 1858 г. журнал вел резкую полемику с консервативной журналистикой, стал идейным центром и трибуной революционно-демократического направления русской общественной мысли. Это повело к расколу в редакции. В июне 1862 г. журнал был приостановлен на 8 месяцев. В редакцию возобновленного Некрасовым в начале 1863 года журнала вошли М. Е. Салтыков-Щедрин (до 1864), М. А. Антонович, А. Н. Пыпин. В июне 1866 года журнал был закрыт.

[57] «Свисток» — сатирическое приложение к журналу «Современник», предпринятое в 1858 году Н. А. Добролюбовым и Н. А. Некрасовым. Приложение состояло из юмористических литературных произведений и критических статей, заметок. Также в нем постоянно печатались карикатуры.
Поскольку издателям «Современника» не удалось получить цензурное разрешение на издание отдельной иллюстрированной сатирической газеты, «Свисток» публиковался внутри «Современника» и был своеобразным «журналом в журнале». Первый выпуск «Свистка»

вышел в январе 1859 года («Современник», № 1), последний — в апреле 1863 года (в четвертом номере «Современника»).
Добролюбову современники ставили в вину «свистопляску» — глумление над авторитетами и чересчур язвительный полемический тон. Через полтора года после смерти Добролюбова выпуск «Свистка» прекратился.

[58] *Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. — Т. 18: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1864–1865 годов. — М., 1959. — С. 199.

[59] Цензором журнала В. И. Аскоченского был назначен поляк по происхождению, а по вероисповеданию католик.

[60] Исидор (Никольский), митрополит Киевский (с 1 марта 1858 г.), митрополит Новгородский и С.-Петербургский (с 1860 г.).

[61] «Православное обозрение» — богословско-философский журнал, издававшийся ежемесячно в Москве с 1860 по 1891 г. под редакцией свящ. Н. А. Сергиевского, при сотрудничестве священников Г. П. Смирнова-Платонова, П. А. Преображенского и А. М. Иванцова-Платонова. Характер его был преимущественно публицистический. Журнал знакомил публику с лучшими произведениями иностранной богословской литературы. В журнале принимало участие много светских лиц.

[62] Записки звонаря // Домашняя беседа для народного чтения. — 1861. — Вып. 6–10; 12–13; 15–16.

[63] *Аскоченский В.* Мои воспоминания о преосв. Арсении, митрополите Киевском // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 618.
См. также: *Аскоченская Татьяна.* Воспоминания бывшей воспитанницы Ивановской школы // Домашняя беседа. — 1871. — Вып. 50. — С. 1195–1203.

[64] *Аскоченский В. И.* Мои воспоминания о преосв. Арсении, митрополите Киевском // Домашняя беседа. — 1876. — Вып. 23. — С. 617.

[65] Мысли о чтении Евангелия // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. — Вып. 43–44 (Подп.: Николо-Бабаевский монастырь. 1847); Евангельские блаженства // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. Вып. 45–46 (Подп.: Николо-Бабаевский монастырь. 1847 г.); Крест свой и Крест Христов // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 4–5. (Подп.: Сергиева пустынь. 1850 г.) и др.

[66] Отзыв на рецензию сочинений преосвященного Игнатия, сделанную священником Павлом Матвеевским // Домашняя беседа для народного чтения. — 1864. — Вып. 3–5. (Подп.: Православный.)

[67] *Аскоченский В. И.* [Рец. на книги свт. Игнатия: «Поучения». СПб., 1863, «Чаша Христова». СПб., 1862 (обл. 1863); «Поучение о спасении». СПб., 1862] // Домашняя беседа для народного чтения. — 1863. — Вып. 11. — С. 279–280.
Аскоченский В. Указатель книг: «Аскетические опыты» архимандрита Игнатия, ныне епископа, жительствующего на покое в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. — СПб., 1865. Т. 1–2 // Домашняя беседа для народного чтения. — 1865. — Вып. 19. — С. 614–616.

[68] *Аскоченский В. И.* Преосвященный Игнатий (Брянчанинов): (Биогр. очерк) // Домашняя

беседа. — 1867. — Вып. 24. — С. 654–665; Вып. 25. — С. 678–694.

[69] *Игнатий (Брянчанинов)*, епископ. Сочинения. — 2-е изд., испр. и доп. — Т. 7. Письма. — СПб.: Изд. И. Л. Тузова, 1886. — С. 419.

[70] Послание патриархов Восточно-кафолической Церкви о Православной вере // Домашняя беседа для народного чтения. — 1865. — Вып. 17–29.

[71] *Лев (Наголкин)*, иеросхим. Вопросы ученика и ответы старца // Домашняя беседа. — 1866. — Вып. 4–8.

[72] Троице-Сергиева пустынь // Домашняя беседа для народного чтения. — 1865. — Вып. 17–30; *Лебедев В.*, прот. Церковь при дворе Великого князя Николая Николаевича старшего // Домашняя беседа. — 1866. — Вып. 20– 23 и др.

[73] *Леонид (Кавелин)*, архим. Последние русские православные пустынножители // Домашняя беседа для народного чтения. — 1862. — Вып. 20–26; *Леонид (Кавелин)*, архим. Монашество и монастыри // Домашняя беседа. — 1875. — Вып. 19–26; *Иосиф (Баженов)*, архим. Монастырский вопрос // Домашняя беседа. — 1872. — Вып. 42–47.

[74] Джунковский Степан Степанович и его энциклика // Домашняя беседа. — 1866. — Вып. 41–49; *Думитрашко К. Д.* Истинные вселенские соборы в сопоставлении с нынешним мнимо-вселенским собором в Риме // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 17–21.

[75] «Душеполезное чтение» издавалось в Москве (в 1860–1914 гг.). Инициатором издания был свящ. А. Ключарев, ставший соредактором-издателем вместе со свящ. В. Нечаевым и свящ. В. Лебедевым. Митр. Московский св. Филарет (Дроздов) ходатайствовал перед Святейшим Синодом о разрешении издания.

[76] Домашняя беседа. — 1869. — Вып. 17. — С. 483.

[77] См.: «Покаяние и обращение грешника к Богу» (1868. Вып. 9–15), «Порядок богоугодной жизни» (1868. Вып. 22–47), «Душа и тело не есть нечто телесное, а чистый дух» (1869. Вып. 1–15, 20), «Уроки из деяний и словес Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (1870. Вып. 5–8, 13–32), «Письма о духовной жизни» (1870. Вып. 33–51), «Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия» (1871. Вып. 6–51), «Как надобно молиться» (1872. Вып. 22–26), «Библия по переводу LXX толковников есть законная наша Библия» (1876. Вып. 20–23) и мн. др.

[78] *Аскоченский В. И.* [псевд. Незамай В.] Басни и отголоски. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. — VIII, 222 с.

[79] Сначала в «Домашней беседе» (1870. Вып. 1–4), а затем отдельным изданием: *Аскоченский В. И.* Марфа Посадница, или Падение Новгорода: Драм. представление в 4-х карт. — СПб.: Тип. Морск. м-ва, 1870. — [4], 64 с.

[80] *Аскоченский В. И.* Концерт Шереметевского хора, данный под управлением г. Ломакина, в зале Дворянского собрания, 5-го апреля 1872 г. — СПб.: Тип. Морск. м-ва, 1872. — [2], 10 с.; *Аскоченский В. И.* [псевд. В. А.] Стрекоза, муравей и пчелка: Комедия для детей [в стихах]: Подарок к празднику умненьким и милым детям. — СПб.: Тип. Морск. м-ва, 1872. — [2], 8 с.; *Аскоченский В. И.* [псевд. Звонарь] Записки Звонаря. — СПб.: Тип. Нусвальта, 1873. — 68 с.;

Аскоченский В. И. [псевд. В. А.] Панорама, или Очерки из современной жизни. Ч. 1–3. — СПб.: Тип. Морск. м-ва, 1875. — 730 с.; *Аскоченский В. И.* [псевд. В. А.] Письма с того света пятилетнего брата к шестилетней своей сестре. — СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1876. — 60 с.; *Аскоченский В. И.* [псевд. Кочка-Сохрана В.] Асмодей нашего времени. 2-е изд. — СПб.: Тип. В. Готье, 1877. — 207 с.

[81] *Парфений (Попов)*, архиеп. Иркутский. Сведения об Иркутской духовной миссии // Домашняя беседа. — 1870. — Вып. 37–39; 41–44; 47–52.

[82] См., напр., *Калинский И.* Народные верования в праздник Пасхи // Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 14.

[83] См: статьи и очерки А. А. Алексеева (Н. Вульфа), постоянно печатавшегося в журнале; «Жизнь и приключения бывшего еврея, а ныне православного христианина» В. Мельникова (1876. Вып. 23–27; 31–32 и др.)

[84] *Архиепископ Никон (Рождественский).* На страже духа. — М., 2007 (Электр. рес.: http://www.pravoslavie.ru/put/3087.html).

[85] Домашняя беседа. — 1876. — № 21. — С. 550.

[86] См.: отзыв о свящ. И. С. Беллюстине «Хульник в рясе» (1877. — Вып. 26, 39), статья «Гранаты под цифрами, начиненные порохом лжи» о книге проф. Д. И. Ростиславова «Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей» (1877. — Вып. 1) и др.

[87] Домашняя беседа. — 1877. — Вып. 4, 15–17, 19.

[88] Там же. № 45. — С. 1247–1248.

[89] *Павлович А.* Виктор Ипатьевич Аскоченский (Некролог) // Церковный вестник. — 1879. — № 21. — С. 13–15.

[90] Некролог [В. И. Аскоченский] // Церковно-общественный вестник. — 1879. — № 60. — 20 мая. — С. 6–7.

[91] Виктор Ип. Аскоченский (Некролог) // Волынские епархиальные ведомости. — 1879. — № 13. — Часть неофициальная. — С. 510–511.

[92] *Гильтебрандт П.* Виктор Ипатьевич Аскоченский (некролог) // Древняя и новая Россия. — 1879. — № 6. — С. 172

[93] Первая публикация: Киевская старина. — 1883. — Т. 5. — № 2–4.

[94] *Лесков Н. С.* Печерские антики // Сочинения в 11 т. — М., 1958. — Т. VII. — С. 178.

[95] *Нилус С.* На берегу Божьей реки. — Изд-во Свято-Троицкой Лавры, 1991. — Ч. 1. — С. 153–154.

[96] *Игнатий (Брянчанинов)*, епископ. Сочинения. 2-е изд., испр. и доп. — Т. 7. Письма. — СПб.: Изд. И. Л. Тузова, 1886. — С. 447.

[97] Опис. Киевософ. собора. С. 119.

[98] Там же.

[99] История Малороссии Н. Маркевича. Том I. С. 151.

[100] Там же. Том II. С. 72 и 75.

[101] Pamiętniki o dziejach, piśmienictwie i prawodawstwie Slowian. Macieiowski. Tom III. С. 455.

[102] Pamiętniki o dziejach, piśmienictwie i prawodawstwie Slowian. Macieiowski. Tom III. С. 455.

[103] Книга эта хранится в библиотеке Киево-софийского собора.

[104] Каталог киевских митрополитов, напечат. в Московском любопытном месяцеслове на 1776 год.

[105] Описание Киевософ. собора. С. 154.

[106] Боплан, состоявший на службе королей польских Сигизмунда III, Владислава IV и Яна Казимира, в своем описании Киева говорит, что под горою на Подоле, между бернардинским монастырем и рекою, до 1646 года стоял костел иезуитский, училище которого было под горою Уздыхальницею, пониже нынешней Андреевской церкви. См. Опис. Киевософ. собора. С. 179.

[107] Так, по крайней мере, объясняет поступок иезуитов Петр Могила в своих записках.

[108] Опис. Киевософ. собора. С. 154.

[109] Памятники. Том II. С. 51.

[110] Там же. С. 65.

[111] Под сим названием, конечно, разумеются низшие, приготовительные школы. Опис. Киевософ. собора. С. 155.

[112] Описание этого креста можно видеть в «Воскресном чтении» на 1840– 41 год.

[113] Памятники. Том II. С. 74.

[114] В конце Уписа киевского братства от 1616 по 1631 год сказано: «…и прочиих в братство бесчисленных вписавшихся». Там же. С. 48.

[115] Сочинение Мелетия Смотрицкого называется *Werificacya niewinności*, а книга Иова — *Justificacya niewinności*.

[116] История Малороссии Н. Маркевича. Том I. С. 114. Кроме попечений и забот об устройстве Киево-братского училища, Сагайдачный в завещании своем, 1622 года, отказал на луцкую школу 250 талеров. Летопись Зубрицкого. С. 69. *Битый* талер стоил 91 грош, а так называемый талер *левковый* 81 грош.

[117] *Бантыш-Каменский*. История об Унии. С. 77.

[118] К сожалению, могила Сагайдачного остается неизвестною. Вероятно, он был похоронен близ созданной им деревянной церкви Богоявления Господня; но когда строилась нынешняя

каменная, то могила его вошла в средину храма.

[119] Казаки утопили в Днепре выдубицкого игумена Антония Грековича, бывшего генеральным наместником в Киеве и шпионом униатского митрополита Велямина Рутского.

[120] Описание Киево-соф. собора. С. 160.

[121] С этого времени прямыми и непосредственными покровителями киево-богоявленского братства и училища являются собственно киевские митрополиты. Посему, чтобы удобнее обозреть как историю Киева, так и самый ход братской школы, нет надобности прибегать к разделениям на периоды, которые гораздо лучше могут быть замещены эпохою управления того или другого митрополита.

[122] Сочинения Смотрицкого, кроме его грамматики, относятся к трем разным эпохам; в одних он является ревностным защитником восточной Церкви; в других — хитрецом, желающим скрыть свое отступничество, а в остальных — открытым противником веры истинной.<…>

[123] Важное в этом отношении свидетельство находим в современной брошюре Рутского под заглавием: Sowita wina (Сугубая вина), где пишется: «…о Смотрицком многое знаю и кое-что скажу, остальное сохранив в тайне. Он долго сносился с нашими (униатскими) начальниками, причем свидетелями были и некоторые светские люди; обещался и сам перейти к нам и паству свою тоже привести к согласию с нами».

[124] В описании отступничества Мелетия Смотрицкого здесь есть значительная разность с тем, что говорит об этом митрополит Евгений в своем Словаре (том II) и в Описании Киево-соф. собора (с. 161): но мы в этом случае предпочитаем держаться позднейших разысканий, сделанных г. Маценовским и основанных на вернейших документах.

[125] Москвитянин за 1854 год. Отд. Смесь. С. 199.

[126] Летопись Зубрицкого. С. 68.

[127] Описание Киево-соф. собора. С. 159.

[128] История Малороссии. Том I. С. 122 и 123.

[129] Памятники. Том II. С. 91.

[130] Сочинение это называется *Αύθος* albo Kamien z pracy prawdy Cerkwie swętey prawoslawnéy ruskiey. Изд. в Киево-Печ. Лавре. 1644 г. Оно имеется в печати и на русском языке (Опис. рукописей графа Толстого. I. 323) <…>.

[131] А тот двор лежит в Киеве под горою в Скольниках против церкви Рождества Христова // Памятники Т. II. С. 292.

[132] Там же. С. 293.

[133] Описание Киево-соф. собора. С. 165.

[134] Исаия Купинский управлял училищем всего один год.

[135] Словарь историч. Ч. II. С. 205.

[136] Надпись эта составлена по-польски; здесь представляется она сполна: <…>
См. также «Киевлянин» на 1840 г. С. 159.

[137] Автор «Истории Русской Церкви» (период патриарш., с. 110), отдав справедливость Копыстенскому, Галятовскому и некоторым другим, по его мнению, большею частью воспитанникам не киевского, а других училищ, говорит: «Далеко беднее этих даровитых воспитанников той же киевской школы: Тарасий Земка, Иннокентий Гизель. Позволяем себе верить в этом случае больше Петру Могиле, избравшему их для посылки за границу как даровитейших воспитанников и потом, как «старших из ученых», определившему их на почетное место проповедников Лавры и затем ректорами училища». Наконец и отзывы митрополита Евгения нам кажутся стоящими большей доверенности.

[138] История Малорос. Ч. I. С. 131.

[139] Полное заглавие сочинения Исаии Купинского следующее: «Лествица духовного по Бозе иноческого жительства, содержащая в себе тридцать три главы, тридцать три степени, трудолюбне составлена в пользу душевную усердствующим и внимающим постническому жительству». Есть и другое его сочинение, называемое *Алфавит духовный.* Словарь историч. Ч. I. С. 212.

[140] Мацеиовский говорит, что Петр Могила был сыном валашского воеводы Иеремии. Москвитянин. 1854 г. № 20, в Смеси. С. 196.

[141] Летопись Зубрицкого. С. 24.

[142] Описание Киевософ. собора. С. 166.

[143] Описание Киевософ. собора. С. 172.

[144] Москвитянин 1854 г. № 20, в Смеси. С. 196.

[145] *Стефан Зизаний***,** брат известного Лаврентия Зизания, написал: «Изложение о Православной вере коротким пытаньем и отповеданьем для латвейшего (удобнейшего) выразуменя христианским детям». См. о нем Словарь историч. Ч. II. С. 3.

[146] Этим *ортологом* был сам же Смотрицкий, писавший некогда под этим псевдонимом.<…>

[147] Памятники. Т. II. С. 93 и далее.

[148] Об этом упомянуто и в акте Киево-Богоявленского Братства. Памятники. С. 103.

[149] Не далее, как в прошедшем столетии, все пространство от Киево-Подола до Лавры было покрыто густым лесом, из остатков которого образовался ныне Царский сад; а Липки и теперь помнят старожилы как непроходимую чащу.

[150] И об этом есть намек там же.

[151] Что они входили сначала с словесным представлением, это видно из самого акта, впоследствии ими данного.

[152] На что намекали здесь актодатели — не совсем понятно. Вернее всего, на ставропигию как неприкосновенную собственность Братской Богоявленской церкви. См. грамоты патриарха Феофана. Памятники. Т. II.

[153] Памятники. Т. II. С. 100–112.

[154] Под сею грамотою подписался собственноручно Исаия Купинский митрополитом. Замечаем это для того, что некоторые утверждают, и между прочими преосвящ. Евгений (Опис. Киево-соф собора. С. 171), что Купинский не был митрополитом. Этим они хотят оправдать поступок Петра Могилы, который и без того не имеет в себе ничего предосудительного, как увидим впоследствии.

[155] Памятники. Т. II. С. 113.

[156] Там же. С. 141.

[157] В Истории Киевской академии акты эти названы просительными листами. С. 37.

[158] Памятники. Т. II. С. 143.

[159] Там же. С. 40.

[160] Там, где ныне монастырская трапеза. См. Описание Киево-соф. собора, с. 173.

[161] Она стояла рядом с церковью св. Анны на том же месте, где ныне новый академический корпус.

[162] Ostrowski. Dzieje i prawa Kościola Polskiego. Т. III. 466.

[163] Описание Киевософ. собора. С. 168–170.

[164] К братству Луцкому Могила писал пригласительную грамоту, утверждая свое избрание королевскою привилегией и волею патриарха Константинопольского. Памятники Т. I. С. 135.

[165] Там же. С. 137.

[166] Впрочем, в грамоте Владислава IV, данной по сему случаю Петру Могиле, сказано только: szkoly, seminaria, drukarnie, ktorych oni byli in possessione, ztwerdzamy.

[167] Ostrowski. Там же. Т. III. 485.

[168] Описание Киево-соф. собора. С. 171.

[169] Русская истор. Устрялова, изд. 1849 г. Ч. I. С. 292.

[170] Описание Киево-соф. собора. С. 35.

[171] Этот поступок Петра Могилы нимало не нарушал права ставропигии, данного патриархом Феофаном: ибо ставропигия принадлежала не монастырю, а только церкви, существовавшей в то время.

[172] Она была деревянная, двухэтажная. См. Прибавл. к описанию Киево-соф. собора. С. 213.

[173] «Которое лежит, — как сказано в записи, — против церкви Доброго Николы». Памятники. Т. II. С. 293.

[174] Там же. С. 294.

[175] Книжка эта называется так: Exegesis, to iest, Danie sprawy o szkolach Kiiowskich y Winnickych, w których uczą zakonnicy Religiey Greckiey, przez Wielebn. Oyca Sylwestra Kossowa, Elekta, episkopa Mscislawskiego, Mohilowskiego, przed wiekiem teraznieyszym w tychze szkolach przez trzy lata Professora napisane с девизом из псалма CXVII: Libera me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua. Drukow. w tawrze Pieczarskiey R. P. 1653.

[176] Никольский монастырь доминиканов после переименован в Петропавловский. Это нынешняя Петропавловская церковь, при которой состоит и Духовная семинария.

[177] Chodykiewica in Commentario de rebus gestis in provincia Russiae ordinis Praedicatorum pag. 142, 143.

[178] Древняя Крестовоздвиженская церковь стояла на площадке между нынешними Андреевской и Десятинной церквами и местом, где дом Анненкова. См. чертеж старого Киева, прилож. к «Киевлянину» за 1840 год.

[179] Памятники. Т. II. С. 144.

[180] Король Владислав I издавал четыре раза конституционные грамоты в защиту православных: в 1635, 1638, 1641 и 1647 годах. См. Опис. Киево-соф. собора. С. 178.

[181] Ciekawe opisanie Ukrainy Polskiey i rzeki Dniepru od Kiowa aż do mieysca, gdzie rzeka ta wrzuca się w morze, przez P.Beauplan, Indzyniera w służbie Kró1ow Polskich Żygm. III. Wlad. IV. Jana Kazimierza.

[182] Рукописный подлинник этого руководства хранится доныне в библиотеке Киево-софийского собора. Вот настоящее его оглавление: Liber artis Poëticae, anno Domini 1637 <…>

[183] От этого не свободны самые знаменитые наши проповедники и богословы, получившие воспитание в древней киевской коллегии. Так, например, Сильвестр Коссов на 10 странице своего Патерика (1635 г.), желая возвеличить Киев, говорит: mów Stentorea voce: Kiovia nostra coelum est, и вслед за тем пускается в объяснения, сравнивая печерских угодников с Сатурном, Юпитером, Марсом и проч.

[184] Все руководства по части риторики принадлежат эпохе послемогилинской: но это нисколько не мешает признать их ближайшими по характеру к тем, которыми пользовались воспитанники Могилы.<…>

[185] Один из таких учебников, относящийся, впрочем, к 1692 году, озаглавливается так: Tractatus praeternumerarius, hoc est, promptuarium Dialecticum, referens elementa Logices, resolutus in Collegio Kiiovo-Mohileano. 1692.

[186] Памятники. Т. I. С. 248.

[187] Что науки эти были преподаваемы в древней коллегии, это видно из печатной оды, поднесенной в день Воскресения Христова 1632 года Петру Могиле учениками Лаврской школы по соединении ее с Богоявленским училищем. Эта ода озаглавлена так: «Геликон, то

есть сад умеетности (просвещения), осмь корений вызволенных (свободных) наук в себе маючий, чрез пречестнейшего его милости господина отца Кир Петра Могилу в России новофундованый» и проч. Затем исчисляются эти корения: «корень умеетности перший — грамматика, второй риторика, третий диалектика; четвертый — арифметика; пятый — музыка; шестой — геометрия; седьмой астрономия, восьмой корень и верх всех наук умеетности — феология».

[188] История Унии Б. Каменского. С. 69.

[189] В Киево-софийской библиотеке находится учебник по богословию, относящийся ко времени Петра Могилы. Он составлен, без малейшего изменения в порядке, по руководству Фомы Аквината и был прочитан между 1642 и 46 годами.

[190] Памятники. Т. II. С. 190.

[191] Отметки эти бывали следующие: *s.,* то есть scit, — знает; *ns* — nescit — не знает; *er* — errabat — ошибался; *nt* — non totam — не весь урок; *pns* — prorsus nescit — вовсе не знает; *nr* — non recitabat– не сдавал урока.

[192] Учитель подписывал сверх этого на оккупации одобрение или неодобрение на языке латинском. Общеупотребительные для этого слова были: bene, optime, elegantissime, или напротив: non male, male, pessime и проч.

[193] Памятники. Т. I. С. 115.

[194] См. предисловие к грамматике Зизания. Словарь истор. (Ч. II. С. 2), а также: Учебная книга Росс. словесн. Греча. Т. IV. С. 648.

[195] Что Смотрицкий был в киевской школе учителем, об этом сказано в *Апологии* Коссова, хоть и неопределенно. Впрочем, наверное, можно положить, что время учительства Мелетия Смотрицкого относится к концу первого десятилетия XVII века: ибо в 1615 году он жил в Виленском монастыре, а в 1620 был уже архиепископом Полоцким.

[196] Таково прибавление небывалого дотоле *предложного* падежа; установление двух глагольных спряжений, основанных на окончании второго лица настоящего времени изъявительного наклонения. В этом последнем случае следовал Смотрицкому и Ломоносов, не изменил и Соколов, удержался частью и Востоков; зато Греч, увлеченный страстью к преобразованию, совершенно спутал и затемнил эту важнейшую часть грамматики.

[197] Он приложен к грамматике его, изданной в Вильне 1596 года.

[198] Описание книг графа Толстого, № 60.

[199] Автор Истории Русской Церкви (период патриарш. С. 106) утверждает, что Памва Берында образовался во Львове, как это показывают его собственные слова: «…пребывая иногда в дому пресветлом благочестивого пана Феодора Болобана» и проч. (Строева опис. книг, издан М., 1841 г. С. 16); а митрополит Евгений в своем Словаре историческом (ч. II. С. 150) пишет, что Берында пострижен в монашество в Иерусалиме, где и провел несколько лет в разных должностях, что он приехал оттуда в Киев в начале XVII века и определен надзирателем в лаврскую типографию. Митрополит Евгений не говорит здесь ни слова о месте воспитания Берынды. Всего вероятнее, что Берында школьным образом не воспитывался ни в Киеве, ни во Львове. Он прибыл в Россию, конечно, уже не в таких летах, чтоб поступить в

первоначальные школы, ибо, как замечает Евгений, Берында, достигнув сана иеросхимонашеского (на что, конечно, требуется время), провел в Иерусалиме несколько лет в разных должностях; а что он «пребывал иногда в дому Болобана», то из этого отнюдь не следует, что Берында и воспитывался во львовском училище. На пути к Киеву он останавливался во Львове, был принят благочестивым и просвещенным защитником Православия как странник и притом человек образованный, — вот и все, что можно вывести из собственного показания Берынды. Да и нечему учиться ему было ни в киевских, ни в львовских тогдашних школах. Он и без того был высоко образован, ибо тотчас же по определении своем в Печерскую Лавру получил в управление типографию — пост, довольно важный по тому времени. Составленный им Словарь показывает, что Берында изучал язык русский не за школьной скамьей, а дома, в своей келье над книгами Свящ. Писания и существовавших тогда переводов отеческих творений, да еще там, где слышалось живое слово, простая молвь, обогатившая синонимическими выражениями его лексикон.

[200] Памятники. Т. II. С. 190.

[201] Это самое подтверждено и грамотою Петра Великого, данною 1701 года 26 сентября. См. Памятники. Т. II. С. 330, 331.

[202] От глаголов caleo, calesco: *горячу* и facio: *делаю.* Впрочем, как увидим впоследствии, название калефакторов присвояемо было и надзирателям в более облагороженном смысле.

[203] …które oddałem na Congregacią studentów Collegium mego. Памятники. Т. II. С. 166.

[204] Летописи Зубрицкого. С. 81.

[205] История Малороссии Маркевича. Ч. I. С. 156.

[206] Там же. С. 162.

[207] Завещание это скреплено собственноручными подписями: самого Петра Могилы, Адама Киселя, каштеляна киевского; печатников: Андрея Солтана, Андрея Ставицкого, Даниила Голубя и Мелетия Красносельского; Василия Дворецкого, полковника войска Запорожского, Филарета Губиневича, уставника печерского; Анании Куликовского, эконома Лавры; Феодосия Оранского, соборного старца. Под этим завещанием впоследствии подписался гетман Юрий Хмельницкий следующим образом: «…не уймуючи того права с подписом рук и с печатьми их милостей положенных, еще ствержаю власною рукою Юрий Хмельницкий гетман войска Его Царского Величества Запорожского». Душеприказчиками своими Могила назначил следующих лиц, издревле принадлежавших к Православию: Александра Огинского, воеводу Минского; Адама Киселя, каштеляна киевского; Богдана Стеткевича, каштеляна новгородского; другого Огинского, бывшего хорунжим великого княжества Литовского; Федора Проскуру-Сущанского, киевского земского писаря, князя Николая Четвертинского и четырех других лиц, подписавших только имена свои без прозвания. См. Памятники. Т. II. С. 149–181.

[208] Превосходный пример для всех наших духовных училищ! Каждое из них имеет основателем своим какого-либо архипастыря; каждому посылал Бог благотворителей; в каждом есть наставники, которым свыше суждено было in cathedra mori: чем же отблагодарить этих людей, как не молитвой о упокоении их в Царствии Небесном? Пусть бы потомки стали пред престолом Божиим с возглашением вечной памяти тем, которые учили и питали отцов и дедов их. День кончины иерарха, основателя училища, должен быть днем совокупного моления воспитанников о всех усопших пастырях, благодетелях и наставниках училища. Тогда живые будут подвизаться еще с большим рвением в той отрадной уверенности, что имена их, как

тружеников просвещения, передадутся дальнему потомству, и молитвы Церкви, которой они были истинными служителями, не умолкнут о них до конца века. Как желательно, чтоб мысль эта осуществилась самым делом во всех духовных училищах православной России!..

[209] Впрочем, Иерлич в дальнейших своих рассказах представляет Могилу в самом мрачном виде: но показания его больше походят на клеветы, невероятные по своей крайней нелепости, и не стоят никакого опровержения.

[210] История Малороссии Маркевича. Ч. I. С. 162.

[211] Памятники. Т. II. С. 153.

[212] См. Труды Высочайше утвержд. Вольного общества любителей русской словесности. Ч. VII. С. 117.

[213] История Малороссии. С. 244–248. Описание Киево-соф. собора. С. 181.

[214] Памятники. Т. II. С. 182, 183. Напрасно поэтому митрополит Евгений в Описании Киево-софийского собора (Примеч. С. 213) говорит, что «Лавра данные на них (на учеников коллегии) волости отобрала назад <…>».

[215] Там же. С. 186–195.

[216] Там же.

[217] История Малороссии. Ч. I. С. 261.

[218] Описание Киево-соф. собора. С. 182.

[219] Памятники. Т. II. С. 210 и 224.

[220] Описание Киево-соф. собора, примеч. С. 211.

[221] Там же. С. 180.

[222] Братство училищное, как известно, с дворовых мест своих получало доходы отдачею их мещанам и другим частным лицам на поселение.

[223] Памятники. Т. II. С. 198.

[224] Там же. С. 201.

[225] Описание Киево-соф. собора. С. 211. Все эти пожертвования были сделаны в 1650 году.

[226] Памятники. Т. II. С. 205 и др.

[227] Да будет правосудие, и пусть гибнет мир! — *Перевод В. И. Аскоченского*.

[228] См. Ученое Путешествие на Медвежий остров. Брамбеуса.

[229] Эти стихи слышаны и записаны мною еще в 20-х годах в г. Воронеже.

[230] Иак 3, ст. 7–19.

[231] Рим 7, ст. 18.

[232] Русское слово. 1864 г. Февраль.

[233] День. 1864 г. № 4 и 7.

[234] Г-н Костомаров и это ставит в упрек Димитрию Донскому. Прекрасно отвечал ему на это М. П. Погодин. «Молиться всегда хорошо и всегда приносит пользу. Без молитвы в Древней Руси, точно ничего не начиналось; а если начинается теперь, так ведь это очень нехорошо, и всякому порядочному человеку следует об этом и скорбеть и печалиться зело». День. 1864 г. № 4. С. 20.

[235] Заметим, что Карамзин отдает преимущество, касательно верности показаний, Ростовской и Синодальной летописям как современным. *Погодин*.

[236] В *Сказании* говорится: «…уклонися с коня и соидя с побоища едва могий».

[237] Русск. инв. 1862 г. № 100.

[238] Голос. 1864 г. № 124.

[239] Истор. гос. Росс. Том. II.

[240] Там же. Том. VI.

[241] Там же.

[242] Уж и подняли. *Современник, Русское слово, Искра* (куда конь с копытом, туда и рак с клешней…), других не знаем… приветствовали «День» криками, насмешками и бранью.
И полезли из щелей Мошки да букашки.

[243] День. № 2.

[244] Иер 20, ст. 7–20.

[245] Впрочем, это деликатное выражение принадлежат не Обозрению, а панегиристу его, какому-то *Владимиру Царевскому,* в свою очередь возвеличившему архим. Феодора [2], который якобы «двумя недавно изданными книгами может возвышать дух читателя к созерцанию высших христианских истин». Московск. ведом. 1861 г. № 27.

[246] Да и знатно же подслуживается «Сын Отечества» своему собрату по воззрениям! «Православное обозрение», говорит он в № 7, вовсе не хлопочет о том, чтобы набрать как можно более текстов да привести поболее свидетельств из Писаний Отцев и Учителей Церкви и определений соборных, а поставило себе задачею служить «*сознанию* (курсив в подлиннике) веры». Вот уж истинно услуга медведя пустыннику!..

[247] Числ 23, ст. 11.

[248] Просим заметить, что курсив поставлен не нами, а «Искрой», которой, как видно, не понравился именно с этой стороны привет наш. Искра. 1859 г. № 32.

[249] Вьпуск 22. 1859 г.

[250] На безличный и неопределительный разбор этой книги *Странником,* по справедливости, никто не обратил внимания.

[251] См. Молитвы на сон грядущим.

[252] Деян 5, ст. 29.

[253] Любопытные могут находить все таковые и им подобные любезности во всех наших светских и даже двух духовных журналах.

[254] С.-Петерб. вед. 1870 г. № 287.

[255] Быт 14, ст. 20.

[256] Нав 1, ст. 2, 5 и 6.

[257] Суд 6, ст. 14 и 16.

[258] Пс 143, ст.1.

[259] Пс 100, ст. 5 и 8.

[260] Пс 93, ст. 1.

[261] Современное слово. № 6. См. *Заметки о лицах, пропущенных на барельефе памятника тысячелетию России.*

[262] Курсив в подлиннике.

[263] Курсив в подлиннике.

[264] См. статью в «Дом. беседе» за 1862 г. № 11. С. 245. *Юродствующие в атеизме*.

[265] Курсив в подлиннике.

[266] В «Киевском телеграфе» была напечатана по этому поводу превосходнейшая статья г. Юзефовича, — и, удивительное дело, хоть бы одна газета или журнал заикнулись о ней! Мы надеемся познакомить с нею наших читателей, лишь только успеем достать этот «Телеграф», имеющийся только в немногих редакциях и считающийся в Петербурге библиографической редкостью. *Ред.*

[267] *Не осталось у меня такого святого старца!* — сказал Петр Великий, проводив святителя Божия в место упокоения. См. Житие св. Митрофана. Москва, 1846 г. С. 10.

[268] Северная пчела. 1862 г. № 311.

[269] Мф 3, ст. 10.

[270] Основа. 1862 г. Сентябрь. С. 61.

[271] С.- Петерб. вед. 1863 г. № 213.

[272] Московские ведомости. 1863 г. № 281.

[273] Русск. инв. 1864 г. № 41.

[274] Московские ведомости. 1865 г. № 101.

[275] Анри Мартен похваляет, однако ж, газету «Голос» за то, что она защитила поляков, которым у нас приписывали страшные пожары и внутреннюю, кромешнюю агитацию. Не поздоровится от этаких похвал!..

[276] Киевские епарх. вед. 1867 г. № 17.

[277] Мф 10, ст. 9.

[278] Сев. почта. 1867 г. № 215.

[279] Пожертвования для сего принимаются в Петербурге в канцелярии Совета Мисс. общ. на Вас. Остр. в 1-й линии дом № 46 у Средн. просп. От 3 до 9 часов пополудни.

[280] Еф 5, ст. 18.

[281] Капля долбит камень не силою, а учащенностью своего падения.

[282] Мф 26, ст. 30.

[283] Деян 16, ст. 25.

[284] Кол 3, ст. 17.

[285] Лк 17, ст. 46.

[286] 1 Кор 14, ст 7.

[287] Мф 13, ст. 43.

[288] Ин 14, ст. 2.

[289] Пс 148, ст. 7–10.

[290] Иак 5, ст. 13.

[291] *Столповое* пение, названное римскою церковию cantus planus, было пение единогласное, речитативное, без кадансов или тактов, а только по одним акцентам и удареniям в одну ноту и чрез всю пиэсу, как это можно слышать и доныне в греческих монастырях на Востоке. Почти таково ж было пение *демественное*; только в нем допускалось подпевание других певцов или даже всех предстоящих в церкви либо в тот же голос, либо одною только квинтою или басом (basse-continue) в один тон чрез всю исполняемую пьесу или с переменою не более трех нот.

[292] *Осьмогласное* пение разумеется здесь не симфоническое, а единогласное, с различием только напевов. *Трисоставное,* то есть трехголосное (trio), есть уже симфоническое, которое с

тех пор долго употреблялось в России под названием *троестрочного,* пока не ввелось четырехголосное, осьмиголосное, двенадцати и даже двадцатиголосное.

[293] Чтен. Моск. Общ. ист. № 3. 1846 г. Отд. I.

[294] Все сведения о жизни *Веделя* собраны из рассказов киевских старожилов, знавших его лично, и заимствованы из рукописи, сообщенной автору в 1843 г. иеромонахом Киево-Печерской Лавры Варлаамом, который подписался «певчим и учеником Веделя *Василием Зубовским».*

[295] *Ведель* доказывал, что трио в этом случае было прямым нарушением церковного устава, где ясно и положительно сказано, что певец поет один, а квартетом отвечает только хор.

[296] *Контрапунктом* в тесном смысле называется искусство сопровождать данную мелодию несколькими голосами или инструментами. Вообще же под этим словом должно понимать гармоническое сочетание многих голосов для образования из целого ряда созвучий одной мелодии. — *Ред.*

[297] Превосходнейший образчик этого недавно представил директор Императорской придворной капеллии А. Ф. Львов [5].

[298] 2 Пет 1, ст. 1.

[299] Киевск. епарх. вед. 1864 г. № 11. С. 365.

[300] Статья эта была уже написана нами, когда в февральской книжке «Духа христианина» мы прочитал весьма дельные «заметки г. *А. Белецкого* об иконах, распространенных между нашим простым народом». Мысль г. Белецкого совершенно та же, что и наша, и мы желали бы, чтоб имеющие власть и силу прочитали ее с надлежащим вниманием.

[301] Дом. беседа. 1865 г. Вып. 5. С. 149.

[302] Голос. 1868 г. № 81.

[303] Прибавим еще *Лавинова, Алейникова, Пичугина.*

[304] Это я сам видел и слышал в детстве моем в Воронеже в домовой церкви помещика Викулина. — *Ред.*

[305] Пишущий сии строки имел счастье видеть Георгия, еще в офицерском мундире, в доме своих родителей, — и доселе живо представляется ему этот человек Божий — стройного, высокого роста, светлого лица с рыжеватыми курчавыми волосами на голове. — *Ред.*

[306] Прошу теперь согласить с такими подвигами учение современных цивилизаторов, которые проповедуют во всеуслышание, что «аскетизм есть такое же болезненное явление, как и чахотка, например». С.-Петерб. ведом. 1859 г. № 186.

[307] Редакция «Основы» (см. февральскую книжку) пригласила всех знавших Тараса Григорьевича сообщать читающему миру всякого рода биографические сведения о покойном. С охотою делимся и мы своими воспоминаниями, тем более что нам не менее других дорога память поэта, хоть на нас и напали за неполюбившийся кое-кому христиански-справедливый упрек, что близкие его не сберегли нашего Тараса и допустили его умереть без напутствования

в жизнь вечную. — *Ред.*

[308] Dahin — туда (*нем.*). — *А. К.*

[309] В Риме.

[310] Надписи из Св. Писания избраны, как я слышал в обители, духовным отцом И. В. К-го старцем иеромонахом Макарием.

[311] Памятником этого периода его умственной деятельности остаются (кроме ненапечатанных трудов) две замечательные статьи: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России (Письмо к графу Е. Комаровскому)» и «О необходимости и возможности новых начал для философии». Первая напечатана в *Московском сборнике* 1852 года, а вторая — в *Русской беседе* 1856 года.

[312] См. Дом. беседа. 1860 г. Вып. 31.

[313] Имут Моисея и Пророки да послушают их, аще же их не послушают, ни аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Лк 16, ст. 29, 31.

[314] Этот рассказ передаю не по одной памяти, а слово в слово, ибо тогда же просил Н. П. К-ую записать мне оный, что ею и было исполнено.

[315] Тогда же записал я в дневнике моем встречу и разговор мой с юродивым.

[316] Моя жена умерла через два года потом в лютой чахотке.

[317] С ужасом припоминаю теперь пророческие слова блаженного. Они оправдались во всей силе.

[318] Если что есть неверного в этих показаниях, — усерднейше прошу всех киевлян указать мне это и поправить, для чего мы с охотою открываем страницы нашего журнала.

[319] Усерднейше просим тех, кто ближе знал блаженного и присутствовал при его погребении, сообщить нам подробнейшие сведения. Нет никакой надобности в литературном достоинстве описаний: тут нужны факты, как можно более фактов.

[320] Много раз рассуждали мы об этом с покойным Николаем Ивановичем. Особенно возмущало его неправильное употребление глаголов *стать* и *встать*, сплошь и рядом встречающееся в наших газетах и журналах: «он *встал* на колени; он *встал* на якорь; он *встал* около меня» и проч. Ну, есть ли в этом логический смысл? *Стать* и *встать* — две вещи совершенно разные. Чтобы стать, надо сначала идти и остановиться; а чтобы встать, надобно прежде лечь или сесть. Так, кажется? Вообще, редкие, весьма редкие из наших борзописцев знают твердо русскую грамоту.

[321] Николай Иванович скончался на 81 году от рождения.

[322] Сир 46, ст. 2.

[323] Материалами для сей биографии сослужили нам надгробные слова протоиереев И. А. Фаворова и Н. Я. Оглоблина и статьи, помещенные в «Руководстве для сельских пастырей» и в «Гражданине». — *Ред.*

[324] Письма эти, как одно из лучших произведений А. Н. Муравьева, были переведены и изданы на языках: немецком, в Лейпциге, в конце тридцатых годов; на польском, в Варшаве, 1841 г.; на французском, в Петербурге, 1850 г.; на греческом, в Афинах, 1851 г.; на сербском, в Новом Саду, 1854 г. Есть и английский перевод, еще не напечатанный.

[325] Сир 44, ст. 5.

[326] Сир 44, ст. 13 и 14.

[327] Сир 44, ст. 2–4.

[328] Цензором моим назначен мне был по происхождению поляк, а по вероисповеданию католик.

[329] Ныне высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и С.-Петербургский.

[330] Любопытствующие могут прочитать ее в «Дом. беседе». Вып. 50. С. 1195.

[331] Слова эти в тот же день начертаны были мною на обороте данной мне иконы.

[332] Я пропускаю письмо от 1 апреля, напечатанное уже в «Дом. беседе» текущего года. Вып. 21. С. 550. № 3.

[333] Там же. № 2.

[334] Это было мнение Владыки о судебно-духовной реформе.

[335] Значения этих слов я не понимаю. Слово *слабое* им самим подчеркнуто.

[336] Ледюк (Leduc) в 1853 году издал в Париже памфлет, наполненный всевозможными клеветами на Россию, и преимущественно желал представить ее ничтожною и слабосильною на поле брани. Всякую победу русских он объяснял тем, что «им помогали».

[337] На языке некоторых славян под словом *благочестие* разумеется *Православие.* Это можно видеть и из возглашения диакона на литургии: «Господи, спаси *благочестивыя».*

[338]В «Дневнике» под 20 мая 1842 года находим не лишенную интереса генеалогическую заметку о происхождении фамилии Аскоченских. «Генеалогия моя, — говорит автор «Дневника», — вовсе не состоит из тех лиц, которые пузаты и знаменитостью, и богатством. Мой прадедушка был поп; Господь благословил его обзавестись детками; один из сынов его, по имени Иван, родился в селе Аскошном, Землянского уезда, Воронежской губернии. Дедушки мои, которых числом, кажется, было до десятка, под скромным прозванием *Поповых*, разошлись по разным селам в качестве небольших, весьма небольших сановников церковной иерархии, а родной мой дедушка Иван Иванович остался в том же Аскошном в должности стихарного дьячка. Прошло несколько времени, жена его, а моя бабушка, Матрена, родила, между прочим, сына Ипата. Это был мой покойный родитель. Из благодарности к месту, видевшему рождение как самого о. Ивана, так и детей его, мой дедушка переменил фамилию Поповых на Аскошных и повелел вперед именоваться так всему своему потомству...»
«Первоначально наша фамилия была *Аскошный*; но батюшка мой, как человек грамотный, заметил тут слишком неизящную *народность*, — извините, он не знал настоящих теорий об этом предмете и, следуя правилам правописания, которое тогда иначе и не называли, как ореография, переменил Аскошный в Осконный. Не знаю, как это случилось, только с течением

времени батюшка стал подписываться: *Отскоченский*. С этим громким прозвищем я и брат вступили в школу. Прошло немного времени, и нас стали дразнить «отскочками»; я бранился, ссорился, плакал и дрался, разумеется, с кем мог сладить, а избежать насмешек не мог. С досады я решился еще раз изуродовать свое фамильное прозвание — и вследствие такого решения я стал подписываться: *Аскоченский*. Брат, ни в чем не отстававший от меня, последовал моему примеру. Покойник сердился, бранил нас, пачкал наши тетради, нападал на репетиторов, позволяющих нам такую вольность в таком важном деле; но мы, и особенно я, оставались непреклонными. Учители, привыкнув видеть на тетрадях выдуманную мною подпись, отстали от несносного для меня: *Отскоченский*. Потом и батюшка мало-помалу приставал к моей стороне, и таким образом, я был последним преобразователем моего фамильного прозвания».

[339] В подлиннике «ouvèrte livre».

[340] Пропущены два предшествующие дня, т. е. 4-е и 5-е февраля.

[341] Речь идет о современных Аскоченскому университетах, т. е. до введения устава 1863 г. — *Ф. Б.*

[342] *Преосв. Петр Троицкий*, товарищ Аскоченского по Киевской академии, — жил тогда в Бессарабии, будучи викарием Кишиневской епархии. В Бессарабии же на покое жил и *Анатолий Мартыновский*, бывший архиепископ Могилевский, — тоже воспитанник Киевской академии и известный духовный писатель.

[343] Ныне митрополит Киевский.

[344] Впоследствии архиепископ Иркутский.

[345] Ныне архиепископ Варшавский.

[346] Скончавшийся в сане архиепископа.

[347] Ныне архиепископ Казанский.

[348] Ныне архиепископ.

[349] Бывшего потом Смоленским.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch